Максимилиан ВОЛОШИН

Собрание сочинений



Азбуковник



Максимилиан
ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Под общей редакцией
В.П. Купченко и А.В. Лаврова
при участии Р.П. Хрулевой

Москва
Азбуковник
2015

Максимилиан

ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Том тринадцатый

Письма 1925–1932

Книга первая

1925–1928

Москва
Азбуковник
2015

ББК 84(2Рос=Рус)-4
УДК 821 161 1-95
В68

**Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российской академии наук**

Составление
А. В. Лаврова

Подготовка текста
*А. В. Лаврова, И. Н. Палаш,
Г. В. Петровой, Р. П. Хрулевой*

Комментарии
А. В. Лаврова, Г. В. Петровой

Художник
В. Н. Сергутин

Выпускающий редактор
С. Феоктистова

Редактор
М. Зубакова

ISBN 978-5-91172-105-3 (т. 13, кн. 1)
ISBN 5-902152-4

От составителя

В 13-м томе Собрания сочинений Максимилиана Волошина публикуются письма, относящиеся к последнему периоду жизни поэта и художника. Основные принципы и критерии, используемые при публикации писем, сформулированы в преамбуле к тому 8 настоящего издания.

Существенная особенность эпистолярии Волошина 1925—1932 гг. — в том, что многие из писем содержат приписки жены поэта Марии Степановны Волошиной (до 1927 г. — Заболоцкой), и наоборот — письма Волошина являются приписками к письмам жены. Приписки Волошина включаются в корпус текстов в тех случаях, когда они содержат дополнительную значимую информацию по отношению к основному тексту письма М. С. Волошиной. Аналогичным образом воспроизводятся и наиболее значимые (либо непосредственно связанные с основным текстом) приписки М. С. Волошиной к письмам Волошина.

Еще одна существенная особенность эпистолярных текстов Волошина, публикуемых в настоящем томе, заключается в том, что они представляют собой записи (надписи) на акварелях (чаще всего на оборотах акварелей, но иногда и непосредственно поверх изображения). В томе воспроизводятся только те записи Волошина, которые выдержаны в эпистолярной форме; тексты, представляющие собой дарительную надпись, посвящение и т. п., в том не включаются.

После перенесенного Волошиным в декабре 1929 г инсульта почерк его существенно ухудшился, прочтение очень многих фрагментов текста оказывается проблематичным. Этим объясняется сравнительно большое количество неразобранных мест в письмах или слов и словосочетаний, правильность прочтения которых вызывает сомнения.

В заключительной части тома (Приложение) публикуются тексты Волошина, выявленные после того, как вышли в свет предшествующие тома настоящего издания.

В томе 13:

Р. П. Хрулева подготовила тексты писем: М. С. Альтману, А. П. Бобкову, К. Ф. Богаевскому, М. С. Волошиной (Заболоцкой), А. Г. и Н. А. Габричевским, А. Ф. Гаушу, К. М. Добраницкому, А. А. Кипену, В. Ф. Лазурскому, А. П. Назарову.

Г. В. Петрова подготовила тексты писем и составила комментарии к письмам: М. А. Булгакову, Е. К. Герцык, Э. Ф. Голлербаху, И. М. Гревсу, А. А. Губаревич-Радобыльской, Ф. Ф. Дидериксу, К. Е. Костенко, Е. Л. Ланну, А. П. Остроумовой-Лебедевой, ей же и С. В. Лебедеву, Е. В. Петухову, С. Ф. Платонову, В. О. Селезневой (Вяземской), В. Г. Успенской, Е. А. Фельдштейн.

А. В. Лавров подготовил тексты остальных писем и комментарии к ним, а также комментарии к письмам, подготовленным Р. П. Хрулевой, и раздел «Дополнения».

И. Н. Палаш подготовила тексты писем корреспондентов Волошина (1930, ноябрь — 1932), хранящихся в Доме-музее М. А. Волошина (Коктебель) и использованных в комментариях.

За содействие в работе над томом выражаем глубокую признательность директору Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле Н. М. Мирошниченко, а также Е. Ю. Гениевой, Е. И. Лубянниковой, Т. Ф. Нешумовой, Т. В. Павловой, О. С. Северцевой.

Условные сокращения

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва).

ГИМ — Отдел рукописей Государственного исторического музея (Москва).

ГЛМ — Отдел рукописей Государственного литературного музея (Москва).

ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).

ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва).

ГРМ — Сектор рукописей Государственного Русского музея (Санкт-Петербург).

ГТГ — Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи (Москва).

ДМВ — Дом-музей М. А. Волошина (Коктебель).

ИМЛИ — Рукописный отдел Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН (Москва).

ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

ЛН — Литературное наследство (серия сборников).

ПФА РАН. — Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории (Москва).

РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

РНБ — Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Труды и дни — *Купченко В. П.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877—1916. СПб.: Алетейя, 2002.

Труды и дни-2 — *Купченко Владимир.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1917—1932. СПб.; Симферополь: Алетейя; Сонет, 2007.

ФКГА — Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазовского. Фонды.

ПИСЬМА
1925–1928

1925

1. В. Д. ФИНКЕЛЬШТЕЙН

9–10 января 1925 г. Коктебель

9 I 1925.

Дорогая Варвара Дмитриевна,

получил Ваше письмо и «рецензию».[1] Она груба, глупа, лжива, нелепа, составлена из передержек... Но она такова, как вообще бывают *всегда* и *все* газетные рецензии. На нее нельзя и не следует возражать. Ни одна редакция даже и не поймет: на что же здесь возражать, а если и удастся где-нибудь поместить ответ, то это только вызовет еще несколько ушатов грязи.

Милая Варвара Дмитриевна, читая, конечно, газеты всю жизнь, Вы в первый раз столкнулись сейчас лично с тем, как пишутся газеты. Так вот – имейте в виду, что вся газета с первой строчки до последней пишется так, как написана эта рецензия. Мы только не в состоянии судить обо всем, т<ак> к<ак> сами не заинтересованы, но я не преувеличиваю. Газета обычно вся проникнута «неу<ва>жением» – к личности, к творчеству, к правде. Политические отзывы и оценки в этом отношении куда еще хуже литературных. Тут всё сплошная передержка.

Вы спросите: почему же я сам возражал в прошлом году?[2] П<отому> что там, кроме литературной оценки, был политический донос, который мог мне определенно повредить, и я, по совету Вересаева,[3] ответил, и ответ мой был помещен потому лишь, что Воронский, издатель «Красной Нови», сам

многократно подвергался травле «На Посту» и рад был им сделать неприятность, поместив мое письмо.

Я не преувеличивая могу сказать: вот в этом году исполнится 30 лет со дня напечатанья моего первого стихотворения,[4] и я до сих пор еще *ни разу* не видал ни одной сериозной, мало-мальски справедливой и уважительной статьи или рецензии о себе. А писали обо мне много – и всегда вот в таком стиле. Очень трудно и тяжело принимать участие в русской литературе. Принято ее весьма идеализировать, но она есть и была клоакой (я говорю, конечно, не о *произведениях* художеств<енной> литературы, а о нравах, о *газетах*, а не о журналах, которые все же <не> так гнусны).

Быт и нравы литературных кругов и в Западн<ой> Европе не лучше, но там есть *уважение* к литературному труду, и Вы себе представить не можете, как это бывает утешительно и радостно после русских нравов.

Должен тоже предупредить Вас, что когда рецензенты что-нибудь хвалят, то это бывает, пожалуй, еще оскорбительнее их ругани.

Поэтому не огорчайтесь и не протестуйте, Варвара Дмитриевна, примите все это только как личный опыт, поучительный и неприятный.

А книжка вышла лучше, чем я ожидал. Я старался ее прочесть посторонним оком, не вспоминая о том, что в ней пропущено впечатление цельное и образ Верочки встает ярко и законченно. Могло бы быть полнее и лучше. Но и так, как есть, – не плохо и цель достигается; существенное сохранено, и образ ничем не искажен.

Формат книжки мне нравится; обложку хотелось бы более строгую.

А действительное действие книги будет и станет к Вам просачиваться постепенно – из года в год от отдельных, частных людей, которые будут ею тронуты. Для них Вы ее писали и издали. А газетная репутация, известность, сбыт... что Вам до этого?

Это очень тяжело и оскорбительно – услыхать в первый раз в жизни и по отношению к самому дорогому и священному – эту кабацкую наглую брань. Но это уж свойство «ули-

цы», – проходите молча и не оглядывайтесь. Боюсь, что это отчасти и мое имя под предисловием раздражало рецензента.

Теперь об Антроп<ософ>ах...[5] Как жаль, что Вы со мной тогда не поговорили, еще летом. Это было бы очень важно.

Они все хорошие, и между ними очень много совсем средних людей. Но беда в том, что все они «изнасилованы истиной». – Истина прекрасна тогда, когда она цветет и лучится из самого человека, является естественной эманацией человека. Люди же, раздавленные сообщенными им истинами и старающиеся их передать другим, только компрометируют их.

Это больше всего смущает при первом столкновении с А<нтропософами>. Чем глубже и подлиннее истины, тем более искаженными кажутся лики их передатчиков. Там, где есть подлинная свобода, познание, искание, Вы видите сухое догматическое утверждение и узкое сектантство. Конечно, это не у всех. Крупные люди несут истины, уже переплавленные собственным духом. Таких мы с Вами тоже можем назвать.

Еще одно: когда средний человек решает начать «работать» над собой, и самоусовершенствоваться, то в нем немедленно оживают и подымают головы все те страсти, которых он даже и не подозревал в себе.

Человек, пока подвластен миру
И законам смерти и гниенья
И не знает, *что́* есть искушенье.
Но лишь только он засветит пламя
Внутренней молитвы, бесы,
Извергаемые прочь, стремятся
Погасить лампаду и вернуться
В смрадные, насиженные гнезда.
Грешник ходит, и не слышно беса,
Вслед же иноку они клубятся стаей.
Каждый монастырь, что крепость,
Осаждаемая бесами...[6]

То же самое происходит и в интеллигентских скитах. Отсюда глубоко комические житейски положения тех, кто становится совершенно нестерпим для окружающих и близких только потому, что сериозно берется за подвиг внутреннего

самоусовершенствования. Это случай, от которого Вы страдали летом.

Меня лично уже давно не смущает ни то, ни другое: прошлое лето мне дало иные тревоги. Я усмотрел некоторую нечуткость и негибкость по отношению к живой жизни и живым людям. Они шли с охотой навстречу простому любопытству и проходили мимо людей, которым были очень нужны, только потому, что те *сами* не спрашивали или не произносили традиционных слов. Это было очень неприятно. А главное то, что все ныне переживаемое, вся Революция не проросла в них живой истиной, как должна была прорасти.

Но не разочаровывайтесь, Варвара Дмитриевна. Пусть они немного подсушенные – но честные и чистые. И в них нет ни на иоту шарлатанства, которым загромождены обычно все пути в этих областях. То, что идет через них, заслуживает всяческого уважения и доверия.

10/I 1925.

Маруся ушла в город: лечить зубы.[7] А после через неделю едет в Харьков. Перед праздниками ей было снова очень плохо. Теперь прошло, но разболелись зубы.

Мне писали, что жидкости нельзя пересылать почтов<ыми> посылками. Поэтому надо переслать с оказией: на днях едет в Москву Алекс<андр> Феод<орович> Слуцкий, так я попрошу его зайти к Вам за лекарством. Очень прошу его взять по имеющемуся у Вас рецепту в двойном количестве – как тогда, когда привозил Самуил Александр<ович>.[8]

Очень буду ждать Вас весною для устройства Верочкиной комнаты.[9] Мы решили ту, где жила Ан<на> Петр<овна> Остроумова, – т. е. внизу под мастерской, что выходит на море.

Поздравляю с праздниками и Новым Годом Вас и Самуила Александ<ровича>. Крепко обнимаю Вас обоих.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме к Волошину от 20 декабря 1924 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1228, л. 22–24 об.) В. Д. Финкельштейн сообщала о публикации в газете «Правда» 26 ноября 1924 г. рецензии («Как издаются книги») на ее книгу о своей покойной дочери Вере Финкельштейн

(*Синайская-Финкельштейн В.* Нерасцветшая. М.; Л.: Земля и Фабрика, 1924), вышедшую с предисловием Волошина (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 63–65, 788). «...Я уже начинала клеймить себя за то, что так стремилась издать, особенно после этой хулиганской рецензии, где так кощунственно треплют имя Верочки, – писала В. Д. Финкельштейн Волошину. – <...> Какая гнусная ложь, какая возмутительная клевета на детскую душу, да еще не умершую...». Приведя далее в письме весь текст рецензии («Что же эта девочка совершила такое, чтобы о ней узнали рабочие и крестьяне?»; «Причем же тут “Земля и Фабрика” – издательство ЦК профсоюза бумажников? Или оно поставило себе задачей обслуживать сентиментальных девиц и матерей из буржуазной среды?» и т. д.), Финкельштейн заключала: «Вы видите, какая гнусность! И какая ложь! У меня вызывает чувство гадливости. Противно было переписывать. <...> Мне очень-очень хочется знать Ваше отношение, Ваш взгляд на эту рецензию». Не только отзыв в «Правде», но и опубликованная версия текста книги вызвала негодование автора. «Книжка вышла на днях <...>, – сообщала Финкельштейн Волошину 27 ноября 1924 г. – Появление книги пережила очень болезненно; так она меня огорчила... Вместо 12 листов 4, – причем сокращения сделаны по-варварски, получились провалы, точно выхвачены куски от живого тела. Несколько дней была в состоянии анемии, а теперь какое-то безразличие» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1228, л. 20–21 об.).

[2] Подразумевается «Письмо в редакцию» Волошина, опубликованное в журнале «Красная новь» (1924. № 1. С. 311–312), – отклик на статью Б. Таля «Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина» (На посту. 1923. № 4. Ноябрь. Стб. 151–164). См.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 60–62, 786–788.

[3] См. письма Волошина к В. В. Вересаеву, касающиеся этой темы (Т. 12 наст. изд. С. 770–773, 777–778).

[4] Имеется в виду первое выступление Волошина в печати – публикация стихотворения «Над могилой В. К. Виноградова» («Да, он умер... Полны изумленья...», 20 сентября 1894) в сборнике «Памяти Василия Ксенофонтовича Виноградова» (Сост. Ю. Галабутский. Феодосия, 1895. С. 50). См.: Т. 2 наст. изд. С. 292.

[5] Этой темы Волошин касался ранее в неизвестных нам письмах к Финкельштейн – судя по ее замечаниям в ответных письмах: «Относительно ант<ропосо>фов Вы правы; а как мне много хочется сказать Вам по этому поводу, но не в письме, конечно» (27 ноября 1924 г.); «Вы затронули самую больную для меня тему: вопрос о живых ан<тропосо>фах. <...> Я так мучительно болезненно переживала неожиданные для меня результаты наблюдений над живыми людьми. В душе создавался такой разлад, такая недоуменность».

[6] Цитата из гл. V поэмы Волошина «Святой Серафим» (1919, 1929); в окончательной редакции — варианты строк (Т. 2 наст. изд. С. 110).

[7] М. С. Заболоцкая ушла в Феодосию 9 января вместе с Н. В. Успенской (Труды и дни — 2. С. 250).

[8] С. А. Финкельштейн — муж В. Д. Финкельштейн.

[9] Видимо, подразумевается оформление одной из комнат дома Волошина в память Веры Финкельштейн.

2. А. В. ДОЛГОПОЛОВОЙ

10 января 1925 г. Коктебель

10/I 1925. Коктебель.

Дорогая Анна Васильевна,

поздравляем Вас с праздниками и со стар<ым> (н<овым>) годом.

Спасибо за память и за приглашение.[1] Очень, очень ждали Вас всю осень и весьма огорчились, что Вы так и не приехали.

Приезжайте-ка будущей весной, не откладывая до осени. Я лично никуда, вероятно, в этом году не выеду. Сейчас у нас тепло (удалось раздобыть дров) и потому уютно. Очень хорошо работать, думать и молчать.

А я так долго был лишен и того и другого и третьего.

Маруся сейчас в городе — ушла лечить зубы, а вернувшись, поедет через несколько дней в Харьков лечить ухо: опять у нее было воспаление уха перед праздниками со страшными болями, т<ак> что поездка к авторитетам стала неизбежной.

Будьте добры передать Люси Степановне прилагаемое письмецо:[2] она мне написала о себе, но нового адреса не приложила.

Желаю Вам бодрости, тишины и радости в наступающем году.

Максимилиан Волошин.

[1] К письму М. И. Долгополова к Волошину от 3 января 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 509, л. 4–5) А. В. Долгополова сделала

приписку: «Быть может, у Вас явится желание или надобность или у Марии Степановны посетить наш Симферополь, то очень прошу не забыть, что у нас найдется кров и стол и доставите нам большое удовольствие».

[2] Упоминаемое письмо к Л.С. Гончаровой, видимо, не сохранилось.

3. Е.Л. ЛАННУ

11 января 1925 г. Коктебель

11/1 1925.
Коктебель.

Зимн<ий> адрес: Феодосия.
д<ом> Айвазовского. Успенским,[1]
для меня.

Дорогой Евгений Львович,

Спасибо за Конрада и за письмо.[2] Конрад — писатель умный, культурный и увлекательный. Прочел его книжку залпом, и хочется еще. Пришлите, пожалуйста, все, что вышло. Очень интересно, какие романы он пишет. Единственный его недостаток для меня — растянутость. Славянская черта. Где надо закончить одним штрихом – он размазывает. Но приятнее всего то, что он умный.

Письма наши разошлись: я Вам отправил мое со статьей о Вас в тот же день, как Вы писали мне (22/XII).[3]

Стихов я не пишу сейчас. Заколодило. Переживаю творческое молчание. Много читаю, много думаю. Пишу акварели. Но скучен вид пера. Застрял на половине «Таноба» (глава из «Пут<ями> Каина»)[4] и ни вперед, ни назад.

Прибаливаю — колени пухнут (подагра). Но это не мешает. Подвожу итоги поездки на север: нерадостные.[5] Насколько я себя по человечеству чувствую все эти годы и теперь окруженным, нужным, тесно связанным с людьми, настолько же в литературе чувствую себя одиноким и ненужным.

Тот «успех», что я имел в Москве, не обольщает и не обманывает меня. Мои последние стихи нравятся тем, кто в них слышит ноты политической оппозиции, — это всегда нравится. Но меня-то это не удовлетворяет. А мое *«что»* сейчас глу-

боко не ко времени. И, просмотрев сотни людей, я не вижу, чтобы оно скоро могло бы стать нужным.

Вы знаете, Евгений Львович, что еще до сих пор в русской критике не было ни одной положительной статьи обо мне, если не считать краткой рецензии Брюсова о моей первой книге,[6] да неожиданного отзыва Львова-Рогачевского в «Истор<ии> Совр<еменной> Рус<ской> Литературы»,[7] за который на меня поднялась такая травля в прошлом году.[8] А кто только меня не ругал и не травил, и теперь, и прежде. Я знаю, что в годы революции ко мне внутренне изменилось отношение, и я читал несколько сериозных статей о себе — в рукописи. Но ни одна из них так и не могла быть напечатана. С большим интересом буду ждать Вашей статьи обо мне.[9] После «Мироощущения поэта» и статьи о Конраде[10] мне она особенно интересна: на основании этих статей я жду от нее глубокого обобщения и точных формулировок. Мне самому крайне важно посмотреть на себя в Вашем зеркале...

Но не советую Вам обращаться в «Современник» прямо со статьей обо мне. Сперва, дайте лучше что-нибудь другое. (Письма Чуков<скому> и Зам<ятину> прилагаю[11]).

Я сейчас ведь очень цензурно скользкая тема. И вслед за каждым положительным отзывом обо мне следует целый залп ругательств и ушаты помой. И все это не только носит характер политического доноса, но и влечет за собою следствия политического доноса. К ругательствам я слишком привык, а доносов весьма остерегаюсь. Настолько, что на запросы нескольких друзей о моем согласии ознаменовать 30-летие моей литературной деятельности[12] (одно мое еще гимназическое стихотворение было напечатано 15 апр<еля> 1895 г.[13] случайно, а потом я 9 лет стихов не печатал)[14] или 25-летие (первая моя статья в «Русской Мысли» — 1 мая 1900 г.)[15] я отвечал просьбой ни в коем случае не подымать этого вопроса именно ввиду той травли, что неизбежно подымется против меня.

Словом, думаю, что мне лучше всего пока, года на 2, на 3, литературно «помереть».

Очень сожалею о «Mercure de France», благодарю за «Europe».[16] Нет ли у Вас какого-нибудь французского широко научного журнала, или, вернее, журнала широких научных

обобщений, каким был когда<-то> гурмоновский «Revue des Idées»?[17] Мне не столько даже оторванность от западной литературы тяжела, сколько это полное неведение научной мысли.

Только что с громадным наслаждением прочел «Краткую историю мира» Уэлса. (Ангарский прислал). Какая умная и нужная книга. Она станет всеевропейским учебником истории, конечно. Но это, очевидно, только резюме его большого тома «Очерков и статей».[18] Не знаете ли, переводится ли он по-русски? Вот что надо было бы издать. Как жаль, что я английс<кого> яз<ыка> не знаю.

Все мои стихи есть переписанные у Ольги Николаевны Анненковой, к которой тоже прилагаю письмо.[19]

Заканчиваю письмо. Поздно.

Поздравляю с Нов<ым> Годом.

Не забудьте, что жду Вас в Коктебеле с весны — непременно. В мае здесь еще совсем пустынно, и я хочу, чтобы Вы приехали до общего съезда.

Привет Вашей жене (напомните мне ее имя-отчество).[20]

Максимилиан Волошин.

Посылаю Вам стихотв<орение> «Мастер».[21] Помните, я его Вам читал в Москве. Потом я его переделывал и сейчас работал над ним одновременно со статьей о Вас.[22] Но не чувствую его до сих пор завершенным. Но все же считаю необходимым послать его Вам как мое поэтическое исповеданье и требование к себе. Срав<ните> со стихотв<орением> «Подмастерье» в «Иверних».[23]

Получил только что ряд №№ «Les Nouvelles Littéraires», еженедельн<ое> париж<ское> издание.[24] В первый раз узнал все о всех парижс<ких> друзьях. Знаете ли Вы это издание?

МАСТЕР

1

Честно учись мастерству у ремесленников и у старших.
Вытрави из словаря слова «Красота», «Вдохновенье» —
Подлый жаргон рифмачей, выверты шарлатанов:
Это жаргон рифмачей – поэту понятья.
Правда, конструкция, план, равносильность, сжатость и точность.
В трезвом, тугом ремесле вдохновенье и честь поэта.

2

Правь поэму как текст заокеанской депеши:
Сухость, ясность, нажим: начеку каждое слово.
Букву за буквой врубай на твердом и тесном камне:
Чем скупее слова, тем напряженней их сила.
Мысли заряд волевой равен замолчанным строфам.

3

Четко чекань имен. Заклинай действительность словом.
«Что» важнее, чем «как», но «КТО» несравненно важнее.
Дух препояшь змеей и узел стяни туго.
Будь стрелой и огнем: впивайся в сущность явлений.
Высвобождай из вещей плененное плотью слово.
Из невидимого выявляй верой обличья.

4

В дни, когда спазмы любви выворачивают народы,
В дни, когда Справедливость — ослепшая — меч обнажает:
В дни Революции будь человеком, а не гражданином.
Помни, что для тебя партии, клички, программы
То же, что списки больных для врача сумасшедшего дома.

5

В смутах усобиц и войн осознай целокупность.
Будь не частью, а всем не с одной стороны, а с обеих:
Зритель захвачен борьбой: ты не актер и не зритель —
Ты соучастник судьбы, вскрывающий замысел драмы.
Верь в человека. Толпы не уважай и не бойся.
Власть затаенной мечты покрывает смятение множеств.
Будь в текущем, но сам не отдавайся потоку:
Творческий ритм от весла, гребущего против теченья.

7 <так!>

Остерегись не врагов, а известности, шума и славы:
«Солнце мертвых» — живым — она намогильный камень.
Только противник в борьбе может быть истинным другом.
Если тебя невзначай современники встретят успехом,
Знай, что из них никто твоей не осмыслил правды.
Правду оплатят тебе — клеветой, ругательством, камнем.
Будь изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа — поэт. В государстве нет места поэту.

Максимилиан Волошин

[1] В. А. и Н. В. Успенские.

[2] Речь идет об издании сборника новелл: *Конрад Джозеф.* Рассказы о непокое // *Конрад Джозеф.* Соб. соч. Т. I. Кн. 1. / Под ред. и с лит.-крит. очерком Евгения Ланна. Пер. с англ. А.В. Кривцовой. М.; Л.: Земля и Фабрика, 1925. В письме от 22 декабря 1924 г. Ланн сообщал Волошину о пересылке этой книги. (См.: «...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы. М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. С. 47). О литературной и переводческой деятельности Е.Л. Ланна см.: *Азов А.Г.* Поверженные буквалисты: Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.

[3] Имеется в виду письмо Волошина Е.Л. Ланну от 21 декабря 1924 г. (См.: Т. 12 наст. изд. С. 886–888).

[4] Работу над поэмой «Таноб» Волошин завершил 16 мая 1926 г. (См.. Т. 2 наст. изд. С. 70–76), в композиции книги «Путями Каина. Трагедия материальной культуры» (см.: там же. С. 7–62) место поэмы не определено.

[5] Имеется в виду поездка Волошина в Москву и Ленинград в феврале-мае 1924 г. См.: Труды и дни-2. С. 213–225.

[6] Речь идет о рецензии В. Брюсова на первую книгу стихов М. Волошина «Стихотворения: 1900–1910» (М.: Гриф, 1910), опубликованной в журнале «Русская Мысль» (1910. № 5. Отд. III. С. 127–128).

[7] В. Львов-Рогачевский в книге «Новейшая русская литература» писал: «Нового гения, пушкинского Ариона мы пока не видим, но большого поэта, которого не измял вихрь шумный, кто связал свою поэзию с трагизмом революции, с муками родов, переживаемыми нашей страной, уже теперь мы должны указать. Этот большой поэт, страшно выросший за годы революции – Максимилиан Волошин. <...>. С ростом новой России росли крылья этого поэта. <...> Максимилиан Волошин сквозь мечту разглядел новый трагический лик России, органически спаянной с древним историческим ликом ее» (М.: Всерос. центр. союз потреб. о-в, 1922. С. 286–287). См. также п. 36, примеч. 7.

[8] Имеются в виду публикации: *Родов С.* Дело обстоит куда хуже // Труд. 1922. 3 сентября; *Тарасов-Родионов А.* «Классическое» и классовое // На посту. 1923. № 2/3. Стб. 61–94; *Родов С.* «Оригинальная» поэзия Госиздата // Там же. Стб. 137–160; *Таль Б.* Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина // На посту. 1923. № 4. Ноябрь. Стб. 151–164 и др. См. также: п. 1, примеч. 2, 3, примеч. 2 к п. 59.

[9] Речь идет о замысле Е.Л. Ланна, который возник еще в июле 1924 г., издать серию небольших монографий о русских поэтах. Ланн предполагал начать с Волошина. В письме от 22 декабря 1924 г. он писал ему: «Сейчас у меня на очереди: Вы для “Современника” <...> Я

с удовольствием, пролегоменами к Вам, берусь писать статью для "Соврем<енника>"» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 47). В «Русском современнике» работа Ланна о Волошине опубликована не была (издание журнала было прекращено в конце 1924 г.). В ответном письме от 9 февраля Ланн признавался Волошину: «Терпеть не могу отдавать на суд свои вещи тем, которых не уважаю. К сожалению (для меня!), во главе "Русск<ого> совр<еменника>" стоят люди, относящиеся именно к этой категории. <...> И это тормозит мои шаги по переговорам относительно помещения статьи» (Там же. С. 53–57).

[10] Речь идет о докладе Е. Л. Ланна «Heroïca (Мироощущение поэта)» (РГАЛИ, ф. 2210, оп. 1, ед. хр. 114), который Волошин читал в рукописи, и статье Ланна «Джозеф Конрад», опубликованной в I томе издания: *Конрад Джозеф.* Указ. соч. С. 5–42.

[11] Е. И. Замятин и К. И. Чуковский были ближайшими участниками литературно-художественного журнала «Русский современник», издававшегося в Петрограде – Ленинграде в 1924 г. С просьбой прислать рекомендательные письма Замятину и Чуковскому Ланн обращался к Волошину в письме от 22 декабря 1924 г. (См.: «...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 47). Указанные письма Волошина не обнаружены.

[12] См. примеч. 1 к п. 30, п. 36. Об отношении Волошина к литературным юбилеям см. в его статье «Бальмонт» (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 321–323).

[13] См. примеч. 4 к п. 1.

[14] См. п. 36, примеч. 5.

[15] Речь идет о рецензии Волошина «В защиту Гауптмана. По поводу переводов г. Бальмонта ("Ганнеле" и "Потонувший колокол"), появившихся в сборнике "Драматические сочинения Г. Гауптмана". Перевод под редакцией и с предисловием К. Бальмонта. Издание книжного магазина "Труд"» (Русская Мысль. 1900. Май. С. 193–200). См.: Т. 5 наст. изд. С. 277–287.

[16] В письме от 22 декабря 1924 г. Ланн, откликаясь на просьбу Волошина о высылке и выписке французских журналов, сообщал: «Что же касается "Mercure de France", – "по независящим от редакции обстоятельствам" выписать его нельзя, и, следов<ательно>, вышлю на днях три книжки "Europe"» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 47).

[17] Имеется в виду литературное периодическое издание «Revue des Idées», выходившее в Париже в 1904–1915 годах, которым руководил французский прозаик и критик Реми де Гурмон.

[18] Имеются в виду книги Герберта Дж. Уэллса «A Short History of the World» (1922; русский перевод: Краткая История Мира. М.: Мосполиграф, 1924) и «Очерк всемирной истории» (о последнем Волошин мог узнать из статьи Джона С. Шапиро в журнале «Современный Запад»: 1922. Кн. 1. С. 149–151). См. также п. 37.

[19] Отклик на обращение Е.Л. Ланна: «... я пытался всюду достать “Демоны глухонемые” и цикл “О России”, но безуспешно. Кажется, “Демонов” и у Вас нет, а мой экземпляр кто-то безнадежно зажулил. Как быть? Быть может, у Ваших приятелей в Москве есть и то, и другое. Как бы это устроить, чтобы я получил?» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 47). Письмо Волошина к О. Н. Анненковой, видимо, не сохранилось. В ответном письме Ланн сообщил Волошину: «Получил Ваши стихи от Дарьи Николаевны <Часовитиной. – *Ред.*>, с которой связался...» (Там же. С. 53).

[20] А. В. Кривцова.

[21] Речь идет о работе Волошина над стихотворением «Мастер», в окончательной редакции распавшимся на два самостоятельных текста – «Поэту» и «Доблесть Поэта» (см.: Т. 2 наст. изд. С. 65–67).

[22] Имеется в виду письмо-предисловие Волошина к книге стихов Ланна «Heroïca». См.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 521–524.

[23] Стихотворение «Подмастерье» – поэтическое кредо к сборнику стихотворений Волошина «Иверни (Избранные стихотворения)» (М.: Творчество, 1918).

[24] «Les Nouvelles Littéraires» – литературный еженедельник, выходил в Париже с 1922 (по 1986 г.).

4. Н.А. и А.Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

14–17 января 1925 г. Коктебель

14 = 1 янв<аря> 1925. Коктебель.

Милые мои Саша и Наташа,

поздравляю Вас со старым годом (т.е. с ст<арым> нов<ым> Год<ом>).

Праздники у нас проходили так: приехала Нилушка...[1] (За 3 месяца первая гостья! Вот у нас как зимой). Здоровались. Друг другу в ноги кланялись (кошка сперва подбежала смотреть, чтó мы на полу едим, а потом задрала хвост и прыснула – решила, что ее бить собираются). Потом 2 дня Нилушка

и Маруся стряпали и пекли. Маруся уже за месяц стала покупать к празднику ощипанных гусей («Ему вол лапу отдавил — только потому зарезали»), колбасу ливерную и кровяную, сальтисон...[2] И все прибавляла: «Это для тебя, Мася». А когда все было настряпано, вдруг спохватилась: «А как же диета?!». И начала уговаривать: «А ты, Макс, лучше не ешь...». Но уж не тут-то было, и я в три дня наверстал все, что спустил за 3 месяца «Таноба»,[3] и с избытком. С Нилушкой мы болтали еженощно, чуть не до света, читали ей письма и показывали картинки, а Маруся тем временем в себе вместо ушной зубную боль развивала и дошла до того, что на 3<-ий> день праздника ей пришлось идти вместе с Нилушкой в город к дантисту.[4]

Что тут было.... Все звери вслед за Марусей пошли к дантисту. Тату 3 раза с дороги на веревке домой приводили. 4 дня жили мы с Иос<ифом> Викт<оровичем>[5] вдвоем сиротами. Доедали гусей. Он готовил «ВЕРЕЩАКУ»[6] из колбасы и польский суп из гуся. Сам кормил псов, а я Тэгу и кур и спасал из-под Тату яйца.[7] Кошку мы в дом не пускали — только на 5 минут — попробовать «ВЕРЕЩАКИ». Но и в эти 5 минут она успевала оставить след под кроватью И<осифа> В<икторовича>. (Тут я понял, что это она делает не по невоспитанности, а «принципиально»). Во все часы дня и ночи ко мне стучались девки из деревни и сообщали: «У тетеньки у нашей — запор. Так что Марью Степановну нам». — «Сама больна — в город к доктору ушла». Потом привозили испитых баб, глаза которых тускло мерцали о выкидышах и кровотечениях... — «Ну, что ж — мы до вечера подождем»....

Наконец, под самый старый год вечером Маруся пришла. Мы ее накормили, напоили и уложили в постель. Так что новый ст<арый> год она встречала в постели, а я сидел рядом. Пред этим мы читали вслух всю уйму писем, что пришла на праздники, и Ваше, милые Наташа и Саша, с описанием Вашего Н<ового> Года.[8] А над заливом в это время клубились Тернеровские туманы, и сияла Оссиановская мглистая луна.[9] В полночь мы-таки откуп<о>рили декоративную бутылку с портвейном и выпили по глотку из маленькой рюмочки.

Милая Наташа, письма твои очаровательны — от них такое впечатление, что точно мы сами с Вами там были. И у

меня все время тревожная мысль: вот они растранжирятся, а весною денег на Коктебель не хватит. Саша, тебе надо достать у Ланна еще перевод[10] и с апреля месяца приехать переводить в Коктебель. Вообще мне кажется, что сезон в этом году начнется очень рано.

Книга Фробениуса, о которой ты пишешь, Саша, меня очень заинтересовала.[11] Это немец, конечно? Откуда этот Шпенглеровский дух в характеристике рас? От Шпенглера ли или это сейчас общенемецкий стиль, в котором сам Шпенглер мыслит? Я сейчас с большим интересом прочел Уэлсову «Краткую историю мира» и еще более заинтересовался его «Очерками истории».[12] Видал ли ты их? Будут ли они переводиться?

17/I. Вчера был грозовой день. Из Марусиной двери так и летели «черти», «сволочи» и «в морды». «Кошечка» была вздернута за шиворот и отшлепана лично: «Макс! пожалуйста, повесь ее!!». Вечером было покаяние, и Маруся, потихоньку встав с постели, бегала в одной рубашке на холодную лестницу просить у кошки прощенья и мириться.

Сегодня великолепный солнечный день, пахнет весной, и поэтому устроена с утра генеральная мойка всех полов в доме. Маруся чувствует себя богатой, счастлива и возбуждена. Куры снесли за день 5 яиц (вместо одного обычного, а, может, и Тату сплошал).

— Макс, ты будешь приносить каждое утро одно лишнее ведро воды — только для Тэги — он мыться хочет каждое утро!

Не знаю, хочет ли Тэга мыться, но он весьма в этом нуждается, т<ак> к<ак> спит на каменном угле, стал трубочистом.

Приписка М.С.Заболоцкой:

Ужасно смешной Макс, конечно, он наблюдатель, а я активно живу и тащу на себе всю ораву и люблю их всех, и мучают они меня. Белье вымыто, сегодня глажу — за два часа высохло — дни стоят божественные. Я почему-то беспричинно беспокоюсь, что летом не соберетесь, что денег нет и трудно жить, и что пакости начнутся с домом. А жду вас всех очень. Милая Наташа, какая ты милая и Саша. Мы вас любим, как

родных, и такая большая и глубокая связь с вами. Письма твои очаровательны, мы их перечитываем по нескольку раз. Слушай, Наташенька, а как же с пилой? Я напишу открытку Саше. Пила так необходима. Сейчас наступили прекрасные дни, и нужно подрезать сад, но пилы нет, и все стоит. Пожалуйста, устройте пилу. Харьков пока отложен,[13] ухо не болит, а болят зубы. Сейчас лечу и завтра опять иду в город. Прошлый раз возвращалась домой горами, был чудный день. У нас так хорошо бывает, что так бы и шел, и шел до края света. Сегодня получили, наконец, за всю зиму первое письмо Анчутки.[14] Хорошая и смешная, и трогательная – просит выкройку, хочет сшить Саше ермолку. Милые вы. Вижу лето – Сашу, бегущего к Анчутке за новостями. Ах, как будет хорошо, когда вы все опять соберетесь. Как полна жизнь, не наполнена, а мы все-таки большей половиной живем вашей жизнью, и я так беспокойно боюсь, а вдруг да не будет опять так хорошо. Пишите чаще.

Наташа, скажи Шервинским, что я очень огорчена, что они нас забыли и не пишут. Мне грустно, я беспокойно пересматриваю почту, и письма нет. Не хочется верить, что они забыли нас и Коктебель. Если встречаете Веру Эфрон – уговорите ее отдать нам Кота[15] на зиму, а летом она будет к нему приезжать, а на Пасху и Рождество мы его будем привозить. А то им так трудно живется. Крепко вас целую и жду письма. Господь с вами. Поцелуйте всех, кого встречаете, и большой привет Вере Бердяевой, забыла ее отчество.

Твоя М<аруся>.

[1] Н. В. Успенская. Постоянно проживала в Феодосии.

[2] Сальтисон – мясное изделие польской кухни (отваренные, мелко порезанные свиные потроха с приправами).

[3] Подразумевается аскетическое воздержание от пищи. Таноб («темница») – обитель для кающихся монахов в Фиваиде, описанная Иоанном Лествичником (VI в.). В 1924–1926 гг. Волошин работал над философской поэмой «Таноб» (см.: Т. 2 наст. изд. С. 70–76).

[4] См. примеч. 7 к п. 1. М. С. Заболоцкая возвратилась в Коктебель вечером 13 января (Труды и дни – 2. С. 250).

[5] И. В. Зелинский.

[6] Верещага – яичница-глазунья, яичница со свининой.

[7] Домашние животные: Тэга – гусь, Тату – собака.

[8] Рассказ об устроенных в квартире Габричевских многолюдных новогодних застольях (Г. Г. Шпет, О. Ф. Головина, В. В. Бердяева и др. – всего 20 человек) содержится в письмах к Волошиным А. Г. Габричевского от 6 января 1925 г. (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 143–144) и Н. А. Габричевской от 3 января 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 3–4 об.).

[9] Ассоциации с живописью английского живописца и графика Уильяма Тёрнера (1775–1851) и «Поэмами Оссиана» (1765) Джеймса Макферсона, выдавшего собственные тексты за переведенные с гэльского языка сказания легендарного барда кельтов. «Оссианические» мотивы были весьма популярны в русской романтической поэзии (см.: *Левин Ю. Д.* Оссиан в русской литературе (конец XVIII – первая треть XIX века). Л.: Наука, 1980).

[10] Отклик на сообщение в письме Габричевского от 6 января 1925 г.: «Добрый Ланн дал мне перевод скучнейшего железнодорожного романа Pierre Hamp. Le rail. Работа была отчаянно трудной, благодаря вычурному и технически перегруженному языку и требованию редакции по возможности все сглаживать и обезличивать. Теперь, слава Богу, рукопись сдана, и деньги давно съедены» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 144). Упоминаемый роман Пьера Ампа «Рельсы» (1912) в переводе Габричевского был опубликован отдельным изданием (М.: Земля и Фабрика, 1925).

[11] В цитированном письме Габричевский сообщал: «...прочел интереснейшую книгу Frobenius'а о древних и современных культурах Африки. Это сводка колоссального материала, добытого за несколько десятилетий, и блестящая характеристика главных типов культурных "душ" <...>, характеристика, построенная на основной идее двух первичных моментов всякой культуры (как растения): хтонического, корневого, матриархального, материалистического, магического (напр<имер>, Франция) и теллурического, надземного, патриархального, спиритуалистического, символически-мистического (напр<имер>, Германия)» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 144; исправлено по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 382, л. 16 об.). Видимо, речь идет о книге Лео Фробениуса «Dokumente zur Kulturphysiognomik. Vom Kulturreich des Festlandes» (Berlin, 1923).

[12] Имеются в виду книги Герберта Дж. Уэллса «A Short History of the World» (1922; русский перевод: Краткая История Мира. М.: Мосполиграф, 1924) и «Очерк всемирной истории» (о последнем Волошин мог узнать из статьи Джона С. Шапиро в журнале «Современный Запад»: 1922. Кн. 1. С. 149–151).

[13] Подразумевается запланированная М. С. Заболоцкой поездка в Харьков для лечения уха.

[14] Прозвище Анны Александровны Кораго (1890—1953). См. о ней: *Пустарнаков Ю.А.*, *Савельева Н.В.* «Глубочайшее в мире — голос...» Рядом с Волошиным // Творчество Максимилиана Волошина: Семантика. Поэтика. Контекст. Сб. статей. М., 2009. С. 325—326.

[15] Домашнее имя малолетнего Константина Михайловича Эфрона (род. в 1921 г.), сына В. Я. Эфрон и М. С. Фельдштейна.

5. В. Я. ЭФРОН

16—18 января 1925 г. Коктебель

16/I 1925.

Зимн<ий> почт<овый> адр<ес>: Феодосия, д<ом> Айвазовского. Н. В. Успенской для М. В.

С Новым годом, милая Вера! Спасибо за письмо.[1] Но ты в нем ни одного слова не пишешь ни о Лиле, ни о Мише.[2] А как раз последнее твое письмо (3 месяца!!) было о здоровье Лили. Я тогда ответил тебе с Соней Толстой. Была ли Лиля у Плетнева? Что с ней и как она?[3]

Все, что ты пишешь о себе, очень грустно, а за словами чувствуется еще большее. Эх, Вера, так хотелось бы тебя совсем перетащить в Коктебель. А если тебе совсем невозможно, то хотя бы Кота, чтобы он окреп и нагулял здоровья вне города. Маруся тебе подробно пишет свой проект, к которому я присоединяюсь всецело.[4] Коктебель и нас надо использовать, пока мы существуем в этой комбинации (а у меня далеко нет уверенности, что это продлится еще долго...).

Эту зиму у нас тепло, и потому живется нам очень хорошо. Пока есть свет, я пишу акварели, а с лампой читаю до глубокой ночи. Стихов не пишу эту зиму. Я их так много читал в Москве,[5] что до сих пор во рту остается какое-то пренеприятное вкусовое ощущение (точно конских каштанов объелся), когда я пробую повторять собственные стихи.

И вот все-таки кажется, что день слишком мал и ничего не успеваешь делать и никак не успеваешь лечь в 12 час<ов>, а всегда задерживаешься часов до 2—3-х ночи и потому встаешь поздно. Я никогда с такою страстью не работал в живописи, как теперь.

18/I. Хотел тебя спросить об А<н>чутке, которая нам так ни слова не написала с отъезда из Крыма, но сегодня как раз получилась от нее обширная «простыня».[6]

Я не вижу из твоего письма: есть ли у тебя работа и где? Что делает Лиля? Как ее театральные дела?

Имеешь ли ты письма от С<ережи>? Что с ним и где он?[7] Написала ли ему, почему я не пишу ему? Это очень нужно сделать, а то он будет недоумевать.[8]

Напиши о здоровьи Кота? Прошли ли его железы?[9]

У меня в жизни сейчас нет событий и внешних впечатлений совсем. В городе не бываю совсем. К нам за 3 месяца только раз пришла Нилушка[10] на праздники. А так никого, кроме Юнге (изредка) да И. В.,[11] и не видим. Но чувствуется, это очень хорошо. Но и ты приблизительно так же живешь. Но зато письма приходят часто и со всех концов и беседа с коктебельцами ведется непрестанно.

Крепко, крепко тебя обнимаю и целую. А также и Кота, и Мишу, а больше всего Лилю.

МАХ.

Заметил, что *тебе* мне очень трудно писать письма. Может быть потому, что мы с тобою вообще привыкли дружески помалкивать друг с другом.

[1] Письмо В. Я. Эфрон к Волошину от 1 января 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1345, л. 27–27 об.), в котором она жаловалась на «мелкие, но мучительные передряги»: «...год мой неудачен, почти без заработка и <с> целым рядом житейских неудач».

[2] Е. Я. Эфрон, М. С. Фельдштейн.

[3] В. Я. Эфрон отвечала в письме, оконченном 14 апреля 1925 г. (Там же, л. 28–30 об.): «Лиля совсем недавно собралась к Плетневу, и он ей дал какие-то лекарства, кот<орые> ей очень и очень помогают. Она долго восклицала: милый Макс, что он меня послал, и так далее. Она живет Святым Духом, носится по всей Москве, работает у себя в студии и мечтает о здоровье».

[4] См. примеч. 15 к п. 4. В том же письме В. Я. Эфрон отвечала Волошину: «Как тронули вы меня своим письмом и предложением взять Кота к себе. И хотя мне было очень трудно, но не настолько, чтоб с Котом расставаться и такою тяжестью ложиться на друзей. И не так мне было скверно, как Вы думали, но просто у меня сил не хватает на все жизненные гадости».

[5] Имеется в виду пребывание в Москве в марте – начале апреля и в середине мая 1924 г.

[6] См. примеч. 14 к п. 4. Речь идет о пространном письме А.А. Кораго к Волошиным и И.В. Зелинскому от 9 января 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 687, л. 4–5 об.).

[7] С.Я. Эфрон. В.Я. Эфрон отвечала в цитированном письме: «У Сережи с Мариной <М. И. Цветаева. – *Ред.*> родился сын, назван Георгием. Сережа пишет о нем с большой нежностью. Лиля несколько дней ходила совсем убитая, так как считает, что дети у Марины рождаются для очень больших страданий, а Сережа не в силах их оградить от мучений, кот<орые> им создает Марина».

[8] Осенью 1924 г. С.Я. Эфрон писал Е.Я. Эфрон из Праги в Москву: «Сообщи мне адрес <...> Макса. Последний, вот уже год, как мне ничего не пишет» (*Цветаева Марина.* Неизданное: Семья. История в письмах / Составление и комментарии Е. Б. Коркиной. М.: Эллис Лак, 1999. С. 314). Опасаясь возможных новых политических обвинений, Волошин в 1924 г. перестал переписываться со своими корреспондентами, оказавшимися за рубежом.

[9] В письме к Волошину от 1 января 1925 г. В. Эфрон сообщала о сыне: «Коташка болел носоглоточной ангиной, температ<ура> после была повышенная больше месяца, сейчас осложнение осталось – опухшие железы».

[10] Н. В. Успенская.

[11] И. В. Зелинский.

6. Е.Я. ЭФРОН

18 января 1925 г. Коктебель

18/I 1925.

Милая Лиля,

с Новым годом и с праздниками. Очень хочется знать, что с тобой, как твое здоровье и как твоя театральная работа этой зимою.

Была ли ты у Плетнева с моим письмом?[1] Устроилась ли с санаторией? Приедешь ли в Коктебель в этом году?

Если б ты приехала с начала апреля, то могла бы пробыть до самого конца июня, не рискуя в эти месяцы никакими жарами. Они ведь только в июне начинаются. А апрель и май –

солнечны и совсем прохладны, особенно днем, когда тянет бриз с еще не согревшего<ся> моря (крымский парадокс).

Мне очень хочется, чтобы ты повидала теперешний Коктебель и освятила его своим присутствием и хохотом.

Об этом лете ты, вероятно, много слыхала. Нечто существенно изменилось с прежних лет. Все живущие теперь гораздо крепче и теснее друг с другом оказываются связаны. А стало их раз в десять больше количественно. А т<ак> к<ак> я боюсь, что коктебельскому раю продолжаться не долго и что в конце концов меня отсюда выгонит местное население, то не откладывай своего приезда.[2]

Крепко тебя обнимаю и за себя, и за Марусю.

Макс.

[1] См. примеч. 3 к п. 5.

[2] В 1925 г. Е. Я. Эфрон в Коктебель не приезжала.

7. Е. И. ШАМУРИНУ

Около 22 января 1925 г. Коктебель

Гр<ажданин>!

Позвольте мне исправить одну неточность, которую я случайно допустил, посылая Вам просимую Вами био-библиограф<ическую> анкету.[1]

Мое первое стихотворение «Над могилой В. К. Виноградова» было напечатано в сборнике, посвященном его памяти, не в 1894 г., а *в апреле 1895 года* (изд<анном> в Феодосии). Это было гимназическое стихотворение, случайно попавшее в печать, а по-настоящему я стихи начал печа<та>ть только спустя 8 лет. В журнале «Новый Путь» в июньской или в июльской книжке за 1903 был напечатан цикл моих стихов о Париже и одновременно в «Северных цветах» — стихотворение [«Железная Дорога»] «В вагоне».

Максимилиан Волошин.

Зимн<ий> адрес: Феодосия, д<ом> Айвазовского. Н. В. Успенской для меня.

[1] Речь идет об автобиографической заметке, представленной Волошиным для антологии «Русская поэзия XX века», составленной И. С. Ежовым и Е. И. Шамуриным (М.: Новая Москва, 1925. С. 568). См.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 223–224.

[2] Ср. опубликованный в антологии текст: «Первое литературное выступление – стихотворение “На могиле В. К. Виноградова”, напечатанное в сборнике его памяти в 1895 г. в Феодосии. Первое серьезное выступление – стихи в “Новом Пути” и в “Северных Цветах” (“В вагоне”) – в 1903 г.» (Там же). Сборник «Памяти Василия Ксенофонтовича Виноградова» (Сост. Ю. Г<алабутский>. Феодосия, 1895), в котором было опубликовано стихотворение Волошина «Над могилой В. К. Виноградова» (С. 50), вышел в свет, по всей вероятности, во второй половине июля 1895 г. (дата цензурного разрешения – 8 июля 1895 г. // Труды и дни. С. 41).

8. В. А. РОГОЗИНСКОМУ

27 января 1925 г. Коктебель

27/I 1925.
Коктебель.

Зимн<ий> почт<овый> адр<ес>:
Феодосия, д<ом> Айвазовского.
Н. В. Успенской для М. В.

Милый Володя,

спасибо за краски и за кисти. Маленькая слишком мала, но длинная оказалась великолепна и открыла новые возможности – тонких и длинных волнистых линий. Когда я узнал о смерти Эр<неста> М<орицевича> и что Ольга Артуровна в Феодосии,[1] я сейчас же написал ей и послал 3 акварели (для нее, для тебя, для Лизы[2]). Но они опоздали: попали в город в то утро, когда она уехала, а я получил краски и письмо после. Я всю эту зиму пишу акварели, а стихов не написал ни одного. В связи с этим на меня надвигается новая беда: истощается мой запас бумаги, и я хочу тебя просить о двух услугах: 1) собрать у знакомых техников и архитекторов старой бумаги из-под чертежей, на которой можно было бы рисовать с обратной стороны, 2) узнать, нельзя ли купить в Москве александрийской бумаги в рулонах. К. Ф.[3] говорит, что он видел такую и что рулон стоил червонец. Если это так, то, пожалуйста, купи

для меня рулон и вышли мне по почте наложенным платежом. (Если длинен — то можно перерезать пополам — мне очень больших поверхностей не надо.) На всякий случай прилагаю образец, который меня вполне удовлетворяет, если будет толще и шероховатее — тем лучше. Если неудобно наложенным платежом — напиши, я тебе вышлю денег, т<ак> к<ак> надеюсь скоро получить (ежели не сможешь мне авансировать).

Недавно я получил французскую новую книгу по архитектуре, которая меня привела в полный восторг. Автор архитектор Корбюзье-Сонье «Vers une architecture». Ed. George Crès. Paris. 1923.[4] Там есть все, о чем мы когда-то с тобой много говорили. Автора я не знаю. Но вся книга посвящена одному моему приятелю — художнику и критику, с которым мы <в> свое время тоже много говорили,[5] и потому в ней, быть может, есть кое-что и из моих семян. Во всяком случае она блестяще развивает все те идеи об архитектуре, под которыми я свободно мог подписаться. Тебе и Весниным[6] необходимо ее достать и если не прочесть, то по крайней мере просмотреть рисунки, которые подобраны великолепно. В конце он очень умно, логично и экономно разрешает вопрос о современном жилище.

В Париже сейчас кварт<ирный> кризис и прошел закон о постройке 500 тысяч квартир. Он ставит вопрос о фабричном производстве всех строительных элементов сериями и об архитектурных комбинациях этих данных. В эстетической же части своей книги он очень хорошо выявляет «современный стиль» — (из паке<т>бота, аэроплана, автомобиля) и доказывает единство его принципа с Акрополем, Св<ятой> Софией,[7] Микельанджело. И в то же время полную абсурдность всех современ<ных> *архитектурных* попыток. Он хорошо и точно определяет, что современная квартира должна быть «машиной для житья». Умная, талантливая и очень смелая книга, дающая очень много. Я получил ее на время из Москвы от Тихона Сорокина, но это не его книга. Если ее нельзя нигде достать, то я попрошу его дать ее тебе на время, когда верну ее.

Привет Ольге Артуровне, Лизе и детям. Крепко тебя обнимаю и хотел бы знать о тебе подробнее.

МАХ.

Эти акварели пошлешь К. Ф. Кандаурову вместе с выставочными.

[1] Э. М. Редлих (1858–1924 или 1925), отставной военный, художник-любитель, фотограф, и О. А. Рогозинская.

[2] Елизавета Павловна Редлих (в замужестве Кривошапкина; 1897–1988) – двоюродная сестра В. А. Рогозинского, художница; автор воспоминаний о Волошине (см.: Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 311–321).

[3] К. Ф. Богаевский.

[4] Книга «К архитектуре» Шарля Эдуара Ле Корбюзье (Le Corbusier; наст. фам. Жаннере, Jeanneret).

[5] Имеется в виду французский архитектор Тони Гарнье (1869–1948). Волошин общался с ним в Париже в 1901–1902 гг.

[6] Архитекторы братья Веснины – Леонид Александрович (1880–1933), Виктор Александрович (1882–1950), Александр Александрович (1883–1959), представители конструктивизма.

[7] Имеются в виду афинский Акрополь с памятниками древнегреческой архитектуры классического периода и храм Софии (Айя-София) в Константинополе (Стамбуле), наиболее значительный памятник византийского зодчества (532–537, архитекторы Анфилий из Тралл и Исидор из Милета).

9. Б. А. ШПАРО

2 февраля 1925 г. Коктебель

2 II 1925. Коктебель.

Зимн<ий> почт<овый> адр<ес>:
Феодосия, д<ом> Айвазовского.
Н. В. Успенской для Волошина.

Дорогой Борис Александрович,

не могу сказать, как меня огорчило, когда я узнал, что К. Ф. Богаевский так и не прошел по IV раз<ряду> в Ц.К.У.Б.У. и что ему назначено только единовременное пособие.[1] Я узнал это от него, будучи в Феодосии. Тогда я его стал уговаривать позволить мне делиться с ним тем, что я буду получать ежемесячно, и у меня была надежда преодолеть его щепетильность.

Но вот сегодня я получил перевод ЦКУБУ на мое имя на 6 червонцев тоже с обозначением «*единовременное* обеспече-

ние», что меня повергло в крайнее смущение и беспокойство. Согласно Вашему письму я предполагал, что мое зачисление по IV кат<егории> уже дело свершенное и что я буду получать ак-обеспечение регулярно с декабря 1924 г. – и что эти 6 черв<онцев> есть выдача за декабрь и январь.[2] Теперь же эта пометка «единовременное» совсем меня сбила с толку. Буду с большим нетерпением ждать Вашего разъяснения, Борис Александрович.[3]

Я надеюсь, что не мои же слова в моем последнем письме к Вам о том, что я был бы готов отказаться от всякого регулярного пособия, лишь бы его получил Богаевский, повели к тому, что мы *оба* оказались лишены его.

В течение всех этих лет ак-обеспечение являлось единственным *постоянным* ресурсом моей жизни, т<ак> к<ак> никаких ни литературных, ни художеств<енных> заработков я не имею и если я делился и делюсь ими с теми, кто нуждаются еще больше, чем я, то это отнюдь не от моих богатств, а от своей скудости, что и необходимее и важнее.

Но, быть может, все мои тревоги напрасны и это единовременное пособие только дружеское внимание с Вашей стороны: возмещение за те месяцы, что я не получал ничего.

Очень хотел бы, чтобы оказалось так.

Крепко жму Вашу руку и благодарю за Ваше дружеское внимание к нашим крымским делам и ко мне лично.

Максимилиан Волошин.

[1] ЦЕКУБУ – Центральная комиссия по улучшению быта ученых при Совете Народных Комиссаров. См. заявление Волошина (12 ноября 1924 г.) с просьбой перевода выделенного ему академического обеспечения в 4-ю категорию (вместо 3-й категории, в которой он состоял): Т. 12 наст. изд. С. 834–836. Еще 4 ноября 1924 г. К. Ф. Богаевский сообщил Волошину, что, согласно письму Б. А. Шпаро, с октября прекращается выдача академического обеспечения, за исключением лиц, состоящих в 4-й и 5-й категориях (Труды и дни – 2. С. 243). Известив Волошина (в письме от 28 ноября 1924 г.) о его переводе в 4-ю категорию, Шпаро добавлял о Богаевском: «О нем я уже несколько раз говорил докладчику в нашей экспертной комиссии П. С. Когану и послал ему Ваше заявление о К. Ф. Думаю, что скоро разрешится вопрос и о нем, но *как* – право, пока

ничего сказать не могу. <...> Вообще все эти дела у нас теперь проходят туго из-за общего безденежья» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1312, л. 1–1 об.). О том, что Богаевский не был зачислен по 4-й категории в ЦЕКУБУ, Волошин узнал, посетив его в Феодосии 20 или 21 января 1925 г. (Труды и дни – 2. С. 251).

[2] «Не могу точно сказать, но есть надежда, что академическое обеспечение Вам назначат с декабря», – писал Шпаро Волошину 28 ноября 1924 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1312, л. 1).

[3] Публикуемое письмо не было отправлено адресату, поскольку 4 февраля 1925 г. Волошину в Феодосию поступил денежный перевод – академическое обеспечение за январь 1925 г. (см. п. 11, примеч. 9).

10. Ю. А. ГАЛАБУТСКОМУ

3 февраля 1925 г. Коктебель

3/II 1925.

Дорогой Юрий Андреевич,

Вы меня просили о рукописи моих последних стихов. Посылаю Вам «Неопалимую Купину» и «Путями Каина». Очень прошу обо всякой осторожности – это один из двух экземпляров, которыми я располагаю. Не давайте никому. Переписывать у Вас в комнате – не воспрещается. Посылаю Вам их на 2 недели. Маруся, возвращаясь из Харькова, возьмет их у Вас.[1]

Всего лучшего. Привет Анне Яковлевне[2] и всем Лельеврам.

Максимилиан Волошин.

«Демоны Глухонемые» целиком входят в «Неопалимую Купину».[3]

[1] М. С. Заболоцкая выехала из Коктебеля в Харьков для лечения утром 4 февраля.

[2] А. Я. Галабутская (урожд. Лельевр), жена Ю. А. Галабутского.

[3] Композиция книги Волошина «Демоны глухонемые» (Харьков: Камена, 1919) в книге «Неопалимая Купина» не сохранена, составляющие ее стихотворения распределены по разделам «Пламена Парижа», «Пути России», «Возношения».

11. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

4—5 февраля 1925 г. Коктебель

4/II 1925. Коктебель.

7 ч<асов> 15 м<инут>. Маруся уехала.[1] Пошел запирать собак. Тату вывернулся в дверях. Поймал его за хвост. Перехватил за шиворот и втолкнул в комнату. Начался рыдающий собачий вой.

Выпустил кур, накормил. 3 яйца в бочке. Позже еще одно. Гимнастика. Раздумье.

9 час<ов> утра. Пришел старичок ставить изгородь. Выяснился бывшим монахом: отец Гурий. Брали колья. Мерили шагами границы. Работа началась.

11 ч<асов> утра. Поднялся И<осиф> В<икторович>.[2] Тоже ночью не спал. Принес дрова. Пили кофе.

12 ч<асов>. Смрад вплоть до моей комнаты. Печется хлеб. Нижняя корка обуглилась. Дышать в столовой невозможно.

2 ч<аса> дня. Обедали (Марусин суп с грЫбами). Старичок утащил у кур таз с водой: поливать колья, вбитые в землю. Потом горстями пил из ванны воду сам. Приходил Петр.[3] Привез проволоку. Сетовал: «Не мне дали изгородь делать. Я бы дешевле взял. Рублей 15. М<ария> С<тепановна> вначале обещалась». Ходил за водой. Спать не ложился. Святская так и не приходила. Писал акварели с заходящими солнцами.

5 ч<асов>. Кур и собак кормил И<осиф> В<икторович>. Ходил запирать и считать. Не счел: перебегают и хлопают на меня крыльями. Ничего не выходит.

На неогороженном куске уже все колья забиты и укреплены (40). Завтра будут натягивать с утра.

В сумерках пришел Суин:[4] предупредить М<арию> С<тепановну>, что пшеница подорожала – 2 р. пуд.

– Возьмете?

– Принесите все-таки пуд.

Долго ходил по берегу. Тихо. Лунно. Облачно.

7 час<ов>. Зажег лампу. Пробовал читать: засыпаю. Жду бат<юшку> из города с письмами. Слушаю колеса по шоссе. Облака разошлись. На Св<ятой> горе снег куполом. Ярко горит под луной. Очень тихо. Свежо. Бат<юшки> нет.

8 час<ов> веч<ера>. Наконец-то... Здравствуй, Маруся! У линейки сломались рессоры, и они приехали поздно. Шли пешком. И письма, и булки, и масло, и ак-обеспечение....[5] Спасибо, Маруся. С глубоким волнением прочел письмо Ан<ны> Петр<овны> об умирающем Бобби.[6] И почему-то опять вспомнилось его удивительное сходство с Кони. Как он-то себя чувствует эту зиму.

Как удивительно относятся к нам люди, и как мало, бесконечно мало мы делаем, чтобы заслужить это. Летом надо быть гораздо напряженнее и строже к себе.

Как ты это умудрилась африканский жир потерять?[7] Я его не клал на линейку и думал, что ты его несешь (я нес корзину и мешок, где яйца). Но дома его нет. Впрочем, я нисколько не жалею о его потере. Это к лучшему. Или он был в одном мешке с яйцами? Значит и яйца потерялись?

10 ч<асов> 20 м<инут> ночи.

Кончили пить чай, читать газеты, и я хочу сейчас лечь спать, но минутку еще поговорю с моей Марусей. Я хочу сейчас же писать К<онстантину> Ф<едоровичу>,[8] что я не могу не делиться с ним, если я буду получать ежемесячно по 6 черв<онцев>. По 3 каждому – это вполне нормально будет, а то стыдно быть такими богатыми.

Хорошо, что не послала Шпаро письмо.[9] Я напишу другое. Ты просишь адрес Анаст<асии> Осип<овны>?[10] Вот: СПб. Ул. Плеханова (Казанская) 36, кв. 38. А<нне> П<етровне> – напишу сейчас же.[11]

Сейчас лягу спать. Я так и не спал сегодня днем. А завтра с 8 ч. придут работать над изгородью. Вообще с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. А сейчас отдам честь булочкам, маслу и зелен<ому> сыру.

Хлеб наш наполовину обуглился, но остальное ничего. Только он со слезой: кристаллы соли не растворились, а в печке растаяли, стали жидкими и едко солеными гнездами.

Покойной ночи, Марусенька.... А у меня есть щеночек. Породистый. Хвост крючком. Зев черный. Вырастет, злой будет. Да, щеночек, купи еще в Харькове гвоздиков – декоративных – какие мы для развески акварелей употребляем: острых

и кованых (не из проволоки). Они так и называются «декоративными» (у обойщиков).

Крепко, крепко тебя целую. Сейчас ты спишь у Нилушки,[12] а завтра мы проснемся и подымемся одновременно – 7 час. утра. И было утро, и была ночь. От Марусиного отъезда – день первый.[13]

5/II 1925.

7½ утра. Марусенька, доброе утро. Ты теперь уже наверное проснулась и суетишься, готовясь к отъезду, а Нилушка топит печку.

Раскрыл ставню и впустил восходящее солнце. Теплый, густо золотой луч лизнул стену. Солнце низко. Море сине-золотое.

8½ <утра>. Пришел отец Гурий продолжать изгородь. Уже весь пустопорожний участок окружен столбами. Сегодня начинают натягивать. Оставшийся от креста длинный обрезок бревна я велел закопать там, где будут ворота. Где дереза, будем затягивать плеши завтра. Куры накормлены. Их пока 7 + петух + Александра Александровна[14] = 9. Все благополучно. К Тату в гости приходила Клизмочка. Я ее позвал. Она от восторга кобянилась, лежа на спине. Солнце. Теплынь. Запахи земли.

10 час<ов>. Сделал гимнастику. И<осиф> В<икторович> зашевелился. Пойду к нему. Чай пить.

11 ч<асов> утра. Пили чай. *И<осиф> В<икторович>*: «Тут, когда Вы ушли, куры дрались. Не новенькая. А две старых. В кровь. Петух хоть и дурак, но и он разнимал их».

Один ряд проволки натянули. Но шесть пудов хватит только на три ряда. Придется еще прикупать.

Вот еще что *н е п р е м е н н о* надо купить в Харькове, Маруся, – *СЕМЯН* разных однолетних растений декоративных: метелок (они же однолетние кипарисы – лат<инское> имя *kohia* (кохия)), конопли индейской, дрока, рицинуса, *цветочных* подсолнухов, хмеля, тыквы вьющейся.

11½ <часов>. Нет. Мне определенно не дают начать писать стихи. Пришел Суин, принес пшеницу для кур. У нас, т<аким> обр<азом>, 2 пуда (с тобой присланной). До твоего

возврата будут сыты. Сяду «думать». А ты уже катишь к Джанкою где-нибудь около Ислам-Терека....

2 часа. Позор.... Сел «думать» — и крепко уснул, сидя в кресле. Даже сон видел про то, что наш дом перестроен, и мы новую мастерскую устраиваем и какую-то старинную громоздкую мебель расставляем. Проснулся от стука Иос<ифа> Викт<оровича> — к обеду.

3 ½ ч<аса>. Работа кипит. Уже изгородь готова вокруг пустопорожнего, и проволока вся. Просил бат<юшку> купить 2 п<уда>. Проволка Петрова не очень хорошая. Местами проржавела и ломается уже. Затянули в 3 ряда, а половину в 4. Кольев тоже не хватает. Батюш<ка> обещал к завтраму еще штук 30 достать и проволоки 2 пуда. Сейчас же советует и дерезой засаживать. Буду договариваться с о<тцом> Гурием.

Ольга Анд<реевна>[15] бесконечно внимательна. Вчера взяла у Иос<ифа> Вик<торовича> и вымыла *всю* посуду. Сегодня сама пришла собак кормить.

Сегодня стихов не писал. Но все-таки есть одно важное достижение: не написал и ни одной акварели. Видишь — все-таки взял себя в руки!

6 час<ов> веч<ера>. Ограда почти закончена. Все колья и вся проволока уже ушли. Чтобы доделать всё, надо еще прикупить 2 п<уда> проволки и 10 кольев. И то и другое обещал достать к завтраму батюшка.

Я так все время после обеда провел сегодня на дворе и на ногах. Сейчас опьянен воздухом и бодрой усталостью.

После солнечного утра был тихий, перламутрово-серый <день>. К 4 ½ налетел с северо-зап<ада> ураган с брызгами минут на 15 и вновь стих. Из-за Узун-Сырта[16] лезут мокрые тучи.

За всю зиму столько не разговаривал с коктебельскими жителями, как сегодняшний день. Вечером уже вдоль новой ограды проходила Раиса Иван<овна>.[17]

«Женя[18] скоро возвращается. В Москве работу достать невозможно. Вы к нам переменились. Женечка Вас очень любит. Хотела часто летом к Вам пойти, и неловко...».

Куры спать «полягали». Собаки набегались и налаялись. Мы с Иос<ифом> Викт<оровичем> наговорились. Письмо

сейчас запечатаю и снесу бат<юшке>. Он с утра идет в деревню.

Где-то ты сейчас? Верно, уже за Джанкоем. С кем разговариваешь в вагоне? Благодаря весенним дням, жизнь совсем иная, чем когда ты уходишь в город. Чувствую сейчас, насколько ты была мне оградой от мира. Без тебя сразу ушло мое *уединение*, даже странно.

Милая ты моя, любимая моя. Только бы с тобой ничего не случилось, и диагноз уха оказался благоприятен. Крепко тебя обнимаю.

MAX.

[1] Письмо в форме дневника, обращенного к М. С. Заболоцкой, уехавшей в Харьков. Ср. примеч. 1 к п. 10.

[2] И. В. Зелинский (проживал в это время в доме Волошина).

[3] Петр Миронов, коктебельский плотник.

[4] Коктебельский татарин.

[5] Посылка, переданная в Феодосии М. С. Заболоцкой священнику М. В. Синицыну для Волошина.

[6] Речь идет о письме А. П. Остроумовой-Лебедевой от 6 и 23 января 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 15—18 об.), в котором сообщается о болезни ее собаки: «Состояние Боби нас совсем потрясло. Он, бедный, умирает от водянки, вследствие перерождения печени и ожирения сердца. <...> Последние дни он совершенно не отпускает меня на два, три шага от себя. Сейчас же начинает стонать, метаться и такими умоляющими глазами следить за мной, и я все время сижу около него. Ему тогда легче».

[7] В письме, отправленном Волошину в тот же день из Феодосии, М. С. Заболоцкая сообщала: «Уже начались приключения — ты ведь снес банку с америк<анским> жиром в мешке? Но ее не оказалось на возу, очевидно, мы ее потеряли дорогой» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 361, л. 46).

[8] К. Ф. Богаевский.

[9] Имеется в виду п. 9. В цитированном письме М. С. Заболоцкая извещала о получении в Феодосии для Волошина денежных средств от ЦЕКУБУ: «Тут лежит перевод и деньги 62 р. 80 к. за январь — академ<ические> — значит, будут посылать <...> потому письмо Шпаро я посылаю обратно, м<ожет> б<ыть>, ты его переделаешь или совсем не пошлешь. Значит, они тебе просто вместо декабрьск<их> посылают 60 р.» (Там же, л. 46 об.).

[10] В том же письме М. С. Заболоцкая запрашивала адрес А. О. Якубчик, собираясь написать ей из Харькова.

[11] Письмо Волошина к А. П. Остроумовой-Лебедевой, относящееся к февралю 1925 г., не выявлено.

[12] В Феодосии М. С. Заболоцкая остановилась у Н. В. Успенской.

[13] Библейская ассоциация (ср.: Быт I, 5, 8 и др.).

[14] Кличка домашней утки.

[15] О. А. Юнге. Она и ее муж Ф. Э. Юнге жили в это время на втором этаже второго коктебельского дома, принадлежавшего ранее Е. О Кириенко-Волошиной.

[16] Узун-Сырт – горное плато к северо-западу от Коктебеля.

[17] Фамилия не установлена.

[18] Е Н. Ребикова. См.: *Данилова Л. А.* «Была ли моя жизнь поражением? .» (Е. Н. Ребикова в судьбе М. А. Волошина) // Творчество Максимилиана Волошина: Семантика. Поэтика. Контекст. Сб. статей. М., 2009. С. 296–304.

12. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

6–9 февраля 1925 г. Коктебель

6/II 1925. Коктебель. *Пятница*. Письмо 2.

С отъезда Маруси день III-ий.

12 ч<асов> дня.

Милая Марусенька, итак, ты сейчас уже в Харькове и сию минуту должна быть в домрачевских недрах, уже кончили целоваться и, вероятно, беседуешь с т<етей> Сашей...[1] Ну вот. Вчера отнес письмо бат<юшке>. Пили чай с И<осифом> В<икторовичем>.[2] Читали газеты. Затем я успел только написать письмо Саркизову[3] и лег спать. Проснулся сегодня в 7. Опять в окно брызнуло густыми оранжевыми лучами, и постучался о<тец> Гурий. Вчера он был весьма недоволен бат<юшкой>[4] и демонстративно ворчал: «Ишь – поп – обидчивый. Что я, говорит, не дождался его, другого еще взял помощника. Недаром их – попов – гонят». Но это говорилось, очевидно, для помощника – Феди Михайлова. Но бат<юшка> все после обеда им помогал. И сегодня с утра работал с ними. Сейчас осталось уже пустяки. Ушло проволки 6 пуд<ов>. Еще я два

пуда прикупил. И уйдет еще та, котор<ой> огород обтянут. Зато изгородь будет на славу. Надо только скоре<е> делать ворота и калитку. Изгородь всюду 4 ряда.

Бат<юшка> говорил: «Я потому не пошел сам работать, что он этого болгар<ина> привел. У него свои расчеты: он потом с ним пойдет на его винограднике работать. Он – ничего. Только ленив очень. В мона<с>т<ыре> он конюхом служил. А перекопку делать Вы его возьмите, это его дело».

С утра я, значит, смотрел, как они работали там, где дереза. Поставили кое-где колья в плешах. Притянули к ним ту проволку, что застряла в дерезе. (Вытащить ее целиком нет возможности). Кое-где натянули и новую.

Куры целы. Утром снесли 2 яйца. Собаки кланяются тебе. Ажина[5] тычется во все окна и орет. Она вчера опять лезла к колбасе на противень, но опрокинула железный лист, его прикрывавший. На грохот все выбежали, и она была педагогически изгнана. День опять весенний с солнцем и с тучами. Но с севера тянет холодком. Что-то не хочется уходить со двора. Кажется, начну чистку и обрезку.

Ночью и утром молился и крестил тебя, когда ты еще спала в вагоне, и все сердце истекало от любви и нежности к тебе.

10 ч<асов> вечера. Весь день до самой ночи провел в саду. Сперва следил за работой. Указывал. Потом обрезал сучья. Потом просто ходил, ходил, думал. О тебе, о стихах. Звенели внутри стихи. И никак не мог вернуться в комнаты. С самого твоего отъезда, с того момента, когда я пред рассветом увидал Скорпиона над морем – началась весна. Еще холодная: точно ключевая вода через тебя течет. Но все звенит внутри. Точно на горном перевале: сразу закрылось прошлое, и открылись дали того, что будет. Сразу перестроился весь внутренний тон, и душа помолодела. Теперь меня тянет в горы и буду много ходить. Во всем теле сладкое весеннее утомление и уже сейчас песок в глазах. Ложусь и встаю все раньше. Голод к обеду волчий.

Изгородь окончили к обеду (работали 2½ дня). Пришлось прикупить и проволки, и кольев, что стоило около 10 р. Калитки и ворота я пока закрыл проволокой и открытое заткнул дерезой.

С от<цом> Гурием был малый неприятный разговор.

– Вот, Гурий, Вам 3 черв<онца>, у меня нет меньше. Верните мне червонец сдачи.

– А мы ведь с М<арией> С<тепановной> уславливались за 25...

– Я знаю только, что за 20. Так мне сказано, так я сам слышал. Если хотите – говорите сами с ней, когда она вернется. А пока принесите мне сдачи 1 черв<онец>.

– Хорошо, сегодня же вечером принесу.

Но червонца он так и не принес. Посмотрим завтра.

Вечером я обнаружил у себя огромный чирей в том самом месте, где он у тебя обычно вскакивает после 2-недельного пребывания в ухе. Я очень обрадовался применить и испытать гомеопатическое средство. Действует: ни малейшей боли.

Сегодня не удержался и после обеда написал 3 аквар<ели>. Очень интересное небо, захотелось попробовать.

Собаки: Хна похожа на Тамару.[6] А Тату на молодого человека, страдающего онанизмом: вялого, с кругами у глаз.

Сегодня 4 яйца.

Поручения в Харькове: непременно возьми мне лекарства моего:

Lithii Carbonici	0,5
Natri phosphoris	1,5
Natri 2 bicarbonic	5,0
Tinct<ura> Colchici	5,0
Extr<act> fl. Adonis Vernalis	5,0
Tinct<ura> Belladon	1,0
Aqua Discillata	200,0

В двойном количестве.

А когда будешь возвращаться, не забудь на феодосийс<ком> базаре посмотреть рассаду: главным образом, дикой маслины и акации, и тополей. Весною всегда бывает на базаре.

Ну, больше не могу писать. Глаза слипаются. Поцелуй меня. Хорошо. Спокойной ночи. Маруся, ну, дай мне поспать.....

7/II 1925. День IV. *Суббота.*

12 ч<асов> дня.

Начинают слагаться *нормы* жизни: я встаю <в> 7—8 утра. Принимаю молочниц. Выпускаю и кормлю кур. Считаю их. Здороваюсь с собаками. Приношу дров и воды Иос<ифу> Викт<оровичу>. Хожу к Голубеву за водой. В промежутках делаю гимнастику, думаю. И вот уже полдень. И<осиф> В<икторович> варит картофельный суп. До сих пор ели твой.

Я затопил печку (она погасла с твоим отъездом). После обеда я позволю себе порисовать. А потом в сумерках пойду гулять до самого вечернего чаю при луне и думать о стихах. День без тебя мелькает еще быстрее.

Средство от нарывов (Hepar sulphur) чудодейственно. Все уже прошло бесследно и безбольно. Для наших летних эпидемий с нарывами на ногах — это будет чудесно.

Сегодня по моим расчетам ты уже должна отправиться с утра к Сурукчи или, по крайней мере, к Ван<е> Смирницкому,[7] если не видала его вчера вечером. А Нелли[8] уже наверное видела вчера. Страшно хочется знать, что с тобой. А в город никаких оказий нет пока. Это письмо завтра отдам бат<юшке>.

О<тец> Гурий прислал 10 р. сдачи с верховым. Завтра придет говорить о перекопке.

Боюсь, что мне до твоего возвращения денег оставленных не хватит. Изгородь обошлась на 10 р. дороже (след<овательно> 30), у меня остается 20. А перекопку и посадку надо делать не откладывая — чем раньше, тем лучше. А дни стоят один другого лучше. Сегодня даже ветру нет. Только что потянуло южным ветром, и на заливе появились густые стаи птиц: значит, камса пошла.

А мне рыб<ак> Федор еще вечером жаловался: «Даже камсы нет....».

В хозяйстве твоем, милая Марусенька, я нахожу и твои упущения: в комнате Мар<ии> Мих<айловны>,[9] где картофель, окно, оказалось, всю зиму простояло не запертое на задвижки, а только прикрытое. Так что мы всю зиму в совершенно открытом доме прожили. А как запирались на ночь!

До сих пор я о тебе, Марусенька, еще совсем не беспокоился, но сегодня как будто уже начну, т<ак> к<ак>, быть

может, твоя судьба относительно уха уже выяснится. Но когда еще я это узнаю?

Фу! печка дымит, как бешеная – удираю из комнаты. Кстати, и обедать пора.

1 час ночи. Суббота.

Перед вечером пошел бродить по Енишарам.[10] Облака бросали тени, светила ярко луна, казалось, что по берегу залива построен громадный мраморный город на фоне черных парков. Дул южный ветер – не теплый по-зимнему, а уже по-весеннему прохладный. Вернувшись, я застал Богаевского, Успенку[11] и Барсамова, только что пришедших из города и готовящих ужин. Они притащили хлеба, белуги, сварили картофель. Было очень шумно, очень разговорно. Я уложил Барсамова с Иос<ифом> Викт<оровичем>, Богаевского к себе, Успенку к тебе на диван. Печи пылают, лампы светят. Сейчас все «лягают» спать. Поздно. Только что узнал о твоей болезни при отъезде, и Нилушка мне переслала твою открытку с дороги.[12] Бедная Марусенька, я почувствовал тебя точно выгнанной из дома. К<онстантин> Ф<едорович>,[13] узнав, что я пишу тебе, просил кланяться. Сейчас и я засыпаю. До завтра.

Воскресенье. 8 февр<аля>. День V-тый.

5 ч<асов> вечера. Вчера легли в 2 ч<аса>, встали к десяти. Коллективно хозяйничали. В 12 ушли показывать Карадаг Барсамову и Тату. Южный ветер все крепнет, и от него совсем холодно. Ник<олаю> Степан<овичу>[14] Карадаг понравился, а Тату при виде пропастей поджал хвост и стал скулить, чувствуя себя определенно оскорбленным зрелищем природы, и всем своим видом говорил: «И не нашли более гнусного места, чтобы меня привести!». Но Хна и рыжий приятель с харламовской дачи, которого Тату захватил с собой на прогулку, блаженст<во>вали и закатили самую веселую охотничью гонку по всем пропастям и карнизам.

Сейчас мы вернулись домой. Все в кухне стряпают обед, а я спешу дописать это письмо, чтобы послать с ними завтра. Ноги гудут, щеки горят, и веки смыкаются от утомления, урагана и голода.

С их прихода я не успеваю о тебе как следует подумать и с тобой поговорить. Твоя болезнь во время отъезда совсем нарушила мои представления о твоем путешествии, и я себе сейчас не могу совсем представить, что ты сегодня делаешь. Точно я нить твое<й> жизни потерял.

6 час<ов>. У нас уйма народа в столовой: бат<юшка>, Юнге, наши гости. Чистят картофель, варят белугу, делают соус из каперсов.

Володю[15] еще не сократили, но он ждет этого на неделе. Придет тогда отдыхать один недели на две. Нилушка не может из-за курсов. Им бы нужно было бы непременно продержаться в Феодосии до окончания курсов (до мая).[16] Маруся, если ты заработаешь на акварелях – мы, б<ыть> м<ожет>, могли бы их эти месяцы поддержать материально – не в Коктебеле, а в Феодосии. У него ведь будут совершенно иные возможности, если у него будет на руках диплом советск<ого> бухгалтера.

А мы, получая 6 чер<вонцев> в месяц, могли бы им давать 2. Я не говорил с ними еще об этом, и хочу твоего согласия. К<онстантин> Ф<едорович> наотрез отказывается от дележа со мной и указывает на Герцык. Мне приходит тогда в голову такая возможность. Если лотерея устроится,[17] то мы будем в месяц выплачивать 2 чер<вонца> Герцыкам и 2 Успенкам из наших 6-ти. Теперь, весною, а дальше видно будет. Хочешь? Мне бы очень хотелось это сделать. А Успенкам необходимо окончить курсы прежде всего. От этого зависят все дальнейшие для них возможности устроиться.

Я тебе не послал пока ни одной открытки, а веду для тебя ежедневные записи и посылаю по мере возможности. Это уйдет завтра с Успенкой. А первое письмо бат<юшка> дня три назад опустил в деревне. Крепко обнимаю и целую моего щеночка и его больное ухо. Что-то с ним делают сейчас? Может быть, уже обрезали?

12 ч<асов> ночи.

Долго сидели, говорили. Вышли на террасу – лунное затмение. Но не зловещее, как в августе, а частично яркое, острое, и все звезды выступили.

Завтра мои гости собираются уходить в 7 час<ов>. Конечно, это Володя торопится на службу: в последние дни перед тем, как быть выгнанным, он все же хочет быть безукоризненным.

Сейчас все <в> моей комнате ходят, говорят, смотрят журналы — очень трудно писать.

Кажется, Володю убедят идти позже и опоздать на службу.

У меня страшная усталость и от прогулки, и от смещения всех дневных норм.

Покойной ночи, Маруся. Люблю тебя крепко и без тебя, как без воздуха.

9/II 1925. ДЕНЬ VI-ой. Понедельник.

Встали в 10 ч<асов>. Еще подымаются. Варят чай. Беспорядок. Собираются уходить.

Беспокойство о тебе растет все время. Бесконечно люблю тебя, и без тебя очень пусто, потерянно, точно какой-то из внутренних органов, которых почти не чувствуешь, как печень, в Харьков уехала.

Крепко тебя целую.

Твое ухо, ухо... ухо... Скоро ли от тебя будет письмо?

Мах.

[1] А. Л. Домрачева. По приезде в Харьков М. С. Заболоцкая остановилась в квартире Домрачевых.

[2] И. В. Зелинский.

[3] Это письмо Волошина к И. М. Саркизову-Серазини не выявлено.

[4] М. В. Синицын.

[5] Кошка.

[6] Видимо, двоюродная племянница Волошина Т. В. Шмелева.

[7] Харьковские врачи Степан Гаврилович Сурукчи и Иван Николаевич Смирнитский.

[8] Харьковчанка Елена Михайловна Соколова, библиотекарь.

[9] М. М. Шкапская (жила в доме Волошина летом 1923 и 1924 г.).

[10] Горная гряда Кучук-Енишар, замыкающая Коктебельскую долину с северо-востока.

[11] Н. В. Успенская (Нилушка).

[12] В открытке № 1, отправленной с дороги (Калай, 5 февраля 1925 г.), М. С. Заболоцкая сообщала: «...отъехала из Феодосии со

страшными болями живота до обморока, чем повергла Нилушку в страшную тревогу, да и сама была близка к тому, чтоб не ехать, так было скверно. Все время до Калая была в полусознании от боли, сейчас страшная слабость и разбитость» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 361, л. 48).

[13] К. Ф. Богаевский.

[14] Н. С. Барсамов.

[15] В. А. Успенский.

[16] Речь идет об окончании курсов бухгалтеров.

[17] Подразумевается распродажа акварелей Волошина посредством денежной лотереи.

13. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

9–10 февраля 1925 г. Коктебель

ПИСЬМО III. ДЕНЬ С ОТЪЕЗДА МАР<УСИ> VI.

9 февр<аля> 1925 г. Понедельник.

8 час<ов> вечера.

Маруся, милая, милая моя, с каждым часом отсутствие твое чувствуется все сильнее, и беспокойство о тебе растет. Что сейчас с тобою, и как решается вопрос о твоем ухе. Сейчас-то уже ты наверное была у врача, но когда я об этом еще узнаю. Ведь до сих пор я еще ни одного письма от тебя не получил, и, кажется, раньше среды-четверга никаких оказий в город не предвидится[1] – так что я еще нескоро услышу твой голос.

Сегодня около полудня мои гости ушли в город. Я их еще пошел провожать. Вернувшись, наводил порядок. Случайно присел в кресло и заснул сразу, как убитый, часа на два. Проснулся и почувствовал себя бодрым и здоровым.

Эти двое суток суто<ло>ки и беготни по горам и бивачного хозяйства на кухне выбили меня из ритма и утомили страшно. Милая Маруся, все-таки это очень полезно, когда ты временно покидаешь меня: за эти дни я сразу практически смог оценить, как много ты делаешь для меня, сколько устраняешь всего того, что мне может мешать, и как ты должна уставать смертельно от людей, гостей, домашних дел, уборок,

грязи. Я это сразу понял теперь. Хотя и гости сами прибирали, мели, помогали по кухне, мыли, а Иос<иф> Викт<орович>[2] готовил. Все наши *запасы*, что я думал хватит до твоего приезда, сразу истощились: масло, лимоны, сахар, подсолн<ечное> масло, колбаса... Только заливное еще осталось.

Маруся, мы должны непременно помочь Успенкам пробыть в Феодосии до конца мая – чтобы они оба кончили свои курсы. Я об этом говорил с К<онстантином> Ф<едоровичем>. (С Володей – ни слова).[3]

Он думает, что и 2<-мя> червонц<ами> в месяц они обернутся. Мы можем их давать из моего ак-обеспечения, если ты привезешь еще денег за акварели. Если решишь, то напиши сама Нилушке сейчас же и уговори ее лично, возвращаясь.

Сегодня утром еще рано разбудил меня Гурий говорить о перекопке. Но все еще спали. Я был не одет. Просил его прийти через 1½ часа. Он совсем не пришел. Верно, придет завтра. Я ему хочу за все – за перекопку и посадку дерезы и тамарикса – предложить 10 р. (поденно это 6½ дней), думаю, что этого довольно.

Приходили к тебе бабы «в таком положении».[4] Приходила Фрося. Я ее не узнал.

– Вы кто? – Я Пулькина хозяйка.

Принесла тебе бутылку молока. Пролила слезу над судьбой Алек<сандры> Александровны.[5] Обещалась принести ей селезня на посту.

К<онстантин> Ф<едорович> еще отобрал несколько акварелей (больших) для выставки. 2 больш<их> акварели я дал Барсамову для Ф<еодосийского> музея (для «Эллинской комнаты») и одну – ему лично.

Маруся, не забывай, что мне необходимо александрийской бумаги (шероховатой с одной стороны). И, если купишь рулон, имей в виду, что его для удобства можно перепилить пополам.

В каком-то ты сейчас состоянии духа, девочка моя, и что у тебя с ухом.... Сегодня рано лягу спать. А сейчас сяду в кресло и буду читать. А день сегодня еще весеннее: тихо, тепло, безветренно. А сейчас тишина и полнолуние. Христос с тобой.

ДЕНЬ VII

Вторник 10 фев<раля> 1925.

2 ч<аса> дня. Здравствуй, Маруся! Сегодня опять весенний день с облаками и солнцем. Встал я рано. Пришел Гурий с утра и начал перекопку. Уже все вокруг нашего дома перекопано. Я ему предложил за перекопку, посадку дерезы и тамариска – 10 р. Это поденно – цена недели. Сегодня он, попробовав, даст ответ.

Приходила женщина с молоком из Двуякорной[6] (Костенко). Я ей сказал, что ты знаешь ее родственников (это ее братья). Она о тебе слыхала. Очень обрадовалась и просила нас с тобой прийти к ним в Двуякорную в гости.

Сейчас пришла Саша.[7] Перемыла посуду. Стирает то, что ты просила. Возьмет печь хлеб. У нас все запасы сильно истощились после гостей: целый цинковый жбан (что внизу) выпили с чаем.

Я не написал тебе, что было письмо от Мар<ии> Мих<айловны> Ш<капской> (единственное – принес Успенка). Она меня там просит о разных литерат<урных> вещах. Пишет, что все «коктебельцы первого лета» постоянно видаются и дружны, а теперешних совсем и не встречали. Что часто смотрит на камушки и вспоминает пляж и Коктебель, «которого, конечно, никогда уже больше не увидит». Письмо дружеское, но в этом есть какой-то демонстративный выпад, которого я как-то не понимаю.[8] Но ты была, значит, права, когда говорила, что она больше не приедет.

Вчера Степан принес корзину, а вместо помидор кочан свежей капусты, из которой Иос<иф> Вик<торович> сейчас варит щи. Я все утро работал над стихами и бегал по хозяйству. Вяжется это плохо. Сейчас, кажется, уже обед. Как проходят твои дни. Что с твоим ухом. Когда же я все это, наконец, узнаю?

7 веч<ера>. С Гурием договорились, что он сделает всю перекопку и посадку дерезы вдоль новой изгороди и второй ряд тамариска за 12 руб. Собственно обрезку надо было бы сделать раньше перекопки. Но перекопку нельзя откладывать, а обрезку мы сделаем вместе, когда привезешь пилу. Тогда

посадим и дрок, и то, что ты привезешь из семян (koxia, рицинус, конопля индейская, цветочн<ые> махровые подсолнухи).

Саша все убрала, подмыла полы, взяла муки для хлеба. Комнаты опять приобрели уютный и чистый вид после бивачного мужского хозяйства. Снесу это письмо сейчас бат<юшке>,[9] чтобы он его завтра опустил в деревне. Я не посылаю тебе открыток потому, что они все равно шли бы с этим дневником, что посылаю тебе с каждой оказией, не пропуская.

Каждый час жалею, что тебя нет – такая красота кругом, и так не хочется упустить ни одного движения весны. Вчера на Карадаге было облачно и необычайно ясно: видны были мелкие подробности на Керченском полуострове и Азовском море, и за Аю-Дагом.[10]

За Меганомом[11] море было затенено, но сквозь тучи падали сверкающие булатом лучи, горевшие ослепительно на вороненой синеватой зыби морского щита.

Сегодня должно было быть уже преполовение[12] твоей поездки. Но вернешься ли ты, как хотела? Не задержит ли тебя лечение или операция? Но если курс лечения необходим – не ускоряй, пожалуйста, своего возвращения. Если – операция – вызови меня телеграммой.

Да, Маруся, тот кофе, что ты заварила в ночь своего отъезда, я кончил пить только сегодня. Каждое утро мне Иос<иф> Вик<торович> его разогревал, подливая воды. Я пил по большому стакану каждый день. И вот сегодня на седьмой день он был еще *вполне* крепок. Я не преувеличиваю. (2 дня – когда были гости, я не пил его). Не от этой ли кофейной эссенции тебе было так плохо в момент отъезда?

Мне очень пусто и грустно без тебя, Марусенька. Хозяйственно не так тяжело. И<осиф> В<икторович> готовит обед. Немного помогают Юнге, приходила Саша. Я даже доволен тем, что приходится много делать, бегать, спешить: общий

тон жизни стал энергичнее. Но мне очень, очень не хватает и твоей ласки, и твоей ругани, и нежности, и «чертей», и «сволочей», и всего буйного извержения слов, дыма и темперамента, извергающегося из твоей комнаты, которая сейчас стоит прикрытая и захолодавшая. Милая моя Марусенька, я тебя так люблю. Пусть все будет с тобою хорошо и благополучно.

Мах.

[1] За отсутствием в это время почтового сообщения с Коктебелем, письма, адресованные Волошину, поступали в Феодосию по адресу В. А. и Н. В. Успенских и затем доставлялись с оказией.

[2] И. В. Зелинский.

[3] К. Ф. Богаевский и В. А. Успенский. Успенки – прозвище четы В. А. и Н. В. Успенских. См. примеч. 16 к п. 12.

[4] Подразумевается обращение к М. С. Заболоцкой как к акушерке.

[5] См. примеч. 14 к п. 11.

[6] Двуякорная бухта (между Феодосией и мысом Киик-Атлама, к северо-востоку от Коктебеля).

[7] Александра Петровна Якутина (1890–1974), коктебельская крестьянка.

[8] Речь идет о письме М. М. Шкапской от 30 января 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1303, л. 34–37 об.). В нем она извещала о том, что приступила к составлению своего литературного альбома, и просила прислать для него ряд автографов и материалов. Обескураживший Волошина заключительный фрагмент письма: «Камешки коктебельские приводят в восторг и исступление питерских художников. Часто рассматриваю их с нежностью, и встает перед глазами незабываемая картина коктебельского пляжа с его неповторимыми красками. Вряд ли я увижу их когда-нибудь снова, но память о милых местах и людях всегда останется для меня светлой и яркой».

[9] М. В. Синицын.

[10] Аю-Даг (Медведь-гора) – горный массив на Южном берегу Крыма (высота 572 м).

[11] Меганом (Меганон, Чабан-Басты) – мыс в Черном море, между Судаком и Коктебелем.

[12] Половина, середина.

14. М.С. ЗАБОЛОЦКОЙ

11 февраля 1925 г. Коктебель

Письмо IV

День с отъезда М<аруси> VIII. *Среда 11 февраля 1925. 6 час<ов> вечера.*

Милая моя, сегодня пришла первая открытка от тебя. Она помечена № 2, написана в Мерефе и ушла из Харькова 7/II. Ты еще едешь....[1] Ее принесла Вера Безобразова. А где-то открытка № 1, значит, пропала.[2] До сих пор никаких оказий в город нет. Боюсь, что ты сама привезешь мне свои письма от Нилушки.[3] Ой, Марусенька, меня начинает разбирать тоска по тебе. Что с тобой сейчас? Что сказал Сурукчи? Начинаю жалеть, что не просил тебя телеграфировать диагноз.

Сегодняшний день: встал в 8½... Думал, работал над стихами... Потом рисовал. Кончил только что, когда смерклось. Сегодня день с утра пасмурный с северным ветром. Ночью кропило дождичком. Весна скрылась.

Гурий с утра работал. Потом ушел: чувствует себя простуженным и больным. Куры, собаки, кошка – в исправности. Яйца 4. Сегодня одно было снесено наверху бочки. Только что пришел бат<юшка>,[4] принес ячневой крупы для собак. Завтра принесет уксусу. Это письмо отправлю с ним в деревню завтра (т.е. сегодня же вечером снесу), как раз почта идет в город.

Сейчас от тоски взял шоколадину, сосу и представляю себе, как ты на меня ворчишь и стыдишь. Очень приятно.

Печку с твоего отъезда топил только раз, когда были гости. Теперь опять не топлю, и, кажется, комната начинает холодать.

Милая моя, ты мне, оказывается, гораздо нужнее, чем я думал. С каждым днем меня все больше разбирает. Я никому не могу писать писем без тебя – только тебе. Я привык, оказывается, писать письма «от нас», и теперь мне нечего писать, когда тебя нет. Так письмо Ан<не> Петр<овне>[5] и лежит неотвеченное.

Но, ради Бога, не ускоряй своего возвращения из-за моих слов: сделай все, что надо, до конца. Если необходим курс ле-

чения – проделай его. Если операция – выпиши меня. Раз уехала, нужно все сделать. И непременно побывай, кроме ушного, еще и у всех других специалистов по всем твоим разнообразным болям и сомнениям. Хорошо? Нашла ли ты мне бумаги? На всякий случай прилагаю еще образец. Это такая же Александрийская шершавая, но эта мне удобнее для акварели.

День проходит страшно быстро. Ложимся рано – час<ов> в 11. Крепко обними от меня всех Домрачевых.

Целую тебя крепко и нежно. Пусть все будет хорошо и благополучно с тобой, моя девочка.

МАХ.

1 В указанной открытке М. С. Заболоцкая сообщала: «...еду хорошо и чувствую себя хорошо, хотя еще очень разбита и слаба. Принимаю участие уже в окружающей обстановке и людях» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 361, л. 49).

2 См. примеч. 12 к п. 12.

3 Корреспонденция к Волошину в это время поступала по феодосийскому адресу Н. В. Успенской.

4 М. В. Синицын

5 А П. Остроумова-Лебедева.

15. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

12 февраля 1925 г. Коктебель

ПИСЬМО V

День IX. *Четверг 12 февр<аля> 1925.*

7 ч<асов> вечера. Марусенька, милая, вот девятый день уже, и я не имею ни одного письма от тебя, т<ак> к<ак> за все время ни одной оказии в город. Сейчас опять ходил по поселку, и никакой оказии до воскресенья не предвидится. Следовательно, до 15<-го> я не буду иметь от тебя никаких вестей из Харькова (получил только одну открытку из Мерефы, обозначенную № 2)[1] и, если что нужно, даже не могу тебе ответить, т<ак> к<ак> ты по моим расчетам должна выехать обратно 18 февр<аля>, если все будет т<ак>, к<ак> мы дума-

ли, и последнее мое письмо, которое сможет тебя застать, будет послано, очевидно, в воскресенье. (Собирается ехать Синопли, а мож<ет> быть, идет Дубровский – юноша, что был раньше почтальоном).[2]

Сегодня с утра похолодало, стало пасмурно; барометр поднялся: все указывало, что весна кончилась. Но день был серый безветренный и теплый. Карадаг в проходящих и находящих туманах.

Куры живут благополучно. Хну я сегодня побил за то, что она врывается по лестнице и лопает кошкину еду. Саша испекла хлеб, вымыла твои платья, теплые чулки, полотенца и тряпки.

Сегодня я опять целый день писал акварели: новый сдвиг – с небом, облаками, тенями все стало ярче и глубже. Не мог удержаться. Как встал утром, так и сел за акварели.

Все-таки Тату очень курьезен. Когда Успенка, Барс<амов> и Богаев<ский> уходили,[3] я ходил их провожать. Тату, конечно, увязался. Когда мы простились – у него была тенденция бежать за ними. Я его звал, он шел за мной, но постоянно оборачивался назад, смотрел на них и жалостно подвывал, но ослушаться зова не смел.

Гурий сегодня не пришел. Перекопка стоит. Вероятно, он заболел: еще третьего дня жаловался, что простужен.

Заходил сегодня к Петру (в поисках «оказии»).[4] Он уже третий день работает где-то на хуторе. Сегодня уже неделя, как ты в Харькове. Значит, уже давно всех перевидала, и у врачей побывала, и с ухом выяснила...

Теперь меня беспокоит мысль: а вдруг тебе надо делать операцию, и ты меня вызываешь письмом, а я писем все не имею и самое раннее через 3 дня получу. Но я думаю, что если б ты меня вызывала, ты бы мне телеграфировала...

Очень тоскливо и бесприютно без тебя, Марусенька. Только теперь я чувствую, насколько моя жизнь вся переполнена тобою. Радость ты моя беспокойная...

MAX.

Обнимаю всех Домрачевых и всех друзей.

[1] См. примеч. 1 к п. 14.

[2] Владелец кафе «Бубны» Александр Георгиевич Синопли (1879–1943) и Михаил Дубровский.

[3] В. А. Успенский, К. Ф. Богаевский и Н. С. Барсамов ушли из Коктебеля в Феодосию 9 февраля (см. п. 13).

[4] Плотник Петр Миронов.

16. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

12 февраля 1925 г. Коктебель

12.II.1925. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Я обеспокоен Вашим молчанием. Я написал Вам осенью (ноябрь) 3 письма (одно ответ на Ваше).[1] И до сих пор не имею от Вас ничего. Мои ли письма пропали? Ваш ли ответ не дошел? Или Вас нет в Москве? Или Вы больны? Откликнитесь. Особенно меня беспокоит судьба моего последнего письма, куда было вложено письмо для Л. Б. Каменева (24 ноября 1924 г.).[2] Если оно не получено – пожалуйста, известите. Вернулся ли в Москву Ангарский (как его имя, отчество – Петр Иванович? Или я ошибаюсь?). Я ему должен написать и позабыл его имя.[3]

Зима проходит тихо. Я много работал в живописи и не написал ни одного стихотворения.[4] Мария Степановна сейчас уехала в Харьков лечить ухо. Я один в Коктебеле. Никуда не собираюсь. Жду много гостей летом. Привет Марье Гермогеновне.[5] Напишите, как Вы живете эту зиму, что пишете. Крепко обнимаю Вас.

Максимилиан Волошин.

[1] Известны два письма Волошина к Вересаеву этого времени – от 17 и 21 ноября 1924 г. (Т. 12 наст. изд. С. 855–857, 865–867).

[2] См.: Там же. С. 858–864.

[3] Вересаев отвечал 25 февраля 1925 г.: «Пропало, по-видимому, одно мое письмецо к Вам, где я писал, что переслал письмо Ваше Кам<ене>ву. Это единственное, что я мог сделать; в последние годы он стал недоступен, как царств<енная> особа, и лично увидеть его

почти невозможно Во всяком случае, письмо Ваше мною было ему переслано тогда же. — В последнем выпуске “Недр” помещены фрагменты из Вашей “России”. Ангарский (*Николай Семенович*) ждал выхода этой книги в свет и реакции партийной прессы на Вашу вещь, чтобы в связи с этим решить, рисковать ли с изданием книги Ваших стихов или нет. Сейчас он обескуражен отзывами (словесными, ему) и думает, что об издании книги нечего и думать. Между тем поэма очень понравилась и Каменеву, и бывшему у него в это время Дзержинскому» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л. 40–40 об.). Фрагменты из поэмы Волошина «Россия» были опубликованы в кн. 6 литературно-художественного сборника «Недра» (М., 1925. С. 71–78), вышедшей в свет в первой половине февраля 1925 г.

[4] М. С Заболоцкая выехала из Коктебеля утром 4 февраля (см п. 11).

[5] М. Г. Смидович.

17. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

13–14 февраля 1925 г. Коктебель

ПИСЬМО VI

День X. Пятница 13–14 февр<аля > 1925.

8 час<ов> вечера.

Милая Маруся,

Только в воскресенье (15 ф<евраля>) получу из города твои письма. Завтра идет Вера Безобразова пешком (вернется в воскрес<енье>). А в воскресенье едут Синопли. Поручаю и тем, и другим. Сегодня была почтовая девица с повесткой на заказное письмо. (Не от тебя ли?). Оно тоже будет в воскресенье. Но ведь, если не будет никаких осложнений и задержек, и с ухом все благополучно, то ты сама будешь в четверг-пятницу. Хотя я не очень этому верю и не жду тебя так скоро. Но приятно думать, что это возможно. Я немного хандрю и впадаю в апатию без тебя и без вестей о тебе. Дни без событий: ничего, кроме погоды. А погода все-таки хорошая и все-таки весенняя, несмотря на то, что барометр падает и все небо заволокло туманами и тучами. А к вечеру все разошлось, и закат был розово-золотистый.

И писем-то мне никто не пишет, как ты уехала. Единственное от Мар<ии> Мих<айловны> Шк<апской> – с твоего отъезда: я тебе писал о нем.[1]

Она пишет там о петербургских литературных делах. А меня почему-то от этого тоска разбирает и мешает мне самому писать что бы то ни было. Я все-таки ужасно не люблю литературного «быта», «среды» литературной. Сегодня я опять с самого утра до самого вечера занимался акварелями. Они стали у меня за последние дни очень ярки и глубоки по цвету, и я снова пишу большие размером. Но когда целый день сидишь, не отрываясь, за рисунком – к вечеру как-то дуреешь, болит голова и пустота внутри. Когда ты вернешься и весна установится по-настоящему – будем вместе целые дни копаться в саду.

А перекопка стоит: с Гурием что-то случилось – вероятно, заболел – третий день его уже нет. Верно, заболел.

Куры сегодня снесли 5 яиц. К твоему приезду, вероятно, штук 60 будет.

В зверинце никаких событий, никаких драм. Все благополучно.

С Иос<ифом> Вик<торовичем>[2] мы видимся только во время еды, да и то не разговариваем, а больше оба почитываем и помалкиваем. Его навещают Юнге и бат<юшка>.[3] Он нам достанет целую четверть уксуса.

Я по вечерам читаю Пушкина (Венгеровского).[4] Ложусь рано (между 10-11). Гуляю на закате.

Часто молюсь о тебе, и тогда точно что-то утекает из сердца. Сейчас надо идти чай пить. Сегодня это письмо не понесу к бат<юшке>, все равно оно сможет уйти только в воскресенье. Отдам его завтра Синопли или отправлю с почтой в воскр<есенье> утром.

Крепко, крепко целую тебя.

ДЕНЬ XI

Суббота 14 февр<аля>.

1 час дня.

Опять великолепный весенний день. Яркое солнце, южный ветер. С утра визиты: перебывали все молочные бабы из

соседних деревень. Приходил больной Гурий (дал ему аспирину). Девочки принесли четверть уксуса (великолепного). Наконец, были супруги Синопли с Сопрыкиным[5] – смотреть картинную галерею и кубический портрет в частности.[6] Сопрыкин имел вид знатока, который «*не понимает* кубизма». Пожимал плечами. Говорил: «Вот скоро мое последнее произведение появится...»

– Где?

– В избе-читальне – портрет Ленина...

Очень удивлялись на образа: «И как же Вас до сих пор не оштрафовали?»

На мои картины Сопрыкин поглядывал с нескрываемым презрением.

Не успели они уйти, пришел Иос<иф> Вик<торович>: «У нас казус... Я совсем позабыл о сухарях в духовке... Растопил печку... И сейчас у меня такой смрад, что к Вам пришел подышать...».

Дал Синопли письмо Нилушке.[7] Так что завтра либо они, либо Вера Безобраз<ова>, кто-нибудь да принесет корреспонденцию, и я, наконец, узнаю, что с тобой и когда ты вернешься.

А меня все-таки без тебя совсем тоска разобрала. Все время сосет сердце, и все валится из рук. Ни за какое дело не могу приняться систематически. Даже читать не могу. Только живопись отвлекает мысли и захватывает до конца. Но и с живописью – когда посмотришь на то, что сделано на днях и чем вчера еще был так доволен, становится противно. Мне даже страшно становится, что мне настолько тебя надо для жизни, для радости. До сих пор я всегда находил силы в самом себе и очень ценил одиночество. Думаю, что это нехорошо. Но тебе, вероятно, это будет приятно, потому, ты, верно, то же чувствуешь и еще сильнее.

Очень возможно, что это последнее письмо, которое тебя застанет в Харькове (если ты вернешься к 19<-му>, как мы предполагали). Я, во всяком случае, буду еще писать тебе, пока не получу точных сведений о твоем выезде.

№ числа я ставлю аккуратно в заголовке каждого, а также дату и счет дней с твоего отъезда. Так что ты видишь, что я не

пропускал ни единого дня без письма. А открыток не посылал совсем: не имело смысла, т<ак> к<ак> для каждой почты у меня уже было большое письмо.

На всякий случай еще раз прилагаю список поручений, разбросанный в других письмах.

Крепко, крепко тебя обнимаю и целую. Также и всех Домрачевых и всех друзей харьковских. Как еще долго ждать твоих писем. Только завтра к вечеру!

MAX.

P. S. А все-таки лучше тебя я никого среди людей не встречал.

[1] См. п. 13, примеч. 7.

[2] И. В. Зелинский.

[3] М. В. Синицын.

[4] Историк литературы, критик и библиограф Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1920) руководил изданием серии «Библиотека великих писателей», осуществлявшейся фирмой Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон, в том числе редактировал издание Сочинений А. С. Пушкина в 6 томах (СПб., 1907–1915).

[5] Имеется в виду Александр Петрович Сапрыкин (1890–1942) – коктебельский бухгалтер, художник-любитель.

[6] Подразумевается портрет Волошина работы Диего Риверы (1916; Дом-музей М. А. Волошина, Коктебель).

[7] Речь идет о письме V (п. 15) для Н. В. Успенской и последующего отправления из Феодосии в Харьков.

18. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

15 февраля 1925 г. Коктебель

ПИСЬМО VII

День XII. *Воскресенье 15 февр<аля> 1925.*

2 ч<аса> дня. Сегодня к вечеру будут, наконец, от тебя письма, Марусенька, милая. Я так нелепо волнуюсь от этого ожидания (ведь за 12 дней – только одна открытка!!),[1] что даже боюсь их. А вдруг там осложнения и катастрофы. Уж лучше бы ты сама приехала.

Только что приходил Петр:[2] вернулся из степи с работы. Сегодня, м<ожет> б<ыть>, утром или завтра ночью отправится в город. Б<ыть> м<ожет>, еще успею это письмо с ним отправить: ежели В. Безобразова придет рано.

День сегодня великолепный: и солнечно, и тепло с утра. И южный ветер не такой холодный. Все говорит за то, что это уже настоящая ранняя весна, и что зима кончилась. Ну, до вечера. День кажется ужасно длинным.

6 ½ ч<асов> веч<ера>. Зажег уже лампу. А писем все нет. Ходил от нетерпения узнавать. Синопли ночуют в городе. Вернутся только завтра. Вера П. Б<езобразова> еще не вернулась. Значит, еще есть надежда на сегодня. Сижу, прислушиваюсь ко всем звукам. Выскакиваю на каждый собачий лай.

Днем даже акварелей не мог писать. Бросил. Пошел пилить ветки. Систематически я еще за это не принялся: жду тебя и пилу.

Подошла О<льга> Андр<еевна>:[3] «Я заметила вчера вечером, что эта ветка, которая служит заграждением вместо калитки у ворот, не так положена, а сегодня утром она была вновь переложена. Кто-то на ночь впускает к нам на двор корову. Я его видела рано утром. По-моему, это Додина[4] телка. У нее всё описали, а телку она, верно, на ночь к Вам прячет....».

Собачье кормление сегодня было буйно. Тату в две глотки вылакал свою миску (.... опять ложная тревога – выскакивал на улицу, т<ак> к<ак> показалось, что кто-то стучит: думал, Вера Павл<овна>...[5]) и начал отгонять Хну вместе с Клизмочкой (она прилипла ко двору с тех пор, как я ее раз погладил), что<бы> слопать ее остатки. Пришлось их обоих побить. Теперь он от трусости ходит, поджимая зад, и виляет самым кончиком хвоста, просунутого между ног. Позорная фигура.

Собаки все гавкают, и слышится точно звук шагов по лестнице. Пойду опять.... Никого... И писать не могу. Сяду читать какой-нибудь роман...

8 ½ вечера.

Так и нет твоих писем. Не выдержал. Пошел опять к Вере Павловне. Она только что пришла – без корреспонденции....

Заходила к Нилушке...[6] Той не было дома. Успенка[7] сказал, что пошла на базар искать оказию переслать мне письма. (Милая Нилушка!). Она оставила свой адрес. Но по адресу ничего не принесли. Она так и ушла. Я не знаю, встретила ли она Синопли. У меня боязнь, что все твои письма попадут в чьи-нибудь небрежные и незнакомые руки и так и не дойдут до меня. Когда *очень* ждешь, всегда так бывает. Но все-таки еще побегу сегодня к Петру. Пусть опустит в городе это письмо и передаст записку Нилушке.

Милая Маруся, милая... Я сегодня так ждал твоих писем, как ждал тебя, когда ты уходила в город во время болезни Пра.[8]

Самые нелепые и бессмысленные опасения, которые стыдно повторять. Мне очень тяжело без тебя. А жизни своей совсем без тебя я и представить себе не могу.

Но только слушай, Маруся, это все вовсе не значит, что ты должна срываться с места и стремглав мчаться в Коктебель: кончи, как следует, все свои дела с лечением и проч. И тогда только приезжай. Сперва все доведи до конца. Слышишь, Маруся.

А у меня снова наладится работа, и я терпеливо дождусь тебя. Целую очень крепко. Христос с тобой.

Мах.

[1] См. п. 14, примеч. 1.

[2] Плотник Петр Миронов.

[3] О.А. Юнге.

[4] Дода – коктебельское прозвище Дарьи Андреевны Юнге (урожд. Котляровой, в первом браке Деген; ок. 1885–1955), вдовы А. Э. Юнге.

[5] В. П. Безобразова.

[6] Н. В. Успенская. Речь идет о возвращении В. П. Безобразовой из Феодосии.

[7] В. А. Успенский.

[8] Подразумевается предсмертная болезнь Е. О. Кириенко-Волошиной (декабрь 1922 г.).

19. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

16 февраля 1925 г. Коктебель

ПИСЬМО VIII

ДЕНЬ XIII (с отъезда Мар<уси> из Коктебеля).

Понедельник 16 фев<раля> 1925.

1 час дня.

Марусенька милая, что ж это такое? Сегодня утром прибежал Володя:[1] «Идите к Синопли – там для Вас посылку привезли». Бросился туда со всех ног: действительно: посылка от Анчутки, поручения и газеты от Нилушки,[2] книги от Ланна, фр<анцузские > газ<еты> от Кати,[3] письма – а от тебя – ничего! И Нилушка пишет, что получила открытку с дороги. Таким обр<азом>, мы оба имеем от тебя по 2 открытки с дороги (я получил твою № 1 из Джанкоя)[4] и *ни одной* строчки из Харькова. А в Харькове ты уже 10 дней.

Я вспомнил о таинственном заказном письме, повестка на которое болтается уже несколько дней по Коктебелю. Может быть, оно от тебя? Нет, это было бы слишком глупо: ты лучше, чем кто-либо знаешь, как сложно получать в Коктебеле заказн<ые> письма. Ты еще можешь сюда адресовать открытки (кстати, твои обе открытки: мерефская пришла в Коктебель,[5] а джанкойская лежала у Нилушки. А обе они адресованы одинаково).... Но заказное – это слишком глупо. Но потом я решил, что все-таки это заказное от тебя, а т<ак> к<ак> почтовая девица, взявши мою доверенность и обещав сама принести – сгинула, я сейчас бегал ее отыскивать. Избачит<альня> заперта: понедельник. Нашел девицу в том же доме во II этаже.

«Ах, почта была вчера... А я и забыла спросить у них... Очень дела было много. Ну, ничего, со следующей почтой привезут. Я сама Вам принесу».

Словом, и эта последняя надежда (на твою нелепость) и та рухнула. Но, главное, я теперь не знаю даже, в Харькове ли ты?

Только что написал открытку т<ете> Саше[6] с просьбой, чтобы она мне телеграфировала, приехала ли ты в Харьков?

Это единственное, что я могу сейчас сделать. Это еще не значит, чтобы я думал, что так было. Но если б случилось так (мало ли случайностей может быть между Харьковом и Мерефой, откуда твоя последняя открытка: крушение, обморок, арест, убийство, ограбление....), то я бы мог узнать об этом только таким путем, и это нужно выяснить как можно скорее. Меньше всего я думаю, чтобы ты просто не писала. Скорее всего, это обычная почтовая путаница и задержка. Не хочу быть мнительным. Но сейчас мне *очень* беспокойно за тебя. Ты ведь должна была писать *каждый* день, и если даже это нелепое заказное письмо от тебя, то почему же оно одно? Но постараюсь ни о чем не думать до получения телеграммы, и впредь никогда не буду тебя отпускать одну.

Сегодня пришли письма от Анчутки, Наташи,[7] Ланна, Варвар<ы> Дмитр<иевны> и Любовь Исааковны[8] + посылка Анчутки + от Нилушки...

Хотел тебе писать, что пишут, но чувствую, что не могу. Не могу сосредоточиться; не знаю, куда идут мои слова...

ДЕНЬ XIII

Понедел<ьник>. 16 февр<аля> 1925. 7 час<ов> вечер<а>.

Маруся милая, наконец-то. Я уже пришел в полное отчаяние. Написал тете Саше открытку с просьбой телеграфировать, приехала ли ты в Харьков, и начать поиски тебя, если нет (прилагается как документ) и собрался уже опять идти в деревню ее отправлять, как постучались дети Петра[9] с письмом и пакетом от Нилушки. Ведь я вчера, когда ни Вер<а> Павл<овна>,[10] ни Синопли ничего не принесли, еще ночью ходил к Петру.

И вот в этом пакете оказалось письмо от тебя (от 12/ II)[11] и твоя открытка Нилушке от того же числа, из которой явствует, что ты жива, что ты в Харькове, что завтра или послезавтра выезжаешь, и что твоего письма (№ 1), где ты пишешь об ухе, – я совсем не получил.[12] (Ты его, верно, сама привезешь).

Ой, Маруся, какая тяжесть скатилась. Последние 2<-ое> суток я ни на чем сосредоточиться не мог, ни на работе, ни на письмах, ни на книгах. Ну, слава Богу.

Я уже готов был ехать тебя разыскивать.

Еще пришло письмо от Веры Станевич.[13]

Затем опять стук в дверь: почтовая барышня: принесла злосчастное заказное письмо. Оно, конечно, не от тебя (несмотря на все мои надежды на твою бестолковость), оно от Герцык со вложением большого письма от Соф<ии> Парнок. Очень трагического.[14] Но это всё, когда ты приедешь.

Работа по перекопке у нас продолжается. Так что когда ты вернешься, то увидишь не только изгородь, но дерезу, засаженную кругом по всей изгороди, и все деревья перекопанными, и тамариксы рассаженными.

После сегодняшнего отчаянья мне даже не верится, что ты уже будешь дома самое большее через 2 дня.

Нилушка мне вернула мое письмо, написанное в воскресенье.[15] Сегодняшнее было уже запечатано и наклеена марка. Но я все-таки буду продолжать это письмо до самого возвращения твоего, как дневник. Я эти дни привык беседовать с тобой, и мне хочется эти записи твоего отсутствия довести до конца – тебе на память.

А пока иду к Иос<ифу> Викт<оровичу>:[16] пора чай пить, и после белуги, присланной Нилушкой, жажда страшная. А куры сегодня снесли 6 яиц.

[1] Владимир Федорович Синицын (1918–1929), внук священника М. В. Синицына.

[2] А. А. Кораго, Н. В. Успенская.

[3] Е. О. Сорокина.

[4] См. примеч. 12 к п. 12.

[5] См. п. 14, примеч. 1.

[6] А. Л. Домрачева

[7] Н. А. Габричевская.

[8] В. Д. Финкельштейн, Л. И. Трапезникова.

[9] П. Миронов.

[10] В. П. Безобразова.

[11] Имеется в виду «письмо № 2» М. С. Заболоцкой (Харьков, 12 февраля 1925 г), в котором она сообщала о получении двух «длинных» писем Волошина (т. е. п. 11, 12), о том, что ухо ее «уже не беспокоит», и о предстоящем 16 февраля розыгрыше акварелей Волошина: «Розыгрыш акварелей назначен на понедельник, т<ак> ч<то> я смогу выехать только во вторник, а м<ожет> б<ыть>, и в среду» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 361, л. 52–53 об.).

[12] Имеется в виду письмо № 1 М. С. Заболоцкой из Харькова, начатое 7 февраля 1925 г. и оконченное 11 февраля, с подробным рассказом о врачебном осмотре и медицинских обследованиях (Там же, л. 50–51).

[13] В этом недатированном письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1144, л. 4–6 об.), ответном на неизвестное нам письмо Волошина, В. О. Станевич затрагивала ряд, видимо, обозначенных им отвлеченных вопросов: «Р. Ш<тейнер> говорит, что образ будущего русского – кроткий и радостный. Мне так представляется. “здоровый” князь Мышкин; князь-мышкинство как новая гармония, новый тип бытия. Протянутая к миру открытая ладонь. Современность – крещение фавна. Я необычайно остро чувствую этот *переход*: начало музыкального строя в ревущей стихии. Кротость – это музыка. Вот все это мне выросло у Вас. И вообще от этих мест – сфера огромной чистоты, поющей руки, морей, будущего».

[14] В недатированном письме к Волошину из Симферополя Е. К. Герцык сообщала о том, что везет ему письма от С. Я. Парнок, М. Я. Возлинского, А. И. Цветаевой, М. П. Кудашевой, а также книги, и перешлет их «с первым случаем в Феодосию» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 411, л. 53–53 об.). В подборке писем С. Я. Парнок к Волошину (Там же, ед. хр. 931) письма, относящегося к январю – февралю 1925 г., не имеется.

[15] Имеется в виду п 18.

[16] И. В Зелинский

20. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

17–18 февраля 1925 г. Коктебель

ПИСЬМО IX

ДЕНЬ XIV *Вторник 17 фев<раля> 1925.*

4 часа дня.

Вероятно, ты сейчас выехала уже и снова сидишь в вагоне. Все мое беспокойство этих дней сразу упало и превратилось в радостное и мирное ожидание твоего приезда. Значит, завтра к вечеру, самое позднее в четверг.

Сегодня с утра работал в саду. Готовил тамарик<с>овые ростки для посадки, пилил сухие деревья. Сейчас чувствую

себя немного простуженным. Принимаю аконит и вечер просижу в комнате. Чтобы к твоему приезду быть вполне здоровым.

Если б ты знала, как я буду тебе рад, Маруся. Я уже теперь боюсь, что ты вместо того, чтобы идти прямо в Коктебель, останешься еще в Феодосии на день искать на рынке разной рассады (акации, маслины, тополей), как я сам, правда, писал. Но я надеюсь, что твой темперамент одержит верх над этими глупыми советами, и ты прибежишь прямо с вокзала, захватив там по дороге Успенку.[1]

Сегодня у нас с утра Саша. Моет, стирает, прибирает: старается к твоему приезду все приготовить.

ДЕНЬ XV

Среда 18 фев<раля> 1925.

11 ч<асов> веч<ера>.

С утра работал над посадкой. Гурий посадил *сухую* дерезу около забора, срезанную прошлым летом. Была Саша: чистила, мыла все к приезду Маруси. Вымыла полы, выгладила белье, затопила печку. Сегодня был первый день, когда ты уже могла приехать, хотя сегодня я еще не ждал тебя. Было так много дела с утра, что я только в сумерках сел думать. И вдруг быстрые шаги по лестнице. Отворяю — Успенка. «А Маруся?..».

Он дает письмо И. С. «Пишу с ведома М.... — Операция неопасная...».[2] И вот весь вечер в торопливых сборах, поисках чулок, белья и т. д. Очень похоже на ночь твоего отъезда. Сейчас почти все собрано. Завтра утром выйду. <В> пятницу поезд... в субботу в Харькове.

[1] В. А. Успенский.

[2] Имеется в виду харьковский врач И. Н. Смирнитский. 16-м февраля 1925 г. датированы два его письма; одно — к Н. В. Успенской (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1116, л. 3): «...не откажите прилагаемое письмо для М. А. Волошина и в спешном порядке доставить ему ввиду значительности сообщения. Делаю это по просьбе Марии Степановны»; другое — к Волошину (Там же, л. 1–2):

«...по поручению Маруси пишу Вам. Вернее, с ее ведома, хотя она и не знает полностью того, что мне известно о состоянии ее здоровья. Не буду касаться результатов исследования нервной с<исте>мы и ушного аппарата, где не найдено ничего серьезного. Но вот гинеколог проф<ессор> Брант нашел ее состояние угрожаемым. Кроме небольших неправильностей положения и состояния матки {он обратил весьма серьезное внимание на состояние ее правого яичника, где нашел опухоль и вдобавок подозрительную. Не решается утверждать, что она злокачественна (рак или саркома), но и не уверен в ее доброкачественности. Настойчиво советует операцию и не откладывать ее в долгий ящик. Дни роли не играют, но недели уже значат.}

Все в скобке Марусе не известно.

Несомненно, операция серьезная и не только как захватыв<ающая> полость живота и брюшины, но более в рассчете на необходимость избежать рецидива.

М<аруся> мне сказала, что не поедет в Коктебель и будет ждать операции. Устроить М<арусю> в больницу не трудно, и кое-что уже сделано.

Я не хотел бы кончить письмо, не сказавши Вам, что серьезность положения М<аруси> далеко от той грани, где была бы угроза жизни».

В «письме № 3», начатом в Харькове 13 февраля и оконченном 17 февраля 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 361, л. 54–55 об.), М. С. Заболоцкая рассказывала Волошину об осмотре у В. Д. Бранта и о принятом ею решении: «Мне так неизъяснимо тоскливо, что нужно ложиться под нож и этим самым волновать и мучить тебя. Мася, так немного мы вместе, и вот уже второй раз я повергаю тебя в такой страх за себя. Операции я не боюсь, я доверчиво отдаю себя в руки профессора и на Волю Божью. Но у меня холодеет все внутри за тебя. Как ты будешь волноваться».

21. Т. Л. СУХОТИНОЙ-ТОЛСТОЙ

19 февраля 1925 г. Коктебель

19/II 1925.

Многоуважаемая Татьяна Львовна,

посылаю Вам письмо Юнге: я опять задержался ответом.[1] А сию минуту пишу в суете и хлопотах, т<ак> к<ак> должен идти в Феодосию, чтобы завтра ехать в Харьков. Марья Степановна уехала туда лечиться, и только что я получил письмо,

вызывающее меня туда, ибо ей предстоит операция (кажется, не опасная).[2]

Передайте это Соне[3] и простите меня.

Максимилиан Волошин.

Коктебель.

[1] Имеется в виду Ф. Э. Юнге. Речь идет о намерении Т Л. Сухотиной-Толстой устроить в Москве выставку картин его матери Е Ф. Юнге и о возникших в этой связи вопросах атрибуции ее работ и продажной цены за них (Сухотина-Толстая писала об этом Волошину 14 января 1925 г.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1187).

[2] См примеч. 2 к п. 20.

[3] С. А. Толстая.

22. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

20 февраля 1925 г. Около Джанкоя[1]

20/II 1925. Около Джанкоя в поезде.

Милая Наташа,

Маруся уехала в Харьков лечить ухо.[2] С ухом оказалось все неопасно. Но по дороге у нее начались какие-то боли. Не обратила внимания. Но уже пред отъездом зашла к гинекологу. Оказалось, что необходимо сию же минуту делать операцию: вырезать какую-то опухоль.[3] Очень тревожно. Но все сошлось удивительно. Еду в Харьков, вызванный врачом.[4] Надо сейчас же добыть деньги на операцию (200 р.!!!), но надеюсь чтениями.[5] Если подумать, что все это могло бы обнаружиться в Коктебеле, когда были бы уже пропущены сроки, то надо считать, что все складывается очень счастливо, и надеюсь, что и кончится хорошо.

Адрес для Харькова: Петру Феодоровичу Домрачеву. Журавлевская 91. Муз<ыкальный> техникум.

Оповести всех друзей.

Обнимаю Сашу,[6] целую всех коктебельцев.

MAX.

Слудский не уехал и, вероятно, и не поедет в Москву.

[1] Открытка Почтовые штемпели· Севастополь. 21.11.25; Москва. 22 11.25 Отправлена на пути из Феодосии в Харьков.

[2] См. п 11, примеч. 1.

[3] См примеч. 2 к п. 20.

[4] Волошин приехал в Харьков 21 февраля.

[5] В письме из Харькова от 16 февраля 1925 г., доставленном Волошину вместе с письмом И. Н. Смирнитского, М С. Заболоцкая просила его выехать в Харьков и сообщала: «На операцию понадобится две недели, а денег нужно 200 руб.» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 361, л. 56–56 об.)

[5] А. Г Габричевский.

23. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

23 или 24 февраля 1925 г. Харьков [1]

Марусенька милая,

оставляю тебе пока книгу «Недр».[2] К вечеру принесу другую.

Нужно ли что? Получила ли белье? Ивановский [3] сам предложил, не только зайти с запиской, но и занести белье в лечебницу.

Очень поздно вышел из дому. Все утро проговорил с Тин<ой>[4] – много, страстно, хорошо об ее делах.

Как ты чувствуешь себя? Как провела ночь. Бедный щеночек...

MAX.

P. S. Пет<р> Феод<орович>[5] тебя навестит сегодня.

[1] Записка, переданная в клинику (на обороте – рукой Волошина: «Пал<ата> 6. Марии Степановне Волошиной»), видимо, накануне или за день до операции. Поверх текста – ответная записка М. С Заболоцкой:

Очень благодарю и жду непременно в 4 часа, захвати *лимон*. Чего-то болит голова и t° повышается, 37,3° утром, но к операции готовят, все скажет вечерняя t°.

Мар<уся>.

Целую очень и люблю.

[2] Литературно-художественные сборники «Недра», выходившие в 1923–1924 гг в издательстве «Новая Москва», в 1925–1931 гг. –

в издательстве «Недра». Речь идет об одном из первых пяти сборников.

[3] Юрий Константинович Ивановский – помощник начальника охраны железных дорог Крыма, преподаватель феодосийских Командных курсов.

[4] Тина (Алевтина?) Смирнитская, первая жена врача-психиатра И. Н. Смирнитского.

[5] П. Ф. Домрачев.

24. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

27 февраля 1925 г. Харьков[1]

27/II 1925. Пятница. Харьков.
Адрес: Домрачевым. Журавлевская 91.

Милая Наташа, Марусе сделали операцию благополучно.[2] Вырезали: 1) 2 кисты. 2) Апенду огромных размеров воспаленную. 3) Отъединили сросшиеся органы.

Целый букет. 4 операции вместо одной. И все сюрпризом, и все как раз вовремя. Осложнений не предвидится. Пока она еще страдает от хлороформа и от боли. Когда меня привели к ней в палату, она меня сразу узнала и твердо, сознательно и с темпераментом сказала: «Дурак. Остолоп. Чурбан бесчувственный. Фу! Противно смотреть на тебя, такой здоровый! Разве не видишь, что я умираю? Ой... ой... ой...».

Все это было сказано таким крепким и здоровым голосом, что только сердце радовалось. Она должна лежать еще 2 недели, т<ак> ч<то> вернемся в Коктебель к концу марта.

Крепко обнимаю тебя и Сашу[3] и всех коктебельцев. Оповести их, пожалуйста.

Материально все тоже благополучно: сделали большую скидку, и денег достал.[4]

МАХ.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Харьков. 28.2.25; Москва. 2.III.25.

[2] В. Д. Брант провел операцию М. С. Заболоцкой 25 февраля. Утром этого дня она отослала Волошину записку: «Дорогой Макс, через полчаса иду на стол. Бодра и спокойна, хотя очень плохо спала <...> читаю Гамсуна и ни о чем не думаю» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 361, л. 57–57 об.).

[3] А. Г. Габричевский.

[4] В архиве Волошина сохранилось направление в Лечебный отдел на выдачу бесплатного ордера на производство операции в 23-й советской больнице, составленное И. Н. Смирнитским 23 февраля 1925 г., с аргументацией: «Материальное положение М. А. Волошина и его жены тяжелое, т<ак> к<ак> они не служат и живут исключительно на академ<ическое> обеспечение в 60 р. в мес<яц>, кот<орое> М. А. Волошин получает как член КУБУч по 4 категории» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1116, л. 56); в тот же день наложена резолюция: отказ.

25. А. Б. ГАТОВУ

27 февраля 1925 г. Харьков.

Дорогой Александр Борисович,

я в Харькове. Хотел бы Вас видеть. Где? Когда? Днем (3–4 ч.) бываю в Худ<ожественном> Техникуме в Мастерской Шаронова (Каплуновская).

Определенного адреса не имею.[1]

Максимилиан Волошин.

27/II 1925.

[1] В феврале – марте 1925 г. Волошин жил в Харькове в квартире художника М. А. Шаронова, но, видимо, не считал возможным приглашать туда сторонних лиц. Сведениями о его общении с А. Б. Гатовым в это время мы не располагаем.

26. Е. Л. ЛАННУ

5 марта 1925 г. Харьков

5/III 1925. Харьков. Каплуновская. Худ<ожественный> Техникум. Маст<ерская> Шаронова.[1]

Дорогой Евгений Львович,

крепко Вас обнимаю и благодарю от всего сердца. Когда вчера Ваши сестренки[2] меня разыскали у Шаронова и передали мне Ваше письмо,[3] и я распечатал его – я был умилен и растроган. Этот акт дружбы мне особенно дорог тем, что он не вызван никакой просьбой с моей стороны, а только вестью, пришедшей со стороны. Спасибо.

Операция прошла благополучно, и Маруся поправляется. Числа около 15 (не раньше) мы сможем уже уехать отсюда.[4] Все это происшествие надо рассматривать как большое счастье и проявление особой благосклонности судьбы. Маруся уехала в Харьков показать специалистам свое ухо, которое уже давно ее беспокоило, но с ухом оказалось все благополучно. Но когда она (почти случайно, благодаря болям, обнаружившимся только в дороге) зашла к гинекологу, он сказал, что ей необходимо сейчас же делать операцию. Я был вызван. Операция состоялась немедленно. Она оказалась еще сложнее и еще необходимее, чем предполагал предварительный диагноз. Ей вырезали и аппендицит, и 2 кисты, и произвели отделение нескольких сросшихся органов, словом, переворошили и перешили всю брюшину, и живот у нее разрезан так, точно она себе сама делала хари-кири.[5] Но все было сделано удачно и вовремя. Так что можно надеяться, что она после всего этого очень окрепнет и поправится и нервами, и физически. Сама она (как медичка и специалистка по женским болезням), конечно, и не подозревала о собственных болезнях. И, слава Богу, что это обнаружилось здесь, а не позже, в Коктебеле. С материальной стороной удалось справиться, и Ваша помощь совсем вывела меня из затруднений.[6] Все пошли мне навстречу: и Хар<ьковский> Здравотдел сделал мне

скидку (25 %), и Моск<овский> Ц.К.У.Б.У.[7] выслал мне аванс, и здешние академические круги устроили мне 2 платных чтения.[8] Словом, со всех сторон, даже со стороны людей, которых я видел в первый раз в жизни, я встретил самое дружественное внимание.

Я теперь опасаюсь только того, что московские друзья, узнав обо всем, станут еще делать между собою сбор в нашу пользу, и поэтому очень прошу Вас предупредить их о том, что сейчас наше положение как раз уладилось, и у меня денег ровно столько, чтобы расплатиться здесь и вернуться в Коктебель.

Маруся шлет привет и благодарность Вам и Александре Владимировне,[9] и я тоже. Обнимите за меня всех Московских Коктебельцев, с которыми Вы, кажется, со всеми видитесь.

Спасибо, дорогой друг.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 4 к п 22, примеч. 1 к п. 25

[2] Людмила Львовна Лозман и София Львовна Лозман.

[3] Речь идет о письме Е Л. Ланна от 1 марта 1925 г (См.: «...Темой моей является Россия» Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма Документы. Материалы.. С. 55).

[4] Волошины выехали из Харькова 18 марта 1925 г См.. Труды и дни-2. С. 258

[5] Имеется в виду ритуальное самоубийство посредством вспарывания живота, распространенное у самураев средневековой Японии.

[6] Из письма Ланна от 1 марта 1925 г. известно, что он выслал Волошину 25 рублей. («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 55).

[7] Имеется в виду Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

[8] Волошин читал лекции в Харьковском университете 26 февраля 1925 г., а также выступал с чтением стихов в конце февраля (в квартире архитектора В. Н. Покровского) и 6 марта 1925 г. (Труды и дни-2. С. 256).

[9] А. В. Кривцова.

27. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

7 марта 1925 г. Харьков[1]

7/III 1925. Харьков. Каплуновская.
Худ<ожественный> техникум.
Мастерская Шаронова.

Милый Саша,

большое тебе спасибо за то давление, которое ты оказал на Ц.К.У.Б.У. (Варв<ара> Дмит<риевна> мне написала), и за всё участие.[2] Материальный вопрос (+ еще те платн<ые> чтения, что были мне устроены здесь[3]) вполне разрешен. Марусю искромсали очень сильно и очень ловко.[4] Сейчас она чувствует себя уже вполне хорошо. Дня через 4 ее выписывают из больницы, и после 15 марта мы уже сможем выехать в Коктебель. Надо признаться, что все это сложилось необыкновенно счастливо и вовремя, а могло бы обернут<ь>ся очень трагически. Судьба неизменно заботится о нас. Ради Бога, не вздумайте в Москве устраивать какой-нибудь сбор для нас: у нас как раз столько денег сейчас, чтобы расплатиться за операцию и вернуться в Коктебель. Крепко обнимаю и целую тебя и Наташу[5] и всех коктебельцев.

Меня и здесь уже разрывают на части.

Макс.

Милый Саша, будь добр, позвони д<окто>ру Саркизову-Серазини (Иван Михайлович) в аптеку Феррейна (т<елефон> 1-03-11) после 10 час. вечера (он там дежурит по ночам через день) и скажи ему, что я в Харькове, и всё о Марусе: я ему не могу написать, т<ак> к<ак> не взял адресов, уезжая. Отвечу ему по возвращении.

Марусе с каждым днем лучше. Через 2 дня выписывает-с<я> из лечебницы,[6] а к 20 марта надеемся быть в Коктебеле.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Харьков. 13.3.25; Москва. 15.III.25.

[2] 24 февраля 1925 г. В. Д. Финкельштейн писала Волошину: «Сегодня я была у Габричевских. Ал<ександр> Георг<иевич> пойдет в Цекубу и окажет давление, чтобы поскорее выслали деньги <...> мы

все, Ваши друзья, не можем не прийти к Вам в данном случае на помощь. Это наш долг, и все мы с радостью готовы его исполнить» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1228, л. 29).

[3] См. примеч. 8 к п. 26.

[4] См. п. 24, примеч. 2.

[5] Н. А. Габричевская.

[6] М. С. Заболоцкая выписалась из больницы 13 марта (см. п. 28).

28. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

13 марта 1925 г. Харьков[1]

13/III 1925. Харьков.

Милая Наташа, спасибо за письмо.[2] Сейчас Маруся уже вышла из больницы. Всё очень благополучно. Только швы еще <не> рассосались до конца, и поэтому нам придется еще несколько дней пробыть в Харькове, но к 20-м числам будем уже в Коктебеле. Сейчас Маруся отлеживается по очереди у всех харьковских друзей и с каждым днем чувствует себя лучше. Глубоко тронут желанием московских друзей сделать сбор. НО... к нам столько кинулось на помощь, что нам сейчас действительно ничего не нужно (без всякого ложного стеснения, милая Наташа!). Прежде всего, выручила Ц.К.У.Б.У. (спасибо Саше[3] и Шпаро!!). А остальное пополнилось рядом чтений, устроенных мне в Харькове в академич<еских> кругах.

И Ланн еще прислал, так что хватило не только на расплату и на возврат, но я смог еще послать Нилушке Успенской (Успенку сократили)[4] на спешную операцию аппендицита. Словом, всех устроили. (О поезде и о волках я тоже читал и был потрясен).[5]

Если часть сбора в нашу пользу удалось уже реализовать, то мой совет их сохранить как *фонд* для отъезда в Коктебель. Слыхал я, что Гале (Любочкиной сестре) нехорошо.[6] Уговори ее ехать к нам с начала апреля. А то ее, кажется, в Ялту хотят услать. Очень надеюсь на тебя. Твои письма всегда великая радость и утешение, и меня заставляют читать их вслух, и рас-

сматривают картинки все харьк<овские> коктебельцы.[7] Крепко целую тебя и Сашу.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Харьков. 14.3.25; Москва. 15.III.25.

[2] Имеется в виду недатированное письмо Н. А. Габричевской — ответное на п. 24: «Как я ужасно волнуюсь за Марусю. Слава Богу, что все так хорошо совпало и операция прошла благополучно. Я всеми силами стараюсь набрать денег, чтобы вам послать. Но беда, все Москвичи-Коктебельцы сидят на бобах, и все идет очень туго. Бедная Маруся, как я ей сочувствую, это больно, я испытала это на собственном животе» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 77–78 об.).

[3] А. Г. Габричевский. См примеч. 2 к п. 27.

[4] В. А. Успенский был уволен со службы.

[5] В цитированном письме Н. А. Габричевская спрашивала Волошина: «Ты слышал, что волки поезд съели? Очень страшно. Темной, темной ночью едет поезд И........ вдруг........ ему.. .. навстречу......... . Волк. Об этом, кажется, писали в газетах». Далее в письме — рисунок· идущий по железной дороге поезд, к нему бегут волки.

[6] Галя Алексеевна Назаревская (1901–1957), студентка ВХУТЕМАС'а, художница, и ее сестра Любовь Алексеевна Назаревская (1902–1980), статистик Госплана

[7] В письмах Н. А. Габричевской к Волошину имеется множество шуточных рисунков и шаржей пером.

29. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

15 марта 1925 г. Харьков[1]

Дорогая Анна Петровна,

Пишу Вам несколько слов, т<ак> к<ак> все время меня дергают и раздирают на части, как обычно в городах: люди, чтения стихов, беседы, лекции, хлопоты, покупки, попечение о Марусе.[2] Сейчас мы уже на отъезде.[3] Поездка сюда была для меня совершенной неожиданностью и оторвала меня от моих коктебельских работ. Но я глубоко радуюсь, что все случилось именно т<ак>, к<ак> произошло, и вижу в этом особую заботливость судьбы: болезнь Маруси, потребовавшая спеш-

ного хирургического вмешательства, могла еще долго оставаться для нее неведомой и переродиться в саркому или рак, а теперь она захвачена как раз вовремя и не грозит никакими будущими осложнениями. Душевная подавленность Маруси вполне объясняется сериозностью и тяжестью операции.

Она оправляется с каждым днем на глазах, и професс<ор> Брант утверждает, что ее организм и нервная система должны совершенно переродиться в ближайшие месяцы. Это уже доделает Коктебель.

Наш гусь «Тэга» умер во время отсутствия Маруси (еще до ее отъезда).[4] Это было для нас тяжелое горе. Остался ли в живых Ваш Бобби?[5] и как его здоровье?

Привет Сергею Васильевичу, Анастасии Осиповне, Костенко, Кустодиевым.[6] Очень хочется получить от Вас весточку. Когда приедете в Коктебель?[7] Мы ждем с ранней весны Катю Сорокину, Галю Наз<аревскую>, Вар<вару> Дмит<риевну> и Анчутку.[8]

Все мне нужные худож<ественные> материалы — краски, бумагу, кисти — все я нашел в Харькове и везу запасов на год. Простите, что беспокоил Вас этими просьбами.[9]

15/III 1925. Максимилиан Волошин.

[1] Приписка к письму М С. Заболоцкой, датированному (возможно, ошибочно) 5 марта 1925 г

[2] См. примеч. 2 к п. 20, п. 24, примеч. 8 к п. 26.

[3] См. примеч. 4 к п. 26.

[4] См. примеч 1 к п. 10.

[5] О болезни собаки Лебедевых – Бобби Волошин знал из письма А. П. Остроумовой-Лебедевой от 6 – 27 января 1925 г. Остроумова-Лебедева сообщала Волошину: «Состояние Бобби нас совсем потрясло Он бедный умирает от водянки, вследствие перерождения печени и ожирения сердца. Я казню себя за то, что два лета уезжала, оставляя его на попечение хотя и любящих, но неопытных людей» (ИРЛИ, ф 562, оп 3, ед. хр. 920, л. 17). 2 апреля 1925 г. она писала Волошину: «1-го Февраля умер Бобби. Для нас это было очень большое горе. Он умер от перерождения печени, и эта болезнь в нем была уже больше году. Умирал он тяжело. Две недели последние его жизни, он уже не отпускал меня в другую комнату ни на одну минуту и не спускал с меня глаз. Мы в нем потеряли существо, которое не за-

думываясь, совершенно сознательно пожертвовало бы своей жизнью за меня и за Серг<ея> Васильевича <Лебедева. – *Ред.*>. <...> Из моей жизни ушло много тепла, ласки и любви» (Там же, л. 20–20 об.).

[6] С. В. Лебедев, А. О. Якубчик, Б. М. и Ю. Е. Кустодиевы.

[7] А. П. Остроумова-Лебедева отвечала Волошину 2 апреля: «Если Вы нас пустите к себе, что мы почтем за большое счастье, то мы приедем к Вам в июне, а не весной, как я об этом очень мечтала» (Там же, л. 19 об.).

[8] В. Д. Финкельштейн, А. А. Кораго (коктебельское прозвище – «Анчутка»).

[9] Еще в конце 1924 г. Волошин просил А. П. Остроумову-Лебедеву купить красок (см.: Т. 12 наст. изд. С. 848, 854). 7 апреля 1925 г. она писала Волошину: «Не сердитесь на меня, что я не исполнила Вашей *единственной* просьбы, с которой Вы ко мне обратились – это относительно красок. Я совершенно внимательно к ней отнеслась, но иногда обстоятельства бывают сильнее человека. Петербург стал совершенной провинцией и истратил в этой области все свои запасы. Заграничные краски я нашла только в “Международной книге” и то их в продолжение трех с половиной месяцев не продавали, вследствие каких-то недоразумений с фирмой, а когда стали продавать, то продавали только 2 чашечки в одни руки <...>. Краски были проданы в один день, и была такая очередь, какой я уже давно не видала. Это жалкое количество, кот<орое> я Вам посылаю, покупалось мною и еще двумя лицами в один день, и больше красок в Петербурге из-за границы выписывать не будут. Вот причина, почему я их Вам так поздно и так мало высылаю. Мне очень жаль, что я не могла удовлетворить Ваш худож<ественный> голод, тогда, когда он у Вас был» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 19 об., 20 об.).

30. Ю. А. ГАЛАБУТСКОМУ

22 марта 1925 г. Коктебель

22/III 1925.
Коктебель.

Дорогой Юрий Андреевич,

та причина, которая побудила меня переменить мое отношение к предполагаемому ознаменованию 30-летия моей литературной работы:[1] необходимость отстаивать существование моей Коктебельской Худож<ественной> Колонии – отпала:

приехав, я нашел у себя на столе постановление президиума Крым-ЦИК'а о закреплении за мной моего дома в законодательном порядке.[2] Но согласия своего я назад не беру и ознаменование этой даты принимаю (уже без всяких задних корыстных целей). Некоторые новые запросы из Москвы показывают мне, что все равно от этого не уйдешь. А раз это неизбежно, то лучше, чтобы это было в более широком кругу, чем узком (имея в виду все ту же литерат<урную> травлю).

Вопрос в дате. Полагаю, что ее лучше отодвинуть. Ведь если стихотв<орение> мое было напечатано 30 лет назад, то 25 лет назад в майской книжке «Русской Мысли» за 1900 г. появилась моя первая статья за полной подписью («В защиту Гауптмана»).[3] И мы будем вполне правы, если перенесем «чествование» на май месяц. 16 мая (а по-новому 29) день моего рождения. Не перенести ли всё на этот день? Причины желательности такого переноса: в Коктебель к тому времени уже съедутся некоторые литературные друзья, и это будет гораздо более оживленно и интересно. Кроме того и для Москвы это не будет так скоропалительно.[4]

Но установление даты предоставляю всецело на Ваше усмотрение и прошу только сообщить мне установленный окончательно срок. Пока ведь дата была сообщена только Пешковскому, который ее и перепутал уже.[5] Так что изменить ее не представляет затруднений, и я нарочно предлагаю 29 мая, как наиболее отдаленный и *близкий* к лету и коктебельскому съезду.[6] А годовщина в пределах мая и апреля вполне в нашем распоряжении.

Привет Анне Яковлевне[7] и Лельеврам.

Крепко Вас обнимаю.

Максимилиан Волошин.

P. S. У меня есть еще запросы об этой годовщине – если позволите, я буду всем давать Ваш адрес.

Я все не мог найти оказии переправить это письмо. Но одновременно, пишучи друзьям в СПБ и в Москву, сообщал о затевающемся в Феодосии и давал Ваш адрес для запросов и указывал на 29 мая, как на наиболее вероятную дату. Так что примем лучше ее, т<ак> к<ак> к 15 апр<еля> это слишком рано для севера. Напишите мне через Успенских.

[1] Речь идет о времени, прошедшем со дня первого выступления Волошина в печати (см. п. 7, примеч. 2) 25 декабря 1924 г Ю.А. Галабутский напоминал об этом Волошину в письме из Феодосии: «А знаете ли Вы, что 15 апреля наступающего года 30-летие Вашей литературной деят<ельно>сти? Я считаю началом ее первое напечатанное Ваше стих<отворе>ние «Памяти Виноградова» в сборнике, который вышел в средине апреля (15—20) 1895 г.; 15-ое можно считать почти безошибочно. Надо этот день ознаменовать — как Вы думаете?» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 386, л 42).

[2] Постановление Крым-ЦИК'а, утверждающее коктебельский дом за ним, Волошин получил, возвратившись из Феодосии в Коктебель 21 марта 1925 г. (Труды и дни — 2. С. 258).

[3] См.: Т 5 наст. изд. С 277—287.

[4] Галабутский отвечал в недатированном письме (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр 386, л. 48—48 об.). «Пока в Феодосии о предстоящем юбилее думают и заботятся три человека: я, Богаевский и Дембовецкий. Мы совещались в воскресенье <29 марта. — *Ред.*> и пришли к такому решению надо, чтобы заговорила Москва; тогда нам гораздо легче будет здесь разговаривать с разными лицами, без которых не обойтись при устройстве юбилея. <...> На другой же день после совещания я написал Пешковскому и просил его поместить в моск<ских> газетах краткую заметку о предполагаемом юбилее, а также, если это возможно, как-ниб<удь> осведомить Луначарского Знаком ли Пешковский с Вересаевым? Его бы тоже нужно привлечь. Я очень рад, что дело с Вашей дачей уладилось так хорошо. <...> По получении ответа от Пешковского, я помещу заметки в крымских газетах. Срок установим, как Вы желаете, 29 мая».

[5] О предстоящем волошинском юбилее А. М. Пешковского уведомил Галабутский, он же сообщил Волошину содержание ответного письма Пешковского в своем письме от 6 марта 1925 г.:

«Вот что он пишет, между прочим:

“Мне хочется узнать от Вас, как Вы смотрите на присылку Максу к 15/III (он, очевидно, спутал: надо бы 15/IV) телеграммы от московских литераторов?.. *Может быть, сможете спросить самого Макса.* Если бы ответ от Вас был положительный, то я организовал бы это дело на заседании О<бщест>ва “Никитинские Субботники”, объяснив семейный характер торжества и требование этого характера Максом. Без такого объяснения дело перекинется во все другие литературные об<щест>ва, пошлют депутатов, и вообще выйдет то, чего Макс не хочет”

Затем Пешковский просит ответа телеграммой и вообще суетится, предполагая, по рассеянности (я писал оч<ень> ясно, что в *апреле*), что юбилей в *марте.*

Пожалуйста, не замедлите черкнуть несколько строк. боюсь вместо приятного сделать Вам неприятное. Я не знаю Ваших отношений в литературном мире; судя по тому, чту пишет Пешковский, можно ожидать общего сочувствия... Не преувеличиваете ли Вы? Ведь юбилей, – как бы ни относиться к юбилеям вообще, – все-таки имеет значение, как *признание*, на которое Вы имеете самые решительные права. Ну, впрочем, это всецело должно быть решено Вами» (Там же, л. 46–46 об.). Цитируемое Галабутским (в сокращении и с неточностями) письмо Пешковского от 2 марта 1925 г. отложилось в архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 6, ед. хр. 252, л 1–4 об.).

[6] Подразумевается приезд многочисленных летних гостей в дом Волошина.

[7] А. Я. Галабутская.

31. А. М. ПЕШКОВСКОМУ

23 марта 1925 г. Коктебель

23/III 1925. Почт<овый> адр<ес>: Феодосия, д<ом>
Коктебель. Айвазовского. Н. В. Успенской для М. В.

Милый Саша,

Я целый месяц не был в Крыму (был вызван в Харьков из-за спешной и неожиданной операции Марьи Степановны, которая была сложна и окончилась вполне благополучно),[1] и потому письмо Юрия Андреевича с цитатами из твоего письма пролежало, дожидаясь, несколько недель.[2]

Сперва я совершенно отказывался от всякого ознаменования 30-летья «литературной деятельности». Вообще – глупое положение и потом, что за тридцатилетняя деятельность, которая исчерпывается одной книжкой стихов,[3] а все остальное лежит под спудом без всякой надежды быть опубликованным в ближайшие годы? Останавливало и опасение снова вызвать против себя литературную травлю, которая подымается неизбежно каждый раз, когда про меня напишут хоть что-нибудь одобрительное (уже много лет!). Я просил друзей хранить этот юбилей про себя. Но увы, это просочилось непроизвольно, и отказываться тоже глупо. Поэтому

я дал согласие Юрию Андреевичу, которому очень хочется этого. Срок еще не назначен. Ю. А. думал 15 апреля (ты перепутал с мартом), когда, приблизительно, вышла книжка «Памяти В. К. Виноградова» в 1895 г. с моим стихотворением. Но я полагаю, что гораздо пристойнее взять иную дату: мою первую статью, помещенную в «Русской Мысли» в мае 1900 г.,[4] т. е. 25 лет назад, – мое действительное выступление в литературе. И я предлагаю Ю. А. поэтому перенести все «торжество» на 29 мая (16 ст<арого> ст<иля> – мой день рожденья). Эта дата настолько же законна, но удобнее тем, что к тому времени соберутся уже гости в Коктебеле, что придаст и больше литературности и больше интимности, и будет уже лето, и, б<ыть> м<ожет>, найдутся <те>, кому это дает повод приехать пожить у меня в Коктебеле. Не соберешься ли ты ко мне этим летом? У меня (ведь ты знаешь это?) устроена худож<ественная> колония и бесплатный Дом Отдыха для писателей, художн<иков> и ученых (неофициальн<ый> – по личной инициативе). Я тебе, кажется, в прошлом году рассказывал. Спасибо за оттиск статьи «Стихи и проза». Я уже прочел ее в «Свитке».[5] Она мне нравится. Но должен сознаться, что из всех стихов, тобою цитируемых, мне больше всего понравилась твоя стенографическая запись – «Говорят у сестры-то кровать есть!...» Она так сжата и так хорошо характеризует и говорящую, и Тамару, и слушающую Маню, что это своего рода шедевр краткого эпически-бытового vers libre.[6] Ты настолько удачно выбрал этот кусок жизни, что он совсем не убеждает в *твоей* тезе, а в обратном.

Ежели соберешься летом ко мне – приезжай пораньше – в мае, в июне. Июль – август слишком переполнены людьми, и в доме тесно.[7] Думаю, что тебе будет интересно, т<ак> к<ак> литературная жизнь идет очень интенсивно и покойный Брюсов говорил, что сейчас в России нет нигде такого сосредоточия интересных людей.

Привет Людмиле Сергеевне:[8] ее буду так же рад видеть в Коктебеле, как и тебя.

MAX.

[1] Волошин и М. С. Заболоцкая возвратились в Коктебель 21 марта.

[2] Ю. А. Галабутский. См. примеч. 5 к п. 30.

[3] Волошин либо подразумевает здесь сформированное им к середине 1920-х гг. итоговое собрание своих стихотворений в 4-х книгах, либо заведомо не придает значения тому, что к этому времени вышли в свет четыре подготовленных им стихотворных книги («Стихотворения. 1900—1910», «Anno mundi ardentis 1915», «Демоны глухонемые», «Иверни») и еще две, выпущенные без его непосредственного участия («Стихи о терроре», «Усобица»).

[4] См. примеч. 3 к п. 30.

[5] Статья А. М. Пешковского «Стихи и проза» была опубликована в 3-м альманахе литературного общества «Никитинские субботники» «Свиток» (М.; Л.: Земля и Фабрика, 1924. С. 197—223).

[6] В своей статье, стараясь показать тактовую организованность стихотворных произведений, Пешковский привел для сопоставления запись обычной разговорной речи, разбитой на паузы:

Говорят у сестры-то кровать есть!
Ничего, живет, как следует.
А у этой ничего.
Тамара звать-то ее.
У нее вид совсем дурной, Маня'
— и т. д.

Вывод автора: «Мы видим, что число тактов в этих фонетич<еских> предложениях совершенно хаотично (4, 3, 2, 3, 5 <...>), соответственно чему они не доставляют никакого ритмического наслаждения и не создают никакой ритмической цельности» (С. 213—214).

[7] Пешковский отвечал Волошину 18 апреля 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 964, л. 76—77 об.): «Очень благодарен тебе за приглашение, но Коктебель – не для моего здоровья (вернее, не для моих болезней). К тому же у меня до *июня* – лекции в Брюсовск<ом> Ин<ститу>те. <...> Если Ин<ститу>т найдет, что я, как “друг детства”, должен присутствовать, то я приеду (*специально к юбилею*). Вообще, все это можно обставить очень пышно, а мы с тобой будем смотреть друг на друга понимающими глазами и переживем много веселых минут».

[8] Л. С. Пешковская.

32. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

23 марта 1925 г. Коктебель

Рукой М. С. Заболоцкой:

Коктебель 23/III <19>25.

Милая и хорошая Наташа, ровно месяц тому назад в понедельник я пришла в лечебницу и через день лежала на операционном столе.[1] Макс писал подробно, верно, и об операции, и обо мне – не хочется еще раз все с начала переживать. Вот уже два дня мы дома. Ехать было тяжело и моментами нестерпимо. Два дня отлеживалась у Нилушки,[2] а затем Макс нанял лучший экипаж – пару на шинах – и меня доставил домой. По приезде в Феодосию нас предупредили, что у нас собираются дом отбирать. Меня это очень взволновало – поторопились домой, п<отому> ч<то> через два дня должна была быть комиссия для осмотра. Приехали, и Макс нашел письмо – официальный пакет из К.В.Ц.К. и объявление, что дом за ним закреплен законодательным актом.[3] Вот у нас и всё так: ушат грязи и благорастворение. Сегодня была комиссия и ушла не солоно хлебавши.

Операция во мне убила жизненный трепет. Я страшно постарела – мне всё всё равно: «ни радости, ни грусти нет». Начала возню в саду и по дому – устаю, ложусь, но меня это не волнует. Вижу и понимаю, что у нас очень хорошо, но не радуюсь, как раньше.[4] Вот и писать села, думала, что что-то скажу тебе хорошее и много, а сейчас чувствую и знаю, что ничего не могу, не выходит, что-то со мной случилось.*

Когда приедете? Поскорее, у нас хорошо. Поцелуй Сашу. Я со всеми вами мысленно была перед операцией. Целую тебя крепко и очень люблю и жду.

Твоя М<аруся>.

Рукой М. А. Волошина:

Милые Наташа и Саша, крепко Вас обнимаю и благодарю за всё сочувствие во время Марусиной болезни. Хочется, чтобы

---

* *Вымарано несколько строк.*

Вы приехали как можно раньше в этом году. Везите Галѝ[5] и Мишу Роз<анова>. Когда едут Шервинские? Когда вообще московские коктебельцы собираются *домой*?[6]

Жажду вестей обо всех.

Милый Саша, прошу тебя прилагаемое заявление и письмо передать в Ак<адемию> худ<ожественных> наук П. С. Когану:[7] (*

[1] См. п. 24, примеч 2.

[2] Н. В. Успенская Пребывание в ее феодосийской квартире – с 19 до 21 марта

[3] См. примеч. 2 к п. 30.

[4] Н. А. Габричевская отвечала 6 апреля 1925 г.: «...тебя, Маруся, поздравляю с большой радостью, что все кончилось благополучно. Меня нисколько не удивило твое *мрачное* письмо, я пережила еще худшую операцию и знаю все стадии выздоровления Ты увидишь, что через некоторое время у тебя будет такой *трепет* жизни, что все черти затрясутся» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 6–7 об.).

[5] Галина Николаевна Кошелева (в замужестве Розанова, 1900–?) – жена М. П Розанова, служащая Госплана.

[6] Н. Габричевская откликнулась на эту фразу в цитированном ответном письме: «... когда я прочла ваше письмо, где вы зовете домой, то мне стоило огромных усилий удержать себя, чтобы не зареветь белугой А Сашка все думает, какую комнату он будет клянчить, чтобы балкон был не на солнце, а то маляррия, и хочет везти пуд хинину. Я думаю и собираю тряпки для вашего увеселенья».

[7] См. п 34, 35.

33. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

23 марта 1925 г. Коктебель

23/III 1925. Почт<овый> адр<ес> Феодосия,
д<ом> Айвазовского.
Н.В. Успенской для М.В.

Милые Наташа и Саша,

не знаю, с чего и начать... Приехали домой... Весна... Пахнет морем и землей до головокружения. Возимся целые дни в саду.

* *Фраза не дописана*

Если хоть часть того, что мы рассадили — примется — все будет иметь совершенно другой облик в этом году.

Но прежде всего дела.

Вопрос о питании. Никитишнам отказано.[1] Решили налаживать строгий «кооператив». Пригласили хорошую хозяйку (Тиночку Смирницкую), которая будет получать определенный фикс за работу (около 40 р. в месяц) + еще 1 или 2 помощницы (по 20 р.). Все же остальное будем делать коллективно.

Выберем обеденную комиссию, которая будет проверять счеты и сама определять цены за обеды и проч<ее>. Очень прошу вас собрать всех коктебельцев и заранее об этом в Москве же столковаться. Наверное, существую<т> какие-нибудь нормальные уставы — типы для подобного коммунального питания — надо бы, чтобы кто-нибудь достал таковой, чтобы им с соответственными модификациями воспользоваться. С теми, кто приедут первыми, и наладим, а остальные будут вступать в готовое. Думаю, что этим путем удастся сильно снизить цены на питание и сделать его доступным для *всех* живущих.

Это главное и спешное.[2]

Ты спрашиваешь, Наташа, что такое 30 лет, спустя 2 недели 25 лет.[3]

Дело в том, что в апреле сего года исполняется 30 лет с напечатанья моего первого стихотворения, а в мае 25 лет с напечатанья моей первой статьи.

Вначале я это пытался утаить и просил о том же друзей, о сем осведомленных. Но это оказалось невозможным, и в Крыму организуется нечто вроде юбилейного комитета. Так что скрывать это не имеет смысла. Хотя очень глупо праздновать «Юбилей литературной деятельности», которая вся за 30 лет исчерпывается небольшой книжкой стихов,[4] а все остальное остается запечатанным еще на много лет. Но и отказываться нельзя. Надеюсь, что мне будет высказано достаточно неприятных вещей, чтобы не выз<в>ать новой печатной травли, которая меня постигает всегда после каких бы то ни было лестных отзывов обо мне.

Дата позорища еще не фиксирована, но я настаиваю на том, чтобы оно было перенесено на конец мая, когда в Кок-

тебель уже съедутся ближайшие друзья (как я надеюсь) (было бы прилично его соединить с днем моего рождения – 29 мая нов<ого> ст<иля>). И у меня есть задняя мысль, что кто-нибудь из друзей догадается просуфлировать Цен<тральному> Правительс<тву> необходимость в этот день утвердить публично постановление Крым-ЦИК'а о закреплении за мной моей дачи, снять с нее местные и курортные налоги и, наконец, выдать мне мандат на устройство (существующей) Худож<ественной> колонии. Иными словами, публичным государственным актом освятить ныне существующее положение вещей. Тогда это оправдает все неприятные и стыдные моменты публичного чествования.

MAX.

За всеми справками о «позорище» обращаться к Юрию Андреевичу Галабутскому. Пед<агогический> техникум. Феодосия.

[1] Подразумеваются отвечавшие летом 1924 г. за «кухню» – т. е. за организацию платного питания желающим гостям дома Волошина и бесплатного – Волошину и М. С. Заболоцкой: Олимпиада Никитична Сербинова (1879–1955), Федора Митрофановна Литвиненко (1888–?), Лидия Андреевна (Генриховна) Шкарина (1876–1966).

[2] Н. А. Габричевская в ответном письме от 6 апреля 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 6–7 об.) весьма скептически отреагировала на эти проекты Волошина: «*Питание:* вопрос крайней важности, трудный и непонятный. <...> Ни С. В. <Шервинский. – *Ред.*> и Саша, ни я – мы не поняли, зачем тебе нужна эта чертовщина, о которой никто не имеет ни малейшего понятия. <...> А что ты, Макс, пишешь, чтобы мы *все* собрались да подумали, это, прости меня, ерунда. Кто *все*??? Я еле-еле могу насчитать, кто наверное поедет из старых». В другом, недатированном, письме она замечала в той же связи: «Насчет твоего предложень<я> компитальни все потрясены и никто не знает, как это делать» (Там же, л. 75–75 об.).

[3] На известие о предстоящем юбилее Волошина Н. Габричевская откликнулась в недатированном письме к нему: «Какие юбилеи будут в апр<еле> и мае и как это выходит «через 15 дней на 5 лет назад». <...> 15 апр<еля> 30-летие чего? и 1 мая 25 лет: тоже? не знаю. Ужасно интересно!!!» (Там же, л. 77–78 об.).

[4] См. примеч. 3 к п. 31.

34. П. С. КОГАНУ

23 марта 1925 г. Коктебель

23/III 1925. Коктебель.
Почт<овый> адрес. Феодосия, д<ом> Айвазовского.
Н. В. Успенской для М. В.

Многоуважаемый Петр Семенович,

позвольте мне через Вас предложить Академии Худ<ожественных> Наук [1] воспользовать<ся> моей Художеств<енной> Колонией в Коктебеле (и беспл<атно> Домом Отдыха, мною устроенным) для летнего отдыха. Я могу для нужд Академии отвести отдельную комнату (на 2–3 человек). Леон<ид> Петр<ович> Гроссман и Алекс<андр> Георг<иевич> Габричевский могут Вас подробно осведомить, какого рода жизнь идет в Коктебеле. Мне было бы очень приятно, если бы Вы сами посетили в этом году Коктебель. Я, по правде сказать, поджидал Вас еще и прошлой осенью, основываясь на словах М<арии> Пав<ловны>.[2] Весною и осенью дом не так переполнен и может и больше<е> число гостей вместе с их семьями. До свиданья до лета.

Большое спасибо за Богаевского (я слышал, что мое письмо в Ц.К.У.Б.У. о нем попало в Ваши руки) и благоприятный исход приписываю только Вам.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Государственная Академия художественных наук (ГАХН), до 1925 г – Российская Академия художественных наук, организована в Москве 7 октября 1921 г. по инициативе А В. Луначарского в здании частной гимназии Л. И. Поливанова с целью всестороннего научного исследования вопросов искусства и художественной культуры; состояла в ведении Художественного отдела Главнауки Наркомпроса РСФСР. Президент ГАХН с 1921 г. – П С. Коган, вице-президент – Г. Г. Шпет (с 1924 г.). В 1930 г. преобразована в Государственную Академию искусствознания.

[2] Мария Павловна Ивашкевич (1894–?), педагог.

[3] Подразумевается предоставление К. Ф. Богаевскому академического обеспечения от ЦЕКУБУ.

35. В ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК

24 марта 1925 г. Коктебель[1]

В Московскую Академию Худ<ожественных> Наук

Поэта Максимилиана Волошина

Заявление:

предлагаю в «Коктебельской Художественной Колонии», основанной мною на моей даче в Коктебеле (20 в<ерст> от Феодосии), отвести для членов Акад<емии> Худ<ожественных> Наук и их близких комнату вместимостью на 2–3 человек. Это я могу предложить на наиболее людные месяцы – (июль – август); весною же с апреля и осенью по ноябрь могу приютить и большее число.

Комнаты бесплатно. Питание – коллективное по раскладке.

Если Акад<емия> Худ<ожественных> Наук пожелает удержать за собою комнату постоянно, то рекомендую озаботиться о тюфяках, кроватях и умывальнике, ибо инвентарь в упадке.

Максимилиан Волошин.

Коктебель. 24/III 1925.

[1] Над текстом – помета. «Прот<окол> Президиума> № 108 – § 17 от 23/IV – 25». Указана дата рассмотрения заявления Волошина Президиумом ГАХН.

36. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

24 марта 1925 г. Коктебель

24.III. 1925. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Только что, вернувшись в Коктебель, я нашел Ваше письмо.[1]

Я провел больше месяца в Харькове.[2] Марья Степановна уехала туда лечить ухо, а потом я был вызван телеграммой,

т<ак> к<ак> ей понадобилась спешная операция, и не в ухе, а в брюшной полости. Операция была сложная и тяжелая, но была сделана вовремя и прошла вполне благополучно. Сейчас я ее уже привез обратно. Выезд, расходы по операции – все это было совсем неожиданно. Но ко мне пришли на помощь и харьковские друзья, и ЦКУБУ, и материально я со всем справился. Но теперь, забрав обеспечение вперед за 3 месяца, до конца мая сижу в Коктебеле без денег и буду Вам глубоко благодарен за 60 р. (которые еще не получил).

В Харькове меня так же раздирали чтениями, как в прошлом году в Москве.

Вернувшись, я был встречен приятною новостью: «Знаете ли, что у вас решили отобрать дачу? В воскресенье выезжает в Коктебель комиссия...». Но судьба ко мне изысканно благосклонна. Приехав в субботу,[3] я нашел у себя в пачке корреспонденции казенный пакет от Крымского ЦИК'а, извещавший меня, что Президиум Крымского ЦИК'а утвердил мою дачу за мной законодательным актом, так что к приезду комиссии я оказался во всеоружии. Таким образом, этот вопрос оказался сразу ликвидированным и, надеюсь, надолго.

Другим сюрпризом, меня ожидавшим, было сформирование комитета для чествования тридцатилетия моей литературной деятельности. Дело в том, что в 1895 г. было напечатано в маленьком местном сборнике «Памяти В. К. Виноградова» (это был историк гор<ода> Феодосии и директор гимназии) одно мое гимназическое стихотворение, прочитанное на его могиле.[4] Стихи печатать я начал, в сущности, гораздо позже (в 1903 г. в «Северных цветах» – «Железная дорога»).[5] Но в 1900 г. в мае была напечатана моя первая подписная статья в «Русской Мысли» (я работал там и раньше – но без подписи) – «В защиту Гауптмана» (против Бальмонта!!).[6] Так что и так выходит 25 лет. Об этом вопрос подымался и раньше, но я упорно отказывался, т<ак> к<ак> на основании прецедентов знаю, что за каждое слово признания и похвалы приходится принимать ушаты грязи (как это было по поводу моего упоминания Львовым-Рогачевским – кстати, из III издания его «Истории новейшей русской литературы» вымарано даже мое имя).[7] Но тем не менее это просочилось помимо меня:

я получил ряд запросов, и в Феодосии образовался комитет по инициативе одного из старейших и почтеннейших русских педагогов — Юрия Андреевича Галабутского — еще моего гимназического учителя русского языка, ныне опять приведенного судьбою в Феодосию преподавателем местного педтехникума. Вероятно, все это будет назначено на 29 мая.

В сущности, тридцатилетие литературной деятельности человека, который за все это время издал только одну книжку лирических стихов,[8] — очень комично. И, конечно, «чествование» будет относиться главным образом к стихам, которые еще долго нельзя напечатать, что, на мой взгляд, не вполне удобно. Но одна из причин, побудивших меня все-таки принять это «позорище», лежит в соображении: нельзя ли использовать это «торжество», чтобы укрепить положение моей «художественной колонии». Теперь дом закреплен за мною бесспорно и крепко — законодательным актом. Я имею право его эксплуатировать, отдавать внаем и т. д. Но это вовсе еще не означает, чтобы я имел право его отдавать бесплатно для пользования писателям и художникам. Как это ни парадоксально — это так.

Еще прошлой осенью был у меня такой разговор с местными властями по поводу требования с меня налогов. Мне было сказано: «Вы не имеете права бесплатно отдавать свой дом, т<ак> к<ак> нам нужно получать с вас налоги». Вот мне и хотелось, чтобы мои друзья и те мои гости, для которых существует моя «художественная колония», как-нибудь и просуфлировали бы «высшей власти», чтобы мне по случаю «30-летнего юбилея» было дано право «*не торговать*», хотя бы в виде мандата на организацию в Коктебеле «художественной колонии» (это точнее, чем «Дом отдыха», т<ак> к<ак> сюда не только отдыхать, но *работать* приезжают) и освобождения ее, ввиду бесплатности и бездоходности, от местных и курортных налогов. Фактически все это, как Вы знаете, так и существует, и налогов я ни разу не платил, в конце концов, но ежегодно все это снова и снова выдвигается против меня. Я бы хотел только официального санкционирования существующего порядка вещей. Если можете, Викентий Викентьевич, мне в этом помочь через свои связи и знакомства, то, пожа-

луйста, не откажитесь. Одновременно буду об этом писать и Ангарскому, который сам надоумил меня на это в прошлом году словами: «Вот если бы у вас какой-нибудь юбилей был». Мне тогда и в голову не пришла эта дата. А теперь она выплыла неожиданно и против моей воли. Значит, сама судьба.

Как Вы живете эту зиму? Над чем работаете? Как здоровье Марьи Гермогеновны?[9] Уладились ли как-нибудь ее отношения с театром?

Литературное положение, судя по Вашим письмам, не улучшилось этой зимой, и я не жалею, что в Москву не поехал.

Крепко Вас обнимаю и благодарю за передачу письма Каменеву.[10]

Привет Марии Гермогеновне.

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду письмо В. В. Вересаева от 25 февраля 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л. 40–41 об.).

[2] Волошин находился в Харькове с 21 февраля до 18 марта 1925 г.

[3] 21 марта – день возвращения в Коктебель.

[4] См. примеч. 2 к п. 7.

[5] Имеется в виду стихотворение «В вагоне» («Снова дорога. И с силой магической...», май 1901); его первая публикация: Северные Цветы. III альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903. С. 106–108.

[6] См.: Т. 5 наст. изд. С. 277–287 В статье был подвергнут критике выполненный К Д. Бальмонтом перевод драматической поэмы Гергарта Гауптмана «Потонувший колокол».

[7] Книга В. Львова-Рогачевского «Новейшая русская литература» впервые была издана в 1919 г. (М.), последнее, 7-е ее издание вышло в свет в 1927 г.; в ней была дана высокая оценка поэзии Волошина пореволюционных лет (см.: Т. 12 наст. изд. С. 682). 3-е издание книги, исправленное и дополненное. М.; Л.: Л Д. Френкель, 1924.

[8] В действительности к этому времени было издано шесть поэтических сборников Волошина (ср. примеч 3 к п. 31).

[9] М. Г. Смидович.

[10] Речь идет о письме к Л. Б. Каменеву от 20 ноября 1924 г. (Т. 12 наст. изд С. 858–864). См. примеч. 3 к п. 16.

37. Н. С. АНГАРСКОМУ

25 марта 1925 г Коктебель

1925 (III) 25.
Коктебель.

Почт<овый> адр<ес>:
Феодосия, д<ом> Айвазовского,
Н. В. Успенской для М. В.

Многоуважаемый Николай Семенович,

Спасибо за VI книгу «Недр» и за Ваши издания (и особенно за Уэлса).[1] Я их получил уже больше месяца назад, но как <раз> в тот момент выезжал в Харьков, вызванный телеграммой о необходимости спешной операции у Мар<ьи> Степан<овны>.[2] Операция была сложной и опасной, но прошла благополучно, и мы только что возвратились в Коктебель. «Недра» прочел еще в вагоне. Рассказ М. Булгакова очень талантлив и запоминается во всех деталях сразу.[3] Но я очень пожалел, что Вы все-таки не решились напечатать «Белую гвардию», особенно после того, как прочел отрывок из нее в «России».[4] В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи...

И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной; как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого. И по литературному значению удельный вес, разумеется, превосходит «Роковые яйца».[5]

Очень досадно, что она не пройдет в «Недрах» целиком, тем более, что Лежнев[6] ограничится, кажется, лишь фрагментом. Рассказ Никандрова мало удачен. От него имеем право ждать большего. Аросев и Яковлев мне совсем не нравятся.[7]

Мне бы очень хотелось познакомиться лично с М. Булгаковым; так как Вы его, наверно, видаете, – то передайте ему мой глубокий восторг перед его талантом и попросите его от моего имени приехать ко мне на лето в Коктебель.[8]

Максимилиан Волошин.

[1] Имеются в виду: Литературно-художественные сборники «Недра». Кн. 6. М., 1925; «Краткая история мира» Г. Уэллса (см. примеч. 12 к п. 4).

[2] См. примеч. 2 к п. 20.

[3] Подразумевается повесть М. А. Булгакова «Роковые яйца» («Недра». Кн. 6. С. 79–148).

[4] Роман М. А. Булгакова публиковался в журнале «Россия» в 1925 г.: № 4 (13) – ч. I, гл. 1–7; № 5 (14) – ч. II, гл. 8–13. Окончание романа в «России» не появилось, поскольку № 6 (15) журнала не вышел в свет.

[5] В ответном письме от 20 апреля 1925 г. Н. С. Ангарский сообщал: «Булгаков прочел Ваш отзыв о нем и был *весьма* польщен. Я не согласен с Вами в оценке его романа; роман слаб, а сатирические рассказы хороши, но проводить их сквозь цензуру очень трудно. Я не уверен, что ее новый рассказ “Собачье сердце” пройдет. Вообще с литературой плохо. Цензура не усваивает линии партии. Груба, и подходит с шаблоном; требует, напр<имер>, “положительных” типов и т. д. С 7-ой книжкой “Недр” вряд ли справлюсь все по этим же причинам» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 178).

По всей вероятности, Ангарский ознакомил с письмом Волошина В. В. Вересаева; последний писал Волошину 8 апреля 1925 г.: «Очень мне приятно было прочесть Ваш отзыв о М. Булгакове. “Белая гвардия”, по-моему, вещь довольно рядовая, но юмористич<еские> его вещи – перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь “Собачье сердце”, и он совсем падает духом. Да и живет почти нищенски. Пишет грошовые фельетоны в какой-то “Гудок” и, как выражается, обворовывает сам себя. Ангарский мне передавал, что Ваше к нему письмо Булг<аков> взял к себе и списал его» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л. 20 об.–21).

[6] И. Лежнев был редактором журнала «Россия».

[7] Подразумеваются напечатанные в кн. 6 сборников «Недра» рассказы Н. Н. Никандрова «Всем утешение» (С. 5–42), «Туча над землей» А. Я. Аросева (С. 59–70), «Болото» А. Яковлева (С. 149–191).

[8] «Булгаков к Вам с радостью приедет», – извещал Ангарский Волошина в цитированном выше письме.

38. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

1 апреля 1925 г. Коктебель

1.IV.1925. Коктебель.
Почт<овый> адр<ес>: Феодосия, д<ом> Айвазовского.
Неониле Васильевне Успенской для меня.

Дорогая Юлия Леонидовна,

я не писал Вам целую вечность. За эти года я превратился в какую-то мельницу, перемалывающую людей. И зерна так много, что жернова отказываются работать. Нет времени подумать об отсутствующих, нет времени просто написать письмо, не отвечая на полученное.

Когда в прошлом году я вернулся из Москвы, дом был уже полон. Всё лето шло crescendo. Июль-август число гостей не спускалось ниже 100 одновременно. И среди них были такие *трудные*, как Брюсов, Белый... К зиме я был совсем измучен. И мог только читать книжки, писать акварели и отвечать на письма (с каждой оказией не меньше 20). Живопись была для меня всё это лето моральным отдыхом, а стихи — заколодило.

В феврале Маруся уехала в Харьков лечить ухо, но оказалось, что болезнь не в ухе, а в животе. Меня вызвал письмом врач. Надо было делать операцию. Операция была спешная и сложная и оказалась еще сложней, чем думали. Резали ее в пяти местах.[1] Но операция окончилась вполне благополучно, вырезанные опухоли оказались незлокачественными, осложнений не было. Самое куриозное было, что Маруся даже и не подозревала об этой болезни и зашла к гинекологу только потому, что у нее по дороге живот странно заболел.[2] А еще несколько недель, время было бы упущено. Так что ухо сослужило очень хорошую службу. Сейчас ее организм еще очень ослаблен травматическим потрясением, но она быстро поправляется. Вообще всю эту историю надо рассматривать как необычайно счастливое стечение обстоятельств.

Но судьба ко мне необычайно благосклонна и заботлива была и продолжает быть. Напр<имер>: сейчас, вернувшись в Феодосию, я узнал, что местный Ком-хоз решительно по-

становил отобрать у меня дачу и пустить ее в коммерческий оборот, и что комиссия специально для этого выезжает в ближайшее воскресенье. Я приехал в субботу в Коктебель, чтобы встретить ее, и первое, что я нашел в пакете нераспечатанной корреспонденции, – казенный пакет с постановлением Крым-ЦИК'а о закреплении моей дачи за мною в законодательном порядке.[3] Так что моя «художественная колония» будет продолжаться. Она ведь очень разрослась и в ширину и в глубину за эти годы. Очень спаялась и стала органичнее. И Вас, Юлия Леонидовна, очень не хватало в Коктебеле. Неужели и в этом году ни Вы, ни Конс<тантин> Вас<ильевич>, ни Парис, ни Екатер<ина> Ивановна[4] – не приедете в Коктебель. Надо же Вам наконец отдохнуть и опомниться от Москвы. Я не припомню, когда я послал Вам акварели, за которые Вы благодарите? Это, вероятно, было еще прошлым летом, когда Ольга Артуровна[5] была у меня, и они их, верно, забыли в Феодосии. Потому что теперь, когда она зимой приезжала, я никак не мог ее поймать и послал только что ей в подарок акварели через Вас вместе с акварелями для выставки. Кстати, сохранилась ли у Конст<антина> Вас<ильевича> серия моих акварелей «10 лирических пауз одной прогулки»,[6] которую я посылал ему верно в 18 году и которой он не выставил в «Мире Искусства»,[7] тогда же, когда унес с жюри и Ваши? Как сейчас его здоровье? Я тоже начинаю себя чувствовать патриархом от искусства: в Феодосии собираются чествовать «30-летие» и моей литерат<урной> деятельности. (Мое стихотворение первое было напечатано в 1895 г., когда я был гимназистом VI класса).[8] Уже образовался комитет с Ю. А. Галабутским (моим гимназич<еским> учителем рус<ского> языка) во главе. Представляю, сколько со мной анекдотов будет.

Стихов так ни одного за всё это время и не написал. Уж больно затошнило, когда я вновь через столько лет хлебнул литературной жизни, да и перечитал я стихов в ту весну, так что целый год была оскомина и противный вкус во рту.

Крепко обнимаю Кон<стантина> Вас<ильевича>, Екат<ерину> Иван<овну> и Париса. Очень прошу последнего при случае с кем-нибудь переслать мне то, что я оставил ему, уез-

жая. Очень жду всех в Коктебель и напоминаю, что до июля и после августа у нас далеко не так людно.

Маруся всех приветствует и не пишет сама потому, что пока ей полагается ничего не делать и полеживать (что, впрочем, она не исполняет совсем).

МАХ.

[1] См. п. 24, примеч. 2.

[2] См. примеч. 12 к п. 12.

[3] См примеч. 2 к п 30

[4] К. В. Кандауров, Ф. К. Радецкий, Е. И. Оболенская.

[5] О.А. Рогозинская

[6] См. стихотворные тексты к этой серии акварелей: Т. 2 наст. изд. С. 573–574. Оболенская отвечала в письме от 30 мая 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 902, л. 27–28 об.): «...если бы Вы видели сейчас квартиру Конст<антина> Вас<ильевича>, уплотненную до двух комнат, в которых кроме людей и мебели помещаются еще все картины всех художников со всех выставок, в которых когда-либо принимал участие К. В. < ..> Сказать, где чьи вещи находятся, – чрезвычайно трудно»

[7] Имеется в виду выставка картин «Мир Искусства», проходившая в Москве в Художественном салоне (Б. Дмитровка, 11) с 27 декабря 1917 г. по 2 февраля 1918 г.

[8] См. п. 7, примеч. 2.

39. А. Л. ДОМРАЧЕВОЙ

5 апреля 1925 г. Коктебель[1]

Дорогая тетя Саша, какое счастье, что все так хорошо обошлось с твоим здоровьем.[2] Маруся все время чувствовала, что с тобою что-то неладно, и еще в день Надиного письма видела сон о твоей болезни.[3] Как было бы хорошо, если бы ты приехала к нам теперь же весною поправляться. Очень тебя ждем. Маруся очень нервничает. Физически она крепнет в конце концов, несмотря на все недомогания и боли. Но нервы продолжают быть крайне расшатанными. Может быть, этому способствует вновь испортившаяся погода (верно, на севере

похолодало?), которая после расцвета весны очень подавляюще действует на психику. Но уже начинает разгуливаться и снова теплеет. Крепко тебя обнимаю и целую и всех твоих домочадцев. К нам уже многие едут в апреле, так что было бы хорошо, если бы Тиночка приехала поскорее налаживать хозяйство.[4]

МАКС.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой, датированному этим днем.

[2] В письме из Харькова от 2 апреля 1925 г. А. Л. Домрачева сообщила Волошиным о перенесенной ею гинекологической операции: «...все сравнительно “пока” благополучно, т. е. нет рака, но зато всякой иной мерзости нашли на целую страницу описаний <...>. Пролежала я 4 дня в лечебнице <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 513, л. 14–15).

[3] Н. П. Домрачева (дочь А. Л. Домрачевой) сообщала М. С. Заболоцкой в письме от 31 марта 1925 г.: «У нас по Вашем отъезде были тревожные дни. Врач поликлиники дал маме такую страшную сопроводительную бумагу, чтобы срочно оперировали, а Брант, сделав операцию, очень настаивал на немедленном анализе. Вчера получили. Страшного ничего» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 178).

[4] Тина Смирнитская. «Свою дачу Тина уже отдала в аренду», – сообщала А. Л. Домрачева в цитированном выше письме.

40. С. А. ТОЛСТОЙ

5 апреля 1925 г. Коктебель

5/IV 1925.

Милая Соня, сколько раз я себя упрекал за то, что дал тебе разные поручения. Есть люди, над которыми тяготеет рок. Это не в их характере исполнять порученное. И ты из их числа. Я это уже раньше знал. И когда ты упорно молчала всю зиму, то я чувствовал, что ты молчишь потому, что чего-то там не сделала. Поэтому прости меня и спасибо за то, что откликнулась.[1] Ты не приедешь в Коктебель? Не верю.[2] Вот увидишь: так обстоятельства сложатся, что непременно приедешь.

И Китти,[3] по-моему, этим летом должна приехать. Нужно уметь вызывать события и направлять случайности и стечения обстоятельств.

У нас все хорошо. Марусина операция – громадное счастье.[4] Ведь если бы не ухо (оказалось – безнадежно, но ничего ни прогрессирующего, ни угрожающего), то Маруся не поехала бы в Харьков, не попала бы к гинекологу, ничего бы не узнала о своей болезни, пропустила бы сроки операции и погибла бы от саркомы, в которую могла переродиться опухоль. А теперь все вовремя захвачено и предотвращено. Вопрос только во времени, нужном организму на поправку.

Когда мы вернулись в Феодосию, Нилушка[5] нам сообщила с предосторожностями, что Ко<м>мун-хоз провело постановление о реквизиции моей дачи и что комиссия выезжает к нам в ближайшее воскресенье. Мы были дома в субботу, и на столе я нашел казенный пакет с постановлением Крым-ЦИК'а о закреплении дачи за мной «в законодательном порядке».[6] Комиссия была на другой день и извинялась...

В Феодосии собираются праздновать «30-летний юбилей» моей литер<атурной> деятельности (мое первое напечатанное стихотв<орение> появилось в 1895 году). Я старался скрыть эту дату. Но ее раскопали.

День фиксирован на 29 мая. Думаю, что это приведет только к новой ругани и травле <с>о стороны «напостовцев», если не будет санкционировано Кремлем.[7]

Стихов эту зиму я так и не писал... Что-то закупорилось внутри с московской поездки, а сейчас и хочется, да масса работы по саду, по дому и уйма неотвеченных писем. Крепко тебя обнимаю. Привет Ольге Констант<иновне>.[8] Если Тат<ьяна>Львовна еще не уехала, передай ей, пож<алуйс>та, мою глубокую благодарность за Юнге.[9]

МАКС.

[1] В письме, начатом 18 февраля и оконченном 14 марта 1925 г., С. А. Толстая признавалась Волошину в том, что своевременно не передала его письма московским адресатам: «Макс, я преступница

перед Вами и боюсь, что Вы на это ужасно сердитесь. Ваши письма претерпели массу передряг и некоторые из них дошли до адресатов очень поздно По приезде в М<оск>ву я заболела и сама ходить не могла, поручила знакомым “для скорости” и в результате часть писем я разносила все-таки сама, но очень поздно. < .> Ежедневно много и хорошо о вас думаю, постоянно вспоминаю мысленно и в разговорах с матерью и с знакомыми Всюду на стенах висят Максины акварели и дают мне много, много радости. Макс, милый, я все больше люблю Вашу работу и до сих пор не могу перестать радоваться и страшно гордиться количеством акварелей, кот<орые> Вы мне подарили» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1185, л. 17–18 об.). К теме «поручений» С. Толстая возвратилась в ответном письме (Ясная Поляна, 25 апреля 1925 г. // Там же, л. 20–23 об.): «От Максиного письма мне было очень больно. Это насчет поручений. Лучше бы он выругался в письме, чем извиняться. И неверно, что я от этого молчала».

2 В письме, оконченном 14 марта, С. Толстая замечала: «О Коктебеле даже не мечтаю, п<отому> ч<то> почти уверена, что в этом году ничего не выйдет с отъездом и придется сидеть в М<оск>ве».

3 Домашнее имя Екатерины Васильевны Арцимович (урожд. Горяиновой; 1876–1959), второй жены А Л. Толстого – отца С. А. Толстой.

4 См. п. 24, примеч. 2

5 Н В. Успенская.

6 См. примеч 2 к п. 30.

7 Подразумевается прежде всего статья Б Таля «Поэтическая контрреволюция в стихах М Волошина» (На посту. 1924. № 4. Стб. 151–164). См. ответное волошинское письмо в редакцию журнала «Красная новь» (Т. 6, кн 2 наст. изд С. 60–62) и письма Волошина, содержащие его реакцию на появление этой статьи (Т 12 наст. изд С. 770–778). 25 апреля 1925 г. С. Толстая писала Волошину. «Максинька, я ужасно рада, что у Вас юбилей будет. И почему-то я уверена, что никаких неприятностей от этого не произойдет. А Феодосия молодец – уважаю ее! Это чудесно, что она все это хочет устроить. Если бы Вы знали, как мне хотелось бы быть с вами в этот день!»

8 О К. Толстая.

9 Т. Л Сухотина-Толстая См п. 21.

41. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

7 апреля 1925 г. Коктебель

7/IV 1925 Коктебель.
Почт<овый> адр<ес> Феодосия, д<ом> Айвазовского.
Н. В. Успенской для меня.

Милые мои Наташа и Саша,

вот мы уж скоро 3 недели в Коктебеле. Сперва была весна: Маруся со своим заштопанным животом лазила на деревья и подрезала *пилой*, которую мы *сами* купили в Харькове. Сажали, копали. Ограду я сделал в отсутствие Маруси.[1] А по вечерам Маруся капризничала, чертыхалась. У нее болели швы. Конечно, она поправляется. Но какая-то огромная тень прошла *мимо* нее, только коснувшись, и она еще не может опомниться от потрясения п о с л е операции. У нее малокровие, головокружения и быстрая утомляемость.

«Стразы» и «Рясна»? «Стразы» – старые искусственные бриллианты времен II Империи (Rue Richelieu 45), до Тэта. «Рясна» = цепочки, подвески.[2]

У Пульки в семье большие неприятности: ее хозяйки (Фроси) муж в пьяном виде кочергой своего друга по голове хватил. Тот после этого выпил ведро вина да два раза навестил коктебельского фельдшера и помер. А теперь Пулькиной хозяйки мужа почему-то судят за убийство.

Тату действительно воет от страха, когда Маруся бьет Хну. Но Маруся приписывает это нежному сердцу и говорит: «Хоть идиот, а все-таки наш».[3]

Ты меня спрашивала, Наташа, о костюме для Коктебеля.[4] По-моему, все-таки нужен хитон из очень легкой материи, т. е. два прямых полотнища, сколотых на плечах, слегка зашитые на бедрах и подобранные двумя резинками – под грудью и до пояса. Полотнища до пят, но подобраны они могут быть этим способом как угодно высоко. А испод: büst-halter и cache-sexe* – по желанию, но только *не* «трусики». На прилагаемом рисунке разные варьянты одного и того же (нарочно

* Набедренная повязка (*фр*)

сквозящие). Но лучше, проще и изящнее хитона этого типа ничего не придумаешь.

Саша, ради Бога, напиши, что знаешь о смерти Ал<е>кс<а>ндры Ник<олаевны> Чеботаревской.[5] Я ее знал с детства и в прошлом году виделся с ней много в СПБ. Отчего умер Гершензон?[6] Что она говорила на его панихиде? Это *старшая* сестра жены Сологуба.[7] После смерти ее она была около Сологуба. Несчастный Сологуб!!

Наташа, к тебе, верно, придет перед отъездом в Коктебель дочь проф<ессора> Некрасова (из Петр<овско>-Разум<овского>), которую я лично не знаю, но ее мать посылает на мое попечение.[8] Пожалуйста – наставь ее чему надо для вступления в коктебель<скую> жизнь и дай ей отвезти в Коктебель все, что накопилось для нас: лекарства, поручения и т.д. Если еще не дала всего Гале Назаревской, которую, судя по ее письму, ждем со дня на день.

В природе – лихорадка и озноб. После нескольких дней весны снова завернул холод со снежинками в воздухе, но теперь опять дует юг, расцвели миндали и персики.

Саша, проф<ессор> Анисимов прислал мне фотографию Владимирской Богоматери и брошюру, и письмо о ней.[9] Это – следствие твоей осенней беседы с ним. Спасибо.

Я что-то не верю в твою Италию и жду тебя в Коктебеле в самом начале мая.[10] Поскорее!

МАКС.

Сегодня кошка Ажина, оставленная на ночь в комнате тети Саши, где Иос<иф> Викт<орович>[11] устроил себе на зиму курилку и раскладывает коллекции камушков, все эти коллекции вскопала, разбросала и нагадила в ящик с отборными фернампиксами.[12]

Маруся умилена ее гениальностью.

[1] См. п. 11–14.

[2] Упоминается фирма Тэта, изготавливавшая искусственные бриллианты; имела широкое распространение в начале XX века. Н.А. Габричевская спрашивала Волошина в недатированном письме: «... пожалуйста, объясни, что такое “... большие деревья, с корней до вершины и до самых тоненьких веточек украшены СТРАЗА-

МИ и РЯСНАМИ инея". Я не знаю, что это такое, а понимаю это так: стразы – это иней иголочками, а ряснами – это так пушистый и гладкий????????» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 68–69 об).

[3] В другом недатированном письме Н. Габричевская сопроводила текст рисунками, изображающими коктебельских собак («Пулька», «Тату, гоняющий блох на дамском плаже») и отметила: «Маруся, все твои животные превратились для меня в людей. Я так ясно представляю тебя, когда весь твой зверинец бунтует» (Там же, л. 79–79 об.).

[4] Еще одно недатированное письмо Н. Габричевской к Волошину (Там же, л. 72–72 об.) содержало просьбу: «Когда ты будешь писать мне письмо. Нарисуй туда хотя бы малюсенькие рисунки для костюмов коктебельских. Я очень много нарисовала и, по-моему, все возможности выдумала, а ни одного нет, так чтобы было красиво, удобно и прилично и голо». В тексте письма – схематические рисунки: три эскиза летнего костюма.

[5] О самоубийстве Ал. Н. Чеботаревской Волошину сообщила М. М. Шкапская в письме от 10 марта 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1303, л. 38 об.): «В Союзе у нас председательствует Сологуб, за этот год очень привязалась к старику, он совершенно замечательный. Его постигло очень большое горе – две недели тому назад утопилась в Москве-реке сестра Анастасии Николаевны – Александра Николаевна Чеботаревская, ее спасли, но она умерла через 3 часа от слабости сердца. Старик остался одиноким <...>». Это событие произошло 22 февраля 1925 г. после гражданской панихиды по М. О. Гершензону. См.: Письма Вячеслава Иванова к Александре Чеботаревской / Публ. А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 250.

[6] М. О. Гершензон скоропостижно скончался в Москве 19 февраля 1925 г.

[7] Жена Ф. Сологуба – Анастасия Николаевна Чеботаревская (1877–1921), переводчица, критик, литературно-общественный деятель. Покончила с собой в Петрограде тем же способом, что и впоследствии ее сестра, – 23 сентября 1921 г. бросилась в реку Ждановку с дамбы Тучкова моста.

[8] Подразумевается Екатерина Алексеевна Некрасова (1905–1989), впоследствии искусствовед. Ее мать – балетный педагог Ольга Владимировна Некрасова (1868–1948), у которой училась двоюродная племянница Волошина Т. В. Шмелева.

[9] См.: *Ключевский В.* Сказание о чудесах Владимирской иконы Божией Матери. <СПб.>, 1878 («Памятники древней письменности», XXX). В письме к Волошину от 22 марта 1925 г. А. И. Анисимов сообщал: «Из библиотеки Историч<еского> Музея <...> я посылаю Вам

"Сказание" об иконе под своею ответственностью это книжка очень редкая, ибо давняя и хорошая. Она представляет из себя благочестивую, добросовестную и полную сводку всех почти данных, имеющихся об иконе, и, мне кажется, очень подходит для Вашей цели. <...> Моя работа, как она ни обширна, <.. > почти ничего не прибавляет к данным "Сказания", а только проверяет их критически, обосновывает позицию и вводит в известную систему» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 186), Собственная работа, упоминаемая Анисимовым, была закончена в 1922 г., но издана шесть лет спустя. См : *Анисимов А И* Владимирская икона Божией Матери. Прага: Seminarium Kondakovianum, 1928; *Анисимов А. И.* О древнерусском искусстве: Сб. статей. М.: Сов художник, 1983 С. 191–273, 429–433.

[10] А. Г. и Н. А. Габричевские приехали в Коктебель 19 мая (Труды и дни – 2. С. 264).

[11] А Л. Домрачева, И. В. Зелинский.

[12] Разновидность морских камешков в Коктебельской бухте: «фернампиксы — халцедоны большие и маленькие в цветных рубашках» (Андрей Белый «террорист». Из воспоминаний Н. А Северцевой-Габричевской / Публ., вступ статья и примечания Ф. О. Погодина и О. С. Северцевой // Литературное обозрение 1995. № 4/5. С. 116).

42. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

7 апреля 1925 г. Коктебель

7.IV.1925,
Благовещенье,
Коктебель.

Дорогая Анна Петровна,

Большое спасибо за посылку. Я, кажется, еще больше рад краскам, чем Маруся йоду.[1] Кое-что я достал и в Харькове, а теперь обеспечен надолго. Простите, что я затруднял Вас этим. Эти краски, вероятно, стоили около червонца. Позвольте мне рассчитаться с Вами летом в Коктебеле; Харьков и операция[2] истощили наши средства до конца мая. Я сейчас перечитал Ваше письмо, написанное в январе.[3] Оно пришло перед самым Марусиным отъездом.[4] Очевидно, несколько Ваших писем (д<олжно> б<ыть>, открыток) не дошло до нас. Отсюда мое молчание на Ваши вопросы о красках.

После Харькова — Коктебель — глубокая тишина и радость. Но чувствуется, что гигантская тень надвинулась и прошла мимо, только осенив Марусю. И Маруся как-то чувствует это всем существом, вне сознания, и это выражается в иррациональной нервности и сжатиях.

Весна такая же нервная и неустойчивая, как и она. После тепла и растворения всех ароматов земли опять пароксизмы стужи, даже снега. Верно, на севере холодно. Миндаль уж 1 ½ месяца назад готов был расцвесть, но осторожно медлил до последних дней и дал персику расцвесть первым. Мы живем в зависимости от погоды. Тепло: возимся во дворе: делаем обрезку, сажаем — в первый раз за семь лет приводим в порядок сад, т<ак> к<ак> удалось, наконец, восстановить ограду. Холодно — сразу теряется охота глядеть на мир Божий — сидим в комнатах: Маруся шьет, я пробую новую бумагу и новые краски. Или оба пишем письма по своим комнатам, т<ак> к<ак> за эти 1 ½ месяца отсутствия накопилось невероятное количество неотвеченной корреспонденции — надо написать не менее 60 писем, а я пока написал 30. Уже теперь ждем гостей. Галя Назаревская, которой очень нехорошо, должна приехать со дня на день. Рано обещались приехать и Анчутка,[5] и Катя Сорокина, и Женя Богословская.

Кандауров мне писал, что видал Сергея Васильевича, и что он «мечтает о Коктебеле»,[6] что меня очень порадовало, т<ак> к<ак> говорило о том, что Вы сделаете все, чтобы ускорить свой приезд.

В мае этого года исполняется 30 лет с тех пор, как было впервые напечатано мое стихотворение (весною 1895 г.).[7] Я это скрывал. Но, в конце концов, это просочилось, и мне пришлось дать согласие на публичное ознаменование этого. В Феодосии образовалась организационная группа, и чествование назначено на 29 мая.[8] Что из этого выйдет, не знаю. Скорее всего, новая литературная травля. Но трусить этого както непристойно. Вероятнее всего, что просто не дозволят никакого публичного чествования, и это, б<ыть> м<ожет>, было бы лучшим исходом. Что за «тридцатилетняя литературная деятельность», когда человек не может ни издать, ни переиздать ни одной своей книжки!

У меня большая радость: проф<ессор> Анисимов прислал мне большую фотографию Владимирской Б<ожьей>М<атери>.[9] (Видали ли Вы ее в Москве?) И сейчас она стоит против меня и потрясает своим скорбным взволнованным ликом, перед которым прошла *вся* русская история. Кажется, что в нем я найду тот ключ, который мне даст дописать моего «Серафима».[10]

Присоединяюсь к Марусиной просьбе относительно «сандалий».[11] Своего № я не знаю. Длина подошвы 29 сантиметр<ов>. Это, я думаю, достаточно: я мерил по старым сандалиям же.

До свиданья. Привет Анастасии Осиповне и Сергею Васильевичу.[12] Жив ли Бобби?[13]

Максимилиан Волошин.

[1] 30 марта 1925 г. А П Остроумова-Лебедева писала М С. Заболоцкой: «С неделю тому назад Анастасия Осиповна <Якубчик. – *Ред* > и мы послали Вам маленькую посылку по адресу Успенских. В ней находится: 2 головки сыру, немного красок, жидкости для разведения йода, йод, ванилин и бумажки для окрашивания яиц» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 220, л. 3 об.). См. примеч 7 к п. 29.

[2] См примеч. 2 к п. 20, п. 24, примеч. 8 к п. 26.

[3] См. примеч. 1 к п. 10

[4] Речь идет о письме А. П. Остроумовой-Лебедевой от 6–27 января 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 920, л. 15–18).

[5] А. А. Кораго.

[6] С. В. Лебедев. Упоминается письмо Ю. Л. Оболенской от 18 февраля 1925 г. с припиской К. В. Кандаурова: «Видел С. В. Лебедева. Он опять мечтает о Коктебеле» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 902, л. 26).

[7] См. примеч. 4 к п. 1

[8] См. примеч. 1, 4 к п. 30, п. 36. В письме от 8 июня 1925 г. А. П. Остроумова-Лебедева откликалась на это событие: «Как мы жалели, что не могли присутствовать на Вашем юбилее! Мы в этот день собрались вместе, мы, Анастасия Осиповна и все время говорили о Вас, и мысленно присутствовали с Вами, и не видно для Вас участвовали в Вашем радостном дне» (Там же, л. 21).

[9] См. также п. 44.

[10] Речь идет о поэме Волошина «Святой Серафим». (См.: Т. 2 наст. изд. С 98 – 125)

[11] Письмо М. С. Волошиной А. П. Остроумовой-Лебедевой, содержащее данную просьбу, неизвестно.

[12] А. О. Якубчик.

[13] См. примеч. 3 к п. 29.

43. Ю. А. ГАЛАБУТСКОМУ

8 апреля 1925 г. Коктебель

8/IV 1925.
Коктебель.

Дорогой Юрий Андреевич,

я написал в Москву всем моим друзьям (и Вересаеву в том числе[1]), что в Феодосии предполагается чествование 30-летия моей лит<ературной> деятельности на 29 мая.

Но это все, что я мог *себе* позволить. Конечно, надо было бы известить Анат<олия> В<асильевича> Луначарского. Но этого *мне* как раз неудобно сделать, т<ак> к<ак> будет иметь вид, что я сам себе устраиваю юбилей (факт в литературн<ом> мире очень частый). Пешковский всегда может позвонить Вересаеву (Викентий Викент<ьевич> Смидович) по телефону (у него есть) (адрес: Угол 1-го Смоленского и Шубинского, 2/3, кв. 14) и, т<ак> к<ак> он уже извещен о предполагаемом, и по имени, конечно, знает Пешковского (они встречались на Никитинских Субботниках[2]), то может с ним, сославшись на меня, и переговорить обо всем. Но Вересаев и Луначарский не очень друг другу симпатизируют. Вообще я совсем не знаю друзей Луначарского, а самому к нему с этим обращаться совершенно невозможно тактически.

Вообще, должен признаться, что я на все это предприятие смотрю весьма пессимистически. Мне глубоко приятно Ваше, Юрий Андреевич, ко мне отношение и трогает отношение других старых друзей, но сомневаюсь, чтобы из этого что-нибудь вышло, и мне почему-то кажется, что в конце концов это будет попросту запрещено «начальством».

Моя лит<ературная> деятельность слишком сомнительна, чтобы ее можно бы дозволять публично ознаменовывать.

Во всяком случае все, что было корректно в моем положении, я сделал уже: все мои личные друзья извещены о факте, что в Феодосии образовалось ядро... и т.д.

Написал я и Ангарскому, который очевидно все это передаст Каменеву, в связи с разными делами моей «колонии и Д<ома> Отдыха», т<ак> к<ак> через него идут мои сношения с Каменевым в этой области.[3]

До свиданья. Крепко Вас обнимаю. Как здоровье Ваше<й> внуки и Анны Яковлевны?[4]

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 36.

[2] «Никитинские субботники» – московское литературное объединение, организованное в 1922 г. Е. Ф. Никитиной, и одноименное книгоиздательство; в 1931 г. было влито в состав издательства «Федерация».

[3] Письмо Волошина к Н. С. Ангарскому, затрагивающее упомянутые темы, не выявлено.

[4] А. Я. Галабутская.

44. С. З. ФЕДОРЧЕНКО

9 апреля 1925 г. Коктебель

9/IV 1925. Коктебель.

Вот когда я наконец отвечаю Вам, дорогая Софья Захаровна, на письмо Ваше от 12/I. Но Вы, верно, уже знаете, как у нас было тревожно. И все это надо считать большим счастьем, т<ак> к<ак>, если б Маруся не поехала лечить ухо, то она так бы и не знала ничего о своей болезни и наверное пропустила бы сроки операции и спохватилась бы только тогда, когда у нее была бы опухоль уже перерождена в саркому и было бы поздно. Она приняла операцию с большим мужеством, исповедалась, причастилась, сама прошла в операционную и сама легла. Операция длилась 2 часа, т<ак> к<ак> по дороге оказался еще ряд неожиданностей.[1] Точно огромная тень надвинулась на нас, но прошла мимо, только осенив Марусю.

Но весь ее душевный строй еще потрясен этим прохождением, и потрясен post factum.

Когда пройдут сроки заживления, она должна очень поправиться и физически и нервами. Но ее очень трудно удержать в рамках выздоравливающей. Вот и вчера еще она лазила в азарте сама белить потолок и опять натрудила швы. Зато сегодня удалось ее уложить на целый день в постель, что на нее действует всегда великолепно, как на капризных детей. После месяца в грязном и промозглом Харькове коктебельская весна особенно показалась прекрасна. В отсутствие Маруси наконец мне удалось восстановить ограду, и потому сейчас за 7 лет революции в первый раз мы принялись восстанавливать наш «сад» – т. е. ту немногую растительность, что уцелела за эти годы. Мы делали обрезку, перекопку, пересадку... Никогда не видишь мира таким прекрасным и неожиданным, как в минуты роздыха среди садовой работы. Только тогда видишь пейзаж в его настоящих тонах и вдыхаешь весь аромат земли. Какое счастье – эта возможность жить вне города, где сейчас такая тесная и злая жизнь. Как жаль, что сейчас никого нет с нами из наших друзей, чтобы принять в свою душу эту благословенную тишину пустыни. Но весна еще не теплая: с моря дуют студеные ветры, а иногда, когда дунет северовосток, то он приносит с собой хлопья снега и дыхание зимы.

Сейчас, когда я пишу Вам, передо мной на столе стоит большая фотография лика Владимирской Богоматери, которую мне прислал на днях проф<ессор> Анисимов, и я все эти дни живу в сиянии этого изумительного лица.[2] Теперь, имея ее перед собой, мне кажется, что я смогу закончить свою поэму о Св. Серафиме, которая уже пять лет лежит у меня без движения.....[3] Видали ли Вы ее в Историч<еском> Музее? Если нет, то непременно повидайте. Она не выставлена для публики. Но ее можно увидать с разрешения Александра Иван<овича> Анисимова – ее хранителя, – воскресившего из-под многих слоев реставраций ее первоначальный византийский лик.

Когда мы приехали в Феодосию, нам сообщили, что Ком<м>унхоз постановил у нас отнять дом и что комиссия выедет для этого в ближайшее воскресенье. Мы вернулись в Коктеб<ель> в субботу, и первый же пакет, мною вскрытый

среди писем, оказался постановление<м> Крым-ЦИК'а, утверждающего мою дачу за мной в законодательном порядке.[4] Это ли не чудо? не особая заботливость судьбы?

29 мая в Феодосии собираются чествовать 30-летие моей литературной деятельности (мое первое стихотв<орение> появилось в печати в 1895 году). Во главе комитета стоит Юр<ий> Андр<еевич> Галабутский (Феодосия. Педтехникум). Что из этого выйдет, не знаю. Боюсь, что новая травля со стороны напостовцев.[5] Я сперва отказался от всякого чествования наотрез. Но потом это просочилось. Стали получаться отдельные запросы. И т<ак> к<ак> в скрываньи этого из страха скандала и травли есть что<-то> непристойно-малодушное, то я дал согласие. Итоги 30-летней деятельности: в продаже нет ни одной моей книги, бóльшая половина мною написанного под запретом, по разным причинам, но мне одинаково затыкали рот и до и после революции, а перед войной был *бойкот книжных магазинов* против моих книг.....

Привет всем друзьям. Целую Джали и Николая Петровича.[6] Ждем Вас в Коктебель непременно и как можно раньше. Поверьте, милая Софья Захаровна, что Коктебель Вам *нужен* не меньше, чем Вы ему.[7]

Максимилиан Волошин.

Спасибо за «Жука» и «Паука». Но рисунки Пастухова не в Вашем стиле.[8] Они слишком тяжеловесны для Вашего склада. Очень ждем «частушек».[9]

[1] См. п. 24, примеч. 2.

[2] См. примеч. 10 к п. 41.

[3] Над поэмой «Святой Серафим» Волошин работал в 1919 г., завершил ее лишь в 1929 г.

[4] См. примеч. 2 к п. 30.

[5] См. примеч. 7 к п. 40.

[6] Н. П. Ракицкий (1888–1979) – агроном, журналист; муж С. З. Федорченко. Джали – ее собака.

[7] С. З. Федорченко и Н. П. Ракицкий прибыли в Коктебель 21 июня 1925 г., выехали оттуда в Ялту 14 августа (Труды и дни – 2. С. 269, 274).

[8] Имеется в виду детская книжка Федорченко «Сказки» (Рис. П. Пастухова. М.; Л.: Радуга, 1925). Ее обложка с дарительной над-

писью автора М. С. и М. А. Волошиным воспроизведена в кн.: ЛН. Т. 93. Из истории советской литературы 1920–1930-х годов. Новые материалы и исследования. М., 1983. С. 63. 12 января 1925 г. Федорченко писала Волошину: «Сказки мои целым томом выходят, с присказками, с заговорами, со всеми вещами, рада. Посылаю Вам книжечку свою хорошенькую, с чудесными рисуночками Пастухова» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1219, л. 10. Упомянутый «том» – книга Федорченко: Собр. соч. Т. 3. Сказки. М.: Никитинские субботники, 1925).

[9] В цитированном письме к Волошину Федорченко сообщала: «Был здесь десятилетний юбилей Никитинских Субботников, я им частушки написала. Так как частушки всем нравятся, то пошлю их вам, чтобы посмешить».

45. Р. М. ГОЛЬДОВСКОЙ

10 апреля 1925 г. Коктебель

10/IV 1925.
Коктебель.

Почт<овый> адр<ес>:
Феодосия, д<ом> Айвазовского,
Н. В. Успенской для М. В.

Дорогая Рашель Мироновна,

лишь вернувшись из Харькова, мы нашли в Коктебеле Ваше письмо.[1] Вся эта поездка была большой неожиданностью, и полостная операция, выскочившая из болезни уха, была одновременно и ударом и счастьем, т<ак> к<ак> указывала необычайную заботливость судьбы: не будь этой болезни уха (в которой не оказалось ничего угрожающего), Маруся бы не поехала в Харьков, не было бы приступа боли на железн<ой> дороге, она не попала бы к гинекологу (т<ак> к<ак> сама она и не подозревала в себе никаких таких болезней), время опера<ции> было бы упущено и все могло окончиться саркомой или раком, т. е. гибелью (т<ак> к<ак> это<го> рода опухоли имеют склонность перерождаться в недоброкачественные). А тут все как раз подошло одно к одному, выписали меня; Маруся легла на стол (исповедовавшись, причастившись и простившись с близкими); операция оказалась еще сложнее, чем предполагалось, но была исполнена мастерски и микроско-

пический анализ не обнаружил ничего угрожающего и подозрительного в вырезанных опухолях.[2] Через 2 недели ее выпустили из больницы, а через 3 мы вернулись в Коктебель. Огромная угроза надвинулась, но прошла мимо. Шла Маруся оперироваться, чувствуя себя совершенно здоровой, но вышла из больницы глубоко потрясенной тяжестью перенесенной операции. Теперь она постепенно оправляется. Но Коктебель для Маруси не очень подходящее место для Nach-Kur.* Когда-то у нее вырвалось очень верное восклицание: «Ах, если б я была богатой, я бы каждый день мыла полы!» Поэтому она не может удержаться, чтобы не залезть на лестницу и самой потихоньку выбелить потолок, или на крышу, чтобы обрезать верхние ветки акации и т.д. в то время, как ей надо было бы лежать тихо на диване и заращивать свое хари-кири. (Ее резали в пяти местах и живот разрезан крест-накрест). Не может не начать сейчас же делать предпраздничную чистку всего дома с вытряханьем, беленье<м>, перетираньем, мытьем...

Слухи о нашем приезде в Москву были ни на чем не основаны. В Харькове есть прекрасные врачи и у Маруси там много друзей в медицинском мире, и потому был прямой расчет делать все это там, а не в Москве. В клинике проф<ессора> Бранта, кот<орый> ее оперировал, она была совсем как дома.

Спасибо, дорогая Рашель Мироновна, за Вашу память и приглашение. Дни, проведенные у Вас на возвратном пути прошлою весною,[3] – самые приятные воспоминания прошлогодней поездки. Если бы можно было приехать в Москву, чтобы повидать человек 10 близких друзей, с каким бы удовольствием я поехал туда. Но сейчас это невозможно. За годы Революции мне приходится жить в сплошном людовороте и пропускать через свою душу сотни людей. И даже когда на зиму Коктебель пустеет, то начинаются письма. Вот сейчас, по возвращении из Харькова, сделав подсчет необходимых ответов на запущенные за это время письма, я увидел, что мне надо написать 60 писем – и не деловых в 5–6 строк, а больших психологических писем. Из них я ответил пока только на 35.

* Отдых после курса лечения (*нем*)

И самое грустное в этом то, что текущие и случайные письма постоянно мешают беседе с теми друзьями, с которыми самому хочется поговорить.

Грех жаловаться на это. Ведь это только следствие того, что Коктебель стал осью, вокруг которой кружится очень много людей. И не я ли всегда хотел этого?

Но количество иногда превышает человеческие силы, хотя я очень люблю людей и очень много могу принять их.

За прошлое лето в нашем доме перебывало 300 чел<овек>, а в этом году, вероятно, будет еще больше. Но сейчас я не так утомлен, как тогда, вернувшись с севера.

Из личных событий: 29 мая с<его> г<ода> в Крыму собираются праздновать 30-летие моей литературной деятельности. (Мое первое стихотворение появилось в печати в 1895 году.) Я сперва просил воздержаться от этого, остерегаясь новой травли, подобно той, что была в позапрошлом году.[4] Но все-таки пришлось согласиться, т<ак> к<ак> эта дата просочилась в более широкие круги. Не думаю, чтобы из этого вышло что-нибудь, кроме анекдотов. Но я, невольно оглядываясь, отмечаю некоторые странности моей литературной судьбы: у меня нет ни одной моей книги в продаже; бóльшая часть мною написанного так и не издана. Меня одинаково травили и при старом и при новом режиме. Против моих книг был бойкот книжных магазинов (после моей лекции о Репине).[5] О моей поэзии в сущности за все 30 лет не было ни одной критической статьи, ни одного благоприятного отзыва.[6]

Все эти 30 лет я был *вне* литературы. Что же здесь чествовать? Мне даже любопытно, в какой трафарет удастся вправить мою реальную литературную историю?

Местными властями была сделана во время моего отъезда в Харьков новая попытка отнять у меня дачу. Когда мы вернулись в Феодосию, нас встретили известием, что Коммун-Хоз постановил отнять у меня дом и отдать его в эксплуатацию и что комиссия для этого выезжает в ближайшее воскресенье в Коктебель.

Но судьба необычайно внимательна ко мне: первый же пакет из большой пачки корреспонденции, скопившейся за время нашего отсутствия, было постановление Крым-ЦИК'а

об утверждении моего дома за мною.[7] Комиссия приехала... и извинялась, увидев бумаги. Надолго ли? Но во всяком случае этим летом наш дом будет существовать по-прежнему для всех измученных городом.

Как живете Вы в Вашем новом уплотнении? Как хотелось бы всех Вас хоть на месяц перевезти в Коктебель. Здесь весна – еще студеная, но солнечная. Листья только, только начинают распускаться. Но миндали и персики цветут.

Крепко обнимаю Еву, Надежду Иван<овну>, девочек, Мишу[8] и шлю привет всем обитателям и друзьям Вашего дома.

Макс.

[1] Имеется в виду письмо Р. М. Гольдовской к Волошину от 28 февраля 1925 г., отправленное с опозданием – 11 марта (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 434, л. 29–30 об.).

[2] См. п. 24, примеч 2

[3] Зафиксированы сведения о посещении Волошиным московской квартиры Гольдовских 3 и 4 апреля 1924 г. (Труды и дни – 2. С. 218)

[4] Подразумевается прежде всего направленная против Волошина статья Б. Таля в журнале «На посту» (см. примеч. 7 к п. 40).

[5] О скандале, который возник в 1913 г. после публичных выступлений и статей Волошина, в которых он обосновывал свою точку зрения на акт вандализма, совершенный над картиной И. Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван», подробно см.: Т. 3 наст. изд. С. 538–550. Что касается «бойкота книжных магазинов», то в этом утверждении Волошина правомерно усомниться – прежде всего потому, что ко времени разворачивания «репинской истории» у него после 1910 г не было выпущено в свет новых авторских изданий.

[6] Это обобщающее заключение корректируется хотя бы библиографическим перечнем рецензий на книги Волошина «Стихотворения. 1900–1910» и «Anno mundi ardentis 1915» (Русские советские писатели. Поэты. Биобиблиографический указатель. Т. 5. М.· Книга, 1982 С. 281–283).

[7] См. примеч. 2 к п. 30.

[8] Е. А. Фельдштейн, Н. И. Ивановская, М. С. Фельдштейн; одна из упомянутых «девочек» – Татьяна Михайловна Фельдштейн (в замужестве Митрян; 1910–1995), дочь Е. А. и М. С Фельдштейнов.

46. Я. А. ГЛОТОВУ

11 апреля 1925 г. Коктебель.

11/IV 1925. Коктебель.

Мой милый Якс,

опять в нашей переписке интервал в несколько месяцев. «Людоворот» и зимой не кончается: он становится корреспонденцией. Вчера вечером я подсчитал, что за эти зимние месяцы я написал 170 писем* – и не какие-нибудь записочки, всё большие дружеские, или психологические письма! И кроме того больше 200 акварелей. Немудрено, что поэтому ни одного стихотворения. А кроме того в феврале Маруся уехала лечить в Харьков ухо (следствие тифа, 22 дней в поле без медицинск<ой> помощи, общего заражения крови и паралича половины тела в 18 г.). Ушной врач, осмотрев лабиринт, сказал: «У Вас не в порядке яичники». Гинеколог же приказал немедленно делать операцию. Ее резали в пяти местах, вырезали целый букет опухолей, кист, сращений, ап<п>ендицитов и радикально вылечили ото всех болезней, которых она никогда в себе не подозревала и от которых никогда не страдала, но могла бы помереть, если бы не операция.[1] Что весьма характерно для медички и специалистки по женским болезням. Таким образом, я провел в Харькове около месяца. Опять меня трепали, разрывали, я читал стихи и зарабатывал деньги на операцию. Теперь мы снова в Коктебеле, и уже с Пасхи[2] у нас будут люди. Пока я привожу в порядок сад, обстригаю, перекапываю, сажаю – в первый раз за семь лет разорения. Дом опять у меня местные власти собирались отнимать, вынесли постановление и т. д. Но я в это время получил бумагу от КрымЦ.И.К'а, что дом утвержден за мной. Так что еще этот год будет продолжаться моя колония. Рано или поздно меня, конечно, выживут из Коктебеля, т<ак> к<ак> нельзя же вечно издеваться над властью, проводя в своей частной жизни чисто коммунистический строй, и не взымать платы ни за что («Ишь буржуй – комнаты даром сдает: нашей власти признавать не

* не ответил еще на 60

хочет» – как это было весьма удачно формулировано местным Сель-Советом); но пока я в Коктебеле, очень прошу тебя, милый Якс, приезжай меня повидать – один (а если с семьей, то тем лучше), если толь<ко> сможешь, наконец, отлипнуть от своего острова ожиданий. Очень хочется повидать тебя, познакомиться с твоими, и тебе будет приятно попасть в человеческую кипень после такого долгого поста.

29 мая здесь (в Феодосии) собираются праздновать 30-летие моей литературной деятельности. Что из этого выйдет – не очень себе представляю. Если не запретят предварительно, то снова подымется травля. Я сперва уклонялся. Но потом устыдился своего малодушия. Нельзя уклоняться от обязательных литературных позорищ. Во главе комитета Юр<ий> Андр<еевич> Галабутский, которого судьба снова привела в Феодосию – преподавателем Пед-техникума, где он и живет (бывш<ая> гимназия). Ты спрашиваешь о Маргоше? Я ее видел несколько раз.[3] Она перестала смеяться – и физически и морально. Учёна. Окружена профессорами. Нет аромата. С лорнеткой. Черешенке,[4] если будешь писать, передай мое приглашение в Коктебель. (Кстати, напиши мне ее имя, фамилию и адрес). А вот она вся только в аромате.

Подводя итоги моей «30-летней литературной деятельности», я с гордостью констатирую, что: меня за 30 лет ни разу не похвалили ни в одной газете, ни в одном журнале, что я всегда был запрещен цензурой всех режимов (до интеллигентской включительно и до бойкота книжными магазинами),[5] что меня ругали представители всех направлений, что в продаже нет ни одной моей книги, и тем не менее меня все-таки знают и переписывают. (А 30-летняя – потому что в 1895 г. было напечатано одно мое гимназическое стихотворение в Феодосии[6]).

Крепко обнимаю тебя и приветствую твоих (пришли мне их список с именами-отчествами).

MAX.

[1] См. п 24, примеч. 2.

[2] Пасха в 1925 г. – 6/19 апреля.

[3] Подразумевается М. К. Гринвальд Волошин был у нее в гостях во время пребывания в Ленинграде в 1924 г — 18 апреля и 6 мая (Труды и дни — 2. С. 220, 223)

[4] Прозвище Надежды Иоильевны Крыхновой.

[5] См. примеч. 5, 6 к п 45

[6] См п 7, примеч. 2

47. А. Л. ДОМРАЧЕВОЙ

12–15 апреля 1925 г. Коктебель[1]

Дорогая тетя Саша, с наступающими праздниками![2] И с радостью и с грустью читали твое письмо...[3] Будем ждать тебя как можно скорее. Маруся безумствует и делает все, чего ей нельзя делать: то лезет белить потолки, то дергает дерезу из земли, и каждый раз, как у нее начинаются боли в животе, так сердце падает и ждешь самого худшего. Меня убивает корреспонденция: за зимние месяцы я написал 170 писем — больших, с приезда из Харькова — 40, и еще остается 35 неотвеченных. А для стихов не остается времени. Так жить нельзя!! Скоро я совсем перестану писать письма. Крепко обнимаю д<ядю> Петю, Надю,[4] детей и всех вас целую троекратно.

MAX.

15/IV 1925. Письмо передайте Тиночке[5] как можно скорее — это для нас крайне важный вопрос: то, что у нас было налажено — плохо или хорошо, — мы разрушили, и теперь ее молчание крайне нас тревожит, т<ак> к<ак> мы рискуем остаться в *полном* неустройстве, если она откажется. Ведь к концу апреля ей надо уже быть в Коктебеле... а с мая уже надо кормить. Поэтому, *пожалуйста*, выясни с нею, едет ли она или нет, если нет, то переговори тотчас же с Лемерами, чтобы они приехали в начале мая, если они тоже не могут, то напиши тотчас же, чтобы было возможно хоть что-нибудь устроить. Ведь *лично* для нас разрыв с Никитишнами[6] *очень* неудобен, и это было *только* в интересах и *Тиночки* и *гостей*, т<ак> к<ак> с Никитишнами — мы на себя не принимаем никакой ответственности, а здесь все устройство питания ложится на нас.

Маруся безумствует с уборкой комнат, и ежеминутно дрожишь за ее жизнь и крепость швов.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой от 12 апреля 1925 г.
[2] Пасха – 6/19 апреля.
[3] См. примеч. 2, 3 к п. 39.
[4] П. Ф. Домрачев, Н. П. Домрачева.
[5] Харьковчанка Тина Смирнитская. Предполагалось, что она летом 1925 г. будет заведовать в Коктебеле коммунальным питанием для гостей Волошина. В письме к А. Л. Домрачевой от 12 апреля 1925 г. М. С. Заболоцкая спрашивала: «...а что же Тиночка? Надо уже начинать с мая. Неужели она передумала? <...> Я очень буду обескуражена, если она откажется» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 132, л. 8 об.–9).
[6] Подразумеваются Олимпиада Никитична Сербинова, Ф. М. Литвиненко и Л. А. Шкарина, организовавшие летом 1924 г. в доме Волошина «кухню» (см. примеч. 1 к п. 33). В том же составе «кухня» была организована и летом 1925 г.

48. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ и С. В. ЛЕБЕДЕВУ

12 апреля 1925 г. Коктебель

12.IV. 1925,
Коктебель.

Христос Воскресе! дорогие Анна Петровна и Сергей Васильевич.[1]

Только что пришло Ваше письмо от 2.IV, Анна Петровна. Мне глубоко стыдно, что я заставил Вас так много беспокоиться и хлопотать о красках для меня.[2] Я думал, что в Петербурге это гораздо проще, чем в других местах. Но как можно сейчас предвидеть, где что проще и удобнее? Вот в Харькове Гюнтер-Вагнеровские краски,[3] оказывается, есть почти во всех писчебумажных магазинах, а в Москве их совсем нет. А ввоз англий-с<ких> и франц<узских> красок в Россию, говорят, совсем запрещен. (!!???).

Ну, одним словом, я теперь имею хороший запас и могу несколько лет совсем не беспокоиться о них. Еще раз большое, большое спасибо за них.

Буду очень рад приезду д<окто>ра Хлопина и вообще всех тех, кого Вы сочтете нужным направить к нам из Ваших друзей, знакомых или близких.[4] (Человека надо всегда принимать со всем его человеческим окружением).

Очень жаль Бобби. Еще по Вашему январскому письму я понял, что он не выживет.[4]

Маруся (Вы правы!) неистовствует.[5] И никогда нельзя предвидеть, что именно ей покажется хозяйственно необходимым выкинуть: полезть ли на дерево обрезать верхние ветки, на потолок ли — белить его, вырывать ли с корнем березу обеими руками... И узнаешь об этом только вечером, когда начинают болеть швы, а она горько кается в дневных безумствах и обещает больше никогда этого не делать, чтобы, пролежав день в постели, снова пускаться в авантюры этого рода.

И вот, слава Богу! до сих пор все это ей сходит, и она поправляет<ся> вопреки всему. А я ей в хозяйстве — очень плохой помощник. Времени — даже зимой не хватает. Нет людей — есть письма. Неотвеченное письмо меня очень мучает. За эту зиму (я вчера подсчитал) я написал 170 больших писем, и у меня <на> душе еще 35 неотвеченных. А успеть прочесть все книги, что мне присылают, а акварель, а собиранье материалов для задуманных стихов — вот и выходит, что я за всю зиму ни одного стихотв<орения> не написал...

А ведь живут же люди в Европе, и на все письма отвечая, и занимаясь своей работой, и отдавая время хозяйству, и успевая прочитывать литературу по интересующим их вопросам. А для меня всегда вопрос: как все это совместить в едином коротком дне. И, в конце концов, больше всего страдает самое важное и интимное.

Как жаль, что Вы приедете только в июне.[6] Хотелось бы видеть Вас как можно раньше и как можно дольше.

Привет Ан<а>ст<асии> Осиповне и Сергею Васильевичу.[7] Простите ради Бога за все беспокойство о красках.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 2 к п. 47.

[2] См. примеч. 8 к п. 29.

[3] Имеются в виду краски знаменитой немецкой фирмы «Пеликан», руководил которой химик Гюнтер Вагнер

[4] В письме от 2 апреля 1925 г. А. П. Остроумова-Лебедева спрашивала Волошина: «Разрешите нам привезти одного молодого доктора Н<иколая> Григ<орьевича> Хлопина, кот<орый> нуждается в любви и ласке. <...>, что Вы и Мария Степановна так щедро даете нуждающимся в них людям» (ИРЛИ, ф 562, оп 3, ед. хр 920, л. 19). Ранее, 30 марта 1925 г она писала о Хлопине М. С. Заболоцкой: «Он в этом году потерял свою молоденькую жену (не перенесла беременности) и находится в очень тяжелом моральном состоянии» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 220, л 4).

[5] См. примеч. 4 к п. 29.

[6] Отклик на рассуждения Остроумовой-Лебедевой «Я сильно надеюсь, что возвращение домой подействует благодетельно на моральное состояние Марии Степановны не только на физическое, и она быстро станет восстанавливать свои силы. Только ей надо беречься, а она по своему неистовству характера, все прибирать и за всеми ухаживать, боюсь, что не будет себя беречь» (Там же, л. 19—19 об.).

[7] См. примеч 6 к п. 29.

[8] А. О. Якубчик, С. В. Лебедев.

49. Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

18 апреля 1925 г. Коктебель

18.IV.1925 Коктебель.

Дорогой Эрик Феодорович —

конечно. Очень, очень буду рад видеть у себя. Место найдется и для Вас, и для Вашей знакомой.[1] Очень был рад получить весть от Вас в годовщину нашей прошлогодней встречи в Царском.[2] Не можете ли Вы перед отъездом повидать там Леонида Ивановича Гиринского и передать ему привет от меня и Марии Степановны, и спросить, соберется ли он, наконец, в Коктебель?[3] Простите, что затрудняю Вас этим, но он необычайно туг на письма, и этим путем от него ничего не добьешься.

Указания для поездки: от Москвы до Феодосии ежедневно вагон прямого сообщения, с почтовым. Но это лучше, т<ак> к<ак> все равно выигранное время Вы теряете на Джанкое в крайне неудобной обстановке. От Феод<осии> до Кок-

тебеля — линейкой 20 верст. Цена 8–10 р. Место – рубля 2. Спросите среди извозчиков на вокзале Александр<а> Матв<еевича> *Нич* — он всегда возит нас.

Рекомендуется захватить с собою прибор для еды и мешок для сена — т<ак> к<ак> матрацы у нас истощаются.

Т<ак> к<ак> Вы следите за литерат<урными> годовщинами: в Крыму 29 мая собираются праздновать 30-летие моей литерат<урной> деятельности.[4] (Первое мое стихотв<орение> напечат<ано> в 1895 г. в мае[5]). Во главе комитета Галабутский Юрий Андреев<ич>. (Адр<ес>: Феодосия, Пед-техникум).

Привет Вашей жене.[6] Буду ждать с нетерпением.

Максимилиан Волошин.

[1] Ответ на письмо Голлербаха от 11 апреля 1925 г, в котором он спрашивал Волошина: «В этом году, по-видимому, в мае, мне удастся получить отпуск, и я мечтаю выбраться, наконец, из Ленинграда Удобно ли будет, если я приеду с дамой (женою худ<ожника> Хижинского)? И если нельзя будет по каким-либо причинам поместиться у Вас, можно ли в Коктебеле найти две комнаты по доступной цене?» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 428, л. 5) В ответ на разрешение Волошина Голлербах писал 28 апреля 1925 г.: «... предполагаю выехать отсюда <из Ленинграда. – *Ред.*> между 3 и 10 мая» (Там же, л. 6) В 1925 г. Э. Ф. Голлербах и Т. И. Хижинская приехали в Коктебель 12 (13?) мая. (См. Труды и дни-2. С 264)

[2] Волошин встречался с Голлербахом 27–28 апреля 1924 г. в Царском Селе. (См. там же. С. 221–222). См. также воспоминания Голлербаха о встречах с Волошиным весной 1924 г. (*Голлербах Эрих* Встречи и впечатления / Сост., подготовка текста и комментарии Евг. Голлербаха. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998 С. 179–181).

[3] Л. И. Гиринский был другом юности М. С Заболоцкой. Откликаясь на просьбу Волошина, Голлербах писал: «Послезавтра буду в Царском и непременно исполню Ваше поручение, зайду к Л. И. Гиринскому» (ИРЛИ, ф 562, оп.3, ед. хр. 428, л. 6).

[4] См. примеч. 1, 4 к п. 30, п 36

[5] См. примеч. 4 к п. 1.

[6] Екатерина Владимировна Штейн (урожд Колесова)

50. Ю. А. ГАЛАБУТСКОМУ

20 апреля 1925 г. Коктебель

20/IV 1925.
Коктебель.

Дорогой Юрий Андреевич,

Христос Воскресе! Поздравляю Вас с праздниками и желаю, чтобы больные Ваши выздоровели и чтобы болезнь их кончилась как можно скорее. Узнали обо всем Вашем беспокойстве от Богаевского и Успенских, что были в Коктебеле на праздники.[1] Милый Юрий Андреевич, и Вам еще во всех этих обстоятельствах хлопотать о моем чествовании![2] Узнал еще, что Вы собирались устроить что-то вроде банкета? Знаете: оставим все это, т. е. сведем все до минимума: не надо *никакого* чествования в Феодосии и вообще никакого *публичного* чествования. Правда, кое-кто из моих друзей оповещен и Вы, вероятно, получите ряд запросов, а 29 мая несколько приветствий. А ежели кто приедет — приедет для того, чтобы погостить в Коктебеле. Так сделаемте так. К концу мая Ваши больные поправятся и вы все приедете для окончательной поправки пожить ко мне на летние месяцы. А 29 мая мы просто и интимно в присутствии десятка — двух десятк<ов> друзей, которые к тому времени соберутся в Коктебеле, справим интимно день моего рождения, прочтем их (не очень многочисленные) приветствия, которые получатся в этот день, а из Феодосии приедут Дембовецкий и те, которым захочется повидать меня.

И не надо *никаких* заметок, статей, извещений в газетах. Будет интимно, хорошо, приятно, и не будем дразнить гусей.

А если *после* этого Вы захотите устроить в Педтехникуме какое-нибудь заседание, посвященное мне — и — это еще удобнее — без моего присутствия, — то прекрасно.

Сама судьба сейчас указывает на то, что надо сделать именно так, а не иначе. Ведь в Феодосии сейчас и публики-то нет, которую это могло бы заинтересовать. А в Коктебеле в замкнутой ограде моего дома это будет носить совершенно иной характер — тот, который надо.

Вам только придется получить ряд запросов, т<ак> к<ак> Ваш адрес многим сообщен уже мною. Но ответить на них все-таки проще, чем организовать что-то публичное в Феодосии.

Крепко Вас обнимаю и приветствую Анну Яковлевну.[3]

Максимилиан Волошин.

P. S. Милый Юрий Андреевич, письмо это вызвано желанием снять с Вас ту тягу, которую Вы сами приняли на себя по устройству моего «30-летия» и которая сейчас при Вашей семейной тревоге слишком тяжела. Но если Вы найдете нужным *иначе* модифицировать наш первоначальный план, то я с удовольствием приму *всякое* Ваше предложение. Считайте себя совершенно свободным делать все, что Вы найдете лучшим.

Биографические даты сообщу Вам на этой неделе.

С Богаевским мы переговорили обо всем: сговоритесь с ним, т<ак> к<ак> в письме могут быть недоразумения.

[1] Ж. Г. Богаевская и Н. В. Успенская приехали из Феодосии в Коктебель на Пасху 17 апреля, К. Ф. Богаевский и В. А. Успенский пришли 18 апреля; обе семьи выехали обратно в Феодосию 21 апреля (Труды и дни – 2. С. 261, 262).

[2] В это время заболели близкие Ю. А. Галабутского.

[3] А. Я. Галабутская.

51. Ю. А. ГАЛАБУТСКОМУ

30 апреля 1925 г. Коктебель

30/IV 1925.
Коктебель.

Дорогой Юрий Андреевич,

Число, конечно, не имеет значения и так, как говорите Вы, – вполне удобно. Для Москвы – дата 29, а для Феодосии 31 – воскресенье. Днем?[1]

25-летие или 30-летие? Пешковский пишет, что мое «положение» в литературе требует 30-летия.[2] Пусть будет так... Не

будем путать публику 25-летием. Я, кстати, сообщая друзьям, везде писал, что в Феодосии «собирают<ся>... отметить... *30-летие...*»

«Биографическую канву» прилагаю.[3]

Об моем «юбилее» (пишет мне *Ангарский* – коммун<исти-ческое> издат<ельство> Мосполиграфа) осведомлен Еникидзе <*так*!> и обещал телеграфировать Феод<осийскому> Испол.-Кому (если не забудет!).[4]

Вот в чем осложнение: к этому дню, т.е. (29–31), конечно, приедет в Феодосию кое-кто и из Москвы и из Коктебеля. Как им устроить ночлег? Б<ыть> м<ожет>, Барсамов даст помещение и для этого в музее? Сейчас у меня нет никого из друзей в Феодосии, кроме Богаевского и Успенских. Об этом необходимо подумать.

В Коктебеле – «*устраивать*» я ничего не смогу (я совсем денежно истощен болезнью и операцией М<арьи> Ст<епановны> и сижу без денег). Но просто собраться, поговорить, здесь можно более *литературно* и более интимно.

Что касается моей «оценки как поэта» – это, конечно, тема запретная, и вот поэтому-то я и отнесся спервоначалу так осторожно к самому намерению «ознаменования 30-летья». И не очень ясно себе представляю, как мы обойдем все эти подводные камни. Ведь я *только* поэт, и поэт, определенно враждебный всякой общественности и политике.

Боюсь, что на чествование Айвазовского[5] не буду: очень болят ноги и спина: сейчас для меня прогулка пешком до города возможна, но очень утомительна, когда разыгрывается мой артрит.

Привет Вашим больным.

Максимилиан Волошин.

[1] Отклик на письмо Ю А. Галабутского от 22 апреля 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386, л. 49–49 об), в котором затрагивался ряд вопросов, связанных с подготовкой к юбилейному чествованию Волошина (ср. примеч. 3 к п. 30)·

«Вчера я написал Пешковскому: "*итак 25-летие, 29 мая*", а сегодня получил от него "итак о 29-м и *30-летии* – могу Вам обещать

заметку". 25-летие или 30-летие? Ведь Вы хотели 25-летие? Ну, впрочем, это не так важно. А важнее то, что *29 мая* и в *Феодосии*, непременно в Феодосии. То, что Вы предлагаете устроить в Коктебеле — это ведь не юбилей

Я уже переговорил с заведывающим музеем (Барсамовым), и он предоставляет для юбилея картинную галерею. Мне кажется, что это лучше, чем Педтехникум. Барсамов говорит, что со стороны Исполкома никаких препятствий не будет

Я могу на юбилее сообщить Ваш биографический очерк — по канве, которую Вы пришлете, и свои воспоминания, да еще кое-что; но то, что я хотел бы сказать о Вас, как о поэте, я, к сожалению, не могу сказать; то же пишет и Пешковский, которого я просил прислать что-ниб<удь> письменно к юбилею Будут, конечно, приветствия из Москвы. Но главное — я жду заметки в московской газете, которую обещал Пешковский, и тогда сейчас же начну действовать <. .>

Все-таки напишите окончательно дату. Я сейчас сообразил, что 29 мая приходится в *пятницу*, а желателен бы праздничный день, т. е. *воскресенье* — 31-го; но юбилейная дата может оставаться для Москвы 29, раз уже там появится заметка Пешковского, а самое празднование перенесем на 31<-е>». Пешковский изложил свою точку зрения в письме к Галабутскому от 14 апреля 1925 г.: «Я бы советовал Максу избрать 30-летие, так как это и солиднее, и библиографически вернее. Об этом я ему напишу» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 6, ед хр. 252, л. 5 об.).

[2] 18 апреля 1925 г. А М. Пешковский писал Волошину. «Когда я у Никитиной сообщил про 25-летие, какой-то голос произнес: "Мало!" с оттенком осуждения. Это был глас "народа". Тебе, при твоем удельном весе в литературе в настоящее время, *необходимо* 30 лет. И если бы их не было, их надо было бы выдумать К счастью, они есть, и с библиографической точки зрения, и с чисто-литературной, так как ты, конечно, прежде всего поэт, а затем уже критик. Следовательно, первое *стихотворение* важнее первой статьи. Так как заметку в газете надо подготовлять уже теперь, не дожидаясь ответа на это письмо, то я беру на себя смелость сообщить А. Эфросу (который будет составлять заметку) о *30-летии*. Если ты очень этим оскорблен и возмущен, телеграфируй» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр 964, л. 76—77 об.). В тот же день Пешковский писал Галабутскому о предстоявшей церемонии чествования Волошина: «Относительно выступления на юбилее с оценкой стихов Макса, хотя бы письменной, — я для этого не гожусь, так как и недостаточно компетентен (мало его читал), и недостаточно сочувствую его поэтическому "уклону", кроме, конечно, *политических* стихотворений. О последних я мог бы говорить с великим жаром и восторгом, но боюсь, что после этого ему не подарят

дачу, а, напротив, окончательно отнимут. А вообще-то я узнал, что юбилей сейчас в России действительно — единственное верное средство для приобретения недвижимого имущества в собственность» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 6, ед. хр. 252, л. 7–7 об.).

[3] Текст приложен к письму (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 30, л. 13–14 об.). См.: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 226–229.

[4] 20 апреля 1925 г. Н. С. Ангарский сообщал Волошину: «...отправил т. Енукидзе копию В<ашего> письма к Л. Б. Каменеву; я думаю, что т. Енукидзе скорее что-либо сделает; Каменев же так занят, что рассчитывать на него не приходится. Я прошу т. Енукидзе написать в Феодосийский Исполком. Но опять-таки не ручаюсь, что из всего этого выйдет толк. Так все это трудно» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 178).

[5] Торжественное заседание в честь И. К. Айвазовского (25 лет со дня кончины) состоялось в Феодосийской картинной галерее 11 мая 1925 г.

52. С. А. ТОЛСТОЙ

30 апреля 1925 г. Коктебель

30/IV 1925. Коктебель.

Милая Соня,

спасибо за привет и за письмо.[1] Пишу наскоро, т<ак> к<ак> сейчас письма идут в город. У меня к тебе дело и большая просьба.

Ты знаешь, что тут (в Крыму) собираются праздновать 30-летие моей литературной деятельности. Я сам этого отнюдь не жажду и ничего доброго от этого предприятия не жду. Но мне хотелось бы использовать этот момент, чтобы укрепить положение Коктебеля и дома. То есть, чтобы Цент<ральная> Власть закрепила за мной мой дом и санкционировала бы существование Художественной Колонии. Ен<у>к<ид>зе об этом уже осведомлен Ангарским.[2] Мне бы хотелось, чтобы ты тоже его повидала и рассказала ему про Коктебель, чтобы он не забыл среди всяких дел и об этом. Это *очень* важно.[3]

На всякий случай вот адрес юбилейного комитета: Феодосия. Педтехникум. Юрию Андреевичу Галабутскому. Дата 29 мая.

Сейчас еще в Коктебеле никого нет. Дом белится, чистится, проветривается.

Маруся пребывает в хозяйственном исступлении и в побелочном экстазе.

Весна поздняя. Деревья только что начали зеленеть. Все цветет. Все посадки принялись. Ждем гостей. Ты служишь? Где? Как? Привет всем друзьям. Ольге Константиновне[4] кланяюсь. Поздравляю с минувшими праздниками. Крепко целую.

Максимилиан Волошин.

Маруся не может писать: у нее *нарыв* на указат<ельном> пальце.

[1] Имеется в виду письмо С.А. Толстой от 25 апреля 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1185, л. 20–23 об.). В нем она, в частности, сообщала: «...писатель Леонов с женой очень мечтают к вам на лето попасть. И просили меня спросить Ваше разрешенье. Вы их знаете, а я от себя могу сказать, что они исключительно милые и подходящие. Коктебель заранее обожают, а Вы и Ваши стихи произвели на них большое впечатление». 30 апреля Волошин отправил Л.М. Леонову письмо (текст его нам неизвестен), 12 мая Леонов с женой прибыли в Коктебель (Труды и дни – 2. С. 263, 264).

[2] См. примеч. 4 к п. 51.

[3] С.А. Толстая писала Волошину в ответном письме от 16 мая 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1185, л. 24–24 об.): «...с радостью пошла бы к Е<нукид>зе, но он сможет принять меня только после 25-го. По телефону или письменно ничего не выйдет. Вообще я на свои силы рассчитываю мало. Посоветовавшись с Вересаевым, решили наши хлопоты подкрепить офиц<иальной> бумагой от Союза Пис<ателей> и Поэтов. Для этого надо, чтобы Вы *точно* указали, в каком положении дача сейчас, что сделал Крым-ЦИК от какого числа, за каким № постановление и что Вы хотите от Центр<альной> Власти. Я понимаю, что Вы хотите закрепления дома за *Вами* и организацию худож<ественной> колонии. Вересаев уверяет, что Вы хотите *только* худож<ественной> колонии. Вересаев просит, чтобы Вы как можно скорее, лучше спешной почтой написали ему все точно и официально – что сейчас и что Вы хотите. Он представит Союзу, Союз напишет Е<нукид>зе и я поговорю с Е<нукид>зе. Жалко, если все это опоздает к юбилею, но ничего не поделаешь. Я получила Ваше письмо, когда уже начался Съезд Советов и нельзя было попасть к Е<нукид>зе».

[4] О.К. Толстая.

53. Е. Л. ЛАННУ

2 мая 1925 г. Коктебель

2/V 1925. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

вот уже больше месяца как вернулся из Харькова.[1] Все время собираюсь Вам написать, но такое количество очередной корреспонденции, что интимные письма откладываешь и потому затягиваешь. Глубоко был тронут Вашим письмом и присылкой, полученным в Харькове, и писал Вам оттуда.[2] В Коктебеле нашел «На взгляд Запада».[3] Очень хорошо. Читая, со многим спорил. Но, прочтя, со всем примирился. Как умно, тонко; как по-настоящему. С каким размахом! Как он многое сам наблюл. Как умно заимствовал концепции Достоевского. Как выдержал английскую точку зрения! Давно я не испытывал такого глубокого художественно-морального впечатления. Спасибо за эту книгу.

О моем предисловии... Правы Вы, а не я. Надо было сказать: не «так бывает», а так было со мной.[4]

Вы знаете, что с моим «30-летним Юбилеем»[5] вышло так, что это просочилось, и мне пришлось дать согласие на то, чтобы он был ознаменован. Это будет очень, очень скромно — в Феодосии небольшой группой друзей, во главе которой стоит мой старый, еще гимназический, учитель русс<кого> языка Юрий Андреевич Галабутский, который и настоял на этом (его адрес: Феодосия. Педтехникум).

В сущности, предприятие это, конечно, не имеет смысла, т<ак> к<ак> обо мне как о *поэте* говорить не придется по цензурн<ым> условиям.

Но у меня есть некоторая надежда, что этой датой можно воспользоваться для того, чтобы санкционировать свыше существование моей Коктебельской Худож<ественной> колонии, которое всегда нетвердо. Только что, уже после Харькова, была снова сделана попытка отнять у меня дом, чтобы пустить его в эксплуатацию. Местным властям претит «бесплатность» моей колонии — им кажется, что я подрываю их курортные доходы. Я об этих моих желаниях писал кое-кому

(Вересаеву, Ангарскому...). Об этом уже осведомлены и Каменев, и Енукидзе.[6] Но прошу всех моих друзей, если представятся возможности, со своей стороны оказать давление в этом направлении. Ведь они заинтересованы в существовании Коктебельской колонии не меньше, чем я сам. А я забочусь только о ней.

Потом вот что: я хочу познакомить Вас, Евгений Львович, с моим старым другом — гимназических и студенческих лет, с которым мы вместе жили и росли: профессором Александром Матвеевичем Пешковским,[7] санскритологом, филологом-экспериментатором, специалистом по русской грамматике и, сверх всего, естественником и музыкантом. Человеком крайне рассеянным, наивным, духовно прекрасным и творчески ученым. Он неожиданно принял самое горячее участие в устройстве «чествования». Ему надо достать все мои стихи. Т<ак> к<ак> Вы недавно брали их у Дани,[8] то, наверно, они у Вас есть, и я дал ему Ваш адрес. Вам же в свою очередь сообщаю его: Сивцев Вражек, 35, кв. 18. У него *есть* телефон личный, номера которого не помню. Но, вероятно, можно узнать на т<елефонной> станции. Пожалуйста, позвоните ему.

Когда думаете сами приехать в Коктебель? Хотелось бы видеть Вас с Александрой Владимировной пораньше и на более долгий срок.[9] Я сейчас вожусь с садом (удалось сделать, наконец, ограду, и потому все цветет и зеленеет) и переживаю всю трепетную и мистическую радость прорастающих зерен и побегов. Сейчас самые праздничные дни весны. Пишу акварели.

В Коктебеле еще никого нет.

Есть возможность сейчас послать это письмо в город, и потому спешу его кончить.

Максимилиан Волошин.

P. S. Если у Вас, с Вашими широкими издательскими связями, явится какая-нибудь возможность перевода хорошего француза, вспомните о том, что я недурной переводчик.

Привет Александре Владимировне.

М. В.

[1] Из Харькова Волошин вернулся в Коктебель 21 марта 1925 г.

[2] См. п. 26, примеч. 6.

[3] Речь идет о романе Джозефа Конрада «На взгляд Запада» («Under Western eyes», 1911) (*Конрад Джозеф.* Собр. соч Т. 4 / Под ред. и с лит.-крит. очерком Евгения Ланна. Пер. с англ А. В. Кривцовой. М.; Л., Земля и фабрика, 1925).

[4] Имеется в виду письмо-предисловие Волошина к невышедшему сборнику стихотворений Е. Л. Ланна «Heroïca» (см.: *Ланн Евгений.* Heroïca. Стихотворения / Сост., подг. текста и послесл. К. Добромильского. М.: Водолей, 2010), содержавшее размышления: «Не скрою, что в Вашей игре звуковыми фонемами скрыто для меня большое очарование. Так бывает, когда берешь в руки подлинный текст произведения, язык которого знаешь только отдаленно. <...> В незнакомых полнозвучиях стиха рисуются только монументальные линии архитектуры, а все детали, подробности и орнаменты скрадываются. Создается звуковая мгла, на фоне которой четко рисуются корневые видения языка, огневеющие расширенным довременным смыслом. Вы достигаете таких же эффектов в пределах моего собственного языка. Ваша воля ставить себе задачу того или иного “как”, но мне в Вашей книге ценнее всего “кто” <...>» (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 521–524). Ланн в письме от 9 февраля 1925 г. полемизировал с Волошиным: «Теперь о Вашем введении: это большой подарок мне <...>. По вопросу о “как” мы стоим как будто на концах диаметра. Не знаю, быть может Вы и правы: молодость, видно, очень, очень упорно заставляет меня твердить и нерушимо стоять на моей концепции “как”» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 54).

[5] См. примеч. 1, 4 к п. 30, п. 36. Ланн отвечал Волошину 23 мая 1925 г.: «Все мы хорошо помним дату 29-го и отовсюду слышим запросы о форме чествования и о способах информации» (там же).

[6] В. В. Вересаев и Н. С. Ангарский ходатайствовали за Волошина перед Л. Б. Каменевым, заместителем председателя Совета Народных Комиссаров, и А. С. Енукидзе, секретарем и членом президиума ЦИК СССР. См. п. 36, примеч. 10, п. 51, примеч. 4, п. 54, примеч. 4.

[7] В письме от 23 мая 1925 г. Ланн сообщил Волошину: «Виделся я с А. М. Пешк<овским>» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 60).

[8] Д. Н. Часовитина. См. примеч. 19 к п. 3.

[9] На вопрос Волошина Ланн ответил: «Огорчает меня, ко всему прочему, то, что в изд<ательст>ве, коему я помогал по иностр<анной> литерат<уре>, не служа там, большие перемены. Не знаю, как

сложится моя работа при новом правлении. Нервничаю. Знаю — нужно отдохнуть, но полагаю, что Вашим дорогим для нас (меня и Алекс<андры> Влад<имировны> <Кривцовой. — *Ред* >) приглашением раньше августа не сумею воспользоваться» (Там же. С. 60).

54. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

3 мая 1925 г. Коктебель

3.V.1925. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Получил письмо от 8.IV. Большое спасибо за внимание и желание помочь. По Вашему предыдущему письму я боялся, что Вы эти деньги выслали и что они запропастились.[1]

ЦКУБУ мне оказала большую услугу: выслали мне акад<емическое> обеспечение за 3 месяца вперед, когда я написал Шпаро о моих обстоятельствах. Харьковский здравотдел тоже сделал мне очень большую скидку. Это было очень любезно с его стороны, потому что он таких скидок никому не делал, но... Как врачу Вам это будет любопытно: он скостил со счета совсем плату за операцию,[2] т. е. гонорар профессору и его ассистентам, сохранивши при этом плату за питание по 4 р. в день (причем 11 дней из 14 больная находится на полной диете). Конечно, я счел себя обязанным поговорить в клинике à part* и просить врачей принять обычный и законный гонорар, который они получили от меня вне всяких скидок, и извиниться за такое покушение на их труд и внимание. Хорошенький способ делать скидку за счет именно тех, кто вкладывает свое искусство и труд. Так что, очень поблагодарив здравотдел за любезность, я все-таки внес почти целиком всю плату.

Теперь о моем «юбилее»... Вы, конечно, понимаете, Викентий Викентьевич, что я отнюдь не жажду его. Я долго отбояривался, но мне пришлось уступить настояниям нескольких друзей, почему-то очень энергически взявшихся за дело.

* Наедине (*фр.*).

Это будет очень, очень скромно, не выходя за пределы Феодосии. Меня лично соблазнило, конечно, не честолюбие, а желание закрепить существование моей Коктебельской Художественной колонии, которая как раз снова подвергалась нападению со стороны местных властей в это время.

Слова Ангарского об «юбилее» припомнились уже после, и я написал ему, слишком много на него и не рассчитывая, так что его теперешние слова о том, что он говорил об этом полушутя, меня не удивили и не огорчили. А вот его совет написать Каменеву (т. е. то письмо, что я послал через Вас)[3] и обещание поговорить с ним, а потом напоминание через Шкапскую, что он уже говорил с Каменевым и что мне пора писать – это я не принимал за шутку, а относился серьезно.[4]

На днях к Вам позвонит от моего имени (а может, уже и звонил) профессор А. М. Пешковский (санскритолог, специалист по русской грамматике и, сверх того, естественник и музыкант, очень интересный филолог-экспериментатор). Это мой товарищ по гимназии и друг юности. Он очень принял почему-то к сердцу мое чествование и хочет с Вами посоветоваться об этом. Должен заранее предупредить Вас о его феноменальной рассеянности и близорукости. Это человек большой душевной чистоты и наивности. Его адрес: Сивцев Вражек, 35, кв. 18, Александр Матвеевич Пешковский. У него есть домашний телефон. Буду очень благодарен, если Вы сами позвоните ему от моего имени. Вам, вероятно, будет очень интересно расспросить его о работах по исследованию музыкальных ритмов живой разговорной речи, которую он исследует и анализирует при помощи фонографа и виолончели.

Как прошла Ваша поездка на юг с диспутами? Или она еще не состоялась? Привет Марии Гермогеновне.[5] Крепко жму руку.

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 36. В письме от 8 апреля 1925 г. Вересаев признавался Волошину: «Мне очень совестно писать Вам, – теперь уж не могу выслать Вам тех денег, о которых Вам писал. Мне тогда сообщил д<ок-то>р Саркизов о болезни Марии Степановны, о размерах платы в клинику и пр Потом же выяснилось назначение Вам академического

денежного довольствия в КУБУ, значит, снижение платы в клинику, словом, изменение ситуации, к<отор>ое повело направление упомянутых денег по другому руслу» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 331, л. 20).

[2] Речь идет об операции М. С. Заболоцкой (см. п 24, примеч 2)

[3] См примеч 10 к п. 36.

[4] Отклик на сообщение Вересаева в цитированном выше письме относительно планировавшегося в Феодосии юбилейного чествования Волошина: «Говорил с Ангарским по поводу Ваших “юбилейных” предположений. Он говорит, что он это сказал в шутку. Человек он на этот счет вообще неосновательный, и часто бухает безответственно, просто, потому что слово подвернулось под язык. Он говорит, что на К<аменева> совершенно рассчитывать нечего, что каждый день он подобные письма получает пачками и ничем на них не реагирует. И мое мнение, – если что и возможно, то только, если бы Вы лично об этом хлопотали» (Л. 20–20об.). Полугодом ранее, 31 октября 1924 г. М. М. Шкапская писала Волошину: «Ангарский просил Вас предупредить <...>, что он виделся с Каменевым и что Каменев обещал Вам и Вашему дому всякую поддержку» (ИРЛИ, ф 562, оп 3, ед. хр. 1303, л. 31 об.).

[5] М. Г. Смидович.

55. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

19 мая 1925 г. Коктебель

19/V 1925. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

горячо благодарю за деньги. Мне глубоко стыдно, что так вышло. Но Вы понимаете, как все случилось: мое письмо было не напоминание, а боязнь, чтобы посланное не затерялось.[1] Но не хочу запутывать своими повторными объяснениями вопроса, но просто крепко Вас обнимаю за постоянную заботу обо мне.

Сейчас приехал А. Г. Г<абриче>вский. И я спешу Вам написать (спешной почтой) ответ на вопросы.

Чего я хочу? Мои ходатайства менялись соответственно менявшимся обстоятельствам. Отсюда и спутанность. Моя личная цель: *утверждение моей дачи за мною для того, что<бы>*

я ею мог служить нуждам литераторов и художников. Это Вы знаете.

Для этого надо: 1) (необходимый пункт) Официальное ее утверждение за мною как собственности. 2) Принять меры, чтоб она не попала в крепостную зависимость от какого-нибудь союза или организации, которая ее слопает. 3) Оградить ее от налоговых и промысловых обложений, которые могут сразу раздавить всю организацию, существующую вне денежных средств и вне доходов.

Путем к этому служат две бумаги, на которых сейчас зиждутся мои права, копию которых я прилагаю. Первая из них (Выписка постан<овления> Крым-ЦИК'а) только что спасла мою дачу от предполагавшейся весною реквизиции, вторая прошлой осенью помогла мне добиться отмены налогов.

К сожалению, обе они носят временный и относительный характер. *Необходимо*, чтобы та и другая были *санкционированы* центром.

В виде ли их подтверждения В.Ц.И.К'ом или в виде особого постановления В.Ц.И.К'а – безразлично.

Я думаю, что мне следовало бы послать Вам копии утвержденные и засвидетельствованны<е>, но сейчас это невозможно, ибо оказия будет завтра рано утром. Если это необходимо, то пришлю по первому требованию.

Чествование мое назначено в Феодосии на 29 мая, но фактически состоится 31 мая, т<ак> к<ак> это воскресный день.[2] Но, думаю, что вопрос о моей даче вовсе не надо приурочивать к этому числу, т<ак> к<ак> времени остается мало – желательно только самый факт юбилея использовать для утверждения дачи за мной и для санкционирования существующей в сущности уже 32 года художественной колонии. Все это может ведь быть сделано и в течение лета. Положение облегчается тем, что уже имеются постановления, на которые можно опереться.

Желательна только *Санкция* центра в гласной форме. Проект такой бумаги прилагаю.

Утверждение *бесплатного* Дома Отдыха этим самым гарантирует от взыскания налогов местных, т. е. торговых, а общегосударственные налоги не слишком велики.

По поводу Ен—за[3] будьте добры снестись с Соф<ьей> Андр<еевной> Толстой (Остоженка. Троицкий пер. 3, кв. 8). У нее есть телефон.

Крепко жму Вашу руку.

Максимилиан Волошин.

Немного опасаюсь вмешательства Союза Писателей в дело моего ходатайства о Доме. Там ведь «напостовцы», которые будут стараться все сорвать. Но вполне доверяю Вашему такту.

[1] См. п. 36, примеч. 1 к п. 54.

[2] Дата чествования была перенесена по предложению Ю. А. Галабутского (см. примеч. 1 к п. 51).

[3] Подразумевается А. С. Енукидзе (см. примеч. 4 к п. 51).

56. С. А. ТОЛСТОЙ

19 мая 1925 г. Коктебель

19/V 1925. Коктебель.

Милая Соня, сегодня приехали Габричевские и привезли от тебя письмо.[1] А другое — большое — я получил раньше.[2] Но у нас уже начался съезд, и мне снова нет времени для писем.

Сейчас я пишу спешной почтой письмо Вересаеву[3] и нарочно вкладываю письмо к тебе — в его, чтобы поставить Вас обоих в контакт и дать Вам сговориться. Ему я пишу, чтó мне было бы в сущности нужно для охраны дома, и прилагаю копии имеющихся у меня бумаг. Но бумаги эти недостаточны, временны и нуждаются в санкции ВЦИК'а.

Нужно утверждение дачи за мной и констатированье бесплатности моего Дома Отдыха.

Ангарский мне писал, что ему Енукидзе обещал телеграфировать Феодосийск<ому> Предисполкому о моем юбилее.[4] Этой телеграммы очень ждет юбилейный комитет, чтобы придать чествованию характер публичности. Но это мне не так важно — для меня важно только устроить и зафиксировать судьбу дома и колонии. Вот об этом будь добра и сговорись с Вересаевым.

Гинсбурга я знаю и с удовольствием его приму.[5] Но должен тебя предупредить, что считаю его как скульптора крайне бездарным. Сейчас он хлопочет, чтобы в Феодосии поставили памятник Айвазовского его работы – памятник очень неудачный. Я очень *против* этого памятника.[6]

Но это мне нисколько не мешает относиться к нему хорошо как человеку. Так что все будет зависеть от него самого. Может быть, честнее было бы его предупредить заранее? Потому что в Феодосию он ведь едет именно для устройства памятника и может ошибочно рассчитывать на мою поддержку. Так что уже поступи так, как, думаешь, будет лучше для него, ибо не хотел бы его обидеть. А моего мнения уже спрашивали и будут еще спрашивать о памятнике.[7]

«Союза Писателей» – я немного боюсь[8] – т<ак> к<ак> там сидят мои враги – «напостовцы», которые, узнав о таком ходатайстве, не замедлят его сорвать и поднять против меня травлю. Очень сериозно посоветуйся раньше с Вересаевым. Сейчас ночь. Завтра рано утром едут в город. Крепко тебя обнимаю. И верю, что дела повернутся так, что осенью ты будешь с нами. Привет Ол<ьге> Конст<антиновне>.[9] Спасибо за хлопоты.

MAX.*

Милая Соня, спасибо за все присылки. Сейчас уже час ночи. Я засыпаю с пером в руке. А надо еще приготовить ряд писем к завтрашнему утру. Напишу тебе позже и подробно.

[1] Имеется в виду письмо от 16 мая 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1185, л. 24–24 об.).

[2] Имеется в виду письмо от 25 апреля 1925 г. (Там же, л. 20–23 об.)

[3] См. п. 55.

[4] См. примеч. 4 к п. 51.

[5] В письме к Волошину от 25 апреля С. А. Толстая сообщала: «...я в СПБ. виделась с скульптором Гинцбургом. Это старый друг нашей семьи, премилый и прелюбопытный старик. Он живал в Коктебеле у

* *Последующий текст – дополнение к приписке М С Заболоцкой*

Петрова. Теперь опять возмечтал, и я обещала запросить Вас. Думаю, что он тоже будет Вам созвучать душевно, а кроме того, он хочет Вас лепить». Не получив своевременно ответа, С. Толстая повторяла вопрос в письме от 16 мая: «А как насчет Гинцбурга?».

[6] Памятник И. К. Айвазовскому работы И. Я. Гинцбурга был установлен в Феодосии в 1930 г. (2 мая).

[7] И. Я. Гинцбург в Коктебель к Волошину не приезжал.

[8] См. примеч. 3 к п. 52.

[9] О. К. Толстая.

57. М. С. и С. В. ШЕРВИНСКИМ

19 мая 1925 г. Коктебель

19/V 1925. Коктебель.

Милая Машенька,
Дорогой Сергей Васильевич,

письма Ваши мы получили на Пасху, получили и то, что было в январе – всё такие грустные и трагические письма с отголосками катастроф и смертей.[1] Наша зима была такая же: она и началась и окончилась катастрофами с очень близкими нам людьми, тень которых надолго омрачила душу.... не говоря о тех ежедневных вестях о самоубийствах и безумиях, которые приходят в этом году с севера. И к нам подходила смерть, но не коснулась – а только отбросила тень и прошла мимо: операция Маруси – вне болезни и окончившаяся благополучно, но грозившая гибелью, если бы время было случайно упущено.[2] Какая-то охраняющая рука провела по самому лезвию.

Сейчас уже начало<сь> лето. Пока еще немного гостей (Голлербах, Леоновы...),[3] и все это *пока* – до начала июля. Из *старых* друзей еще никого. Но строй и темп жизни уже явственно перешел с зимы на лето. Ушло молчание и уединение. Постоянно приезжают, ночуют и проезжают новые лица, по вечерам за чаем завязываются длинные беседы. Уже трудно оторваться от текущего для беседы с отсутствующими. Белятся комнаты, чинятся окна, поливаются посадки. Маруся разрывается по хозяйственным делам, мне становится некогда.

Вопрос с питанием у нас остается еще открытым. «Коллектив» – провалился.[4] Ел<ена> Ник<олаевна>[5] отказалась ввиду невозможности конкурировать с НАРПИТ'ом. Теперь остаются 2 возможности – либо Олимпиада Н<икитична>[6] (еще не дала ответа), либо НАРПИТ (60 к.).

Материя Ваша, Машенька, мне очень нравится.[7] Такая празднично-солнечная. А если выгорит – то ничего. В смысле же покроя советую все же тунику из двух полопниц <?>, сколотых на плечах, с двумя подхватами – (резинки) – под грудью и ниже бедер. А мужской: одноцветные culottes* – рубаха и шапочка – можно очень яркие.

Надо ли говорить, что ждем Вас очень-очень, и как можно раньше и со всеми Вашими друзьями, кого Вы захотите привезти. Крепко обнимаю Вас обоих.

Максимилиан Волошин.

Маруся горячо Вас обоих обнимает и целует, но писать не может, т<ак> к<ак> у нее нарыв на указательном пальце.

[1] В письме к Волошиным от 16 января 1925 г. С В. Шервинский сообщал о смерти (31 декабря 1924 г) своего близкого друга В. Г. Ковальцича и о болезни писателя С. С. Заяицкого: «...мой близкий друг Серг<ей> Серг<еевич> Заяицкий, которого я так мечтаю направить в Коктебель, вот уже месяц лежит с тяжелым осложнением костного tbc <туберкулеза. – *Ред.*> в позвоночнике <...> Мы все за него страшно волнуемся, потому что все его любим и ценим...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 3–4 об.). В пасхальных письмах (18 апреля 1925 г.) он и М. С. Шервинская оповещали о семейной трагедии: брат матери С. В. Шервинского и его жена были убиты и ограблены в подмосковной деревне их знакомым – 17-летним мальчиком (Там же, л. 5–6 об.; Там же, ед. хр. 1294, л 5–9 об.).

[2] См. п. 24, примеч. 2.

[3] Согласно записи в Домовой книге, Л. М. Леонов с женой и Э. Ф. Голлербах приехали в Коктебель 12 мая 1925 г. (Труды и дни – 2. С. 264).

[4] Проект организации коллективного питания, изложенный Волошиным в п. 33.

[5] Е. Н. Слудская.

[6] О. Н. Сербинова.

* Короткие штаны (*фр*).

[7] К своему пасхальному письму М. С. Шервинская приложила кусочек материи, желая узнать мнение Волошина: «Как Вы думаете, <...> хорошо сшить мне себе такой костюм для Коктебеля? <...> я прочла Ваше письмо к Габричевским <п 41 — *Ред.*>, где Вы горячо говорите о костюмах и даже прилагаете рисунки. Я думаю, что такой тон очень пойдет к загару, только, может быть, быстро выцветет от солнца? Ну, ничего, можно надевать такой костюм по праздникам и торжественным дням. Очень прошу Вас, посоветуйте, что сшить Сереже, я решительно не могу допустить европейского костюма!»

58. ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

22 мая 1925 г. Коктебель

Союзу Писателей
Поэта Максимилиана Волошина
Заявление.

Мною устроена в Коктебеле на моей даче «Художественная Колония», или дом отдыха (и работы) для писателей, художников и ученых. В основу положена полная бесплатность и независимость от каких бы то ни было учреждений, союзов и групп.

Пропускная способность — 300 чел<овек> за лето. За годы 1923 и 1924 г. через него прошло 500 чел<овек>.

«Волошинскому Дому» с самого начала грозит три опасности.

1) Конфискация дома. 2) Задушение при помощи налога (он существует вне доходов и, следовательно, вне средств). 3) Захват каким-либо учреждением или группой.

Юридическим основанием его существования служат: 1) Постановление КрымЦИКа о закреплении за Максимилианом Волошиным его дома (29 января 1925 г. за № 03915 из протокола № 4).[1]

2) Удостоверение Наркомпроса Р.С.Ф.С.Р. о чрезвычайной полезности «Волошинского Дома» за № 1052 от 31 марта 24 г.

3) Ряд охранных грамот, выданных мне с начала советской власти, о неприкосновенности моей мастерской, библиотеки, архивов и дома, и тот факт, что дача никогда не была национализирована.

Несомненно, мне приходится, тем не менее, ежегодно бороться с дурной волей местной администрации (Феодосийской и Старокрымской), угрожающей существованию дома или налогами, или конфискациями. Поэтому существование «Волошинского Дома» нуждается в гласной санкции Центральной власти.

Поэтому прошу Союз Писателей прийти мне на помощь в этом общем для нас деле.

Но заранее предупреждаю, что моя цель – идти на помощь не к тем, кто имеет на нее права, а к тем, кто в ней более других нуждается. Поэтому членам Союза Писателей особых прав в своем доме предоставить не смогу и прошу принять это не как недоверие или враждебность, а просто как необходимую предупредительную меру против всегда возможного захвата моего дома отдельной группой или союзом.

22/V 25 г.

[1] Это постановление было получено Волошиным 21 марта 1925 г., в день возвращения в Коктебель из Харькова (Труды и дни – 2. С. 258).

59. Ю. А. ГАЛАБУТСКОМУ

22 мая 1925 г. Коктебель

22/V 1925. Коктебель.

Дорогой Юрий Андреевич,

До меня дошли слухи о том, что Феодосийская Администрация после моего выступления в РОПИК'е чинит препятствия чествованию 29 мая.[1] Полагаю, что если это так, то ни в каком случае не следует на нем настаивать и форсировать ее волю (даже если будут распоряжения из Москвы). Не нужно ссориться с властью на местах, которая всегда очень обидчива на принуждения центра. Имею тоже основания опасаться того, что ее неудовольствие отразится не на мне самом, а на устроителях чествования. Говорю, конечно, о *публичном* чествовании в Феодосии. В столицах же, благодаря Вам, этот вопрос уже поднят и целый ряд литературных и ученых организаций

откликнулся и откликнется на 29<-е> — письменно. Так что вопрос идет только о публичном выступлении в Феодосии. Стоит ли ради него рисковать. Боюсь я не за себя — мне это дело привычное. Но вспомните о тех преследованиях, которым подвергся Львов-Рогачевский за одобрительный отзыв обо мне в курсе истории рус<ской> литературы.[2] Мои близкие и мои друзья очень обеспокоены всем этим, и Мария Степановна едет к Вам для специальных переговоров. Как Вы вместе решите, так и будет, а я приму с одинаковой благодарностью и положительное и отрицательное решение.

Если, взвесив все данные, Вы придете к убеждению, что лучше не рисковать публичной манифестацией, то надеюсь, что Вы и остальны<е> мои феодосийские друзья навестите меня в Коктебеле и мы проведем хороший интимный вечер у меня в мастерской.

Сейчас в Москве идет съезд Советов[3] и потому и Каменев, и Енукидзе, и Луначарский невменяемы, освободятся они к 25 мая, и только после этого можно ожидать от них какихнибудь телеграмм, которые, вероятно, будут просто приветственными и не касающимися самой организации юбилея. Так сужу по письмам Вересаева и Соболева <так!>, которые хлопочут о санкционированьи Волошинского Дома.[4]

Крепко Вас обнимаю и приветствую Анну Яковлевну.[5]

Максимилиан Волошин.

[1] РОПИК — Российское общество по изучению Крыма. 14 мая 1925 г. РОПИК избрал Волошина своим почетным членом (Труды и дни – 2 С. 264)

[2] Подразумевается опубликованная 1 июня 1923 г. в «Правде» статья Л. С. Сосновского «На идеологическом фронте. Кто и чему обучает нашу молодежь», в которой была подвергнута критике книга В Львова-Рогачевского «Новейшая русская литература». См.: Т. 12 наст. изд. С. 681–682

[3] Двенадцатый Всероссийский Съезд Советов, утвердивший новую Конституцию РСФСР, проходил в Москве с 7 по 16 мая 1925 г.

[4] В письме к Волошину из Москвы от 13 мая 1925 г. Андрей Соболь предлагал взять его дом под эгиду Всероссийского Союза Писателей: «Вчера я случайно узнал от Ив<ана> Мих<айловича> Саркизова, что у Вас снова какие-то неприятности. Ведь еще в прошлом

году я предлагал Вам свои услуги оформить и окончательно закрепить за Вами дом при помощи нашего Союза. Предлагаю Вам это снова. Но для этого мне необходимо, чтоб было Ваше заявление в Союз — подробное, со всеми нужными справками. И нужно это прислать скорее, когда еще Енукидзе здесь, к которому я и пойду от имени Союза» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1122, л. 6–6 об.).

[5] А. Я. Галабутская.

60. Ю. А. ГАЛАБУТСКОМУ

27 мая 1925 г. Коктебель

27/V 1925. Коктебель.

Дорогой Юрий Андреевич,

Весть об отмене меня не удивила и не огорчила.[1] Странно было бы ожидать иного. Она меня даже и порадовала, т<ак> к<ак> сняла с меня беспокойство о Вас и о тех моих друзьях, которые принимали участие в организации чествования.

Это то именно, о чем я предупреждал Вас, когда еще зимой отказывался от чествования публичного. И тем не менее Ваша инициатива сделала и свое практическое дело: она подняла на ноги всех моих северных друзей, и они сейчас деятельно хлопочут о санкционировании «Волошинского Дома», что, вероятно, даст практи<ч>еские результаты и укрепит его положение (непрестанно оспариваемое). Это будет видно на днях.

Не соберетесь ли Вы ко мне в Коктебель с Дембовецким и С. А. Александров<ым> на Троицу? (2 дня праздника).

Я родился в Духов День (это было 16/29 мая) и обычно приурочиваю его к этому празднику, не считаясь с датой. Мне было бы очень радостно увидать Вас и других моих друзей в этот день у себя – если Вы не будете слишком заняты экзаменами.[2]

Если же это трудно – тогда отложим это до 4/17 августа – дня моих именин, который обычно тоже отмечается перед <?> большим скоплением народа (время съезда в Коктебеле).

Напишите мне заранее.

Теперь в Коктебеле уже открылась почта, и ею можно пользоваться.

Привет Анне Яковлевне[3] и Лельевр.

Максимилиан Волошин.

P. S. В одном письме, полученном вчера от поэта Евгения Ланна, он пишет, что виделся с Пешковским на днях.[4] Верно, пропали его или Ваши письма. А он сам благополучен.

[1] Запрет на официальное чествование Волошина в связи с юбилеем последовал в начале третьей декады мая 1925 г. Ю. А. Галабутский сообщал Волошину в недатированном письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386, л. 50): «На заседании Ропик'а, где должен был быть заслушан текст адреса к Вашему юбилею, председатель заявил, что местный Политпросвет *не разрешил* чествования. Подробности Вам расскажет В. А. Успенский. <...> Нечего и говорить, что на душе прескверно». Ср. сообщение в письме К. Ф. Богаевского к К. В. Кандаурову от 23 мая 1925 г.: «Чествовать Макса по случаю его тридцатилетней деятельности нам не придется, т<ак> к<ак> здешним политпросветом сие строго-настрого запрещено» (РГАЛИ, ф. 769, оп. 1, ед. хр. 26).

Галабутским был составлен текст приветствия Волошину от РОПИК (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 20, л. 3–3 об.), а также текст объявления (Там же, л. 4):

29 мая исполняется 30-летие литературной деятельности поэта М. А. Волошина.

М. А. Волошин последние 10 лет почти безвыездно живет в Крыму, в Коктебеле, на собственной даче, где он устроил Дом Отдыха, предоставляя все помещения бесплатно нуждающимся в курортном отдыхе и лечении писателям и художникам.

Чествование юбиляра состоится 31 мая, в 4 часа, в картинной галерее Айвазовского.

Лица, интересующиеся юбилеем, могут обращаться в Правление РОПИК'а <...>.

[2] Галабутский не смог участвовать в коктебельских чествованиях Волошина (из-за одновременного чтения лекций на курсах Ликбеза), но прислал ему поздравительное письмо (Там же, л. 51–52).

«Поздравляю Вас, дорогой мой, с днем рождения и с юбилеем. Очень мне досадно и больно, что не удалось устроить так, как я хотел; но все-таки главное сделано.

В московских “Известиях” (31 мая № 122) помещена коротенькая заметка, которую выписываю буквально:

“*Юбилей М. Волошина.* 31 мая исполняется 30-летний юбилей известного поэта Максимилиана Волошина. Общество изучения

Крыма* выбрало М. Волошина своим почетным членом. В настоящее время юбиляр проживает в Коктебеле (близ Феодосии)".

Затем у меня имеются следующие приветствия: 1) адрес от петербургских писателей; 2) телеграмма от Государственной Академии Худож<ественных> наук и литературной секции ГАХН, за подписями: ученого секретаря Сидорова и председателя секции Сакулина; 3) телеграмма от Гроссмана – из Москвы, 4) коллективная за подписями. Кругликова, Остроумова, Якубчик, Лебедев, Верховский, Костенко, Мезенцева, Павловский, Черкесов, Николай Лансере, Нерадовский, Воинов, Чикин, Кустодиев, Эрнст, Бушен, Слопина (?), 5) телеграмма от Алекс<андра> Смирнова, 6) от Ланна, 7) Института слова, из Москвы, за подписью декана Грифцова. < .>

Может быть, у Вас удастся устроить маленькое дружеское собрание, и тогда я прочел бы все эти приветствия и сказал бы и свое слово, которое я хотел сказать на юбилее <...> А пока что, в понедельник, в день Вашего рождения, я выпью за Ваше здоровье рюмку вина, вспомню далекое прошлое, когда Вы были гимназистом, а я молодым учителем, и пожелаю Вам от всего сердца здоровья и всего лучшего».

Приведенная в письме Галабутского газетная заметка была опубликована в рубрике «По Москве» без подписи (написана И. М. Саркизовым-Серазини) Сообщая 31 мая о ее появлении Галабутскому, Пешковский добавлял: «.. это плод месячных усилий нескольких друзей Макса (в том числе и моих). *Так* это было трудно» (ИРЛИ, ф 562, оп. 6, ед. хр. 252, л. 10).

[3] А Я. Галабутская.

[4] См. примеч. 7 к п. 53.

61. Е.Л. ЛАННУ

28 мая 1925 г Коктебель

28/V 1925. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

как и следовало ожидать, публичное чествование в Феодосии запрещено местной администрацией. Меня известили об этом вчера.[1] Я так и думал и потому нисколько не опечален, и было бы странно, если бы было иначе.

---

* Речь, вероятно, идет о Московском Об<щест>ве? <*Примеч. Галабутского*>

Спасибо, дорогой друг, за Ваши слова.[2] *Это* мне дорого и ценно больше каких бы то ни было публичных манифестаций.

Сведения, что спрашивает Соболь, были посланы, еще до получения его письма,[3] В. В. Вересаеву спешной почтой (20 мая).[4] Соболю я ответил заказным письмом (21 мая) и Саркизову (24 мая).[5] Письма очень запаздывают и задерживаются.

Очень прошу Вас известить вышеназванных лиц (хотя бы по телефону) об отмене в Феодосии публичного чествования.

Но одно дело — я, другое — «Волошинский Дом». И я очень прошу моих друзей не прекращать хлопоты о санкционировании последнего, т<ак> к<ак> он особенно нуждается в поддержке.

Относительно Союза Писателей — я в своих письмах к Вер<есаеву> и Соболю относился *сомнительно* к его поддержке, более остерегаясь ее, чем надеясь на нее.[6] Дело в том, что я предполагал, что в состав Союза входит и группа «напостовцев», которая травила меня и доносила на меня год назад (когда С. Родов был в Коктебеле),[7] и только на днях узнал, что она не входит более в С<оюз> П<исател>ей.[8] Поэтому все мои опасения падают, и мне нечего бояться того, что вмешательство С<ою>за Пис<ателей> окажется мне более вредным, чем полезным. Известите их об этом, пожалуйста.

Пишу Вам наскоро, чтобы сегодня же послать это письмо.

Крепко обнимаю Вас. Привет Алекс<андре> Влади<мировне>.[9] Очень ждем Вас в Коктебель, когда бы Вы ни приехали.

Максимилиан Волошин.

М. С. Вас приветствует. От операции она оправилась.[10] Ждет Вас.

[1] См. примеч. 1 к п. 60.

[2] Имеются в виду слова Е. Л. Ланна в его письме от 23 мая 1925 г.: «Позвольте же, <...> выразить в день памятный для всех нас, мою глубокую благодарность за ту духовную радость, какую дает мне общение с Вами. Знаю, что эта фраза корява, знаю, что она смахивает на штамп, но верю: в подлинности моего “переживания” Вы не сомневаетесь. Да, Максимилиан Александрович, Вы для меня – радость. На душе сумно, многое тому причиной. И часто я обращаюсь к Вам

за поддержкой, и всегда нахожу. Вы об этом можете и не знать, – важно ли это? – но когда я размышляю о строе писательской жизни – о том, каким он быть должен, – я вижу Вас. Всегда. И это большая помощь, это не дает заглотнуться буднями <...>. Это, наконец, дает веру в то (вернее, укрепляет), что ценой тех часов, когда работаешь для себя, и ценой тех минут ночью, когда о жизни думаешь, – искупишь свою неправоту перед тем, что заставляет меня жить» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы. . С. 59–60).

[3] 23 мая 1925 г. в письме Волошину Ланн отмечал: «Мы, Ваши друзья, удивлены, что в ответ на письмо Андрея Мих<айловича> Соб<оля> Вы не присылаете сведений о “доме отдыха” в Союз писателей. Писал Вам, кажется, об этом и Саркизов-Серазини – так он мне сказал» (Там же С. 60) 13 мая 1925 г. А. М. Соболь писал Волошину: «Вчера я случайно узнал от Ив<ана> Мих<айловича> Саркизова, что у Вас снова какие-то неприятности Ведь еще в прошлом году я предлагал Вам свои услуги оформить и окончательно закрепить за Вами дом при помощи нашего Союза. Предлагаю Вам снова. Но для этого мне необходимо, чтобы было Ваше заявление в Союз – подробное, со всеми нужными справками. И нужно это прислать скорее, пока еще Енукидзе здесь, к которому я и пойду от имени Союза. Итак, жду этой самой бумаги» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 1122, л. 6–6 об.).

[4] См. п. 55, 58.

[5] Письма Волошина А М Соболю и И. М. Саркизову-Серазини, датированные указанными числами, не обнаружены. 14 мая 1925 г. Саркизов-Серазини запрашивал Волошина: «Я не переставал все время предпринимать шаги в отношении В<ашей> дачи. На мое счастье приехал из-за границы А<ндрей> Соболь, который мне категорически заявил, что союз писателей сделает все, и дача будет закреплена за В<ами> <...>. Для этого необходимо, чтобы Вы ***спешно***, на имя секретаря Союза А<ндрея> Соболя, или просто в Союз прислали официальное заявление с конкретными данными о В<ашей> даче (сколько комнат, характер, назначен<ие> и др.) и о В<ашем> желании, и Союз выйдет с ходатайством в Совнарком. Прислать эту бумагу нужно ***немедленно***, не задерживая ни одного дня, чтобы иметь возможность протолкнуть ее в Совнаркоме» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 19–19 об.).

[6] См. п. 55. На сомнения Волошина А. М. Соболь отвечал в письме от 2 июня 1925 г.: «А затем самым категорическим образом уверяю Вас, как секретарь Союза, что правление ни на одну минуту не думает как-нибудь или чем-нибудь посягнуть на Ваш дом, и единственное

желание – это только помочь Вам избавиться от незаконных и навязчивых посягательств. А так как все это легче провести, т.е. ходатайство, – от имени организации – то вот я и предложил Вам от имени Союза свои услуги. Во-вторых, Правление так перегружено работами по “Дому Герцена”, что не до того нам теперь, и брать на себя роль распределителя комнат, указывать, кому ехать (как Вы предполагаете в своем письме), мы отнюдь не хотим. Наше желание простое· надо добиться, чтобы дом поэта М. Волошина остался за ним. Вот все. Ведь еще в прошлом году я предлагал Вам подать Заявление в Союз. Вы почему-то отказались. Даром потеряли год». (Там же, л. 9–9 об).

[7] См. примеч. 8 к п. 3. С. Родов, один из редакторов журнала «На посту», проживал вместе с семьей летом 1924 г в Коктебеле на даче Лойко. См.: *Майский Иван Михайлович* Избранная переписка с российскими корреспондентами. В 2 кн. Кн. 1. 1900–1934. М., Наука, 2005. С. 231–232.

[8] Об этом Волошину писал И. М. Саркизов-Серазини 1 июня 1925 г.: «Должен Вам сказать, что Вы напрасно беспокоитесь относительно “напостовцев”. Их в Союзе нет. Председателем состоит Кириллов, в президиум входят Соболь, Вересаев, Зозуля, Яковлев – почти все Ваши друзья. Союз уже постановил ходатайствовать за Вас перед ВЦИКом. А. Соболю дана соответствующая бумага и все полномочия. Вопрос только в том, как мне вчера говорил Вересаев, удастся ли ему застать Енукидзе, так как он уезжает на 1 ½ мес<яца> <в> отпуск, если не удастся, то придется все дело отложить до его приезда, чтобы не провалить хлопоты» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 20).

[9] А В. Кривцова.

[10] Об операции, перенесенной М С. Заболоцкой в начале 1925 г, см примеч 2 к п 20, п. 24.

62. М.А. БУЛГАКОВУ

28 мая 1925 г. Коктебель

Дорогой Михаил Афанасьевич,

Буду очень-очень рад Вас видеть в Коктебеле, когда бы Вы ни приехали. Комната отдельная будет.[1]

Очень прошу Вас привезти с собою все вами написанное (напечатанное и ненапечатанное).

Техничес<кие> сведенья: из Москвы почтов<ый> п<оезд>, прямой вагон на Феодосию. Феодосия – Коктебель: линейка (1 ½ р<убля>)[2] или катер (нерегулярно). Обед 60–70 к<опеек>.

Июль–август – наиболее людно.

Прошу передать привет Вашей жене и жду Вас обоих.[3]

Максимилиан Волошин.

28/V. 1925.

[1] Ответ на письмо М.А Булгакова от 10 мая 1925 г. из Москвы: «Н.С. Ангарский передал мне Ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен Вам. Не откажите мне черкнуть, могу ли я с женой у Вас на даче получить отдельную комнату в июле-августе. Очень приятно было бы навестить Вас. <...> P. S. Если не затруднит, напишите срочно» («Буду рад видеть Вас в Коктебеле...» (Переписка Максимилиана Волошина и Михаила Булгакова) // *Волошин Максимилиан.* Избранное. Стихотворения. Воспоминания. Переписка. Минск: «Мастацкая літаратура», 1993. С. 420–431).

[2] Линейка (то же – катки) — лёгкая четырёхколесная открытая повозка для коротких поездок.

[3] М.А. Булгаков и Л.Е. Белозерская приехали в Коктебель 13 июня 1925 г., выехали – 7 июля. См : Труды и дни-2. С. 269, 271. 10 июля 1925 г. Л. Е. Белозерская и М.А. Булгаков писали Волошину со станции Лозовой, по пути следования в Москву. (См.: «Буду рад видеть Вас в Коктебеле...» (Переписка Максимилиана Волошина и Михаила Булгакова)... С. 428).

63. С.А. ТОЛСТОЙ

7 июня 1925 г. Коктебель

7/VI 1925. Коктебель.

Милая Соня, конечно да! Немедленно присылай своего приятеля.[1] И зачем столько вступлений и извинений: ты должна знать, что каждый тобой присланный будет встречен с радостью. Мой юбилей не состоялся «по независящим обстоятельствам», но получил массу приветствий.[2] У нас уже началась летняя суматоха, хотя народу еще не очень много. Со-

боль мне писал об отъезде Эн<у>к<идзе> и что ничего не успелось сделать.[3] Сейчас это ничего. Но боюсь, что к осени необходима будет помощь...

Привет Ольге Конст<антиновне>.[4] Прости, что не отвечаю еще на твое большое письмо.[5] Я вновь разодран людьми. Обними Леночку[6] и скажи, что мы ее очень ждем. Не стесняйся посылать к нам молодежь, которой не надо непременно «отдельной комнаты». Для них место всегда будет. Крепко тебя обнимаем и целуем и ждем непременно. Судьба уже постарается дать тебе возможности приехать. Я в ней уверен.

MAX.

[1] 2 июня 1925 г. С. А Толстая писала Волошину из Москвы: «Хочу Вас просить приютить у себя на время (прибл<изительно> на месяц) одного моего большого друга. <...> Ему необходимо немножко отдохнуть, а то человек просто погибает. Я его очень люблю и жалею и поэтому только решаюсь просить Вас Вы сделаете *очень* доброе дело, если позволите ему пожить у Вас. Зовут его Мих<аил> Григ<орьевич> Авдеев. < ..> Ради Бога, не судите меня строго за мои постоянные приставанья и простите меня» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед хр. 1185, л. 25)

[2] См. п. 60, примеч 1, 2.

[3] « ..Теперь Енукидзе в отпуску до конца августа, — писал Андрей Соболь Волошину 2 июня 1925 г. — Третьего дня я говорил о Вашем деле с Вересаевым. Обсудив все, мы решили, пока не вернется Енукидзе, ничего не предпринимать» В том же письме Соболь пытался опровергнуть суждения Волошина относительно роли «напостовцев» во Всероссийском Союзе Писателей, высказанные им в неизвестном нам письме: «Вы не правы, дорогой Максимилиан Александрович· никаких Родовых в Союзе нет, а затем — они вовсе не так страшны, как их малюют. Мы сами увеличили их удельный вес, собственными пересудами и оценками. А затем — самым категорическим образом уверяю Вас, как секретарь Союза, что Правление *ни на одну* минуту не думает как-нибудь и чем-нибудь посягнуть на Ваш дом, и единственное его желание — это только помочь Вам избавиться от незаконных и навязчивых посягательств» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 1122, л. 9–9 об.)

[4] О.Л Толстая.

[5] Подразумевается письмо С. А. Толстой от 25 апреля 1925 г. (см. примеч. 1 к п. 52).

[6] Елена Исааковна Стерлина (1901–1940-е гг.), машинистка Мосгорбанка.

64. Е.Л. ЛАННУ

19 июня 1925 г. Коктебель

19/VI 1925. Коктебель.

Дорогой друг, получил Ваше письмо от 13/VI.[1] Спасибо. Вы, вероятно, уже знаете, что чествование не состоялось по «обстоятельствам независящим».[2] Я даже не получил до сих пор всех посланных приветствий. У меня уже много народу. На корреспонденцию нет времени. Очень жду личного Вашего приезда. Известите заранее, для того чтобы можно было сохранить для Вас тихую комнату для работы, ибо дом быстро заполняется.

Очень благодарю за все хлопоты и боюсь, что к осени снова понадобится весьма домозащита. Привет Алексан<дре> Владимировне.[3]

Обнимаю крепко, М. Волошин.

P. S. Оригинальные доски Ф. Толстого для барельефов находятся у меня.[4] Если привезете с собою воску, то можно будет сделать оттиски всех шести. М. В.

[1] См. письмо Е.Л. Ланна Волошину от 13 июня 1925 г. («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 62–63).

[2] См. примеч. 1 к п. 60.

[3] А. В. Кривцова.

[4] В январе 1918 г. Волошин спас библиотеку и архив Ф. П. Толстого и поместил их у себя. В письме от 13 июня 1925 г. Ланн признавался Волошину: «Сейчас перед моим столом висит мастика Федора Толстого (на аукционе за 6 р.!). Центральная фигура совершенно изумительная. Я почему-то горд» (Там же. С. 63).

65. Е. К. ГЕРЦЫК

30 июня 1925 г. Коктебель

30/VI 1925. Коктебель.

Дорогая Евгения Казимировна,

весть о смерти Аделаиды Казимировны потрясла глубокой неожиданностью.[1] Хотя о болезни ее слухи уже доходили... Хотели ехать сейчас же к Вам... но люди, обстоятельства и события не позволяют мне оставить дома без себя даже на несколько часов.

Как только явится возможность, постараюсь приехать.

Как положение семьи Жуковских? Где Дм<итрий> Ев-г<еньевич>?[2] Где дети?[3] Материальное положение? Что и в каком направлении можно сделать? Давно ли Вы — вернулись из Москвы? Были ли в Ц.К.У.Б.У?[4]

Если есть силы на это — напишите. А я постараюсь приехать, как только явится первая физическая и материальная возможность.

Крепко обнимаю всех Вас.

Максимилиан Волошин.

[1] А. К. Герцык умерла 27 июня 1925 г. после двухнедельной болезни, течение которой Е. К Герцык описывала в письмах к М. Б. Гершензон от 1 июля и 30 августа 1925 г. (см.· *Герцык Евгения*. Лики и образы. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 495, 497—499).

[2] Д. Е. Жуковский и сыновья его и А К. Герцык — Даниил Дмитриевич Жуковский (1909—1938) и Никита Дмитриевич Жуковский (1913—1995), впоследствии лесовод. См. о них: Таинства игры: Аделаида Герцык и ее дети / Сост., примеч. Т Н. Жуковской М.: Эллис Лак, 2007.

[3] Заботы о сыновьях А К. Герцык — Данииле и Никите легли на Е К. Герцык, которая писала Волошину 17 июля 1925 г: «Об Аде хочу с Вами говорить не так мимоходом, среди многого, а когда-нибудь после, если встретимся осенью. Теперь незаметно мальчики заполнили всю мою жизнь — и это уже на все остающееся время. Пока и их, и наша судьба ближайшая неизвестна» (*Сестры Герцык*. Письма / Составл и коммент. Т. Н Жуковской. СПб.: ИНАПРЕСС, М.· Дом Музей Марины Цветаевой, 2002 С. 559).

[4] В письме от 10 февраля 1925 г Е. К. Герцык делилась с Волошиным планами поездки в Москву. «Надеюсь очень через месяц ехать в Москву, где мне необходимо видеться с братом и со многими другими». (Там же. С. 559). Упоминается В. К. Герцык. 17 июля 1925 г. Герцык отвечала Волошину· «В Москве я, как Вы мне сказали, обращалась к Шпаро через посредство Софьи Яковлевны <Парнок. – *Ред.*>, и он сказал, что для меня он не может ничего сделать, т<ак> к<ак> я не в Кубуче <ЦЕКУБУ – *Ред.*>» (Там же. С. 559)

66. Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

20 июля 1925 г. Коктебель

20/VII 1925. Коктебель.

Дорогой Эрик Феодорович,

Я получил от Вас письмо из Ялты (от 2. VI) и сейчас письмо из СПБ от 14.VII[1] и адрес библиофилов[2] и за все горячо благодарю Вас. Почему я не ответил сразу на Ваше глубоко интимное письмо от 2.VI, Вы, верно, понимаете: сейчас люди идут непрерывным потоком, от которого нет возможности отвлечься ни на минуту для интимной беседы с далекими друзьями, а Ваше письмо из Ялты заставило меня очень почувствовать духовную близость с Вами и укрепило то чувство дружбы, которое возникло за время Вашего пребывания здесь. И если я Вам не написал ни слова, то Вы должны были почувствовать ту горячую волну сочувствия, которая поднялась во мне в ответ на Ваше признанье. Спасибо за это доверие.

Я это написал бы Вам все осенью и, вероятно, подробнее и лучше (теперь и над письмом сосредоточиться некогда), если бы не Ваше деловое письмо от 14.VII.

Дорогой Эрик Феодорович, ради Бога, убедите Лежнева не давать *никакой* статьи о Коктебеле,[3] ибо это может быть губительно для всего моего дома и дела. У меня (вернее, у моего имени) слишком много журнальных врагов, и всякое упоминание его вызывает газетную травлю.

Не надо забывать, что вся моя художеств<енная> колония существует не «de jure»,* а лишь попустительством, и ее может сразу погубить первый безответственный журнальный выпад, который, несомненно, последует за статьей обо мне или о Коктебельском доме, особенно, если она будет сочувственна.

Я не сомневаюсь, что, написанная Вами, она будет тактична, художественна и документирована, и мне было бы очень дорого и ценно, чтобы весь этот материал нашел место в Ваших мемуарах.

(К скромности ложной и преувеличенной у меня такая же антипатия, как и к честолюбию).

И в этом случае я, конечно, считаю «конкретные портреты» приемом несравненно более ценным, чем безымянную беллетристику с «псевдонимами» и «инициалами».

Из «неизданных» стихов тоже не думаю делать тайны.

Но сию минуту *всякое* печатное упоминание о Коктебеле чревато угрозами его существованию.

Поэтому очень прошу Вас убедить Лежнева отказаться от своей мысли дать статью о Коктебеле. Но если это (к моему глубокому огорчению) окажется *неизбежным* (кто знает психологию редакторов!), то, конечно, я предпочел бы, чтобы статья была написана Вами, Эрик Феодорович.

Вы не пишете ничего о судьбе Ваших вещей, Эрик Феодорович. Из присылки адреса библиофилов вижу, что Вы получили часть в Мценске — но Ваши рукописи? Личные вещи?[4]

Пожалуйста, напишите об этом.

И позвольте мне в Вашем лице выразить СПБ О<бщест>-ву библиофилов и СП<б> Союзу писателей[5] мою глубокую, глубокую благодарность за внимание и честь, мне оказанные ими.

Привет Екатерине Владимировне.[6]

М. С. Вас приветствует и очень любит.

Максимилиан Волошин.

---

* По закону, юридически (*лат*)

[1] В письме от 2 июня 1925 г. Э. Ф Голлербах признавался Волошину: «... книга коктебельских впечатлений, в которой я оставил запись, настолько “общественное достояние”, что в ней неуместны “исповеди”. Вот почему, кроме записи в книге, я посылаю еще это письмо, оно объяснит Вам кратковременность моего пребывания в Коктебеле. События моей внутренней жизни сложись так, что каждый день моего пребывания в К<октебеле> был пыткой. Большая и лучшая часть моего “я” осталась в Царском. Оттого я чувствовал себя в К<октебеле> совсем беспомощным, жалким и духовно нищим. Все пребывание в стенах Вашего прекрасного дома прошло для меня под знаком возмездия, – жестокого, но заслуженного. < ..> Только приехав в К<октебель>, я догадался, что *не имею права* на “отдых” и “развлечения” в то время, как самый мне близкий и бесконечно дорогой человек изнемогает в тяжелой, нудной, несносной учительской работе. И это тем более не простительно, что меня связывает с ним большая вина Отсюда понятно, почему испорчен мой отпуск: и кражею моих вещей, и бессонницей, и отвратительной погодой и самообманом (рядом зазияла – *пустота*). И все-таки у меня останется хорошее воспоминание о Коктебеле. Потому что – Коктебель – это Вы. Здесь я любовался Вами, Вашей мудростью – ясностью и широтою Вашей духовной жизни, запоминал Ваши мысли, мне столь созвучные, – часы, проведенные с Вами, никогда не забуду» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 8). Текст письма Голлербаха содержит приписку· «Просьба – не оглашать содерж<ание> этого письма».

[2] Речь идет о поздравительном адресе к 25-летнему юбилею литературной деятельности Волошина от Ленинградского общества библиофилов, исполненном А А. Трухановым. (См : *Берков П.Н* История советского библиофильства (1917–1967). М.: Книга, 1983. С. 127–143). Местонахождение этого поздравительного адреса неизвестно. См. также п. 97, примеч. 1.

[3] Отклик Волошина на сообщение Голлербаха в письме от 14 июля 1925 г.: «. .Лежнев предложил мне написать для “России” очерк о Коктебеле в плане *литературно-бытовом.* Я несколько смущен, – вот мои вопросы: 1) можно ли давать “портреты” вполне конкретные или принять полубеллетристическую форму и не конкретизировать “действующих” лиц (придумав для них “псевдонимы” или ограничиваясь инициалами)? 2) можно ли цитировать некоторые записи коктебельских впечатлений и *неизданные* стихи, имеющиеся в литературном архиве Коктебеля? Так называемая литературная этика понимается и толкуется разными людьми столь различно, что в данном случае, близко касающимся Вас, мне важно знать *Ваше* мнение» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 10). На просьбу Волошина Голлербах от-

кликнулся в письме от 28 июля 1925 г.: «...Ваши пожелания я считаю для себя обязательными: если Вы не хотите видеть в печати статью о Коктебеле, она не появится. Не скрою, что для меня это огорчительно. Статья, кажется, удалась, что случается не часто» (Там же, л. 11).

[4] Согласно разысканиям В. П. Купченко, Э. Ф. Голлербах вез поздравительный адрес Волошину от Ленинградского общества библиофилов в Коктебель в мае 1925 г., но утратил вместе с украденным чемоданом, который был возвращен ему в Мценске 28 июля 1925 г. Голлербах ответил Волошину: «Вы спрашиваете о моих вещах. Как не удивительно, я все получил в полной сохранности. Нужно ли говорить, как я ликовал, увидев свой дневник в целости и невредимости» (Там же, л. 7).

[5] В архиве Волошина сохранился документ, содержащий подписи членов Ленинградского отделения Всероссийского Союза писателей, с пояснением Э. Ф. Голлербаха· «История этого коллективного автографа такова: готовился адрес М. А. Волошину от Ленинградск<ого> Отдел<ения> Всероссийского Союза писателей; собрали подписи на большом чистом листе, чтобы потом написать текст на машинке. Художник В. Белкин, увидев этот лист, запротестовал против "машинки" и взялся сделать графический адрес, под которым и были поставлены подписи заново. Адрес отвез я в Коктебель в мае 1925 г.» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 20, л. 7).

[6] Е. В Штейн.

67. К. Е. КОСТЕНКО

30 июля 1925 г. Коктебель

30. VII. 1925. Коктебель.

Мой милый Костич, глубокое спасибо за письма и гравюры.[1] У нас уже 200 чел<овек> гостей. Поэтому отвечать на письма совершенно некогда, тем более, что тебя ждали со дня на день и продолжаем ждать. Приедешь, поговорим обо всем, а главное, приезжай как можно скорее. Все тебя ждут, и тебя очень не хватает для прошлогодней компании. Крепко тебя обнимаем все.

Макс.

P. S. Для разрешения работать привези свидетельство от Рус<ского> Музея и не забудь сведения о жалованье.[2] Все в этом году проще.

[1] Ответ на недатированное письмо К. Е. Костенко, в котором он обращался к Волошину: «Жду от Вас весточки, хотя коротенькой, нет ее от Вас. Не знаю, чем и объяснить Ваше молчание <...> теряюсь в догадках, хотелось бы знать Ваши отзывы о гравюрах, – и отзывов Ваших не знаю. Предполагаю, что числа 5–10 августа мне из Москвы из Музея изящн<ых> Искусств за гравюры пришлют денег, и я смог бы выехать на месяц к Вам, чтобы набраться душевных и духовных сил под Вашим волшебным целительным кровом <. .>. От Голлербаха из 3–4 фраз мимолетного разговора узнал, что <. .> Вы получили гравюры < ..>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 699, л. 8–9). В письме Костенко от 23 мая 1925 г., отправленном к юбилею Волошина, сообщалось: «Посылаю Вам, мои дорогие, гравюры: портрет Макса и Коктебель; портрет Макса – пробные оттиски, еще не кончен, – хотелось бы еще поработать, но как-то не работается, хотя обе они (и Коктебель) были выставлены в Москве на выставке “Жар-Цвет”» (там же, л. 7).

[2] Ответ Волошина на запрос Костенко: «Трудно ли теперь получить разрешение на рисование в Коктебеле? И что для этого нужно» (Там же, л. 8).

68. В ГЛАВЛИТ

3 августа 1925 г. Коктебель

3/VIII 1925. Коктебель.

В Глав-Лит

Поэта Максимилиана Волошина

Заявление:

Посылаю Вам рукопись моей книги стихов «Неопалимая Купина» (1914–1924), которые все были в свое время разбросаны по различным изданиям (мне не известным), и прошу разрешить мне сделать свое издание этих стихов в одной книге.[1]

Максимилиан Волошин.

P. S. Все хлопоты о моей книге поручаю поэту Петру Никаноровичу Зайцеву.

[1] Разрешение на «авторское» издание книги «Неопалимая Купина» не было выдано. Вопрос о возможности последующего издания авторских книг Волошина был решен в декабре 1926 г. документом, направленным в Главлит на бланке ОГПУ.

Отдел Информационный
«   » декабря 1926 г.
Краткое содержание:

В ГЛАВЛИТ

ИНФО ОГПУ имел сведения о том, что друзья *М. В.* <*так*!> *Волошина* подготовляют почву к изданию его произведений Между прочим, издание некоторых его произведений подготовляется в «Круге» зав издательством и другом *Волошина — Н. Тихоновым.* <Подразумевается А. Н. Тихонов. – *Ред.*>

Недавно была открыта гласная кампания, преследующая ту же цель, книгой *Евг. Ланна* — «Писательская судьба М. Волошина» (изд. «Всеросс Союза Поэтов»), — привлекающая внимание широких читательских кругов на творчество и личность *Волошина.* Автор объясняет «выпадение» *Волошина* из довоенной литературы, но, ухитрившись при этом замолчать сущность разногласий между *Волошиным* и другими теоретиками символизма, он заканчивает адмирацией перед глубокой национальностью *Волошина*, который, наполовину европеизированный и насквозь проникнутый романской культурой, все же сумел «восчувствовать подлинно-национальное в нашей великой революции».

Однако автор умышленно воздерживается от изложения мировоззрения *Волошина* и, конечно, умалчивает о том, как он воспринял эту «подлинно-национальную» революцию и как он ее отразил в своих произведениях.

Прилагая к настоящему некоторые из его произведений, ознакомление с которыми способствует выяснению этого вопроса, ИНФО ОГПУ ставит Вас в известность, что эти и др. произведения и пр. данные о том же *Волошине* дают ИНФО ОГПУ основание характеризовать его как убежденного контрреволюционера, прикрывающего свою реакционность ультра-анархо-индивидуалистскими фразами, насыщенными в достаточной мере мистицизмом.

В силу изложенного ИНФО ОГПУ просит принять меры не только к недопущению опубликования произведений *Волошина*, но и таких выступлений в печати, как *Ланна*, цель которых создать атмосферу, благоприятствующую выступлению *Волошина* в печати, что относительно нетрудно при блестящих формальных достоинствах и неистовом пафосе поэзии *Волошина.* <.. >

(*Файман Григорий.* «Дом поэта» и вокруг него... О Максимилиане Волошине по материалам Центрального архива ФСБ РФ // Независимая газета. 1997. № 175, 18 сентября. С. 5).

69. А. П. НОВИЦКОМУ

20 августа 1925 г. Коктебель

20/VIII 1925 Коктебель.

Дорогой Алексей Петрович,

Комната рядом с Юнге будет Вас ждать с 5<-го> сентября. Очень, очень буду рад увидеться.[1]

В Феодосии убежища ЦКУБУ не существует, но Успенские просят Вам передать, что они будут очень рады Вас приютить.[2] Они сейчас живут на Земской улице против Земельного отдела в 2-хэтажном доме (точнее не знаю – сам еще у них не был).

Привет Юлии Иван<овне> и Мусе.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Ответ на недатированное письмо А. П. Новицкого из Киева (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 893, л. 8–9): «В этом году надеемся повидаться с Вами и отдохнуть немножко под Вашим кровом, если Вы позволите. Мы рассчитываем 1-го сентября выехать в Керчь, на археологический съезд, который назначен на 5–10 сентября, а оттуда к Вам, в Коктебель. Если бы Вы, в память нашей старинной дружбы дали нам ту комнату, где прежде был кабинет Федора Эдуардовича <Юнге. – *Ред.*>, и которую в прошлом году Вы так любезно предоставляли Мусе, то мы не знали бы, как и благодарить Вас».

[2] В том же письме Новицкий спрашивал, где можно остановиться в Феодосии: «Есть ли там какое-нибудь помещение <. .> для приезда научных работников, вроде московского КУБУ, и если есть, то где именно?»

[3] Жена Новицкого и их дочь – М. А. Новицкая. В 1925 г. в Коктебель приезжала только М. А. Новицкая: Новицкий предупредил Волошина о ее приезде письмом от 3 сентября и благодарил за «прекрасное и удобное помещение», ей предоставленное, в письме от 3 ноября (Там же, л. 5–6 об.).

70. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

5 сентября 1925 г. Коктебель[1]

Милый Лев Евгеньевич, все-таки в этом году Вы приезжали в Коктебель начерно,[2] а в будущем же году жду Вас набело, и пусть этот пейзаж будет залогом.

5/IX 1925. Максимилиан Волошин.

[1] Надпись на акварели, датированной 1 сентября 1925 г.

[2] Л. Е. Остроумов приехал в Коктебель с женой и сыном 11 августа 1925 г. (Труды и дни – 2. С 274).

71. А. А. КИПЕНУ

13 сентября 1925 г. Коктебель

13/IX 1925. Коктебель.

Дорогой друг,

Вы меня очень обрадовали вестью о себе. Посылаю Вам десяток акварелей (цена по 2 червонца).[1]

Я все эти годы живу безвыездно в Коктебеле. Но не одиноко: мои друзья с севера навещают меня (по 300–400 человек за лето). Я превратил свой дом в бесплатную колонию для писателей, художников и ученых, и это дает мне возможность видеть русскую литературу у себя, не ездя в Москву и СПб. Надеюсь, что и Вы соберетесь как-нибудь погостить ко мне, дорогой Александр... Ой-ой – забыл Ваше отчество – простите, ради Бога. Но мне так много приходится видеть людей эти годы, что память отказывается часто служить.[2]

Татьяна Давыдовна[3] в начале 20<-го> года уехала в Вену к брату, а теперь находится в Берлине и хлопочет о возвращении в Россию.

Адрес А. Толстого: СПб., Ждановская наб<ережная> 3.[4] Я его видел мельком весной 1924, будучи в Петербурге.[5] Он очень богат и славен, потому важен.

Латри – за границей. Богаевский в Феодосии.

Акварели мне верните на имя Богаевского (Дурантевская ул., д<ом> быв<ший> Дуранте). Коктебель в 18 верст<ах> от Феодосии, и я бываю в городе очень редко – раза 2 в год.

Очень много рисую. Немного пишу стихов. Совсем мало печатаюсь.

Крепко Вас обнимаю.

Жду в Коктебель (лучше осень или весна – только *не август*).[6]

Максимилиан Волошин.

[1] 20 августа 1925 г. Волошину было отправлено из Одессы приглашение участвовать в выставке Художественного общества имени К. К. Костанди (за подписями председателя А. Кипена и секретаря В. Лазурского), намеченной на 1–31 октября 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 4, ед. хр. 45, л. 2) В письме из Одессы от 28 августа 1925 г А. А. Кипен сообщал Волошину: «Недавно, будучи 1 день проездом в Феодосии, с удовольствием узнал, что Вы живы и здоровы К сожалению, не мог лично повидаться с Вами в Коктебеле, так как торопился в Одессу. <.. > Было бы очень приятно, если бы Вы не отказали нам в присылке Ваших работ на октябрьскую нашу выставку <. .>. Кроме местных одесских художников, среди которых есть немало талантливых мастеров, в выставке обещал принять участие А. Я. Головин, проживающий теперь в Одессе. Приглашены также Е. Е. Лансере, Шарлемань и др. Сегодня же я посылаю приглашения К. Ф. Богаевскому и Латри <. > Когда будете посылать картины, известите меня письмом. Сообщите также цены, по которым Ваши произведения могут быть проданы» (*Михаленок Д.К* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь· Таврия, 1999 С. 74. Исправлено по автографу ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр 643, л. 3–3 об.).

[2] В ответном письме от 21 сентября 1925 г Кипен сообщал: «Друзья с давних пор называют меня просто “Абрамыч”. Стало быть и есть я – “Александр Абрамович”. Как бы Вы ни сократили это множество букв, в претензии не буду и, как всегда, буду ценить Вашу дружбу» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп. С. 76)

[3] Т.Д. Цемах. Кипен упоминал ее в цитированном письме (с ошибочным обозначением отчества) «Татьяне Ал сердечный привет, если она еще помнит меня». Цемах общалась с Кипеном во время своего пребывания в Одессе в 1919 г

[4] Кипен запрашивал адрес А. Н. Толстого в том же письме. «Я был так дружен с ним, а теперь стыжусь сознаться, что до сих пор даже не написал ему». Благодаря Волошина за сообщение адреса, Кипен в ответном письме от 21 сентября замечал о Толстом: «С трудом представляю себе его в “богатстве и важности”» (*Михаленок Д К.* Карадагский калейдоскоп С. 76).

[5] Волошин посетил А. Н. Толстого и Н. В. Крандиевскую-Толстую в их квартире по указанному адресу, видимо, 11 апреля 1924 г. (Труды и дни – 2. С. 219).

[6] Кипен отвечал 21 сентября: «С великой радостью приехал бы к Вам хоть на несколько дней, да едва ли успею. Сбор винограда, занятия в Институте и устройство выставки не дают возможности отлучиться отсюда ни на один день А в ноябре уезжаю за границу во Францию на 3 месяца в командировку. Стало быть до весны не увидимся» (*Михаленок Д К* Карадагский калейдоскоп С. 75).

72. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ и С. В. ЛЕБЕДЕВУ

18 сентября 1925 г. Коктебель[1]

Дорогая Анна Петровна,
Милый Сергей Васильевич,

еще не настало шумное время, когда мы с чувством умиления старательно и внимательно долгими вечерами пишем письма отсутствующим друзьям. Хотя близкие и покидают нас ежедневно — но дом, тем не менее, пополняется сейчас же, и до сих пор еще нет ни одной свободной комнаты. Сейчас наехали летчики для планерных состязаний и у нас, кроме русских, живут еще 8 германцев.[2] Приходил квартирьер: «Нельзя ли, товарищ Волошин, у Вас германцев устроить — говорят, брат Вильгельма[3] в Коктебель будет... и с ним еще все из высших офицерских чинов... Мы Вам заплатим... Как даром? Вот это хорошо. Это мы германцам расскажем: пусть рассказывают в Германии, как у нас в России живут». Крепко Вас обнимаю. Сегодня «Бобби» окантовывается.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой, датированному этим числом.

[2] Речь идет о III Всесоюзном слете планеристов в Коктебеле осенью 1925 г., в котором участвовало 50 советских и 7 немецких планеров. В упомянутом письме М. С. Заболоцкая отмечала: «Затем у нас событие – немцы прямо из Германии на полеты приехали и живут в юнговском доме в нижних комнатах 10 чел<овек> – всего, первый день, ничего не могу сказать о них. Дом полон, ни одной пустой комнаты» («Дом Поэта» Максимилиана Волошина / Публ. А Сергеева и А. Тюрина // Минувшее: Исторический альманах. 17. М., СПб.; Atheneum; Феникс, 1994. С. 313).

[3] Имеется в виду принц Альберт Вильгельм Генрих Прусский, известный своей фанатичной увлеченностью техникой.

[4] Речь идет о портрете умершей в феврале 1925 г. собаки Остроумовой-Лебедевой по кличке Бобби (см. примеч. 4 к п. 29). См. также: *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические записки. В 3 т. Т. 3. М.: Центрполиграф, 2003. С. 86–87

73. Е. В. ПЕТУХОВУ

11 октября 1925 г Коктебель

11/X. 1925. Коктебель.

Многоуважаемый Евгений Вячеславович.

Сегодня получил от Вас Анкету для Ц. К. У. Б. У.[1], которая меня несколько удивила, потому что я уже год имею дело непосредственно с Москвой и таковую же анкету отправил туда неделю назад. И мне очень не хотелось бы вновь сноситься с Московс<ким> Ц. К. У. Б. У. через посредничество Симферополя. Из вопросов этой анкеты – ни один не соответствует *моему* положению, и мне приходится писать только «по поводу» вопросов.

Я перед Вами в долгу: не ответил Вам на Ваше письмо от 2/VIII.[2] Я два месяца проболел ползучим воспалением легких. И, кроме того, эти месяцы у меня в доме было не менее 120 гостей – единовременно...

По поводу Вашего списочка. «В тупике» Вересаева было завершено в Москве.[3] А в Коктебеле он написал драму «В священном лесу»[4] и собирал материалы для романа.

Относительно меня Вы мало осведомлены. Я написал за время Революции в Крыму (1917–1925 г.) две книги стихов «Неопалимая Купина»[5] и «Путями Каина»[6] и поэмы «Протопоп Аввакум»,[7] «Св<ятой> Серафим»[8] и «Россия».[9] «Космос».[10] Книги переводов стихов Верхарна и Анри де Ренье.[11]

Из них изданы пока только отдельные части: «Демоны Глухонемые» (Харьков. 1919. Изд<ательство> Камена), «Иверни» (избр<анные> стихи) – Москва 1919 г. изд<ательство> «Творчество», стихи Верхарна – 1919. 2 издан<ия>: Одесса «Омфалос» и Москва «Творчество». Мне известно, что еще ряд моих книг был издан различн<ыми> провинц<иальными> Госиздатами без моего ведома и разрешения, тоже и за границей; так же и отдельные мои стихотворения. Но где, кем, когда – не вем <так!>. Я же сам напечатал только отрывки из книги «Путями Каина» в «Красной Нови» (1923 г.)[12] и поэмы «Космос» и «Россия» в «Недрах» (1924 и 25 г.г.).[13]

Вообще никогда в жизни я не работал так продуктивно, как в Крыму во время Революции, и никогда до такой степени не был лишен литературн<ого> заработка.

Так же продуктивна была и моя живопись эти годы, и сейчас получаю ходатайства от многих музеев о даре своих картин и считаю долгом удовлетворить безвозмездно.

Лирических стихов эти годы не писал совершенно. Упоминаемый Вами «Карадаг»[14] и еще 2–3 других – редкое исключение.

В Вашем списке я не вижу имен *Поликсены Сергеевны Соловьевой* («Allegro»), умершей год назад,[15] и поэтессы *Аделаиды Герцык*, умершей этим летом,[16] которые жили и работали все эти годы – первая в Коктебеле, вторая в Судаке.

Не вижу имени *Соф<ьи> Яков<левны> Парнок*, жившей в Судаке до 1921 г. и написавшей здесь книги «Розы Пиэрии» и «Лоза», издан<ные> в Москве.[17] Наконец, в годы Гражданс<кой> войны в Крыму работали и жили *Илья Эренбург* («Хулио Хуренито» писал в Коктебеле),[18] *Осип Мандельштам.*

Наконец, здесь жила (в Евпатории) и писала свой знаменитый «Народ на Войне» Софья Захаровна *Федорченко.* Одним словом, для того чтобы составить более или менее полный список писателей, живших в Крыму в годы Революции,

нам было бы проще повидаться, и для этого Вам бы хорошо было приехать ко мне в Коктебель на несколько дней.

Сейчас мне еще приходят в голову имена: поэта *Недоброво,* умершего в Ялте в 1919 г.,[19] поэта *В. Бабаджана* – расстрелянного в Феодосии в 1920 г.,[20] *С. Н. Булгакова,* высланного за границу в 1922 г.,[21] *Евгении Герцык*, написавшей за эти годы книгу об Эдгаре По,[22] и еще многих и многих... Всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] В ответном письме Волошину от 24 октября 1925 г. Е. В. Петухов пояснял. «Ваше письмо я получил, анкету в тот же день отправил в Москву Что касается двойного требования от Вас <. > анкеты, то – если в самом деле было к Вам такое требование из Москвы – то это просто несовершенство аппарата: Московский Цекубу по делу взятия справок и пр<очего> обычно обращается к нам < .> Вероятно, так будет и в дальнейшем» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 961, л. 3).

[2] Речь идет о письме Петухова от 2 августа 1925 г.: «Разрешите обратиться без личного предварительного знакомства, со следующей моей просьбой. Я составил статью “Крым и русская литература”, в которой имел в виду указать на все виды литературного соприкосновения Крыма с русской народной, древней, новой и новейшей литературой – словесностью. Материал оказался огромный, но я не мог справиться с заключительной главой это работы, где мне хотелось указать на < ..> беллетристов и поэтов революционной и послереволюционной эпохи, живших или живущих в Крыму и работающих литературно и в связи с изображением Крыма в разных отношениях Кой-какой материал <. > я имею и препровождаю Вам при этом. Не имея возможности лично приехать в Коктебель для беседы с Вами, как человеком вполне компетентным по этому делу, я позволил себе просить Вас просмотреть мой списочек и дополнить его новыми именами и библиографическими указаниями (название сочинений, где, когда напечатаны и т. п.) и прислать его мне по адресу: *Симферополь*, Феодосийская ул., 11, кв 3. Простите за беспокойство и примите выражение моего глубокого уважения, Евгений Вячесл<авович> Петухов, проф<ессор> Крымского университета» (Там же, л. 1).

К письму прилагался список·

«В Крыму живут и продолжают работать:
С. Н. Сергеев-Ценский < ..>
К. А Тренев (“Любовь Бориса Николаевича”)

М. А. Волошин (стих<отворение> "Карадаг")

Жили в Крыму, но теперь выехали:

И. Шмелев ("Телячьи мозги", "Солнце мертвых", "Виноград", "Под горами")

С. Я. Елпатьевский ("Крымский очерк")

Н. Н Никандров ("Береговой ветер", "Во всем дворе первая")

Г Д. Гребенщиков

К Д Подоводский

В. Вересаев "В тупике"

С. <так!> *Малышкин* "Падение Даира"» (Там же, л. 2).

[3] Роман В. В. Вересаева «В тупике» впервые в полном объеме был опубликован в литературно-художественном сборнике «Недра» (М , 1923. Кн. 1–3).

[4] Над драмой «В священном лесу» В. В. Вересаев работал в 1918 г., при жизни писателя она опубликована не была. (См.: *Вересаев В.* В священном лесу. Драма в 9 картинах. Екатеринбург: Лектон, 1995). Автограф драмы <9 ноября 1918 – 23 января 1919> сохранился в архиве Волошина (ИРЛИ, ф 562, оп 6, ед. хр. 117, 54 лл).

[5] См.: Т. 1 наст изд. С. 221–380.

[6] См · Т 2 наст. изд. С. 7–62.

[7] См.: Т. 1 наст изд. С. 295–317.

[8] См.· Т 2 наст. изд. С. 98–125.

[9] См.: Т. 1 наст изд. С. 367–380

[10] См.: Т. 2 наст. изд С 44–51.

[11] См.: Т 4 наст изд. С. 7–83, 646–753.

[12] Имеется в виду публикация стихотворений «Меч», «Порох», «Пар» (Красная Новь. 1922. № 3 С. 8–14).

[13] Речь идет о первых публикациях поэм «Космос» (Недра 1924. Кн. 5 С 254–262), «Россия» (с купюрами) (Недра 1925. Кн. 6. С 71–78).

[14] См : Т. 1 наст. изд С 168–169.

[15] П. С Соловьева умерла 16 августа 1924 г. в Москве

[16] См п. 65, примеч 1

[17] Имеются в виду издания: *Парнок София.* Лоза. Стихи 1922 года. М.: Шиповник, 1923; *Парнок София.* Розы Пиерии Антологические стихи М.; Пг., Творчество, 1922.

[18] Речь идет о романе И Г Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников...» (М , Пг.: Госиздат, 1923). В действительности роман был написан в бельгийском городке Ла-Панн в июне – июле 1921 г.

[19] Н. В. Недоброво умер 3/16 декабря 1919 г. в Ялте Об этом см письмо Волошина к Л. А. Недоброво от 4/17 февраля 1920 г. (Т. 12 наст. изд. С 296–297).

[20] О судьбе поэта и художника В. С. Бабаджана см. в кн : *Гардзонио Стефано.* Статьи по русской поэзии и культуре XX века. М : Водолей Publishers, 2006. С. 154.

[21] С. Н Булгаков был выслан из России в декабре 1922 г. О крымском периоде его жизни см.: *Половинкин С.М.* Священник Сергий Булгаков и Крым // Крым ист.-краевед. альманах. М., 2004. Вып 1 С 25–43.

[22] Эссе Е. К Герцык «Эдгар По» при жизни автора опубликовано не было. См . *Герцык Евгения.* Лики и образы. М.· Молодая гвардия, 2007. С. 695–797.

74. М. А. ПАЗУХИНОЙ

28 октября 1925 г. Коктебель

28/X 1925. Коктебель.

Дорогая Марья Александровна,

сейчас вечер последнего отъезда: езжают Сорокины, Женевские,[1] Зайцев. Завтра мы останемся *совсем* одни. Сейчас суета последних прощаний. Маруся едет с ними за зимними запасами[2] и потому не может сейчас написать Вам, а посылает ложечку, которую Вам передаст Катя[3] вместе с этой запиской. Ваши оба письма получены.

Вчера были у нас Успенки.[4] Нилушка вернулась из Харькова после операции — все прошло благополучно. Влад<имир> Алекс<андрович> на все уже ответил. Но он что-то колеблется: операция заставила их очень запутаться в долгах, и он не знает, отпустят ли они его из Феодосии.

Я устроил себе большую голодовку (с молоком) и стал сразу себя чувствовать гораздо лучше и бодрее.

Вы пишете о красках Windsor-Newton?[5] Это лучшие из существующих красок вообще и это именно их я хотел просить Вас<илия> Алекс<андровича> купить мне в Англии.

Дело в том, что в Англии существует (единственной из всех стран) закон, по которому фабриканты красок подвер-

гаются уголовной ответственности за недобросовестность в химическом составе краски, и потому там нет подделок и английской марке и при вывозе можно доверять безусловно.

Но боюсь, что эти «комплекты» продаются в Москве за чудовищную цену. Только этого боюсь.

Поэтому прилагаю для Вас<илия> Алекс<андровича> список красок для Англии (с обозначением количества тюбиков — в зависимости от их расходования).

Крепко целуем Алика и Дима[6] и обнимаем Вас. Привет Вас<илию> Александр<овичу>.

Приписка М. С. Заболоцкой:

Целую Вас, родная Мария Александровна, и на днях напишу по-хорошему, а сейчас разрываюсь в сутолоке последнего отъезда. Всего лучшего, и письма и 15 р. получила, обо всем буду писать.

Ваша М. Волошина.

Максимилиан Волошин.

[1] Александр Федорович Ильин-Женевский (1894–1941), журналист, редактор «Красной газеты», и его первая жена Алла Евгеньевна Женевская-Русинова (1900–?).

[2] Подразумевается поездка М С. Заболоцкой за продуктами в Феодосию.

[3] Е. О. Сорокина.

[4] В. А. Успенский и Н. В. Успенская.

[5] В письме от 9 октября 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 927, л. 1–2 об.) М. А. Пазухина извещала о предстоящей поездке мужа, В А. Пазухина, «на месяц в Англию и Германию»: «...а Вы не дали нам списка красок с обозначением фирм, что я и попрошу Вас сделать теперь, т<ак> что месяца через два Вы сможете уже их иметь».

[6] Сыновья В. А и М. А. Пазухиных – Александр Васильевич и Вадим Васильевич Пазухины.

75. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

30–31 октября 1925 г. Коктебель

30/X 1925. Коктебель.

Милая Наташа,

еще третьего дня дом был полон. В столовой сидели Катя, Женевские, «Зайчик»[1] (Таушан-Эффенди), пили незабродившее сусло и глушили «полурыковку».[2] Вчера они уехали. Маруся ездила с ними в город и вернулась с картофелем, известью, капустой – зимними запасами. И вот первые дни, как мы совсем одни в доме. Даже Иос<ифа> Викт<оровича>[3] нет. Такого одиночества мы уже много лет не испытывали. Такая тоска, что выть хочется. И это за нас делает Хниный щенок *Аю* («медведь» – по-татарски), который не может опомниться от отъезда Сорочат.[4] Он не идет <к> себе в логово, а сидит упорно на самом ветру на бетоне, дрожит от холода и воет с визгом у самой Сорочьей двери.

И вот в этаком-то состоянии твое письмецо вывернулось – второе (первое я получил своевременно: не ответил еще, откладывая письмописание до этих приятных минут).[5]

Мое здоровье? Сейчас совсем неплохо. С тех именно пор как – посадил себя на строгую молочную диету, на каковой пребываю уже девятый день.

Теперь я могу судить, насколько больным я был все лето и не только во время воспаления легких, но и по его окончании. Все это лето с самого начала у меня был какой-то упадок жизненности – притупление тонуса жизни, усталость, равнодушие. Теперь явились и подъем, и сосредоточенность. Но от акварелей не могу никак оторваться и, кажется, нашел в них сейчас то, чего напрасно добивался летом – радужность колорита.

После Вашего отъезда прошло много эпох – сперва летчики и полеты. Большею частью трагические – четыре жертвы. Большая дружба с немцами – особен<н>о с Фриделем.[6] Потом приезд Женевских и, как всегда, осенние милые дни с Катей.

Вчера, когда Маруся была в городе, ко мне явилась нежданно А. Д. Капнист с уймой своих гостей.

«Я своего Гришу (сын 17<-ти> лет) отправила в Москву. Je vieu Vous demander* дать ему связи... Напишите от себя Шервинскому, Ярхо... Габричевским? Нет, она слишком интересная и красивая женщина.... А мой Гриша ведь тоже совсем восточный красавец. Нет – это опасно...».

Сейчас перерыв. Надо идти шинковать капусту, окончу завтра.

31/X.

Осенний обряд (коктебельские «антестерии»[7]) шинкования капусты длился за полночь. В прошлом году в нем принимала участие Соня Толстая.

Что с ней и где она? Доходили слухи, что она уже в Москве, и что Есенин лежит в больнице.[8] Напиши, что знаешь о ней. Она сама не пишет.[9]

Если бы вы собрались на Рождество, было великолепно.[10] Очень хотелось бы повидать вас в одиночестве – для себя. И ты бы увидала Коктебель совершенно не таким, как обычно.

Ты ведь еще совершенно не знаешь его зимней прелести и очарования.

У нас засилие собак. Четыре... пять... семь... Со всех дач собрались. Надежда Аполлоновна снова днюет и ночует. Гепеуша совсем усыновился. Какая<-то> большая и белая тетушка лежит в отдалении, и ее все кусают. Маруся надрывается от жалости, плачет, а потом гоняется за ними с палкой и кричит «убью».

Нилушка вернулась из Харькова после операции – все благополучно. Тете Саше[11] (только что пришло письмо) тоже сделали только что экстренно большую операцию с удалением всего женского аппарата. Операция была неожиданная, очень трудная и прошла благополучно. Очевидно, Маруся открыла собою целую серию.

Крепко обнимаю Сашу[12] и всех друзей. Теперь буду понемногу писать всем письма.

Скажи всем друзьям, что жажду книг – русских и журналов французских (но и от русских не откажусь). Прошу все высылать нам прочитанное уже старое.

---

* Я хочу просить Вас (*фр*)

Ф. Петровского обними. Напишу ему особо.

МАКС.

[1] Е О Сорокина, А.Ф. Ильин-Женевский и А.Е. Женевская-Русинова (см. примеч. 1 к п. 73), П.Н. Зайцев

[2] Рыковка – обиходное название первой советской водки (1924), по фамилии председателя Совнаркома А И. Рыкова.

[3] И.В Зелинский.

[4] Дети Е.О. и Т.И. Сорокиных – Наталья Тихоновна Сорокина (1918–1991), впоследствии художница, и Сережа (Сергей Тихонович) Сорокин (1920–1936).

[5] Первое из упомянутых писем Н.А. Габричевской из Москвы – от 29 сентября 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 381, л. 11–11 об), второе – отправленное 25 октября 1925 г: «Как ты живешь и как твое здоровье??? Я тебе написала письмо на следующий (кажется) день, как приехала, а от тебя ни слуху ни духу. Я очень беспокоюсь, не заболел ли ты снова» (Там же, л. 12–17).

[6] Фридель-Готфрид Лоев (Löew; 1902–?), немецкий инженер, летчик-планерист.

[7] Антестерия – древнегреческий праздник цветов в честь Диониса в Афинах (конец февраля – начало марта)

[8] Брак С.А. Есенина и С.А. Толстой был зарегистрирован в Москве 18 сентября 1925 г. Сведения о пребывании Есенина в больнице недостоверны (на лечение в психиатрическую клинику он лег позднее – 26 ноября 1925 г.).

[9] Н. Габричевская откликнулась на этот вопрос в письме к Волошину от 27 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 25–26 об.)· «О Соне я ровно ничего не знаю. Говорят, что он с ней развелся и потом поехал в Питер. Впрочем, уверять не могу, т<ак> к<ак> ничего не слышу и не знаю».

[10] В письме, отправленном 25 октября, Н. Габричевская сообщала: «Вчера пришла идея, которую мы почти наверное не осуществим. А именно, приехать к вам на Рождество. Мы рассчитали, что в смысле денег это обойдется столько же, сколько мы истратим на праздники. А? Как ты на это смотришь? Или наши рожи тебе за лето осточертели? Говори прямо».

[11] А.Л. Домрачева.

[12] А.Г. Габричевский.

[13] Милый Макс, у нас нет никаких журналов, но я постараюсь раздобыть», – откликалась Н. Габричевская в письме к Волошину от 8 декабря 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 18–23).

76. Е. Л. ЛАННУ

31 октября 1925 г. Коктебель

31/X 1925. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович, где Вы? Что с Вами? Как Ваше здоровье? С самого Вашего отъезда ни одной весточки.[1] Правда, и я все время молчал. Только третьего дня уехали последние гости, и мы остались одни — на зимнем положении. Только последнюю неделю почувствовал себя хорошо и поэтому понял, насколько больным я был все лето: и до воспаления легких, и долгое время спустя. Был какой-то общий пониженный тонус и жизни, и мышления. Сейчас это прошло. Очень хочется знать о Вас. Что делаете? Что пишете? Что переводите? Что издаете? Как Ваши отношения с редакциями?[2] Не знаете ли, возобновил ли Союз Пис<ателей> хлопоты относительно судьбы «Волошинского Дома»? Все об этом говорили, обещали, а сейчас ни звука ни от кого.[3] Если увидите Соболя, Тихонова... Саркизова... напомните им, что ведь, в сущности, ничего не сделано. А потом и время уйдет.

Привет Александре Владимир<овне>.[4] Какое у Вас впечатление от лета? Крепко Вас обнимаю. Жду возобновления переписки. Если возможно, пришлите французских журналов и Конрада.[5]

Максимилиан Волошин.

P. S. Пишите на Коктебель. Почта, очевидно, остается и на зиму.

[1] Е. Л. Ланн выехал из Коктебеля 29 августа 1925 г. (Труды и дни-2. С. 276).

[2] На вопросы Волошина Ланн ответил в письме от 20 ноября 1925 г.: «...обстали меня всяческие “литературные дела” в Москве <...>. Работы по редактированию навалилось столько, что приходится избегать гостей. Но, увы, это единственная возможность существовать, да и то ненадежная, ибо мой уход из “Земли и Фаб<рики>”, который кому-то был нужен для “выпрямления линии”, поставил меня в необходимость не проводить свои издат<ельские> планы, а устанавливать связь с отдельными издательствами на основе предложения отдельных книг. <...> Параллельно с обязательной работой об-

думываю о Вас статью. Она в плане у меня разрослась. "Россия" вела со мной разговоры через близкого к редакции человека – моего приятеля – Сиг<измунда> Дом<иниковича> Кржижановского, но взяла и лопнула. Не знаю, известна ли Вам сия новость. Во всяком случае, ни "Русского современника", ни "России" нет, и посему.. Ну что ж! Будем лежать в портфеле» («. .Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма Документы Материалы .. С. 74–75).

[3] См. п. 61 и примеч к нему В ответном письме Ланн сообщил Волошину: «О Вашем деле с Андреем Михайловичем <Соболем. – *Ред.*> поговорить пока не мог, ибо он вторично кончал собой (на этот раз опиум), но и теперь "благополучно". Он уже оправился, и в ближайшие дни я с ним увижусь» (Там же С 75). См. также примеч. 7 к п 80.

[4] А. В. Кривцова.

[5] В ответном письме Ланн писал о своей работе над переводом и редактированием собрания сочинений Дж. Конрада «Роман Конрада "У черты теневой" заматрицирован, и когда выйдет, не знаю» (Там же).

77. М. А. ПАЗУХИНОЙ

7 ноября 1925 г. Коктебель[1]

Милая Марья Александровна, спасибо за «Магдалину».[2] Мне не очень нравятся беллетристические фантазии на эти темы. Само Евангелье слишком хорошо и кратко написано, чтобы к нему можно было бы что-нибудь «литературно» прибавить. Здесь слишком много произвола в характерах лиц (Магдалина – сестра Лазаря – это искусственно притянуто, Иуда и т. д.). Ничто не обосновано. А эстетическая порнография по поводу простых и так близко знакомых людей носит характер рекламной сплетни. Неприятный роман, основанный на глубоком эстетическом безвкусии, написанный претенциозным и невежественным снобом. Я Вам послал письмо с Катей[3] и туда вложил список красок. Windsor Newton – это лучшие существующие акварельные краски. Сейчас я принялся за стихи, и акварели покинули временно вот уже 4 дня. Спасибо за карточки. Они очень хороши. Хочется еще – всё,

что снимал Вас<илий> Алекс<андрович>. Целую Дима и Али-ка.[4] Обнимаю Вас<илия> Алекс<андровича>.

Максимилиан Волошин.

[1] Приписка к письму М. С Заболоцкой, отправленному из Коктебеля в Москву 7 ноября 1925 г. (дата на почтовом штемпеле)

[2] В письме к Волошину от 30 октября 1925 г М А. Пазухина сообщала, что высылает несколько фотокарточек (сделанных В А. Пазухиным в Коктебеле), а также «Послала Вам <...> "Марию Магдалину", и мне очень хотелось бы узнать, понравилась ли она Вам и как Вы ее находите?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 927, л. 3–4 об). Речь идет о романе польского прозаика Густава Даниловского (1872–1927) «Мария Магдалина» (пер. Евг. Троповского. Л., 1925).

[3] Е. О. Сорокина. Имеется в виду п. 74.

[4] См примеч. 7 к п. 74.

78. М. С. и С. В. ШЕРВИНСКИМ

11 ноября 1925 г. Коктебель

11/XI 1925. Почт<овый> адрес: Коктебель. (Почта осталась на зиму).

Милая Машенька и дорогой Сережа,

у нас стоит дивный солнечный ноябрь. Совершенно пустой дом. На горах металлические леса – ржавые и золотые. По всему пляжу – ни единой души направо и налево, – и так целый день. В комнатах тихо и солнечно: звери и мы. Кажется, за все лето не было таких благословенных дней. Вспоминая и медленно переживая снова минувшее лето во всех его празднествах, торжествах и событиях – и перечитывая летние стихотворения, очень хочется еще раз крепко обнять, милый Сережа, и горячо поблагодарить за все. Стихи «Poetae Poetae» – прекрасны – особливо твои и Б. Ярхо.[1] И хотя это не от меня зависело, но я чувствую перед всеми друзьями свою большую вину за это лето. И дернуло же меня так глупо заболеть в самый разгар его.[2] И теперь, когда наконец ушли все следы болезни, я понял, что я заболел гораздо раньше, чем слег, и был

еще болен долго после того, как вышел из беста своего кабинета: долго еще во мне сидела эта непонятная и непривычная апатия и равнодушие. Я присутствовал, и меня совсем не было. И я за это у всех у вас прошу прощения.

Мы получаем очень мало писем, и есть указания на то, что многие нам адресованные письма и посылки не доходят. Боюсь поэтому — не получая ничего от Вас, кроме твоей открытки, Машенька, по дороге в Батум,[3] что и вы нам писали, да мы не получили.

Пробовал я опять писать стихи: тяжко, точно жернова ворочаю, и тоска охватывает Зато в акварелях все это время предо мной раскрываются всё новые и новые возможности — душа прозревает новыми красками и возможностями. И работа приносит глубокое духовное удовлетворение. Особенно эти дни, когда пробродил несколько дней с утра до вечера в горах и снова до краев переполнился напряженными хребтами и сухими размывами коктебельских холмов.

Коктебель никогда не бывает так хорош, как в эти солнечные дни поздней осени и зимой во время снегов и туманов.

И как это никто к нам до сих пор не собрался на Рождество. Вот Наташа пишет, что непременно приедет....[4] Хорошо, если бы и Вы собрались с ними.

После вашего отъезда в Батум было еще столько разных эпох: планерные состязания, на которые приезжали немецкие летчики и жили у нас. Но Габричи[5] вам, верно, рассказывали...

Но это было уже после их отъезда: мировые рекорды, катастрофы, ураганы и т.д.

Коктебель (собственно Узун-Сырт) оказался одним из единственных мест в Европе, по своей приспособленности для планерных полетов. И в будущем году осенью здесь назначены интернациональные планерные («плэнарны» — как выражается русс<кая> пресса) состязания.

Другая новость менее приятная — на Св<ятой> Горе началась работа по эксплоатации «трасов» (цемент). Это нам грозит пристанью (за старым кордоном, где были раскопки) в следующей бухте, не доходя <до> рыбаков, и проволочно<й> дорогой со Св<ятой> Горы и ямами в разных местах ее. Инженеры уже приехали, работа уже началась. Меня она не

слишком огорчает только потому, что все это уже не однажды на Карадаге начиналось и лопалось. Но это привело в Коктебель очень милого ученого — Спассо-Кукоцкого, которого я знал и раньше (это он открыл «Магнитную Аномалию» Карадага) и который поселился у нас внизу на зиму. Любопытно то, что он, исследуя глубину бухты для пристани, наткнулся на остатки древнего мола, замыкавшего этот заливчик, который верно и был портом Каллиэры (Каллитры) — которая позднее была превращена в Венецианскую факторию.[6]

Это, конечно, вполне объясняет мощность (1½ сажени) того «культурного слоя» в размыве речки Кордонной Балки, из которого Башкиров и Бороздин выкопа<ли> летом грекоримский «пифос», что лежит в музыкальной комнате.[7]

Что касается нашего проблематического приезда в Москву весной — то вопрос остается совершенно открытым. Я себя чувствую очень хорошо после десятидневной молочной диеты и собираюсь ее повторить несколько раз среди зимы. А тогда все консультации с врачами могут стать совсем не нужны. Кроме того нам грозит экономический кризис, т<ак> к<ак> Ц.К.У.Б.У. уже второй месяц мне не высылает Ак-обеспечения и я сильно опасаюсь, не сократили ли меня из списков. Ведь это делается без предупреждений и без извещений.

Крепко обоих Вас обнимаю и целую и Маруся тоже.

Макс.

[1] «Poetae — poetae» — тетрадь, подготовленная в Коктебеле ко дню именин Волошина (17 августа 1925 г.), который одновременно праздновался и как день 30-летия его литературной деятельности; содержала 49 шуточных поздравлений от имени поэтов разных времен и народов Авторами их были, в частности, С. В Шервинский (9 стихотворений) и Б. И. Ярхо (9 стихотворений), а также Г. А. Шенгели (8), А. А Сидоров (7), Л. Е. Остроумов (5), Е Л. Ланн (4), М. В. Дорогова (3), А. В. Петрово-Соловово (2), В. Н. Верховский и К. П Девлет-Матвеева (по одному)

[2] Волошин заболел в середине лета 1925 г. (бронхит, пневмония).

[3] Речь идет об открытке, отправленной из Новороссийска с парохода и датированной 8 сентября 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 1296, л. 8).

[4] Н. А. Габричевская См примеч 10 к п. 75.

[5] А Г. Габричевский и Н. А. Габричевская.

[6] Каллиера – венецианская гавань в восточном Крыму, основанная в XIV в. на месте древнего порта; впервые упоминается в 1358 г, вскоре перешла в руки генуэзцев. На итальянских морских картах-портоланах отмечалась с 1367 по 1570 г.

[7] 26 июля 1925 г. А.С. Башкиров и И.Н. Бороздин передали Волошину на хранение фрагменты пифоса, найденного ими в этот день в ходе раскопок на плато Тепсень (Труды и дни-2. С. 272).

79. В. А. МАНУЙЛОВУ

15 ноября 1925 г. Коктебель

Коктебель. 15/XI 1925.

Дорогой Виктор Андроникович,

спасибо за дружеское письмо.[1] Оно мне доставило большую радость. Сейчас, когда книгопечатанье (для меня) перестало существовать — особенно ценишь вести от неизвестных друзей. Если Вы (и Ваши друзья) соберетесь ко мне в Коктебель, я буду очень рад Вас видеть. Приезжайте ко мне погостить. Двери моего дома открыты всем поэтам и художникам (за этот год у меня перебывало 400 человек), так что Вы не стесните. Только лучше не в августе, когда бывает слишком густо и я сам измучен количеством людей...

Перечисленные Вами стихи — в Вашем распоряжении. Но только, кажется, они (кроме «Потомкам») были уже напечатаны, но где, не знаю, потому что большая часть моих стихов печатается без моего ведома и согласия — а мне самому цензура запрещает.

Посылаю Вам еще два стихотворения.

«Доблесть поэта» — печатать нельзя. А «Благословение» — пожалуйста, если оно подойдет.[2]

Я написал много в период до 24<-го> года. А последнее время — почти ничего. Сейчас я больше в живописи, чем в поэзии. Видали ли Вы стихи из книги «Путями Каина»?[3] и поэму «Россия»? Последняя была напечата<на> в «Недрах» сокращенная почти наполовину.[4]

В Коктебеле я живу последние годы (с начала Революции) безвыездно — зиму и лето. Поэтому единственный способ со мной повидаться — навестить меня здесь. На письма я туг, т<ак> к<ак> летом бывает так много людей, что времени не остается, а зимой жаль отрываться от своих текущих работ.

На гонораре я, конечно, не настаиваю — и все равно никто мне не платит, печатая мои стихи, но и не отказываюсь, если он возможен. Привет Всеволоду Михайловичу.[5]

Максимилиан Волошин.

Почт<овый> адр<ес>: Крым. Коктебель. Волошину.

[1] В письме к Волошину из Баку от 21 октября 1925 г. В.А Мануйлов, упомянув об общих знакомых (М. П Кудашева, С.А Толстая) и отрекомендовавшись как ученик Вяч. Иванова, сообщал· «В Баку группа учеников Вячеслава Ивановича, при участии своего учителя и иногородних своих единомышленников, издает альманах стихов “Норд”, имеющий целью дать современному читателю просто сборник хороших стихов <...> Нам хотелось бы видеть в этом сборнике, уже любимые нами и часто читаемые нам Всеволодом Михайловичем Зуммером, стихи Ваши: “Потомкам”, “Преградой волнам и ветрам”; “Приляг на отмели”; “Мы столь различные душою” и то, что мы еще, м<ожет> б<ыть>, не знаем, но что Вы нам пришлете. Многое бы из Ваших стихов хотели мы видеть в печати – но пока что приходится довольствоваться рукописными списками, дошедшими сюда в Баку через десятые руки» (В А. Мануйлов в переписке с Максимилианом Волошиным / Публ. А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год СПб.. Дмитрий Буланин, 2012 С. 424–425).

[2] Присланные Волошиным стихотворения (см · Наст изд Т. 1 С 291–292, Т 2. С 67) в сборнике «Норд» (Баку, 1926) не были напечатаны В ответном письме от 16 декабря 1925 г. Мануйлов, благодаря Волошина за согласие участвовать в «Норде», извещал: «Из Ваших вещей выбраны нами для “Норда” главным образом лирические, самые безобидные в “идеологическом” отношении – иначе мы поставили бы весь сборник под ураганный обстрел.

Порядок предположен таков

I “Доблесть поэта” (*первое*). <Т.е первая часть стихотворения – *Ред.*>

II “Приляг на отмели”

III “Мы столь различные душою”.

IV “Опять бреду я босоногий”.

V “Ступни горят”.

VI “Так... обнаженный – склонись на четыре”.

VII “Как в раковине малой”.

Был бы очень Вам благодарен, если бы Вы нам коротко сообщили даты под этими стихами и прочие пометы, а также Ваше мнение по поводу самого *выбора и распорядка*. <...> Большое спасибо за “Благословение”, оно всем нам очень понравилось – но в печать его не пустят» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год С. 429)

[3] Из 14 стихотворений, составивших цикл «Путями Каина. Трагедия материальной культуры», четыре («Мятеж», «Огонь», «Магия», «Кулак») были напечатаны в альманахе «Недра» (1923. Кн 2), одно («Космос») – там же (1924. Кн. 5), два («Меч», «Порох») – в журнале «Красная новь» (1922. № 3), одно («Пар») – там же (1923 № 2), одно («Суд») – в журнале «Русская Мысль» (1915 № 4 – под заглавием «Dies illa tam amara»), оно же и еще два стихотворения – «Война» (в первоначальной редакции под заглавием «Аполлион») и «Левиафан» – опубликованы в книге Волошина «Anno mundi ardentis 1915» (М.: Зерна, 1916). За исключением стихотворения «Космос», все стихотворения цикла вошли в книгу Волошина «Стихи о терроре»; стихотворения «Машина», «Бунтовщик» (под заглавием «Пророк») и «Государство» в ней опубликованы впервые. Отдельной книгой цикл «Путями Каина» не издавался.

[4] Поэма «Россия» была опубликована в кн. 6 альманаха «Недра» (М., 1925. С. 71–78), вышедшей в свет в феврале 1925 г., с пространными купюрами. Мануйлов отвечал 16 декабря. «“Россию” в “Нед<р>ах” видел, но не подозревал, что она так урезана “Путями Каина” очень хотел бы видеть, но в Баку эта книга не дошла – имеются только списки с Ваших рукописей <...>» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. С. 429).

[5] В. М. Зуммер

80. Е. Л. ЛАННУ

16 ноября 1925 г. Коктебель

16/XI 1925. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

посылаю Вам свою автобиографическую заметку, написанную по просьбе Шенгели для какого-то издания Союза Поэтов,[1] –

она, б<ыть> м<ожет>, Вам пригодится как дополнение к нашим летним беседам. Кроме нее прилагаю и «Доблесть поэта»[2] — в окончательной форме.

От Вас никаких вестей с самого отъезда. Где Вы? Здоровье? Что делаете?[3]

Коктебельский Дом опустел только к ноябрю. Но солнце еще не думает о зиме. Но рабочий распорядок дня принял зимний ритм. Но работа все-таки идет над акварелью. Пробовал посадить себя за стихи: нужно было написать стихи памяти Церасского — долг дружбы и симпатии.[4] 29<-го> будет заседание его памяти.[5] Написал трудно и плохо. Но хуже всего то, что от работы над стихом охватывает тоска: все, что ни пишешь, самые образы, которыми пишешь, — нецензурно. Тоска — за пределами творчества, и оно не дает радости. А в красках — радость непреходящего.

Солнце, вода, облака... огонь... —
Все, что есть прекрасного в мире...[6]

Только теперь, когда я пришел в нормальное состояние — я понял, насколько я был болен летом, — болезнь началась задолго до ее медицинского распознания и кончилась только недавно. Она была в апатии, усталости, притупленности. Поэтому простите мне это неудачное лето, когда я очень мало был сам собой.

Не знаете ли, Евгений Львович, каков результат ходатайства Союза Писателей перед Ен<у>к<ид>зе о «Волошинском Доме»?[7] Ведь оно должно было быть возобновлено в сентябре. Я не имею никаких сведений, и у меня нет адреса Андрея Соболя. Пожалуйста, повидайте его и напомните ему об этом. Это было бы как раз вовремя, потому что с меня начинают требовать *налоги* за дом и т. д., и как <раз> в то время, когда я сижу без денег, т<ак> к<ак> Ц.К.У.Б.У., мой единственный источник, уже два месяца ничего не высылает, и я сильно опасаюсь, чтобы меня не вычистили, т<ак> к<ак>, кажется, идет пересмотр IV категории.[8] Тогда опять буду просить Союз Писат<елей> о заступничестве. Пожалуйста, пришлите адрес А. Соболя.[9]

Недели 2 назад послал Вам открытку.[10] Выпустили ли еще Конрада?[11] Что переводите и что пишете? Имеете ли дела с Тихоновым и Ангарским? И тот, и другой мне говорили, что будут иметь виды на Вас (после уже Вашего отъезда). Но что они сами делают?

Передайте Александре Владимировне[12] все мои симпатии и привет от Маруси.

Максимилиан Волошин.

[1] О каком издании идет речь, установить не удалось. К письму был приложен текст «Автобиография. 1925 г.», совпадающий с «Автобиографией <13>» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 248–256).

[2] Стихотворение «Доблесть Поэта» (17 октября 1925 г.) См.· Т. 2 наст. изд. С. 67. Об этом стихотворении см. также п. 79, примеч 2.

[3] См. примеч. 2 к п 76.

[4] Речь идет о стихотворении «Памяти В. К Цераского», датируемом 10 ноября 1925 г. (Т. 2 наст. изд С. 68–69).

[5] Информации о проведении этого мероприятия и об участии в нем Волошина не обнаружено.

[6] Цитата из стихотворения Волошина «Выйди на кровлю... Склонись на четыре » (11 октября 1924 г). См.: Т. 1 наст изд С. 174

[7] См п. 61 и примеч. к нему. 8 декабря 1925 г Ланн ответил Волошину, подробно описав процедуру подачи ходатайства Правления Союза писателей Енукидзе и обстоятельства задержки. См.: «...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы .. С. 80. Он также отметил, что А М. Соболь «провел через правление <...> посылку телеграммы от имени Союза с “категорической” просьбой на имя высших органов о том, чтобы Вас ни в каких смыслах не беспокоили» (Там же). В письме Волошину от 28–29 декабря 1925 г. Ланн сообщил· «Вчера в Клубе Союза встретился с Андр<еем> Мих<айловичем>, который мне сказал, что Союз писал тов<арищу> Енукидзе бумагу, в коей просил назначить прием члену правления (т е. Андр<ею> Мих<айловичу>), который устно изложит ему (в дополнению к письменному ходатайству во ВЦИК) дело о коктеб<ельском> доме. Пока Ен<укидзе> ответа не дал <...>” (Там же. С. 86)

[8] Согласно «Положению о распределении научных работников на категории в зависимости от их квалификации», утвержденному 13 декабря 1921 г. в заседании ЦЕКУБУ, к 4 и 5 категории «для получения особого дополнительного академического обеспечения» относились· «выдающиеся ученые, являющиеся инициаторами или вид-

нейшими представителями в России крупных научных направлений и школ и могущие указать ряд самостоятельных научных работников как своих учеников» и «выдающиеся ученые, работа которых имеет мировое значение» (Год работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК (ЦеКУБУ). М., 1922 С. 104). Возможно, беспокойство Волошина было связано также с запросом от 2 октября 1925 г «Научному работнику 4 категории М.А Волошину» за подписью Б А. Шпаро : «Управление Делами Центральной Комиссии по Улучшению Быта Ученых, препровождая при сем бланк статистических сведений о материальном и семейном положении, просит заполнить таковой и прислать его в ЦЕКУБУ не позднее 10-го октября с. г.» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 21, л. 1).

[9] Ланн сообщил адрес А М Соболя в письме к Волошину от 8 декабря 1925 г.: «Трубниковский пер. 16, кв 1» (Там же. С. 81)

[10] См. п. 76.

[11] См. примеч. 5 к п. 76.

[12] А. В Кривцова.

81. Е. В. ПЕТУХОВУ

17 ноября 1925 г. Коктебель

17/XI. 1925. Коктебель.

Многоуважаемый Евгений Вячеславович, Вашего предложения написать главу о крымских писателях принять не могу[1]: для библиографических справок надо иметь книги и издания – их у меня нет. И потом библиография – то, что меня мало интересует как работа. Я бы мог написать *мартиролог* русс<ких> писателей в Крыму и список тех вещей, которые *не были* опубликованы, но это и Вам не нужно, ни цензура не пропустит... Вообще писать о судьбах Крыма время еще не пришло. Я думаю, что Тренев или Пав<ел> Ив<анович> Новицкий Вам могут больше помочь в Симферополе, чем я в Коктебеле.

Максимилиан Волошин.

P. S. Не знаете ли в Крымс<ком> Кубу о результатах пересмотра? Меня вопрос об Ак-обеспечении крайне интересует и волнует.[2]

[1] Отклик на предложение Петухова, сделанное в письме от 24 октября 1925 г.: «Теперь о моей просьбе к Вам касательно писателей-художников (т. е. беллетристов и поэтов), имеющих или имевших то или иное отношение к Крыму Ваше письмо окончательно убедило меня в том, что насчет самой близкой к нам современности я <...> мало и недостаточно осведомлен. Относительно печатания моей работы дело обстоит так, что я могу напечатать ее и здесь в Симферополе (Крымиздат) и в Ленинграде <. > я обращаюсь к Вам с просьбой: напишите небольшую главу <...> о писателях в Крыму или писавших о Крыме за время революции 1917 г<ода>, гражданской войны и настоящей современности. Это должен быть лишь краткий библиографический обзор, т. е кем, где и что напечатано – размером в две или три странички, а то и меньше, – как хотите. <...> Благодарю Вас за приглашение приехать в Коктебель. Я и сам хотел этого, когда жил в июле – августе в Судаке, но тяжелые обстоятельства моей домашней жизни не позволили и до сих пор не позволяют мне это сделать» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 961, л. 3–3 об) Замысел Е. В. Петухова реализован не был.

[2] См. примеч. 9 к п. 80.

82. А. А. КИПЕНУ

18 ноября 1925 г. Коктебель

18 XI 1925. Коктебель.

Дорогой Александр Абрамович,

Спасибо за каталог и за письмо.[1] Очень Вы меня обрадовали продажей моей акварели. А то вот уже два года, как у меня «приобретают» акварели музеи (и Третьяковка, и провинциальные), но с предупреждением, что заплатить не могут. Я, конечно, не отказываю... Но в литературе то же самое. Может, с Вашей легкой руки прорвется заколдованный круг. Спасибо. Немного завидую Вашей поездке за границу,[2] хотя сам, когда были возможности, не захотел ими воспользоваться. В каких странах будете?[3] Я бы не жалел об этом, если бы можно было иметь в Коктебеле все франц<узские> журналы. Но и это невозможно.

Чем вызвано приобретение моей акварели: скромностью оценки, вероятно? Это мне очень любопытно.[4]

Крепко обнимаю Вас и жду к себе весною.

Привет всем друзьям в Одессе и за границей, которые меня помнят.

Максимилиан Волошин.

[1] Каталог Первой осенней выставки картин художественного Общества имени К К Костанди в Одессе (1925), на которой были представлены десять акварелей Волошина (№ 100–109 в каталоге), А. А. Кипен отправил Волошину вместе с письмом от 9 ноября 1925 г.: «Посылаю Вам каталог выставки, которая открылась 18 окт<ября> и закроется 22 ноября Выставка очень удачна, успех ее как художественный, так и материальный вполне определился. <...> Справляются многие о ценах и отходят, понурив голову. Ни у кого нет денег До сих пор продана только одна вещь, и как раз Ваша. Акварели Ваши чудесны и всем очень нравятся» (*Михаленок Д К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 76. Исправлено по автографу ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 643, л. 5).

[2] См. примеч. 6 к п. 71. «В конце ноября, по-видимому, поеду за границу в командировку, – писал Кипен Волошину 9 ноября. – Вернусь в конце февраля или в начале марта и весной постараюсь побывать у Вас, повидаться после столь долгой разлуки <...>». Кипен был направлен Наркомземом УССР во Францию как агроном – для выбора и приобретения привитого посадочного материала.

[3] «Я уезжаю недели через две. Буду в Италии и Франции», – отвечал Кипен 25 ноября 1925 г. (*Михаленок Д.К* Карадагский калейдоскоп. С. 77).

[4] Кипен отвечал в том же письме: «Приобретение Вашей акварели вызвано тем, что это чудесная вещь. Конечно, и невысокая цена имела при этом значение» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 643, л. 1).

83. Л. В. КАНДАУРОВУ

18 ноября 1925 г. Коктебель

18 XI 1925. Коктебель.

Дорогой Леонид, отвечаю тебе с большим опозданием. Коктебель окончательно опустел только к ноябрю. А пока у нас гости – ритм зимней жизни не налаживается. А теперь жизнь наладилась и вошла в свою колею.

Большое спасибо тебе за твое письмо и за внимание к моим болезням.[1] Ты совершенно прав – я все это знаю, потому что у меня с подагры – т. е., вернее, полиартрита – и началось. Но и артриты имели свои первопричины – это задержка пищеварения (Nutrition retardée), которая вызывает подагру и все ее последствия. У меня они ярко выражены – отсюда и моя астма и склонность к ожирению и т. д. Поэтому для меня самое важное – это уменьшение ожирения. И когда я осенью посадил себя на голодовку десятидневную (молочная диета), то сразу стало лучше и отеки ног уменьшились. А atophant я знаю и принимаю его, но его тогда очень трудно было достать, а врачи очень предупреждают против русского атофана, от которого бывали случаи смертельных отравлений. Сейчас я чувствую себя недурно, и дни, переполненные работой, книгами и молчанием, скользят с быстротой необыкновенной. Работаю я все-таки больше по части акварели. Хожу в горы. Делаю зарисовки. А стихи не пишутся. Напротив, как только за стихи берешься, такая «гражданская тоска» охватывает, а я терпеть не могу гражданской тоски. Сегодня получил известие из Одессы, что на тамошней выставке – единственная проданная вещь – моя акварель.[2] Редкий случай. Думаю, что только за дешевизну (два червонца).

Приехал ли Константин из Бухары?[3]

Как идет жизнь в Твери? Как твое самочувствие и здоровье? Приедешь ли в будущем году в Коктебель? Тогда приезжай пораньше, в мае.

Привет всем твоим, кто меня знает.

Крепко обнимаю тебя. Мария Степановна шлет тебе свой привет.

Макс.

[1] В письме к Волошину из Твери от 23 сентября 1925 г (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 617, л. 34–35 об.) Л. В. Кандауров извещал. «...до меня дошли слухи, что здоровье твое стало хуже. Надо думать, что в основе твоих страданий лежит подагра» – и давал рекомендации по лечению, в частности, советовал принимать атофан.

[2] См. примеч. 1 к п. 82.

[3] К. В. Кандауров Л. В Кандауров сообщал о нем в цитированном письме: «...брат Константин уехал до декабря в Бухару, получил заказ на картины для Наркомздрава»

84. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

18 ноября 1925 г. Коктебель

18.XI.1925. Почт<овый> адр<ес>: Коктебель.

Дорогая Юлия Леонидовна,

лето действительно было переполнено, и Коктебель опустел только в ноябре, а я вот только теперь собрался ответить Вам — к Вашему возвращению из Бухары, которое, надеюсь, будет более благополучным, чем первое.[1] Лето в смысле густоты было рекордное — 400 человек!! Каждый год на сто человек больше. Что же будет еще через 6 лет? В будущем году нужно будет сокращать, а то это сверх человеческих сил. Я конец лета проболел ползучим воспалением легких, добытым с большим трудом в июле месяце при помощи грязевых ванн — вынес его на ногах, но был сам не свой — апатия и усталость. Юбилей мой отпраздновали на мои именины — дома, и потому вышло очень хорошо, интимно, остроумно, весело и дружно.[2] А у меня кстати кризис пневмонии на этот день пришелся.

Самое лучшее из всего были приветствия от мировых поэтов: мне была прочитана и поднесена целая книга «Poetae — Poetae» — хрестоматия всех древних и современных поэтов. Там есть вещи великолепные, как Шекспир, Тангейзер, трубадур граф Гильен,[3] скальд Скалагримсон, очень хороши Гораций, Катулл, Ронсар, Данте и Вийон, из современников — Спиридон Дрожжин и Надсон. Вы бы оценили их по достоинству.

Нет — это большая несправедливость судьбы — что Вы до сих пор не пожили в послереволюционном Коктебеле — этим летом Вы непременно должны приехать и надолго, чтобы пожить и поработать. Меня приводит в ужас московская теснота, которая всё растет, и все Ваши уплотнения. Как Вы живете при таких условиях? Зееман был в Коктебеле — жил у нас и ни *одного* слова ни с кем не сказал. Но всем очень понравился.[4]

Я всё время работаю над акварелями. А стихов уже второй год не могу писать. Меня «приобрели» в Третьяковку и в ряд провинциальных музеев – но денег не только не платят, но даже и не предлагают. Зато только что на Одесской выставке – единственная вещь, купленная на выставке, – моя.[5] (Правда, за 2 червонца – вероятно, за дешевизну и куплено). Зато раздать и раздарить за это лето мне удалось 600 акварелей (каждому жившему у меня и его главным родственникам на родине). На днях собираюсь в Феодосию, где не был с марта месяца. Повидаю Кон<стантина> Феод<оровича>.[6] У него очень тяжело: мать его, сперва разбитая параличом, теперь совсем сошла с ума. Он очень обеспокоен тем, что ЦКУБУ перестало высылать Ак<адемическое> обеспечение (как и я), мы ведь получали по IV категории всё время. Будет ли «Жар-Цвет» и когда?[7] Сам Кон<стантин> Вас<ильевич> – радуется ли тому, что с театром покончено?[8] Он ведь так давно мечтал об этом... Но материально? Ведь живопись сейчас ничего дать не может... Крепко его обнимаю и целую. Привет Екатерине Ивановне и Парису.[9] Маруся приветствует всех. Она очень устала летом, но теперь отдохнула и очень после весенней операции поправилась и потолстела, чего с ней никогда в жизни не было.

Максимилиан Волошин.

[1] Ответ на письмо Ю.Л. Оболенской от 30 мая 1925 г. (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 902, л. 27–28 об.). О предыдущей поездке Оболенской и К.В. Кандаурова в Среднюю Азию см. Т. 12 наст. изд. С. 493–495.

[2] См. примеч. 1 к п 78. В программу празднования именин и юбилея Волошина, начавшегося 17 августа в 10 часов утра и закончившегося в 3 часа утра следующего дня (участвовали 120 человек, живших в доме Волошина, а также 50 человек, специально приехавших к торжеству), входили чтение телеграфных и письменных поздравлений, речей (Ю.А. Галабутский, Г.А. Шенгели), шуточных поздравлений, составивших тетрадь «Poetae – poetae», торжественные обед и ужин, концерт, пантомима из испанской жизни «Ночь дыни, или Торжество влюбленных» (см.: Труды и дни-2. С. 274–275).

[3] Видимо, подразумевается Гильем IX (1071–1127), девятый герцог Аквитании и граф Пуатевинский, старейший трубадур Окситании. Имя Гильем носили около пятнадцати трубадуров

[4] «Р. В. Зееман – сын наших старинных друзей, – сообщала Оболенская Волошину в недатированном письме. – У него 2-недельный отпуск. Он никого не знает в Крыму. Если он к Вам попадет – не откажите дать ему совет – как устроиться и что посмотреть – буду очень благодарна» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 902, л. 19). В письме от 10 марта 1926 г. (Там же, л 31–34 об.) Оболенская благодарила Волошина «за приют молчаливого Зеемана»: «Вы хвастаетесь, что он за две недели не сказал ни одного слова; а я так и вообще никогда в жизни не слыхала его голоса. О письме к Вам – просил меня его отец. Он же сообщил о возвращении сына и о сильном его впечатлении от Вас».

[5] См. примеч. 1 к п. 82

[6] К. Ф. Богаевский.

[7] «Жар-Цвет» – общество художников, действовавшее в 1923–1929 гг. в Москве (Оболенская и К. В. Кандауров входили в состав членов-учредителей): организовало пять выставок в 1924, 1925, 1926, 1928 и 1929 гг. (см : *Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л* Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820–1932) Справочник. Пб.: Изд-во Чернышева, 1992. С. 63–64). В ответном недатированном письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 902, л 29–30 об.) Оболенская сообщала: «Жар Цвет предполагается, может быть, в феврале, тогда сообщу отдельно».

[8] Подразумевается увольнение К. В. Кандаурова из Малого театра.

[9] Е И. Оболенская, Ф К. Радецкий.

85. Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

22 ноября 1925 г. Коктебель

22/XI. 1925. Почт<овый> адр<ес>: Коктебель.

Дорогой Эрик Феодорович, я не настолько виноват перед Вами, как это может показаться (и самому сейчас кажется), за мое долгое и упорное молчание: не только необычайная людность этого лета (400 человек!!) мне мешала, но и болезнь. Я умудрился заболеть в июле ползучим воспалением легких и проболел долго — как раз в самое горячее время, и болезнь сказывалась еще долго — всю осень — какой-то мало мне свойственной апатией.

Только к ноябрю наш дом опустел, и зимняя жизнь и ее ритм вошли в свои права. Спасибо, Эрик Феодорович, за не-

сколько дружеских писем, что Вы написали мне летом.[1] Я их очень почувствовал и оценил. Спасибо за прекрасные оттиски «Exlibris'ов».[2] И еще мне хочется извиниться перед Вами за мое «veto»* на Вашу статью о Коктебеле.[3] Если бы дело шло о моей личности — то тут бы не могло быть никаких «veto» — я этого себе никогда не позволял и не позволю. Но «Волошинский Дом» — это не я. А целый коллектив. Я посоветовался с друзьями и получил определенные инструкции: пусть лучше никто и ничего не пишет в печати — кто-нибудь подхватит, начнется травля, и тогда не отстоите. Только поэтому я позволил себе просить Вас ничего не писать о Коктебеле. Хвалить и ругать одинаково опасно в этих случаях. Вот писать обо мне, что я хожу без штанов, в античном хитоне и венке — это безопасно и полезно... Но ведь *этого* Вы не стали бы писать?

Но мне все-таки лично очень и очень интересно Ваше впечатление Коктебеля, и если у Вас сохранилась случайно копия или дубликат — пришлите мне хотя бы для прочтения.

Празднование моего «юбилея», не состоявшееся в мае,[4] было приурочено <ко> дню моих именин в августе.[5] Это был как раз день кризиса в моей пнеумонии, и я присутствовал в жару и полусознании. Но все прошло очень хорошо. Официальной части: адресам и речам были посвящены лишь утренние часы. После обеда мне были прочитаны стихотворные приветствия от поэтов всех стран и эпох (коллективное творчество). Некоторые из них прекрасные по тонкости к верности. Особенно удачные были Пиндар, Катулл, скальд Скалагримсон, трубадур граф Гильом, Тангейзер, Ганс Сакс, Шекспир, Ронсар, Вийон и мн<огие> другие. Все составило целую хрестоматию, которая была мне поднесена под заголовком: «Poetae — poetae».[6] Это было дело главным образом филологов из Моск<овской> Акад<емии> Худ<ожественных> наук (Шервинского, Ярхо, Сидорова...). Новые поэты были сделаны Шенгели и Ланном, но в них было больше шаржа и п<а>родии.

Вечером был балет и испанская пантомима. Все, даже речи (Шенгели и Галабутский) имели строго интимный характер,

---

* Запрет (*лат*)

и не было ничего, что бы напоминало «тернии» современных юбилеев. Вот приедете будущим летом — прочтете стихотворные реликвии этого дня. А что приедете — я твердо надеюсь. Мы с Мар<ией> Степан<овной> очень Вас полюбили и будем Вас ждать. Привет от нас и Екатерине Владимир<овне>, и Татьяне Ивановне.[7] Крепко Вас обнимаю.

Максимилиан Волошин.

P. S. М. С. просит Вас разузнать, что делается у Гиринских,[8] ибо он снова не отвечает на письма, и боится, все ли у них благополучно.

P. P. S. Спасибо за «Горн».[9] Не будет ли Вам неудобно передать Ионову, если он в Ленгизе, прилагаемую записку, где я ему напоминаю его прошлогоднее неисполненное обещание о Герцене.[10] Прочтите ее.

[1] Речь идет о письмах Э Ф. Голлербаха Волошину от 28 июля 1925 г. и 3 сентября 1925 г (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед хр. 428, л. 11–15) На оправдание Волошина Голлербах заметил в ответном письме от 1 декабря 1925 г.: «С трепетом читал я Ваши строки о четырехстах пилигримах только при Вашем терпеливом, доброжелательном и благостном отношении к людям можно выдержать такой натиск» (Там же, л 16 об.)

[2] 3 сентября 1925 г Голлербах сообщал Волошину: « .посылаю Вам отпечатки Ваших экслибрисов. Я нарочно отпечатал их в ограниченном количестве (по 60 экз<емпляров> кажд<ый>, из коих 10 разрешите оставить мне для друзей-коллекционеров – посылаю всего 100), чтобы сохранить за ними библиофильское значение (“редкость!”). К тому же мне хотелось отпечатать их на хорошей бумаге, а ее у меня было не много. Доски, я думаю, лучше послать Вам с оказией (сообщите, когда таковая представится), чтобы не подвергать их риску» (Там же, л. 14).

[3] См. п 66, примеч. 2

[4] См. примеч. 1, 4 к п 30, п. 36, примеч. 1 к п. 60.

[5] См. также примеч. 2 к п 80.

[6] Речь идет о подражаниях Пиндару (ок. 518–442 или 438 до н э.), Гаю Валерию Катуллу (87 или 84 до н. э. – после 54 н э.), Эгилю Скаллагримссону (X в), графу де Пуатье, герцогу Аквитанскому Гильему (Гийому) IX (1071–1127), Тангейзеру (ок. 1205–1270), Гансу Саксу (1494–1576), Пьеру де Ронсару (1524–1585), Франсуа Вийону (1431 или 1432 – после 1463) См примеч 1 к п. 78. Голлербах откликнулся

на это сообщение Волошина 1 декабря 1925 г.: «Чрезвычайно интересно все, что Вы сообщаете о литературных упражнениях “волошинианцев”, – очень хотелось бы все это прочесть, но сомневаюсь, смогу ли я в будущем году выбраться из Петербурга» (Там же, л 16).

[7] Е. В. Штейн, Т. И. Хижинская.

[8] Л И. и М М. Гиринские. 28 июля 1925 г. Голлербах писал Волошину· «Перед Марией Степановной я очень виноват· я потерял (вернее, заложил куда-то) ее письмо Гиринскому, и только на днях нашел. Передал его незамедлительно (с огромным опозданием!) и с ним – акварель» (Там же, л 12). В письме от 1 декабря 1925 г. Голлербах ответил Волошину. «С Гиринским я как-то виделся, он говорил, что всею семьей ему в Коктебель не собраться, трудно. Кажется, живется ему не важно (по слухам – точно, не знаю)» (Там же, л. 18 об).

[9] Речь идет об издании: Горн Сборник. Октябрьский выпуск. Евпатория: Лит.-худ. студия «Горн», 1924. Голлербах писал о нем Волошину 3 сентября 1925 г.: «В изданной на днях хрестоматии “Горн” перепечатано Ваше стихотворение “В вагоне”, – посылаю Вам эту книгу, может быть она будет для Вас интересна – просто как “номер” в вашей библиографии» (Там же, л. 14).

[10] Упоминаемая здесь записка Волошина И. И Бернштейну (Ионову) не обнаружена. Голлербах ответил Волошину 1 декабря 1925 г.. «Вашу записку Ионову я передал. В Ленгизе у нас сейчас некоторое смятение, ожидается слияние с московским Госиздатом В результате я не предвижу ничего хорошего» (Там же, л. 18).

86. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

25 ноября 1925 г. Коктебель

25.XI. 1925.
Почт<овый> адр<ес>: Коктебель.

Дорогая Анна Петровна,

Ваше письмо от 26.X[1] запоздало почти на месяц благодаря тому, что почта осталась на зиму в Коктебеле, и мы не имеем теперь регулярных оказий для сношения с Успенками.[2] Да и сами они в этом году так заняты оба своей службой, что стали совсем невидимы и неуловимы. И это, и отсутствие Иос<ифа> Виктор<овича>,[3] который поехал (или едет) в Харь-

ков оперировать глаза, еще более изолирует нас ото всего мира. Мы неделями никого не видим в своем зимнем уединении. «Зимнем» — это неверно, потому что зима до сих пор не наступила. Осень была превосходная — были теплые солнечные дни, каких и летом было мало. А теперь начались ветры и дожди, но еще не холода. А туманы и большие прибои великолепны, как всегда.

Короткие ноябрьские дни мелькают с быстротой невообразимой. Я, как и летом, все по-прежнему неотступно сижу за акварелями и нахожу в этом глубокое удовлетворение. Пробовал несколько раз писать стихи, но чувствую себя полной бездарностью: двух слов не умею связать больше. М<ожет> б<ыть>, потому что все время чувствую, что все ждут от меня стихов — у меня нет желания писать их. Хуже того, начинается какая-то глубокая тоска, когда я себя принуждаю. И основа этой тоски — «ностальгия», как ни звучит это парадоксально, но это точно.

А за акварелями — я окружен тою радостью, которая неиссякаемо бьет во мне от созерцания неба и моря:

Солнце... вода... облака... огонь... — Все, что есть прекрасного в мире...[4]

То, чего еще не хватает мне очень: это современных франц<узских> книг и журналов.

Эта многолетняя уже отрезанность от тех органов, по которым привык следить за развитием литературной и научной мысли, иногда очень угнетает.

Изолированность наша в этом году еще усугубляется тем, что почему-то мы очень мало получаем писем.

Очень меня радует то, что я время от времени получаю от разл<ичных> провинциальн<ых> музеев просьбы о пожертвовании моих акварелей, и хотя это делается и безвозмездно, но дает большое удовлетворение. Зато на Одесской выставке единственная вещь проданная оказалась моя.[5] Вероятно, за скромность цены (20 рублей).

Одно время мы очень волновались, опасаясь, что ЦЕКУБУ нам перестанет платить акобеспечение, которое мы 2 месяца уже не получали — но на днях мы получили все: значит, пересмотр этого года прошел для меня благополучно.[6]

Спасибо за подробности о смерти Ильи Марковича.[7] Нас известила о ней открытка Мар<ии> Мих<айловны> без всяких подробностей.[8] Его глубоко жаль, и чувствуешь большое уважение к его мужеству и твердости. Но... мысль невольно останавливается на том, что если бы его домашняя обстановка была бы проникнута гармонией и любовью, то ему не захотелось бы укоротить тех немногих дней, что ему оставались для жизни, и что если бы он принимал антропософию как следует — т. е. как дисциплину познания, а не как религию, то он не «разочаровался» бы в ней и не совершил бы такого глубоко нецелесообразного и очень мучительного (духовно) акта, как самоубийство. На открытку М. М. я так и не ответил.

Ваш «Бобби» висит в моей зимней комнате[9] (с большим окном) на стене, на почетном месте, и я, глядя на него, чувствую его мудрость и верность. (Как хорошо, если он пойдет по России на миллионах календарей. Он понесет с собой очень хорошие флюиды). А рядом с ним сияет таким зимним петербургским светом Ваш «Летний Сад».[10]

Маруся эти дни очень мучится зубной болью и потому не может сейчас написать Вам и спрашивает, получили ли Вы ее большое письмо, посланное 9.XI по почте.[11] Крепко и вместе обнимаем Вас и Сергея Васильевича.[12] Передайте, пожалуйста, мой привет Елизавете Серг<еевне>, Костенко, Анаст<асии> Осиповне,[13] Хлопину...

Всего, всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду письмо А. П. Остроумовой-Лебедевой от 26 октября 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 25–28).

[2] В. А. и Н. В. Успенские проживали в Феодосии; через них пересылалась почта Волошину в Коктебель.

[3] И. В. Зелинский.

[4] См. примеч. 6 к п. 80.

[5] См. примеч. 1, 4 к п. 82.

[6] См. также п. 80, примеч. 9. Сохранилось извещение от 18 ноября 1925 г. из ЦЕКУБУ, в котором сообщалось, что Волошину выслано 120 рублей за октябрь и ноябрь 1925 г. 25 ноября 1925 г. ЦЕКУБУ

направило Волошину также справку о регистрации его в качестве научного работника и проспект Книжного отдела ЦЕКУБУ (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 21, л. 4–5).

[7] И. М. Басс покончил с собой 28 сентября 1925 г. 26 октября 1925 г. Остроумова-Лебедева писала Волошину: «Вы, конечно, слышали о смерти Ильи Марковича. Если Вы не знаете подробностей, то я могу Вам кое-что сообщить, так как на днях, когда я лежала в постели, у меня довольно долго просидела Мария Михайловна <Шкапская. – *Ред.*> и все мне рассказала. Он давно готовился к этой смерти и об этом он подробно и несколько раз говорил с доктором Арьевым, кот<орый> даже у него на груди обозначил то место, куда ему следует стрелять, чтобы моментально умереть. Но пуля прошла вкось и прострелила ему легкое. Первое сообщение после осмотра было такое: рана легкая, но состояние тяжелое. Он прожил 40 часов и почти все время был в сознании. У него после выстрела было большое внутреннее кровоизлияние, кот<орого> его больное сердце не могло преодолеть. Мария Михайловна совершенно не ожидала этого. <...> последнее время он не чувствовал себя хуже, хотя она говорит, у него стала быстро падать работоспособность, что его видимо и поторопило принять этот шаг. Арьев говорит, что самое большее он мог бы прожить еще с полгода получеловеком, а потом наступила бы полная инвалидность, которая могла бы протянуться довольно долго. С него снята маска, и кто-то рисовал его портрет в гробу. За десять минут до выстрела М. М. была у него в комнате и застала его вполне одетым, сидящим на кровати с револьвером в руках, кот<орый>, как она потом поняла, он заряжал. Когда она ему сказала: “терпеть не могу этих опасных игрушек”, он ответил: “я на днях его брал с собой, когда ездил поздно вечером на острова, а теперь его чищу”. Здесь же он попросил ее в этот день не уходить из дому, она ему в этом отказала <...> и пошла одевать шляпу. В этот момент он выстрелил. Когда она прибежала с криком в его комнату, он стоял по середине комнаты, а перед грудью его стоял диван. Увидав ее, он сказал: “ну вот и все”и сам лег на диван и попросил послать за скорой помощью и попросил увезти куда-нибудь Лелика, кот<орый>, как он заметил, должно быть очень испугался. Умер мужественно, спокойно и убежденно. К антропософии за последние месяцы охладел и разочаровался в ней. Она очень расстроена» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 26–27 об.). Упоминается В. Г. Шкапский (Лелик, 1917–1979), позже военный инженер. И. М. Басс выстрелил себе в грудь 28 сентября, скончался в больнице 1 октября 1925 г. (см. некролог: Красная газета. Веч. вып. 1925. № 240, 2 октября. С. 2).

[8] Речь идет об открытке М. М. Шкапской, датируемой по штемпелю отправления: «Ленинград. 8. 10. 25», полученной в Феодосии: «11.10.25»: «Макс и Марусенька, Илюша застрелился 28-го сентября. Вы любили его – вспомните его добрым словом» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1303, л. 42).

[9] Речь идет о портрете умершей в 1925 г. собаки А. П. Остроумовой-Лебедевой, по кличке «Бобби». См. примеч. 4 к п. 29, примеч. 4 к п. 72. В своем письме Остроумова-Лебедева рассказывала Волошину: «Сейчас я участвую на выставке "Общины художников". Нелепая выставка, много хлама и какая-то расхлябанная. Выставила портреты Андр<ея> Белого, Богаевского, Кругликовой и Бобби. Бобби имеет успех. <...> сегодня у меня был представитель Моск<овского> Госиздата с предложением дать Бобби для календаря. Они хотят его издать без уменьшения, мою милую шавку! Будет напечатано миллион экземпляров, и таким образом мой Бобби поплывет в разные стороны. Но это еще не решено» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 28).

[10] Вероятно, речь идет о цветной ксилографии А. П. Остроумовой-Лебедевой «Петербург. Летний сад зимой. 1902». (См.: Графика А. П. Остроумовой-Лебедевой. Гравюра и акварель / Автор вст. ст. и сост. альбома М. Ф. Киселев. М.: Искусство, 1984. С. [51]).

[11] Имеется в виду письмо М. С. Заболоцкой от 8 ноября 1925 г. (РНБ, ф. 1015, ед. хр. 518).

[12] С. В. Лебедев.

[13] Е. С. Кругликова, А. О. Якубчик.

87. С. З. ФЕДОРЧЕНКО

26 ноября 1925 г. Коктебель

26/XI 1925. Коктебель (почт<овый> адр<ес>).

Дорогая Софья Захаровна,

так много времени прошло с тех пор, как Вы нас покинули,[1] а для нас лето кончилось только недавно – к ноябрю. До сих пор всё были люди, и трудно было взяться за перо. Вы знаете, что меня постигла точно такая же участь, как и Вас,[2] – у меня оказалось ползучее воспаление легких, которое не оставляло меня до половины сентября, но и сказывалось еще и много позже странной слабостью и апатией. Очевидно, мы оба нажили наши «пневмонии» одним методом – я при помощи грязе-

вых ванн, строго научно и основательно (иначе такой пакости, да еще в июле месяце, и нарочно не наживешь), а Вы при помощи теплых ванн и прогулок к Манасеиным. Словом, всю осень и весь конец лета я себя очень плохо чувствовал и был бесконечно утомлен людьми, которых за это лето было на сто человек больше, чем в прошлом (400 чел<овек>). Заболел же я, очевидно, еще раньше, когда Вы еще были в Коктебеле.

После Вашего отъезда было еще много... слишком много: мои именины, с которыми было соединено и юбилейное чествование.[3] Folle-journée* – с 10 ч<асов> утра по 3 ч<аса> ночи. И заседание, и приветствие, и речи, и обед, и великолепные стихотворные приветствия от поэтов всех стран, веков и народов, и балет, и испанская пантомима, и ужин...... И все это как раз в день кризиса воспаления легких. И еще 50 человек гостей – сверх наших. Потом через неделю были живые картины с сонетами...[4] Потом схлынула московская компания – приехали летчики на планерные состязания.[5] У нас жили германские планеристы – очень милые, культурные и трогательные юноши... Были мировые рекорды, интриги, катастрофы, смерти... Когда разъехались летчики, появились шахматные маэстро, потом инженеры – рыть Карадаг. И теперь, наконец, мы одни – совсем одни. Дни струятся в глубокой зимней тишине – от акварели до акварели, от одной прочитанной книжки до другой, за стеной море взвивается на дыбы и гудит ветер, и мы неделями не видим человеческого лица – только три честных собачьи<х> морды Татиная, Хниная и Аю (талантливого и малолетнего сына Хны) и три хвоста, вертящихся турникетом, приветствуют нас по утрам на террасе. Дальше колючей ограды наши интересы не простираются, и новости оттуда к нам не доходят. Лишь изредка забредет соседский козел поглодать еще зеленые прутики дрока. Как-то от Марусиного вопля и Татиного лая он кинулся прямо на проволоку, запутался шерстью и упал в обморок. Лежал, разметав копыта и закатив глаза, пока его выстригали ножницами... Заходят еще иногда порезвиться собачьи гости: Гепеуша и Надежда Аполлоновна... Вот и все наше общество.

* Безумный день; день развлечений (*фр.*).

Ваша жизнь, наверное, более разнообразна, но менее спокойна и идиллична. Как сейчас Ваше здоровье? Давно ли воротились из Ялты? Как поживает Николай Петрович?[6] Крепко его обнимаю и очень благодарю за присланные им книжки, которые очень интересны.

Видаете ли Вы наших летних друзей Леоновых, Булгаковых? Они уехали – как в воду канули – ни единой строчки. А очень хотелось бы знать о них.

Не видали ли Гали Розановой? Как здоровье Миши?[7] Как слагается литературная жизнь Москвы? Как «Народ в Революцию»?[8] Двинулась ли с лета работа или болезнь затормозила ее надолго? Очень хочется услышать Ваш голос и узнать, что с Вами.[9] Всего, всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 7 к п. 44.

[2] 19 августа 1925 г. Федорченко писала Волошину из Ялты: «...у меня оказалось воспаление легких. Теперь начинаю выздоравливать» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1219, л. 15).

[3] См. примеч. 1 к п. 78, примеч. 2 к п. 84.

[4] Живые картины «Сонеты любви и смерти» в сопровождении стихов А.А. Сидорова и С.В. Шервинского (режиссер – Шервинский) были разыграны в музыкальной комнате дома Волошина 27 августа 1925 г. (см.: Труды и дни-2. С. 276).

[5] Третьи Всесоюзные планерные испытания открылись в Коктебеле 14 сентября и завершились 12 октября 1925 г. (см.: Там же. С. 278, 280).

[6] Н.П. Ракицкий.

[7] М.П. Розанов.

[8] Имеется в виду кн.: *Федорченко С.* Народ на войне. Т. II. Революция. М.: Никитинские субботники, 1925 (Собр. соч. Т. II).

[9] 18 января 1926 г. Федорченко отвечала кратким письмом на открытке: «Родные, я все время тяжело больна – день хожу, неделю лежу. Кто говорит – нервы, кто говорит – органическая. <...> Моя работа, еще никому не показан<на>я, – вызвала жупелы разные. Но я ее *все-таки* буду делать! Спасибо за письмо и дружбу» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1219, л. 16).

88. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

2 декабря 1925 г. Коктебель

2/XII 1925. Коктебель (почт<овый> адр<ес>).

Милая Наташа, дорогой Саша,

что-й-то от Вас давно никаких вестей нет? Твоя последняя «закрытка», Н<аташа>, была от 25/X.[1] Я писал тебе после...[2] Не пропадают ли письма? Или Вы оба совсем загрустили от Москвы?

Коктебель: штормы и ураганы. Море третьего дня переплескивало через дорогу. Буря выдавила оконницу в мастерской. Ураганы – южные. О зиме не слыхать.

Звери: Аю (Хниное отродье) растет на радость и утешение всем. Тату поправился и повеселел. Стал значительно породистее.

Утки: Александру Александровну съели. Очень жестка была.

Куры: одна с 4 цыплятами была отрезана наводнением. 3 дня жила у батюшки[3] под кустом.

Козел: неизвестный, упал в обморок от Марусиного крика, запутался шерстью в изгороди и лежал, закатив глаза, копыта в воздух, пока его выстригали ножницами.[4]

Маруся: видит во сне покойников (к перемене погоды). Поэтому барометр сам не свой – вертится, как компас. Болели зубы. Угорала. Была язва желудка. В проливень ездила в Феодосию. Мокла. Здорова.

Макс: не оторвешь от акварелей. Стихов не пишет. От диеты не худеет. Не гуляет. Получает еженедельно письма от музеев с просьбами о картинах. Жертвует (Екатеринодар, Симферополь, Самара, Екатеринбург, Ростов....). Денег не платят. Зато на выставке в Одессе – единственный *продал* акварель (20 руб.).[5] Очень гордится.

Виды на будущее: на Рождество в Коктебель собираются г<оспо>да Габричевские, Сорокины, Остроумовы-Лебедевы и многие другие. Ждем с нетерпением.

Просьба: (всем... всем... всем) присылать *прочитанные* книги и журналы – особливо иностранные.

Наташу прошу передать два прилагаемых письмеца, т<ак> к<ак> адреса их мне не оставлены.

Крепко обнимаю милых Габричей.

Желал бы узнать: о Мише Розанове.

·MAX·

[1] Имеется в виду «закрытое» письмо («секретка») Н. А. Габричевской, отправленное из Москвы 25 октября и полученное в Феодосии, согласно почтовым штемпелям, 27 октября 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 12–17).

[2] См. п. 75.

[3] Священник М. В. Синицын.

[4] В недатированном письме к М. С. Заболоцкой Н. А. Габричевская отмечала: «В Максином письме мне очень понравилось, как вы выстригали козла из колючей проволоки» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 24–24 об.).

[5] См. примеч. 1 к п. 82.

89. А. А. КИПЕНУ

3 декабря 1925 г. Коктебель

3/XII 1925. Коктебель.

Дорогой Александр Абрамович,

большое спасибо Вам за денежный перевод (уже полученный) и за заботу о моих акварелях, которая меня глубоко тронула.[1] Мне очень хотелось бы оставить Вам одну на память, но, к сожалению, Вы, вероятно, теперь их уже отправили. Поэтому выберете себе сами, когда приедете меня навестить в Коктебель весною. Хорошо? Я очень горжусь тем, что моя акварель продана и что она всем понравилась.

Крепко Вас обнимаю и желаю Вам интересного и счастливого путешествия.[2] Спасибо за память, заботу и дружбу. Всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 1 к п. 82. 25 ноября 1925 г. А. А. Кипен выслал Волошину 20 руб. за проданную акварель (см.: *Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 77); в письме к Волошину от 9 ноября 1925 г. он сообщал: «По окончании выставки я тотчас же перешлю Вам непроданные Ваши вещи в стеклах»; 25 ноября: «Я заказал ящик для Ваших вещей и рассчитываю послезавтра послать их Богаевскому для Вас в Феодосию» (Там же. С. 76, 77).

[2] См. примеч. 2, 3 к п. 82.

90. Е. Л. ЛАННУ

3–10 декабря 1925 г. Коктебель

3/XII 1925. Коктебель (почта осталась на зиму).

Дорогой Евгений Львович,

очень досадую на то, что Ваше сентябрьское письмо сгинуло. Спасибо за «Праздник».[1] Я еще не дочел его. Но книга превосходная: Blanc et Noir[2] с прибавлением пурпуровых пятен. Отсюда и «Rouge et Noir», и «Белые и красные».[3] Читаю с подлинным наслаждением.

Получили ли Вы мое письмо с «Автобиографией»?[4] Оно должно было прийти через день после того, как Вы мне отправили свое. Посылали Вы мне что-нибудь из франц<узских> журналов? Я не получал. Не пропало ли? Вообще подозреваю, что многие письма пропадают.

8/XII. Это письмо, только что начатое, залежалось: очень рисовалось эти дни. И потом, я был все это время на диетических испытаниях – потому в мрачном настроении. Но, кажется, они принесли пользу и выяснили, наконец, мою болезнь — (т. е. постоянные отеки ног). Это Гипертония — почки не выводят всего количества влаги, вводимой в организм. Я поэтому попробовал сесть кроме пищевой диеты еще на диету питьевую, и результаты голода, комбинированного с жаждой, оказались очень благоприятны, — отеки сразу уменьшились. Очевидно, мне придется лечить себя очень крутой диетой, которая одновременно будет действовать и против подагры, и против Гипертонии. Вернее, даже голодовками.

Но, пожалуй, не меньше чем голодом физическим, я мучим сейчас голодом по французской литературе. Я не хочу больше злоупотреблять Вашей любезностью относительно фр<анцузских> журналов, но очень прошу у Вас ряда практических указаний, которые не откажите мне дать, и, если можно, поскорее. Я хочу выписать себе сам журналы и книги. Ц. К. У. Б. У. при новом пересмотре сохранило-таки за мной мое Акобеспечение,[5] и это мне дает возможность покупки книг.

1) Можно ли, вернее, удобно ли, выписывать книги и журналы через Ц.К.У.Б.У?

2) Какие большие журналы допущены в Россию: «Revue Deux Mondes»? «Grand Revue»? «Revue Mondiale»? «Revue de Paris»? «Nouvelle Revue Française»?[6] Или они тоже запрещены, как «Mercure de France»?[7] Вам, вероятно, не трудно будет составить для меня списочек их с ценами подписки.

3) Какой курс франка сейчас? У меня нет русск<их> газет, чтобы справиться.

4) Не можете ли Вы мне рекомендовать хорошего французского журнала научных новостей вроде покойного Реми де Гурмон<овского> «Revue des Idées»?[8] И такого же по филологии и археологии?

5) Наверное, у Вас под рукой есть современные фр<анцузские> библиографические бюллетени: справьтесь, пожалуйста, для меня о новом издании:

Victor Bérard. «L'Odyssée». Texte, traduction, notes et commentaire. — 6 volumes. Edition de Société des Belles Lettres.[9]

Вышло шесть томов этой энциклопедии по «Одиссее» и Гомеровскому миру и еще 5 должно выйти. Я уже давно ожидал этого издания, и имею его же «Les Phéniciens et L'Odissée»,[10] и совсем пришел в ажитацию, узнав, что шесть томов уже вышло. Это, вероятно, очень дорогое издание. Пожалуйста, узнайте мне *его цену.* Как перевод, это худож<ественно> не ниже Леконт де Лил<евского>,[11] а по филологическому и историческому аппарату это должно превзойти все существующие немецкие и английские издания. Я страшно мечтаю о том, чтобы добыть его.

6) Видели ли Вы журналы «L'Art Vivant» и «Le Crapouillot»?[12] Что они собою представляют? Стоит ли их выписывать?

7) Не знаете, появился ли по-французски перевод книги Уэллса «Очерки всемирной истории» (которую не следует смешивать с имеющейся уже по-русски «Краткой историей мира»).[13] Справьтесь в библиографиях, пожалуйста.

8) Нет ли у Вас еще «L'Europe»[14] или других французских журналов в пределах последних пяти лет, которыми Вы бы могли со мной поделиться сейчас же? Ибо даже «Je Sais Tout»,[15] от которого я надменно отказался в прошлом году, мне желанен, и я неоднократно пересматривал его №№, Вами мне присланные.

9) Справлялись ли Вы, как хотели, можно ли получить в России книги Leon Bloy «Le Sang de Pauvre» и «La Femme pauvre»?[16]

10) Как Ваша личная возможность получения иностранных изданий? Была ли она связана с «Зем<лей> и Фабр<икой>»[17] или осталась по-прежнему за Вами?

Ну вот, целых десять вопросов... По их количеству Вы можете судить, до какой степени мне стало нестерпимо мое искусственное и многолетнее уже отъединение от тех культурных родников, от которых я пил всю жизнь. Чувствую настоятельную потребность дать себе то же количество духовного питания, как раньше во время моих зимовок в Коктебеле. Сейчас перечитываю горы старых журналов, что у меня хранятся в библиотеке, с большой пользой и наслаждением, и тщательно штудирую каждый № «Nouvelles Littéraires»,[18] которые мне изредка посылают Сорокины.[19]

Чехов для меня, к сожалению, величина неизвестная: его не видал никогда. А слышал о нем много. Провал «Петербурга» меня огорчает весьма. Текст пьесы я знаю — А. Белый третьего года ее читал в Коктебеле.[20] Я пробовал тогда же ему указывать на ее сценические недочеты. Ведь известные логические театральные линии должны быть вычерчены правильно заранее – как перспектива в большой картине, — иначе все перепутается, но литераторы обычно этого не понимают и не хотят знать, и Белый только разобиделся на меня. А вот с

Ал<ексеем> Толстым мы работали над этим месяца 1 ½, до его первых драматических попыток,[21] и все его пьесы (не входя в оценку их литературной ценности) *театрально* держатся. Я много думал о театральной логике в те годы, когда писал о театре, и главн<ым> образом о «конструкции» драм<атических> произведений.[22]

Это очень грустно, что «Россия» лопнула. Допечатала ли она «Белую гвардию»?[23] Я так конца ее и не читал, очень сожалею. Прочли ли Вы? Оценили ли?

Видались ли с Ал<ександром> Н<иколаевичем> Тихоновым? Как его литературные предприятия? Надеется ли он возобновить «Современник»?[24]

Меня очень интересует Ваша статья обо мне — интересует бескорыстно, как дружеская оценка, как *Ваша* оценка.[25]

Я чувствую все время некую литературную астму — не то от литературного молчания, которое меня окружает, в сущности, уже 25 лет, не то от того, что друзья *мне* начинают подводить итоги. Но я рад тому, что нахожусь сейчас *вне* литературы, и если мне удастся себе создать литературную атмосферу французскими изданиями, и если мне удастся избавиться посредством голодовок от той болезненной утомленности и апатии, которые на мне тяготели все лето и осень, то я почувствую себя вновь помолодевшим и бодрым, как в Париже ¼ века назад. Ведь я себя чувствую вновь дебютантом — не в литературе, а в живописи, и меня бесконечно радуют мои успехи на выставках и приобретение моих акварелей музеями.[26]

Благодарю Алекс<андру> Влад<имировну>[27] за книгу. Горячо Вас обнимаю. Мар<ия> Степан<овна> шлет Вам обоим привет.

Максимилиан Волошин.

P. S. Вы заключаете Ваше письмо от 20/XI обещанием написать подробнее через 2 дня.[28] Я его не получил (сегодня уже 10/XII). Или оно пропало?

[1] В письме от 20 ноября 1925 г. Ланн сообщал Волошину о том, что послал ему роман У. Франка (Waldo Frank) «Holiday», «великолепную книгу "Праздник" в переводе Алекс<андры> Влад<имировны>» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и

Евгений Ланн. Письма, документы, материалы... С. 74). Имеется в виду издание: *Франк Вальдо.* Праздник / Пер. с англ. А.В. Кривцовой. М.; Л.: Земля и Фабрика, 1926.

[2] Blanc et Noir (белое с черным) – определенная техника графического изображения, восходящая к японскому искусству, была популярна в искусстве конца XIX – начала XX века.

[3] Имеются в виду роман Стендаля «Красное и черное» («Le Rouge et le Noir», 1831) и, возможно, «Белые и красные. Роман» Н.Н. Брешко-Брешковского в 2 т. (Т. 1. Дочь великого князя. Красные и белые. Paris, [1925]).

[4] Речь идет о п. 80.

[5] См. также п. 86, примеч. 6.

[6] Упоминаются французские издания: «Revue des Deux Mondes», общественно-политический журнал, выходящий в Париже с 1829 года; «La Grand Revue», французский публицистический журнал, 1899–1939; «Revue Mondial», общественно-политический журнал, 1890–1936; «La Revue de Paris», общественно-политический журнал, 1829–1940, 1945–1970; «La Nouvelle Revue Française», литературный еженедельник, 1909 – 1986.

[7] См. п. 3, примеч. 16.

[8] См. п. 3, примеч. 17.

[9] Возможно, речь идет об издании: Odyssée, poésie homérique'. Texte établi et traduit par Victor Bérard. T. 1–3. P.: Edition de Société des Belles Lettres, 1924–1933. Шеститомное издание, упоминаемое Волошиным неизвестно. 28 января 1926 г. Ланн ответил Волошину на этот запрос: «С "Одиссеей" – плохо. Несмотря на все поиски сотрудниц библиотеки, не удалось выяснить ничего» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 92).

[10] Речь идет об издании: *Bérard V.* Les Phéniciens et L'Odissée. I–II. Paris: Armand Colin, 1902, 1903.

[11] Имеется в виду выполненный Ш. Леконтом де Лилем точный прозаический перевод поэм Гомера «Илиада» (1867) и «Одиссея» (1870).

[12] Упоминаются издания: журнал, посвященный вопросам искусства, «L'Art Vivant» (1925–1939), литературный и театральный еженедельник «Le Crapouillot» (1915–1939).

[13] См. примеч. 18 к п. 3.

[14] Речь идет о литературно-политическом журнале «Europe», который выходил в Париже с 1923 года.

[15] «Je Sais Tout» – иллюстрированный научный журнал, выходил в Париже с 1904 года.

[16] Имеются в виду издания: *Bloy Leon.* Le Sang du Pauvre. Édition nouvelle. Paris: Stock: Delamain, Boutelleau & Cie, 1922; *Bloy Leon.* La Femme pauvre. Épisode contemporain. Seizième edition. Paris: Ìercure de France, <1925/1926>. Обе книги сохранились в библиотеке Волошина (см.: Мемориальная библиотека М.А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 106, 107).

[17] Осенью 1925 г. Ланн ушел из издательства «Земля и Фабрика». См. примеч. 2 к п. 76.

[18] См. примеч. 24 к п. 3.

[19] Т. И. и Е. О. Сорокины.

[20] Отклик Волошина на рассказ Ланна в письме от 20 ноября 1925 г.: «Театр<альный> сезон обещал быть интересным “Петербургом”, который, как Вы знаете, инсценирован самим автором. Была премьера, на коей был и я. <...> Я не знаю, видели ли Вы когда-нибудь Чехова. Не люблю я актера на сцене, куда лучше играть в жизни, но Чехов – это такое пленительное событие, такой большой духовный праздник, что как-то теряешь возможность сравнить его с любым из больших артистов, даже с Москвиным. Перед “Петербургом” я вторично смотрел его в “Гамлете” и вторично после спектакля не мог ни о чем говорить. Нельзя бояться назвать его “гений”, назвать безоговорочно и с полной ответственностью. В сущности, наш город духовно живет выступлениями этого поразительного актера – он подчиняет себе всех, кроме некоторых “умников”, находящих “но”. Он делает чудеса – подчиняет себе и рецензентов газетных. <...> Чехов в “Петербурге” – праздник для меня, а пьеса сама – жалкая. От романа – ничего. Белый не мог справиться с переделкой, причем ему усиленно помогали в этом неумении. Короче, переделка такова, что о спектакле нечего и говорить» (Там же. С. 75–76). Премьера, о которой идет речь, состоялась 14 ноября на сцене 2-го МХАТа. М.А. Чехов исполнял в спектакле роль сенатора Аблеухова. Андрей Белый читал драму «Петербург» в Коктебеле в июне 1923 г. См.: Труды и дни-2. С. 229.

[21] Возможно, речь идет о лете 1909 г., когда А. Н. Толстой впервые приехал в Коктебель.

[22] О театре Волошин много писал в начале 1910-х годов. См. статьи, составившие раздел «Лица и маски» первой книги «Лики творчества» (Т. 3 наст. изд. С. 158–236).

[23] О закрытии сменовеховского журнала «Россия» Ланн сообщал в письме к Волошину от 20 ноября 1925 г. См. примеч. 2 к п. 76, примеч. 4 к п. 37.

[24] Имеется в виду журнал «Русский современник». См. о нем примеч. 11 к п. 3 и примеч. 2 к п. 76.

[25] О работе Ланна над статьей о Волошине см. примеч. 9 к п. 3.

[26] См. примеч. 1, 4 к п. 82.

[27] А. В. Кривцова.

[28] Известно письмо Ланна от 8 декабря 1925 г. («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 80–81).

91. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

10 декабря 1925 г. Коктебель

10.XII. 1925. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Из случайно попавшего ко мне № старой газеты я узнал сегодня, что 7 декабря должен был состояться Ваш юбилей и, следовательно, теперь он уже, вероятно, состоялся.[1] Поэтому позвольте мне с запозданием, но зато не во время юбилейной суматохи, интимно и дружески заочно Вас обнять и не только как славного русского писателя, но и как прекрасного, доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь другим. Правда, и это относится к «священным» традициям русской литературы, но на практике все-таки встречается ой как редко. И не будь российской усобицы, которая свела нас в Коктебеле, едва ли мне было дано узнать Вас с той стороны, с какой я знаю Вас теперь и знаю так хорошо.

Последние полгода я совсем потерял Вас из виду. Ходили слухи, что Вы были в Гаспре... А я был этим летом не только раздавлен количеством гостей (400 чел<овек>), что и радует меня (ибо показывает насущную потребность в Волошинском доме), и пугает, ибо столько народа дом вместить в себя не может, хотя стены и выдерживают, но меня еще доканала летняя болезнь: я умудрился в июле месяце схватить ползучее воспаление легких, которое перенес на ногах, но утомило оно смертельно. Вообще, здоровье мое неважно: к артриту присоединились еще отеки ног и почки (очевидно, гипертония), так что боюсь, что к концу зимы придется ехать в Москву советоваться с врачами и хлопотать о санаторном лечении на

Кавказе, если не поможет за зиму лечение голодовкой и жаждой, которому я сейчас себя подвергаю под наблюдением Марьи Степановны и которое пока приносит очень хорошие результаты.

Мой «юбилей» был запрещен местными властями и потому был справлен интимно в августе на мои именины в Коктебеле.[2] Это было очень хорошо, дружно, весело, остроумно, безо всякой официальной и традиционной помпы — как раз в день кризиса моей пневмонии. Крепко Вас обнимаю. Привет Марии Гермогеновне.[3] Марья Степановна Вас приветствует ото всей души.

Максимилиан Волошин.

P. S. Представьте себе, что за это лето я почувствовал искреннюю симпатию к Ангарскому, открывшемуся впервые совсем не с деловой и не официальной стороны своей.

[1] Юбилей — 40-летие литературной деятельности В. В. Вересаева (его первая публикация — стихотворение «Раздумье», напечатанное в журнале «Модный свет и модный магазин» в 1885 г.). О подготовке к чествованию Вересаева сообщалось в «Известиях» 25 ноября и в газете «Рабочая Москва» 13 ноября, в «Известиях» 29 ноября была помещена статья Н. Ангарского «В. Вересаев и русская интеллигенция», были и другие юбилейные публикации в газетах.

[2] См. примеч. 1, 2 к п. 60, примеч. 1 к п. 78, примеч. 2 к п. 84.

[3] М. Г. Смидович.

92. А. Л. ДОМРАЧЕВОЙ

10 декабря 1925 г. Коктебель[1]

Ну, слава Богу, Милая тетя Саша! Как хорошо, что все благополучно кончилось. Мы очень волновались, пока на днях в письме Татьяны Руфовны не прочли, что она была у тебя и все благополучно.[2] Я совершенно согласен с Марусей, что Надю надо немедленно к нам.[3] За зиму и весну она поправится, а на жару может в Васищево. Это будет ей дешевле всего стоить. Мы ее прокормим. Я получил на днях от Мар<ии>

Вадимовны книгу Лобановой о дыханьи[4] – метод, который имеет чудодейственное влияние на легкие и вообще на организм. Люди в последней стадии туберкулоза, уже приговоренные всеми врачами, этим методом сами поправляли себя. К коктебельскому воздуху это будет прекрасное добавление. Лобанова – сама врач, и сама бывшая уже безнадежной в смысле туберкулоза. Я этой книги уже давно добивался и только что получил – как нарочно для Нади.

Я акварели для тебя (для ширмы) уже давно написал – очевидно, как раз в дни твоей операции. И вся остановка лишь в том, что нет такой картонной трубочки, на которую можно было бы навернуть их, чтобы послать заказной бандеролью.

Я единоборствую со своим животом и, кажется, готов одолеть его. Он сильно подался за последнее время. У меня очевидно кроме артрита еще «гипертония» – почки отказываются перерабатывать все количество вводимой влаги – вернее, делают это с большим запозданием. Поэтому когда я, кроме голода, начал себя еще морить жаждой, то сразу прошли отеки ног. Эта комбинация голода и жажды очень мучительна первые дни. Но теперь я немножко привык.

Крепко обнимаю тебя, дядю Петю, Надю и всех Домрачат.[5]

Скажи Наде, что я ее очень жду.

Макс.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой от 10 декабря 1925 г.

[2] В письме из Харькова от 27 ноября 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 189, л. 40–41 об.) Т. Р. Златогорова сообщала о Домрачевых: «...была несколько раз у Алекс<андры> Лав<рентьевны>, увидала, узнала все, и ужасная боль в сердце у меня. Такая крепкая, жизнерадостная, здоровая в полном смысле, и такая операция. Но она молодцом, уже бодра, работает, шьет себе пальто... Надя волнует, говорят, в легких нехорошо. Но насколько это серьезно, очень трудно сказать, я жалею, что она не была у врача, которому я доверяю <...>». В подробностях о перенесенной гинекологической операции А. Л. Домрачева писала Волошиным 2 декабря 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 513, л. 19–20 об.). Н. П. Домрачева писала Волошиным 19 ноября 1925 г.: «Операция прошла благополучно и мама уже дома, хотя рана еще не затянулась и гноится <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 178, л. 13).

[3] Н. П. Домрачева.

[4] М. В. Дорогова. Имеется в виду кн.: *Лобанова О.* Правильное дыхание, речь и пение. Новейшая метода Запада. М.; Пг., 1923.

[5] П. Ф. Домрачев и дети его и А. Л. Домрачевой – Валерий (1903–1959), Леонид (1912–1987), Ирина (1912–?).

93. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

11 декабря 1925 г. Коктебель

11/XII 1925. Коктебель (почт<овый> ад<рес>).

Дорогой Сережа, могу ли я обратиться к тебе с некоторой просьбой, с которой не решаюсь обратиться сразу, боясь, что она может тебя стеснить. Дело в том, что состоянье моего здоровья, несмотря на то, что самочувствие мое недурно, внушает Марусе очень сериозные опасения. И она последние месяцы проделала целый ряд анализов и опытов над моими почками, и результатами смущена и обескуражена. Не будет ли с моей стороны злоупотреблением твоей дружбой, если я пришлю тебе цифровые и точные данные о состоянии моих почек с тем, чтобы ты их показал своему отцу, а он, просмотрев их, сказал бы, очень ли сериозно положение моего здоровья и необходимо ли мне приехать в конце зимы в Москву, чтобы показаться специалистам? Маруся подозревает у меня какую-то подлую болезнь, которая мало сказывается на самочувствии и не выражается болями, но запущенная ведет к самым скверным последствиям. Если это не будет большой неловкостью — пожалуйста, ответь мне немедленно открыткой.[1] Зима (уже был и снег и морозы) идет тихо и благополучно в Коктебеле. Ожидаем с нетерпением – кого-то из всех друзей, собиравшихся в Коктебель на Рождество, принесет к нам судьба. Крепко обнимаю тебя и Машеньку,[2] купно с Марусей.

Макс.

[1] С. В. Шервинский отвечал 19 декабря 1925 г.: «Конечно, само собой разумеется, что мой отец сделает всё возможное для тебя и твоего здоровья. Он говорит, чтобы ты прислал ему *анализы.* <...> А он

на основании их тебе сообщит свое мнение о необходимости твоего приезда для лечения» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 9). Профессор В. Д. Шервинский был одним из наиболее авторитетных врачей Москвы.

[2] М. С. Шервинская.

94. Я. А. ГЛОТОВУ

12 декабря 1925 г. Коктебель.

12/XII 1925. Коктебель (почт<овый> адр<ес>).

Милый Якс, это письмо, вероятно, попадет в твои руки на Рождество и передаст тебе его геолог Александр Иванович *Спассо-Кукоцкий*, очень интересный и милый человек, который эту зиму живет у нас[1] и едет 20/XII в Ростов по служебным своим делам (разработка «трасов» на Карадаге). Очень тебе его рекомендую как симпатичного и разностороннего человека, которому, между прочим, принадлежит и честь открытия интереснейшей магнитной аномалии на Карадаге.

Твое августовское письмо я получил.[2] Это было во время моей болезни – я умудрился среди лета схватить ползучее воспаление легких (не без помощи домашних грязевых ванн и потения) и проболеть всю осень. Гостей в этом году было небывало много (400 чел<овек>). Это уже сверх человеческих сил. Но стены дома не лопнули. Впрочем, тебе, верно, все это рассказывала милая Черешенка,[3] которая гостила у нас и, уезжая, собиралась увидать тебя.

Сейчас у нас обычная зимняя тишина и безлюдье. Я отдыхаю – т. е. работаю. (Летом это немыслимо). От воспаления легких я оправился вполне, но со здоровьем моим что-то все неладно: отеки ног и одышка. Маруся сильно подозревает (она ведь – медичка), что у меня почки не в порядке, и, вероятно, мне в связи с этим придется в конце зимы проехать в Москву показаться специалистам; а затем, вероятно, быть ими отправленным на Кавказ. Тогда мы с тобой хоть в Ростове повидаемся, в чем я чувствую настоятельную потребность, ибо тебя уже третий, кажется, год жду напрасно в Коктебеле. А пови-

даться нам очень нужно, ибо мы быстро меняемся, а я начал определенно стареть в эти годы под неожиданно выскочившими болезнями. Странно чувствовать себя таким *маститым*. В этом году группа друзей начала устраивать мне 30-летний юбилей. Местные власти (за что я им в душе глубоко благодарен) публичное его ознаменование запретили. Поэтому торжество это состоялось не в мае, а в августе в день моих именин – интимным образом дома (т<ак> к<ак> кроме 120 человек, живших в эту минуту, было всего 50 гостей, приехавших к этому дню).[4] Было очень хорошо, весело, просто и совсем на официальный юбилей не похоже, хотя была и официальная часть с чтением адресов и телеграмм и речами. Но это было кратко и рано утром. Торжества начались в 10 ч. утра, а закончились к 4-м часам утра. Самое остроумное и блестящее это были стихотворные приветствия от поэтов всех стран, веков и народов (свыше 60), из которых некоторые были редко талантливы. Это был сюрприз Москов<ской> Академии (Худ<ожественных> наук).[5] Потом были торжеств<енный> обед, таковой же ужин, балет, концерт и пантомима из испанской жизни. Единственное, что мне немного мешало наслаждаться жизнью, что в этот день у меня был как раз кризис воспаления легких, но т<ак> к<ак> я вообще перенес его на ногах, то все сошло благополучно и кризис был в благоприятную сторону. Но программа еще не вместилась в один день и потом еще было состязание поэтов в сонетах о любви, иллюстрированное живыми картинами.[6] И вот, несмотря на эти чествования, я все же остаюсь почти под полным литературным запретом, не могу выпустить ни одной книги своей и уже больше года нигде не печатаюсь. Странная судьба – ведь так было со мною и в период перед началом войны и почти все время гражд<анской> войны. При всех правительствах я остаюсь под цензурным запретом. Не знаю толком отчего, но меня последний год в смысле поэзии как заколодило. Ничего не могу писать. Зато пишу очень много акварелей, и меня весьма радуют мои успехи в живописи: меня приобрела Третьяковка, и получаю такие же ходатайства от разных провинциальных музеев. К сожалению, все это делается безвозмездно. Кстати – мне говорили, что в Ростовском музее висят мои

акварели. Если тебе не трудно, зайди туда и напиши мне — какие, а также разузнай, пожалуйста, откуда и через кого они туда попали. Я туда писал, но мне никто не ответил.

Все-таки — попаду ли я весною в Ростов или нет — приезжай, пожалуйста, будущим летом в Коктебель — если не со всем семейством, то один, и приезжай либо в первую половину лета, либо осенью — только не в августе — в это время я так утомляюсь от избытка людей, что совсем не в состоянии ни себя отдавать, ни в себя принимать. Да и слишком тесно у нас тогда, и у нас даже нет отдельной комнаты.

Крепко тебя обнимаю и приветствую всех твоих. Маруся тоже.

Макс.

Сообщи мне, пожалуйста, адрес Черешенки, который я утратил. Посылаю тебе 2 акварели в напоминание о Коктебеле. Посылал тебе тоже через Черешенку.

Если в Ростовском музее выразят желание, я могу им пожертвовать из современных моих работ — ибо боюсь, что там очень старые и примитивные мои вещи.

[1] А. И. Спасокукоцкий поселился у Волошина вместе с другими инженерами и геологами, командированными на Карадаг, видимо, в первой половине ноября 1925 г.

[2] Имеется в виду письмо Я. И. Глотова из Ростова-на-Дону от 2 августа 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 425, л. 26–27 об.).

[3] Прозвище Надежды Иоильевны Крыхновой.

[4] См. примеч. 1 к п. 78, примеч. 2 к п. 84.

[5] Подразумевается ГАХН (Государственная Академия Художественных Наук). Ее сотрудники — А. Г. Габричевский, Б. И. Ярхо, А. А. Сидоров и др. — участвовали в коктебельском чествовании Волошина.

[6] См. примеч. 4 к п. 87.

95. Е.Л. ЛАННУ

13 декабря 1925 г. Коктебель

13/XII 1925. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

получил сегодня Ваше письмо от 8/XII.[1] Метели и штормы, вьюги и ливни задержали почту на несколько дней. И я, не дождавшись Вашего письма, вновь писал Вам (ряд вопросов о выписке фран<цузских> книг и журналов),[2] с тех пор я успел уже узнать курс франка и получил от Ц.К.У.Б.У. и деньги,[3] и проспект от книжного отдела, и сейчас же часть этих денег туда же отправил и поручил мне выписать «Nouvelles Revue Française», «L'Art Vivant» и «Les Nouvelles Littéraires».[4] Но этим еще не удовлетворен, ибо изголодался и хочу во что бы то ни стало и наверстать потерянное за эти годы, и обеспечить себя книгами и франц<узскими> журналами, как в прежние годы, когда зимовал в Коктебеле. При теперешнем курсе франка это оказывается далеко не так недоступно, как мне представлялось раньше.

Хочу еще непременно какой-нибудь из больших двухнедельников, дающих солидный средний уровень литературы: если «Mercure»[5] запрещен по-прежнему, то «Revues Deux Mondes», «Revue de Paris» или «Grand Revue»[6] (что такое «Revue Universelle»?).[7] И еще хочу чисто научный журнал (не столько популярный, сколько научно широкий по интересам) и историко-археологический (что такое «Revue de Synthèse Historique»?)[8] Вот ответа на эти вопросы я сейчас от Вас и жду, и перечитываю пока с горя комплекты довоенных журналов. Хочу знать и чувствовать, что есть еще и литература, и мысль, и знания, и культура.

В том чисто гуманитарном подъеме мятежа, разрухи и усобицы, который меня переполнял эти годы, можно было существовать и вне культурно-творческого кипения. Но моя последняя поездка на север[9] и глубокое культурное одичание литературных кругов — всегда односторонних и очень перепуганных, удручило меня больше, чем я сам себе давал отчет. Я никогда не удовлетворялся исключительно русскою духов-

ною пищей и теперь чувствую неудержимую потребность вновь связать все нити, что для меня оборвались с 1916 г., когда я уехал из Парижа.[10] Помогите мне это сделать, дорогой Евгений Львович.

Жду от Вас еще справки о новом издании Одиссеевой энциклопедии Вик<тора> Берара.[11] Скажите: есть ли какие-нибудь пути получить право на бесцензурную выписку франц<узских> изданий? Ведь есть же теперь учреждения и лица, имеющие это право? Кому писать? Кого просить? От кого что зависит? Есть ли русский *«Index»*?[12]

Большое Вам спасибо за Ваше внимание, хлопоты об Casa Poetae.[13] Я очень боялся, и кажется справедливо, что после летнего антракта это дело так и заглохнет. С Ц.К.У.Б.У. все уладилось: в течение 2 месяцев они не присылали денег и занимались самопересмотром и чисткой, и я, естественно, испугался за свою судьбу.[14] Но все прошло благополучно, и я остался бесспорным, что мне дозволяет позволить себе некоторый литературный комфорт в этом году.

Что до людей я жаден — Вы правы. Но, говоря о «выигранных партиях», мне кажется, Вы неверно толкуете мои цели.[15] Я не ищу завоевания сердец и симпатий — это дело легкое: в Коктебеле летом за меня работают и Карадаг, и мое положение Амфитриона...[16] Нет, мне хочется, встречаясь с человеком, настолько его почувствовать, чтобы дать ему возможность выявить лучшее, что он утаил в себе, и освободить его хоть от малой толики «наживного». (Когда-то московский извозчик мне сказал, обернувшись на встречного: «Вот журавлиная харя-то проехала. С эдакими не родятся: это у него наживное».) Вот в этой-то области я и чувствовал свое банкротство последнее лето: вместо радости о людях у меня была апатия и усталость. Поэтому я и чувствовал себя виноватым перед всеми друзьями.

Да, очень часто *такое* количество людей одновременно было сверх моих сил. Но понятие количества так относительно... Помню, этою осенью, после отъезда нескольких больших партий, беседуя, мы сказали: «Вот как теперь хорошо: почти *никого* не осталось. Как было бы хорошо, чтобы круглый год было так...» Но когда начали подсчитывать, кто же

еще живет в доме, то оказалось, что *60 человек!* А вот теперь мы действительно вдвоем, и совсем нет одиночества, и день кажется необычайно тесен и короток.

Сейчас я живу на очень строгой диете и пищевой, и питьевой, и чувствую себя очень хорошо, бодро и возбужденно, как давно себя не чувствовал. Но в работе почек есть некоторая недостаточность, что очень тревожит Марусю, и, вероятно, весною съездить-таки в Москву, чтобы показаться специалистам. Надо все-таки установить причину отеков на ногах, которые сейчас очень уменьшились, но не проходят. Почки, как подлые деревенские собачонки — кусают не лая: заболевают без болей, а потом оказываются неизлечимыми.

Если у Вас есть французск<ие> журналы за этот год или за 2 последние, пришлите, пожалуйста. Летом верну.

Привет Александре Владимировне.[17] Крепко Вас обнимаю. Маруся приветствует.

Максимилиан Волошин.

Вальдо Франк прочитан[18] — очень хорошо.

[1] Письмо Е. Л. Ланна от 8 декабря 1925 г. (См.: «...Темой моей является Россия. Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 80–81).

[2] См. п. 90.

[3] См. примеч. 8 к п. 26.

[4] Упоминаются французские издания: см. примеч. 24 к п. 3, примеч. 6, 12 к п. 90.

[5] См. примеч. 16 к п. 3.

[6] См. примеч. 6 к п. 90.

[7] Упоминается французский публицистический журнал «Revue Universelle» (1920–1944).

[8] Речь идет о научно-историческом журнале «Revue de Synthèse Historique», выходящем с 1900 г.

[9] Имеется в виду поездка Волошина в Москву и Ленинград весной 1924 г. См.: Труды и дни-2. С. 213–225.

[10] Волошин покинул Париж в конце марта 1916 г. См.: Труды и дни. С. 393.

[11] См. примеч. 9 к п. 90.

[12] Аллюзия на «Index librorum prohibitorum" (перечень запрещенных книг), признанных католической церковью еретическими, издавался в Ватикане с XVI в. по 1966 г.

[13] См. примеч. 1 к п. 78.

[14] См. примеч. 9 к п. 80.

[15] Отклик Волошина на рассуждения Ланна в письме от 8 декабря 1925 г.: «Скопище в 90 человеческих голов вызывает у меня безразличие <...> А в Вас происходит чуждый мне процесс дифференциации восприятий. Это поражает так же, как способность какого-нибудь Ласкера или Капабланки играть одновременно на десятках шахматных досок. <...> из 90 партий Вы сделали несколько ничьих, а остальные все выиграли» («... Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 81).

[16] Волошин сравнивает себя с фиванским героем Амфитрионом, славившимся своим гостеприимством. Ср. первую строку стихотворения Брюсова «Максимилиану Волошину» (1924): «Наш Агамемнон, наш Амфитрион...» (*Брюсов Валерий*. Собр. соч.: В 7 т. М.: Художественная литература, 1974. Т. 3. С. 433).

[17] А. В. Кривцова.

[18] См. примеч. 1 к п. 90.

96. Н. П. ДОМРАЧЕВОЙ

16 декабря 1925 г. Коктебель

16/XII 1925. Коктебель.

Милая Надя – единственное средство от туберкулоза – для тебя – это сейчас же бросить всё и ехать в Коктебель. Туберкулоз лечится воздухом и питанием, а не медикаментами. Гомеопатический лечебник рекомендует от туберкулоза свыше 20 лекарств (Sulfur, Calcaria Carbonica, Belladonna, Ammonium, Hepar-Sulfuricum, Nitrun acidum и т. д.), другими словами – ни одного. В этом случае тут дело не в гомеопатии. Нужно солнце и воздух и упражнения груди.

У меня как раз только что получена книга о дыхании Лобановой[1] – метод, которым она спасла себя в последней стадии туберкулоза. Приедешь – будем вместе ее штудировать и упражняться (я от астмы). Я об этом тете Саше уже писал.[2] А теперь пишу еще тебе, потому что ни в твоем, ни в ее письме не вижу сознания первой и настоятельнейшей необходимости:[3] прежде всего покинуть гнилой и промозглый Харь-

ков с его сыростью и теснотой и ехать на чистый воздух, которого лучше, чем в Коктебеле, <не> найдешь, и делать это сейчас же, чтобы не запустить процесса.

Жду тебя с радостью. А писать сейчас не могу, т<ак> к<ак> сейчас 2 ч. ночи и я работал весь день со страстью и увлечением.

Крепко тебя обнимаю.

Макс.

[1] См. п. 92, примеч. 4.

[2] А. Л. Домрачева. Имеется в виду п. 91.

[3] О том, что у Н. Домрачевой «открылся активный процесс туберкулезный», А. Л. Домрачева сообщила Волошиным 2 декабря 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 513, л. 19 об.).

97. Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

20 декабря 1925 г. Коктебель

20/XII 1925. Коктебель.

Дорогой Эрик Феодорович,

получил оба Ваши письма (1/XII и 12/XII). Последнее сегодня, и одновременно высылаю Вам просимый адрес заказною бандеролью,[1] влагая в тот же пакет 3 акварели (для Вас, Ек<атерины> Вл<адимировны> и Тат<ьяны> Ив<ановны>).[2] Примите их как но<во>годний дар и сами распределите по вкусу.

Спасибо за большое хорошее письмо. Очень меня огорчает, что Вы не приедете будущим летом.[3] Неужели это так уж заранее заказано? Может, в таком случае Екатерина Владимировна сможет освободиться от своего педагогического ярма? А я очень рассчитывал, что будущее лето исправит недочеты минувшего.

«Соблазн одиночества» имеет большую власть над моей душой.[4] И это не покаянная диета после моих летних человеческих невозде<р>жанностей, а равносильная, очередная потребность. Хотя мы живем с М. С.[5] с глазу на глаз и неделями не видим чужого лица, но все же я мечтаю иногда с завистью

о царских казематах Петропавловской крепости, где служители ходили в войлочных туфлях и всегда молча, и при этом прекрасная библиотека! До того политического комфорта мы не скоро дорастем. До войны я иногда так зимовал в Коктебеле совсем один, когда мать уезжала в Москву. В эти зимы я производил мало, но я «рос». («J'ai grandi a ne rien fair» — Baudelaire*)[6]. Но все-таки и в Коктебеле нельзя так наслаждаться всею горечью одиночества, как в большом городе. Париж в этом отношении идеален. А Ваши строки заразили меня ядом петербургского одиночества.

Спасибо за памятку о Кузмине[7] и за Ваши ex-libris'ы. Мне нравится их чуть-чуть угловатая грация. Т. И. похожа и даже Tombeau de Musset** как-то иррационально вяжется с ней. Анатоль Фр<анс> прав в том смысле, что *ум* слишком тяжелый и неуклюжий туалет для женщины.[8] И вне всякой связи с предыдущим: «Une femme laide ne peut être aimée que passionnément» (De La Rochefoucauld).***[9] Les femmes inspirit<r>ices! — L'inspiration**** — такая нелепая вещь, что наивность (d'une petite oie*****) «маленького белого гусенка»[10] действует на него вернее и сильнее, чем самый блестящий женский ум. Над чем я работаю: больше всего над акварелями: апрель—июль зажег в них свет и сделал радужным. В самые последние дни что<-то> нащупалось в этом отношении. Записываю строчки стихов, что приходят в голову. Но что-то эти обрубки удавов не хотят срастаться в единое целое и ворошатся сами по себе.

Крепко Вас обнимаю. Привет Ек<атерине> Вл<адимировне> и Тат<ьяне> Ив<ановне>. Мария Степанов<на> всех приветствует.

Максимилиан Волошин.

---

* «Я вырос, ничего не делая» – Бодлер (*фр.*).

** Могила Мюссе (*фр.*)

*** Некрасивая женщина может быть любима только страстно. – Ларошфуко (*фр.*)

**** Женщины вдохновляют – Вдохновение (*фр.*)

***** Маленькая гусыня (*фр.*)

[1] В письме от 12 декабря 1925 г. Голлербах просил Волошина переслать ему адрес Ленинградского общества библиофилов (см. п. 66, примеч. 2): «...во втором сборнике Ленинградского общества Библиофилов предположено поместить воспроизведение четырех адресов — Вам, М. А. Кузмину, Академии Наук и Русскому Обществу Друзей Книги. В связи с этим нам нужен фотографический снимок с находящегося у Вас адреса. Так как в Коктебеле едва ли найдется фотограф, то проще всего поступить следующим образом: не откажите в любезности прислать адрес мне, а мы его здесь сфотографируем и пришлем Вам обратно. Хотелось бы получить адрес возможно скорее (*заказной* почтой)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 20). Второй выпуск сборника Ленинградского общества библиофилов не состоялся.

[2] Е. В. Штейн, Т. И. Хижинская. В письме от 29 декабря 1925 г. Голлербах ответил Волошину: «...спасибо за акварели — прекрасный Новогодний привет, вдвойне милый как память о Вас и о Коктебеле. На днях передам две из них по назначению — себе я выбрал облачный пейзаж с тусклым солнцем» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 21).

[3] В письме от 1 декабря 1925 г. Голлербах сообщал Волошину, что ему не удастся выбраться в Коктебель летом 1926 г. (Там же, л. 16).

[4] Отклик Волошина на откровения Голлербаха: «Мною всегда владел соблазн уединения, воспетый “великой” Зинаидой (“...каждый дорожит своим покоем и одиночеством в своей щели”); соблазн явно греховный, свидетельствующий о дурной надменности и слабости духа» (Там же, л. 17). Цитируется стихотворение З. Н. Гиппиус «Только о себе» (1904).

[5] М. С. Заболоцкая.

[6] Возможно, имеется в виду фраза из фрагмента XXXII дневника Ш. Бодлера «Мое обнаженное сердце»: «Я вырос, отчасти, благодаря тому, что имел время для досуга» (*Бодлер Шарль*. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М.: Рипо-классик, 1997. С. 447. Пер. Г. Мосешвили).

[7] 1 декабря 1925 г. Голлербах писал Волошину: «Посылаю Вам памятку, выпущенную обществом библиофилов к юбилею М. А. Кузмина. И еще посылаю свои графические упражнения библиофильского порядка, — не думаю, чтобы Вы занимались таким “легкомысленным” делом, как собирание экслибрисов, — все же примите их от меня на память» (Там же, л. 18). Речь идет об издании: К XX-летию литературной деятельности Михаила Алексеевича Кузмина. Л.: Ленинградское общество библиофилов, 1925.

[8] Отклик на слова Голлербаха в письме от 1 декабря 1925 г. о Т. И. Хижинской: «Татьяна Ивановна тоже тяготится своей пишущей машинкой, стучать на которой действительно мало удовольствия. В виде “утешения” остается <...> фокстрот и маникюр. Но есть еще

удивительное, непостижимое – кто его измерил и нужно ли его оправдывать? – обаяние нежной женственности. Я начинаю думать, что Ан<атоль> Франс прав: для женщины необязательно быть умной» (Там же, л. 18 об.–19). Источник приводимых Волошиным и Голлербахом высказываний А. Франса не установлен. Ср.: «Красота могущественнее всего на свете» (“Таис”)»; «Женщинам нужны только чувства. Женщины любят лучше, чем мы, п<отому> ч<то> они слепы. (“Сад Эпикура”)» (Цит. по: *Франс Анатоль.* Мысли / Собрали Мод Лоссель и Ренэ Леду-Лебар. Пер. с предисл. Иннокентия Оксенова. Л.: Госиздат, 1926. С. 11, 15).

[9] Источник цитаты не обнаружен. Эту фразу Волошин использует также в статье «К. Ф. Богаевский – художник Киммерии» (См.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 82).

[10] Возможно, Волошин имеет в виду образ гусыни из романа Анатоля Франса «Харчевня королевы Гусиные лапы» («La rôtisserie de la reine Pédauque», 1892).

98. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

23 декабря 1925 г. Коктебель

23/XII 1925 Коктебель.

Милые Наташа и Саша, с праздниками! С Новым Годом! Ветер ревет, дождь хлещет, тепла 10°. Сидим и ждем, кто приедет из всех, собиравшихся на Рождество. Никого нет до сих пор.[1]

Аю – очарователен. Ходит на задних лапах, выгибаясь, ступая то всею правой, то всею левой стороной, как геральдический лев (Коварный Альбион), а смотрит с благоговением, молитвенно снизу вверх, как Рафаелев херувим (под-сикстинивает[2]). Вырастет, будет редким уродом и таким же идиотом, как Тату, который весь день сторожит большую дорогу перед домом и мост (кидает<ся>, как дикий зверь), а ночью через него шагают чужие люди по террасе, а он и не обернется. Для псов заваривается по моему настоянию собачья «мясисятка». Они обижаются и уходят обедать к «батюшке»,[3] к Марусиному отчаянью.

Я сижу на диете: никакой *соли*, никакой *влаги*, ничего мясного, ни мучного, ни сладкого, ни кислого. Все, что в меня, и все, что из меня, взвешивается на аптекарских весах. А три

дня через неделю совсем ничего. Принесли нам зайца в подарок (того самого, которого Маруся простым глазом на Юпитере видела). – «Макс, отдадим зайца Тату». – «Маруся, я обожаю жареного зайца!» – «Мася, но ведь Тату голодный, и он идиот. А ты талантливый... И тебе вредно». И, по-моему, Маруся все время хитрит: когда я на голодовке, варит себе огромную кастрюлю жирных щей, рисовой каши. – «Мася, мне есть совсем не хочется, а тебе нельзя: я лучше Тату отдам. Все равно испортится...».

Чувствую, что начинаю и завидовать, и ревновать к Тату. Но нужно отдать справедливость – от этой диеты чувствую себя гораздо лучше – и духом бодрее, и отеки проходят.

Акварели рисую не отрываясь. У меня сейчас Луна засветилась!! Радует это меня необычайно.

Крепко обнимаю тебя и Сашу, и всех коктебельцев.

МАКС.

[1] Новый 1926-й год Волошин встречал вдвоем с М.С. Заболоцкой.

[2] Обыгрываются образы ангелочков на картине Рафаэля «Сикстинская мадонна» (1515–1519).

[3] Священник М.В. Синицын.

99. А.П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

23 декабря 1925 г. Коктебель

23/XII 1925.
Коктебель.

Дорогая Анна Петровна,

Спасибо большое за посылку[1] — она пришла как раз к праздникам. Мы стольких ждали на Рождество, а, кажется, никто не приедет. Из газет post factum* узнали о юбилее Сергея Васильевича[2] и очень жалели, что не могли приветствовать телеграфно. Но теперь поздравляем, приветствуем и об-

* После сделанного, задним числом – лат.

нимаем. Болезнь — очевидно, необходимая расплата за юбилейные торжества. У меня с детства почему-то остался в памяти эпизод из автобиографии Андерсена — к<ак> у него болели зубы во время его чествования,[3] и это связалось на всю жизнь.

Относительно возможности выписывать журналы и книги через Ц.К.У.Б.У я узнал уже, получил оттуда проспект[4] и уже выписал себе с января несколько журналов через их посредство. Ведь это, оказывается, — страшно дешево теперь!

Сегодня вершина года. Завтра день уже начнет увеличиваться. Радуюсь этому потому, что ранние сумерки в 4 часа досадно перебивают все время мою акварельную работу. А мне кажется, что я сделал несколько больших достижений: у меня засветилась луна, пронизались светом сумерки, и воздух стал радужным. Раньше все это не удавалось, а сейчас я на пути.

Крепко обнимаю всех коктебельцев: Анаст<асию> Осипов<ну>, Хлопина, Вадима Никандровича, Волжинского, Лиду и Ксению[5] — а всех принимавших участие в посылке благодарю — особо.

Максимилиан Волошин.

[1] В недатированном письме к М. С. Заболоцкой Остроумова-Лебедева сообщала: «Завтра посылаем Вам коллективную посылку. Содержание ее: сладости и шоколад – от Ксении Эдуар<довны>, <...> грибы и икра от Лидии Аполлоновны. Кофе – Волжинский. Консервы и какао – Хлопин. Лебедевы – сыр» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 220, л. 8 об.). М. С. Заболоцкая откликнулась 23 декабря 1925 г.: «И вдруг такое изобилие. <...> Сейчас мы как цари и даже деликатесы: икра, сыр...» (РНБ, ф. 1015, ед. хр. 518).

[2] А. П. Остроумова-Лебедева в упомянутом письме сообщала: «На днях будет праздноваться юбилей Серг<ея> Вас<ильевича> – с окончания университета. Это затеяли его ученики и, как я не старалась этому помешать (зная характер С. В. и его нелюбовь к каким бы то ни было публичным выступлениям), ничего не смогла сделать. Сговорились на том, что будет очень интимно и совершенно закрыто. Но, к сожалению, каким-то образом это прошло к студентам и к начальнику академии, и вот завтра его после его лекции будут поздравлять. Он <...> утешает себя тем, что это будет кратко» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 7 об.–8).

[3] Речь идет о событиях, произошедших 6 декабря 1867 г., в день вручения Г.-Х. Андерсену диплома на звание почетного гражданина в родном Оденсе, и описанных им в автобиографической «Сказке моей жизни». (См.: *Андерсен Г.-Х.* Собр. соч.: В 4 т. / Пер. с датского подлинника А. и П. Ганзен. Т. 4. СПб., 1895. С. 310–316).

[4] Отклик на сообщение Остроумовой-Лебедевой в недатированном письме М. С. Заболоцкой: «Я очень горячо сочувствую Мак<симилиану> Ал<ександровичу> в его невозможности общения с западом. Хотя теперь, если у Вас есть кто-нибудь в Париже, Вы можете выписать себе какие угодно книги и адресовать их в Моск<овскую> Цекубу, в Отдел заграничных выписок, на Ваше имя, и Вы их получите без пошлины» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 220, л. 8 об.). См. также п. 86, примеч. 6.

[5] А. О. Якубчик, В. Н. Верховский, И. А. Виноградов-Волжинский, Л. А. Аренс, К. Э. Монтвид.

100. Ю. А. ГАЛАБУТСКОМУ

23–29 декабря 1925 г. Коктебель

23/XII 1925. Коктебель.

Дорогой Юрий Андреевич,

спасибо за книги.[1] (За Вами еще № «Современных Записок» с моими стихами[2]). Я сам все время собирался в Феодосию недели на 2 – лечить зубы. Но отсутствие Бермана[3] заставило меня отложить мой приезд. Теперь он вернулся, вероятно, но мне не хочется покидать Коктебеля и своей работы на праздники, да, может, кроме того кто-нибудь из северных друзей нагрянут, воспользовавшись академическими каникулами, да и остановить<ся> мне сейчас негде, т<ак> к<ак> у Богаевского сейчас больные и всё переполнено в доме, т<ак> что он мне сам только что писал, что не может меня принять. Так что я в город приеду, но не раньше 15–20 янв<аря>. Очень хочется Вас повидать, о многом поговорить. Я ведь еще долго после нашего последнего свиданья (17 авг<уста>)[4] чувствовал себя скверно – всю осень. А теперь мне очень бодро и хорошо работается – но главным образом все-таки в живописи.

В стихах – всё материалы, фрагменты и ничего законченного за этот год.

29/XII 1925. Я почему-то думал, что Ваша ученица Стамова придет за ответом... но т<ак> к<ак> она не показывает<ся> – пошлю это письмо почтой.

С Новым Годом, дорогой Юрий Андреевич. Передайте мой привет и поздравления и Анне Яковлевне[5] и Лельеврам.

Мне очень хочется еще раз от души поблагодарить Вас за то участие и инициативу, что Вы проявили во время моего «чествования». В итоге всего этого я думаю (с некоторой грустью), что у меня много настоящих друзей, что я, кажется, *нужен* в русской жизни, и что я совсем «не ко двору» в русской литературе и что продолжаю быть вышвырнутым из нее, как был и до войны, когда был бойкот книжн<ых> магазинов на мои книги. Все-таки в этой «судьбе» есть странности, для меня мало понятные. Очень хочется об этом обо всем с Вами поговорить при свидании.

Не получали ли Вы что-нибудь от Пешковского? Он сразу замолчал с весны еще. Что с ним?

До скорого свидания, надеюсь.

Максимилиан Волошин.

[1] 21 декабря 1925 г. Ю. А. Галабутский писал Волошину: «Летом я взял у Вас пять книг о Пушкине; три книги возвратил, а про эти две, что́ посылаю теперь, забыл, и только на днях <...> нашел их. <...> Книги и письмо передаст Вам Стамова, моя ученица, живущая в Коктебеле» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 386, л. 54).

[2] Имеется в виду парижский журнал «Современные записки», в котором были напечатаны пять стихотворений Волошина (1921. Кн. 4. С. 86–99).

[3] Дантист-феодосиец Наум Наумович Берман (1869–1948).

[4] Галабутский участвовал в чествовании Волошина в день его именин.

[5] А. Я. Галабутская.

1926

101. С. А. ТОЛСТОЙ

3 января 1926 г. Коктебель

3/I 1926. Коктебель.

Милая Соня,

весть о гибели Есенина, которая лишь сегодня дошла до Коктебеля,[1] глубоко потрясла меня – и, быть может, не столько судьбою запутавшегося и растерявшего себя «слишком русского» человека, даже не извечным трагическим концом Русского поэта, которого «угораздило родиться в России с умом и талантом»,[2] сколько роком, тяготеющим над твоею жизнью, над выбором твоего сердца, дорогая, бедная Соня....

Если тебе сейчас нужны уединенье, молчание и верные друзья – приезжай к нам.

Всем сердцем с тобою.[3]

Макс.

Приписка М. С. Заболоцкой:

Коктебель. 3/I – 26 г.

Милая и родная Соничка, помните и знайте, что мы Ваши друзья – скорбим душою с Вами и, если Вам можно, ждем Вас и очень хотим Вас, может быть, Вам нужно приехать к нам, подумайте и приезжайте. Всем сердцем, всеми возможностями примем Вас, п<отому> ч<то> любим Вас и скорбим глубоко. Ваша Маруся.

[1] С. А. Есенин покончил жизнь самоубийством в Ленинграде в гостинице «Англетер» в ночь с 27 на 28 декабря 1925 г. Волошину сообщил об этом Э. Ф. Голлербах в письме от 29 декабря 1925 г. (см.

примеч. 3 к п. 102). См.: *Маслов А.В.* Петля и пуля: Исследование обстоятельств гибели Сергея Есенина и Владимира Маяковского. М.; СПб.: Новая газета — ИНАПРЕСС, 2004. С. 13–168.

[2] Неточная цитата из письма А. С. Пушкина к Н. Н. Пушкиной от 18 мая 1836 г.: «...черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!» (*Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. 16. <Л.:> Изд-во Академии наук СССР, 1949. С. 117–118).

[3] С. А. Толстая ответила 17 февраля 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1185, л. 26–26 об.; бумага с траурной каймой): «...спасибо Вам большое, от всего сердца за Ваше вниманье и доброту. Меня очень тронуло Ваше письмо и зов в Коктебель. Я не могу приехать сейчас. Очень многое держит меня в Москве. Мечтаю только о том, чтобы приехать к Вам на весну». Ее мать О. К. Толстая сообщала Волошиным в письме от 4 марта 1926 г.: «Соня получила ваше письмецо (мне даже пришлось прочесть ей его по телефону, т<ак> к<ак> все это время она не живет дома, а скитается по Москве), и знак, что недавно она вам написала. Я с самого начала советовала ей поехать к вам, т<ак> к<ак> знала, что только у вас она смогла бы найти истинный покой и *нравственную* поддержку. Она в ужасном душевном состоянии. Она не плакала и не плачет, с ней не было никаких истерик или обмороков; на похоронах она не проронила ни одной слезы и была как каменная; но если бы вы видели ее лицо, выражение этого страшного душевного напряжения, а также отчаяния в глазах, — вы поняли бы, как она страдает» (Звезда. 1991. № 6. С. 176. Публ. К. М. Азадовского).

102. Е. Л. ЛАННУ

4 января 1926 г. Коктебель

4/1 1926. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович, Ваше письмо с известием о смерти Есенина произвело очень глубокое и тяжкое впечатление.[1] За его трагической судьбой (я лично его не встречал) для меня еще вставала судьба Сони Толстой, которая вышла за него замуж полгода назад.[2] Голлербах мне одновременно написал из СПб об этом же и описал его лицо в гробу..[3] «Темен жребий русского поэта...».[4]

Вы пишете еще страшные слова о Шенгели: «...потерял вкус к жизни и к литературе...». Я это знаю... Он уже несколько

лет одержим искушением самоубийства. А из пачки запоздалых газет узнал, что Киплинг и Ромен Роллан — при смерти. Что умер осенью Рене Гиль (мы были друзьями).[5] Что умер Каратыгин — критик и музыкант — я его очень любил.[6] Всюду вкус тления, сжигающий сердце. Тяжело начинается этот год. Я вспоминаю строки Реми де Гурмона во время войны, перед самой его смертью, как он берет с полки любимую книгу «и больше не чувствует ее вкуса».[7] Тогда, в 15 году, во Франции было это чувство смерти во всех явлениях и необъяснимая потеря вкуса к любимому. Сейчас это висит и над Россией. Брюсов открыл серию.[8]

Повторные попытки на самоубийство Соболя — барометрический симптом.[9] Недавно застрелился один из «коктебельцев», И. М. Басс...[10]

Воздух духовного существования становится совершенно негоден для дыхания. Все это не касается меня лично. Мне грешно жаловаться. Я никак не могу отнести к самому себе слова «Лебедя» Малларме:

Не создал в жизни он страны, чтоб улететь,
Когда придет зима в сиянье белой скуки.[11]

Потому что я-то себе создал такую страну, и притом более осязаемую, чем в песне, — я ее создал в живописи.

...Солнце... вода... облака... огонь —
Все, что есть прекрасного в мире...[12]

Вечная трагедия солнечного луча, проникающего сквозь мутную среду, отраженного, раздробленного и разложенного на «семицветность боли»,[13] — вот лирика природы. И чистый анализ этого, логическое разложение «судьбы света» и составляет «лирику» Лоррена и Тернера. Моя творческая жизнь сейчас целиком лежит в этом мире, и это великое благо. Я ежедневно творю световую атмосферу для своего бытия. Иначе было бы слишком грустно... Удивляюсь крепости и выносливости Вашего духа, Евгений Львович... Ведь в столичной литературе дышать действительно нечем. При одной мысли о возможности *жить* сейчас в литературе и литературой я чувствую астматическую спазму.

И вот от ожидания Вашего, «что в 26 году я буду писать стихи, потому что это нужно не только Вам»,[14] я почувствовал тоже боль, неловкость и угрызение совести. Меня мучит и мне мешает, что от меня ждут стихов. Свое молчание я понимаю так: усобицу и террор я переживал «героически» (в смысле тонуса жизни и творчества).

Я вышел победителем, т.е. нашел свое оправдание миру и человеку. Выход мне казался простым и доступным всякому. Казалось, что многие должны были пройти в эти годы через такой же «катарсис». Хотелось поделиться, объяснить, сейчас же *реализовать*. Поэтому писал необычайно много. Разочарование моей поездки на север в 24 году[15] не литературного рода, не личного самолюбия. Но я с ужасом увидел, что *никто* не пережил революции в этом смысле и что моя «истина» не нужна, хотя стихи мои производят сильное (эстетическое) впечатление. Та полоса творчества этим и закончилась. Сейчас я возвращаюсь на старые пути и начинаю работать прежними методами: медленно коплю «аллювий»[16] мысли и жизни. В моей тетради за эту зиму исписано несколько страниц отдельными строчками стихов, между собою не связанными. Но нет ни одного сплава, ни одного сгустка, который было бы возможно показать. Но это самый драгоценный чернозем, и он копится неустанно, ожидая своего времени. Я всегда так работал. В годы же революции моменты сплавов были чаще, просто потому, что каждое стихотворение писалось как *последнее* и каждое могло быть предсмертным. Это придавало необыкновенную сосредоточенность и несвойственную мне быстроту реализации. Теперь же работа возобновилась, но идет нормальным своим темпом: подолгу отстаиваясь и скупо дистиллируясь. Отдельные же стихи кристаллизируются и обрастают вокруг 3–4 больших тем, давно намеченных.

Большое спасибо, милый Евгений Львович, за ответ относительно фр<анцузских> книг и журналов и за присланные образцы. Как досадно, что так вышло с «N<ouvelles> R<evue> Fr<ançaise>».[17] Но, б<ыть> м<ожет>, это еще исправимо: я до сих пор от Книжн<ой> секции Ц.К.У.Б.У. не имею никакого ответа на мои заказы и вопросы. А между тем я им

послал деньги и письмо 11/XII 1925.[18] Поэтому, б<ыть> м<ожет>, Вы сделаете так: я посылаю в этом же письме к Вам мое вторичное письмо в Кн<ижную> секцию, которое Вы передадите лично, и ежели «N<ouvelles> R<evue> Fr<ançaise>» еще не выписана, то отменить ее, а кстати, будете в курсе того, что именно я стремлюсь получить. Ведь, наверное, у Вас бывают дела в Доме ученых, и Вас не слишком затруднит заход на Пречистенку.[19]

«La Revue Universelle»[20] мне кажется боле подходящим, чем «La Revue Européenne»,[21] ибо мне надо что-нибудь более подходящее к типу наших толстых журналов, не крайне передовое, т<ак> к<ак> хочется следить за «уровнем» и иметь обильный материал. В конце концов, я привык и к «Europe»,[22] полюбил его.

«La Crapouillot»[23] и др<угие> журналы меня очень не удовлетворили, но присланные №№ прочту с большим интересом. «Philosophies» интересна,[24] хотя мало соответствует своему заглавию и совсем не похожа на «Revue des Idées»,[25] которая давала статьи по всем дисциплинам положительных наук, формулируя все «новые идеи» и гипотезы.

Очень меня интересует (по заглавию) «La Revue de Synthèse Historique»,[26] из изданий которого я, как Вы видите, выписываю целый ряд томов (полагаясь на имена авторов и встреченные отзывы).

Но вопрос о научно-позитивн<ом> журнале для меня остается открытым, и «Philosophies» его бы, конечно, не удовлетворил.

Меня смутила *цена* журналов. Вы пишете, что «Europe» стоит около 6 руб<лей>. А между тем там обозначена цена годичн<ой> подписки для России 25 франк<ов>, т. е. (по курсу 1 ф. = 7 к.) — 1 р. 75 к. Откуда же получается 6 руб<лей>? Налоги на книги? Но Ц.К.У.Б.У. в проспекте Книжн<ой> секции сообщает, что выписывает книги без налогов и только на почтовые расходы добавляет сверх номинальной цены 10%. В чем тут дело? Меня это смущает потому, что тогда цена на журналы и книги возрастает больше чем в 3 раза, чем я считал. Раньше ведь номинальная цена книги и была уже ценою «с пересылкой за границу», т<ак> к<ак> все книги 3 f. 50

в Париже в любом магазине стоили 3 fr., а в Лат<инском> квар-т<але> 2 fr. 60.

За Анкетиля — спасибо.[27] Я его совсем еще не успел понюхать. Я ведь только вчера получил и Ваше письмо, и книги, и прежде всего взялся за журналы.

Недавно прочел «Жанну д'Арк» *Delteil*.[28] Исторически это очень близко (слишком) к Мишле,[29] но он ее окружил таким ароматом навоза и франц<узской> деревни, что получилось очень свежо, хорошо и интимно. Почувствована и плоть, и святость.

В Коктебеле стоят теплые, мутные дни с туманами и с бликами солнца. Сильные штормы и ураганы. Под комсомольское Рождество[30] была гроза с раскатами грома и молнией при яркой луне. Очень фантастично. Новый год мы встречали вдвоем с Марусей. Сервировали стол и разложили на нем все, что напоминало о людях, живших летом, так что были окружены всеми друзьями. Всех вспоминали и всех мысленно звали обратно.

Привет Александре Владимировне.[31]

Крепко Вас обнимаю, поздравляю с Нов<ым> годом и желаю силы, здоровья и мужества.

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет о письме Е. Л. Ланна от 28–29 декабря 1925 г., где автор сообщал Волошину «страшную новость» о гибели С. А. Есенина («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 87).

[2] Речь идет о браке С. А. Есенина и С. А. Толстой. См. примеч. 8 к п. 75.

[3] Э. Ф. Голлербах в письме от 29 декабря 1925 г. рассказывал Волошину: «Пишу Вам под тяжелым впечатлением смерти Есенина, покончившего самоубийством в ночь с 27-го на 28-ое, в номере гостиницы “Интернационал”, где он в последнее время жил. Я только что вернулся из Союза писателей, где происходило прощание с телом Есенина. Никогда не видел я покойника с таким мучительно-трагическим выражением лица, – он похож на древнегреческую маску, выражающую ужас и боль. Он избрал повешение, и оттого, вероятно, такое искажение лица (но без синевы и вздутости). Смерть Есенина явилась неожиданностью даже для тех, кто знал все его безумства и

буйства последних лет. Особенно потрясены те, кто пестовал его на первых порах, кто ввел его в литературу – Клюев, Иванов-Разумник... Сегодня тело Есенина перевозят в Москву» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 21–21 об.).

[4] Волошин цитирует свое стихотворение «На дне преисподней. Памяти Н. Гумилева и А. Блока» (12 января 1922 г.). См.: Т. 1 наст. изд. С. 347.

[5] Рене Гиль умер 15 сентября 1925 г. Волошин был знаком с Р. Гилем с конца 1903 г. См.: Труды и дни. С. 113.

[6] В. Г. Каратыгин умер 23 октября 1925 г. Волошин общался с В. Г. Каратыгиным в 1908 г. в Санкт-Петербурге. См.: Труды и дни. С. 199.

[7] Реми де Гурмон умер 27 сентября 1915 г. Возможно, Волошин цитирует строки из книги Реми де Гурмона «Под шквалом» (1915) (*Gourmont Remy de.* Dans la tourment (avril – juillet 1915). Préface de Jean de Gourmont. Paris: Collection «Bellum», George Crès & Cie, Éditeurs, 1916).

[8] В. Я. Брюсов скончался в Москве 9 октября 1924 г.

[9] См. примеч. 3 к п. 76.

[10] О смерти И. М. Басса см. примеч. 7 к п. 86.

[11] Цитируются с небольшим разночтением строки стихотворения С. Малларме «Лебедь» («Plusieurs sonnets. II. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui...», 1885) в переводе Волошина, который он сделал в 1904 г. Ср.: «Не создал в песне он страны...» (Т. 4 наст. изд. С. 781).

[12] См. примеч. 5 к п. 80.

[13] Образ восходит к стихотворению Волошина «Два демона» (6 февраля 1915 г.). См.: Т. 1 наст. изд. С. 201.

[14] Цитируется письмо Ланна от 28–29 декабря 1925 г. (см.: «...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 84).

[15] См. примеч. 9 к п. 97.

[16] Аллювий (от *лат.* alluvio) – отложение рек и ручьев; галечник, гравий, песок, слагающие поймы и террасы.

[17] Об этом журнале см. примеч. 6 к п. 90. Ланн писал Волошину 28–29 декабря 1925 г.: «...после Вашего предыдущего письма я выписал Вам на след<ующий> год "Les Nouvelle Revue Française" не ожидая, что этот журнал Вы выпишите через К.У.Б.У. Заказ уже пошел пять дней назад» (Там же. С. 84).

[18] Письмо, о котором идет речь, не обнаружено.

[19] Дом Ученых в Москве располагался по адресу: Пречистенка, д. 16.

[20] См. примеч. 7 к п. 95.

[21] О публицистическом журнале «La Revue Européenne», выходившем в Париже с начала 1830-х годов, Волошину писал Ланн, называя его стоящим. («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 85).

[22] См. примеч. 14 к п. 90.

[23] См. примеч. 12 к п. 90.

[24] Ланн сообщал Волошину, что журнал научных новостей «Philosophies» «прекратился», но он вышлет один номер для ознакомления. (См.: Там же).

[25] См. примеч. 17 к п. 3.

[26] См. примеч. 8 к п. 95.

[27] Ланн выслал Волошину «памфлетический роман»: *Anquetil Georges*. Satan conduit le bal. Paris: Les Éditions Georges Anquetil, Paris, 1925. (См.: Там же. С. 87).

[28] Речь идет об издании: *Delteil Joseph*. Jeanne d'Arc ("Biographie passionnée"). Paris: Bernard Grasset, 1925. (Рус. пер. Е. В. Александровой: М.; Л., Земля и Фабрика, 1928).

[29] Речь идет о книге французского историка и публициста Жюля Мишле «Jeanne d'Arc (1412—1432)» (Paris: Hachette, 1888). Переиздание его сохранилось в библиотеке Волошина (см.: Мемориальная библиотека М. А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 316). Русский перевод: *Мишле Жуль*. Жанна Д'Арк / Пер. Т. Быковой, Е. Скржинской, М. Клименко. Под ред. и с предисл. О. А. Добиаш-Рождественской. Пб.: Всемирная литература при Гос. изд., 1920.

[30] Речь идет о новом революционном празднике. В циркуляре Крымского Обкома партии по агитационно-пропагандистской работе с января по декабрь 1923 г. «О порядке проведения "Комсомольского Рождества"» было обозначено: «25 декабря сего года христианская церковь будет праздновать очередной религиозный праздник "Рождество Христово". Нам необходимо в противовес ему создать новый революционный праздник, который бы создавал новый быт и проводил бы антирелигиозную пропаганду. Таким праздником является Комсомольское Рождество, приуроченное к 25 декабря — Рождеству Христову. "Комсомольское Рождество" ставит себе три задачи: 1). Развить широчайшую антирелигиозную пропаганду среди комсомольцев и рабочей молодежи. 2). Создать новый религиозный праздник, который бы создавал новый антирелигиозный быт. 3). Должно отвлечь молодежь и взрослое население <...> от празднования ими "Рождества Христова" в церкви. "Комсомольское Рождество" проводится в следующем порядке: 1). "Комсомольское Рождество" проводится комсомольской организацией под непосредственным руководством РКП и при участии всех заинтересованных организаций. Никаких комис-

сий не создается. 2). "Комсомольское Рождество" проводится только в городе, в деревнях не проводится. 3). В комсомольской организации в течение ноября-декабря проводится антирелигиозная научная агиткампания. 4). Никаких карнавалов, шествий и прочего 25 декабря не проводится. Все "Комсомольское Рождество" проводится в клубном порядке, для чего в городах из всех имеющихся партийных, комсомольских, профессиональных и прочих клубов выделяются несколько клубов, в которых проводится "Комрождество"» (Государственный архив в Автономной республике Крым, ф. 1, оп. 1, ед. хр. 266, л. 208–211). Об этом подробнее см.: *Катунин Юрий Андреевич.* Православная церковь и государство: проблема взаимоотношений в 1917–1939 гг. (на материалах Крыма): Дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02 . Симферополь, 2003.

[31] А. В. Кривцова.

103. АНДРЕЮ БЕЛОМУ

6 января 1926 г. Коктебель[1]

Милый Боря, не забывай, что Коктебель тебя ждет всегда. 6/I 1926.

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели.

104. В. А. МАНУЙЛОВУ

8 января 1926 г. Коктебель

8 I 1926. Коктебель.

Дорогой Виктор Андроникович,

с моим стихотворением «Доблесть поэта» произошло недоразумение: я его посылал не для печати, т<ак> к<ак> думал его напечатать в Москве.[1] Это было оговорено на экземпляре, посланном Всеволоду Михайловичу.[2] Но Вы получили «список», в который не бы<ло> внесено это примечание, и поместили его первым из моих стихов. Но пусть оно так и остается. Я передумал. Ему лучше появиться в «Норде», чем в Москве,

где оно будет слишком вызывающим. И кроме того, из всех выбранных Вами стихов оно единственное, за которое я могу ручаться, что оно нигде не напечатано, ибо другие, Вами отобранные, как я Вас (т. е., кажется, Вс<еволода> Мих<айловича>) предупреждал, были напечатаны.[3] Ведь я за эти годы хаоса совершенно оказался вне курса печатанья моих стихов, которые печатались где угодно и кем угодно. Вот просимые Вами даты:

«Virtus poetae»* — 17 X 1925.

«Приляг на отмели...» (из А. де Ренье) 5 V 1911.

«Мы столь различные душою...» 23 VIII 1915 (было напечатано в сборнике «Anno Mundi Ardentis», изданном в колич<естве> 250 экз., разошелся).

«Опять бреду я босоногий...» 16 XI 1919.

«Ступни горят...» 1910 год.

«Так — обнаженный — склонись на четыре» — 11 X 1924. (Но это одна из промежуточных редакций. Надо начать так: «*Выйди на кровлю, склонись на четыре*...» и в последней строфе не «Ты ж унесешь...», а «*Я ж унесу в свое странствие странствий*».)

«Как раковине малой...» 6 VII 1918.

Что касается распорядка стихов, то, на мой взгляд, ввиду несвязанности этих стихов ни единым настроением, ни единым содержанием, то лучше всего расположить их в порядке *хронологическом*.[4]

Концовок Вам и не смог бы выслать, т<ак> к<ак> моя больная рука, позволяющая мне писать акварелью, больше не позволяет мне заниматься *графикой*.[5] «Путями Каина» так книгой и не вышли и не выйдут по цензурным условиям, но ряд глав из этой книги (глав более невинных) был напечатан в «Красной Нови», а глава «Космос» в «Недрах».[6] Буду очень рад, если заедете весною. Но на «несколько часов» не стоит[7] — приезжайте недели на 2 – на 3. До половины июля это никого не стеснит.

Жму Вашу руку.

Максимилиан Волошин.

---

* «Доблесть поэта» (*лат.*)

[1] Отклик на содержавшийся в письме В.А. Мануйлова от 16 декабря 1925 г. перечень стихотворений Волошина, отобранных для публикации в сборнике «Норд». См. примеч. 2 к п. 79.

[2] В.М. Зуммер.

[3] Письма Волошина к В.М. Зуммеру, по всей вероятности, не сохранились. Из стихотворений IV–VII перечня, приведенного в примеч. 2 к п. 79, «Опять бреду я, босоногий...» было ранее опубликовано в берлинском альманахе «Сполохи» (1922. № 4) и в альманахе «Возрождение» (М., 1922. Т. 1), «Ступни горят, в пыли дорог душа...» – в «Вестнике Теософии» (1916. № 10 – под заглавием «К Невидимому Граду»), «Как в раковине малой – Океана...» – в альманахе «Парус» (Харьков, 1919. № 1 – под заглавием «Коктебель») и в альманахе «Свиток» (1922. № 2 – под заглавием «Киммерия»). Стихотворение «Так – обнаженный, склонись на четыре...» (с измененной 1-й строкой: «Выйди на кровлю... Склонись на четыре...») было впервые напечатано в альманахе «Новые стихи» (М., 1927. Сб. 2).

[4] Мануйлов отвечал 23 января 1926 г.: «Что касается порядка, то приму все меры к тому, чтобы выдержать хронологическую последовательность <...>. Указанные поправки внесем, даты поставлены будут в том случае, если решим датировать все стихи сборника» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 432).

[5] В письме от 16 декабря Мануйлов передавал просьбу Зуммера Волошину – подготовить и выслать графические концовки к стихотворениям, намеченным для публикации в «Норде», и добавлял: «...наше денежное положение таково, что надежда на возможность заказать клише очень невелика, поэтому вполне вероятно, что мы от концовок вообще откажемся – лишь бы издать вообще сборник» (Там же. С. 429).

[6] См. примеч. 3 к п. 79.

[7] «Мечтаю весной на несколько часов заглянуть к Вам в Коктебель», – писал Мануйлов Волошину 16 декабря (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. С. 429).

105. С.В. ШЕРВИНСКОМУ

15 января 1926 г. Коктебель

15/I 1926. Коктебель.

Дорогой Сережа, большое спасибо за твое письмо и за отзыв Василия Дмитриевича.[1] Отзыв этот очень успокоил

Марусю и вполне совпал с моими личными домыслами о своем здоровье. «Почки» – были очевидно ложной тревогой. И корень моего артрита, конечно, лежит в каких-то задержках и расстройствах обмена, которые вызывают и склонность к ожирению. Пока организм диетами и гимнастикой справлялся с этими природными недостатками – они не мешали мне. Теперь же естественные средства борьбы стали действовать туго, и мне стало гораздо труднее сбрасывать лишний жир. Должен сказать, что меня лично смущают не столько отеки, сколько сонливое и усталое состояние, которое у меня проходит только в периоды очень строгой молочной диеты. С большой благодарностью воспользуюсь твоим приглашением. Но когда? Первая наша мысль была – поехать сейчас же. Но сию минуту не на кого оставить дом. В феврале же к нам приезжают уже люди: неизвестный мне лично художник В. Андерс с женой[2] и еще какой-то художницей, чтобы работать до начала лета. Тогда, когда в доме будут жить, мы будем свободны. Но тут еще осложнение. Кроме них еще приедет в феврале Надя Домрачева, у которой двойное несчастие: и туберкулоз, и замужество. Последнее должно произойти в конце января,[3] и она немедленно едет к нам поправляться. Ее нельзя будет оставить в Коктебеле, и потому вероятнее всего наш приезд в Москву не сможет осуществиться раньше апреля. Это, может, и к лучшему, т<ак> к<ак> зима, кажется, лютая, а у меня нет ничего зимнего. Все эти осложнения выявились только сегодня утром из полученной корреспонденции. Но во всяком случае этой весной я воспользуюсь твоим приглашением и очень благодарю тебя. Привет Машеньке[4] и глубокая благодарность Василию Дмитриевичу. С Новым Годом!

Макс.

Приписка М.С.Заболоцкой:

Дорогой Сережа, спасибо тебе большое за письмо и ответ твоего отца. Он меня и успокоил и утвердил решение везти Макса в Москву. Готовы были выехать сейчас же, но к нам едут люди и мы должны их дождаться и принять, и, кроме того, у Макса нет ничего теплого, и я боюсь везти его на холо-

да, т<ак> ч<то> верней всего, что раньше конца марта не выберемся из дома. Спасибо тебе за все. Твое приглашение остановиться у вас с радостью принимаем, но боюсь, не стесним ли мы своим присутствием твоих родителей? Возможно, хотя мне так этого не хочется, придется Макса отпустить одного, а мне остаться сторожить дом. Сейчас мы очень связаны приездом к нам людей. Целую крепко Машеньку и тебя. Привет и благодарность твоему отцу. М.

[1] Имеется в виду письмо С. В. Шервинского от 5 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 10), к которому было приложено медицинское заключение В. Д. Шервинского (л. 11): «...тебе, конечно, стоило бы поконсультировать с моим отцом лично. Я уверен, что он сумел бы основательно бороться и с твоим ожирением, которое, по-видимому, он считает основным патологическим в тебе явлением. Когда ты приедешь в Москву, пожалуйста, остановись у нас. И тебе, и Марусе сумеем предоставить необходимый комфорт и будем счастливы обнять вас у себя. <...> в разговоре со мной отец очень одобрительно отнесся к молочной диете».

В своем диагностическом заключении В. Д. Шервинский писал: «Вне сомнения стоит одно патологическое состояние М. А. – это общее ожирение, да и то причина его не совсем ясна; оно началось с юных лет и, стало быть, в организме была заложена основная причина этого неправильного обмена, по всей вероятности, в функции желез внутренней секреции. Эта причина неизбежно должна была оказывать свое влияние на течение и всех остальных патологических процессов в большей или меньшей степени. В настоящее время весь наблюдаемый у М. А. симптомокомплекс может иметь различное происхождение; это особенно относится к отекам и задержанию воды в организме. Само собою разумеется, что это может быть следствием и эмфиземы, и ослабления деятельности сердца, и недостаточной функции почек, и измененной деятельности щитовидной железы. Какой из этих факторов оказывает преобладающее влияние, за глаза трудно сказать; но что они суммируются в своем воздействии на организм, – это вряд ли может подлежать сомнению <...> нужно наблюдение и исследование, а посему было бы наиболее целесообразным все-таки приехать в Москву и подвергнуться тщательному исследованию и установлению как полной диагностики, так и основанного на ней лечения».

[2] Приезд в Коктебель В. П. Андерса и его жены А. К. Щукиной в указанный срок не состоялся (см п. 126).

[3] В письме к Волошиным от 10 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 513, л. 21–23 об.) А. Л. Домрачева сообщила предполагаемую дату бракосочетания дочери – 24 января.

[4] М. С. Шервинская.

106. А. Л. ДОМРАЧЕВОЙ

15 января 1926 г. Коктебель[1]

Дорогая тетя Саша,

крепко тебя и всех твоих обнимаю и поздравляю с Новым годом. Тебе же отдельно желаю полного выздоровления и полного возврата к жизни, к радости и к людям. За Надю очень радуюсь и хочу повидать ее суженого.[2] Поцелуй ее от меня и скажи, чтобы приезжала скорее.

В Москву я поеду лишь на короткий срок. Проф<ессор> Шервинский думает, что моя главная болезнь – ожирение, а его причина – неправильности в железах внутренней секреции.[3] Это мне кажется самым вероятным. Но нужно подробно показаться. Это тем более удобно, что Сережа Шервинский зовет остановиться у них, а его отец главн<ый> авторитет в этой области.

До свиданья.

Макс.

Целую дядю Петю.[4]

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой от 15 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 132, л. 17 об.).

[2] О будущем муже Н. Домрачевой, экономисте Всеволоде Петровиче Грицае (1893–1973), А. Л. Домрачева писала Волошиным 10 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 513, л. 21–23 об.): «...и благообразен, и скромен, и воспитан. Он, конечно, из бывших людей, т. е. интеллигент, с университетским образованием, математик <...> Он настолько серьезно проникся серьезностью Надиного здоровья, что сам настаивает на немедленном отъезде Нади после свадьбы к Вам». О себе А. Л. Домрачева добавляла: «Мое самочувствие улучшается, налаживается, почти нормальная жизнь».

[3] См. примеч. 1 к п. 105.

[4] П. Ф. Домрачев.

107. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

16 января 1926 г. Коктебель

16/I 1926 Коктебель.

Милые мои Наташа и Саша,

С Новым Годом, со старым годом, с комсомольским Рождеством[1] и с православным Рождеством. Мы их всех праздновали по очереди, немного однообразно, но добросовестно. Накрывался стол скатертью в Марусиной комнате. Ставилась бутылка с портвейном (3-тий год), всякие снеди и сласти из посылок, присланных нам, и «Книга Разлук».[2] Празднованье бывало немного грустное и сантиментальное. Под Н<овый> Новый год читали «Книгу Иова» – для настроения и «Книгу Разлук» для души. Под стар<ый> Н<овый> Год старались вспомнить что-нибудь хорошее обо всех «непривившихся» по очереди (Мар<ия> Мих<айловна>,[3] Буткова, Гросманиха[4] и т. д., и т. д.) Главная часть же была всегда накануне, когда Маруся делала генеральную уборку дома на легальных основаниях. Образец таковой в моем кабинете прилагается в виде иллюстрации на отдельном листе.[5] Здесь вся семья. У моих ног Аю. За окном Хна и Тату. Библиотеку моет – Саша.[6] Это были тяжкие моменты. Я работал за письменным столом под зонтиком, в калошах и под непромокаемым плащом.

Вот... Но почему от Вас никаких вестей нет с 12/XII?[7] Или письмо пропало? Почему не приехали на Рождество? Мы ведь ждали многих обещавших.

Ты, Саша, слышал, занимаешься все время живописью и пишешь портреты?[8] Очень радуюсь за тебя и интересуюсь результатами. Вы, вероятно, уже знаете от Шервочек,[9] что я приеду в Москву для врачебного осмотра. Но когда – еще не выяснено. В феврале приезжает к нам Надя Домрачева. У нее острый туберкулоз, от которого она выходит замуж и сейчас же после свадьбы едет в Коктебель (кажется, одна). Словом, вполне «не то ногу сломала, не то замуж вышла».[10]

Еще едет к нам в феврале же и на всю весну какой-то художник[11] с художницей и с женой до лета. Хотели сейчас

ехать – не на кого дом оставить. Вот дождемся их, устроим и при едем.... вероятно, не раньше начала апреля.

Кажется, корень всех моих болезней в органических неправильностях обмена и склонности к ожиренью. Когда я на одном молоке, то чувствую себя совсем молодым, красивым и талантливым. Но чуть поем – хотя бы и очень умеренно – к вечеру уже дряхлею и становлюсь бездарностью. Необходимо это как-то урегулировать. Буду очень рад обнять милых Габричей в Москве. Заранее даю себе клятву никаких стихов в Москве никому и нигде не читать, а только беседовать с друзьями. Крепко вас обоих обнимаю и приветствую всех коктебельцев.

Макс.

[1] См. примеч. 30 к п. 102.

[2] Тетрадь-альбом, в который гости дома Волошина заносили свои отзывы о Коктебеле. Заведена в мае 1924 г., впоследствии утрачена.

[3] М. М. Шкапская. «Непривившиеся» – гости волошинского дома, не вошедшие органически в круг его обитателей.

[4] Серафима Гермогеновна Гроссман (урожд. Айзенгарт) – жена Л. П. Гроссмана, пианистка.

[5] К письму был приложен рисунок Волошина (подпись: М.) с надписью: «Маруся делает уборку Максиного кабинета перед Новым годом. С праздниками!!» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 206).

[6] А. П. Якутина.

[7] Видимо, день получения письма Н. А. Габричевской, отправленного из Москвы 8 декабря 1926 г.

[8] Еще до получения этого письма Габричевский сообщил Волошину в письме от 15 января 1926 г.: «Главное событие в моей жизни: я *каждое* утро работаю маслом»; далее, перечислив и описав семь своих живописных работ, он заключал: «Вот тебе каталог, из которого ты можешь заключить о моем рвении» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 147).

[9] С. В. и М. С. Шервинские.

[10] Фраза восходит к словам Кочкарева в комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» (действие 1-е, явление XVIII): «Да то-то я помню, что-то было: или вышла замуж, или переломила ногу» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. Т. 5. <Л.>: Изд-во АН СССР, 1949. С. 32).

[11] Подразумевается В. П. Андерс (см. примеч. 2 к п. 105).

108. В.Я. ЭФРОН

19 января 1926 г. Коктебель[1]

19/I 1926. Коктебель.

Милая Вера,

с Новым Годом и с минувшими праздниками. Как твоя жизнь идет этой зимой? Знаю, что Тамара[2] у тебя до сих пор. – Не стесняет ли она тебя? Нам пишут обо всех – но о тебе и Мише[3] – полное молчание. Ты, верно, никого не видаешь? Наша жизнь идет в полном зимнем уединении. Живем с глазу на глаз, неделями человеческого лица не видим – одни собачьи морды (у Вас в Москве, вероятно, то же самое – только в переносном смысле).

Люди от нас разъехались лишь в ноябре, а новые приезжают уже с февраля. Дни я провожу за акварелями, ночи за книгами. Чувствую себя счастливым и бодрым. Но весною (в апреле) все-таки придется поехать в Москву, т<ак> к<ак> мои отеки на ногах не прекращаются. Когда сижу на полной диете (4 ст<акана> мол<ок>а в день), то проходят. Но чуть начинаю питаться самым умеренным образом – снова отеки, а потом начинается утомляемость и сонливость. Маруся меня исследовала и результаты посылала отцу Шервинского: одно время у нее была ложная тревога из-за моих почек. Шервинский ее успокоил, но советует все-таки приехать в Москву для исследования. Сережа[4] зовет остановиться у них. Мы, вероятно, этим и воспользуемся. Миша меня звал остановиться у него. Поэтому предупреди его: что мне придется сперва остановиться у Шервинских (это будет удобнее в смысле моего диагноза), а потом мы воспользуемся и его гостеприимством, потому что нам – «для души» хотелось бы немного пожить и там. Как живет Кот[5] и как его здоровье? Что делает Лиля?[6] Как себя чувствует? Крепко обнимаю ее.

Не знаешь ли, где Майя[7] и что с нею? Знаешь ли что-нибудь о Сереже?[8] Крепко тебя обнимаю, целую Кота и Мишу.

Маруся уже лежит в постеле и приветствует тебя.

Макс.

Прилагаю письмецо Тамаре.[9]

1 На конверте – почтовые штемпели: Коктебель. 21.1.26, Москва. 24.1.26.

2 Т. В. Шмелева.

3 М. С. Фельдштейн.

4 С. В. Шервинский.

5 К. М. Эфрон, сын В. Я. Эфрон и М. С. Фельдштейна.

6 Е. Я. Эфрон.

7 М. П. Кудашева.

8 С. Я. Эфрон.

9 См. п. 109.

109. Т. В. ШМЕЛЕВОЙ

19 января 1926 г. Коктебель

19/I 1926. Коктебель. (Почт<овый> адр<ес>).

Милая Тамара, с новым годом! после твоего письмеца перед отъездом из Харькова (15/X) от тебя ни слова! Или ты мне писала и письма не дошли? Как ты устроилась? Где учишься? Чем зарабатываешь? Не нужно ли тебе писем, рекомендаций? Из письма Вар<вары> Дм<итриевны> вижу, что ты живешь у Веры...[1] Не стесняешь ли ты ее? Вообще хочется знать все подробности о твоей жизни, и твое молчание тревожит меня. У нас все тихо и благополучно и более уединенно, чем прошлые зимы, т<ак> к<ак> Иос<иф> Викт<орович>[2] все время остается в Феодосии в ожидании операции, а Успенки[3] заняты службой, у Богаевских – умерла его мать,[4] больна тетка и т. д. Словом, мы никого с осени не видали и в городе не были, ни к нам никто не приезжал. В феврале ждем Надю Домрачеву. Она заболела туберкулезом, поэтому выходит замуж и после свадьбы приезжает к нам – одна. В апреле я приеду в Москву показаться врачам и остановимся у Шервинских. Позируешь ли ты у художников? Не забудь, что в этом отношении тебе может помочь и рекомендовать тебя Кандауров, если он уже вернулся из Туркестана. Вообще напиши мне подробное письмо о себе и обо всех коктебельских друзьях, которых ты видаешь. Что делается в Ялте?[5] Крепко тебя обнимаю, целую и желаю всего лучшего. Была ли ты у Луначарского?[6]

Маруся тебя крепко целует и приветствует.

Макс.

[1] В. Д. Финкельштейн и В. Я. Эфрон. В письме к Волошину от 29 декабря 1925 г. Финкельштейн сообщала, что Тамара Шмелева «сейчас занята: за обед три часа гуляет с Котом» — К. Эфроном, сыном В. Эфрон и М. С. Фельдштейна (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1228, л. 35 об.).

[2] И. В. Зелинский.

[3] В. А. и Н. В. Успенские.

[4] Александра Михайловна Богаевская (1850-е — 1925), мать К. Ф. Богаевского, умерла в конце ноября 1925 г.

[5] Подразумевается семья Т. Шмелевой, жившая в Ялте: ее мать Л. С. Шмелева и брат В. В. Шмелев, тетка — Е. С. Лямина.

[6] Волошин ходатайствовал перед А. В. Луначарским о содействии Т. Шмелевой в получении ею образования в Москве. См.: Т. 12 наст. изд. С. 755–756.

110. Н. П. ДОМРАЧЕВОЙ

19 января 1926 г. Коктебель[1]

19 I 1926. Коктебель.

Милая Надя,

крепко тебя обнимаю и приветствую на пороге жизни.[2] Пусть судьба тебе принесет жизнь бодрую и открытую и убережет от тесных капканов быта и маленького семейного счастия. Очень хотелось бы, чтобы ты первые месяцы нового строя своего бытия провела в Коктебеле. Это хороший порт для отплытия.

Сознание не сразу отделило твое замужество от твоей болезни. Совсем как у Гоголя: «Не то замуж вышла, не то ногу сломала....»[3]

Я недавно писал Шаронову, прося его прислать мне еще акварельной бумаги. Пожалуйста, зайди к нему перед отъездом: может, он пришлет с тобою.

Ждем. Любим. Радуемся.

Макс.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой от 19 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 131, л. 32–33).

[2] Подразумевается предстоящее замужество. См. п. 106, примеч. 1.

[3] См. примеч. 10 к п. 107.

111. А. В. ДОЛГОПОЛОВОЙ

27 января 1926 г. (?) Феодосия [1]

Дорогая Анна Васильевна, у меня сегодня выдрали оба зуба, так что завтра с утра мы прямо уходим в Коктебель. Приходили проститься и горячо поблагодарить за гостеприимство. Ночевать буду на карантине,[2] где уже сегодня проспал несколько часов и отдохнул.

Максимилиан Волошин.

Приписка М. С. Заболоцкой:

Благодарю Вас за все, дорогая Анна Васильевна, очень печально, что не застали Вас, пришли проститься с Вами, т<ак> к<ак> Макс<имилиан> Ал<ександрович> освобожден от врачей и мы завтра утром уходим домой.

[1] Датируется предположительно по времени совместного пребывания Волошина и М. С. Заболоцкой в Феодосии (приехали около 25 января, возвратились в Коктебель вечером 28 января 1926 г. // Труды и дни-2. С. 289, 290); ср. сообщение об удалении зубов в п. 115.

[2] Феодосийский Карантин – в стенах средневековой генуэзской цитадели; в нем ранее содержались (в течение 40 дней), для предотвращения массовых инфекций, возвращавшиеся из Мекки паломники-мусульмане.

112. А. Л. и Н. П. ДОМРАЧЕВЫМ

29 января 1926 г. Коктебель[1]

Милые тетя Саша и Надя,

вполне присоединяюсь к каждому слову Маруси и особенно настаиваю на том, чтобы Надя сейчас же пошла показаться

к Гехтману, проконсультироваться,[2] не скрывая перспективы замужества и возможности лечения в Коктебеле.

Твое письмо, полученное вчера в момент нашего возвращения из города,[3] нас совершенно переполошило, т<ак> к<ак> мы все время жили в ожидании приезда Нади с часа на час и, по правде сказать, и свадьбу-то ее я понимал только как желание ее жениха *иметь право* немедленно отправить ее лечиться и материально ей помочь в этом.

Мы до глубокой ночи вчера говорили об этом с Марусей и только разводили руками. Ведь *единственное* средство от туберкулоза — это *чистый воздух* и *питание,* когда еще не упущено время.

Крепко вас обоих обнимаю и умоляю призвать весь здравый смысл и взвесить каждое слово Марусина письма.

Большое тебе спасибо за посылку, милая тетя Саша.

Макс.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой от 29 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 132, л. 19 об.) с сообщением: «...только что вернулись из Феодосии, где лечили зубы и пробыли 4 дня. Вернулись и нашли посылку и письмо от тебя. Тетя Саша, спасибо, громадное. Макс уже наслаждался клюквой, завтра сварю ему кисель».

[2] Врач Александр Николаевич Гехтман (1874—?). См. примеч. 3 к п. 96.

[3] В письме из Харькова от 18 января 1926 г. А.Л. Домрачева сообщала о высылаемой посылке с клюквой, а также о положении дел у дочери: «Надюша по-прежнему плохо выглядит, да и чувствует себя неважно, — очень волновалась, держа украинский язык, провалилась, ее сократили, а потом оставили еще на 3 месяца <...> она обещает после 3<-го> месяца бросить службу и ехать к Вам. Свадьбу они отложили на 11 февраля <.. >» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 513, л. 24–24 об.).

113. В. Я. ЭФРОН

1 февраля 1926 г. Коктебель[1]

1/II 1926. Коктебель.

Милая Вера, только что вернулся из Феодосии,[2] где не был с прошлого мая (т. е. до твоего приезда в Коктебель). От Успенских неожиданно получили твою и Тамарину[3] посылку. Спасибо большое. Имей в виду, что в Коктебеле есть теперь зимнее почтовое отделение. Поэтому у нас сношение «оказиями» с городом совсем расстроилось и Успенки почти не показываются, т<ак> к<ак> задушены службой и дневной, и вечерней. Милая Тамара, крепко тебя целую за посылку. Вар<вара> Дмит<риевна> пишет, что твои дела идут лучше.[4] В каком смысле? Я все-таки ничего не знаю о тебе. Если Ц.К.У.Б.У. будет нам аккуратно платить (а вот мы опять ничего не получили за январь), то приедем в Москву на апрель. Вера, напиши хоть несколько слов: как идет твоя зимняя жизнь. Где ты служишь, как поживает Кот[5] и что говорит? Что с Лилей?[6] Крепко целую тебя, Тамару, Лилю, Кота, Мишу[7] за себя и за Марусю.

MAX.

P. S. Не знаешь ли чего о Н. В. Досекине? Где Майя?[8]

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 1.2.26; Москва. 8.2.26.

[2] См. примеч. 1 к п. 111.

[3] Т. В. Шмелева.

[4] В. Д. Финкельштейн. В ее письмах к Волошину и М. С. Волошиной этого времени (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1228) неоднократно упоминается В. Я. Эфрон, но слов, соответствующих приводимым, в них не обнаружено.

[5] К. М. Эфрон.

[6] Е. Я. Эфрон.

[7] М. С. Фельдштейн.

[8] М. П. Кудашева.

114. Б. А. ШПАРО

2 февраля 1926 г. Коктебель[1]

2 II 1926. Коктебель.

Дорогой Борис Александрович, Ц.К.У.Б.У. бывает обычно так аккуратно в высылке денег, что тогда, когда происходит задержка, невольно охватывает беспокойство.[2] В таком состоянии мы сейчас и находимся с Богаевским, не получивши ак-обеспечения за январь месяц. Пожалуйста – успокойте нас и известите – в чем дело. Отсутствие Вашей подписи на последнем переводе (декабрьском) тоже обеспокоило меня. Или Вы в отпуску? Крепко жму Вашу руку.

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на открытке, которая отправлена не была (видимо, по причине поступления ожидаемого денежного перевода).

[2] В письме от 24 ноября 1925 г. Б. А. Шпаро подтверждал Волошину, что он будет получать академическое обеспечение от ЦЕКУБУ (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1312, л. 6–7).

115. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

3 февраля 1926 г. Коктебель[1]

3/II 1926 Коктебель.

Милая Наташа, получили твое письмо от 27/I,[2] а те, что при<ве>зет Ол<ьга> Ник<олаевна>, верно, придут с Успенкой в субботу.[3] О какой Нине ты пишешь? О Нине Кржановской?[4] За что на нее все рассердились. А я только что ей отвечал и звал ее в Коктебель на все лето, как твою любимую подругу, потому что у нас никаких личных отношений не вышло, и я доверял только твоим отзывам о ней.[5] Был в Феодосии только что: дергал зубы. Одно наслаждение. Скоро будут вставлять. Тату – негодяй. Помахал нам хвостом из-за речки, когда вернулись, а домой пришел лишь через 3 часа к ужину. Даже Маруся им возмущена и разочарована. У Аю – чума со-

бачья. В Феодосии все киснут и тухнут. Из Москвы вести не лучше?

Вы были в Петербурге?[6] Что делали? Кого видели? Видели ли Шкапс-Кая?[7]

Как Сашина живопись?[8] Меня приобрели (задаром) музеи: Ростовский, Екатеринодарский, Баку, Петровск, Самара... Очень горжусь. Не сердись, что открытка: теперь почта вздорожала, а Ц.К.У.Б.У. денег опять не присылает. Не знаешь ли, что там такое? Крепко прижимаю к пузу обоих Габричей.

Маруся приветствует.

МАКС.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 4.2.26; Москва. 7.2.26.

[2] Письмо от 27 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 25–26 об.).

[3] Суббота – 6 февраля. Упоминается В. А. Успенский. Ольга Николаевна – неустановленное лицо.

[4] Имеется в виду Нина Владимировна Крыжановская (1895–1979), по профессии машинистка. В письме от 27 января Габричевская упоминает про свой «светский разговор с Ниной» у А. А. Сидорова и о том, что Нине там был оказан холодный прием.

[5] Разговор о Нине Крыжановской Габричевская продолжила в ответном письме от 9 февраля 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 27–27а об.): «Я очень довольна, что ты ей даешь возможность прожить лето в Коктебеле. Я теперь окончательно поняла, что она за человек. Это просто жалкое, потерявшееся в мире после смерти мужа, существо. Мечущаяся душа, вот и все. <...> Ей очень трудно жить одной, без места, имея вдобавок на руках 7-летнего сына. Так что ты не думай о ней плохо, и Маруся тоже».

[6] О поездке в Ленинград четы Габричевских Волошину сообщила Л. А. Аренс в письме от 16 января 1926 г. (Труды и дни-2. С. 289).

[7] Каламбурное сочетание фамилии М. М. Шкапской с названиями коктебельских горных вершин (Кок-Кая, Сюрю-Кая).

[8] См. примеч. 8 к п. 107.

116. Е. Л. ЛАННУ

4 февраля 1926 г. Коктебель

4/II 1926. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

вчерашняя почта обрушила на меня целую лавину корреспонденции и бандеролей, в которой доброй частью я обязан Вашему вниманию. Тут и «Europe», и «L'Esprit Nouveau»,[1] и статья Ваша обо мне.[2] Я еще до сих пор не получил ни одного № из выписанных изданий,[3] и Вы, только Вы, до сих пор снабжаете меня фр<анцузскими> книгами... Но сперва о статье. Я прочел ее с захватывающим интересом, и мне она показалась совершенно правильной. Теория моего «уклона», мне кажется, точно передает действительность. «Поправки» — возможны только в некоторых оттенках и неважных деталях. Вот на что я обратил внимание, и от Вас вполне зависит, вносить ли это, как поправку, настолько все это только детали.

На стр<анице> 2. «Непускаемый в зарождавшиеся декадентские журналы» — это не точно, потому что «Весы» возникли в 1904 г., и я с самого начала работал в них. № 1 «Весов» открывался моей статьей «Скелет Живописи».[4] До этого существовало только Из<дательст>во «Скорпион».[5] С ним я просто не сталкивался и о том, что там было недружелюбие ко мне за мою статью «В защиту Гауптмана» против перевода Бальмонта,[6] я узнал позже, когда, уже подружившись с Бальмонтом в Париже, я приехал в 1903 г. в Москву с письмом от него к Брюсову и С. А. Полякову.[7]

В «Русс<кой> Мысли» мои библиографические заметки появлялись без подписи, от имени Редакции,[8] а не за подписью В. А. Гольцева. И еще из дебютов: в 1900 г., сосланный в Ташкент, я много писал и принимал участие в основании большой окраинной и очень культурной газеты «Русский Туркестан»,[9] основанной Орестом Шкапским, очень ученым и энергичным знатоком края, потом расстрелянным во время усобицы. Эти статьи мои доходили до Москвы и были уже тогда отмечены.

После моей первой статьи в «Весах» я получил сейчас же предложение писать о франц<узском> искусстве в газете «Русь» (С.П.Б.), тогда только основанной.[10] Работа в газете меня очень привлекала: я мечтал о создании в России художествен<ного> фельетона в стиле Теоф<иля> Готье, Франса, St. Victor'a. Мне вскоре предложили и политические корресонд<енции> из Парижа, что было очень нетрудно и сулило мне полную материальную обеспеченность — целое богатство при моих скромных потребностях, но я имел мужество «принципиально» отказаться. В «Весах» меня очень ценили. Брюсов, помню, мне пророчил тогда будущность «русского Уайльда» (в смысле парадоксальной критики). Но я сам постепенно начал отходить от «Весов», всем существом протестуя против развязного и хлесткого полемического тона, который там стал укореняться. В газете я чувствовал себя свободнее, до тех пор, пока сам не проехал в Петербург и не понюхал редакционного воздуха, и у меня не захватило дыхание от смрада. Но тогда у меня была теория, что газета — это восточный базар, где рядом с торгашом и ремесленником кувыркается паяц, декламирует поэт и проповедует дервиш, и что там я больше сохраняю свою независимость, чем в товарищеской кампании художественного кабачка, каким является всякая «Petite Revue».*

В 24 году незадолго до отъезда из Коктебеля Брюсов[11] мне напомнил нашу работу в «Весах»: — «Я ценю в Вас, Макс<имилиан> Алек<сандрович>, что Вы, несмотря на то что у Вас была полная возможность стать блестящим критиком в стиле Ос<кара> Уайльда, сами от нее отказались и остались только "поэтом". — Для этого нужна выдержка».

К стр<анице> 12. Второе издание «Демонов глухонемых»[12] появилось в Берлине с моего разрешения. Без разрешения и ведома появилась книжка «Стихи о терроре»,[13] где нелепо соединены стихи из «Неопалимой Купины»[14] и из «Путями Каина».[15]

К стр<анице> 13. Биографические данные, мне кажется, лучше было бы начать новой главой.

---

* Маленький обзор (*фр*), здесь – маленькая газета, газетенка

Моя мать росла с 7-мью братьями.[16]

К стр<анице> 14: с базара я вел не няню, а *кормилицу*: я еще не умел говорить и указывал жестами. После Пушкина и Лермонтова – Некрасов.

К стр<анице> 15. Один из этих чабанов-татар с Яйлы[17] сейчас оказался у власти, и его заступничество за меня спасло мой дом в критический момент от конфискации. (Узнал — этой осенью...) «Волошина – поэта? Да мне его показывали, когда он еще гимназистом был...».

В биографических данных — нет ли лишнего? Напр<имер>, имена Вяземских[18] и т.д. Спрашиваю потому, что не знаю Ваших намерений и не знаю, что Вам понадобится. По-моему, те детали, которые не понадобятся в дальнейшем, упоминать не стоит, только загромождают основной рисунок статьи. Но я здесь не судья, не зная продолжения, которое интересует меня несказанно. Очень мне понравилось определение редактора и его роли.[19] Только в действительности таких не встречается. Я не встречал людей более невежественных, чем русские редактора. Но не следует забывать, что никто не поставлен в более удобное положение, чем они, для *всестороннего* выявления своего невежества.

Кстати: на днях я получил письмо от моего севастопольского приятеля — поэта Игоря Николаевича Дмитревского,[20] теперь живущего в Москве, письмо, где он сообщает, что он закончил большую статью обо мне, которую печатает в альманахе, издаваемом «Совр<еменными> Проблемами» под редакцией Русова. Я ему написал о Вашей работе и дал Ваш адрес. Его адрес: Арбат, Плотников пер., 21, кв. 4., на тот случай, если Вы друг другу понадобитесь или заинтересуетесь взаимно работой. Он в 1924 г. мне говорил, что собирается писать обо мне, но потом как в воду канул, и вот недели 2, как вдруг откликнулся. Статьи его я не знаю. Если столкнетесь — напишите мне Ваше впечатление. Он мне симпатичный и милый человек.

Большое спасибо за книгу Анкетиля «Le Satan conduit le bal».[21] По своей литературной форме, по идеям и стилю автора она так же лубочна и нестерпимо безвкусна, как ее обложка и ее заглавие.

И тем не менее я прочел ее с захватывающим интересом, как ни одну книгу, благодаря ее цитатам и документам. Там много масла в огонь моей неприязни к послевоенной и вообще политической Европе. Конечно, я ни в одной книге не нашел бы такого сконцентрированного материала о Европейском варварстве. И там есть ссылки на несколько книг, меня очень заинтересовавших. Кстати о книгах... Меня очень заинтересовал «Almanach des Lettres Françaises et Étragès» (De Leon Treich) (Ed<iteur> Crès).[22] Он был издан на 1925 г., кажется, в трех томах. Существует ли он на 26 год? Это, судя по отзывам, кажется, очень серьезное и исчерпывающее издание. Стоит ли его выписать? Не видали ли Вы его? Автор — очень обстоятельный, доскональный библиофил, судя по его статье в «Les Nouvelles Littéraires».[23]

Вы ничего не пишете о книжн<ой> секции Ц.К.У.Б.У. и о том втором листе заказов книжных, что я послал через Вас?[24] Получили ли Вы? Выписали ли мне они и что? Я ничего не имею от них.

Сколько я должен Вам за журналы? Меня несказанно обрадовал «L'Esprit Nouveau». Он очень отвечает мне. Какая досада, что он прекратился. Там вся группа моих друзей.

Не помню, писал ли я уже Вам, что я, вероятно, приеду в апреле показаться врачам?[25]

Недавно я получил предложение Бакинского Университета прислать туда мою монографию о Сурикове как диссертацию на соискание степени д<окто>ра Искусств.[26] Я ответил на это сначала только недоуменным отказом. Но проф<ессор> Зуммер, мой заочный друг по переписке, продолжает на этом упорно настаивать, ссылаясь на пример Вяч<еслава> Иванова,[27] и немного поколебал мое первоначальное отрицательное отношение. Что Вы об этом думаете? Мне – не кончившему университета – защищать диссертацию? Нет ли в этом развязности и наглости современного стиля? Вяч<еслав> Иванов — другое дело: он представлял диссертацию о тессарах на латинском языке, написанную под руководством Моммзена...[28] Брр...р...р... даже подумать страшно. А вдруг экзаменовать начнут? Все это очень лестно, но, по-моему, с моей стороны просто нахальство.

Ну, спасибо за все. Сейчас лягу в постель и буду читать прислан<ные> журналы... Маруся хохочет одна в соседней комнате: она вспомнила шараду с солитером, когда Вас вывели из гроба вместо меня...[29]

Крепко Вас обнимаю. Привет Александре Владимировне.[30]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 28 января 1926 г. Ланн сообщал Волошину: «На днях высылаю Вам, вместо “La Revue Universelle”, от выписки которого я отказался, ибо, ознакомившись ближе с журналом, решил, что он неинтересен <...>, – за ½ года истекшего “L’Europe” и несколько №№ 1924 года “L’Espit Nouveau”, каковой в 1924 г<оду> скончался. Журнал был интересный, как Вы увидите» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 92). Упоминается “L’Espit Nouveau”, журнал, освещавший вопросы искусства и науки (Париж, 1920–1925).

[2] Отклик Волошина на письмо Е. Л. Ланна от 28 января 1926 г., в котором сообщалось: «Посылаю Вам первую главу о Вас – экспозицию в книжку, каковую я обдумываю параллельно с другой работой. Этот историко-литерат<урный> экскурс написан мною нарочно сухо – внешняя “история” Вашей судьбы, в которой по-своему (быть может, и неверно) постарался выяснить для себя проблему “захлопывания дверей”» (Там же. С. 91–92). В этом же письме Ланн сообщал Волошину: «Сейчас узнал, что Союз поэтов решил издать мой доклад брошюрой. Если, “по независящим обстоятельствам”, препятствие не встретится, она будет издана в марте – апреле» (Там же. С. 92). Речь идет об издании: *Ланн Е.* Писательская судьба Максимилиана Волошина / Обл. работы Н. П. Феофилактова; портрет М. Волошина работы Эжена Зака. М.: Издательство Всероссийского союза поэтов, 1927 (на обложке 1926).

[3] См. п. 95.

[4] Статья Волошина «Скелет живописи» была опубликована в № 1 журнала «Весы» за 1904 г. (С. 41 – 51). См.: Т. 5 наст. изд. С. 7–16.

[5] Символистское издательство «Скорпион» возникло в 1899 г.

[6] См. примеч. 15 к п. 3.

[7] Речь идет о пребывании Волошина в Петербурге в январе 1903 г. См.: Труды и дни. С. 107. 25 декабря 1902 г. / 7 января 1903 г. К. Д. Бальмонт писал В. Я. Брюсову: «Податель сего письма, Макс Волошин, да внидет в дом Ваш, приветствуемый и сопровождаемый

моей тенью» (ЛН. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. М.: Наука, 1991. Кн. 1. С. 147. Публ. А.А. Нинова).

[8] Известна статья Волошина «“В старых стенах, повести южных берегов” А. Воротникова», опубликованная без подписи в «Русской мысли» (1900. № 4). См.: Т. 5 наст. изд. С. 275–276.

[9] О публикациях Волошина в газете «Русский Туркестан» см.: Т. 5 наст. изд. С. 288–360, 762–776.

[10] Волошин начал сотрудничать с ежедневной петербургской газетой «Русь» в 1904 г. Об этом см. его письмо В.Я. Брюсову от 9/22 апреля 1904 г. и примеч. к нему (Т. 9 наст. изд. С. 121–124).

[11] О пребывании В.Я. Брюсова в Коктебеле летом 1924 г. см. воспоминания Волошина: Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 334–339. Брюсов уехал из Коктебеля 28 августа 1924 г. См.: Труды и дни-2. С. 236.

[12] Речь идет о переиздании книги стихов Волошина «Демоны Глухонемые» Книгоиздательством писателей в Берлине в 1923 г. Более подробно: *Давыдов З.Д., Шварцбанд С.М.* «...И голос мой – набат». О книге М.А. Волошина «Демоны глухонемые». Pisa: ECIG, 1997.

[13] Речь идет об издании: *Волошин М.* Стихи о терроре. Берлин: Книгоиздательство писателей в Берлине, 1923.

[14] См. примеч. 5 к п. 73.

[15] См. примеч. 6 к п. 73.

[16] Дядья Волошина: Глазеры Григорий Оттобальдович (1842–1900), Андрей Оттобальдович (1843–1870), Владимир Оттобальдович (1845–1908), Борис Оттобальдович (1846–?), Николай Оттобальдович (1853–1925), Ипполит Оттобальдович (1855–1873), Александр Оттобальдович (1860–1917).

[17] Неустановленное лицо.

[18] Имеется в виду семья О.П и Е.Д. Вяземских.

[19] В последней опубликованной редакции работы Ланна о Волошине содержатся размышления: «Редактор среднее арифметическое между писателем и читателем. Редактор – не только профессия. Знать, *что* читателю нужно и *как* ему это нужное подать, быть ниже своего писательского паритета и сохранить чистоту своей редакционной линии, найти идеальный поправочный коэффициент, никогда его не опускать, уметь в читателя перевоплощаться и ставить предел писательской приспособляемости, считаться только с “нормальным” сознанием масс и в каких-то дозах прививать сильнодействующие яды, владеть секретом золотого сечения среды и эпохи и выправлять писательскую резвую руку, занятую графическими экзерцициями, – вот описательно лицо редактора, вернее проекция лица на холсте, который еще не соткан» («...Темой моей является Рос-

сия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 133).

[20] Речь идет о недатированном письме И. Н. Дмитревского и его признаниях: «...я так долго не писал Вам и так давно с Вами не виделся, что по первым строкам Вы не узнаете, кто Вам пишет. Но я дал себе слово не писать Вам до тех пор, пока не напишу и не напечатаю о Вас статью или монографию. В свой прошлый приезд в Москву Вы сказали мне, что я понимаю Вас лучше и ближе, нежели все, кто до сих пор о Вас писал, а писали сбивчиво и неполно. Я решил восполнить этот пробел и загладить эту несправедливость. Вы, наверное, не забыли, что я тогда же сказал о моем желании написать работу о Вас и Вы посоветовали мне сдать ее в “К<расную> Н<овь”, но перемены, произошедшие там, остановили меня в самом начале. Но в первые месяцы прошлого года я написал эту работу; весь год употребил на то, чтобы ее пристроить, и, к сожалению, натыкался или на упразднение “избиенного журнала”, или на требование литературной эквилибристики и предложения прыгать с трамплина в область критики. Этого я не могу. Кроме того, у меня очень неудачно сложились личные дела; в октябре я был в Крыму, т. е. близко от Вас, немного пришел в себя, но до Вас добраться не мог. Вернувшись в Москву, я очень быстро сравнительно устроил статью о Вас в альманах, который будет выходить под редакцией Н. Н. Русова, при из<дательст>ве “Современные проблемы”. Альманах безгонорарный, но выйдет непременно. Материалы к 1-му № уже сдаются в цензуру, в том числе и моя статья. Вам, конечно, не безынтересно ее содержание и чтобы дать о нем представление, прежде всего, скажу, что выходит она под эпиграфом: “Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину” (Герцен). С этой точки я рассмотрел Ваше творчество за тридцать лет, исследуя все время изменения формы и содержания (тем) одновременно: сначала от поклонения западу к разочарованию в нем и негодованию на его культуру и новую веру в Восток. Затем — к России, “издревле революционной”. Название статьи: “Поэт революционной России» — вполне оправдывается тем презрением, благодаря которому единственный Вы угадали русскую национальную стихию — бунт, мятеж, революцию “неизбывную”, а в “России” провели резкую до грубости черту справедливого отмежевания от “европейца”. — Но все равно всего здесь не скажешь, не расскажешь, как я отделил раннего Волошина от символистов, как доказал цельность Вашего творчества за все тридцать лет, как проследил Вашу любовь к России, начиная от Ваших “эстетических” стихов и кончая, простыми вескими словами последних дней и их

мерным стихом. Люди, которые любят Вас, хвалят статью и находят ее очень удачной и полной; по ней я буду делать в ближайшее время два доклада: в ЦКУБУ и в О.Л.Р.С. <...> В альманахе она печатается вкупе со стихотворениями Рукавишникова, Кузнецова, моим романом в стихах "Чудак", статьями Цинговатова, Русова и Гиляровского и т. п. Будет очень хорошо, если Вы пришлете для напечатания два-три стихотворения в ближайшее время (прислать можно мне)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 503, л. 1 – 1 об.). Издание, о котором идет речь в письме И. Н. Дмитревского, не состоялось. Позже в недатированном письме Дмитревский сообщал Волошину: «Статью о Вас я перерабатываю очень тщательно в связи с новым ее назначением и новой для меня ситуацией. Если буду сам вполне ею удовлетворен, на днях же понесу Воронскому. В связи со всем этим буду с нетерпением ожидать Вашего возвращения из Питера» (Там же, л. 2–2 об.). Последнее упоминаемое письмо Дмитревского, возможно, написано в период пребывания Волошина в Ленинграде в марте 1927 г.

[21] См. п. 102, примеч. 27.

[22] Речь идет об издании: Almanach des Lettres Françaises et Étragès (Paris, Georges Crès, 1924); вышло два тома (I – январь – март, II – апрель – июнь). Руководил изданием французский журналист, писатель Léon Marie Joseph Eugène Treich (1889–1974).

[23] Какая именно статья имеется в виду, не установлено. Léon Treich регулярно публиковал небольшие статьи в разделах «Échos et information» и «Faits divers» журнала «Les Nouvelles Littéraires». См. примеч. 24 к п. 3.

[24] См. п. 102.

[25] Планируемая Волошиным поездка не состоялась по причинам, которые М. С. Заболоцкая объясняла в письме А. П. Остроумовой-Лебедевой 24 февраля 1926 г.: «Мы никуда не едем <...>. Не едем по многим причинам. А главное, Макс чувствует себя хорошо, и значит, прямой необходимости нет ехать» («Дом Поэта» Максимилиана Волошина / Публ. А. Сергеева и А. Тюрина // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 17. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1994. С. 320).

[26] Речь идет о письме В. М. Зуммера от 3 декабря 1925 г. с предложением: «И еще: защитите в Баку диссертацией на доктора истории и теории искусств – Сурикова ли, Сарьяна ли. Подумайте!» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 578, л. 3 об.). Зуммер продолжал настаивать на идее защиты докторской диссертации Волошиным и в письме от 22 января 1926 г.: «Я не решился бы предложить Вам то, что предлагаю, не будь у меня перед глазами примера – Вячеслава. Разве он не приемлет единственную квалификацию – поэта? Разве

он – не бродит тропинками? Вы тончайший знаток искусства, не только в России, быть может. Зажегши светильник, не ставят его под стол. Проблема ясна для Вас, как и для него: и что из того, что Вы или он кончили или не кончили. И ему как Вам стало возможно быть в литературе, – и он ушел в науку. Почему бы не уйти и Вам? <...> Ваш Суриков, Ваш Сарьян? В моем дружестве – прямая корысть: я хочу это знать, видеть это напечатанным, на это ссылаться. <...> Ученое звание ничего не прибавит, конечно, к Вашему удивительному чувству искусства <...>, но если это даст возможность протащить Вашу работу в "Известия Азербайджанского университета"; если это обеспечит Вам возможности дальнейшего углубления в научную работу, если это заставит считаться с Вами, как с научным работником, – разве это не *нужно* сделать? <...> Я не тороплю Вас с этим, — пока что Вы просто привыкайте к таким мыслям, – и понемногу буду здесь поговаривать, подготовлять почву: это ни к чему Вас не обяжет. И хорошо бы, если бы сюжеты Ваших возможных чтений, – а то и тезисы коротенькие, – Вы мне на всякий случай прислали» (Там же, л. 4–6). И далее в своих письмах Зуммер продолжал убеждать Волошина: «Германские эстетические теории, магистерский экзамен и прочее – не нужны. А нужно, чтобы Вы однажды написали – покуда персонально мне – обзор своей художественно-исследовательской деятельности и список печатных работ» (25 февраля 1926 г.) (Там же, л. 7); «То, что случилось с Вашей монографией о Сурикове, – конечно, как нельзя лучше. И конечно, представить печатную диссертацию – несомненный плюс» (5 апреля 1926 г.) (Там же, л. 8).

[27] Речь идет о защите Вяч. И. Ивановым докторской диссертации «Дионис и прадионисийство» на кафедре классической филологии Бакинского университета в 1921 г. Отдельное издание: *Иванов Вяч.* Дионис и прадионисийство. Баку: 2-я Гос. тип., 1923.

[28] См. примеч. 4 к п. 117. В письме Волошина упоминаются tesserae (*лат.*) – дощечки для письма, древние письменные источники.

[29] Возможно, М. С. Заболоцкая вспоминала одну из традиционных коктебельских постановок, которые устраивались 17 августа в день именин Волошина. «Гробом» называлась уборная, расположенная на задворках дома, куда постоянно выстраивались очереди.

[30] А. В. Кривцова.

116 а. В. Г. УСПЕНСКОЙ

4 февраля 1926 г. Коктебель[1]

К нам уже в феврале приезжают в этом году гости, но люди нам не знакомые, и мы еще не знаем, как они привьются. (Художник Андерс с семьей, направленный к нам Об<щест>вом Полит<ических> Каторжан[2]). В Феодосии живет и нас навещает – Ваш кузен, которого Вы не знаете – Владимир Александр<ович> Успенский, прекрасный человек,[3] который, конечно, тоже сделает все что возможно для Вашего сына.[4]

Положение, следовательно, такое: нам необходимо съездить в Москву.[5] Раньше половины марта мы не можем уехать, но можем задержаться и до начала апреля. Хотите прислать сына до нашего отъезда, чтобы мы его устроили и оставили? Или предпочитаете, чтобы он приехал во второй половине мая, когда и погода становится жаркой и жизнь хозяйственная у нас в доме налаживается? Не забывайте, что Коктебель – не южный берег и что здесь апрель холоднее, чем в Москве. Всю весну здесь дуют холодные бризы.

[1] Приписка на черновике письма М. С. Заболоцкой В. Г. Успенской, датированного этим числом. Черновик письма М. С. Заболоцкой содержит правку, сделанную рукой Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 138, л. 1–2).

[2] В. П. Андерс и А. К. Щукина.

[3] В ответном письме от 17 февраля 1926 г. В. Г. Успенская спрашивала: «Если напишете мне словечко, то напишите, какой Владимир Александрович, чем он занят и вообще хоть что-нибудь. Я его видела крошечным ребенком» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 252, л. 2).

[4] Речь идет о сыне В. Г. Успенской и Б. В. Савинкова – В. Б. Успенском. 17 февраля 1926 г. Успенская сообщала М. С. Заболоцкой: «Виктор решил ехать в Ваши края. Теперь мы будем добывать необходимые для жизни деньги – это все же займет некоторое время, и как только этот вопрос уладится, мы Вам напишем точно, когда он приедет» (Там же, л. 1). В. Б. Успенский приехал в Коктебель в начале марта 1926 г. (См.: Труды и дни-2. С. 294).

[5] Эта поездка в 1926 г. не состоялась. См. п. 185.

117. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

9 февраля 1926 г. Коктебель

9/II 1926 Коктебель.

Милый Саша, спасибо за письмо, за внимание и за память о моем «Сурикове».[1] От Юона я ничего не получал, хотя до тебя еще получил извещение, что он собирается писать мне. Мне об этом писал художник Виктор Андерс[2] — заочный знакомый, который собирается в Коктебель в текущем феврале до лета. Вот этот приезд и приезд еще двух лиц так осложняют дело нашей поездки в Москву, что я не думаю, чтобы нам удалось выбраться раньше апреля: сейчас не на кого дом оставить — надо дождаться приезжающих, познакомиться с ними и поручить им принять остальных, а кроме того мне надо докончить сложную операцию с зубами, что я начал в Феодосии... — словом, дай Бог, чтобы мы оказались свободными в самом конце марта.

Таким образом, я никак не могу ручаться, что смогу быть в Москве к 19 марту. Да и по твоим же словам не вижу, чтобы мое участие в Суриковских торжествах было необходимо и настоятельно желанно для «Комитета»... Другое дело — издание моей монографии... Ее — я бы издал с большим удовольствием... Но ты сам пишешь, что желающих не находится... Но вот одно предложение, которое я получил относительно ее, и о котором хотел бы с тобой посоветоваться.

Мой приятель (по переписке) — проф<ессор> Зуммер (Айзербеджанск<ого> университета) — археолог, историк искусства, друг Вячеслава Иванова, совершенно неожиданно и очень настойчиво предлагает мне представить ее в Бакинский университет, как научную работу на доктора искусств, и напечатать ее в Айзербеджанских научных известиях и даже предлагает кафедру по новому искусству.[3] Из этих трех предложений меня больше всего интересует второе, хотя это опубликование будет, вероятно, безвозмездно.

Но он очень настаивает на первом — т. е. на представление ее как докторской диссертации. Несмотря на то, что я его предупреждал, что я не только не имею университетского

диплома, но и вне это<го> в своих разнообразных работах по искусству следовал лишь личным фантазиям. И никогда не проходил никакой академической дисциплины, так что ссылаться на пример Вячеслава мне нельзя никак, потому что он-то, не имея дипломов — фактически прошел всю университетскую дисциплину под ферулой Момзена in persono и написал диссертацию на латинском языке...[4] Мне бы этот шаг самому и в голову не пришел, но при его настоятельности я теперь думаю, надо ли от этого отказываться, имея в виду то время, когда меня, наконец, окончательно выгонят из Коктебеля. Ни литература, ни публичные лекции для меня, очевидно, не будут тогда возможны. Но будет возможность связаться с каким-нибудь отдаленным Университетом (хотя бы с тем же Баку)... Одним словом, напиши мне, как на твой взгляд — будет ли это большой наглостью с моей стороны? и что для этого по нынешним временам требуется?: магистерский экзамен? публичная защита диссертации? Пробные лекции? Научные труды?

Я совершенно не осведомлен в этих порядках и не хочется Зуммера обо всем этом расспрашивать... А также и не хочется пролезать в ряды академических иерархий «по современному», пользуясь случаем... Тем более, что мне в сущности — этого и не нужно..., а выходит: так, на всякий случай. Пожалуйста, напиши мне откровенно, что ты обо все этом думаешь, памятуя, что для меня лично в настоящую минуту интересно одно: зафиксировать печатно, где бы то ни было, текст моей монографии о Сурикове, который вот уже 10 лет лежит под спудом, между тем как все мои «материалы», т. е. беседы с Суриковым, напечатанные предварительно в «Аполлоне»,[5] широко используются всеми его биографами. Напиши мне об этом теперь же, не дожидаясь нашего свиданья в Москве, т<ак> к<ак> я, верно, буду на этой неделе иметь письмо от Зуммера и хотел бы ему ответить, лишь получив твой ответ.

Очень радуюсь за тебя и за твою живопись.[6] По-моему, это самое целительное занятие для *писателя* по нынешним временам. Поэтому Богаевского я все уговариваю попробовать писать стихи. На него, как на художника, это должно действовать так же великолепно, как на нас — живопись. Я его только что видел — он в спешной заказной работе, но раздав-

лен семейными болезнями, смертями (мать) и безденежьем. Надеюсь твои картины повидать весною в Москве.

Смерть Есенина очень потрясла.[7] А после того, как на его плечи взвалили и всероссийский памятник, и музей, и библиотеку,[8] стало его совсем жалко. Куда же это все бедному талантливому мальчику выдержать? Все это настолько не в пропорциях очень скромной в увековеченьях памяти рус<ской> литературы, что лучше прямо осиновый кол вбить. Ведь его лишают этим возможной симпатии следующих поколений. Покойники в могилах вызревают постепенно для памятников.

Итак, относительно Сурикова: если я, приехав, – застану еще его выставку, и комитету *понадобится* мое выступление, то я, конечно, из уважения к памяти Вас<илия> Иван<овича> не откажусь прочесть о нем.

Крепко обнимаю тебя и Наташу. О текущих делах пишу ей.[9]

МАКС.

[1] Имеется в виду монография Волошина «Суриков» (Т. 3 наст. изд. С. 363–451). 15 января 1926 г. Габричевский писал Волошину: «...19 марта юбилей Сурикова. Я уже тебе в непосланном письме писал о своих переговорах с Юоном: 1) об издании твоей монографии, 2) о твоей речи на торжествах (мой проект). <...> Сегодня я возобновил эту беседу с Никольским, председателем юбилейного комитета <...> относительно первого вопроса, об издании, он считает его безнадежным: деньги, иллюстрации и т. п., что касается второго вопроса, он мне сообщил следующее: в первый день – торжественное заседание, на нем речи: 1) Луначарский – временем не ограничено, 2) Д. П. Кончаловский – С<уриков> как историк; Никольский – С<уриков> и старые мастера (по 20 минут). <...> Второй день – открытие выставки. Н<икольский> считает твое участие очень желательным, но боится, что в первый день это не удастся за недостатком времени, так что лучше при открытии выставки. <...> О монографии я еще буду говорить с разными лицами, о твоем выступлении я буду предпринимать шаги не раньше, чем получу от тебя инструкции, или когда ты сам спишешься с Никольским» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 148–149).

[2] В письме к Волошину от 10 января 1926 г. В. П. Андерс сообщал: «Сегодня на выставке “Маковец” мы встретились с К. Ф. Юоном

и от него узнали, что он собирается Вам писать по поводу Вашего участия в юбилее Сурикова» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 179, л. 3).

[3] См. примеч. 26 к п. 116.

[4] Вяч. Иванов в 1886–1891 гг. занимался римской историей в ее экономико-юридических аспектах в Берлинском университете под руководством Т. Моммзена и О. Гиршфельда; в результате этих штудий им была подготовлена диссертация «Общества государственных откупов в Римской республике», изданная в 1910 г. в Петербурге на латинском языке («De societatibus vectigalium publicorum populi Romani»).

[5] Речь идет о статье Волошина «Суриков (Материалы для биографии)» (Аполлон. 1916. № 6/7. С. 40–63; Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 560–591).

[6] См. примеч. 8 к п. 107.

[7] Отклик на слова Габричевского в письме от 15 января 1926 г.: «Как ты воспринял смерть Есенина, стихи, написанные кровью, и все остальное. Должен сознаться, что мелодраматичность всего этого произвела на меня очень сильное впечатление, “судьба русского поэта” и т. д., но почему-то это быстро сгладилось. М<ожет> б<ыть> потому, что это совпало с суетой Нового года» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 148. Формулировка «судьба русского поэта» отсылает к строке из стихотворения Волошина «На дне преисподней» (1922): «Темен жребий русского поэта» – Т. 1 наст. изд. С. 347).

[8] В начале января 1926 г. Правление Всероссийского Союза Писателей сформировало комиссию по увековечению памяти С. Есенина (С. Борисов, М. Козырев, В. Львов-Рогачевский, Б. Пильняк, А. Свирский). Организационное собрание состоялось 1 января: «Председатель собрания А. И. Свирский предложил следующий план увековечения памяти Сергея Есенина: переименовать деревню, где родился Есенин, в деревню его имени и основать там нардом или избу-читальню имени поэта. В Москве и Ленинграде — создать приют для беспризорных им. С. Есенина, открыть его уголок при Доме Герцена, назвать одну из улиц его именем и открыть библиотеку имени поэта» («Увековечение памяти С. Есенина» // Вечерняя Москва. 1926. № 2, 4 января. С. 2). Кроме того, сообщалось, что «на могиле поэта, на Ваганьковском кладбище, будет сооружен надмогильный памятник, представляющий из себя громаду дикого камня, над которым будет возвышаться голова поэта. Памятник будет сооружен на средства, собираемые комиссией по увековечению памяти поэта, талантливым скульптором из рабочих Саратовской губ. *тов. Цаплиным*» («Увековечение памяти поэта С. Есенина» // Правда. 1926. № 6, 8 января. С. 2).

[9] См. п. 118.

118. Н.А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

9–10 февраля 1926 г. Коктебель

9/II 1926. Коктебель.

Милая Наташа,

сперва о коктебельской жизни:

Маруся (говорит):

– «Тату – негодяй. Он мне даже не обрадовался – только хвостом из-за речки помахал, когда мы из города вернулись... Впрочем, знаешь, Мася, это потому, что он детей батюшкиных очень любит. Ведь он всегда с детьми рос. Они с ним играют. Это моя вина: я с ним никогда не бываю. Знаешь, я буду в хорошие дни сидеть с ним на террасе и, чтобы он не отвыкал, читать ему вслух Карлейля.

.......Ты знаешь, Тату очень умный: когда я выхожу с едой, он меня не пропускает – одной лапой берет. Он знает, что мне нравится, когда он лапу дает».

Теперь у нас семейное горе: заболел *Аю* чумой. Болен уже недели 3. Но последнее время ему стало очень плохо. Он живет в комнатах и какает на мои акварели. Он очень трогателен. Еле стоит на ногах, но всячески старается выразить собачью преданность. Негодует на Тату за то, что тот уходит из дома, и демонстративно лает на него, когда тот возвращается к обеду. Но теперь ему так плохо, что он лежит у меня под печкой и тихо скулит. Единственный шанс на его выздоровление, что он совсем не породистый. Маруся над ним совсем сбилась с ног, как над больным ребенком: «Ты нас прости, Аюшка, не доглядела я тебя. Не кормила тебя как следует. Бедный, маленький...».

Но дело в том, что ни Маруся, ни я не знаем, как лечить собачью чуму.[1] Мы д<а>ем ему серы и валерьянки, и аконита, и кофе с водкой, и в глаза впрыскиваем протаргол, но, кажется, он не переживет этой ночи. И это очень грустно, потому что он самый честно-собачий из наших псов. Ажина потрясена тем, что его впустили в комнаты, и подлизывает блюдечки с валерьянкой.

Третьего дня я прочел Марусе о том, как д'Аннунцио отнял у Тоде его виллу на Гардском озере и завладел его бумагами и рукописями:[2] «Как? и там не нашлось ни одного мужчины, чтобы дать ему в морду? Жаль, что меня там не было. Макс, ты должен ему написать письмо, что он свинья? Ну что же, что не знает? Ты ему напиши, что ты знаменитый русский писатель. Знаешь что: поедем в Италию, чтобы дать ему в морду! Я больше ни одной книги его читать не стану.... Ну, если бы не пустили, я бы ему с аэроплана на голову нагадила...».

Своеобразная мнительность Нины Кр<ыжановской> меня очень удивила, а Марусю изумила.[3] Только относительно «сволочи» и «хамы» – это ты, Наташа, зря.[4] Люди всегда такие, какими мы их хотим. Я предпочитаю – хороших и интересных. Над ними нужно только немного постараться, и они вознаграждают с избытком. А «чужих» вообще быть не может, если знаком больше 5 минут. И ты это, Наташа, знаешь лучше, чем кто-либо. Крепко тебя обнимаю и целую. Спасибо за <нрзб> и за иллюстрации.

МАКС.

10/II утро. Аю еще жив. Маруся разбита бессонной ночью. Целует Вас обоих. Писать не может.

[1] В письме к Волошину от 15 февраля 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 28–29 об.) Н. Габричевская изложила способы излечения собак от чумы.

[2] Речь идет о вилле на озере Гарда в Италии (Гардоне), приобретенной в 1910 г. немецким искусствоведом Генрихом Тоде (Thode; 1857–1920) и конфискованной во время Первой мировой войны; после этого она была передана, как подарок от государства Италия, в собственность Габриеле Д'Аннунцио, который создал там мемориальный комплекс «Il Vittoriale degli Italiani».

[3] См. примеч. 5 к п. 115.

[4] В письме к Волошину от 27 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 25–26 об.) Н. Габричевская, описав насмешливо и в подробностях облик, одежду и украшения М.В. Дороговой (в гостях у А. А. Сидорова), заключала: «Вы скажете, что я злая и сволочь, пожалуйста, каждый по-своему выражает восторг».

119. А. П. НАЗАРОВУ

12 февраля 1926 г. Коктебель

12/II 1926. Коктебель. Максимилиан Александрович Волошин.

Многоуважаемый Алексей Павлович,

получил Ваше письмо (13/I) и «Проект».[1] Что сказать Вам о нем? Ваш «Проект» – только *пожелание*. С этим пожеланием согласятся миллионы людей... Но вопрос о том, *каким путем* провести эти пожелания в жизнь? – ведь это-то и служит обычным первоистоком человеческого разлада.

Вы мечтаете о «культурном ските», о научном монастыре. Таких скитов русские интеллигенты устраивали много, и они все проваливались, потому что люди, живущие усиленной творческой и духовной жизнью, нервны и неуживчивы. Может быть, Вам попадалась старая книжка С. Кривенко «Культурные скиты и одиночки»?[2] Там рассказано много таких попыток, связанных со стремлением «сесть на землю». Она очень поучительна. В исторической практике монастырей, особливо католических, как будто встречаешь иногда положительные примеры, – но не надо забывать, что там основой была – религия (что филологически и значит «связь») и, кроме того, железная дисциплина и неослабное руководительство. Все это совсем не вяжется со свободной общиной и с «тихой пристанью».

Но я думаю, что в средствах каждого человека в любую эпоху и в любом положении приблизиться к тому, о чем Вы мечтаете. В каждом человеке заключены самые разнообразные возможности: дурные и хорошие. Вполне от нас самих зависит, какими сторонами оборотится к нам человек. Нужно заставлять людей быть лучше, чем они обычно бывают в жизни.

Люди бесконечно пластичны и необык<н>овенно легко преображаются. Именно в тех случаях, когда мы встречаемся с проявлением зла, эгоизма, подлости, с жестокостью, с преступлением, вместо того, чтобы тратить силы на негодование, надо их сосредоточить в молитве за виновного. (Молитва – это заряд воли, который немедленно передается тому, за кого мы молимся).

Для того, чтобы «коммуна» того типа, о котором Вы мечтаете, стала возможной, надо, чтобы ее участники были до глубины проникнуты великими словами: «Каждый пред всеми за всё и за всех виноват».[3] Если будешь чувствовать себя лично виновным за каждый чужой проступок или за общественную несправедливость, то и не осудишь, то есть не будешь создавать той атмосферы, которая способствует укреплению и развитию эгоизма и насилия. В нашем строе жизни ничто не благоприятствует той *круговой поруке*, без которой человеческое сообщество невозможно. С этой точки зрения, например, самый принцип *заработной платы* является глубоко безнравственным. Сработал – и получил плату, оказал безвозмездную услугу – получил благодарность: всё стремится быть погашенным, стать эгоистическим актом между двух. А представьте себе, что то, что Вы дали другому, он отдаст не Вам, а третьему лицу, третий – четвертому и т. д. Вот чем должна быть круговая порука. Поэтому экономический обмен должен быть только Милостыней, а не куплей-продажей.

Но такие (да и вообще все) моральные требования мы имеем право предъявлять только самим себе, а не другим. Только тогда Вы благотворно *преображаете* тех, кто сталкивается с Вами, но каждый остается самим собою. Согласие вовсе не нужно, т<ак> к<ак> общество никогда не строится на согласии, а на противуположении и на неустойчивом равновесии, т<ак> к<ак> всякое устойчивое равновесие – это оцепенение и смерть.

Такими директивами я и руковожусь по отношению к людям. Через мой дом проходит много людей – знакомых и совсем незнакомых – даже слишком много: часто не хватает сил душевных. Приезжайте посмотреть, может, что будет и для Вас интересно. Не приезжайте только в августе – слишком переполненный месяц. Лучше всего в мае либо в июне.

Карадагская станция, куда Вы стремитесь (очевидно, по путеводителю), находится в 5 верстах от меня (через гору). Разница в климате у нас самая незначительная. Все красоты Карадага лежат как раз между нами.

Прежде чем что-нибудь решать относительно Вашего переселения в Крым, Вам надо приехать, осмотреться, узнать

людей, обстановку. Остановиться Вам будет, конечно, всего удобнее у меня. Сегодня узнал, что в Коктебеле нарезают куски земли всем желающим. Что же? Может, и Вам это приглянется? Может, здесь для пчел и окажутся возможные места? В деревне кое у кого здесь есть улья.[4]

Народ здесь хозяйственный, прижимистый и черствый – болгары. С ним холодно и одиноко. (С татарами куда лучше).

Через мой дом проходят не только писатели и художники, но вообще – все, кому нужен юг и у кого нет средств и денег жить на курортах.

В этом году на апрель месяц мне, вероятно, придется съездить в Москву (лечиться – т.е. показаться докторам). Но к половине мая я возвращусь в Коктебель. Во всяком случае, о времени Вашего приезда нужно будет заранее списаться. Мне было очень ценно узнать, что Вы родом из старообрядцев – это сильные и крепкие люди.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме к Волошину («Гражда<ни>ну Поэту-художнику Максимилиану Волошину») от 13 января 1926 г. его автор – крестьянин-пчеловод из деревни Сычево Череповецкой губернии – спрашивал, нельзя ли поселиться «в соседнем Карадаге» («Главнои интирес в том было бы недалеко от вас могли иметь свами частое общение» – сохранены орфография и пунктуация оригинала), и прилагал «проект моей основной задачи»: «Не можете ли с ним познакомить ваших приятелей и знакомых» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 869, л. 4–4 об.). К письму приложен машинописный текст (Там же, л. 5–5 об.), датированный 1 января 1926 г. и озаглавленный «Проект тихой пристани или культурного оазиса “Идеал”»; приводим несколько фрагментов из него:

«Я обращаюсь к тем людям, кто стремится к высочайшим целям. К тому, у кого плачущая психея хочет выйти из губительной атмосферы и пошлой прозы окружающей среды. И создать иную атмосферу и такую обстановку, полную гармонии художественной красоты, но не роскоши, и кто поклонник всем музам искусства и всякого художественного творчества. <...> Пора взяться за совершенное общественное строительство новой жизни, одно из самых величайших искусств строить жизнь и поднять знамя высшей культуры для исцеления и обновления жизни, для создания духовного храма – храма всемирной гармонии и науки. <...>

Предстоит практическая задача у того проекта, создание общими соединенными силами такого поселка или культурного оазиса.

В древности были попытки создания особых скитов, как Пифагорская община. Плотин пытался создать общину или, как говорят, философский монастырь. Но создание абсолютной коммуны задача очень трудная <...> Всего лучше поселиться на южном берегу Крыма и если в восточной части Крыма, то лучше ничего не может, как на Гоарадаге <*так!*>, где может расти кипарис и цвести круглый год левкои. Величественные горы суровой красоты и вулкан, все это важно для поэтического и художественного вдохновения».

[2] Имеется в виду книга публициста-народника Сергея Николаевича Кривенко (1847–1906) «Культурные скиты и культурные одиночки» (СПб., 1895).

[3] Неточная цитата из романа «Братья Карамазовы» (ч. 2, кн. 6, гл. II); в оригинале: «...воистину всякий пред всеми за всех виноват <...>» (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 270). Ср. стихотворение Волошина «Трихины» (1917): «Ты говорил <...> что каждый // За всех во всем пред всеми виноват» (Т. 1 наст. изд. С. 256).

[4] В подборке писем А.П. Назарова к Волошину имеется и его обращение «Российскому о<бщест>ву по изучению Крыма» (9 октября 1925 г. // ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 869, л. 2–3 об.): «Нет ли в Крыму подобной моим идеям трудовой организации. Где бы мне было возможно примкнуть для общей совместной работы и строительства, хотя я человек немолодых лет, все еще могу работать физически, учился по сельскому хозяйству, знаю хорошо молочное хозяйство и пчеловодство».

120. Я.А. ГЛОТОВУ

16 февраля 1926 г. Коктебель.

16/II 1926. Коктебель.

Милый Якс,

Твое письмо опередило А. И.[1] Я получил его сегодня, а А. И. еще застрял в Симферополе и его ждут в конце недели.

Прежде всего о деле: конечно, привози Марью Игнатьевну[2] с детьми в Коктебель хоть на ½ года. Для этого он и существует, и надо торопиться его использовать. Ибо скандал моего бытия здесь рано или поздно будет же административно

пресечен! Если Марья Игнатьевна приедет рано (апрель? май?), то все будет удобно и просто. Мы устроим ее в отдельном домике с террасой, и она может там жить до глубокой осени. Сложнее, если она приедет летом, т<ак> к<ак> комнаты занимаются по очереди приезжающих и мы не имеем возможности охранять подолгу заранее намеченные комнаты: увы, это показал опыт – нам постоянно пишут «сохраните для нас комнату» и не приезжают, а комната стоит пустая, и другим приходится отказывать. Вообще «система безвозмездности» порождает много куриозных недоразумений, но т<ак> к<ак>, судя по всему, и тебе, чем раньше, тем лучше, то все устроится к лучшему. Кровати, столы, табуреты – и прочее дреколье – найдутся, но тюфяки (мешки для соломы), посуду, примус, рукомойник (если таза Коктебельского залива – мало) и проч<ее> хозяйственное надо захватить. Вообще Коктебель мало изменился с твоих времен, если не считать автобусного сообщения и летних мелочных лавок на берегу.

Твоему проекту я очень радуюсь и не только потому, что он мне сулит 3 встречи с тобою в течение лета, но и тому, что мне удастся ближе познакомиться с Марьей Игнатьевной и с твоей детворой, которой здесь (ручаюсь) будет прекрасно.[3]

В смысле питания, вероятно, Марья Игнатьевна всю эту ораву будет обслуживать домашними средствами. Это при летних лавочках и примусе не трудно, но имей в виду, что у нас функционирует летом и «коллективное» питание (75 – 80 к<опеек> обед), имеющее преимущество над всякими столовыми и на<р>питами – добропорядочности и обильности, которым заведуют дамы из наших друзей и гостей.

Что же касается моего прохождения через Ростов весною, то едва ли оно состоится. Я должен был в марте ехать в Москву – «показаться специалистам», но, кажется, не поеду, т<ак> к<ак> чувствую себя хорошо, а поездка будет стоить дорого. А врачебные знаменитости, может, и сами приедут ко мне летом.

Относительно моих акварелей, находящихся в Ростов<ском> Музее, я уже получил оттуда справку – так что, если еще не ходил туда, то и не стоит.

Я очень хочу, чтобы ты познакомился еще с одним моим приятелем, живущим в Ростове, – с Леонидом Эммануилови-

чем Лан<д>сбергом: юношей с очень тонким умом и вкусом, со сложною и интересною духовной организацией, как все калеки.

Я его видел на днях в Феодосии, откуда он родом, дал твой адрес, телефон и просил разыскать тебя. Мы с ним много встречались в годы Революции,[4] и он многое сможет рассказать тебе обо мне и о Коктебеле (но не о текущем). Кроме него, тебя, б<ыть> м<ожет>, еще разыщет мой другой ростовский приятель художник Митя Феодоров, который должен скоро возвратиться в Ростов.

Спасибо за адрес Черешенки.[5] Она пишет, не прилагая адреса. А мне ей хочется ответить.

С большим нетерпением дожидаюсь приезда Ал<ександ-ра> Ив<ановича>, чтобы узнать о тебе и о твоей обстановке. У него семья в Симферополе, и он заехал туда.

В эти уединенные коктебельские зимы, когда весь день как будто принадлежит мне, мне все-таки не хватает времени. Думаю, что это свойство возраста. Время с детства идет все ускоряясь. В детстве и в юности дни очень просторные. А теперь 3–4 акварели, 2–3 письма, десятков пять печатных страниц едва-едва вмещаются в рамки суток. А уж про жизнь в городах и говорить нечего. Мы всегда умели тратить время, но за Революцию сделали громадный скачок вперед в этом отношении.

Адрес Лан<д>сберга: *Ростов/Д.* Казанская ул. 75, кв. 7.

Крепко тебя обнимаю и жду тебя и твоих в Коктебель — чем раньше, тем лучше. А отвечай мне немедля о сроке приезда. Помни, что с апреля здесь уже тепло, а знойно только с июня. Маруся шлет привет тебе и Мар<ье> Игнатьев<не>, и вполне присоединяется к моему приглашению и нетерпению тебя повидать, а всех Вас приютить.

Наш привет Марье Игнатьевне.

Макс.

[1] А. И. Спасокукоцкий (ехавший из Ростова в Коктебель). В письме к Волошину из Нахичевани-на-Дону от 12 февраля 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 425, л. 29 – 32 об.) Я. А. Глотов предполагал, что Спасокукоцкий «уже вернулся в Коктебель и поделился <...> своими впечатлениями о нашем житье-бытье».

[2] М. И. Глотова. В том же письме Глотов просил Волошина приютить его семью летом в Коктебеле.

[3] Приезд в Коктебель Я. Глотова с женой и четырьмя сыновьями состоялся лишь на следующий год, в июне (см.: Труды и дни-2. С. 346).

[4] Первые документальные свидетельства общения Волошина с Л. Э. Ландсбергом относятся к лету 1920 г. (см.: Там же. С. 100, 102).

[5] См. п. 94, примеч. 3.

121. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

18 февраля 1926 г. Коктебель

18/II 1926. Коктебель.

Милая Наташа,

у нас семейная традиция – каждую весну чья-нибудь смертельная болезнь. На этот раз – Аю (слава Богу, что не Маруся!). Т<ак> к<ак> самая теплая комната – моя, то он лежит у меня и вот уже неделю криком кричит от боли. Смешно и стыдно: изводиться (в наши-то дни!) над больным щенком. А можно ли бросить так маленькое страдающее существо, в котором так много со<з>нания и собачьей честности? Отравить? В этом нечестность – не пред ним, а перед своей судьбой. Мы очень изнервничались за эту неделю оба. Маруся все посылает меня: «Ну, пойди – поговори с ним – это его успокаивает». Потом старается пробудить материнские чувства в Хне. Но у Хны разгар романа с Тату. Тату о<б>наружил себя неистовым ревнивцем. Рычит нутряным басом и не пускает Хну в комнаты. К Ажине ходит белый кот от батюшки[1] и врывается в комнаты. Словом, собачьи и кошачьи истории сейчас переполняют нашу жизнь вопреки нашему желанию.

В Москву мы, очевидно, не попадем: прежде всего, не хватит денег. Потом это нет стимула необходимости: я, благодаря диете, чувствую себя очень хорошо. Наконец, не на кого оставить дом (а это вопрос немаловажный), т<ак> к<ак> ни художн<ик> – Андерс, ни Надя Домрачева – никто из тех, кого мы ждали и на кого предполагали оставить дом, – не приедут. А оставить его так – невозможно.

Очень рад, что относительно Нины Владим<ировны> все выяснилось. Я так и подумал, прочтя твое письмо, и сказал Марусе, когда она начала возмущаться: «Источник нуждается в проверке». Я думаю, что ты права вполне в своей характеристике Нины Кр<ыжановской>...[2]

Нет... у нас полный собачий содом в доме: Аю стонет, вскрикивает, падает, а <на> террасе собачья оргия. Я хотел взять Хну к Аю в комнату: Тату ее ревнует даже ко мне; стал между мною и ею и рычит. Черт знает что такое: бэдлам собачий. Маруся глубоко шокирована.

Кстати: знаешь ли ты, что сейчас в Париже «в свете» в большой моде «собачьи свадьбы»? Для жениха <и> невесты (породистых) шьют венчальные туалеты, расшитые драгоценными камнями, fleur-d'orange на невесте, масса приглашенных, молодым сервируется завтрак на серебряном сервизе, а затем в гостиной организуется случка. Вот сегодня у нас совсем как в Париже + умирающий Аю около печки... Тьфу! Тату уже 10 минут рычит под моим окном, как африканский лев. Очевидно, сегодня спать совсем не придется. А тебе и Саше[3] желаю покойной ночи и крепко обнимаю.

МАКС.

Маруся глубоко возмущена моим письмом и говорит: «Фу, гадость какая! Стыдно!»

[1] Священник М. В. Синицын.
[2] См. примеч. 5 к п. 115.
[3] А. Г. Габричевский.

122. М. А. ПАЗУХИНОЙ

22 февраля 1926 г. Коктебель[1]

Милая Марья Александровна, Вы заботитесь всегда о моей работе и спрашиваете, не нужно ли мне что для акварели. Увы! я работаю усердно, быстро и много, и мои краски и бумага тают неудержимо. Так что я *всегда* благодарен за их пополнение. Из красок мне нужнее всего, конечно, «набор» Винд-

зор-Ньютона. А из отдельных — Ультрамарин тюбиков 4—5 иностранных все равно каких (плитки или ванночки или тюбики — безразлично). А из бумаги лучше всего все-таки простая *Александрийская* шершавая. Она и дешевле всего. Спасибо Вам за эту постоянную память о моих живописных нуждах.[2]

[1] Приписка к письму М.С. Заболоцкой от 22 февраля 1926 г. (датировка – по почтовому штемпелю).

[2] В письме от 4 марта 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 927, л. 5–5 об.) М.А. Пазухина обещала выполнить просьбы Волошина в ближайшее время.

123. С.А. ТОЛСТОЙ

25 февраля 1926 г. Коктебель

25/II 1926. Коктебель.

Милая Соня,

сегодня окольным путем (Якушкины[1] – Татаринова) я получил вести о тебе и узнал, что ты собираешься в Коктебель.[2] Если это верно, то очень этому радуюсь. И пишу тебе, чтобы утвердить тебя в этом намерении.

Мне кажется, что для тебя это будет во всех отношениях хорошо и Коктебель сейчас такой, какого ты еще не знала: безлюдный и прекрасный. Мы в Москву (как, было, предполагали) не едем, и потому к нам можно хоть сию минуту. Весна у нас уже началась, а в половине марта будет совсем хорошо. Эта строгая и скупая весна даст тебе много тишины и крепости душевной, а отсутствие людей не будет мешать ни сосредоточенности, ни долгим беседам. Надо ли говорить тебе, что мы весь этот год ждали тебя и что твой приезд будет всегда желанен и радостен.

Крепко обнимаю тебя.

Макс.

[1] Профессор Воронежского сельскохозяйственного института Иван Вячеславович Якушкин (1885–1960) и его жена Мария Федоровна Якушкина (урожд. Татаринова; 1892–1965), знакомая С. А. Толстой.

[2] М. Ф. Якушкина сообщала Волошину в недатированном письме: «Третьего дня ко мне приехала из Москвы моя двоюродная сестра Татаринова, она очень дружна с Софьей Андреевной Есениной и это последнее время с ней не разлучалась. Сестра говорит, что Софья Андреевна очень тяжело переносит смерть мужа. Она совсем не может оставаться одна, и сестра находит, что ее надо как-либо отвлечь от ее мыслей. Софья Андреевна говорила, что хочет ехать к Вам. Как это было бы хорошо. Я уверена, что Вы сумели бы ей помочь» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1364).

124. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

26 февраля 1926 г. Коктебель

Дорогая Анна Петровна.

Очень захотелось, воспользовавшись Марусиной посылкой,[1] послать всем петербургским друзьям акварельные приветы. Не откажитесь раздать тот пакет, что Вам передаст Лида Аренс.

Что кому – надписано на обороте. Мне всегда бывает мучительно стыдно *Вам* дарить свою мазню. Но пусть все примут эти акварели только как пригласительные карточки на лето — не больше. Крепко обнимаю Сергея Васильевича[2] и шлю привет Верховскому, Хлопину, Волжинскому, Анаст<а-сии> Осиповне[3] и всем друзьям, которых надеюсь увидеть в Коктебеле летом. Уговорите Елизавету Сергеевну,[4] чтобы она непременно приехала этим летом.

Получили ли мое письмо, посланное еще 27 ноября?[5] Всего, всего лучшего. Как идет Ваша работа этой зимой?

Максимилиан Волошин.

26/II 1926.

[1] Что точно передавала М. С. Заболоцкая А. П. Остроумовой-Лебедевой, неизвестно. 24 февраля 1926 г. она писала ей: «Простите за коротенькую записочку, что я Вам пишу, и за тот скромный дар,

что Вам передаст Лида <Аренс. – *Ред.*>. Это с коктебельской почвы и производство моих рук. Зная Вашу любовь к Коктебелю и нам, я думаю, что Вам будет приятно получить непосредственно коктебельское» («Дом Поэта» Максимилиана Волошина / Публ. А. Сергеева и А. Тюрина // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 17. М.; СПб.; Atheneum; Феникс, 1994. С. 320). См. также: Труды и дни-2. С. 293.

[2] С. В. Лебедев.

[3] А. О. Якубчик.

[4] Е. С. Кругликова.

[5] См. п. 86.

125. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

27 февраля 1926 г. Коктебель

27. II. 1926. Коктебель.

Дорогая Юлия Леонидовна, только на днях узнал от К<онстантина> Ф<еодоровича>,[1] что Вы благополучно вернулись из Туркестана. Получили ли Вы мое письмо, написанное в ноябре ко времени Вашего предполагаемого возвращения? Я всё поджидал вести от Вас и потому не писал. Откликнитесь! Очень хочется знать, как прошло Ваше путешествие. Много ли поработали для себя?[2] Я всю эту зиму упорно и непрерывно изучал акварель и, кажется, кое-что нашел и кое-чего достиг. А стихов – опять-таки не писал. В связи с общим литературным удушьем и у меня длится моя астма. Зиму провел очень хорошо. Чувствую себя физически хорошо (конец прошл<ого> лета проболел ползучим воспалением легких). В Москву весною не поедем, как хотели: не на кого дом оставить и денег нет: делаю (пришлось) генеральный ремонт зубов. Для этого завтра иду в Феодосию недели на 2. Буду жить у Богаевских. Чувствую всем существом, что Вам пора приехать летом в Коктебель. Приезжайте непременно и с Екат<ериной> Иван<овной> и с Феод<ором> Конст<антиновичем>.[3] Лучше весною. До половины июля у нас еще не тесно. Только август переполнен до отказа. Будет ли «Жар-Цвет»?[4] Как здоровье и работа Кон<стантина> Вас<ильевича>?[5] Крепко обнимите его за меня. У меня на выставке в Одессе купили одну акварель. Правда, за 2 черв<онца>, но это единственная покупка на всей

выставке. Попросите Ф<еодора> К<онстантиновича> прислать мне с ближайшей оказией то, что я ему оставил в Москве. Привет ему и Екат<ерине> Иван<овне>. Слыхал с горечью, что Вы уплотнены до невозможного. Правда же – приезжайте в Коктебель.

MAX.

[1] К. Ф. Богаевский.

[2] В письме к Волошину от 10 марта 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 902, л. 31–34 об.) Ю. Л. Оболенская подробно рассказала о поездке (совместно с К. В. Кандауровым) в Среднюю Азию, о работе и общении с местными жителями; в частности: «В Бухаре мы жили чудесно, погрузившись в эпоху, современную, примерно, Шекспиру. Хорошо было, идя на работу, наблюдать неторопливые средневековые ремесла; или ночью в темных безоконных улицах, когда из всех чувств действительно одно: осязание (пыли под ногами), слышать неожиданный оклик патруля, весьма наивно освещенного в подземном своем логове; и видеть редкие чинные фигуры, проходящие по площади с фонарями в руках. – Забравшись на высочайший пункт какой-нибудь мечети по узкому горлу минарета с полуразвалившимися гигантскими ступенями (на какие ноги это рассчитано!), смотреть оттуда на жемчужные цвета лежащих внизу глиняных гнездышек, шишечек, куполов, минаретов, теснящихся до самого края ослепительного, не знающего облаков неба; – тающих у горизонта – под Вашими же ногами являющих курьезные, величаво наивные черты быта. Все это было точно так при Тамерлане и раньше».

[3] Е. И. Оболенская, Ф. К. Радецкий.

[4] См. примеч. 7 к п. 84.

[5] К. В. Кандауров.

126. М. С. и С. В. ШЕРВИНСКИМ

27 февраля 1926 г. Коктебель[1]

27/II 1926. Коктебель.

Милые Машенька и Сережа, наша поездка в Москву не состоится: нам не на кого дом оставить (те, кого мы ждали на весну, не приехали и не приедут), да и денег не хватит, т<ак> к<ак> мне пришлось делать полный ремонт зубов. Кроме

всего и физически я начал себя чувствовать значительно лучше благодаря диетам, так что настоятельной необходимости нет и я очень благодарю тебя за предложенное гостеприимство, но весною им не воспользуюсь.[2] Да и психологически очень трудно покидать Коктебель весною, чтобы ехать от нее в зиму. В будущем году мы приедем в Москву к Новому Году. Это более разумно и удобно.

Зима у нас почти миновала уже. Провели ее мы тихо и сосредоточенно: в молчании, в книгах, в работе. И сейчас готовы вновь с открытыми объятиями и душой принять бурный человеческий поток. Немного жаль, что не повидаем всех милых коктебельцев в Москве, что очень было бы приятно. Но, Москва — сама по себе весьма мало влечет меня этой зимой. Итак до лета! Спасибо за то, что так откликнулись на Марусину тревогу обо мне (я-то мало был встревожен), и простите, что обманываем всех отменой приезда. Крепко обнимаем Вас оба — обоих и ждем летом. Всего, всего лучшего. Прошу еще раз передать твоему отцу мою глубокую благодарность.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Керчь — Джанкой. 1.3.26; Москва. 4.3.26.

[2] Шервинский отвечал в недатированном письме (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 12—13 об.): «Твой не-приезд в Москву меня с одной стороны огорчил (я утешился возможностью свиданья в Коктебеле), но с другой, и гораздо более, обрадовал; слава Богу, твои болести не заставили тебя скакать немедленно и избавили от мытарств леченья».

127. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

28 февраля 1926 г. Коктебель

28/II 1926 Коктебель.

Милый Саша,

вчера получил твою телеграмму от 27/II, а сегодня первое письмо.[1] Буду ждать второго для решений, а пока отвечу на первое.

Я с книгой, конечно, никуда не тороплюсь, и *юбилей* Сурикова для меня вынырнул неожиданно только из твоего письма. Очень бегать не хочется, да и затруднять кого-либо этим тоже не хочется. Юбилей – для меня имел только то значение, что напомнил мне, что уже 10 лет моя монография так и лежит неопубликованной (она была написана в год смерти Вас<илия> Ив<ановича>). С «Academia» я связан через проф<ессора> А. А. Смирнова (кельтолога), и она в этом году выпустила томик А. Ренье с моими переводами «Маркиза д'Амеркёр».[2] Там тоже вечный затор с изданиями, и они очень туги на платежи (2 червонца тянули 2 года). От Зуммера еще не имею более подробного ответа на мои вопросы «что и как?». Раньше же в письме, где звал представить работу на соискание докторской степени, прибавлял: «Очень бы хотелось напечатать Вашего "Сурикова" в Айзербаджанских научных известиях» – вот и все.[3] Но ты, милый Саша, тоже не отвечаешь на мои вопросы. Ты пишешь о не прошедшем еще новом проекте о докторских степенях, но я не знаю и о том, как это происходило по нормальному порядку.[4] Я помню, что были магистерские экзамены, знаю, что были защиты диссертаций, знаю, что когда Гинденбургу подносили степени д<октор>а медицины и д<октор>а теологии за русские бойни в восточной Пруссии, то это называлось «honoris cause».[5] Но этим мои представления и ограничиваются. Про себя же знаю: что 1) никаких экзаменов держать не могу и не хочу, 2) защищать свои домыслы могу охотно и с темпераментом, 3) а «honoris cause» – как будто и не за что. На это всё я все-таки жду твоих ответов.

Больше всего меня заинтересовал в этом твоем письме совет представить «Сурикова» в Ц.К.У.Б.У. на соискание *премии* (Какой? За что? Когда?).[6] Это я с удовольствием сделаю. Дело в том, что экземпляр «Сурикова», перепечатанный на машинке, находится у Рашель Мироновны (вместе со статьей об Александре Бенуа).[7] Я, уезжая <в> 24 г<оду>, оставил эти рукописи у нее на хранение. Т<ак> к<ак> я, очевидно, в Москву, как уже писал тебе, не попаду, то очень прошу тебя: возьми у Раш<ель> Мироновны (или попроси Мишу[8]) мои рукописи и, если по-твоему нужно, – представь в Ц.К.У.Б.У. от моего имени. А статью о Бенуа прочти: она была тоже на-

писана для несостоявшейся (коллективной) монографии о нем. Прилагаю записку об этом Раш<ель> Мироновне.

Меня очень удивляет твое сообщение о Ц.К.У.Б.У. Ты пишешь, как о чем-то общеизвестном, а вместе с тем я ничего не знаю об этом конкурсе. Конкурс на работу о Сурикове к его юбилею? Или что? Почему же Ц.К.У.Б.У. мне не сообщило, как своему члену, ничего? Сейчас меня начинает удивлять и возмущать Комитет чествования Сурикова. Ведь самая ценная часть моей монографии (записи разговоров) была опубликована в год его смерти в «Аполлоне» как «Материалы к биографии Сурикова»,[9] и использовалась эти 10 лет всеми его биографами. П. П. Кончаловский и Ольга Васильевна[10] знают мою монографию и знают, что она не появилась благодаря разгрому Кнебелевского издательства.[11] Они оба, конечно, в Комитете. Почему же они мне ничего не сообщили и не пригласили меня к участию в юбилейном чествовании, о котором я узнаю только случайно от тебя? Все это мне говорит, что мне лучше с этим юбил<ейным> Комитетом и не иметь никакого дела, как ты мне и намекал в предыдущем письме.[12]

Если же существует конкурс на работу о Сурикове в Ц.К.У.Б.У. (или что?), то, конечно, я хочу принять участие.

И с остальными советами твоими я вполне согласен: своей ин<и>циативы в деле соискания степени д<октор>а искусств я проявлять не собираюсь, т<ак> к<ак> она мне, по существу, не нужна. Для меня вопрос только в том: если предлагают — принимать или отказываться?

Предполагаю, что твое *второе* письмо, о котором ты телеграфировал, будет содержать какую-нибудь новую возможность издать монографию в Москве, и в этом случае ее текст уже будет в твоих руках. Если же понадобится 2 экземпляра, то будь добр — дай ее переписать на машинке еще в 3-х экземплярах (за мой счет). Имей в виду, что в том экземпляре, что ты получишь от Раш<ель> Мир<оновны>, будут легонькие разметки карандашом и вычеркнутые части — это только мои разметки для лекций, а текст переписан там окончательный, и все нужно без вычерков.

Мы наш приезд в Москву отменили потому, что нам не на кого дом оставить: мы рассчитывали, что к нам уже в фев-

рале приедут люди (некий художн<ик> Андерс с семьей) и тогда можно оставить дом на них (необходимо, чтобы дома кто-нибудь жил). Но он заболел воспал<ением> легких. Кроме того, мне приспичило с зубами, и я начал их лечить и вставлять, т<ак> к<ак> жевать стало совсем нечем. И программа minimum — 10 зубов с одной стороны мне будет стоить 100 р. — вот и все деньги, что мы откладывали на поездку. Мне уже в январе подергали много корней, а завтра я иду на 2 недели в Феодосию, чтобы закончить эту операцию. Врач здесь очень хороший, который все время полного безденежья меня лечил даром. А т<ак> к<ак> себя я чувствую благодаря диете очень недурно, и отеки сильно уменьшились, то думаю, что нет такой необходимости сейчас показываться московским врачам. Повидать коктебельцев, конечно, очень бы хотелось, но до лета близко. Что же до «ссор и раздоров между “моими коктебельскими детьми”»,[13] то боюсь, что я один без моих великих помощников: солнца, моря и Карадага ничего с ними не поделаю. А приедем мы будущей зимой на Рождество. Идет? Это уже наверное.

Милая Наташа,[14] Аю кончился: мы его сами усыпили хлороформом: он был безнадежен и парализован. Хниного избранника зовут «Пулемет». Он родной брат Гепеуши, повидимому. На Тату действует одной гипнотической властью мужского взгляда. Тату поджимает зад и пятится. Но, слава Богу, собачье засилье в нашей жизни окончилось, и можно заняться другими делами.

Крепко обнимаем тебя и Сашу.

МАКС.

[1] Имеется в виду недатированное письмо Габричевского, ответное на п. 117, с соображениями относительно издания монографии Волошина «Суриков» и его участия в праздновании 10-летия со дня смерти Сурикова. Текст упомянутой телеграммы (с сообщением об отправке «второго» письма) неизвестен.

[2] Выполненный Волошиным перевод новеллистического цикла А. де Ренье «Маркиз д’Амеркёр», входящего в его книгу «Яшмовая трость», был переиздан в кн.: *Ренье Анри де.* Собр. соч. Т. 1. Яшмовая трость. Л.: Academia, 1925. С. 41–142.

[3] См. примеч. 26 к п. 116.

[4] Имеется в виду сообщение Габричевского в упомянутом письме: «...относительно квалификации: новый проект о докторских степенях еще прошел не окончательно (по крайней мере для Москвы), и, конечно, лучше получить докторство здесь, хотя, правда, как только он будет объявлен, начнется страшная давка, участие в которой тебе, конечно, будет не по вкусу» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 152).

[5] Иронический отклик на слова Габричевского из того же письма относительно защиты диссертации в Баку (по монографии «Суриков»): «...с вопросом о докторстве повремени или во всяком случае не проявляй инициативы; если они сами тебе дадут степень (как говорилось раньше, honoris causa), то пускай, тем лучше» (Там же). Латинская формула «honoris causa»(«ради почета»; т. е. принимая во внимание заслуги) чаще всего употребляется для обозначения обычая присуждать ученую степень в силу общепризнанных заслуг в области науки или общественной деятельности. Президент Германии с 1925 г. Пауль фон Гинденбург (1847–1934) в Первую мировую войну, будучи генерал-фельдмаршалом, командовал с ноября 1914 г. войсками Восточного фронта.

[6] «Рукопись (или печатный экземпляр) ты *во что бы то ни стало* привези в Москву, – писал Габричевский Волошину в том же письме о его монографии “Суриков”. – <...> непременно по приезде сюда представь ее *в КУБУ на соискание премии*, которую ты несомненно получишь. Это все-таки рублей 200, 300!» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 152).

[7] Р. М. Гольдовская. Статья «Александр Бенуа» при жизни Волошина не была опубликована. См.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 329–338.

[8] М. С. Фельдштейн.

[9] См. примеч. 5 к п. 117.

[10] О. В. Кончаловская (урожд. Сурикова; 1878–1958) – дочь В. И. Сурикова, жена П. П. Кончаловского.

[11] Московское издательство И. Н. Кнебеля, в котором (в серии «Русские художники» под редакцией И. Э. Грабаря) готовилась к печати книга Волошина о Сурикове, было разгромлено 27 мая 1915 г. в ходе антинемецких шовинистических погромов. К тому времени, однако, рукопись книги еще не была представлена к опубликованию: Волошин закончил работу над ней лишь в сентябре 1916 г.

[12] Имеется в виду письмо от 15 января 1926 г. См. примеч. 1 к п. 117. Касаясь темы возможного выступления Волошина на юбилее Сурикова, Габричевский отмечал: «Я, *конечно*, тебя не уговариваю, ты сам это обдумай долго и основательно. Я даже был бы склонен

тебя *отговаривать*, но мне казалось бы, что твоя речь о Сурикове была бы очень нужна» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 149. Исправлено по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 382, л. 4 об.).

[13] Отклик на фразу из цитированного выше недатированного письма Габричевского: «Москва давно стала колонией коктебельцев, и твое отсутствие <...> действует на них пагубно: они начинают хиреть, распадаться, ссориться и т. п., и чем дальше, тем больше, ибо они все больше чувствуют себя твоими "коктебельскими детьми"» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 152).

[14] Этот заключительный абзац адресован Н. А. Габричевской.

128. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

28 февраля 1926 г. Коктебель

28. II. 1926. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Простите, что опять тревожу Вас просьбой: в 1924 г., будучи в Москве, я так и не успел поймать Вячеслава Полонского и получить от него рукопись моей монографии о Сурикове, да у меня был еще экземпляр. Но сейчас мне понадобились оба экземпляра. Не можете ли Вы у него затребовать тот, что Вы когда-то в 1922 г. ему передали для несостоявшегося издания? Очень прошу Вас об этом: Вы его, верно, встречаете, да и известить об этом по телефону можно. И пришлите мне в Коктебель заказной бандеролью. Можно?[1] Дошли слухи, что Вам вернули дачу в Коктебеле. Верно ли, и значит ли это, что мы снова будем соседями, если у Вас не угасли воспоминания о Коктебеле?[2] «Союз писателей» в лице Андрея Соболя обещал сделать для моей дачи то же.[3] Но что-то это заглохло. В сущности, надо даже меньше: мой дом закреплен за мной Крымским ЦИК'ом, но мне была бы нужна только санкция этому со стороны Москвы, чтобы не подвергаться случайностям смен местной администрации, т<ак> к<ак> в этом отношении всегда существует угроза.

О Вашем юбилее знаю, к сожалению, очень смутно и отдаленно, т<ак> к<ак> не приходится читать московских газет. Как поживает Марья Гермогеновна?[4] Хорошо ли работается?

Я эти годы сосредоточен исключительно на живописи. А в поэзии одержим бесом молчания.

Крепко жму руку. Привет от Марии Степановны.

Максимилиан Волошин.

[1] О том, что его монография «Суриков» печатается в Госиздате, Волошин информировал В. В. Вересаева еще в письме от 7–15 января 1923 г. (см.: Т. 12 наст. изд. С. 598). Вересаев отвечал Волошину 11 марта 1926 г.: «Созванивался и бегал по целому ряду лиц, – и ничего не мог добиться. У Полонского рукописи Вашей давно уже нет; приобретена она им была не как редактором “Печати и Революции”, а как редактором “Дома печати”, потом он от редакторства отказался, все было передано в “Дом печати”, а там мне отвечают (характерно!): Да с тех пор уж три-четыре раза сменился весь состав правления. – Так что же такого? Вот на столе пишущая машина, – неужели, если в будущем году ваш состав сменится, она должна пропасть. Есть же у вас архив? – Никакого архива нет. – Что же вы рукописями делали, печки топили? – Мы же вам объясняем, товарищ, — мы ничего не знаем.

Вот пока результат» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л. 42–42 об.).

[2] «Про возвращение мне моей дачи я ничего не слышал, – отвечал Вересаев в том же письме. – А разве от нее что осталось?»

[3] См. примеч. 3 к п. 63.

[4] М. Г. Смидович.

129. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

2 марта 1926 г. Феодосия[1]

2/III 1926. Феодосия.

Милая Маруся, ну вот: доехал я благополучно,[2] и вчера же вечером Берман принялся за мои зубы вплотную и в первый же раз продержал меня 2 часа за работой (вне приемных часов). Говорит, что ему понадобится не менее 10 дней для ране<е> условленных 8 зубов. Если же приниматься за те, что мы решили сделать еще – то надо еще 4 дня. Делать их одновременно все равно нельзя: сначала должны быть утверждены эти, и, лишь считаясь с ними, можно мостить мосты да-

лее. Так что увидим. Работа действительно большая, и делает он ее очень тщательно.

В Феодосии Рагозинский. Мы вчера были у него с Богаевскими. Очень радостно его видеть. Его дела поправились, идут очень хорошо. Он в инженерном экстазе и в экзальтации оптимизма. Психологически вполне понятно: он попал как раз в точку того, что сейчас требуется, и склонен всю идеализацию машинизма принимать за осуществленную уже реальность. Страшно приятно говорить сейчас со *счастливым* человеком. Он, вероятно, пробудет здесь сколько и я. Непременно поедет в Коктебель, чтобы повидать Феод<ора> Эдуардовича.[3] Жаль, что без меня! Но я прошу его дождаться твоего приезда, чтобы поехать с тобою. Видал Олимпиаду Никитишну.[4] Говорили много и долго. И об людях, и о практических делах. Говорил о нашем плане переделать кухню. Она, оказывается, сама хотела с нами говорить об этом же и собирается в Коктебель посмотреть все предварительно. Нилушку[5] видел только в банке. Сегодня иду к ним обедать. Предложение о блинах принято с радостью всеми. Гречневая мука в городе есть. Все тебя ждут. Крепко тебя целую. Все маленькие магические операции выполняю, как было условлено – и вечером, и утром.

MAX.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Феодосия. 2. 3. 26.

[2] Волошин выехал из Коктебеля в Феодосию лечить зубы 1 марта, остановился у К. Ф. Богаевского.

[3] Ф. Э. Юнге.

[4] О. Н. Сербинова.

[5] Н. В. Успенская.

130. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

3 марта 1926 г. Феодосия[1]

3/III 1926. Феодосия.

Милая Маруся, вчера послал тебе открытки – свою и Успенок.[2] Не знаю, придут ли они сегодня. Я хотел прямо пере-

дать их чиновнику для коктебельской почты, но почт<овое> отд<еление> оказалось закрыто за ¼ ч<аса> до шести и пришлось просто опустить в ящик. Лечение зубов идет благополучно. Он работает надо мной ежедневно часа по 2. Очень кропотливая и тщательная работа с тысячами примерок. Я видал Антуанету Густав<овну>,[3] которая все возится с переделками и поправками вставных зубов у него же. Но все это касается съемной челюсти. Что же касается мостовидных, которые делал ей Берман же, то она ими очень довольна: уже больше десяти лет ни одной поправки. Мостовидные зубы он делает идеально, по ее словам. Сегодня поджидаю тебя к вечеру, но без уверенности. Едва ли Сашино письмо пришло уже.[4] Писем *честно* не спрашивал, потому что хочется, чтобы ты пришла поскорее. Вчера был у Гринов,[5] обедал у Успенок, потом был опять у Рагозинского и у Галабутского. Вот весь день и переполнен. Стоят морозы. Днем не чувствуешь их, а по ночам, возвращаясь, совсем чувствительно. Ночью никаких намеков на удушье. Сплю как убитый. Одеяла и подушки, оказывается, совсем не надо было привозить: всё теперь есть в избытке. Сейчас вижу по работе, что Берман первой серии зубов раньше 10 дней действительно не кончит – и времени он не теряет: работа громадная. Но все-таки думаю, что если ничего не случится экстраординарного, то сейчас же нужно будет покончить и с остальными, что меня задержит до конца следующей недели. Но лучше покончить все сразу и окончательно. Втайне очень жду тебя сегодня, т<ак> к<ак> соскучился без тебя. Если не придешь, то буду ждать в пятницу[6] уже наверное. Не будет тебе слишком холо<д>но в пути? Может, лучше тебе все-таки на автобусе приехать. Очень мне хочется, чтобы ты была в Коктебеле с Рагозинским, чтобы ему переночевать у нас. Крепко тебя обнимаю и целую и бываю с тобою часто и по вечерам, и среди дня – во все одинокие и свободные минуты.

MAX.

Письмо Нин<ы> Кр<ыжановской> нашлось и у меня в руках. Хорошее и трогательное письмо.[7]

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Феодосия. 3. 3. 26.

[2] В. А. и Н. В. Успенские. См. п. 129.

[3] Антуанетта Густавовна Тубино (урожд. Дуранте; ок. 1872–1956).

[4] Письмо А. Г. Габричевского, о котором он предупреждал телеграммой 27 февраля (см. примеч. 1 к п. 127).

[5] А. С. Грин и Н. Н. Грин (жили в Феодосии по адресу: Галерейная, д. 8).

[6] 5 марта. В этот день М. С. Заболоцкая приехала в Феодосию.

[7] Имеется в виду письмо Н. И. Крыжановской от 24 января 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 721, л. 4–5 об.), ответное на неизвестное нам письмо Волошина.

131. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

4 марта 1926 г. Феодосия[1]

4/III 1926. Четверг. Феодосия. № 3.

Милая Маруся – эта третья открытка тебе. Ты ее сможешь получить с завтрашней почтой. А больше уже не буду писать, т<ак> к<ак> ты завтра же придешь. Зубы идут. Работа над передними зубами очень действует на нервы. А из десен кровь брызгает фонтаном. Вчера вечером сидели у Богаевских с Рагозинским. Но Успенки[2] почему-то не пришли. Поджидали тебя. Шли все время споры с Рагозинским. Очевидно, он эти годы с трудом и с борьбой освобождался от моего влияния и теперь страшно бунтует против моих идей и хочется меня припереть к стенке. Страшно искренно и глубоко волнуется, так что даже жаль разрушать его идеализм. Я его очень понимаю: он глубоко искренен и страстен в своих упованиях и увлечениях.

Сегодня вечером пойдем с К<онстантином> Ф<едоровичем>[3] к Галабутскому. Обедать буду у Успенок, а пред этим зайду к Иос<ифу> Виктор<овичу>.[4] У Бермана бываю около 12. А после окончания приема он надо мною трудится часов до 2-х.

Крепко обнимаю и целую. Завтра ждем.

МАХ.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Феодосия. 4. 3. 26.
[2] В. А. и Н. В. Успенские.
[3] К. Ф. Богаевский.
[4] И. В. Зелинский.

132. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

11 марта 1926 г. Феодосия

11/III 1926. Четверг.

Милая Маруся, проводив тебя[1] – я день просидел с Грином, а вечер с Рагозинским. Он хочет все-таки приехать в Коктебель часа на три на линейке, и ежели это случайно совпадет с тем днем, когда я не понадоблюсь Берману, – т. е. возможно завтра в пятницу, то я воспользуюсь этим, чтобы приехать к тебе в гости на минутку. Но это весьма проблематично, т<ак> к<ак> Рагозинский и сам не знает, будет ли он еще свободен и когда, как и я тоже. И совпадут ли эти моменты, тоже сказать нельзя. Вчера через Успенских пришло письмо от Ольги Константи<но>вны[2] – нам обоим ответ на твое. Письмо прекрасное, глубоко трогательное. И прости, что я не посылаю его тебе вместе с этим: мне сейчас не хочется еще с ним расставаться и очень хочется прочесть из него некоторые слова об Есенине – Галабутскому.[3] Я его привезу с собою – ты уж прости меня (ты ведь все мои письма получать будешь). Сестре Андреева написал.[4] Пришло письмо от С<аши> Габрич<евского>?[5] Был у Косоротовых.[6] У него и жена и дочь – в постели и в сильном жару, так что даже в комнату меня не мог впустить.

Как ты доехала и нашла всё дома? Я почему-то с большой тревогой следовал мыслью за тобой вчера весь день. Сейчас пойду передать это письмо Нилушке, чтобы оно побежало вместе с Володей.[7] Соня приедет к нам наверное. Но она сейчас совсем без денег.[8] Нельзя ли ей предложить из наших, что собраны в Москве, с тем, чтобы после возместить их самим? Как думаешь?

Крепко обнимаю моего породистого щеночка и целую в самую морду (и за ухом).

MAX.

[1] М. С. Заболоцкая выехала из Феодосии в Коктебель 10 марта.

[2] О. К. Толстая.

[3] В письме к Волошиным от 4 марта 1926 г. О. К. Толстая рассказывала о супружеской жизни С. А. Толстой и С. А. Есенина, делая особый акцент на страданиях, пережитых ее дочерью: «Она ведь никогда ни словом мне не пожаловалась на него и кротко, любовно переносила свою мученическую участь. Ведь слов нет, чтоб передать все, что этот несчастный, погибший человек выкидывал и как он был жесток и груб к ней! <...> С сентября месяца, со времени начала издания его стихов в Г<осударственном> изд<ательстве> и по мере получения громадных сумм, он стал пить все больше и больше, и одновременно отношение его к Соне становилось все хуже и хуже. Он дико ревновал ее ко всем, обвиняя ее и ругая *часами* самыми непотребными словами. Все это от меня скрывалось. Мне уже потом рассказывали, что он даже бил ее! И она *все* терпела, не возражая ни слова, всегда молчала и только жалела его, как больного ребенка. <...> Большое счастье, что Соня не обращает внимания на всякие сплетни. Чего только не говорят о его смерти, примешивая сюда и Соню. Сестра его тоже говорит, что он разлюбил Соню и уехал от нее навсегда. В этом не было бы ничего удивительного: разве мог долго и прочно любить такой больной, истрепанный и беспринципный человек? Скольких женщин он бросил на своем веку! Бедная, бедная Соня, *так* любить такого человека!» (Звезда. 1991. № 6. С. 176–177. Публ. К. М. Азадовского).

[4] Сестра Л. Н. Андреева Римма Николаевна Андреева (в первом браке Алексеевская, во втором браке Оль, в третьем браке Верещагина; 1881–1941).

[5] См. примеч. 4 к п. 130.

[6] Агроном Федор Иванович Косоротов и его семья.

[7] Н. В. и В. А. Успенские.

[8] С. А. Толстая.

133. М. С. ЗАБОЛОЦКОЙ

13 марта 1926 г. Феодосия[1]

13/III 1926. Феодосия. Суббота. Утро.

Милая Маруся, вчера вечером был у Рагозинского и все узнал о его поездке, получил письма. Берман меня отпустит только ко вторнику. Работает он над моим ртом не покладая рук (вчера был у него 2 раза – и мне он выдернул еще 3 корня

коренных зубов). Очень я устал от города. К ломоте спины и поясницы присоединилась еще и одышка. Но, с<лава> Б<огу>, не астма. Сплю крепко. Жду не дождусь возвращения домой, диеты, перекопки, прогулок. Очень беспокоюсь за твое падение с лестницы, хотя Рагозинский и успокаивал, что все прошло благополучно. Но меня тревожат ушиб головы и тошнота.[2] Передал ли тебе Саня[3] сручье для обрезки прямых углов для рамок, что Рагозинский привез, чтобы подарить тебе, и забыл сказать? Из писем я ответил Елгаштиной и напишу Кашкиным. (Зову). О приезде Виктора У. понял из рассказа Рагозинского.[4] Привет ему. Я зову детей Рагозинских (Лёся — приедет еще) вместе с бабушкой ихней к нам на весну пожить. Боюсь, что послать Соне отсюда будет невозможно:[5] мне ведь еще 42 р. надо уплатить Берману. Лучше попросить М<арию> В<адимовну> передать ей, как ты пишешь.[6] А Соню предупредить об этом. И Соне, и О<льге> К<онстантиновне> я напишу из Коктебеля.[7] А ты приготовь письма им тоже ко вторнику. Крепко тебя целую.

MAX.

P. S. Открытка твоя пришла только что, поэтому о приезде Виктора я и не подозревал.

Больная сестра Шаронова вышла замуж. Это, очевидно, помогает от туберкулеза.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Феодосия. 13. 3. 26.

[2] В письме от 12 марта 1926 г. М. С. Заболоцкая сообщала: «Вчера <...> вечером свалилась вниз головой, проехала пол-лестницы и ударилась об стенку головой — ушибла только голову и спину немного, но тошнило после ушиба и была немного встряска» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 362, л. 5 об.).

[3] Александр Владимирович Рогозинский (1909—1984), сын В. А. Рогозинского.

[4] Имеется в виду Виктор Борисович Успенский (1901—1935, расстрелян), сын Б. В. Савинкова и В. Г. Успенской, внук Г. И. Успенского. 10 марта 1926 г. М. С. Заболоцкая писала Волошину: «Виктор выезжает из Питера 9<-го>, значит, будет в Феодосии 12<-го>, встреть — он прислал телеграмму» (Там же, л. 4).

[5] Подразумевается передача С. А. Толстой денег на дорогу в Коктебель.

[6] М. В. Дорогова. 12 марта 1926 г. М. С. Заболоцкая писала Волошину о С. Толстой: «...я думаю просто отсюда послать руб<лей> 40. Не захочет Соня там ходить и брать. А может, попросить М. В. просто передать» (Там же, л. 5 об.).

[7] См. п. 136, 137.

134. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

13 марта 1926 г. Феодосия

13/III 1926. Феодосия.

Милая Наташа, вот я вторую неделю уже томлюсь в Феодосии, вставляя себе зубы. Маруся приходила ко мне на «побывку» на 1 день:[1] а надольше нельзя оставить дом пустым. Если бы мы оставили дом кому-нибудь из перечисленных тобою лиц,[2] то нам (и всем коктебельцам), конечно, уже не было бы куда вернуться, потому что они бы нас не пустили бы, т<ак> к<ак> успели бы доказать, что они – постоянные владельцы. А Нилушка прикована цепями к счетной книге Госбанка.[3] Нет, ты уже верь, пожалуйста, тому, что я пишу тебе. Вот уже 2 недели жду со дня на день *второго* письма Саши, о котором он мне телеграфировал.[4] Отправлено ли оно? Пропало ли на почте? Или еще <не> написано? Нам еще никто не написал, что было на коктебельском вечере, кто участвовал, и как прошло?[5] Все деньги мы, конечно, честно употребим *только* на ремонт дома и в первую голову «шестой террасы», которую решили отвести в Ваше габричевское владение. Так решили совместно с Ол<импиадой> Никит<ичной>,[6] которая говорила, что и Вы этого хотите. Крепко обнимаю, приезжай-ка пораньше. А?

МАХ.

[1] М. С. Заболоцкая пробыла в Феодосии с 5 по 10 марта 1926 г. (Труды и дни-2. С. 294).

[2] В письме от 3 марта 1926 г. Н. Габричевская, призывая Волошина приехать в Москву, добавляла: «Оставить кого-нибудь в доме всегда можно. Попросите Будкову, невестку батюшки, Синóплю

m-me, Нилушка <Н. В. Успенская. – *Ред.*> пускай возьмет отпуск, да мало ли у вас друзей?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 31).

[3] Подразумевается бухгалтерская служба Н. В. Успенской.

[4] См. примеч. 4 к п. 130.

[5] Имеется в виду литературно-музыкальный вечер в пользу Волошина, состоявшийся в Москве в помещении ГАХН 1 марта 1926 г. «Было масса народу, – сообщала Н. Габричевская Волошину в цитированном выше письме. – Публика: почти все коктебельцы и уйма чужих. <...> Было знакомых 105 человек». С чтением своих произведений выступили М. А. Булгаков («Похождения Чичикова»), С. В. Шервинский («Киммерийские сонеты»), В. В. Вересаев (воспоминания), П. Г. Антокольский (стихи о Германии), Андрей Белый (отрывки из драмы «Москва»), Л. М. Леонов («Из записок Ковякина»), Б. Л. Пастернак (стихи о 1905 годе), Ю. Л. Слезкин (рассказ «Бандит»). Подробнее см.: Труды и дни-2. С. 293.

[6] О. Н. Сербинова.

135. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

15 марта 1926 г. Феодосия

15. III. 1926. Коктебель (почт<овый> адр<ес>). Крым.

Дорогая Юлия Леонидовна,

Ваше письмо как раз попало мне в руки, т<ак> к<ак> я уже 2 недели озолотозубливаюсь в Феодосии и живу у К<онстантина> Ф<еодоровича>.[1] К счастью, эта операция сегодня оканчивается, и я завтра уезжаю в Коктебель. Сейчас у нас постоянное почтовое отделение, и почта приходит справно. Спасибо за красочное, яркое и необычайно выпуклое описание Бухары.[2] Оно во мне пробудило ностальгию по Туркестану, которого я никогда забыть не могу со времени моей ссылки.[3]

Зато всё, что Вы пишете о Москве и своей жизни и о тесноте, удручает глубоко.[4] Как можно так жить и работать в таких условиях? Конечно, Вам необходимо в Крым. Жить в Коктебеле Вам будет стоить 3-4 черв<онца> в месяц. Да туда и обратно 3 черв<онца>. Ведь наша главная цель – дать летом возможность отдыха от московской и петербургской тесноты. Неужели Вы так и не приедете?

Акварели для «Жар-Цвета»[5] посылаю с Вол<одей> Рогозинским.

Ваши письма к К<онстантину> Ф<еодоровичу> о положении его оставили во мне горечь глубокого протеста и возмущения. И, конечно, я тоже не буду выставлять нигде, если его удушат (хотя от этого-то (т.е. от моего невыставления) ущерба никому не будет!). Прошлым летом меня уже звали в АХХР[6] и так расписывали мне все выгоды и преимущества, что, ничего не зная, имел благоразумие отказаться.

Позже я все-таки как-то посоветовался с К<онстантином> Ф<еодоровичем> – нужно ли это? (т.е. отказываться). Но он на меня так цыкнул, что я сразу понял все благоразумие моего отказа.

Одно время я собирался в Москву в апреле. Но теперь перерешили, т<ак> к<ак> состояние моего здоровья не так плохо, на весну жаль уезжать, да и дом не на кого оставить. Приедем к Рождеству следующей зимой. К нам *уже* приехали гости в Коктебель. И это тоже не дает нам права уезжать отсюда.

Что Зееман написал в книге – я Вам пришлю, когда буду писать из Коктебеля.[7] Теперь нет ее под руками, и спешу окончить это письмо, т<ак> к<ак> поезд, с которым едет Рогозинский, уходит уже через час, и надо успеть его передать.

Крепко, крепко обнимаю Вас, К<онстантина> В<асильевича>, Екат<ерину> Иван<овну> и Феод<ора> Конст<антиновича>.[8]

То, что он мне хочет вернуть, можно прислать с Габричевскими (ул. Герцена, 6, кв. 69), т.е. университет – зоологический кабинет – Александр Георгиевич или Наталья Алексеевна Габ<ричевские>. Они приедут в середине мая.*

МАХ.

[1] К.Ф. Богаевский. Имеется в виду письмо Ю.Л. Оболенской от 10 марта 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 902, л. 31–34 об.).

[2] См. примеч. 2 к п. 125.

[3] Речь идет о пребывании Волошина в Ташкенте и среднеазиатской пустыне в 1900 г.

* *Далее вымарана одна фраза.*

[4] В письме от 10 марта Оболенская рассказывала о новых бытовых условиях своей жизни в Москве после так наз. «уплотнения» – конфискации части квартиры и заселения ее новыми жильцами: «Пожалуй, так нехорошо не было еще никогда: совсем нет сил сопротивления. К. В. <Кандауров. – *Ред.*> должен был лечь в клинику, но за отсутствием свободных мест это не удалось. <...> К нашему уплотнению мы относимся больше с комической точки зрения и всё жалеем, что некому посмотреть на нас со стороны. Для того чтобы один из нас мог выйти из комнаты, другой должен прижаться к книжной полке; первый же должен присесть на корточки и пролезть под мольбертом, непременно стукнувшись теменем о подрамник и уронив на пол лежащие на книжной полке посторонние предметы, превышающие длиной ширину полки. Когда приходят, редкие впрочем, гости, дело осложняется».

[5] См. примеч. 7 к п. 84. 10 июля Оболенская сообщала Волошину: «Выставка все-таки будет, несмотря на всякие трудности, не могу точно указать число и помещение; думаю – в начале апреля. Дрязги с нашими членами, на которых мы полагались как на каменную гору, лишили нас последней доли энергии к продолжению этого дела. Так что "Цвет", может, и остался, но "Жара" особенного нет!». См.: Каталог выставки картин 1926 г.: Московское общество художников «Жар-Цвет». М., 1926.

[6] АХРР – Ассоциация художников революционной России (1922–1932; с 1928 – Ассоциация художников революции, АХР) – художественное объединение, ставившее целью консолидировать художников, стоявших на советских позициях, пропагандировавших государственную идеологию, развивавших традиции передвижников.

[7] См. п. 84, примеч. 4. В письме к Волошину от 10 марта 1926 г. Оболенская сообщала, что отец Р. В. Зеемана «крайне заинтересован – какую надпись сделал его сын в Вашей книге для приезжающих».

[8] К. В. Кандауров, Е. И. Оболенская, Ф. К. Радецкий.

136. О. К. ТОЛСТОЙ

18 марта 1926 г. Коктебель

18/III 1926. Коктебель.

Дорогая Ольга Константиновна,

Ваше прекрасное и переполненное болью письмо нас потрясло глубоко.[1] Я лично не знал и никогда <не> видал Есени-

на. В стихах его мне чувствовался поэт несомненно *подлинный*, но не глубокий, не умный и часто лишенный художественного такта. Смерть его поразила как новое звено в общем мартирологе русских поэтов: частное выявление общей судьбы талантливых русских юношей. Когда начался газетный апофеоз после его смерти и посыпались все лживые и преувеличенные статьи, стало горько и обидно за него: все это слишком походило на посмертное издевательство над несчастным мальчиком. Как русская публика ненавидит своих поэтов живыми: издевается и клевещет и выдумывает гнусные сплетни, а мертвеньких, удушенных, за́спанных русскою жизнью, качает на руках и возносит, как попрек оставшимся в живых. Все то, что Вы пишете, я уже прочел между строк некрологов, воспоминаний и на фотографиях похорон с неприятно позирующей на первом плане четой Мейерхольдов.[2] За эти посмертные почести стало еще жальче этого мальчика, ставшего жертвой собственного успеха и собственной золотой крупицы. Из поэтов он не первый. Лирика ведь это – непосредственность и искренность. И ум и строгая моральная требовательность к себе, необходимые человеку, часто вредят лирической непосредственности. В меньшей степени – все это было и в жизни Блока. Я помню его в периоде его пьянства и уличных шатаний. У Блока это было меньше. А у Бальмонта едва ли не больше, едва ли не безобразнее. Блока я знал мало. Бальмонта знаю очень близко и очень люблю его. Поэтому мне кажется, что я понимаю Соню. Бальмонт страдает запоем, и один глоток алкоголя часто искажает всю его внутреннюю сущность и заставляет его говорить про самых близких ему и дорогих людей отвратительные вещи: обвинять, клеветать, жаловаться первому встречному. Точно так же его жизнь полна кабацких скандалов и безобразий. Но те, кто хоть однажды видел его подлинный лик, всегда будут связаны жалостью к больному. Этот заносчивый, хвастливый, на публике всегда рисующийся и манерный поэт в сущности очень скромный и застенчивый (!!) ребенок, совершенно исковерканный переменным душем то успеха, то презрения. Судьба Есенина мне представляется именно такой. И чем больше унижения, позора, искажения человеческого лика, тем крепче вяжет любовь к таким потерянным.

Эта жалость, думается мне, и связала Соню так крепко... И хочется думать, что это пламя сплавит ее врожденное своеволие и капризность в тот крепкий, человеческий «толстовский» характер, что чувствуется в ней всеми ее друзьями. Мы об этом много говорили с Марусей, которая сейчас уже снова занята и хозяйством и гостями (у нас гостит юноша[3] – сын Веры Глебовны Успенской, которого мать прислала к нам оправиться после потрясений, связанных с гибелью его отца). Она не может ничего сама написать Вам, но присоединяется ко всем моим словам и крепко обнимает Вас. Надо ли прибав<л>ять, что мы Вас всегда ждем в Коктебель, когда бы у Вас ни явилась возможность и желание? Передайте, пожалуйста, наш привет и приглашение Софье Дмитриевне.[4]

Максимилиан Волошин.

Мне тоже не хотелось бы, чтобы Соня видела это письмо: она, верно, так ценит память Есенина, как поэта, что мои слова могли бы сейчас оскорбить ее.[5]

В Москву мы не приедем этой весной. Я чувствую себя недурно, т<ак> что нет спешной необходимости показываться врачам. До сих пор было *не на кого* оставить дом, а сейчас уже нельзя уехать, т<ак> к<ак> у нас живут. А будущей зимой приедем наверное с Рождества. Соню ждем как можно скорее.

[1] Имеется в виду письмо О.К. Толстой от 4 марта 1926 г. (см. п. 132, примеч. 3), звучавшее резким диссонансом в сравнении с подавляющим большинством печатных откликов на самоубийство С. Есенина: «Я до сих пор не могу проникнуться общим гипнозом, что он был “великий” поэт. Считаю его давно уже сумасшедшим и морально больным человеком, и большинство его стихов не только мне непонятны, чужды, но даже отвратительны, как что-то уродливое и скверное. Этот человек не *мог* дольше жить, он давно уже умер душевно, ему *нечем* было жить – никаких идеалов, никаких нравственных основ или принципов. Он жил только для себя, для своего наслаждения и был эгоистом до мозга костей. <...> Считаю его не только не добрым, но и не благородным. Он о Соне говорил гадости и чужим людям, а уж в пьяном виде позволял себе вести себя совсем непозволительно. Уехал в Питер, не оставив дома *ни* копейки и оставшись должным и дом<овому> комитету и нескольким лицам. <...> М<ожет> б<ыть>, никто, кроме меня, так и не беспокоился о нем:

ведь я обращалась к нескольким значительным лицам в литературном мире, могущим оказать на него влияние, прося их обратить внимание на его поведение, взять его от лица Союза писателей *под опеку*, поместить его куда-нибудь на лечение, спасти его *от самого себя*. Но увы, все это было напрасно! <...> Но когда я увидала его в гробу, то невольно заплакала, и сердце сразу смягчилось и даже простило ему. У него было очень, очень милое, такое скорбное лицо, и я вдруг увидела на нем его *душу*, которой совсем не чувствовалось последнее время. Мне стало ужасно жалко его, этого задаром погибшего, одаренного человека, и не так поэта жалко, как просто человека» (Звезда. 1991. № 6. С. 177. Публ. К. М. Азадовского).

[2] В. Э. Мейерхольд и его жена, артистка его театра Зинаида Николаевна Райх (1894–1939), бывшая женой Есенина с 4 августа 1917 г. до 5 октября 1921 г. Рассказывая о похоронах Есенина в цитированном выше письме, О. К. Толстая сообщала о дочери: «...на похоронах она стала какая-то каменная и уже неподступная. Должно быть, на нее очень неприятно и тяжело повлияло демонстративное и положительно неприличное поведение M-me Мейерхольд, которая устраивала истерики, чуть не обмороки и все время старалась выставлять напоказ своих двух детей, кот<орые> носят имя Сергея Ал<ександровича>. (Но сына он определенно не считал своим.)» (Звезда. 1991. № 6. С. 177).

[3] В. Б. Успенский, сын Б. В. Савинкова.

[4] С. Д. Шаховская (1892 – ок. 1968).

[5] Свое цитированное выше письмо О. К. Толстая заканчивала просьбой: «Разорвите мое письмо и чтоб оно никак не попало Соне» (Звезда. 1991. № 6. С. 178). В своем ответном письме от 6 апреля 1926 г. О. К. Толстая заверяла Волошина: «Ваше письмо <...> я, конечно, не читала Соне, хотя ей оно и было бы полезно своим трезвым отношением к поэзии Ес<енина>. Да, он был не умен, не знал меры, был бестактен. Да просто и не образован, не воспитан и внешне, и *душевно*, главное, без всяких принципов и идеалов. И мне так *больно* за Соню, что она боготворит его! Любить, жалеть несчастного – я понимаю это, но такое слепое поклонение – грех, да и не умно. С большим интересом читала Ваше письмо, не только сама, но и некот<орым> друзьям, все находили Ваше суждение очень умным, верным и сердечным. Жалко, что нельзя напечатать, для многих было бы полезно» (Там же. С. 179). Настоящее письмо Волошина, однако, попало в руки С. А. Толстой, которая писала о нем матери 20 мая 1926 г.: «Оно меня очень возмутило. <...> Макс не понял меня, не понял Сережу <...> Бог с ним» (Труды и дни-2. С. 302).

137. С.А. ТОЛСТОЙ

19 марта 1926 г. Коктебель

19/III 1926. Коктебель.

Милая, милая Соня,

ждем тебя в Коктебель с нетерпением и любовью. Чтобы не было препятствий денежных – переводим тебе на дорогу 2 червонца: ведь важно только добраться, а тут просуществуем.[1] В Москву мы не едем. Так сложилась эта зима, что оказалось, что дом не на кого покинуть, и потому, несмотря на все призывы московских друзей, мы откладываем наш приезд на будущую зиму и приедем к Рождеству, тем более, что никакой спешки (в смысле здоровья) у нас сейчас нет.

Старое письмо свое пришли непременно.[2]

Стихи Есенина мы, конечно, знаем и любим, но в нашей библиотеке нет ни одной его книжки.[3] М.Ф. Якушкина обещала прислать недавно его Соб<рание> соч<инений>, но оно, кажется, еще не вышло.[4]

Эта зима прошла у нас очень тихо, уединенно, без личных событий. Я писал акварели (но не стихи). Сейчас вернулся из Феодосии,[5] где (увы!) вставлял себе зубы. Прошлым летом и осенью я чувствовал себя скверно благодаря воспал<ению> легких и отекам. Теперь от диеты помолодел и оправился. Маруся чувствовала себя все время хорошо, но отсутствием моим воспользовалась, чтобы скатиться навзничь по лестнице. Уверяет, что не ушиблась, но спина болит – надеюсь, что все пройдет благополучно.[6]

Милая Соня, хотел написать тебе большое письмо и чувствую, что не могу: за этот год, что мы не видались, в твоей жизни произошло столько событий чрезвычайных, ломающих и перерождающих человека, что издалека нельзя подойти: а вдруг неосторожным словом причинишь боль, коснешься болючего и растравленного нерва. Поэтому невольно ограничиваешься самыми общими словами. Поэтому приезжай скорее, дай себя почувствовать и дай тебе помочь, чем можем и как можем.[7] Крепко тебя обнимаю и целую, и Маруся тоже.

Макс.

[1] О тяжелом материальном положения С. А. Толстой Волошин узнал из письма О. К. Толстой от 4 марта 1926 г., в котором говорилось о полученном от него приглашении приехать в Коктебель: «...я так рада вашему приглашению, а еще больше, что Соня соглашается <...> Но все это в зависимости от денег, у нее *абсолютно* не было и нет ни копейки, и она существует на гроши, кот<орые> я уделяю ей из моего мизерного заработка. А работать она еще не в состоянии» (Звезда. 1991. № 6. С. 177–178). С. А. Толстая отвечала Волошину из Москвы 6 апреля 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1185, л. 27–28 об.): «Я совсем растерялась, оттого и не отвечала так давно. Знаю только, что тронули Вы меня ужасно. Какие вы добрые и трогательные. Ну, зачем Вы это сделали! Ведь Вам же самим трудно, а я Коктебель так люблю, что ничто не помешало бы мне приехать. <...> А внимание и любовь Ваша взволновала почти до слез. Приеду, так буду ругаться с Вами и целовать одновременно. Выехать думаю к Вам сразу после Пасхи».

[2] В письме к Волошиным от 17 февраля 1926 г. (Там же, л. 26–26 об.) С. Толстая сообщала: «Месяца три тому назад написала вам довольно большое письмо и случайно не послала его. Если хотите, пришлю его теперь, чтобы Вы знали, как я жила и как о Вас думала». Упомянутое письмо в подборке писем С. Толстой в архиве Волошина отсутствует.

[3] В том же письме С. Толстая замечала о М. С. Заболоцкой: «Я очень много думаю о Марусе. Мне хочется знать, читала ли она стихи моего мужа и любит ли их? Есть ли у Вас его книги и какие?»

[4] Имеется в виду издание: *Есенин Сергей.* Собрание стихотворений. Т. 1–4. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926–1927.

[5] В Феодосии Волошин пробыл с 1 по 16 марта 1926 г.

[6] См. примеч. 2 к п. 133.

[7] «Вы правы, Макс, милый, что писать нам сейчас друг другу очень трудно, – отвечала С. Толстая 6 апреля. – Лучше – до встречи!»

138. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

25 марта 1926 г. Коктебель

Коктебель. 25/III 1926.

Милый Саша, наконец-то дождался «второго» твоего письма.[1] Боялся, что пропало. Прежде всего, глубокая и умиленная благодарность за твои хлопоты, которые ценю тем больше, что ты начал их безо всякой просьбы и намека с моей стороны.

Прежде всего, о переписке. Я страшно рад, что ты дашь (или, вероятно, уже дал) переписывать Дане.[2] Опасаюсь, что она не захочет с меня брать денег. А я, напротив, хотел бы очень ей помочь. Поэтому, пожалуйста, наври ей, что за переписку платит Академия х<удожественных> н<аук>, а сам вручи ей наивысший гонорар, который можно только заплатить переписчице за соответственную работу, не возбуждая ее подозрений.[3] А деньги возьми из концертных, если Мар<ия> Вад<имовна>[4] их еще не переправила нам, или немедленно напиши, сколько – я переведу тебе. А одновременно постарайся склонить Даню к скорейшему приезду в Коктебель. При переписке имей в виду, что все помарки, отметки и слабо зачеркнутые карандашом места – все это лишь разметка для лекций и не имеет отношения к тексту монографии. Что напечатано – все так и есть полностью. Родословную и схемы к «Стрельцам» и к «Морозовой» посылаю.[5] Для издания имей в виду, что эта работа была сделана в 1916 г. для Кнебеля[6] и что у него имеется *весь графический* материал.

Спасибо за всевозможные справки и указания. Я ведь об экспертной Комиссии при Ц.К.У.Б.У. никогда ничего не слыхал и потому из твоих слов «на конкурс» сделал логическое (потому и неверное) заключение, что существует конкурс на работу о Сурикове. Относительно Азербейджана и Зуммера – так и сделаю, как ты пишешь, кстати, я ему одновременно отправляю семь акварелей для Азербейджанского музея и Университетского кабинета искусств.

Между прочим, мне бы очень хотелось те акварели, что у меня приобрела Третьяковка, заменить (или дополнить) более крупными и лучшими – последней зимы. Поговори об этом с Бакушинским,[7] и пусть он даст тебе полномочия выбрать.

Ну, а относительно нашего приезда – нам нечего и думать: к нам уже приехали гости (личные – т.е. не такие, на которых можно бросить дом, а самим уехать). Очень я огорчен упоминанием Наташи, что ты не сможешь выбраться раньше июня.[8] Мы так привыкли, что Габричи прилетают к 20 мая. Может, ты Наташу отправишь раньше себя? А? Крепко обнимаю и целую.

MAX.

Анчутку, Любочку, Леночку, Семеныча[9] и прочих наличных коктебельцев прижимаю к сердцу.

Маруся тоже.

[1] См. примеч. 4 к п. 130. Это «второе» письмо Габричевского к Волошину не выявлено. Габричевский вкратце изложил его содержание в приписке к недатированному письму Н. Габричевской к Волошину: «Дорогой Макс, я послал тебе подробное “второе” письмо, в котором я тебя прошу выслать мне 1) доверенность для представления рукописи в КУБУ и 2) 3 экземпляра родословной Сурикова и схемы Морозовой. Если ты письма не получил, напиши, я тогда еще раз подробно напишу. “Суриков” находится у Шпета, который будет договариваться с Academia. Саша» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 89 об.).

[2] Д. Н. Часовитина. Речь идет о перепечатке ею монографии Волошина «Суриков» (Волошин просил об этом Габричевского в п. 127 — еще до получения его «второго» письма).

[3] В ответном недатированном письме (около 5 апреля 1926 г.) Габричевский сообщал: «С твоей книгой получилось несколько неожиданно следующее: я все дожидался поправки Дани, т<ак> к<ак> непременно хотел дать работу именно ей, но вдруг Шпет мне говорит, что он отправляется к представителю “Academia”, я решил не медлить и всучил ему рукопись, которая сейчас находится в Петербурге в издательстве. Гроссман уверяет, что они все, даже самые драгоценные, рукописи отправляют в Петербург и что в данном случае риска никакого нет» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891—1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 155). Публикация книги Волошина «Суриков» в издательстве «Academia» не состоялась.

[4] М. В. Дорогова. Подразумевается московский благотворительный вечер в пользу Волошина (см. примеч. 5 к п. 134).

[5] Подразумеваются родословная В. И. Сурикова и схемы, выявляющие композиционную структуру его картин «Утро стрелецкой казни» (1881) и «Боярыня Морозова» (1887).

[6] См. примеч. 11 к п. 127.

[7] Историк искусства и сотрудник ГАХН Анатолий Васильевич Бакушинский (1883—1939) был в 1917—1926 гг. хранителем Цветковской художественной галереи, с 1927 г. — заведующим отделом графики Гос. Третьяковской галереи.

[8] 17 марта 1926 г. Н. Габричевская писала Волошину о предстоящей поездке в Коктебель: «Должна ждать, пока Саша кончит свои

занятия и пока будут деньги на билет и первые дни проживания» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 34–34 об.).

[9] А. А. Кораго, Л. А. Назаревская, Е. И. Стерлина, А. С. Стрелков.

139. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

26 марта 1926 г. Коктебель

26/III 1926. Коктебель.

Милая Наташа, если бы знала, с какою радостью я, наконец, вернулся из Феодосии в Коктебель с вызолоченною пастью и сияющим зевом!

Весна что-то все финтит и крутит. Днем приготовит букетик фиалок, а к ночи устроит рождественский пейзаж с сугробами, хлопьями снега да ватой на деревьях, посыпанной бертолетовой солью.

К утру все это быстро уберет, подлижет, напустит солнца да с таким студеным, морским ветром, что, несмотря на теплоту, зуб на зуб не попадает. Так нервничает, устраивает такие истерики, что просто за Коктебель стыдно – особенно пред Виктором (сын Веры Глебовны Успенской),[1] который приехал к нам отдохнуть, погреться и посмотреть, как в Крыму миндали цветут (черта с два!). Мы твердо знаем из газет, что весна ожидается 20 марта, но ей будут предшествовать три холодных волны. Вот в этом-то счете волн мы и сбились окончательно, да и сама погода, кажется, сбилась. Ничего не разберешь.

Но, тем не менее, жизнь наша уже перестраивается на весенний лад. Печки топятся плохо, в комнатах холодно, ишиасы болят, сад перекапывается. Маруся надрывает себе животики, пялясь по деревьям с обрезкой, Тату с Хной отревновались, отлюбились, отсобачились, Ажину рвет какой-то падалью, за мысом Мальчин огромный обвал, в Лягушиную бухту не пройти; в апреле ждем Соню Толстую и Рашель Мироновну.[2] Тихон пишет, что Катя и Анчутка едут.[3] Словом, сезон начался и очередь только за миндалями. Впрочем, у Маруси на окошке в консервных банках уже четыре миндаля проросли, и Маруся каждый день говорит: «Мася, посмотри,

какие они у меня тенистые». (А кошка взрывает в ящиках побольше задними лапами землю и поливает).

Милая Наташа, неужели вы сможете только в июне приехать? А может, ты сможешь приехать раньше Саши?[4] Если нет денег, то мы тебе из концертного фонда[5] на дорогу пришлем. Хочешь? Уж больно обидно, что еще весь апрель и весь май будешь в постылой Москве томиться.

Ты спрашиваешь, что привезти? Мне *сандалии*. (Длина 29 сантим<етров>, ширина 12 сант<иметров>). Не такие , а такие . И лучше всего пришли с первыми же едущими. Купи в магазине «Скороход» (механич<еской> обуви).

Маруся сейчас захлопоталась, занервничалась и чувствует себя расстроенной и больной и поэтому тебя целует с нежностью, как и я.* —съ.

Приписка М.С.Заболоцкой:

Макс тебе написал и нарисовал, мне жалко, что я не умею рисовать и ничего тебе не написала – ну, просто целую, тогда тебя и Сашу и ждем.

М<аруся>.

[1] В. Б. Успенский. См. примеч. 6 к п. 133.

[2] Р. М. Гольдовская. Ее приезд в Коктебель летом 1926 г. не состоялся.

[3] Т. И. Сорокин, Е. О. Сорокина, А. А. Кораго. Сорокина с детьми приехала в Коктебель 23 июня, Кораго – 26 июня 1926 г. (Труды и дни-2. С. 306).

[4] См примеч. 8 к п. 138.

[5] См. примеч. 4 к п. 138.

* *Далее — шуточный аналог подписи· семенная коробочка мака на стебле с двумя листиками — т е* <Мак>–съ

140. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

31 марта 1926 г. Коктебель

31/III 1926. Коктебель (Крым).

Милая Наташа,

Прости, пожалуйста, что я тебя так испугал во сне.[1] Все это так и было. Только еще раньше я был не Опопо-Максом, а Гипопо-Максом. Это был род кентавров не с лошадиным, а гипопотамовым туловищем и ногами, и не с человечьим, а Максовым торсом. И месяц такой, как лодочка, водится. И тогда мусульмане называют его «Джигют». Он бывал таким во время разливов Нила, когда мы – гипопомаксы плавали стадами, ныряли и кувыркались. Но Опопо-макса не следует смешивать с опопонаксом. Это духи́. И приготовляются они из застарелых катышков, отлагающихся в прямой кишке кашалота.

Ну, а теперь вернемся к текущему. Сегодня мы поднялись в 5 утра. Маруся поехала в город покупать доски и бревна для укрепления на лето Габричиной террасы. Сейчас час дня. Она уже вернулась и сию минуту потрошит и варит рыбу. Поэтому Ажина волнуется и орет перед дверью. Я волнуюсь тоже, потому что меня уже 2½ недели не кормили, а сегодня мне дадут поглодать жабру (другую кошке). У меня в голове что-то путается, вероятно, потому, что сегодня на рассвете я видел с балкона, как утка с глубокими реверансами несла перед носом Тату яйца (ему на завтрак), а селезень насиловал курицу. Какие-то мифологические нравы.... Кроме того, болит простуженная утренним туманом спина, и хочется спать.

Весна у нас налицо. Но довольно студеная: верст за тридцать от нас на Азовском море огромные ледяные заторы, нанесенные с севера, и потому оттуда несет, как из ледника. На Кок-Кая[2] громадный оползень (на том же месте, где обвал), и в одном месте так надавило, что морское дно выперло из воды.

А Саше я написал 27/III заказное письмо со всеми надобными приложениями.[3]

А тебя очень прошу о сандалиях.[4] Размер, что я давал, относится к подошве сандалий, а не к собственной моей ступне.

Крепко обнимаю милых Габричей и Маруся тоже.

MAX.

Приписка М.С.Заболоцкой:

Милая Наташа и Саша, уже весна, вернее, лето во всю щеку (так мы загорели), масса работ и постройка (чиню 2 террасы), и побелка, и гости – разрываюсь. Вас ждем скорее, писать много не могу, устаю к вечеру, как окаянная, хочется, чтоб все было и вовремя, и хорошо. Целуй всех, всех и скорей приезжайте.

Твоя М<аруся>.

[1] Написано по получении недатированного письма Н.А. Габричевской, озаглавленного «Сон» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 89–89 об.); в нем Волошин представал в облике сфинкса (изображенного на рисунке): «Сфинкс был так велик, что стало даже жутко. Ко мне подошел некто <...>. Он мне сказал, что это фараон, живший 4000 лет назад, и зовут его Опопомакс. Я удивилась и сказала: Я знаю Макса, а Опопо не знаю. Когда я вгляделась, то увидала следующее. Твоя голова с грозно смотрящими белыми глазами, женская грудь и туловище льва. Я говорю: Ведь профиль Макса на Карадаге, и у него отвалился нос. У Макса нос мягкий и легко поддается всякому ветру, вот он и обсыпался, а нос Опопомакса тверд и ветра не боится. В первом воплощении "он" был фараон Опопомакс, прошло четыре тысячи лет, теперь "он" во втором воплощении и называется просто Макс. При этих словах Опопомакс повернул глаза, и от их блеска и страха я проснулась».

[2] Кок-Кая («синяя скала») – горный хребет у Коктебельской долины (314 м).

[3] Имеется в виду п. 138.

[4] См. п. 139.

141. К. Ф. БОГАЕВСКОМУ

31 марта 1926 г. Коктебель

31/III 1926.

Милый Костя,

посылаю тебе следующие книги:

Обновленная Земля,
Тацит,
Конрад. На взгляд Запада,
Мейринк. Голем,
Марко Поло. Записки.
Ан<на> Гр<игорьевна> Достоевская. Воспоминания[1]

и тебе на память мои переводы Ренье, только что вышедшие.[2]

Привет Жозеф<ине> Густавовне.[3]

Благополучно. Крепко обнимаю.

Макс.

[1] Имеются в виду издания: *Герцль Теодор.* Обновленная земля. Роман / Пер. А. Даманской. СПб.: ред. ж-ла «Образование», 1904; *Конрад Джозеф.* Собр. соч.: В 5 т., т. 4. На взгляд Запада / Пер. А. В. Кривцовой. М.; Л.: Земля и Фабрика, 1925; *Мейринк Густав.* Голем / Пер. и предисл. Д. И. Выгодского. Под ред. А. Л. Волынского. Пб.; М.: Гос. изд-во, 1922; *Достоевская А.Г.* Воспоминания / Под ред. Л. П Гроссмана. М.; Л.: Госиздат, 1925. О каких именно изданиях Корнелия Тацита и Марко Поло (видимо, в русских переводах) идет речь, неясно.

[2] Имеется в виду выполненный Волошиным и опубликованный отдельным изданием в 1914 г. перевод новеллистического цикла «Маркиз д'Амеркер» (см.: Т. 4 наст. изд. С. 647–702), переизданный в кн.: *Ренье Анри де.* Собр. соч : В 17 т., т. 1. Яшмовая трость. Л.: Academia, 1925. С. 41–142.

[3] Ж. Г. Богаевская.

142. В. А. МАНУЙЛОВУ

31 марта 1926 г. Коктебель

31/III 1926. Коктебель (Крым).

Дорогой Виктор Андроникович, буду очень рад, если Вы ко мне заедете в мае—июне.[1] Кстати, от Ростова существуют прямые рейсы на Феодосию. Время удобное, и мне будет очень приятно видеть вас у себя. «Норда» еще не получил и тороплюсь Вам написать, чтобы письмо Вас застало до отъезда.[2] Спасибо за сведения о Вячеславе.[3] Из Новочеркасска лучше заранее напишите. Стихов эту зиму новых я так и не написал, а сейчас весною тянет в горы, в сад копать землю. Всего лучшего. Жду с нетерпением «Норда». До скорого свидания.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 23 марта 1926 г. из Баку В. А. Мануйлов спрашивал: «...удобно ли для Вас будет, если я загляну к Вам в конце мая или середине июня. Судьба моя складывается так, что в середине апреля н<ового> ст<иля> я должен буду на месяц съездить в Новочеркасск к своим, и на обратном пути в Баку могу заехать к Вам» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 433).

[2] В том же письме Мануйлов оповещал Волошина: «...на днях я Вам высылаю “Норд”. Из Ваших стихов удалось напечатать всего три, т<ак> к<ак> многое пришлось вынуть уже из набора – в последнюю минуту оказывалось, что оно где-либо напечатано» (Там же. С. 432). В сборнике «Норд» (Баку, 1926) были напечатаны три стихотворения Волошина: «Из Анри де Ренье» («Приляг на отмели... Обеими руками...»), «Мы столь различные душою...», «Ступни горят, в пыли дорог душа...» (С. 26–28); все они публиковались ранее.

[3] Сообщенные Мануйловым в том же письме сведения о Вяч. Иванове восходили, по всей вероятности, к несохранившемуся письму Иванова к В. М. Зуммеру: «Вячеслав Иванович все еще в Риме. Они сошлись сейчас близко с Горьким – переписываются. На Пасху В. И. ждет к себе Зелинского. Там же недавно был Гречанинов, но Александра Тихоновича на этот раз Рим принял пасмурно и Гречаниновы быстро уехали» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. С. 433).

[4] Намечавшийся весной 1926 г. приезд Мануйлова в Коктебель не состоялся.

143. Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

4 апреля 1926 г. Коктебель

4/IV 1926. Коктебель. (Крым).

Дорогой Эрик Феодорович,

простите, ради Бога, что я так и не ответил Вам на Ваше новогоднее письмо и не поблагодарил за Вашу изящную по изданию и прекрасную по форме книжку портретов.[1] Виною этому — долгое пребывание в Феодосии для вставления зубов,[2] работы в саду и по дому и теперь уже ранние гости. В апреле к нам уже едут многие из друзей. Очень грустно думать, что этим летом ни Вы, ни Екатер<ина> Владимир<овна> не навестите нас.[3] А может быть? Передайте мой привет Татьяне Ивановне,[4] и что мы ее ждем всегда. Передайте, пожалуйста, тоже мой привет Всеволоду Рождественскому (как его отчество?), и что мы были бы очень, очень рады, если бы он приехал в Коктебель на лето, что я его очень зову, что все больше люблю его как поэта, и очень хотел бы узнать его ближе и интимнее. Напишите мне его адрес, пожалуйста.[5] Не слыхали ли Вы что-нибудь об Леониде Ивановиче Гиринском?[6] Он по обыкновению никогда ничего не пишет. Чувствую я себя после зимы хорошо. Благодаря диетам сбросил ½ пуда и помолодел. Не обижайтесь, что пишу открыткой: очень запустил свою переписку и надо ответить на 40 писем. Если кого будете направлять к нам — то только не на август, и чтобы брали с собою мешки для сена. А примем каждого, кто от Вас — только бы места хватило. Как Ваши дела в Ленгизе?[7] Мне говорили, что Вы там остались. Надеюсь, что так, и радуюсь. Мар<ия> Ст<епановна> Вас и Ек<атерину> Вл<адимировну> приветствует. Крепко Вас обнимаю. Приезжайте, если будет возможность.

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет о письме Э. Ф. Голлербаха от 29 декабря 1925 г., в котором сообщалось: «Посылаю Вам крохотную книжечку стихов, в которой Вы найдете и свой портрет, сделанный минувшей весной. По внешности издание во всяком случае своеобразно: оно сплошь

"автографично" и выполнено цинкографическим способом, без набора. К сожалению, по экономическим причинам пришлось ограничиться всего восьмью "портретами" – неизданными. В начале я предполагал поместить в книжке всю серию, включая и напечатанное ранее в различных журналах <...>. При осуществлении "Портретов" были цензурные прения, которые с трудом удалось преодолеть, – но об этом рассказывать долго» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 21 об.–22). Речь идет о книге: *Голлербах Э.* Портреты. Стихи Л.: Гос. Уч.-пр. шк.-тип. им. Т. Алексеева, 1926 – в которой было опубликовано стихотворение «Максимилиан Волошин» («Силена стан, апостола осанка...», 26 мая 1925 г.).

[2] С 1 по 16 марта Волошин находился в Феодосии, где лечил и вставлял зубы. См.: Труды и дни-2. С. 293–295.

[3] Е. В. Штейн.

[4] Т. И. Хижинская.

[5] Адрес и отчество Вс. Рождественского Голлербах сообщил Волошину в ответном письме от 15 апреля 1926 г.: «Вы спрашиваете, как отчество Рождественского: Александрович. Адрес его: Рузовская, 2, кв. 9» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 23).

[6] О друге юности М. С. Заболоцкой, Л. И. Гиринском, Голлербах писал Волошину 15 апреля 1926 г.: «Л. И. Гиринский по прежнему служит в Горсовете; встречаться с ним мне не приходится» (Там же).

[7] Речь идет о процессе слияния Московского Госиздата с Ленгизом, о котором Голлербах сообщал Волошину еще 1 декабря 1925 г.: «В Ленгизе у нас сейчас некоторое смятение, ожидается слияние с Московским Госиздатом. В результате я не предвижу ничего хорошего» (Там же, л. 18). В письме от 29 декабря 1925 г. он же рассказывал Волошину об этом слиянии: «В Госиздате, точнее Ленгизе, большие перемены, в частности и подо мной колеблется почва, не знаю – устрою ли... А было бы жаль оставлять любимое дело. Не говорю уже о том, как скверно могут сложиться дела материальные. "Чем жить – неизвестно... "Литературой?" Которой – не существует?"» (Там же, л. 22 об.). Позже Голлербах ответил Волошину: «С Ленгизом я расстался – с большой горечью, потому что любил свою работу. Сейчас "Ленгиза" уже не существует, он утратил автономию и превратился в "Леноттиз". Работаю сейчас в Производ<ственном> – Бюро Академии Художеств» (Там же, л. 23–24).

144. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

4 апреля 1926 г. Коктебель[1]

4. IV. 1926. Коктебель.

Дорогой Лев Евгеньевич, простите теперь Вы меня, что я не отвечал так долго на Ваше дружеское и подробное письмо[2] и теперь отвечаю Вам краткой открыткой. Сперва неприятное пребывание в Феодосии для вставления зубов, потом весна, сад, ремонт дома, ранние гости, груда неотвеченных писем, намеренье попасть весною в Москву совершенно сбили мою переписку. Ну, в Москву мы, конечно, не попадем уже, но Вас к себе летом ждем непременно и пораньше. Надеюсь, что нам удастся и побеседовать и побродить вместе по горам, словом, сделать все, чему помешала в прошлом году моя дурацкая болезнь. Если не хотите быть в такой тесноте, как прошлое лето, приезжайте не на август, а раньше. Не забудьте захватить мешки для сена.

Наша весна прерывает теплые дни свежими мятелями, как сегодня, и капризна до последней степени. Мар<ия> Степан<овна> шлет Вам сердечный привет и приглашение. Всего лучшего. Привет Валентине Павловне.[3] Обнимите от нас Сережу и Машеньку.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 5.4.26; Москва. 9.4.26.

[2] Имеется в виду письмо Л. Е. Остроумова из Москвы от 14 декабря 1925 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 917, л. 1–2 об.).

[3] В. П. Остроумова.

[4] С. В. Шервинский и М. С. Шервинская.

145. Л. П. ГРОССМАНУ

4 апреля 1926 г. Коктебель[1]

4 IV 1926.

Дорогой Леонид Петрович,

напоминаю Вам, что Коктебель существует; существует и Волошинский Дом, в котором Вы всегда будете дорогим и желанным гостем. Шлем вместе с Марьей Степановной дружеский привет Вам и Серафиме Германовне[2] и ждем Вас летом к себе. В прошлом году Вас определенно не хватало. Мне этой зимой не удалось проехать в Москву, но будущей зимой думаю приехать с декабря. Всего, всего лучшего и надеюсь летом встретиться.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка; отправлена по адресу ГАХН. Почтовые штемпели Коктебель. 5.4.26; Москва. 9.4 26.

[2] Подразумевается Серафима Гермогеновна Гроссман, жена Л. П. Гроссмана.

[3] Летом 1926 г. Л. П. Гроссман в Коктебель не приезжал.

146. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

4 апреля 1926 г. Коктебель[1]

4. IV. 1926. Коктебель.

Дорогой Иван Михайлович,

окончательно выяснилось, что в Москву мы не поедем этой весной: у нас *уже* гости и еще многих мы ожидаем в течение апреля, так что нам не выбраться, но на следующую зиму мы зато прикатим до декабря. А Вас ждем с Соф<ьей> Настасьевной[2] летом непременно. Если у Вас есть для нас что-нибудь из лекарств (я лично прошу только о фенацетине), то пришлите со Слудским (карадагским): он сейчас уехал в СПБ и, возвращаясь, остановится у Алексея Иосиф<овича> Бачинского (Обыденский пер., 1, кв. 52), или с кем из иных кокте-

бельцев (Габричевские, Сорокины...), что приедут рано. У нас весна, но очень неровная, и дни совсем летние неожиданно нарушаются снежными метелями, как сегодня.

Я чувствую себя хорошо. Держу диеты и спустил за зиму 20 фунтов веса.

Всего, всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

Маруся приветствует Вас и Соф<ью> Настасьевну.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Феодосия. 6.4.26; Москва. 9.4.26.

[2] Софья Анастасьевна Саркизова (?–1960), жена И. М. Саркизова-Серазини.

147. М. А. БУЛГАКОВУ

4 апреля 1926 г. Коктебель

4/IV. 1925. Коктебель.

Дорогой Михаил Афанасьевич, не забудьте, что Коктебель и Волошинский дом существуют и Вас ждут летом. Впрочем, Вы этого не забыли, т<ак> к<ак> участвовали в Коктебельском вечере,[1] за что шлем Вам глубокую благодарность. О литер<атурной> жизни Москвы до нас доходят вести отдаленные, но они так и не соблазнили меня на посещение севера. Заранее прошу: привезите с собою конец «Белой Гвард<ии>», которой знаю только 1 и 2 части, и продолжение «Роковых Яиц».[2] Надо ли говорить, что очень ждем Вас и Любовь Евгеньевну[3] и очень любим.[4]

Наша зима прошла тихо и счастливо. Я писал только акварели и совсем не писал стихов. Диетами похудел на 20 фун<тов>. Сейчас уже нахлынула весенняя жизнь и первые гости. Приветствую Любовь Евгеньевну, и Маруся прив<етствует> Вас обоих.

Максимилиан Волошин.

[1] В Москве 1 марта 1926 г. в Государственной Академии художественных наук состоялся благотворительный литературно-музыкальный вечер «для помощи Волошину», одним из инициаторов которого была С. З. Федорченко. На вечере выступили: П. Г. Антокольский, В. В. Вересаев, Б. Л. Пастернак, Ю. Л. Слезкин, С. В. Шервинский. По дневниковой записи Л. В. Горнунга известно, что на этом вечере М. Булгаков «прочел по рукописи “Похождение Чичикова”, как бы добавление к “Мертвым душам”» (*Горнунг Л.* Дневниковые записи // Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 499). Собрали 470 рублей. Участникам вечера Волошин выслал по акварели, на пейзаже Булгакову он надписал (15 февраля 1926 г.): «Дорогому Михаилу Афанасьевичу: спасибо за то, что не забыли о Коктебеле» («Буду рад видеть Вас в Коктебеле...» (Переписка Максимилиана Волошина и Михаила Булгакова) // *Волошин Максимилиан.* Избранное. Стихотворения. Воспоминания. переписка. Минск, «Мастацкая літаратура», 1993. С. 429). В архиве Волошина сохранилась машинопись программы вечера. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 46).

[2] См. примеч. 3, 4 к п. 37.

[3] Л. Е. Белозерская-Булгакова.

[4] М. А. Булгаков откликнулся на письмо Волошина открыткой от 3 мая 1926 г., в которой отметил: «Мечтаем о юге, но удастся ли этим летом побывать – не знаю. Ищем две комнаты, вероятно, все лето придется просидеть в Москве» («Буду рад видеть Вас в Коктебеле...» (Переписка Максимилиана Волошина и Михаила Булгакова)... С. 430). Летом 1926 г. Булгаков в Коктебель не приезжал.

148. М. А. ПАЗУХИНОЙ

12 апреля 1926 г. Коктебель[1]

Дорогая Марья Александровна,

у нас уж начался летний сезон несмотря на то, что и погода и температура заставляют ждать еще многого. У нас уже есть гости, и потому зимняя тишина нарушилась и дни сразу переполнились.

Большое, большое спасибо Вам за краски. Из купленных Вами — все хороши и надобны, кроме Гуммигут (Gomme-Gutte) — краски ядовитой и в живописи вредной. Но кроме этих еще попросил бы Вас о следующих: *Garance Foncie* (крамп-

лак темный), *Кадмий средний* по 1 экземпл<яру> и по 3 – по 4 экземпляра разных землистых красок (они самые дешевые), именно:

Охры желтой и *золотистой* (или темной),

Умбры жженой,

Итальянской Земли (Terre d'Italie) *жженой* и *натуральной*.

Все эти земляные краски неважно какой марки иностранной, но только не русской. А вот *Ультрамарин* (темный) лучше всего «*Winsor et Newton*» (если нет, то Lefranc), и его тоже, если можно, 3–4 экземпляра. Все это совершенно не важно — в плитках ли, в тюбиках ли, или в фарфоровых ванночках. Они все хороши и в плитках только лучше сохраняют<ся>. Но *русские* краски, как общее правило, никуда не годятся ни по качеству, ни по обработке, а часто бывают просто кусочками подкрашенного мела. Спасибо большое за кнопки (если только они тоже *не русские*). Александрийская слоновая, если только ее поверхность не полированно гладкая, вполне мне годится, и 12 к<опеек> это нормальная цена. Я большинство моих акварелей пишу именно на такой и буду за нее глубоко благодарен.

Ну вот все мои деловые поручения, милая Марья Александровна, и простите меня, что я так бессовестно эксплуатирую Вашу любезность и бесконечную заботу обо мне. Но надеюсь, что то, что я напишу Вашими красками и на Вашей бумаге, доставит много радости и Вам и многим общим нашим друзьям. Сейчас я пишу главным образом море, изучая технику волны. Целую Дима и Алика.[2]

Хотелось бы видеть Вас с весны. Что-то не очень я верю врачам, запрещающим Вам Коктебель. Но советовать не смею. Привет Василию Александровичу.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой от 12 апреля 1926 г.

[2] Сыновья Пазухиных – Вадим и Александр.

[3] В. А. Пазухин.

149. В. Г. ЛИДИНУ

16 апреля 1926 г. Коктебель

16/IV 1926. Коктебель.

Милый Владимир Германович,

очень сожалею, что не могу Вам служить летом своим домом: но предоставить больше одной комнаты не имею возможности.[1] Комнаты здесь сдаются всюду, но цены высокие благодаря очень высокому их обложению налогами. Какие — заранее определить трудно, т<ак> к<ак> это определится лишь с мая месяца. Но вот — случай, который, б<ыть> м<ожет>, Вам подойдет — мой непосредственный сосед местный священник отец Михаил Синицын сдает в своем домике 2 комнаты (4 × 8 и 5—8 шагов), изолированных друг от друга и от остального дома с верандой на море и непосредственно на берегу. Я его сегодня утром расспросил. За все лето без ограничения срока (хоть с 1 мая по ноябрь) он хочет 350 руб. Это по здешним ценам не дорого, удобно в смысле близости моря и достаточно изолировано, т<ак> к<ак> у него никто кроме Вас жить не будет. Он человек приятный, покладистый и простой. Хочет получить вперед 150—100 руб. (для ремонта и побелки). В крайнем случае он мог бы сдать Вам и третью комнату. Но это сложно, т<ак> к<ак> этим он подпадает под все существующие обложения и налоги. Относительно питанья: здесь есть и «нарпит» и частные столовые. Цены 70—80 к. за обед (в прошл<ом> году). Отдельный домик здесь можно иметь только через «Коммунхоз», но в порядке «аренды» на несколько лет, в разрушенном виде и с обязательством ремонта и т. д., что, конечно, Вам не подходит.

Вот, кажется, все. Буду очень рад встретиться летом ближе и подробнее.[2] Всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме из Москвы от 7 апреля 1926 г. В. Г. Лидин напоминал Волошину: «Мы с Вами немного знакомы по Москве» — и просил его «помочь в деле изыскания жилища в Коктебеле на лето»: «...мне нужно 2—3 комнаты, по возможности с балконом, и лучше бы все-

го – если бы независимые, т. е. отдельный домик. Если этого нельзя, то просто 2–3 комнаты на даче» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 781).

[2] Летом 1926 г. Лидин в Коктебель не приезжал.

150. С. А. ТОЛСТОЙ

17 апреля 1926 г. Коктебель[1]

17/IV 1926. Коктебель.

Милая, дорогая Соня, конечно, приезжай со своей приятельницей. Передай ей наше приглашение: даже странно об этом спрашивать.[2] Ты верно отвыкла от Коктебеля. За деньги – прости.[3] Если уж очень обидно: верни. Но мы просто хотели увидать тебя скорей и для этого заранее устранить возможные материальные задержки. Думали, что и тебе лучше поскорей приехать, чтобы побыть с нами наедине. Мы тебя очень любим и все это время, как тебя не видели, были сердцем с тобою и всю гибель Есенина воспринимали через тебя. И теперь хочется все-таки увидать тебя в начале лета, а не в конце, когда мы будем уже измучены и выпиты. Увидишь в СПБ. Ирину[4] – зови ее в Коктебель. Она эти годы не пишет нам: очевидно, обиделась. Но в этой обиде мы не чувствуем себя <н>и с какой стороны виноватыми и будем ей всегда рады по-прежнему. А если бессознательно виноваты, пусть простит. Сейчас у нас идет ремонт дома, посадки цветов. Уже есть ранние гости. День уже переполнен по-летнему. Весна поздняя. Ветры студеные. Так что если ты приедешь после Пасхи[5] – как раз попадешь к цветению степей и акаций. Маруся после операции очень окрепла и поздоровела. Тебя любим крепко, верно и нежно. Очень ждем.

МАХ.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 17.4.26; Москва. 20.4.26.

[2] В письме к Волошину от 6 апреля 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1185, л. 27–28 об.) С. Толстая спрашивала: «Можно мне <...> привезти к Вам с собой одну милую молодую женщину? Ее муж литературный человек, и оба они мне близки и дороги по последнему

периоду своей жизни. Она очень приятная, и я уверена, что Вам с ней будет хорошо. <...> Одной мне как-то тяжело и страшно сдвинуться с места. Обе мы думаем прожить у Вас с месяц». С. Толстая приехала в Коктебель 7 июня 1926 г. (Труды и дни-2. С. 304) без упомянутой спутницы.

[3] Деньги (20 руб.), присланные Волошиным на оплату дороги в Коктебель. См. п. 137, примеч. 1. В письме к Волошиным от 6 апреля 1926 г. О. К. Толстая сообщала в этой связи: «Помимо того, что и вам самим нелегко, Соня обрушилась на меня, вообразив, что я написала что-нибудь бестактное, понудившее вас выслать ей деньги. <...> Она в несколько лучшем состоянии, живет теперь уже большей частью дома <...>; но все так же вяла, бездеятельна и раздражительна» (Звезда. 1991. № 6. С. 178).

[4] И. В. Карнаухова.

[5] Пасха в 1926 г. – 2 мая.

151. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

17 апреля 1926 г. Коктебель[1]

17. IV. 1926. Коктебель.

Дорогой Иван Михайлович,

спасибо за привет. Завидую Вашим заграничным перспективам, но... думаю, что все-таки не уедете благодаря дороговизне паспорта, и потому жду Вас в Коктебель.[2] Алекс<андр> Феод<орович> Слудский уже недели 3 в Москве, т<ак> к<ак> заболел гриппом и в Петербург на съезд не попал. Лежит у Бачинских.

У нас идет ремонт дома (на концертные деньги),[3] посадки, уже гости. Весна поздняя и холодная.

Крепко обнимаю. Приветствуем Соф<ью> Анастасьевну.[4] Ждем.

Макс. Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 17.4.26; Москва. 21.4.26.

[2] В письме к Волошину от 12 апреля 1926 г. И. М. Саркизов-Серазини сообщал: «Я лично и Шервинский собираемся на лето уехать

за границу. Я в Турцию, Грецию, Италию, Австрию и Германию, а он Турцию – Грецию. Все будет зависеть от изменения паспортной системы, так как за заграничный паспорт до смешной нелепости берут колоссальные деньги» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 26). В ответном письме от 21 апреля Саркизов-Серазини замечал: «Вы оказались пророком. Вчера встретил Шервинского, который, как и я, отказался ехать. Для меня вопрос заключался не в деньгах. “Презренным металлом” я снабдился достаточно <...>, но с собой, уезжая, можно взять только 150 р. Этих денег едва хватит до Берлина» (Там же, л. 27).

[3] Деньги, вырученные на благотворительном литературно-музыкальном вечере в пользу Волошина (см. примеч. 5 к п. 134).

[4] С. А. Саркизова.

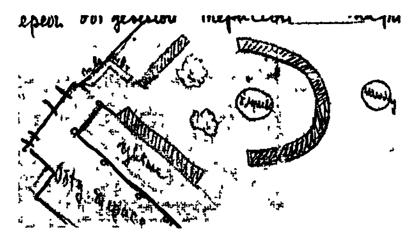
152. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

17 – 19 апреля 1926 г. Коктебель.

17/IV 1926. Коктебель.

Милая Наташа, твои письма такой восторг и очарование, что я их по десяти раз перечитываю и не могу налюбоваться.[1] Их идеографическое письмо необычайно хорошо сочетается с самой смелой звуковой орфографией. (Ради Бога, не думай, что я издеваюсь!), но они действительно являются вполне равносильными тебе и твоему характеру.

О скамейке ты напрасно просишь:[2] я об этом позаботился раньше: вся терраса кругом теперь обнесена сплошной скамейкой, которая укрепляет и перила. А к ее устоям прибавлено еще два столба, и половина досок заменена новыми. Одним словом, она так крепка, устойчива и поместительна, что там можно сидеть по полусотне человек, танцевать фокстрот и даже вприсядку: не шелохнется. Кроме того, устроено еще три скамейки перед обеденной террасой. На рисунке скамейки заштрихованы. Это дает возможность сидеть вечером не только на завалинке, но пользоваться всею площадкой. Полукруглая скамья вся со спинкой, а прямые просто на столби-



ках. Я думаю, что эти скамьи сделают наши вечера очень уютными. Но необходимо заранее озаботиться об освещении, и я рассчитываю на тебя, Наташа. По-моему, надо запастись фонарями трех родов: 1) надо достать штук 5—10 бумажных шаровидных фонарей (желтых и апельсинных).

2) Надо привезти 3—4 стеклянных колпака для садовых подсвечников (они у нас есть, но колпаки все перебиты).

3) Надо достать сплошной стеклянный фонарь для небольшой яркой лампы, чтобы подвешивать его на дерево.

Тогда мы сможем каждый вечер пить чай под открытым небом и устраивать тут же и шарады, и малые китоврасьи игры. Я думаю, что ни с детьми, ни с маститыми недоразумений не будет — мы их растыкаем по другим углам, а что касается скандалов, попоек и хулиганства, то думаю, что их все же предпочтительно устраивать дома, а не на пляже, в видах общественного спокойствия.

Относительно Лягушиной бухты — не беспокойся.[3] Туда ход не завален. Сведения оказались ложными. Оползень действительно есть и очень большой — один из самых больших в Крыму по определению Спасокукоцкого, но он произошел на месте старого обвала 1914 года[4] — сейчас же за рыбаками. Он начался очень высоко и так надавил на морское дно, что оно местами стало дыбом. Но через сферу оползня уже протоптаны тропинки, и сообщение с Лягушиной бухтой восстановлено. В ней же ничего не обвалилось. И Монах цел, и Дама цела.[5]

Мой портрет Сашиной работы[6] нас очень заинтересовал, и мы надеемся, что вы не только пришлете нам его фотографию, но и привезете с собой его оригинал летом?

А моя большая фотография — я ее знаю по маленькой, что мне прислал Хлопин.[7]

Мы реставрировали кухонную террасу и верхнюю террасу Юнговского дома и его чердак и хотим там устраивать в этом году Сестервятник, т<ак> к<ак> при наличии хорошей и крепкой террасы (она вся сделана заново) там очень хоро-

шо будет. Сейчас переделывается кухня для Липочки:[8] русскую печь к черту, а вместо нее большую плиту с огромной духовкой поперек комнаты. Потом весь дом будет штукатуриться и белиться сверху донизу, а новые террасы олеонафтиться. Кроме того, нам прислали семян (и Вера Эфрон, и из Харькова – очень много), и мы сегодня навезли чернозему и густо засеиваем все бордюры, клумбы и перед обеденн<ой> террасой. (За топтанье их – поруганье и высшая мера наказания).

Маруся сейчас тебе не пишет, потому что устала до полного изнеможения. Но целует крепко. Я – тоже.

МАКС.

19/IV. Письмо Маруся не отдала почтальону, и оно залежалось 2 дня. Вчера мы засеяли всю раскопанную землю и привезенный чернозем цветами. Но, кажется, сегодняшний южный ураган все семена выдует из земли. Но погода определенно потеплела за последнюю неделю. На столах большие тарелки, полные фиалок, крокусов и подснежников. Миндали, вишни и груши, кизил – в цвету.

Если Катя[9] выедет раньше вас, то пришли сандалии и фонари с нею. Спроси Сашу, что нового с «Суриковым».[10] Переписан ли он. Сколько я ему должен за переписку? Сделал ли он то, что я просил о Дане?[11] Маруся захлопоталась, завертелась, утомилась, письма перестала писать и кусается, иногда дерется.

Крепко Вас целует и приветствует. Хна ожидает 10 щенков, а Ажина – 4. Тату с тех пор, как я стал его бить палкой за бессмысленный лай, стал значительно интеллигентнее и преданно меня полюбил, и начал мною гордиться.

МАКС.

[1] Имеются в виду письма Н.А. Габричевской от 1–2 апреля (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 35–36 об.) и от 5 апреля 1926 г. (Там же, л. 37–38 об.) с шуточными рисунками в тексте.

[2] В приписке, обращенной к М.С. Заболоцкой (5 апреля 1926 г.), Н. Габричевская предлагала: «Если от ремонта балконов останется доска, ты сделай из нее скамеечку на верхний балкон, чтобы зря не таскали туда стульев. А то ведь эти черти будут садиться на перила и опять расшатают балкон».

[3] Отклик на сообщение относительно Лягушиной бухты в п. 139. В письме от 1/2 апреля Габричевская замечала: «...ты меня *ужасно* огорчил, что же я буду делать без Лягушачьей бухты??? Моя гордость! Страсть! Любимое мое место!!! <...> Нет, что ты там ни пиши, а я найду дырочку как попасть. Стой, чудно я вплавь» – далее следует рисунок: морские волны и лягушка.

[4] Подразумевается грандиозный обвал, случившийся на хребте Кок-Кая в ночь на 18 января 1914 г.; зарисован Волошиным в письме к А.М. Петровой от 21 января 1914 г. (Т. 10 наст. изд. С. 155).

[5] Прозвища прибрежных скал в районе Лягушиной бухты. 5 апреля 1926 г. Габричевская писала Волошину: «Неужели упала моя красавица с монахом. <...> Я ее ужасно люблю. Знаешь ее. Она сидит в кресле, а к ней подходит монах». Далее – схематический рисунок.

[6] См. цветную репродукцию портрета Волошина работы А.Г. Габричевского (1926; холст, масло. 59×53) в кн.: Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 193. В том же письме Габричевская сообщала: «Саша написал твой портрет маслом, так замечательно, что дальше ехать некуда, он его чуть-чуть еще не кончил. Но ты так похож, потом изумительные цвета. Я ужасно рада, что ты висишь у нас. У тебя строгое и задумчивое лицо. <...> Когда он кончит, ты (на полотне) высохнешь, то мы тебя сфотографируем и пришлем». Здесь же дан рисунок, воспроизводящий общие черты портрета, со словесными примечаниями и резюме: «У меня ты совсем не похож, но приблизительно верна вся конструкция. <...> я не видала такого сходства ни у кого, кто бы тебя ни писал, ни рисовал».

[7] В том же письме Габричевская упоминает фотопортрет Волошина, сделанный Н.Г. Хлопиным.

[8] О.Н. Сербинова.

[9] Е.О. Сорокина.

[10] См. примеч. 1 к п. 117, п. 127, примеч. 6.

[11] Д.Н. Часовитина. См. п. 138, примеч. 3.

153. Е.Л. ЛАННУ

19 апреля 1926 г. Коктебель

19/IV 1926. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

Ваше молчание меня совсем обеспокоило. Не больны ли Вы? Ни от Вас, ни об Вас никаких вестей вот уже 4 месяца.

Может быть, письма исчезают? Последнее письмо я Вам отправил *шестого января заказным* (т<а к> к<ак> это был ответ на Вашу статью обо мне с целым рядом биографических дополнений).[1] И с тех пор от Вас ни звука.

Не обидел ли я Вас? Не думаю, потому что Ваша статья мне показалась очень тонкой, умной и справедливой. Теперь уже для нас наступает летний режим. У нас уже живет кое-кто из гостей. Вообще собираются в этом году рано, несмотря на позднюю и студеную весну. Когда Вы приедете? Хотелось бы пораньше. Что Вы делаете? Где работаете? Как Ваши материальные дела? Как здоровье? Маруся шлет привет Алекс<ан>дре Вл<адимировне>[2] и Вам. Она уже завертелась в летней работе: дом ремонтируется на концертн<ые> деньги,[3] делаются посадки и т.д.

Крепко Вас обнимаю и жду вестей. Еще раз благодарю за «Europe».[4]

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 102 и примеч. к нему. В недатированном письме Ланн отвечал Волошину, что был болен зимой, отметив также, что одно его письмо пропало («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 98).

[2] А.В. Кривцова.

[3] Речь идет о благотворительном литературно-музыкальном вечере «для помощи Волошину». См. примеч. 1 к п. 147.

[4] См. примеч. 14 к п. 116.

154. А.П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

24 апреля 1926 г. Коктебель[1]

24/IV. 1926.

Дорогая, милая Анна Петровна, с грустью за лето и с радостью за Вас я провожал уже Вас мысленно в Париж,[2] но теперь, прочитав о запретительных пошлинах на заграничные паспорта, предчувствую, что Ваша поездка не состоится. Ваше письмо (7.III) было написано в тревожные минуты болезни Сергея Васильевича,[3] и мы так и не знаем ни хода его болез-

ни, ни состояния его здоровья сейчас. Эта зима была для Вас полна тревог, волнений, хлопот и переутомления. Для нас она прошла в тишине и в молчании, но сейчас она уже кончилась, и мы уже снова живем людьми. Маруся хлопочет, разрывается, утомляется и переполняет дом толчками своей страстной самоотверженной и бестолковой энергии.

У нее есть одна просьба к Вам, которую она не решается сама высказать, и которую я разделяю: не найдется ли у Вас лишнего оттиска Ваших колонн Томоновской Биржи?[4] Это одна из Ваших петербургских гравюр, которые мы наиболее любим, и которую так бы хотелось видеть иногда в Коктебеле.

За зиму в уединении любовь к людям и радость свиданья удесятеряется, и т<ак> к<ак> никакая болезнь не нарушила для нас этой весны, то мы ждем с волнением и нетерпением возврата всех наших милых друзей. Я писал Елизав<ете> Сергеевне[5] и очень надеюсь, что этим летом она не минет Коктебеля. Если увидите милого Костенку,[6] пожалуйста, повлияйте на него, чтобы он приехал летом. Когда ждать Вас? Если все-таки Ваша поездка в Париж удастся, то передайте, пожалуйста, мой привет всем парижским друзьям.

Крепко обнимаю Серг<ея> Вас<ильевича>, Николая Григор<ьевича>, Вадима Никандровича, привет Анаст<асии> Осиповне[7] и Волжинскому.

Всего, всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

P.S. Если в СПБ есть: привезите мне, пожалуйста, несколько тонких, острых и длинных колонковых кисточек (№№ 5-6...) для тонких рисунков кистью, но достаточных по толщине сохранять краску.

М. В.

[1] Приписка к письму М.С. Заболоцкой, датированному тем же числом.

[2] В письме от 7 марта 1926 г. А.П. Остроумова-Лебедева сообщала Волошину, что «совсем серьезно собралась ехать в Париж и Лондон» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 29 об.). 15 апреля 1926 г. она также писала Волошину: «Я уезжаю. После бесконечных затруднений, преград и треволнений я уезжаю 21-го апреля за границу» (Там

же, л. 31). О пребывании Остроумовой-Лебедевой в Париже см.: *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические заметки. Т. III... С. 110–128.

[3] О болезни С. В. Лебедева Остроумова-Лебедева рассказывала Волошину в письме от 7 марта 1926 г.: «У нас сейчас повальная эпидемия инфлуэнции. На прошлой недели заболел Серг<ей> Вас<ильевич>, и у него все осложнилось катаральным воспалением легких. Была очень высокая температура, а вчера упала, и доктор думал, что это кризис и вдруг сегодня опять поднялась....» (Там же, л. 30 об.).

[4] Вероятно, речь идет о гравюре на дереве А. П. Остроумовой-Лебедевой «Петербург. Колонны Биржи и крепость. 1908» (См.: Графика А. П. Остроумовой-Лебедевой. Гравюра и акварель. М.: Искусство, 1984. С. [64]). Архитектор здания Биржи (1805–1810) – Тома Томон (1760–1813).

[5] Е.С. Кругликова. Письма Волошина Е.С. Кругликовой за 1926 г. неизвестны.

[6] К. Е. Костенко.

[7] Н. Г. Хлопин, В. Н. Верховский, А. О. Якубчик.

155. С. Н. ДУРЫЛИНУ

25 апреля 1926 г. Коктебель

25 IV 1926.

Дорогой Сергей Николаевич,

буду очень, очень рад видеть Вас у себя этим летом.[1] С половины мая у нас налаживается коллективное питание. Для Вас у меня место всегда найдется. Но относительно Вашего знакомого семейства вопрос немного сложнее. Очевидно, А. А. Сидоров не ознакомил Вас с характером моей дачи. Комнат вообще я не сдаю: я превратил мой дом в *бесплатную* художественную колонию – открытую для всех, кто нуждается (материально, физически и духовно). Так что вопрос о Ваших знакомых сводится к тому, будет <ли> у меня свободное место: тогда милости просим. Но предвидеть этого нельзя, т<ак> к<ак> комнаты заполняются по мере приезда гостей и я заранее ни для кого комнат не сохраняю. Но обычно в мае и июне у меня всегда есть свободные комнаты, тесно только в конце июля и в августе. Тогда прошу уже всех самим уплотняться,

чтобы не отказывать никому, кто вырывается только в это время на 3–4 недели. Поэтому всех, кто может свободно располагать своим летом, прошу приезжать на весну или на осень, но только не на июль – август. А тех, кто свободен именно на это время, не претендовать <*так!*> на тесноту, т<ак> к<ак> в это время у меня скопляется до 120–130 чел<овек> одновременно и у меня лично тоже не бывает отдельного угла.

Единственное (моральное) требование, предъявляемое ко всем гостям, это: относиться *к каждому* из живущих в доме как к своему *личному гостю*.

Поэтому предлагаю Вам сделать так: приезжайте вместе с Вашими друзьями прямо ко мне. Если это в мае или июне – места хватит всем. А дальше увидим: понравится – они останутся. Нет – найдем место на соседних дачах. До июля комнат всюду много. Много и столовых. Есть и Нарпит. Относительно цен – не знаю, ибо не соприкасаюсь с этим. У нас коллективное питание обходится: обед около 80 к. Пансион 2 р. –2 р. 50 <к.>.

Моя библиотека в Вашем распоряжении.[2] (Но на другие дачи я книг не даю.) Имейте в виду, что она больше французская. Дети нас не стеснят, потому что у нас их всегда много в доме.

Да... еще: необходимо привезти с собою мешки для сенников (ущерб матрацев), всегда полезен примус. Таз для умыванья (если море Вас не удовлетворит). Вообще имейте в виду, что Коктебель *не курорт*, хотя здесь курортные сборы и взымаются и для ограждения от них надо захватить бумажки о своем заработке.

А Вас, Сергей Николаевич, я буду особенно рад встретить снова...[3]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме из Москвы от 21 апреля 1926 г. С.Н. Дурылин, напомнив Волошину о себе («В 1910–1912 гг. мы часто встречались с Вами в книгоиздательстве “Мусагет” и в О<бщест>ве имени Вл. Соловьева <...> по словам моего друга А.А. Сидорова, гостившего в прошлом году в Коктебеле, Вы еще помните меня»), выражал желание провести ближайшее лето в Коктебеле вместе со своей «знакомой

семьей»: «...не могли бы мы снять на Ваших дачах, – которые мне особенно рекомендуют А.А. Сидоров и П.П. Перцов, – *две* комнаты» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 1–2 об.).

[2] В том же письме Дурылин спрашивал: «Если б удалось устроиться в Коктебеле, то не разрешите ли Вы мне, для моих работ, пользоваться Вашею библиотекою?». В ответном письме Дурылин сообщал: «В самом конце мая или в самом начале июня мы тронемся в Коктебель <...> И начнем мы именно так, как Вы советуете, – т.е. приедем прямо на Вашу дачу. Мне хочется только моря, тишины, простоты – и еще дружеской беседы, которой, верю, Вы меня не лишите» (Там же, л. 3–4).

[3] Дурылин прожил у Волошина в Коктебеле с первой половины июня до начала сентября 1926 г.

156. М.С. ФЕЛЬДШТЕЙНУ

25 апреля 1926 г. Коктебель

25/IV 1926. Коктебель.

Дорогой Миша,

в этой случайности есть нечто систематическое: на оба письма Р<ашели> М<ироновны> мы ответили немедленно большими письмами (и я, и Маруся).[1] Одно было послано 3 февраля,[2] второе – 17 марта.[3] И весь апрель ее ждали и готовились к ее приезду. Сожалею, что не послал заказным. Здесь – этой зимой письма вообще не пропадают. Сегодня же напишу ей большое письмо и пошлю заказным.[4] Тебя ждем, когда бы ты ни приехал.

Наша зима прошла без событий – т.е. счастливо. Даже без очередных болезней. Сейчас у нас уже гости (больше месяца), а со вчерашнего дня сразу, почти без весны, настал зной и штиль.

Море невидимо от тишины. Но зелени еще нет благодаря холодам. В Москву не приехали потому, что и дом не на кого было оставить, и не было никаких побуждающих болестей. Да, кажется, поступили благоразумно: иначе лежать бы нам обоим в Москве в гриппу, как сейчас лежит А.Ф. Слудский (у Бачинских), поехавший на съезд естествоиспытателей. Бу-

дущей же зимою приедем с декабря. Привет Рашели Миро<но>вне, Надежде Ивановне[5] и всем твоим от меня и от Маруси. Пожалуйста, разубеди Раш<ель> Мироновну, что у меня *очередь* на ответные письма. Зимой я отвечаю немедленно, а летом не отвечаю совсем. Последнее, думаю, понятно. А на ее письма я отвечал оба раза на следующий же день, и мне очень стыдно, что она может подумать, что я ей не отвечал.

MAX.

P. S. Сейчас выяснилось, что на 2—3 дня еду в Феодосию.[6] Раш<ели> Мир<оновне> напишу по возвращении.

[1] Речь идет о письмах Р.М. Гольдовской от 15 января и 8 марта 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 434, л. 33—36); во втором письме выражалось пожелание. «...*может быть*, осуществится возникший у нас довольно фантастический “прожект”: не поехать ли нам (мне и Наденьке <Н.И. Ивановская.– *Ред.*>) на *апрель* к вам, если у вас в это время *никого не будет?*».

[2] См. п. 115.

[3] Это письмо не выявлено.

[4] См. п. 157.

[5] Н.И. Ивановская.

[6] Эта поездка не состоялась.

157. Р.М. ГОЛЬДОВСКОЙ

27 апреля 1926 г. Коктебель

27/IV 1926. Коктебель.

Дорогая Рашель Мироновна,

мы получили оба Ваши письма: и в январе и в марте, и немедленно отвечали на них – оба большими письмами. Первое было послано 3/II, а второе 17/III.[1] Очевидно, наши письма были затеряны московской почтой. Весь апрель мы Вас ждали и радостно готовились к Вашему приезду, и только Мишина открытка нам сообщила, что Вы не приедете.[2] Это так же огорчительно, как и то, что наши письма пропали и что Вы должны думать, что я так небрежен, что мог не ответить на

оба таких дружеских и радостных для меня письма. То, что у меня очередь на ответные письма, — это инсинуация: на дружеские письма я отвечаю немедленно. На деловые — позже, но зимой все же отвечаю всегда. Вот летом — другое дело. Тогда у нас так много присутствующих друзей и они так буйны и так занимают весь день целиком, что приношу им в жертву друзей отсутствующих, и летом совсем не пишу писем. А зимой пишу так аккуратно, что сейчас, просматривая списки отправленных писем, ища даты, когда я писал Вам, я увидел, что с января я написал уже больше 200 писем (да за ноябрь — декабрь прошлого года еще 70).

Эта корреспонденция, конечно, отнимает очень много времени. Ведь все, кто у нас летом гостит, — зимою нам пишут. Но на это грешно жаловаться, потому что эти письма приносят очень большую радость и удовлетворение. Эта зима прошла у нас тихо и без событий, т. е. счастливо. Даже не было ни одной катастрофической болезни, какими любит болеть Маруся. И в Москву мы не поехали потому, что не было никакого категорического императива в этом смысле, и дом не на кого было оставить и времени до лета оставалось мало: не хотелось быть снова разодранным на куски, как в 24 году. (Теперь мы решили приехать следующей зимой в декабре, чтобы успеть пожить в Москве вволю и никуда не торопясь и не спеша.)

Перспектива остановиться у Вас и пожить с Вами была для нас большим соблазном, и нам грустнее всего было отказаться именно от этого (тем более, что мы еще сначала должны были на некоторое время остановиться у Шервинских), и Ваш предполагавшийся приезд с Над<еждой> Ивановной[3] в Коктебель нас тем более радовал. Но, не приехавши, Вы, кажется, поступили благоразумно, т<ак> к<ак> весна у нас была на редкость холодная, дождливая и ветреная, и только последние дни она сменилась тихой и знойной тишиной, при которой зелень так и брызнула из земли. Но, может быть, Вы найдете возможным навестить нас осенью попозже — в октябре, напр<имер>, когда наш дом уже пустеет, в Москве слякоть, а в Коктебеле наступают самые тихие и ясные дни летнего заката.

Эта зима для меня была плодотворна только в смысле живописи (конечно, я Вам с удовольствием и с избытком возмещу мои акварели — и лучшими, чем те, что были у Вас). Я писал много и регулярно изо дня в день и имел большое моральное удовлетворение, т<ак> к<ак> этой зимой получил целый ряд ходатайств от различных провинциальных музеев о пожертвовании моих акварелей, которые, конечно, с охотой удовлетворял.

В поэзии работал меньше, и у меня так и нет за всю эту зиму ничего законченного, что можно было бы прочесть или послать.

Эта полоса молчания началась у меня с 1924 г., со времени моей поездки в Москву и несомненно с нею связана, хотя и мне самому трудно установить эту связь. Во время гражданской войны стихи писались потому, что надо было до кого-то докликаться, кому-то сообщить самое важное и последнее (каждое стихотворение писалось как последнее)... А то неуютное благополучие, мало уверенное в завтрашнем дне, мало располагает к тому историческому пафосу, который стал за эти годы моим естественным языком.

У нас в этом году гости ранние, и потому наша зимняя тишина уже разбилась, а Маруся сейчас в состоянии предпраздничного исступления: белит комнаты, снимает все картины, передвигает с грохотом мебель, ассистируемая двумя дюжими поденщицами. Это опасное время, которое для нее часто кончается тяжким заболеванием к первому дню праздника. Боюсь, как бы и в этом году не кончилось тем же. Так что в эти дни она писем писать не может, но шлет Вам и всему дому свой привет, любовь и поздравление с праздниками,[4] к чему присоединяюсь и я.

Макс.

[1] См. примеч. 1–3 к п. 156.

[2] М. С. Фельдштейн. Упомянутая открытка в подборке его писем к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1223) отсутствует.

[3] Н. И. Ивановская.

[4] Пасха – 2 мая.

158. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

29 апреля 1926 г. Коктебель[1]

29. IV. 1926. Коктебель.

Дорогой Иван Михайлович,

спасибо за сообщения о Соболе и напоминание о Сурикове.[2] Мою монографию, по-видимому, берет для издания Академия Худ<ожественных> Наук. Она у Габричевского, я в ней уже не волен. Спасибо за лекарство. В Крыму лето – прямо из холодов без весны. Ждем Вас в июле? Привет Соф<ье> Анаст<асьевне>.[3] С наступающими праздниками![4]

Всего лучшего. Крепко обнимаю.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 1 5.26; Москва 6.5.26.

[2] В письме к Волошину из Москвы от 25 апреля 1926 г. И. М. Саркизов-Серазини сообщал: «Сегодня в Союзе писателей встретил Соболя. Он сообщил мне, что от Е<нуки>дзе еще нет ответа, но что т. Трояновский <...> заявил, что для В<ас> нет основания для беспокойств. Соболь просил меня написать В<ам>, чтобы Вы прислали на его или мое имя монографию о Сурикове, которую Вы написали. Эту монографию в связи с какой-то юбилейной датой можно будет в Москве отпечатать. Для этого существует 90% шансов! Он это просил сделать поскорее» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 26а).

[3] С. А. Саркизова.

[3] Пасха в 1926 г. – 2 мая.

159. А. В. ДОЛГОПОЛОВОЙ

29 апреля 1926 г. Коктебель[1]

29/IV 1926. Коктебель.

Дорогая Анна Васильевна,

поздравляем вас обоих с праздниками, крепко обнимаем и ждем в Коктебель непременно. Глубоко радуюсь успешному завершению дела Ан<ны> Ник<итич>ны.[2] Благодарю за все сделанное для Вересаева.[3] Он едет ко мне в мае. Факт подарка

очень хорош, но дом за три года приведен в отчаянное состояние. О Есенине ничего не знаю, кроме того, что пишут.[4] Его вдова (Соня Толстая) должна приехать со дня на день.[5] Тогда узнаем. У нас сезон (т. е. гости) начался с конца марта. А с мая ждем многих.

Всего, всего лучшего. Оба приветствуем, обнимаем, ждем.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели. Коктебель. 1.5.26; Симферополь. 4.5 26.

[2] А. Н. Айвазовская. В письме от 26 апреля 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 509, л. 6—7) М. И. Долгополов сообщал Волошину по поводу связанного с ней судебного разбирательства: «После долгих испытаний и “хождений по мукам” Верховный Суд дело производством прекратил и предложил вещи вернуть по принадлежности 1921—1926 г.!».

[3] В том же письме Долгополов сообщал Волошину о том, что В. В. Вересаев получил документы «на право распоряжения своей дачей» в Коктебеле.

[4] Долгополов в том же письме касался темы самоубийства Есенина: «Хочу найти оправдание его “нелепой смерти”, но, кажется, напрасно: большинство авторов воспоминаний или стараются обходить молчанием язвы современной жизни, или, как Сергей Городецкий, стараются вылить на мертвого поэта ушат хлестких слов негодования и этим подчеркнуть свою преданность всему новому». Упоминаются воспоминания С. М. Городецкого «О Сергее Есенине» (Новый мир. 1926. № 2. С. 138—146). См. (в исправленной редакции): С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Художественная литература, 1986. Т. 1. С. 179—186

[5] См примеч 2 к п. 150.

160. Е. Л. ЛАННУ

30 апреля 1926 г. Коктебель

30/IV 1926. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

получив вчера от Вас пакет с книгами,[1] я обрадовался не столько, б<ыть> м<ожет>, франц<узским> книгам (получе-

ние которых для меня всегда громадная радость), сколько свидетельству о том, что Вы живы, не больны и вообще существуете. Когда Вы приезжаете к нам?[2] Хотелось бы, чтобы это было пораньше, чтобы успеть как следует повидаться и побеседовать. У нас сразу настало лето, без всякой промежуточной инстанции. Ждем через 2 дня на Пасху ряд гостей.[3]

Получили Вы мое большое *заказное* письмо от 6/1 1926 (ответ на Вашу статью обо мне с автобиогр<афическими> дополнениями), открытку от 19/IV?[4]

Привет Ал<ександре> Вл<адимировне>[5] от нас обоих. Всего-всего лучшего.

Ждем.

Максимилиан Волошин.

[1] В недатированном письме Е.Л. Ланн сообщал Волошину о том, что выслал ему ряд изданий: «...я послал Вам три книжки. Вас, вероятно, удивит мой выбор: № посвященный Аполлинеру, Вам будет интересен; в окт<ябрьском> № «<La> N<ouvelle> R<evue> F<rançaise>» я подчеркнул статью Клоделя, а книжка Londres небезынтересна – по остроте репортерского карандаша» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 99). Речь идет о французском поэте-авангардисте Гийоме Аполлинере (Guillaume Apollinaire), о статье Поля Клоделя «Réflexions et propositions sur levers français» (La Nouvelle Revue Française. 1925. № 145. 1 octobre. P. 417–446, окончание – № 146. 1 novembre. P. 555–573), и одном из романов: *Londres Albert*. Chez les Fous. Dessins de Rouquavrol. Paris: Albin Michel, 1925; *Londres Albert*. La Chin en Folie. Paris: Albin Michel, 1925 (оба издания сохранились в библиотеке Волошина; см.: Мемориальная библиотека М.А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 294). См. также п. 161.

[2] Е.Л. Ланн и его жена А.В. Кривцова приехали в Коктебель 11 июня 1926 г. (см.: Труды и дни-2. С. 305). См. также письмо Е.Л. Ланна Волошину от 4 июня 1926 г. («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 105).

[3] Пасха в 1926 г. приходилась на 2 мая.

[4] Речь идет о письмах Волошина. См. п. 102, 153.

[5] А.В. Кривцова.

161. Е. Л. ЛАННУ

4 мая 1926 г. Коктебель

4/V 1926. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

Только что получил Ваше письмо.[1] Ваше здоровье меня очень беспокоит, и хочется поскорее вытащить Вас в Коктебель. Лун<д>бергов буду очень рад видеть у себя.[2] Передайте ему, что жду его. Комнату Вашу мы так и хотели за Вами оставить. Только не запаздывайте с приездом, потому что хранить комнату, когда дом наполняется – труднее всего.

Действительно, одно Ваше письмо пропало. Книжки последние я получил (известил открыткой).[3] Они все мне были интересны. А Лондр меня очень заинтересовал еще своими потрясающими книгами о каторге («Dante N'avait Rien Vu»).[4] А в книге «N<ouvelle> R<evue> F<rançaise>», и кроме статьи Клоделя,[5] есть такая интересная вещь как «Bella» Жироду.[6] Характеристика семьи Бертло (Dubardecue) очень любопытна.

Слово «ячество» я знаю и не люблю. Это перевод (и неудачный) хорошего немецкого «Ich-heit». По-русски это вернее передается или как *мняйство* (я — меня — мне), или *яйцо* (лик — лицо, я — яйцо). А *ячество* или *яйность* (как говорит А. Белый[7]), на мой взгляд, крайне искусственное словообразование, лишенное филологического чувства. *Ячество* — это от *якать*, т. е. говорить только о себе: я да я. Имеет осудительный характер, в нем издевательство, которого нет в Ich-heit.

Ц.К.У.Б.У. мне выслало, наконец, «L'Art Vivant» и «N<ouvelle> R<evue> F<rançaise>» и присылает аккуратно выходящие №№. Но не прислала еще ни одного № «Nouv<elle> Littéraires». Пишет (начало, наконец, отвечать на письма), что еще само ни одного № с начала года не получило.[8] Это меня очень огорчает, потому что, в конце концов, эта газета дает наиболее полную картину текущей литературной жизни. Спасибо за известие о Соболе.[9] Он мне не пишет. Крым<ский> ЦИК закрепил за мной дом еще год назад,[10] но мне от Москвы нужна была лишь САНКЦИЯ этого акта, чтобы не быть во власти капризов и перемен в составе местного

Правительства. Я об этом в свое время писал Соболю, когда он, по собственной инициативе — начал дело о моем доме.[11] Но, думаю, что на Соболя надо махнуть рукой.

Сейчас у нас уже дом полон народу: на праздники приехало 12 человек с севера. А в конце Святой[12] уже едут постоянные гости. До скорого свидания. Только не затягивайте отъезда из Москвы. Крепко обнимаю Вас и Алек<сандру> Влад<имировну> от себя и от Маруси.[13]

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет о недатированном письме Е. Л. Ланна, в котором он жаловался на усталость и расстроенное здоровье. (См.: «...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 98–99).

[2] Е. Г. Лундберг и его жена Е.Д. Гогоберидзе-Лундберг. В упомянутом письме Ланн писал Волошину о своем «большом друге» Лундберге: «... быть может, Вы слышали его имя; правда, последнее время он жил за границей <...>. Критик он исключительно тонкий и редкий по charme'у* человек. Последние два года он не пишет, ибо писать "не может". Вот его-то и его жену я хочу привезти к Вам в Коктебель. С ними мы очень близки. Мне думается, что и Вы, и Мария Степановна не будете меня упрекать. Он настоящий человек и тончайший собеседник» (Там же. С. 98).

[3] См. п. 160, примеч. 1.

[4] Речь идет о книге: *Londres Albert.* Dante N'avait Rien Vu. Paris: Éditions Albin Michel, 1924. Возможно, подразумевается и роман этого автора «Au Bagne» (Paris: Éditions Albin Michel, 1923).

[5] См. примеч. 1 к п. 160.

[6] Речь идет о романе Жана Жироду (Jean Giraudoux) «Белла» («Bella»), одним из главных героев которого является Бертло Дюбардо Роман был опубликован в журнале «La Nouvelle Revue Française» (1925. № 145. 1 octobre. P. 385–411, окончание – № 146. P. 574–604; № 147. P. 688–733).

[7] Отклик на признания Е. Л. Ланна: «Простите мне лирику <...> и мое "ячество"» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 98). Слово «яйность» Андрей Белый использует в 28 фрагменте поэмы «Глоссолалия. Поэма о звуке» (1917): «В середине Сатурна "aei"; "aya" — век; переложения до-согласного мира звучат: "iao" звук

* Очарование (*фр.*)

“Ягве”; “eia” — яйности (Eier — яйца), в яйце согреваясь теплом, созревают согласные· “a-e-i-r” есть aer (воздух), и “eiar” есть “кровь”...» (*Белый Андрей.* Глоссолалия. Поэма о звуке. Берлин: Эпоха, 1922. С. 47).

[8] 18 марта 1926 г. от книжного отдела ЦКУБУ Волошин получил почтовую карточку, в которой сообщалось: «Что касается январского номера “La nouv<elle> rev<ue> Fr<ançaise>”, то он не будет получен, т<ак> к<ак> издательством распродан полностью. Во избежание таких пропусков периодики в будущем, — просим направлять заказы более заблаговременно. Остальная выписанная для Вас литература будет выслана Вам немедленно по получении из-за границы» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 21, л. 9). Сохранилось также письмо заведующего Книжным отделом ЦЕКУБУ А.А. Шухгальтера Волошину от 5 апреля 1926 г.: «...Ваш первый заказ поступил слишком поздно, и мы могли бы гарантировать Вам получение годовых периодических изданий, начиная с 1-го номера, лишь в том случае, если бы Ваш заказ поступил до 5 декабря <...>. Из этого заказа, считая посылаемый одновременно с сим “L’art vivant”, нами выполнено все, за исключением <...> газеты “Nouvelles Littéraires”, которые до сих пор по неизвестным причинам еще не прибыли. Они будут высланы Вам немедленно по приходе из-за границы. Ваш второй заказ нами не был получен, и мы о нем узнали лишь из Вашего письма. Вся указанная Вами литература будет немедленно заказана. Что касается денежного расчета, то он, согласно Вашего желания, будет производиться путем вычетов из акобеспечения» (Там же, л. 11–11 об.).

[9] В своем письме Е.Л. Ланн сообщал Волошину: «Андр<ей> Мих<айлович> Соболь передал мне, что от наркомфина КрымССР он узнал о закреплении за Вами дома отдыха. Напишите мне об этом. Как я и ждал, Андрей Михайлович ограничился передачей ходатайства Союза пис<ателей> в подлежащее учреждение. Кстати, он теперь не секретарь правления, и посему едва ли целесообразно сноситься Вам с ним. Мое впечатление о болтологии Андр<ея> Мих<айловича> упрочилось» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 99). Речь идет о постановлении Крымского ЦИКа от 29 января 1925 г., согласно которому за Волошиным были закреплены дом и участок земли

[10] В архиве Волошина сохранилась Выписка из протокола № 4 заседания Президиума ЦИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и военморских депутатов от 29 января 1925 г., на котором было принято постановление: «Дом закрепить за гр. Волошиным». Выписка датирована 14 февраля 1925 г. А. М. Соболь писал Волоши-

ну 19 мая 1926 г. : «Теперь о Вашем деле. Недавно в Москве гостил мой близкий приятель член Крымского Правительства – А. А. Трояновский. Он мне сказал, что на Заседании Крымского Совнархоза они проводили решение о закреплении дома за Вами. Он меня этим сообщением очень обрадовал, ибо я месяца три провел в Ср<едней> Азии и не знал о судьбе Вашего дома. Но если по Вашему нужна еще санкция Москвы – то для этого надо, чтобы у нас, в Правлении Союза, была копия Крымского постановления – тогда только можно начать действовать. Правда, я теперь не состою секретарем (очень устал от этой работы), но в Правлении остался и не премину сделать для Вас все возможное» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1122, л. 8).

[11] Это письмо Волошина А. М. Соболю неизвестно.

[12] Святая неделя в 1926 г.: 3–10 мая.

[13] А. В. Кривцова.

162. АНДРЕЮ СОБОЛЮ

9 мая 1926 г. Коктебель

9/V 1926. Коктебель.

Дорогой Андрей Михайлович,

Дина Львовна известила меня о Вашем добром дружеском желании помочь мне в деле устройства моей монографии о Сурикове.[1] Глубоко благодарю Вас за это, но, кажется, ее судьба уже устроилась, т<ак> к<ак> Академия худ<ожественных> наук взяла ее для собствен<ного> издания и рукопись находится у А. Г. Габричевского, хлопотавшего об этом.[2] Спасибо и за хлопоты Ваши о судьбе моего дома. Сейчас, как я писал Вам, мне надо очень немногое: только *санкцию* Центр<альной> Власти, т<ак> к<ак> Крымское Правительство уже утвердило дом за мной как собственность. Но санкция необходима мне для гарантии от местного барометра и персональных изменений.[3] Передайте мой привет Дине Львовне. Весьма сожалею, что она не приложила свое<го> адреса и этим не дала мне возможности ответить ей лично.

Всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] Д. Л. Кармен. 18 апреля 1926 г. она писала Волошину из Москвы: «Сейчас в связи с недавней годовщиной смерти Сурикова я вспомнила Вашу прекрасную монографию о нем» — и сообщила, что говорила с А. М. Эфросом и А. Соболем «о том, что сейчас надо бы эту монографию издать» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 628).

[2] См. примеч. 1 к п. 117.

[3] См. примеч. 10 к п. 161.

163. П. С. КОГАНУ

9 мая 1926 г. Коктебель[1]

9/V 1926. Коктебель.

Дорогой Петр Семенович,

позвольте Вам напомнить о существовании Коктебеля и Волошинского Дома, в котором Вы всегда будете желанным гостем и где Вас ждут уже третье лето.

Спасибо за то сочувствие, которое Вы проявили по отношению к Коктебельскому вечеру.[2] Привет Вашей жене и Каменевым.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 10.5.26; Москва. 17.5.26.

[2] Вечер в ГАХН в пользу Волошина (см. примеч. 5 к п. 134).

[3] Надежда Александровна Коган (урожд. Нолле; 1888–1966), Л. Б. Каменев и его жена Ольга Давыдовна Каменева (урожд. Бронштейн; 1883–1941), заведующая Театральным отделом Наркомпроса. В ответном письме от 18 мая 1926 г. П. С. Коган благодарил Волошина за присланную акварель и за приглашение в Коктебель и добавлял: «Мне бы и самому очень хотелось побывать в этом приюте писателей, может быть, на короткое время удастся вырваться из сетей московских заседаний. Тогда наговоримся обо всем. Надежда Александровна и Каменевы Вам кланяются» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 667).

164. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

9 мая 1926 г. Коктебель

9. V. 1926. Коктебель.

Дорогой Лев Евгеньевич,

конечно, будем очень рады приезду Валентины Павловны и будем ждать ее в конце мая с Алешкой.[1] А когда же удастся выбраться Вам самим?

Вы меня очень обрадовали вестью о переводе мемуаров Казановы.[2] Я старый казановист и всегда собирал все новое, что выходило по казановизму, начиная Симонсом и кончая Гедом и Майналем.[3] Какой же текст кладете Вы в основу? Я так отстал за эти годы, что не знаю даже, выпустил ли наконец Брокгауз подлинный нецензурированный текст, находящийся в его руках?[4] У меня есть любопытный экземпляр из библиотеки герцога Шартрского, но текст там обычный – Лафорговский.[5] Очень хочется быть в курсе этого предприятия.[6] Привет от Маруси, которая уже спит, набегавшись и нахлопотавшись за день.

Всего лучшего. Ждем.

Максимилиан Волошин.

[1] В. П. Остроумова, жена Л. Е. Остроумова, и их сын Алексей Остроумов. В письме, видимо, от 3 мая 1926 г. (в автографе описка: «3 апреля») Остроумов извещал об их предполагаемом приезде в Коктебель в конце мая (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 917, л. 3–4).

[2] В том же письме Остроумов сообщал: «...вооружившись лексиконами, папирусами и прочими орудиями нашего производства, мы всем коктебельским содружеством принялись за перевод “Воспоминаний Казановы”, надеясь в сем резвом философе почерпнуть утешение и радость жизни и, быть может, достойным образом подготовить себя к беззаботному и легкомысленному воздуху Карадага. Говоря серьезно, А. Н. Тихонов предпринял в “Круге” десятитомное издание Казановы, Б. И. Ярхо оное редактирует, а мы грешные переводим. Из Ваших преданных друзей корпят сейчас над этим почтенным трудом Сергей Васильевич <Шервинский – *Ред.*>, М. А. Петровский и я».

[3] См.: *Symons Arthur.* Casanova à Dux (1770–1790). Un chapitre d’histoire inédit // Mercure de France. 1903. Vol. XLVIII. P. 60–88 ; *Guède, D-r* J. Casanova. Le roman de l’evasion, les éditions des Mémoires et le

séjour en Espagna. Pourquoi la suite des Mémoires n'existre pas Casanova espion. Paris: Mercure de France, 1912 ; *Maynial Edouard.* Casanova et son temps. Paris: Mercure de France, 1911. Последнее издание сохранилось в библиотеке Волошина.

[4] Наиболее полное и авторитетное издание мемуаров Казановы на тот момент· Mémoires... Édition nouvelle, publiée sous la direction de R. Vèze, d'après le texte de l'édition princeps (1826–1838). Variantes et commentaires historiques et critiques. Introduction d'O. Uzanne. Paris, 1924. 12 vol

[5] Имеется в виду издание· Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt, écrits par lui-même. Édition original <publiée par Jean Laforgue> Paris: Paulin, 1843. 4 t. (Мемориальная библиотека М. А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М., 2013. С. 127).

[6] 31 мая 1926 г. Остроумов отвечал Волошину: «Я показывал Тихонову Вашу открытку и, насколько могу судить, она заинтересовала его живейшим образом. Он, кажется, питает намеренье привлечь Вас к этому предприятию и думает поговорить об этом с Вами, когда в Коктебеле соберутся все "казановисты". Мне будет очень приятно, если без всякой задней мысли с моей стороны мне удалось "сварить вам кашу" по этому вопросу» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 917, л. 5). Замысел издания воспоминаний Казановы тогда не был реализован.

165. К. Е. КОСТЕНКО

10 мая 1926 г. Коктебель

10/V. 1926. Коктебель.

Дорогой и милый Костич, спасибо за письмо, за привет и за гравюры.[1] Обе Флоренции великолепны.[2] Сейчас Надежда Алекс<андровна>[3] их окантовывает. О моем неоконченном портрете ничего не могу еще сказать.[4] В «Коктебеле»[5] есть дефекты конструкции гор: тебе еще необходимо здесь поработать. Помни, что мы тебя ждем всегда, когда бы ты ни вырвался – летом или зимой. «Св. Франциска»[6] перепишу на машинке и пришлю тебе. У нас весна поздняя и цветенье сейчас в полном разгаре: деревья в пуху, степи – ковры. К Пасхе[7] у нас собралось много гостей, но они сейчас уже схлынули. Но лето уже началось, и наше зимнее уединение кончилось. Я много

работал этой зимой – написал около 300 больших акварелей. Сейчас пишу стихи. Прости, что отвечаю открыткой: число моих корреспондентов так растет, что отвечать большими письмами нет возможности. Крепко тебя обнимаю, а Маруся шлет привет с нежностью. Привет Игорю и Смирновым.[8]

Макс.

[1] Речь идет о недатированном письме К.Е. Костенко, в котором он сообщал Волошину, что выслал ему свои гравюры (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 699, л. 12–12 об.).

[2] Одна из гравюр Костенко «Аркады Ponte Uecchio. Флоренция» воспроизведена в кн.: *Голлербах Э.* История гравюры и литографии в России. М.; Пг.: Государственное издательство, 1923. С. 145.

[3] По утверждению В.П. Купченко, речь идет о Н.А. Мезенцевой-Норовлевой.

[4] В упомянутом письме К.Е. Костенко писал Волошину: «Эту зиму ничего не работал, ни по гравюре, кроме Твоего, Макс, портрета, не рисовал» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 699, л. 12 об.). О работе над портретом Волошина Костенко говорит и в письме от 29 июня 1927 г.: «Посылаю Вам гравюры свои: 2 портрета Макса <...> будто бы теперь Макс более похож» (Там же, л. 10 об.). Портрет Волошина на фоне Карадага (1925, линогравюра) работы Костенко воспроизведен в кн.: Труды и дни-2. См. также: Образ поэта Максимилиана Волошина в стихах и портретах современников. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 1997, между с. 32–33.

[5] О какой гравюре К.Е. Костенко идет речь – неизвестно.

[6] В своем недатированном письме Костенко просил Волошина: «... пришли мне, если можешь, Твое стихотворение о Франциске Ассизском, напиши мне его, очень хочется иметь» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 699, л. 12). Речь идет о стихотворении Волошина «Святой Франциск» (Т. 1 наст. изд. С. 361–363).

[7] См. примеч. 3 к п. 160.

[8] И.К. Костенко, сын К.Е. Костенко; А.А. и О.Г. Смирновы.

166. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

12 мая 1926 г. Коктебель[1]

12/V 1926. Коктебель.

Милая Наташа,

Ты пишешь такие очаровательные письма,[2] а я не могу отвечать на них: 1) Гости (на Пасху[3] приезжали 12 чел<овек>), 2) Маруся чистит дом, 3) записал стихи, 4) хожу в горы за цветами, 5) рисую, 6) все равно скоро приедете.[4] Вообще состояние радостного ожидания. Но никого из «исконных» еще нет. Раскрыт новый заговор на жизнь Тату. Маруся кипит. Кроме того, забегает «Пулемет» (Хниный муж) и ежедневно прокусывает Тату новую лапу. У Хны утопили 7 щенят. Восьмого зовут Юла<х>лы (полосач). Куры съели все цветы и перекопали все клумбы. За это теперь их едим мы. Расцвел один ирис.

Милый Саша, спасибо за заботы о «Сурикове»: поступи так, как думаешь будет лучше.[5] У меня остается только один рукописный экземпляр. Поговори сам с Сидоровым и с Гроссманом.[6] Заплатит ли мне за издание «ACADEMIA»? Даст ли экземпляры? Даст ли воспроизведение картин? Как бы ты ни смотрел на мой портрет — привези его в Коктебель показать непременно.[7] На когда же Ваш приезд? Отчего Катя[8] не едет? Целуем и обнимаем: оба обоих.

MAX.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 15.5.26; Москва. 18.5.26.

[2] Последнее полученное ко времени написания датированное письмо Н. А. Габричевской к Волошину – от 17 апреля 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 39–39 об.): «Надеюсь, что в половине мая нам удастся чирикать на новом балконе и славить восходящее солнце и прислушиваться к говорку моря. Если не задержат Сашу экзамены в Вхутемасе. А в последнем случае мы будем к 1 июню».

[3] 2 мая.

[4] Габричевские приехали в Коктебель 29 мая (Труды и дни-2. С. 303).

[5] Подразумевается намерение опубликовать монографию Волошина «Суриков» в издательстве «Academia» (см. примеч. 3 к п. 138)

[6] Имеется в виду тот же план издания, а также намерение представить рукопись «Сурикова» в КУБУ на соискание премии. Габричевский писал Волошину около 5 апреля 1926 г.: «...я думаю, что все дело КУБУ можно будет поручить Сидорову <...> может быть, лучше тебе самому списаться с Гроссманом, который является официальным лицом для сношений Академии <т. е. ГАХН. – *Ред.*> с Academia» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 155–156).

[7] См. примеч. 6 к п. 152. В цитированном выше письме Габричевский сообщал Волошину. «Был С. В. Лебедев и убедил меня, что твой портрет гадость» (Там же. С. 156).

[8] Е. О. Сорокина

167. Д. И. ШЕПЕЛЕНКО

12 мая 1926 г. Коктебель[1]

12/V 1926. Коктебель.

Дорогой Дмитрий Иванович, буду очень рад видеть Вас у себя.[2] Май–июнь еще просторны. Захватите с собою мешок для сена (ущерб матрацев). Питание у нас коллективное. Обходится с кипятком около 90 к. в день. Но это по желанию. Единственное обязательство: к каждому из живущих относиться как к своему *личному* гостю.

Ждем.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели. Коктебель. 15.5.26; Москва. 18.5.26.

[2] Писателя Д. И. Шепеленко Волошину рекомендовал А. С. Грин в письме от 30 апреля 1926 г. (Труды и дни-2. С. 300).

168. Е.Л. ЛАННУ

17 мая 1926 г. Коктебель

17/V 1926. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

Спешу ответить Вам на письмо от 8/V.[1]

Прежде всего, о портретах. Могу Вам послать 2: снимок прекрасного рисунка сангиной, сделанного в Париже в 1911 году Евгением Заком,[2] и недавний снимок (на мой взгляд, весь удачный), сделанный феодосийским фотографом-любителем Бжевским. Но т<ак> к<ак> он хочет распространять этот снимок здесь на открытках, то с ним, очевидно, придется сговориться о праве воспроизведения. Не знаю, как сейчас обстоит дело с этими правами собственности. Ему можно адресовать письмо прямо на Феодосию. Автопортрет из «Д<емонов> Г<лухонемых>» не хочу воспроизводить: не доволен ни им, ни его клише, а оригинал затерял Петр Краснов вместе с прочими моими графиками.[3]

Очень радуюсь разрешению Вашей статьи цензурой. Мне только что писал Дмитревский[4] (был ли он у Вас?), будто бы он узнал, что цензура пропустила мое «Благословение» и «Машину».[5] Правда ли? И для кого? Для Воронского?[6] Я сам в цензуру не посылал.

Относительно Вашей сестры:[7] не привезете ли Вы ее с собою в Коктебель — рассеяться, посмотреть людей и понабраться жизни и солнца? Буду очень рад ей.

Так же, как Лун<д>бергу и К<р>жижановскому, если они соберутся в Коктебель.[8]

Но должен Вас предупредить, что я всегда боюсь, что не хватит места. Этого еще не бывало ни разу. Но когда-нибудь да наступит, потому что количество собирающихся все увеличивается.

Если бы собрались сейчас все те, кого мы звали, и кто нам писал в этом году, то места бы, конечно, не хватило. Единственное спасение лишь в том, что ½, нам пишущих и спрашивающих о возможности приезда, не приезжают. Но это же и уничтожает для нас всякую возможность как-нибудь рас-

планировать заранее комнаты, т<ак> к<ак> никто из тех, кто не может приехать, нас об этом не извещает. Это крайне неудобно, и я предупреждаю всех, что заранее ни для кого комнат оставлять не могу. Они заполняются по мере фактического приезда. И потом, все должны привозить с собою мешки для сена. Вашу прошлогоднюю комнату я задержу за Вами, но после 10 июня не ручаюсь за нее.

У нас уже живут люди: но пока не близкие и случайные.

Я последнее время работал над стихами и закончил «Таноб», который так долго стопорил всю мою работу над «Путями Каина».[9] Как только перепишу на машинке — пришлю Вам.

А из «Доблести Поэта»,[10] столько вариантов которой я Вам уже посылал, вычеркните, пожалуйста, начисто все третье пятистишие со слов «Волю связать умей» по слова «но КТО несравненно важнее». Оно явно лишнее, и я только удивляюсь своему идиотству, не заметив это до сих пор. Таким образом, все стихотворение сокращается до 20 строк, что уже приемлемо эстетически для гекзаметра.

Привет А<лексан>дре Вл<адимиров>не.[11] Обнимаю. Жду.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 8 мая 1926 г. Е. Л. Ланн просил Волошина выслать ему портрет: «Вчера получил из Главлита разрешение на печатание моей статьи “Писательская судьба Макс<имилиана> Вол<ошина>”. К<ак> я уже писал, Союз поэтов пускает ее брошюрой. Они сдают в типографию, но просят у меня Ваш портрет, каковой хотят воспроизвести в брошюре. Посему очень прошу Вас срочно прислать один из Ваших фотограф<ических> снимков. Было бы не плохо, если бы можно было получить Ваш автопортрет, тот, что в “Демонах” (каковых ни у кого не имеется из моих знакомых). Словом, Ваше изображение необходимо – тем более что Союз поэтов думает выпустить серию открыток поэтов и пользовать присланный для брошюры портрет и “на предмет открыток”» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы. С. 102). См. примеч. 2 к п. 116.

[2] С художником Э. Заком Волошин встречался в 1911 г. в Париже. См.: Труды и дни. С. 282–283, 289.

[3] О судьбе графики и автопортрета к «Демонам Глухонемым» (Харьков: Камена, 1919) см. в письме Волошина к П. Б. Краснову от 9 октября 1918 г. (Т. 12 наст. изд. С. 176–179) См. также: *Давыдов З., Купченко В.* Автопортреты Максимилиана Волошина // Литературная учеба. 1990. Кн. 4. Июль-август. С. 164–169.

[4] Речь идет о письме И. Н. Дмитревского от 3 мая 1926 г., в котором он продолжал рассказывать Волошину о судьбе своей статьи о нем (см. примеч. 20 к п. 116): «... выход сборника, куда работа помещена, задержался из-за бумажной неурядицы до июня м<еся>ца. Сборник выйдет при издательстве “Современные проблемы” и носит имя “Содружество”» и добавлял: «Если верны имеющиеся у меня сведения, то Ваши оба стихотворения “Благословение” и “Машина” через цензуру, т.е. Главлит – прошли» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 503, л. 4). В открытке, датируемой по штемпелю отправления 27 мая 1926 г., Дмитревский добавлял, отвечая, видимо, на несохранившееся письмо Волошина: «Я не менее Вас удивлен тем, что “Благословение” и “Машина” и моя работа прошли без утеснения. Моя статья лишилась только 5-ти слов, без которых она обойдется. <...> Сборник задержится выходом из-за типографских затруднений» (Там же, л. 5).

[5] Упоминаются стихотворения Волошина «Благословение» (23 февраля 1923 г.) (Т. 1 наст. изд. С. 291–292) и «Машина» (1 марта 1922 г.) (Т. 2 наст. изд. С. 30–33).

[6] А. К. Воронский был редактором журнала “Красная новь» в 1921–1927 гг.

[7] Речь идет о младшей сестре Е. Л. Ланна – Софии Лозман.

[8] Отклик Волошина на просьбу Е. Л. Ланна: «Общий тонус всех, с кем я встречаюсь, ниже уровня моря. Замолчал Сигизмунд Кржижановский – помните, я говорил о нем в прошлом году? Это писатель большого масштаба. Один из самых глубоких людей, каких я когда бы то ни было знал. С ним и Лундбергом я хотел бы Вас познакомить» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 102). См. также п. 161, примеч. 2.

[9] См. примеч. 4 к п. 3.

[10] См. примеч. 2 к п. 79, примеч. 6 к п. 73.

[11] А. В. Кривцова.

169. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

22 мая 1926 г. Коктебель[1]

22/V 1926. Коктебель.

Милая Наташа,

Надеюсь, что это письмо тебя уже не застанет в Москве,[2] и ты уже будешь в Коктебеле, когда его московский почтальон вынет из сумки. Липочка[3] уже 3 дня здесь. Кухня работает. Всё и все тебя ждут. Хна родила Юлахлы, а Ажина – еще не октябреного котенка – к твоему приезду. Отчего Катя не едет?[4] Дети заболели?

Веис строит лавку для тебя: весь базар в ряд – у нас в тылу через дорогу. Маруся сходит с ума на чистке комнат. Писать уже не может писем. Я тоже едва улучаю для себя минутку. Народищу к нам едет этим летом уйма несосветимая. Спасибо за фонари. Обнимаем. Целуем.

МАКС.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 22.5.26; Москва. 24.5.26.

[2] См. примеч. 2 к п. 166.

[3] О. Н. Сербинова.

[4] Е. О. Сорокина; приехала с детьми в Коктебель 23 июня 1926 г. (Труды и дни-2. С. 306).

[5] Веис Гафаров, коктебельский торговец.

170. Е. Я. ТАРАХОВСКОЙ

25 мая 1926 г. Коктебель[1]

25/V 1926. Коктебель.

Дорогая Елисавета Яковлевна,

конечно, приезжайте.[2] Если в июне – то место еще будет. Но на отдельную комнату рассчитывать нельзя. Надо захватить мешок для сена (мало матрацев). Этим летом верно будет тесно в доме, т<ак> к<ак> едут очень многие. Теснее всего июль

и август. С сентября – свободно. От Москвы в Феодосию есть прямой поезд. До Коктебеля – автобус (2 р.).

Ждем в первых числах июня.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 29.5.26; Москва. 31.V.26.

[2] Ответ на недатированное письмо Е. Я. Тараховской: «Думаю, что Вы не будете протестовать, если я через несколько дней (12 июня) буду у Вас. В прошлом году я не была в Коктебеле и считаю этот год грустнейшим в моей жизни» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1173, л. 7).

[3] Тараховская приехала в Коктебель 20 июня (Труды и дни-2. С. 306).

171. Е. Я. ЭФРОН

28 мая 1926 г. Коктебель

28/V 1926. Коктебель.

Милая Лиля,

подругу твою принять с детьми могу только осенью – не раньше сентября. До 1-го сентября дом так переполнен, что я боюсь, хватит ли летом места тем, кому я обещал раньше. Твое первое письмо очевидно затерялось на почте.[1] Пусть она захватит с собою мешки для сена и приезжает не раньше 5-го сентября. Отвечаю одной открыткой, т<ак> к<ак> задушен корреспонденцией и количеством людей. С января написал уже больше 300 писем. Я не могу... Очень хотелось бы тебя самое видеть, и не урывками в Москве, а по-хорошему в Коктебеле.

Крепко тебя обнимаю.

Максимилиан Волошин.

[1] Эта фраза – элемент интриги, которую затеяла Е. Я. Эфрон, писавшая Волошину из Москвы 24 мая 1926 г.: « ..одна из моих многочисл<енных> “подруг” и, пожалуй, худшая, от кот<орой> я тебя

очень долго спасала, просит меня написать тебе, не можешь ли ты ей дать хоть какой-нибудь закуток. Она с двумя мальчиками. Я обещала. <...> Во всяком случае напиши мне два письма (и сейчас же), одно для меня настоящее, а другое поддельное, кот<орое> я могла бы ей показать, и припиши в нем, что первое письмо мое до тебя не дошло (кот<орое> я не написала) и верно пропало» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1346, л. 29).

172. М.А. ПАЗУХИНОЙ

28 мая 1926 г. Коктебель

28/V 1926. Коктебель.

Милая Марья Александровна,

сегодня пришла Ваша посылка, а ждали мы Вас самих с ребятами, т<ак> к<ак> послали Вам телеграмму о том, что ждем, неделю еще назад — в ответ на Ваши большие письма.[1] Спасибо Вам большое и за краски и за кнопки (великолепные) и за карандаши и за бумагу. Бумага — очень хороша, но, к сожалению, она пришла очень измята<я> — ее на почте сплющили. Это не беда: я ее выправил уже под гнетом. Но ее, очевидно, надо наматывать на картонную трубку, если количество листов само недостаточно велико. Пишу эту открытку с полной уверенностью, что она Вас не застанет уже в Москве и что Вы будете уже у нас. На всякий случай о фланели: хотелось бы цветной и яркой, но только не пестрой.

Ваша комната Вас ждет и мы тоже ждем с нетерпением и радостью.[2]

Максимилиан Волошин.

P. S. Маруся вся в хлопотах: обнимает, целует детей и Вас. Писать ей некогда.

[1] Имеются в виду письма М.А. Пазухиной от 4 мая и 13 мая 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 927, л. 6–7 об.); во втором из них она извещала об отправке Волошину акварельных красок, карандашей и пяти коробок кнопок.

[2] Пазухина вместе с детьми и няней Д. А. Коваленко приехала в Коктебель 17 июня 1926 г. (Труды и дни-2. С. 305).

173. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

31 мая 1926 г. Коктебель[1]

31/V 1926. Коктебель.

Дорогой Сережа, конечно, проси Гливенок приехать: как-нибудь устроим: выкроим комнату и поместим девиц в сестервятник.[2] Этим летом ух, как тесно будет. А твоя комната всегда тебя ждет, и мы ею будем распоряжаться до 1 июля.[3] Но если будут какие-нибудь изменения в сроках приезда, извести немедленно: нам ведь, знаешь, для хозяйственного распорядка важнее точно знать, что человек, кот<орого> ждем, *не приедет* или запоздает, чем когда он приедет. Заяицких ждем немедленно.[4] Очень радуюсь тому, что Вы с Машенькой[5] приедете не к концу лета, когда я бываю уже измучен. Крепко обнимаем и целуем тебя и Машеньку.

МАХ.

Лето (погода) очень хорошее. Все цветет и благоухает.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 31.5.26; Москва. 3.6.26.

[2] В недатированном письме к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 12–13 об.) С. В. Шервинский обращался с просьбой: «К тебе в Коктебель очень хотел бы приехать в этом году, тоже на июль и часть августа, мой хороший знакомый профессор Иван Иванович Гливенко с семьей. Он – член нашей Академии Худ<ожественных> Наук и председатель п<од>секции всеобщей литературы, где я состою ученым секретарем. Раньше он занимал довольно высокий пост, был председателем Главнауки, но оттуда “его ушли”. Человек он очень веселый, бодрый, неприхотливый и, кажется, уживчивый. У него жена, очень не глупая женщина, и две дочери, взрослых, кажется, милых. Им нужно было бы или две комнатки, или одну для “стариков”, а барышень можно с кем-нибудь совместить, в каком-нибудь “сестервятнике”». 7 июня 1926 г. И. И. Гливенко сообщил Волошину о намерении приехать между 1 и 3 июля, но позже, 23 июня, написал ему о необходимости отправиться вместо Коктебеля в Кисловодск (Труды и дни-2. С. 304, 306).

[3] Шервинский приехал в Коктебель 14 июля и отбыл обратно в Москву 2 сентября 1926 г. (Там же. С. 308, 316).

[4] С. С. Заяицкий с семьей летом 1926 г. в Коктебель не приезжал.

[5] М. С. Шервинская.

174. К. В. КАНДАУРОВУ

15 июня 1926 г. Коктебель[1]

15. VI. 1926. Коктебель.

Милый Костя,

жду тебя ежедневно. Приезду Юл<ии> Леонид<овны> радуюсь бесконечно.[2] Сам я затоплен людьми и прибывающими ежедневно. Но для тебя и для Ю<лии>Л<еонидовны> всегда будет место в мастерской.

Имей в виду, что в Коктебеле теплые морские ванны *имеются*, т<ак> что, может быть, тебе и не надо вовсе сидеть в душной Феодосии?

Жажду тебя видеть, с тобой говорить.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 16.6.26; Феодосия. 16.6.26.

[2] Ю. Л. Оболенская. 11 июня 1926 г. К. В. Кандауров писал Волошину: «Я уже в Феодосии и до сих пор не повидал тебя. Может быть, на этих днях выяснится вопрос с приездом Юлии Леонид<овны>, и тогда мы навестим тебя. Если она и не приедет, то я во всяком случае побываю у тебя» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 615, л. 19).

175. С. Ф. ПЛАТОНОВУ

17 июня 1926 г. Коктебель

17. VI. 1926. Коктебель.

Глубокоуважаемый Сергей Феодорович,

Большое спасибо за Ваше внимание и за брошюру о «Великобританском монастыре»,[1] которая служит таким ценным

дополнением к Вашей книге о Петре В<еликом> (изд<ательство> «Время», 1926),[2] которую внимательно штудирую эти дни. Буду с радостью ожидать Вашего сына.[3] Но было бы удобнее, если бы он приехал не в августе (слишком перегруженный людьми месяц), а в сентябре. Но если ему нужна не отдельная комната, а место для ночлега и опорный пункт для прогулок — то милости прошу в любое время. К первому сентября обычно главная масса летних гостей разъезжается, и тогда я имею возможность предоставить более удобное помещение. И если Вы когда-нибудь соберетесь сами в Коктебель, то советую Вам это сделать или в мае, или в сентябре — октябре, чтобы Коктебель не показался Вам слишком шумным. Письмо Ваше попало ко мне слишком поздно, и ответ мой, верно, не застанет уже Вас в СПБ, но я надеюсь, что Ваш сын прочтет его, и поэтому отвечаю открыткой.

Максимилиан Волошин.

[1] С. Ф. Платонов выслал Волошину отдельный оттиск своего доклада, сделанного в заседании Отдела исторических наук и филологии 24 февраля 1926 г и опубликованного под названием «Из бытовой истории Петровской эпохи. I. Бенго-коллегия, или Великобританский монастырь в С-Петербурге при Петре Великом» (Известия Академии Наук СССР. 1926. № 7/8. С. 527–546).

[2] Имеется в виду издание: *Платонов С. Ф.* Петр Великий: Личность и деятельность. Л.: Время, 1926

[3] Речь идет о сыне С. Ф. Платонова – Михаиле Сергеевиче Платонове (1899–1942). В письме Платонова от 3 июня 1926 г. содержалась просьба: «... в августе я буду стараться сына отправить на юг и уже теперь указываю ему на Вас, как на якорь, на котором он мог бы стать в дни своих экскурсий по Крыму. <...> прошу Вас, если мой юноша явится к Вам, не откажите ему в разрешении приютиться у Вас на короткое время» (Максимилиан Волошин и академик С. Ф. Платонов. Материалы к истории взаимоотношений / Публ А. Н. Зиневич // Русская литература. 2013. № 1. С. 185).

176. Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

27 июня 1926 г. Коктебель

27/VI. 1926. Коктебель.

Дорогой Эрик Феодорович,

Спасибо за привет и память. Вы вполне правы: свой день рождения я считаю передвижным и *всегда* его праздную в Духов День.[1] Так было и в этом году.

Стечение людей в этом году в Коктебеле далеко превосходит предыдущее лето. Уже весь дом переполнен так, как раньше бывало только в августе. Мой привет Ольге Дмитриевне. Я не вполне уловил Ваши слова о моем портрете.[2] Была ли это *устная* характеристика, или она *написала* мой литературный портрет? Если последнее – то попросите её меня познакомить с ним. Напомните ей о ее намерении навестить Коктебель. Этим летом это возможно только с сентября, когда схлынут летние гости. Привет наш Екатер<ине> Владимировне,[3] Гиринскому и Вс<еволоду> Рождественскому. Т. И. Хижинская извещала о том, что выезжает к нам, и не приехала.[4] Что с нею?

Всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] Э. Ф. Голлербах писал Волошину 21 июня 1926 г.: «... мне только сейчас пришло в голову, что телеграмма моя, посланная два дня тому назад, конечно, вызовет недоумения: ведь день Вашего рождения 16 (29) мая. Но я так твердо запомнил, что Вы родились в день Св. Духа, что готов считать день Вашего рождения *переходящим* праздником. И телеграмму я послал в полной уверенности, что посылаю ее вовремя» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 25). На письме после даты Голлербах отдельно приписал: «День св. Духа».

[2] О.Д. Форш. В упомянутом письме Э. Ф. Голлербах сообщал Волошину: «Сегодня <...> мы много говорили о Вас с О.Д. Форш, живущей сейчас в Царском, по соседству с нами. Не совсем соглашаясь с тем портретом Вашим, какой рисует она, я все-таки совершенно поражен “мастерством исполнения” этого портрета. Другими словами: не совсем то, что в действительности (по-моему), но замечательно *похоже*» (Там же, л. 25 об.). В ответном письме Волошину

от 6 июля 1926 г. Голлербах пояснял: «Вы спрашиваете, был ли Ваш портрет, сделанный О.Д. Форш, устным или печатным? Я, вероятно, не четко об этом написал, – портрет был нарисован в беседе. Это была блестящая и почти исчерпывающая (насколько возможно "исчерпать" чужое "я") характеристика» (Там же, л. 26).

[3] Е.В. Штейн.

[4] В ответном письме от 6 июля 1926 г. Голлербах уточнил: «Рождественский уехал куда-то на юг. Т.И. <Хижинская. – *Ред.*> живет сейчас в Лоо <...> мечтает на обратном пути побывать у Вас» (Там же, л. 26 об.). У Волошина речь идет об открытке Т.И. Хижинской, датированной 22 мая 1926 г.: «Может быть, почему-нибудь в этом году мне нельзя будет к Вам приехать? Собираюсь выехать 1/VI» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1242, л. 1). 1 июля 1926 г. Т.И. Хижинская писала Волошину: «Сейчас я на Кавказе – сюда плыла по Волге – это заняло много времени, <...> мне не удастся быть у Вас раньше конца этого месяца...<...> многие обстоятельства задерживают» (Там же, л. 2).

177. С.Ф. ПЛАТОНОВУ

2 сентября 1926 г. Коктебель

2. IX. 1926. Коктебель.

Глубокоуважаемый Сергей Феодорович,

я получил от Вашего сына письмо о том, что Вы после съезда собираетесь заехать в Коктебель.[1] Буду ждать Вас <с> радостью и с нетерпением. Отсут<ст>вие денег мне, к сожалению, не дает возможности поехать на съезд.[2] После съезда ко мне собирается из участников съезда еще киевский академик Алексей Петрович Новицкий (сообщаю на всякий случай) и Всев<олод> Мих<айлович> Зуммер.

Буду рад оказать гостеприимство и тем, кто захочет еще пожить в Крыму после окончания работы съезда.

В половине сентября у меня будет много места.

Максимилиан Волошин.

[1] М.С. Платонов писал Волошину 13 августа 1926 г.: «...разрешите мне искренне поблагодарить Вас за Ваше любезное приглашение и готовность приютить меня в Коктебеле. К сожалению,

моя поездка на юг не осуществится, т<ак> к<ак> доктор, которому я показывался, настойчиво советовал мне отдыхать, не меняя климата. Буду надеяться, что Вы позволите мне в будущем воспользоваться Вашим гостеприимством. <...>. P. S Мой отец, вероятно, будет на археологическом съезде в Керчи 5–10 сентября и оттуда сможет заехать к Вам на короткое время» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 971, л. 1).

[2] Речь идет о Всесоюзной археологической конференции, проходившей в Керчи и Херсонесе по случаю столетия Керченского музея древностей и раскопок на Керченском полуострове 5–10 сентября 1926 г. См.· Бюллетень конференции археологов СССР в Керчи. Керчь, 1926. В архиве Волошина сохранилось приглашение принять участие в конференции и предполагаемая программа занятий Археологической конференции (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед хр. 37, л. 3–4).

178. С.Ф. ПЛАТОНОВУ

19 сентября 1926 г. Коктебель

19. IX. 1926. Коктебель.

Глубокоуважаемый Сергей Феодорович,

Глубоко сожалею, что, будучи так близко, нам не удалось свидеться.[1] Но надеюсь, что рано или поздно я увижу Вас своим гостем в Коктебеле, равно как и Вашего сына.[2] Но заранее не советую приезжать в июле — августе — время тесноты, переполнения и людоворота: май – июнь и сентябрь – октябрь — лучшие месяцы в Коктебеле. Спасибо за сведения об Онегинском Музее,[3] судьба которого меня интересовала. Я его знавал (не любил), а музей в его непоказной части ценил.

Пересылаю одновременно письмо, пришедшее на Ваше имя.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 177 и примеч. к нему.

[2] М.С. Платонов. См. примеч. 1 к п. 177.

[3] В письме от 9 сентября 1926 г. С.Ф. Платонов сообщал Волошину: «Я действительно собирался к Вам после Керчи. Но в последние дни в Питере был поставлен в известность, что моя командиров-

ка от Ак<адемии> наук в Керчь соединяется со срочным поручением в Москву. Дело идет об Онегинском музее в Париже. Я в июне был послан его вывезти в Пушкинский Дом в СПб. Вывезти не удалось, так как, опечатав квартиру Онегина, французское правительство *с наследства* Онегина желает получить законные пошлины, а по связи с Музеем возбуждает некоторые теоретические вопросы. 4 сентября я делал доклад о деле в Конференции наук, и в тот же день пришло известие, что дело дипломатическим путем перешло в Нар<одный> Ком<иссариат> Ин<остранных> Дел, куда экстренно я и должен обратиться, как рефрент по делу, не позднее 13–14 сент<ября>. Пишу Вам этим строки не только для того, чтоб объяснить причину, по которой я не попаду к Вам, но и для того, чтобы сообщить об Онегинском Музее, который Вы, вероятно, видели и которым интересуетесь. Думаю, что Академия его получит, но после долгих объяснений о характере Музея и о характере наследника Онегина – Пушкинского Дома» (Максимилиан Волошин и академик С. Ф. Платонов. Материалы к истории взаимоотношений... С. 186–187). Об Онегинском Музее и обстоятельствах его поступления в Пушкинский Дом см.. *Измайлов Н. В.* Воспоминания о Пушкинском Доме 1918–1928 гг. / Публ. Н. А. Прозоровой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1998–1999 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 272–346; *Краснобородько Т И.* Хранитель // «Тень Пушкина меня усыновила...» Рукописи, книги, изобразительные материалы, памятные вещи музея А. Ф. Онегина. Каталог выставки. СПб., Болонья, Кембридж, 1997. С. 9–19 Волошин посещал Онегинский Музей в Париже 25 декабря 1901 г. / 7 января 1902 г. (см.: Труды и дни. С 95).

[4] О каком письме идет речь, установить не удалось.

179. В. Ф. ЛАЗУРСКОМУ

23 сентября 1926 г. Коктебель

23/IX 1926.

Секретарю Х<удожественного> О<бщества>
имени Костанди

Сим извещаю Вас, что посылаю одновременно 5 акварелей на имя А. А. Смирнова заказными.[1]

Прошу их вернуть мне немедля после окончания выставки, ввиду устройства в ноябре–декабре моей отдельной вы-

ставки в Москве Академией Х<удожественных> Н<аук>,[2] по адресу:

Крым, Коктебель.

Максимилиану Александровичу Волошину.

М. Волошин.

23/IX 1926 Коктебель.

[1] Приглашение участвовать во второй осенней выставке картин Художественного общества имени К. К. Костанди в Одессе Волошин получил в типовом недатированном письме, в котором предлагалось высылать картины по адресу члена Общества А. А. Смирнова, а письма адресовать секретарю Общества В. Ф. Лазурскому (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 44, л. 9). А. А. Кипен извещал Волошина в недатированном письме: «10 октября открывается наша “Вторая осенняя выставка картин”. Приглашение участвовать Вы, вероятно, уже получили. Если у Вас нет рам, не смущайтесь этим. Мы сами обрамим здесь Ваши картины. <...> С присылкою картин поторопитесь. Времени осталось мало, а ведь нужно еще напечатать каталог» (*Михаленок Д. К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 78). Открытие 2-й выставки Общества им. Костанди состоялось в Одессе 15 октября 1926 г., экспонировались пять акварелей Волошина: «Пепельный свет», «На Меганоме», «Сумерки», «Предгорье», «Тихая равнина» (Каталог второй осенней выставки картин. Одесса, 1926. С. 6).

[2] Эта выставка в ГАХН открылась позднее – 26 февраля 1927 г.

180. К. В. КАНДАУРОВУ

2 октября 1926 г. Коктебель

2. X. 1926. Коктебель.

Дорогой Константин Васильевич,

Всецело присоединяюсь к письму Евгении Юрьевны Спасской, посылаемому тебе одновременно (если ты тут что-нибудь можешь устроить в Р.О.П.И.К.'е) и всецело ручаюсь за ее добросовестность и исполнительность.[1]

У нас только что схлынула последняя волна друзей, и я с сегодняшнего дня начинаю переходить на зимнее положение и это мое первое письмо.

К тебе и Юлии Леонидовне[2] такая просьба: ты знаешь ведь, что А . А. Сидоров устраивает этой зимою мою выставку в Г.А.Х.Н.[3]

Пожалуйста, собери все мои акварели, залежавшиеся у тебя (лучше бы по тем «циклам», как я их посылал) и передай ему, а также помоги, как можно, в самом устройстве выставки. Крепко обнимаю тебя и Юл<ию> Леон<идовну>.

Макс.

[1] РОПИК – Российское общество по изучению Крыма.

[2] Ю. Л. Оболенская.

[3] Идея выставки работ Волошина в ГАХН возникла в Коктебеле летом 1926 г. (А. А. Сидоров приехал туда 1 августа // Труды и дни-2. С. 311); параллельно с ней родился замысел у А. Г. Габричевского устроить выставку киммерийского пейзажа с изданием иллюстрированного каталога со статьями Габричевского, Сидорова и С. В. Шервинского (К. Ф. Богаевский писал об этом К. В. Кандаурову 21 сентября 1926 г. // Там же. С. 318).

181. П. Е. КОРНИЛОВУ

1 ноября 1926 г. Коктебель

1/XI 1926. Коктебель (Крым).

Многоуважаемый Петр Евгеньевич,

согласно Вашей просьбе, переданной мне Богаевским, посылаю Вам одновременно заказною бандеролью статью о нем, для предстоящей казанской выставки.[1] У меня не было времени (он очень торопил) ее переписать и нет черновика. Поэтому прошу вернуть мне рукопись и прислать 25 экземп<ляров> каталога, когда он выйдет. Был бы Вам глубоко благодарен, если бы Вы прислали мне комплект Ваших каталогов и изданий, которые я видел у Богаевского.[2]

Передайте, пожалуйста, мой привет Мантелю,[3] если он еще жив и находится в Казани.

Максимилиан Волошин.

P. S. Я все-таки задержал рукопись на один день, чтобы переписать ее на машинке. Машинка скверная, уж не взыщите.

[1] Речь идет о статье «К. Ф. Богаевский – художник Киммерии», законченной 1 ноября 1926 г. (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 81–88) и опубликованной летом 1927 г. в кн.: Константин Федорович Богаевский. Иллюстрированный каталог Казанской выставки акварелей и рисунков Богаевского. Со статьями М. Волошина, С. Лобанова, П. Дульского, П. Корнилова. Казань, 1927. С. 5–18. 20 октября 1926 г. Богаевский сообщал П. Е. Корнилову, что Волошин напишет статью к половине ноября и вышлет в Казань (Труды и дни-2. С. 321)

[2] В письме от 15 ноября 1926 г. из Казани Корнилов благодарил Волошина за присланную статью и за участие в устройстве выставки работ Богаевского: «Буду счастлив по выходе из печати каталога выслать Вам указанное количество последнего, а также ряд наших изданий, которые выходили за последние годы по искусству» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 692).

[3] Александр Фердинандович Мантель – искусствовед, критик, прозаик, издатель.

182. А. П. БОБКОВУ

5 ноября 1926 г. Коктебель[1]

5/XI* 1926. Коктебель

Дорогой Александр Петрович,

большое спасибо за присланные фотографии и за исполненное обещание.[2] Очень грустно и обидно за предательство пластинок, ибо вижу, каковыми они бы могли быть, если бы передали те контрасты, которые Вы замышляли. Но надеюсь, что это не последний Ваш опыт в моей мастерской, и следующим летом Вы возьмете ее всею полнотой светотени.

Мар<ия> Степан<овна> (и я) шлем привет Татьяне Михайловне[3] и Вам. У нас еще до сих пор тихая и теплая осень.

Максимилиан Волошин.

---

* *В автографе описка* 5/X

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 6.11.26; Москва. 9 XI.26.

[2] А. П. Бобков, живший в Коктебеле в доме Волошина летом 1926 г., занимался фотографированием; он выслал Волошину его фотоснимки 26 октября, сообщив в сопроводительном письме: «Половина пластинок по вине фабрики оказались испорченными; Ваши портреты как раз и попали на такие пластинки; два снимка удалось спасти, а остальные погибли» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 264)

[3] Т. М. Бобкова (урожд. Баранова), жена А. П. Бобкова.

183. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

5 ноября 1926 г. Коктебель

5/XI 1926. Коктебель.

Милый Саша,

прежде всего, о выставке...[1] Когда я увидал себя в Феодосии рядом с Богаевским, то почувствовал себя совсем раздавленным его силой и мастерством. Конечно, наша совместная выставка меня убьет. И, несмотря на это, а отчасти именно благодаря этому, я очень стою за твой проект – весенней выставки киммерийского искусства (Богаевский – Волошин) – с большим каталогом-книгой. Поясню свою мысль. Я вовсе не жажду непременно быть раздавленным, но я вовсе не представляю из себя такой значительной величины, чтобы выдержать одному – целую выставку. Это меня больше всего смущало. Трудное положение: от такого предложения отказываться нельзя, но оно слишком непропорционально моему удельному весу – отсюда мое желание дать каталог со всеми киммерийскими стихами.

Я знаю, что в моих коктебельских акварелях есть известные достижения, у них в общем цветовом пятне есть приятная радужность, но... в них нет совсем той насыщенности и той волевой сосредоточенности, что у Богаевского. Это бросается сразу в глаза при непосредственном соседстве. Но я этого не боюсь. Нужно, чтобы наши пропорции были ясны. У меня нет ложной скромности. Вот о стихах своих я знаю, что они стóят картин Богаевского. А раз будут и картины, и

стихи, и статьи, то это самое лучшее, что можно пожелать для манифестации в честь Киммерии, и я очень хочу и очень прошу тебя сделать все для осуществления этого проекта. Единственно, что мне было бы неприятно (а это возможно при крайней необразованности худож<ественных> критиков России), это быть утвержденным в живописи в качестве подражателя Богаевского. Этого нет, и мы идем путями совсем различными в смысле художественном. Но это уже дело наших друзей – достаточно ясно подчеркнуть разницу наших подходов и установить действительное соотношение между нами в своих статьях.

Я, кстати, только что писал новую статью о Богаевском для каталога его выставки, предстоящей в Казани,[2] и многое вновь продумал о нем. Я к нему подошел с точки – сновидения земли: Земля-Киммерия – видит свои сны в Богаевском. Его картины относятся к реальной природе так, как миражи с разливами рек и оазисами относятся к безводной пустыне, ими тревожимой.

Мне хочется дать в каталоге целиком мою статью о Богаевском из «Аполлона»,[3] присоединив к ней кое-что из этой и других моих статей о нем. Не забудь, что, кроме твоей и Сережиной (Ш<ервинского>) статьи, еще должна быть статья Сидорова обо мне (как об акварелисте). Что касается до моих рисунков городов и архитектуры, то их, к сожалению, у меня сохранилось так мало, и далеко не лучших – все остально<е>, как всегда, было роздано, но я, конечно, присовокуплю, что возможно, и из своей графики. В общем же нужно ограничиться акварелями двух последних лет и тем, что я пишу и еще напишу за эту зиму.

Я не писал все это время потому, что люди еще не переводились в Коктебеле, а я начинаю лишь тогда писать письма со вкусом, когда конкретный человек – гость (hostis*) исчезает из моего поля зрения. А потом коктебельская погода еще совершенно не напоминает о наступившей зиме. Дни теплые. Деревья еще не опали. Св<ятая> гора медная. Сейчас вызвездили все осенние созвездия с Орионом. На море – мертвая

* Чужеземец (*лат.*).

зыбь, и прибой ярко светится в темноте. Даже дико себе представить, что существует промозглая Москва.

Твой — мой портрет — мне очень нравится — объек<т>ивно.[4] Он очень монументален, но красок, несмотря на твое описание, — я все-таки не могу себе ясно представить.

Спасибо за радостную весть о «Сурикове».[5] Но верно ли это? Значит ли это, что в 1927 году он будет действительно издан? Я сговорился с А. Н. Тихоновым перед его отъездом,[6] что он будет наводить справки у существующих издателей, кто его возьмется издать. Поэтому, если дело верное, то сговорись, пожалуйста, с ним и предупреди его, чтобы он не хлопотал. Вопрос об иллюстрациях, конечно, предоставляю всецело тебе и Сидорову. В моем тексте есть ссылки на предполагавшиеся (у Кнебеля) иллюстрации. Имей в виду, что у него был заснят весь тот материал, что Вас<илий> Иван<ович>[7] обычно возил с собою в знам<енитом> кованом сундуке. Этот сундук с содержимым поступил после в распоряжение Ольги Васильевны,[8] и я его видел в 1917 г. на сохранении в Третьяковке.

Радуюсь благополучному возвращению Семеныча из Афганистана.[9] Буду писать ему на днях.

Как Любочкина[10] операция?

Маруся настоятельно зовет пить чай, а то он моментально остынет. Крепко тебя обнимаю, а после чая буду писать Наташе.[11] Спасибо за память и хлопоты о моих делах.

Сидим без копейки денег: Ц.К.У.Б.У. ничего не высылает, а Маруся размахнулась с ремонтом крыши.

Целую всех коктебель'омов и коктебель'фамид.[12]

МАКС.

[1] См. примеч. 3 к п. 180. Волошин отвечает на предложения, изложенные ему А. Г. Габричевским в недатированном письме: «...относительно выставки. Вот какой у меня возник план после беседы с Богаевским, план, встретивший сочувствие как в академических верхах, так и у наших друзей. <...> Хорошо было бы к весне (не позже 1-го мая) устроить в Академии <ГАХН. — *Ред.*> выставку киммерийских художников, т. е. тебя и Богаевского. Главное, можно было бы составить великолепный каталог —книгу, в которую бы входили:

1) твои стихи о Киммерии, 2) по статье о тебе и К. Ф. (твоя), 3) моя статья о Киммерийском героическом пейзаже, 4) Шервинского о Киммерии как о культурно-историческом очаге. Некоторые из этих вещей могли бы быть прочитаны в качестве докладов на открытии. <...> Я думаю, ты со мной согласишься, что выставка Киммерийского искусства вообще будет и импозантнее, и "академичнее", чем выставка отдельного мастера, и будет вполне соответствовать твоим и К<онстантина> Ф<едорович>а мечтам о пропаганде Киммерии и его искусства» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968 К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 156–157. Исправлено по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 382, л. 9–10).

[2] См. примеч 1 к п. 181.

[3] Имеется в виду статья «Константин Богаевский» (Аполлон. 1912. № 6. С. 5–21; Т. 5 наст. изд. С. 164–182).

[4] Подразумевается портрет Волошина работы А. Г. Габричевского. См. примеч. 6 к п. 152, примеч. 7 к п. 165. В цитированном выше письме Габричевский сообщал. « .присылаю тебе фотографию моего портрета, про который я сам ровно ничего сказать не могу: иногда он мне даже нравится, и мне кажется, что в него попало что-то очень существенное (в смысле идеальной портретности), а иногда бывает тошно на него смотреть» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 156).

[5] См. примеч. 1 к п. 117, примеч. 3 к п. 138. В том же письме Габричевский извещал: «Твой Суриков принят к изданию нашей Академией. Он пойдет во вторую очередь, т е. во второе полугодие <.. > Надо еще только подумать об иллюстрациях Полагаю, что это ты сможешь доверить мне и Сидорову. Во всяком случае сообщи мне свои desiderata» (Там же).

[6] А. Н. Тихонов жил у Волошина в Коктебеле в августе – сентябре 1926 г.

[7] В И. Суриков.

[8] О. В. Кончаловская.

[9] Подразумевается А. С. Стрелков. В цитированном выше письме Габричевский отмечал· «Семеныч вернулся из Туркестана и привез тебе очень красивую ермолку» (Александр Георгиевич Габричевский С. 157).

[10] Л. А. Назаревская.

[11] Это письмо к Н. А. Габричевской либо не было написано, либо не обнаружено.

[12] Неологизмы от *фр.* homme (мужчина, человек), femme (женщина).

184. Е.Л. ЛАННУ

5 ноября 1926 г. Коктебель

5/XI 1926. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

большое спасибо Вам за «Лорда Джима» (прекрасно!!),[1] которого я получил своевременно, и не отвечал Вам, сами знаете, почему: только неделю назад Коктебель перешел на зимний режим, т.е. дом почти опустел. Но зимой еще и не пахнет: солнце теплое, воздух благоуханный, дни тишины, безветрия и безмолвия.

Только сейчас я начал читать книги — франц<узские>, полученные летом. Знаете ли, что я получил «Mercure de F<rance>» за 1926 г.[2] и наслаждаюсь им. Все-таки насколько он обстоятельнее, шире по материалу и по обзорам, чем «Europe» или «N<ouvelle> R<evue> F<rançaise>»[3]! Только взявши его в руки, я чувствую, что вновь начинаю жить интересами моего Парижа и моего парижского круга.

Хочется знать о Вас: Ваше здоровье? Работы? Судьба «Судьбы Писателя»?[4]

Да! Вы *фактически* оказались правы: я только что получил известие, что Белый действительно женился на Кл<авдии> Н<иколаевне>.[5] «Москва под ударом» меня очень разочаровала. Вы ведь знаете, чей псевдоним «Д<окто>р Доннер» для Белого?[6] Правда, все это показано и моментально спрятано, со всеми извинениями в небытии и реверансами... Но все-таки это черт знает что такое... Особенно меня доканали милосердные и спасительные соц<иал->демокр<аты> в конце романа.

Привет Александр<е> Владимиров<не>.[7]

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет об издании: *Конрад Джозеф.* Лорд Джим Роман / Пер. с англ. А.В. Кривцовой. М.; Л.: Земля и Фабрика, [1926].

[2] См. примеч. 16 к п. 3. Волошин в несохранившемся письме от 2 октября 1926 г. специально запрашивал Книжный отдел ЦЕКУБУ о возможности получения журнала «Mercure de France». Из-

вестен ответ, датированный 8 октября 1926 г.: «В ответ на Ваше письмо <...> сообщаем, что №№ указанного Вами журнала “Mercure de France” нами <...> не получены, о чем мы сообщили в редакцию и просили их послать» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 21, л. 21).

[3] См. примеч. 6, 14 к п. 90.

[4] См. примеч. 1 к п. 167.

[5] Официально брак между Андреем Белым и К. Н. Васильевой был зарегистрирован 18 июля 1931 г.

[6] Речь идет о 2-й части романа Андрея Белого «Москва» – «Москва под ударом» (М.: Круг, 1926). В образе Доктора Доннера Андрей Белый отразил черты Рудольфа Штейнера, учеником и последователем которого он был с 1912 г. См.: *Белый Андрей.* Собр. соч. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М.: Республика, 2000.

[7] А. В. Кривцова.

185. Е. Л. ЛАННУ

6 ноября 1926 г. Коктебель

6/XI. 1926. Коктебель.

Дорогой друг, только что получил Ваше письмо и «Сердце тьмы».[1] На письмо ответил вчера,[2] и Вы, вероятно, получите оба мои письмеца одновременно.* За Конрада горячо благодарю.

Вообще сегодня для меня радостный день: получил английскую акварель и толстую палку китайской туши. Как хорошо жить на свете, когда можешь все нарисовать и имеешь запас хороших красок на зиму. Отчего никогда ни одно самое лучшее написанное тобою стихотворение не дает такой радости, как самая банальная картинка, которая тебе в этот день кажется удачной. Какое блаженство быть не мастером, а учеником и наглядно видеть путевые вехи, которые преодолеваешь. Какое блаженство читать чужие (хорошие) книги и не писать своих. Все это в связи с бодрыми и солнечными осенними днями я переживаю сейчас. Читаю сейчас Уэллса —

* Не в первый раз наши письма встречаются так вопросами и ответами в пути. <*Примеч Волошина*>.

«Nouveau Makhiavelle».[3] — Вам для стандартного англичанина он был бы небезынтересен. Что нового в российской литературе? Видали ли Булгакова на сцене?[4]

Слухи о моем приезде в Москву сильно преувеличены.[5] Я сам еще никуда не собираюсь и, как видите, наслаждаюсь бытием в Коктебеле. Но, конечно, ничего невозможного в этом нет, и все может случиться. Но пока нет основного, что могло бы развязать нам крылья, — некого оставить в доме на зиму. Но зимой у нас вообще еще и <не> пахнет. Крепко Вас обнимаю и приветствую Александру Владимировну.[6]

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет о письме Е. Л. Ланна от 30 октября 1926 г., в котором он сообщал, что выслал Волошину издание: *Конрад Джозеф.* Сердце тьмы: Роман. Конец рабства. Молодость: Рассказы / Пер. с англ. Евгения Ланна. М.; Л.: Гос. изд., 1926.

[2] См. п. 184.

[3] Имеется в виду роман Г. Уэллса «The New Machiavelly» (1911). Волошин мог читать его в русском переводе: *Уэллс Герберт.* Новый Макиавелли (The New Machiavelli). Роман / Пер. с англ. О. И. Поддячей. Под ред. Е. И. Замятина. Л.: Мысль, 1926.

[4] Речь идет о премьере пьесы М. А. Булгакова «Дни Турбиных», которая состоялась 5 октября 1926 г. во МХАТе.

[5] Ответ на замечание Ланна в письме от 30 октября 1926 г.: «Вчера я узнал, что Вы собираетесь приехать в декабре в Москву. <...> Если захотите меня порадовать – сообщите о приезде и черкните несколько слов» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 107).

[6] А. В. Кривцова.

186. С. А. ТОЛСТОЙ

8 ноября 1926 г. Коктебель[1]

Милая Соня, – несколько слов к подробному письму Маруси о том, что я тебя очень люблю и помню. Как жаль, что ты была летом людным и тесным,[2] а не теперь, когда все тихо, прекрасно, безлюдно и душа Коктебеля целит и воскре-

шает все живое и сущее. Колобовы[3] очень милые, но крайне примитивные и юные.

Привет Ольге Константиновне и Китти.[4]

Макс.

[1] Приписка к письму М.С. Заболоцкой от 8 ноября 1926 г., в котором рассказывалось о последних коктебельских новостях и, в частности, о Волошине: «Макс получил заграничные английские краски и рисует великолепнейшие акварели. Здоров, бодр и родной, родной. Гуляет два раза в день, получил франц<узские> журналы и счастлив, зачитывается. <...> Читаю вслух Максу Конрада <...>» (ГМТ).

[2] С. А. Толстая жила у Волошина в Коктебеле с 7 июня до 28 августа 1926 г. (Труды и дни-2. С. 304, 315).

[3] Друг С. Есенина Григорий Романович Колобов (1893–1952), ответственный работник Народного комиссариата путей сообщения, автор стихов (под псевдонимом Малабух), и его жена Лидия Ивановна Колобова; побывали в Коктебеле осенью 1926 г. по рекомендации С. Толстой.

[4] О. К. Толстая, Е. В. Арцимович.

187. Е. В. ГЕНИЕВОЙ

9 ноября 1926 г. Коктебель

9/XI 1926.

Милая Леля,

очень радостно и приятно услышать твой голос из того зимнего чистилища, куда неизбежно проваливаются все друзья.

В эти последние дни южной осени — необычайные по своей чистоте, тишине и ясности, то златокудрые, то жемчужные — Москва кажется чудовищным абсурдом.

Как хорошо ты написала о Зине, что она в Москве, как стакан чистой ключевой воды.[1] Она писала мне о своем докладе,[2] но только твое письмо сказало мне убедительно, что он прошел хорошо. Очень радуюсь за Зину. Доехала ли она уже до Ладоги?[3]

Глаза, мысль, душа переполнены сейчас этим осенним светом и тишиной. Марья Александровна — единственная из

друзей еще не покинувшая Коктебеля, сделала мне чудный подарок: акварель «Winzor-Newton».[4] Трудно себе представить, какую яркость и полноту тона приобретаю<т> акварели.

Буду ждать с нетерпением книгу Мотовилова и заранее благодарю за нее Серг<ея> Никол<аевича>.[5]

Шлю самый горячий привет Марии Васильевне, Николаю Николаевичу, Софии Андреевне, маленькой Леле, Юре,[6] Сергею Николаевичу.

Что слышно о Сергее Михайловиче?[7]

Очень мне было бы интересно знать мнение и впечатление П. П. Перцева о моих стихах.[8]

Макс.

[1] В недатированном письме к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 405, л. 5–6 об.) Е. В. Гениева так охарактеризовала З. И. Елгаштину· «Она очаровательна. В Москве она – как стакан чистой, чистой ключевой воды, в которой сверкает солнечный луч».

[2] О своем докладе в ГАХН и о ходе заседания Елгаштина рассказала Волошину в письме от 26 сентября 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 534, л. 4–5 об.). В цитированном выше письме Гениева сообщала Волошину, что доклад Елгаштиной «прошел великолепно»: «Читала она ясно, уверенно, деловито. Конечно, он несколько удивил людей, как все живое, выходящее из обычных казенных рамок, но она сама была так очаровательна, что ей это простили. Доклад вызвал прения, и прения вышли не казенные».

[3] Елгаштина жила в это время в Новой Ладоге.

[4] М А. Пазухина. Волошин просил ее приобрести для него акварельные краски указанной фирмы в п 148.

[5] С. Н. Дурылин. Имеется в виду кн.: О цели христианской жизни. Беседа Серафима Саровского с Н. А. Мотовиловым. Сергиев Посад, 1914. Волошину она была нужна для работы над поэмой «Святой Серафим». Сообщая в цитированном выше письме об отправке Волошину этой книги, Гениева добавляла: «Эту книгу добыл Серг<ей> Ник<олаевич> и говорит, что в существующей литературе нет больше ничего ценного о св. Серафиме. Есть только перепевы Див<еевской> Лет<описи> и, как всегда, неудачные».

[6] М. В. Кирсанова – сестра Е. В. Гениевой; Н Н. Гениев (1885–1955) – муж Е. В. Гениевой, гидроинженер; С. А. Мясоедова (1893–1973) – подруга Е. В. Гениевой, педагог-математик; дети Е. В. и Н. Н. Гениевых – Елена Николаевна Гениева (1917–1982) и Георгий (Юрий) Николаевич Гениев.

[7] С. М. Соловьев. Он жил в Коктебеле у Волошина с 20 июня по 29 августа 1926 г. (Труды и дни-2. С. 306, 315).

[8] В цитированном выше письме Гениева сообщала: «Сегодня у меня был П. П. Перцев и забрал Твои стихи для прочтения».

188. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

12 ноября 1926 г. Коктебель[1]

12/XI 1926. Коктебель.

Милый Саша, в ответ на мое письмо Богаевскому относительно нашей совместной выставки[2] получил от него такое письмо: ... «Тут есть одно большое *НО*: Все мои работы направлены сейчас на Казанскую выставку,[3] кот<орая> закроется не раньше конца января. Кроме того, мои друзья хотят не этой, а будущей зимой устроить мне выставку за 30 лет моей деятельности. Не имея для этой выставки иных работ, кроме посланных в Казань, мне бы не хотелось бы показывать их этой зимой в Москве, а приберечь до своей ретроспективной выставки. Я в этом смысле написал и Кандаурову, и Лобанову. Конечно, такая выставка с тобою была бы очень желательна, и очень интересный мог бы получиться Киммерийский сборник. Не знаю, как быть. Я уже просил моих друзей отложить мою 30-летнюю выставку до зимы 29 года – не соглашаются. Так этот вопрос пока и остается нерешенным. Жду, что они мне ответят на все мои доводы».

Нарочно выписываю тебе дословно его слова. Сам же я думаю, что тут согласия надо спрашивать не у Богаевского, а у Конст<антина> Вас<ильевича> Кандаурова, который всегда устраивает судьбу картин Богаевского и знает об этом больше, чем сам Богаевский. Поэтому лучше повидайся теперь же с Кандауровым и сговорись с ним (а не с Лобановым и не с самим Богаевским). А если это все же не удастся, то давай устраивать мою личную выставку. Кстати: Сидоров – в курсе ли этих планов? Уезжая, он мне повторил свое обещание устроить мою выставку в том виде, как я этого хочу.[4] И я думаю, что многое – в частности издание каталога-сборника, зависит только от него. Думаю, что откладывать выставку на май тоже не

имеет смысла: ее надо устроить между Рождеством и Пасхой — не позже.[5]

У нас все по-прежнему: дивная теплая погода. Сидим уже месяц весь дом без копейки: не высылает Ц.К.У.Б.У. Я на полной диете, а Марусю подкармливает Мар<ия> Алекс<андровна>.[6] А все наши резервы (ванные деньги) Маруся ухнула на ремонт крыши.

Я получил акварель Winzor-Newton и наслаждаюсь теперь полнотою и яркостью тона. Крепко обнимаю. Выясни, пожалуйста, поскорее о выставке.

Целую Наташу.[7]

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 13.11.26; Москва. 15.11.26.

[2] См. примеч. 3 к п. 180, примеч. 1 к п. 183.

[3] См. п. 181, примеч. 1.

[4] А. А. Сидоров уехал из Коктебеля 13 сентября 1926 г. (Труды и дни-2. С. 317).

[5] В недатированном письме, относящемся к середине декабря 1926 г., Габричевский сообщал Волошину: «...все обстоит вполне благополучно, и вопрос о выставке принципиально выяснен, и все, что можно, уже налажено. А именно: весной, скорее всего на Пасхе, Академия может устроить выставку Богаевского (рисунки и эскизы) и Волошина. Кроме того, нам удается напечатать книжку «Киммерия в искусстве» приблизительно листа в 3 <...> хорошо бы уже сейчас подумать о подборе твоих вещей: я лично считаю, что, помимо того, что было в Феодосии, и того, что ты наработаешь за зиму, необходимо будет использовать вещи, которые я видел у Кандаурова, в числе которых есть прекрасные образцы твоих прежних манер <...>» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 161).

[6] М. А. Пазухина.

[7] Н. А. Габричевская.

189. С. И. ЛОБАНОВУ

12 ноября 1926 г. Коктебель[1]

12/XI 1926. Коктебель.

Дорогой Сергей Иванович,

к сожалению, письмо Ваше запоздало и статью мою о Богаевском я уже отправил (3/XI) Корнилову в Казань.[2] Так что адресуйтесь уже к нему. Мне недавно писал Габричевский, что говорил с Вами о предположении устроить киммерийскую выставку в Академии (мне совместно с Богаевским), и что будто бы он убедил Вас.[3] Но Богаевский мне пишет, что едва ли это будет исполнено ввиду его 30-летней выставки в 1927–28 г.[4] Будьте добры, сговоритесь обо всех этих возможностях с Конст<антином> Василь<евичем>[5] и Габричевским (он в курсе всего) совместно и немедля. Прошу об этом для того, чтобы это<й> неопределенностью не сорвать моей личной выставки в Академии. Ведь самая идея Киммерийской выставки возникла из того, что Сидоров (секретарь ГАХН'а) предложил мне устроить выставку моих акварелей в Ак<адемии> Х<удожественных> Н<аук>.

Я надеюсь, что Вы не последний раз в Коктебеле, а приедете ко мне погостить и поработать будущим летом. Самое удобное время для работы – это май–июнь. В июле и августе становится слишком людно и тесно.

Конечно, лучше всего здесь позднею осенью, как теперь, когда в воздухе радужная дымка и по горам бродят туманы. Но этими днями, увы! мне приходится всегда наслаждаться одному и заламывать руки в восторге и в отчаянии, как Хокусаи на последней картине 36 видов Фудзи.[6]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 13.<11.26>; Москва. 15.11.26; 16.XI.26.

[2] См. п. 181, примеч. 1. В письме от 1 ноября 1926 г. С. И. Лобанов (бывший тогда сотрудником московского Музея нового западного искусства), благодаря Волошина «за любезный и милый прием в Коктебеле» в день его именин (где он был вместе с К. Ф Богаев-

ским), высказывал деловую просьбу: «Вы пишете монографическую статью о Конст<антине> Федор<овиче> для каталога его Казанской выставки, над которым работаю я. Некоторое маленькое предисловие собираюсь написать и я. Характер моей заметки будет, конечно, иной, чем Вашей: я хотел писать не о Богаевском как творческой личности, что сделаете Вы, конечно, сильнее, полнозвучнее и красивее, чем я, – но о его технике, о его индивидуальной манере и, может быть, о самых "моментах" работы, поскольку мне удалось наблюдать это в периоды совместных занятий "на натуре". Поэтому я беру на себя смелость просить Вас <.. > переслать Вашу рукопись не в Казанский музей непосредственно, а через меня, т<ак> к<ак> мне будет необходимо руководствоваться в своей работе и размером и содержанием Вашей статьи, тем более, что окончательный отбор самих произведений возложен П. М. Дульским на меня. И мне предстоит обязательно сделать ряд "выборов" тех или иных произведений. И вот здесь я хотел бы руководствоваться Вашим трудом только для того, чтобы оттенить и усилить Ваши положения экспозицией соответствующих рисунков Богаевского» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед хр. 791).

[3] Речь идет о письме, цитированном в примеч. 1 к п. 183. В том же письме Габричевский замечал: «Я виделся здесь с Лобановым, который до моего посещения сговорился было с К Ф. отложить все это дело года на *два* (!), дожидаясь возможности организации выставки в Третьяковке. Однако, когда я ему указал на возможность издания каталога и вообще на готовность Академии, он сразу окрылился и решил уломать К. Ф. и перевезти его вещи из Казани к весне» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов художник, 1992. С. 157).

[4] См. п. 188.

[5] К. В Кандауров

[6] Графическая серия Кацусики Хокусая «36 видов горы Фудзи» (1823–1829).

190. Ю.Л. ОБОЛЕНСКОЙ

25 ноября 1926 г. Коктебель

25. XI. 1926. Коктебель.

Дорогая Юлия Леонидовна,

не сердитесь, что не пишу: во-первых, «450» (действительная цифра 410) еще не разъехались.[1] Когда уехали последние, то уже приехали новые (Платоновы – проф<ессор> невролог с сыном[2]), а потом ведь остальные 408 пишут, и им надо отвечать на письма.

Статью я написал и отправил <в> Казань уже давно.[3] Но с Лобановым всё обошлось: К<онстантин> Ф<еодорович> ему отправил свой список статьи и статью из «Аполлона».[4] Но я не знал, что Лобанов собирает всю библиографию. Пусть он не забудет мою большую статью в «Золотом Руне» в №, посв<ященном> К<онстантину> Ф<еодоровичу>.[5] Статью «Архаизм в русской живописи» («Аполлон» № 1) и 3-4 фельетона в газете «Русь» («Золотой Век»[6] и др.). Я могу ему прислать справку. Странный человек – ведь он мне писал, и этого не сообщил и не спросил! Наконец, статью в Путеводителе по Крыму, изд. Р.О.П.И.К. «Культура Крыма».[7] У меня одного он найдет целую литературу о К<онстантине> Ф<еодоровиче>. И... хвастаться тут нечем, но ведь все российские критики, писавшие о К<онстантине> Ф<еодоровиче>, ведь только перефразировали мои статьи о нем.

Теперь о моей выставке:[8]

А. А. Сидоров сказал мне летом, что он хочет непременно устроить в Академии (в актов<ом> зале) выставку моих акварелей. И время и характер выставки будут всецело зависеть от меня. А средства и помещение вполне в распоряжении Сидорова. Было условлено, что в каталоге будут напечатаны все мои киммерийские стихи и статьи обо мне Сидорова, Шервинского и Габричевского. Уехавши в Москву, Саша Габричевский надумал, что надо устроить не мою выставку, а выставку Киммерийского искусства: мою совместно с К<онстантином> Ф<еодоровичем>. Я прекрасно понимал, понимаю, что никакой совместной выставки не может быть, т<ак> к<ак>

я буду раздавлен К<онстантином> Ф<еодоровичем>, но решил тут же, что, конечно, выставка «Киммерии» важнее и что я вовсе не такая величина, чтобы устраивать отдельную выставку. Поэтому я, оговоривши, что каталог еще разрастется и в нем будет перепечатана моя статья о К<онстантине> Ф<еодоровиче> из «Аполлона», с добавлениями других статей, дал свое согласие. Тогда К<онстантин> Ф<еодорович> отказался, и началась та канитель, в курсе которой Вы находитесь. Le mieux – c'est l'ennemi du bien.* Я боюсь одного: Габ<ричевский> и Шер<винский> сорвут мою выставку и не устроят «Киммерийской». Я даже не знаю, осведомлен ли об этом предположении А. А. Сидоров, от которого всё фактически зависит, и который готовит статью обо мне.

Если в Ваших возможностях склонить весы в ту или иную сторону (безразлично в какую), то сделайте это, ради Бога, а то совместными дружескими усилиями будут провалены обе выставки. И я, и К<онстантин> Ф<еодорович>, мы одинаково идем на обе комбинации, и всё зависит от доброго согласия наших друзей. *Моя* выставка предполагалась на Рождество или в январе.

Привет Екатерине Ивановне и Парису. К<онстантина> В<асильевича>[10] обнимаю.

Максимилиан Волошин.

1 В письме из Москвы от 17 ноября 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 902, л. 41–43 об.) Ю. Л. Оболенская упрекала Волошина: «А не думаете ли Вы, Максимилиан Александрович, что не совсем хорошо с Вашей стороны – так вот никогда и не написать о себе, даже тогда, когда Ваши 450 чел<овек> гостей разъехались (надеюсь?) по домам. Все-таки когда-то были друзьями...».

2 К. И. Платонов и его сын К. К. Платонов приехали в Коктебель 21 ноября, отбыли оттуда в Минеральные Воды 8 декабря 1926 г. (Труды и дни-2. С. 324, 326).

3 Подразумевается статья «К. Ф. Богаевский – художник Киммерии» (см. п. 181, примеч. 1). В письме от 17 ноября Оболенская сообщала, что с этой статьей «до ее отправки в Казань» желательно ознакомиться С. И. Лобанову, готовящему выставку Богаевского в

* Лучшее – враг хорошего (*фр.*).

Казани, чтобы согласовать ее с собственной работой для каталога выставки.

[4] См. примеч. 3 к п. 183

[5] Статья «К. Ф. Богаевский» (Золотое Руно. 1907. № 10. С. 24–30) См.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 177–186.

[6] Статья «Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст)» опубликована в № 1 журнала «Аполлон» за 1909 г. (Отд. I. С 43–53), статья «Золотой век» – в газете «Русь» (1908 № 54, 24 февр.). См.: Т. 5 наст. изд С. 113–123, 86–92.

[7] Статья «Культура, искусство, памятники Крыма» опубликована в кн.: Крым. Путеводитель / Под общ. ред. ...д-ра И. М. Саркизова-Серазини. М.; Л.: Земля и Фабрика, 1925. С. 126–148. См.: Т. 6, кн 2 наст. изд. С. 66–80.

[8] См. примеч. 3 к п. 180, примеч. 1 к п. 184.

[9] См. п. 188.

[10] Е. И. Оболенская, Ф. К. Радецкий, К. В. Кандауров.

191. М.А. ПАЗУХИНОЙ

2–4 декабря 1926 г. Коктебель

2/XII 1926. Коктебель.

Дорогая Мария Александровна,

в субботу после Вашего отъезда приходил к нам на 3 дня Богаевский.[1] Ходил рисовать в горы. Увидал у меня подаренные <*так!*> Вами Winzor-Newton'скую акварель и стал меня просить попросить Василия Александровича,[2] если это возможно, выписать и для него английских аквар<ельных> красок. Он все оплатит и обещает сверх всего еще подарить Вам свою акварель (картину). Список, им составленный, – прилагаю.[3]

Посоветовавшись с ним, я внес некоторые изменения и в свой дополнительный список, который заменяет тот, что я дал Вам при отъезде.[4] В нем я добавил, изменил некоторые краски и прибавил еще рейсфедер для *очень* толстых линий (для паспарту акварельных).

Чтобы покончить с деловыми вопросами: размер (т. е. объем) моей головы 59 сантиметров, и я остановился вполне на типе той шапки, о котором мы говорили: т. е. барашковой

черной с коричневой кожей и опускающейся на уши задней частью.

Платоновы еще у нас, хотя со дня на день собираются уезжать, но сами еще не решили куда – в Евпаторию или в Кисловодск и поэтому никуда не едут.[5] Они вносят нервность и большую бестолковость в наше распределение времени. Со следующей почтой Вам были письма и деньги. Мы отправили Вам вслед и те и другие. Мы сами от Ц.К.У.Б.У деньги получили. Так что все у нас сейчас благополучно.

Марусины внутренние боли как будто дают себя знать меньше, и она даже заговаривает: «Может быть, не ехать в Харьков... Очень собак жалко... И розы мои пропадут».

Но показаться проф<ессору> Бранту – я считаю – необходимо, и мы в Харьков поедем, а если все будет, Бог даст, благополучно – мы оттуда проедем и в Москву.

Ваше письмо с дороги пришло, и нас всех очень умилило тщетное желание Дима спеть оперетку в вагоне.[6] Маруся очень скучает по детям и постоянно вспоминает их.

Погода по-прежнему хорошая. Только сегодня барометр сильно упал. Небо нахмурилось и ночью совсем потеплело.

От Мар<ии> Вадимовны имели письмо, где она пишет о том, что устраивает Кокт<ебельский> концерт.[7] Но о результатах его не знаем еще ничего. Вы-то, вероятно, как раз попадете на концерт.

К получению моего письма Василий Александрович, вероятно, будет уже в Москве. Горячо его приветствую, обнимаю и благодарю его за всю его внимательность и хлопоты по моим акварельным делам. Такие услуги, такие подарки – забыть нельзя. И каждый день во время работы я вас вспоминаю.

Маруся уже заснула, кажется. Спокойной ночи.

Максимилиан Волошин.

4/XII 1926. Сегодня пришла почта. Спасибо за черный хлеб! По просьбе К. Ф. Бог<аевского> вычеркиваю Дамарную смолу из его списка: его известили, что нашли для него в Москве.

Но, б<ыть> м<ожет>, уже ничего нельзя выписывать. Богаевский говорил, что узнал, что с 1 ноября всякие инди-

видуальные посылки из заграницы прекращаются. Так ли это? И что значит «индивидуальные»? Маруся себя чувствует физически лучше последние дни.

М. В.

Целую Алика и Дима.[8]

[1] Суббота – 27 ноября. М. А. Пазухина выехала из Коктебеля в Москву 23 ноября (Труды и дни-2. С. 325).

[2] В. А. Пазухин.

[3] «Дополнительный список» из 10 названий красок (23 тюбика) сохранился в фонде К. Ф. Богаевского в ФКГА (Труды и дни-2. С. 326).

[4] Подразумевается список названий красок и других рабочих материалов для приобретения их в Москве или за границей. Сохранился в подборке писем Волошина к Пазухиной.

[5] См. примеч. 2 к п. 190.

[6] В письме от 24 ноября 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 927, л. 8–10 об.), написанном на пути из Феодосии в Москву, Пазухина сообщала, что ее малолетние сыновья «все время пытаются начать петь на весь вагон»: «Ваша оперетка стала бессмертной, скоро по всей России она станет известной».

[7] М. В. Дорогова. Концерт в пользу Волошина состоялся в Москве 28 ноября 1926 г. 21 ноября Дорогова писала Волошину: «Мы устраиваем 28-го Ваш концерт. На этот раз меня несколько беспокоят его результаты – очень уж мало времени; между своими билеты, конечно, разойдутся быстро, но одними коктебельцами зала не наполнишь, а у нас всего неделя» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 515, л. 21). В письме к Волошину от 12 декабря (Там же, л. 23–24 об.) Дорогова подробно рассказала о концерте, сообщила сумму сбора (384 руб.), состав музыкальной программы и имена выступавших писателей (Л. М. Леонов, С. В. Шервинский, С. Я. Парнок, В. К. Звягинцева, В. А. Луговской).

[8] Сыновья Пазухиных – Александр и Вадим.

192. А. Ф. СЛУДСКОМУ

4 декабря 1926 г. Коктебель

4/XII 1926. Коктебель.

Дорогой Александр Феодорович,

спасибо за письмо и обещание цветов.[1] Маруся черенки роз, принесенные «археологом», высадила в песок, и они *все* принялись.

Дела и люди (у нас гостят Платоновы) всё не позволяют мне навестить Вас. Хотели пойти сегодня с Платоновым-Junior,[2] но барометр так упал с утра, что опасаюсь дождя. Привет Елене Николаевне[3] (и от Мар<ии> Ст<епановны>). Крепко обнимаю. Кажется, этой зимой поедем-таки на север.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 21 ноября 1926 г., отправленном с Карадагской биологической станции, А. Ф. Слудский советовал Волошину перенести посадки растений на раннюю весну (из-за крайне сухой осени) и обещал доставить черенки сирени, дрока, глицинии, роз (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1112, л. 2).

[2] К. К. Платонов. См. примеч. 2 к п. 190.

[3] Е. Н. Слудская, жена А. Ф. Слудского.

193. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

9 декабря 1926 г. Коктебель[1]

Дорогая Анна Петровна, приветствую от всего сердца тебя и Сергея Васильевича.[2] Моя интимная выставка акварелей, которую предполагал устроить этой зимой Сидоров в Акад<емии> Худ<ожественных> наук, теперь превратилась в выставку «Киммерии», совместную с Кон<стантином> Феод<оровичем>.[3]

Я, конечно, сознаю свою художественную несоизмеримость, но меня спасает то, что каталог будет целым Киммерийским Сборником, в котором будут собраны все мои Киммерийские стихи и большая статья о Киммерии и о Богаевском.[4]

Так что мое живописное любопытство будет все-таки опираться и на мою поэзию, и на критику.

Выберемся ли мы из Коктебеля — предвидеть нельзя. Но думаю, что Марусе нужно показаться проф<ессору> Бранту, ее оперировавшему.[5] А мне очень хотелось бы ко времени выставки попасть в Москву и в Петербург.

Посылаю 2 маленьких стихотворения о Коктебеле,[6] написавшихся после стольких лет творческого молчания.

Сейчас заканчиваю большое стихотворение о Коктебеле же — «Дом Поэта»,[7] которое посвящается всем гостям и друзьям Коктебеля.

Очень мало вестей из Петербурга. Как живет Елизавета Сергеевна?[8] Костенко? Смирновы?[9] Верховский? Анаст<асия> Осиповна?[10] Хлопин? Гассовский?

Привет всем.

Макс.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой, ошибочно датированному «9.XI.1926». Почтовый штемпель отправления: 12.12.1926

[2] С. В. Лебедев.

[3] См. п. 183, примеч. 1.

[4] Речь идет о статье Волошина «К Ф. Богаевский – художник Киммерии» (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 81–88). Об упоминаемом сборнике говорится и в письмах А. А. Сидорова Волошину. 20 января 1927 г. Сидоров писал: «...с искренним наслаждением просмотрев Ваши, наконец, прибывшие в Москву акварели, прочитав Вашу статью о Богаевском, перечитав стихи Ваши – (Вы прислали в Москву живой кусок великолепной киммерийской плоти) – я еще более рад приветствовать Ваш приезд. Саша Габричевский написал о Киммерии очень прочувствованную и умную статью. Выставка будет открыта к Вашему приезду сюда: спешите, мы ждем Вас» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1106, л. 6). В открытке от 2 февраля 1927 г. Сидоров сообщал: «О “сборнике”, посвященном Киммерии, Вам не следует беспокоиться, он печатается полностью, и если Вы пробудете в Москве <...> подольше, Вы его получите в достойной нашей любви к Киммерии полноте. – Выставка же остановилась перед трудностью непредвиденной: вещи К. Ф. Богаевского не столь давно были отправлены в Казань. – Мы готовим на ближайшие дни после Вашего приезда доклад о Вашем творчестве как художника и о проблемах киммерийского пейзажа в связи с демонстрацией Ваших акварелей – как

провозвестие к будущей весенней выставке. – Академия ждет от Вас кроме того доклад о Сурикове» (Там же, л. 7).

[5] См. п. 24, 26.

[6] Речь идет о стихотворениях «Каллиера» («По картам здесь и город был, и порт ...», 19 ноября 1926 г.), посвященном С В. Шервинскому, и «Фиалки волн и гиацинты пены...» (20 ноября 1926 г) (См.. Т. 1 наст. изд. С. 175, 176). Машинописные копии этих стихотворений хранятся в фонде А. П. Остроумовой-Лебедевой с припиской: «Стихи М<аксимилиана> Ал<ександровича> Волошина и его рукописной правкой» (РНБ, ф. 1015, ед. хр. 1141).

[7] Речь идет о стихотворении «Дом Поэта» (см.: Т. 2 наст. изд. С. 78–82).

[8] Е. С. Кругликова

[9] А. А Смирнов и О Г. Смирнова

[10] А. О. Якубчик.

194. А. А. КИПЕНУ

10 декабря 1926 г. Коктебель

10/XII 1926. Коктебель.

Дорогой Александр Абрамович,

получил второе Ваше письмецо и акварели[1] – простите, что не ответил на первое: у нас все время были гости и только на днях разъехались окончательно, и у меня есть время и на работу, и на корреспонденцию.

Когда я получил письмо о выставке не от Вас,[2] я подумал, что Вас в г. Одессе нет, что Вы застряли за границей, и потому послал акварелей сравнительно немного – знай я сначала, что Вы по-прежнему являетесь ее устроителем, я бы послал и больше, и лучше. Сейчас готовлюсь к большой выставке в Академии Х<удожественных> Н<аук> в Москве, которая будет посвящена Богаевскому и мне, на тему «Киммерия». Поеду ли зимою на север, сам еще не знаю. Были ли Вы за границей?[3] Я летом все время поджидал Вас напрасно. И буду ждать следующей весною.

В прошлом году Вы мне, возвращая акварели, сделали прекрасный подарок, вернув их застекленными, а в этом году Вы их упаковали в прекрасные куски фанеры, которые мне уже

служат рисовальными досками. Теперь все эти мелочи художественного хозяйства очень ценишь. Только месяц назад я получил в подарок английскую акварель, а то писал все время черт знает чем. Положим, это, м<ожет> б<ыть>, хорошая школа.

Дружески Вас обнимаю и жду.

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду письмо А.А. Кипена от 2 декабря 1926 г., отправленное после закрытия одесской 2-й выставки Общества им. Костанди (см. п. 179, примеч. 1): «С великой благодарностью возвращаем Вам чудесные Ваши акварели. К сожалению, в нынешнем году ничего не удалось продать. Все обезденежены до крайности. Посетители выставки не раз справлялись о ценах и раздумчивые отходили прочь» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 78). Под «первым» письмом Кипена Волошин подразумевает его недатированное письмо с сообщением об открытии в Одессе второй выставки картин (см.: Там же. С. 77–78).

[2] Имеется в виду официальное обращение за подписью В. Ф. Лазурского (см. примеч. 1 к п. 179).

[3] Волошин запамятовал сообщение в «первом» письме Кипена: «Из Парижа я приехал еще в апреле. Возможно, что меня пошлют туда и в нынешнем году» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп. С. 77).

195. К.А. ЗЕЛЕНИНОЙ

10 декабря 1926 г. Коктебель[1]

10/XII 1926. Коктебель.

Многоуважаемая Клавдия Алексеевна,

мои статьи о «Бубновом Валете» и о его участниках Вы найдете в худож<ественной> хронике «Аполлона» за 1912–13 гг. и в «Русской Мысли» за 13 г. (обзор живописи за зимний сезон).[2] Ответить же Вам в письме моими воспоминаниями о Б<убновом> В<алете>, увы, не имею возможности.[3] Простите: ведь только когда уезжают *все* мои гости, я имею возможность приняться за *свою* литературную работу (стихи) + еще огромная

корреспонденция. А мой дом опустел окончательно лишь несколько дней <назад>. Я сейчас бесконечно далек от мыслей и воспоминаний о Буб<новом> Валете. И кроме то<го> с 13 года не видал ни одной картины его участников. Ведь после моей лекции о Репине, о которой Вы упоминаете,[4] – передо мной закрылись двери *всех* русских редакций и, следовательно, кончилась моя деятельность худож<ественного> критика, и я больше в Москву не возвращался. Когда я был в 1924 г., то меня так захватили и расхватали люди, что не *успел* побывать ни на единой выставке, ни в одном музее. А хотелось бы пересмотреть коллекцию Сергея Ивановича[5] (которую Вы очевидно охраняете), – ведь я с каждой из его картин был знаком еще в Париже – до покупки.

До свиданья. Простите, что могу ответить на Ваши вопросы только таким общим библиографическим указанием.[6] Да, – в те годы я еще писал иногда в газете «Утро России», но не помнится, чтобы я писал там о Бубн<овом> Валете.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 12.12.26; Москва. 15.XII.26. Отправлено по адресу Щукинского музея (Б. Знаменский пер., 8).

[2] Об объединении московских художников «Бубновый Валет» (1910–1916) Волошин писал в обзорной статье «Художественные итоги зимы 1910–1911 гг. (Москва)» (Русская Мысль. 1911. № 5–6; часть статьи включена в макет 2-й книги «Ликов творчества» под заглавием «Современные портретисты») и в хроникальной заметке «Выставки» в приложении к журналу «Аполлон» «Русская Художественная Летопись» (1911. № 1). См.: Наст. изд. Т. 5. С. 124–132; Т. 6, кн. 1. С. 383–398, 343–347.

[3] 1 декабря 1926 г. К. А. Зеленина (сотрудница Музея нового западного искусства) писала Волошину: «Работая в настоящее время над историей “Бубнового Валета”, по поручению Г.А.Х.Н., я нашла в предисловии к Вашей книге “О Репине” следующее замечание: “Я... многократно, в качестве художественного критика, являлся его (Б<убнового> В<алета>) толкователем”. Я была бы очень обязана Вам, если бы Вы указали – где и когда Вы помещали Ваши критические статьи и были ли они специальными о “Б<убновом> В<алете>”, или являлись частью Ваших трудов, посвященных другим вопросам. Это мне необходимо для составления библиографического указателя по

“Б<убновому> В<алету>” <...> мне было бы очень приятно получить от Вас мнения Ваши об этом художественном объединении при его возникновении, а также его роли в истории русской живописи последних десятилетий, участниках, среде, в которой оно возникло (т. е литературном окружении), и что его породило. Для меня это был бы драгоценный документ, позволяющий многое представить в подлинном свете, т<ак> к<ак> Вы были непосредственным участником и свидетелем впечатления от этого разрушительного и очистительного вихря» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 563).

[4] Имеется в виду доклад Волошина «О художественной ценности пострадавшей картины Репина», с которым он выступил 12 февраля 1913 г. в большой аудитории Политехнического музея в Москве на диспуте, устроенном «Бубновым Валетом». См.: Т 3 наст. изд. С. 541–549.

[5] С. И. Щукин. Его собрание новейшей западноевропейской живописи легло в основу московского Музея нового западного искусства, организованного в 1923 г.

[6] В письме от 12 января 1927 г. Зеленина, благодаря Волошина «за любезный ответ» и высоко оценивая его книгу «О Репине» («Вы выступали в тот год как настоящий рыцарь»), добавляла: «В настоящее время я занялась Ю. Л. Оболенской, быть может удастся что-нибудь о ней напечатать. Я часто посещаю ее, мы рассматриваем ее работы, беседуем, она вспоминает годы, проведенные у Вас. Ее рассказы всегда живы и образны, и Вы в них всегда встаете могучей фигурой» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 563).

196. Е. А. БАЛЬМОНТ

14 декабря 1926 г. Коктебель.[1]

14/XII 1926. Коктебель.

Дорогая Екатерина Алексеевна,

слух о смерти Александры Алексеевны до меня дошел еще за несколько дней до Вашего письма из открытки Аси Цветаевой.[2] Но т<ак> к<ак> Ася не близкий Вам человек, то я не решался вполне поверить этой вести и написать Вам.

Я привык уважать и любить Алекс<андру> Ал<е>кс<еевну> по рассказам Амори[3] прежде всего. Но Вы — правы: у нас были и самостоятельные отношения — помимо Амори, по-

мимо Вас, – в них не было ничего интимного, но было уважение и дружественность – мне казалось, с обеих сторон. Я очень ценил, что Ал<ександра> Ал<ексеевна> после нашей свадьбы[4] старалась установить родственные отношения с моею матерью, но Пра очень дичилась людей (всюду вне Коктебеля), и мне было жаль, что она не пошла навстречу Ал<ександре> Ал<ексеевне>.

Смерть Ал<ександры> Ал<ексеевны> вызвала во мне то двойственное чувство, которое вызывает в эти годы уход старых людей из нашей тесной, грубой и неуютной жизни: большую грусть и в то же время облегчение за них. Ужасно одичал и утратил порядочность средний человек за это десятилетие. Когда представляешь себе все мелкое бытовое кишение русской жизни, от которого при теперешней тесноте никуда не уйдешь, то особенно жалко становится старых людей – носителей русской культурной порядочности. Спокойствие, бодрость, просветленность Александры Алексеевны в эти годы – это героизм. И его я очень чувствовал в 1924 г., когда видел ее в последний раз.[5] Как жаль, что А. А., собираясь в Крым, прямо не приехала ко мне. Осенью, когда народу у нас не так много – ей было бы очень хорошо. И самое целительное, думаю, у нас – это полное отрешение от обычной городской *бытовой* обстановки. Поэтому мне так хочется, чтобы Вы – Екатерина Алексеевна, – приехали к нам на весну или на осень, когда не жарко и не тесно.

Хочу Вам все-таки рассказать о M-me Селивановской.[6] Она человек добрый и деликатный, но нелепый и «ридикюльный» до последней степени.

Когда она приехала – мы ей отвели комнату, – она нам сказала, что ни с кем, кроме нас, она знакомиться не хочет. Это уже было большим усложнением, потому что все 400 чел<овек>, которые проходят за лето через наш дом (и наши сердца), становятся (за очень редкими исключениями) одной близкой семьей. Иметь в этой семье отщепенцев, и как раз в самое людное время, очень сложно – прежде всего в смысле времени. Когда недели через 1½ в комнату, соседнюю с нею, должна была приехать наша приятельница – с нянькой и 2 детьми – деликатнейшая, бесконечно внимательная, я за-

ранее предложил M-me Селивановской выбрать другую комнату, предвидя неудобство с детьми. Мы обошли весь дом. Тогда еще был выбор комнат, и я предупреждал, что очень скоро все будет переполнено. Но она просила ее оставить в прежней комнате («Дети – это Божьи цветы...»). На другой же день по приезде дамы с детьми произошел конфликт. Прибежали за Марусей, т<ак> к<ак> у Селивановской с утра истерика. Маруся сперва поняла, что нянька при ней на террасе зарезала курицу (на другой день выяснилось, что и курицу-то никто не резал, а просто баба пришла продавать кур, связанных за ноги, и M-me Сел<ивановская> не смогла это перенести, т<ак> к<ак> кур *будут* резать). Мы, несмотря на то, что дом уже переполнен, все-таки устроили для нее другую комнату (пришлось для этого перетревожить и переселить *10 человек*). Тогда она пожелала сперва остаться в первой комнате (что стало *уже* невозможно, т<ак> к<ак> нельзя было опять переселять 10 человек обратно), а потом совсем покинула наш дом. Она жила еще месяца 2 в Коктебеле, и т<ак> к<ак> она прекратила, живя в сущности рядом, всякое сношение с нами, думаю, что она была очень обижена на нас. Это очень прискорбно, т<ак> к<ак> она несомненно человек добрый, хотя и неумный, судя по ее философским беседам (она других не вела). Мне очень, очень жаль, что так случилось, и я немного сетовал на то, что Вы не предупредили меня об ее особенностях. Приезжай она весною или осенью, все бы прошло очень хорошо. М<ожет> б<ыть>, она и благоразумно сделала, выселившись: наша публика – озорная: ее бы засмеяли и задразнили бы, пожалуй.

Мне очень хочется знать подробнее об Аморе. Я не писал ей потому, что, благодаря окраинным условиям жизни, предпочитаю не иметь *никаких* письменных сообщений с заграницей. Кроме того, я *ничего* не сделал для развода. Т<ак> к<ак> у меня нет ни одного документа о том, что мы женаты, и я только по приезде в Москву смогу добыть нужные документы.[7] Мой приезд этой зимой не невозможен. Марусе необходимо показаться снова профессору, ее оперировавшему. А раз мы выберемся в Харьков, то будем и в Москве. Весь вопрос в том, что нам не на кого оставить дом.

К Пасхе москов<ская> Академия Х<удожественных> Н<аук> устраивает выставку «Киммерия» (Богаевский и я), и мне очень хотелось бы быть при этом.[8] Маруся шлет привет Вам и всему Вашему «гнезду». Она сейчас очень измучена своими пациентами и обеспокоена упорными внутренними болями в оперированных областях. Крепко обнимаю всех вас — добрых, старых и милых друзей, и надеюсь, что мы все встретимся не только в Москве, но и в Коктебеле.

Макс.

Мне бы очень хотелось знать об Марг<арите> Алексеевне.[9]

[1] Почтовые штемпели на конверте: Коктебель. 16.12.26; Москва. 20.12.26.

[2] А. А. Андреева, сестра Е. А. Бальмонт, умерла в Москве 19 ноября 1926 г. Волошину написала об этом А. И. Цветаева 27 ноября: «*Умерла <...> Ал. Ал. Андреева.* Я ее оч<ень> любила. Это большое горе» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1254, л. 27). Е. А. Бальмонт сообщила Волошину о смерти сестры в письме от 5 декабря (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 229, л. 36—37 об.): «Совсем неожиданно от паралича сердца. Она была бодра, весела, исполнена планов на новую работу о Достоевском <...> Я не знаю, насколько Вы знали ее, но помню, что общались помимо нас всех, не правда ли? Она Вас очень ценила и любила и интересовалась Вами».

[3] Домашнее имя М. В. Сабашниковой.

[4] Бракосочетание Волошина и М. В. Сабашниковой состоялось в Москве 12 апреля 1906 г.

[5] Согласно подневным заметкам Волошина в записной книжке (№ 51), он посещал московскую квартиру Е. А. Бальмонт в Николо-Песковском переулке 19 марта, 26 марта и 14 мая 1924 г. (Труды и дни-2. С. 215, 216, 224).

[6] Е. А. Бальмонт рекомендовала Надежду Васильевну Селивановскую (1880—1939) в письме к Волошину от 4 мая 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 229, л. 35). Селивановская приехала в Коктебель 5 июня 1926 г. (Труды и дни-2. С. 304). 5 декабря 1926 г. Е. А. Бальмонт писала Волошину: «Варвара Дмитр<иевна> <Финкельштейн. — *Ред.*> сказала мне, что Вы смущались пребыванием у Вас M-me Селивановской и боялись, что я могу подумать, что Вы недостаточно были к ней внимательны и пр. Милый Макс, я просто недостаточно знала ее, когда рекомендовала Вам, я очень люблю и дружна с ее мужем, а

ее мало знала, и очень поверю, что она капризна. Конечно, если были трения, то она виновата, а не вы с Марусей. Уж Вас-то я хорошо знаю».

[7] Заявление о расторжении брака с М. В. Сабашниковой (место жительства которой «неизвестно») Волошин подал в Москве 17 февраля 1927 г. в ЗАГС Хамовнического района. Там же 9 марта 1927 г. ему было выдано свидетельство о вступлении в брак с М. С. Заболоцкой (Труды и дни-2. С. 334–337).

[8] См. примеч. 5 к п. 188. 4 декабря 1926 г. С. И. Лобанов писал Волошину: «Выставку предполагают открыть на Пасхе, т<ак> к<ак> раньше этого почти невозможно напечатать “Сборник”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 791). Замысел издания сборника «Киммерия в искусстве» (о его предполагаемом содержании А. Г. Габричевский подробно написал Волошину в середине декабря 1926 г., см.: Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 161–162) не был осуществлен, равно как не реализовалась идея совместной выставки в ГАХН работ Волошина и К. Ф. Богаевского. Персональная выставка акварелей Волошина открылась в ГАХН вечером 26 февраля 1927 г.: на 37 панно экспонировались 183 акварели, 5 темпер и 11 рисунков пером; доклады о живописи Волошина прочли А. Г. Габричевский, С. Н. Дурылин и А. А. Сидоров. Еще до торжественного открытия, 15 февраля, был отпечатан каталог «Выставка акварелей М. А. Волошина» (М.: ГАХН, 1927, тираж 250 экз.) со вступительной статьей А. А. Сидорова (С. 5–11), портретом Волошина работы А. Г. Габричевского, двумя виньетками Волошина и его стихотворением «Коктебель» (Труды и дни-2. С. 335, 334).

[9] М. А. Сабашникова.

197. С. И. ЛОБАНОВУ

14 декабря 1926 г. Коктебель[1]

14/XII 1926. Коктебель.

Дорогой Сергей Иванович,

Большое спасибо за Ваше письмо с известием о том, что киммерийская выставка решена в положительную сторону.[2] А особенно благодарю Вас за доброе мнение о старых моих работах.[3] У меня совсем нет работ тех годов, и я их даже представить не могу и боюсь, что они не удовлетворят меня. Киммерийские стихи свои я уже приготовил. Заканчиваю только

большое новое стихотворение «ДОМ ПОЭТА». Которое хочу дать как вступительное.[4] Подготовил тоже для каталога новую редакцию статьи (аполлоновской) о Богаевском и о Киммерии.[5] Остается только переписать на машинке. Это будет все-таки совсем иной подход, чем в казанской статье. По-видимому, здоровье Мар<ьи> Степановны заставит нас выехать в январе в Харьков, чтобы посоветоваться с проф<ессором> Брантом, ее оперировавшим 1½ года назад. Если все будет благополучно, проедем оттуда в Москву. Акварели вышлю Сидорову, как только покончу с литературным матерьялом.[6] Как я рад, что о К<онстантине> Ф<еодоровиче> сделана та библиографическая работа, что Вы взяли на себя. В киммерийской выставке меня больше всего радует возможность каталога — сборника статей о Киммерии, и то, что там будут собраны все мои киммерийские стихи, разбросанные по разным книжкам. Их будет около 50. Правда, небольших в общем. К<онстантин> Ф<еодорович> провел у меня дня 3 в Коктебеле:[7] были дивные серо-жемчужные дни. Один мы весь проходили в горах, другой он проработал (карандашом с натуры). Вообще у нас зима никак не может начаться. Недавно похолодало было. А сегодня снова повернуло на лето.

Всего, всего лучшего. Жду Вас весною в Коктебель — работать.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 16.12.26; Москва. 20.12.26.

[2] 4 декабря 1926 г. С. И. Лобанов писал Волошину: «...нами окончательно решен вопрос об участии на Вашей выставке в ГАХН — Богаевского. <...> Сомнение наше заключалось только в одном: сможем ли мы найти *здесь* материал, не прибегая к помощи новых произведений Конст<антина> Федоровича. Пересмотрев их, все мы убедились, что имеющегося материала хватит еще на три выставки» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 791).

[3] В том же письме Лобанов признавался: «...я был поражен тем новым, что мне открылось в Ваших старых произведениях. Я хотел бы здесь выразить Вам свое восхищение. С большим, глубоким и проникновенным чувством сделаны Ваши темперы. Поэтому мне кажется, что и Вы и К. Ф. не будете нисколько мешать друг другу и ни тот, ни другой — не будет подавлять один другого».

[4] Согласно замыслу неосуществленного сборника «Киммерия в искусстве», который А. Г. Габричевский изложил Волошину в письме от середины декабря 1926 г., в издании предполагался стихотворный раздел: «...на стихи <...> остается 1½ листа. Я себе не совсем ясно представляю, сколько места могут занять твои коктебельские стихи, и какие именно ты хочешь напечатать? <...> Сообщи мне твои пожелания в этой области и пришли мне стихи при первой возможности. Мне казалось, что присутствие других поэтов должно и тебе показаться желательным с точки зрения более полного выражения идеи Киммерии» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 162).

[5] «Аполлоновская» статья – «Константин Богаевский» (см. примеч. 3 к п. 183). В цитированном выше письме Габричевский предлагал Волошину представить в запланированный «киммерийский» сборник новый вариант своей работы о Богаевском либо забрать для этого издания статью, посланную в Казань (см. п. 181, примеч. 1): «...отказываешься ли ты наотрез писать третью статью или все-таки считаешь это для себя приемлемым» (Там же). Новая редакция статьи – «Киммерия (Ее судьба, дух и преображение в творчестве К. Ф. Богаевского)» (машинопись: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 366, 12 л. с об.) – представляет собой контаминацию текста «аполлоновской» статьи с незначительными вариантами, фрагментов статьи «Культура, искусство, памятники Крыма» (см. примеч. 7 к п. 190) и заключительных фрагментов статьи «К. Ф. Богаевский – художник Киммерии»; фрагмент, имеющий самостоятельный характер: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 793–794.

[6] Волошин отправил в Москву на имя А. А. Сидорова 173 акварели для выставки, разбив их на 30 циклов, 9 января 1927 г. (Труды и дни-2. С. 331).

[7] К. Ф. Богаевский гостил у Волошина с 27 по 29 ноября 1926 г.

198. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

19 декабря 1926 г. Коктебель[1]

19/XII 1926. Коктебель.

Мои милые Саша–Наташа!

что случилось? Отчего от вас и ни от кого из москвичей нет уже месяца 1½ ни строчки, ни ответов на письма?

Из давнего письма М<арии> Вад<имовны> знаем, что должен был быть концерт 28 ноября.[2] Но был ли, что было, кто был – не знаем. Все дружно молчат. И только Тоня Андерс, сообщая о здоровье Виктора, написала: «Вы верно уже все знаете о концерте?».[3] Да ничего не знаем....

Не случилось ли с ним каких неприятностей? Как здоровье Любочки?[4] Ее операция?

Хоть бы кто-нибудь написал. Получили ли вы – наши ноябрьские письма?

У нас еще нет ни зимы, ни холодов. Южные ветра. Юлахлы растет и от жадности слопал 4 деревянных ложки. Маруся в отчаянье. Я пишу стихи, готовлю статьи и акварели к выставке. Лобанов оповещал, что Саша пишет большое письмо. Осведомлен, что Наташа в студии Завацкого.[5] Откликнитесь. Напишите о концерте. На Рождество приезжает ДАДА и ждем Анчутку.[6]

MAX.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 19.12.26; Москва. 23.XII.26.

[2] М. В. Дорогова. См. примеч. 7 к п. 191.

[3] А. К. Щукина и В. П. Андерс. 10 декабря 1926 г. Щукина писала Волошиным об Андерсе, находившемся с 12 ноября в психиатрической больнице: «Теперь здоровье Виктора улучшается; он ест, спит, гуляет и чувствует себя бодрее <...>». В том же письме Щукина сообщала: «Ваш вечер прошел очень недурно. Вы наверно уж знаете все подробности, но на всякий случай напишу. Луговской, София Парнок и В. К. Звягинцева читали свои стихи, Кубицкая, Садовников и Орлик пели романсы, последний пел романсы Гнесина, который тоже был там. Леонов читал отрывки из своего романа (писатель изучает воровскую среду). Файнберг играл на рояле. Было много коктебельцев этого лета, наверно и те, которые были раньше, но было много и посторонней публики» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1328, л. 6, 7).

[4] Л. А. Назаревская.

[5] Письма, содержащего эти сведения, в подборке писем С. И. Лобанова к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 791) не имеется.

[6] Коктебельские прозвища Л. В. Тимофеевой и А. А. Кораго.

199. Т. В. ШМЕЛЕВОЙ

24 декабря 1926 г. Коктебель[1]

24/XII 1926. Коктебель.

Милая Тамара, почему ты не пишешь? почему не заехала в Коктебель по дороге на север?[2] Ничего о тебе не знаю, кроме бесконечных слухов матримониального характера, коим не верю, т<ак> к<ак> вообще таким слухам не верю и не люблю их. Напиши, пожалуйста, о себе, о своем здоровье, о своих планах. Маруся тебя спрашивает о судьбе своего белья, которое она тебе дала (вышивать? шить? рубить? – не помню, а она спит). Долго ли еще пробудешь в Харькове? Возможно, что мы в ½ января приедем: Марусе надо показаться опять Бранту, а потом поедем в Москву, если с ее здоровьем все окажется благополучно. В этом году наш сезон затянулся до декабря, и мы только недавно остались одни. Сейчас Nuit de Réveillon* и выпал первый снег. А утром мы еще сажали тополя и акации. Поздравляем тебя с праздниками и крепко целуем.

Привет всем друзьям.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 26. 12. 26; Харьков. 29. 12. 26. Отправлена по адресу А. Л. Домрачевой.

[2] Т. Шмелева выехала из Ялты через Харьков в Москву для продолжения учебы.

200. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

26 декабря 1926 г. Коктебель

26/XII 1926.

Милый Саша,

наконец-то пришло твое письмо.[1] Месяца 1½ не было писем от москвичей, и стало совсем тревожно. Ну, конечно, я на тебя ни за что не сержусь[2] и напротив, зная твою антипатию к

* Ночь под Рождество (*фр.*).

письмописанию, бываю весьма тронут, получая от тебя изредка длинные и подробные письма и зная, что ты заботишься об моих делах... Но... Le mieux est l'ennemi du bien* – вот чего я боюсь и что, кажется, оправдывается. Я думаю, что, разумеется, будь я в Москве, все бы разрешилось в два слова, а тут на то же уходит 3 месяца. Я написал Ю. Оболенской тревожное письмо,[3] потому что эта канитель с участием или неучастием Богаевского меня начала раздражать. Как только я узнал, что вопрос об участии Богаевского разрешен в положительном смысле, я сейчас же принялся за переработку статьи из «Аполлона».[4] Она сейчас уже готова и переписана (мне надо только проверить экземпляр).

Статья для казанской выставки написана именно для Казани, а не для Москвы. Поэтому очень прошу ничего туда не писать. (Кто это Дульский? Я имел дело с Корниловым), и я разрешить ее печатать в Москве не могу.[5] Я писал в ней только о Богаевском и почти ничего о Киммерии, а в статье для Москвы я именно выдвинул Киммерию. И имя статьи «Киммерия и Богаевский».

Написать сейчас (за 4 дня!) новой статьи о Богаевском я, конечно, не могу. (До 1-го янв<аря> ты пишешь?[6]). Вообще для меня тема «Киммерия» и тема «Богаевский» – темы, сопровождающие меня уже в течение 25 лет. Тут невозможно написать новое – это работа конденсации. И самая статья в «Аполлоне» в свою очередь конденсация очень многих моих статей, писанных в свое время в газетах, в «Зол<отом> Руне» и т. д. Это ей и дает вескость. Сейчас я ее еще обобщил, обработал и выделил элемент «Киммерии» на основании того, что написал и в казанской статье, и в статье о «Культуре Крыма».[7] Кроме того, эти «оттиски» из «Аполлона» – чистая контрафакция со стороны С. Маковского[8] – я ему никогда не давал на это право, и он воспользовался моим отсутствием из России. Так что я полагаю, что Академии совсем нечего считаться с этим, особенно если я даю статью переработанную. Но в статье 100 тыс. букв, т.е. 2½ листа, да киммерийских стихов тоже лист. Итого 3½ листа моего материала.

* Лучшее – враг хорошего (*фр.*).

Но вспомни, что перепечатанье всех моих «киммерийских» стихов я поставил условием моей индивидуальной выставки, а статьи <о> Богаевском – условием нашей совместной выставки. Придется дать Киммерийский сборник величиной в 4½ листа, никак иначе не обойдешься...[9] Конечно, и твои, и А. А. статьи *необходимы*. Очень желательна статья Сережи Шер<винского>, но не *стихи*.[10]

Пойми меня верно и точно, чтобы не возникло обиды. Я очень люблю и ценю киммерийские стихи Шер<винского>, это прекрасные стихи, написанные *на тему* «Киммерии», но это не цветы, выросшие из ее почвы. Это не poésie de la Terroire.* И Богаевский, и я – мы органически связаны с этой землей. Б<ыть> м<ожет>, мои стихи и хуже Сережиных – но они *местная* флора. Они не комментарии к выставке, а часть выставки.

Мне бы очень мечтался сборник почвенных стихов о Киммерии, и я бы взялся составить прекрасный полевой букет из стихов некоторых местных поэтов. Но об этом сейчас не может быть речи. Я допускаю только возможность стихотворения Ш<ервинского>, посв<ященного> лично Богаевскому. О стихах же Сер<гея> Соловьева: (ради Бога, между нами) – он мне их посвятил и прислал – это очень милое шуточное стихотворение с приятной риторикой – но ведь в нем совсем нет Киммерии и никакой *почвенности*.[11]

А я в своей статье все время подчеркиваю *почвенность* киммерийской школы в отличие от туристского искусства Тавриды, начавшего<ся> с «Волшебный край, очей отрада!..».[12] Я бы и Пушкина в Киммерийский сборник не принял. (Хотя «Погасло дневное светило...» написано у коктебельских берегов[13]). Надо различать, что «о Киммерии», что «киммерийское искусство».

Киммерийский сборник моя давнишняя и любимая мечта. Соединить выставку эскизов Богаевского с моими киммерийскими стихами и с моим прозаическим комментарием – т.е. с конденсацией того, что я об нем когда-нибудь писал, мне это слишком ценно. И я очень прошу тебя и А. А.[14] и Се-

* Почвенная поэзия (*фр.*).

р<ежу> Ш<ервинского> найти возможность прибавить к сборнику лишних 1½ листа, снабдить его своими критическими статьями и рекомендациями, и освещением.

Сейчас я опять пересмотрел всю свою статью «Киммерия и Богаевский» с мыслью, нельзя ли пропустить какую-нибудь часть, и не вижу никакой возможности. Ведь я и на совместную выставку согласился только ради осуществления такого литер<атурно>-худож<ественного> памятника, которым мы так тесно связаны с Богаевским.

Относительно же выбора моих акварелей и темпер вполне доверяю тебе и моим московским друзьям (т. е. тебе, Сер<еже> Шерв<инскому>, Алек<сею> Алекс<еевичу>, Кандаурову и Оболенской, Лобанову) и прошу тебя, кроме материала кандауровского, еще собрать среди других коктебельцев: у тебя и у *Шерв<инского>* ведь есть хорошие мои вещи. Я же пришлю (немного позже литер<атурного> материала) подбор текущих акварелей. Но с выбором феод<осийской> выставки не буду считаться – его делал Барсамов, и я многого бы не выставил.[15] Вам же (жюри моск<овских> друзей) предоставляю право еще выбрать из моего выбора.

Относительно же Киммерийского сборника я очень прошу тебя сделать так, как я пишу, и никого не обидеть из моих друзей. Я бы очень не хотел фруассировать[16] Сережу, киммерийские стихи которого *прекрасно* сделаны. Вот если когда-нибудь будет возможность издать «Коктебельский сборник» – то там они, конечно, будут необходимейшим его украшением. Я на днях закончил большое стихотв<орение> о Коктебеле (160 стих<ов>), посвящаемое всем друзьям моим и Коктебеля.[17] Я им доволен. Но в киммерийские стихи все-таки его не включаю. Не посылаю его, потому что хочу оставить себе удовольствие лично прочесть его по приезде в Москву всем Вам – моим милым друзьям. А в Москве я надеюсь быть к концу февраля. Крепко обнимаю Наташу[18] и кончаю письмо, т<ак> к<ак> хочу, чтобы оно ушло сегодня же. Привет А. А. и Шервочкам.[19]

МАКС.

[1] Недатированное письмо А. Г. Габричевского, относящееся к середине декабря и в публикации неточно датированное началом декабря 1926 г. (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 161–163). См. примеч. 5 к п. 188, примеч. 3 к п. 197.

[2] «Ты, наверное, рвешь и мечешь или, что еще хуже, махнул на нас рукой», – замечал Габричевский в начальных строках своего письма (Там же. С. 161)

[3] См. п. 190.

[4] См. примеч. 3 к п. 183.

[5] См. п. 181, примеч. 1, примеч. 4 к п. 197. Говоря в своем письме о предполагаемом содержании сборника «Киммерия в искусстве», Габричевский предлагал: «Безусловно, неудобно перепечатывать статью из "Аполлона". <...> С другой стороны, столь же неудобно перепечатывать статью из Казанского каталога. Остается две возможности: либо ты пишешь третью статью в 1/2 листа <...>, либо мы перебиваем Казанскую статью и просим Дульского нам ее уступить» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 161. Исправлено по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 382, л. 7 об. Художник и искусствовед П. М. Дульский с 1918 г. заведовал художественным отделом Казанского губернского музея).

[6] «Желательно, чтобы материал был налицо в ближайшее время, т. е. не позднее 1 января, иначе книга может не поспеть к выставке», – отмечал Габричевский в том же письме (Там же).

[7] Речь идет о статье «Киммерия и ее отражение в творчестве К. Ф. Богаевского» (см. примеч. 4 к п. 197).

[8] Относительно статьи «Константин Богаевский» Габричевский в том же письме замечал: «...статью из "Аполлона" очень многие помнят, и кроме того, она в виде оттиска всюду продается на улице» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 161). В перечне статей из «Аполлона», отпечатанных отдельными оттисками, статья «Константин Богаевский» не значится (см.: *Дмитриев П. В.* «Аполлон» (1909–1918). Материалы из редакционного портфеля. СПб., 2009. С. 99–100).

[9] «Больше чем на 3 листа едва ли приходится рассчитывать», – сообщал Габричевский о задуманном сборнике в том же письме (Там же).

[10] А. А. Сидоров. В стихотворный раздел того же сборника Габричевский предлагал включить стихи Волошина, С. В. Шервинского и «м<ожет> б<ыть>, <С. М.> Соловьева, который написал прекрасную поэму о Коктебеле» (Там же. С. 162).

[11] См. поэму С. М. Соловьева «На берегах Эвксина (Послание М. Волошину)» (17 ноября 1926 г. // *Соловьев Сергей.* Стихотворения 1917–1928 г. М., 1999. С. 75–82).

[12] Строка из заключительного фрагмента поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1823).

[13] Элегию «Погасло дневное светило...» Пушкин сочинил 18 августа 1820 г. во время морского переезда из Феодосии в Гурзуф (Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799–1826 / Сост. М. А. Цявловский. Изд. 2-е, испр. и доп. Л.: Наука, 1991. С. 223–224). Волошин откликнулся на это дистихом «Коктебельские берега» («Эти пределы священны уж тем, что однажды под вечер...», 25 декабря 1926 г.). См.: Т. 2 наст. изд. С. 77.

[14] Алексей Алексеевич Сидоров.

[15] 3-я выставка картин в Феодосийской галерее открылась 10 июля 1927 г. Составленный Н. С. Барсамовым каталог «Третья выставка картин» (Феодосия, 1927) включает 12 акварелей и одну сепию Волошина (С. 8).

[16] От *фр.* froissement – задевать, оскорблять.

[17] Стихотворение «Дом Поэта» («Дверь отперта. Переступи порог...», 25 декабря 1926 г.). См.: Т. 2 наст. изд. С. 78–82.

[18] Н. А. Габричевская.

[19] С. В. Шервинский и М. С. Шервинская.

201. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

27 декабря 1926 г. Коктебель

27/XII 1926.

Милый Саша,

Сегодня я получил твою открытку и задержал отправку своего письма.[1] Провел весь день в корректуре статьи и стихов, и все оказалось гораздо лучше, чем вчера ночью. Во-первых, моя статья («Киммерия – ее судьба, дух и преображение в творчестве К. Ф. Богаевского»[2]) оказалась короче. Я вчера, считая, очевидно ошибся. В ней 60 тыс. букв, т. е. ровно 1½ листа, а киммерийских стихотворений – 41, что равняется 550 стр<окам>, т. е. тоже 1 лист (считая по 34 строки на странице), так что моего материалу всего 2½ листа, следовательно, преизбыток не так уже велик и к Сборнику не так уже трудно будет добавить лишних ½ листа или лист. Корректура сделана. Я еще раз убедился, что сконденсировать больше ничего нельзя. Прочти сам – убедишься.

Стихотворение С. Шер<винского> к Богаевскому и о какой-либо его картине или об Киммерии, преображенной в его искусстве, конечно, будет *очень* хорошо.[3] Только не надо ни в коем случае мешать *киммерийских* стихов с коктебельскими. А было бы очень и очень хорошо в ближайшие годы найти возможность издать «Коктебельский сборник» из наших стихотворных архивов: дай эту идею Сереже.

О внешности книги:[4] конечно, было бы хорошо дать обложку без рисунка – шрифтом. Но есть ли сейчас среди московских графиков мастера шрифтов. Ведь все русские «надписи» на книгах ужасны. Я лично очень хотел бы видеть обложку со строгим, ничем не украшенным, латинским шрифтом XVI века, стиля Нансеновских шрифтов (т. е. парижских первопечатников). Но ведь это в руках московских художников будет одним прискорбием.

Штриховые рисунки у меня есть, и я пришлю тебе на выбор. А Богаевскому написал ли ты? Ведь письма к нему доходят раньше из Москвы, чем из Коктебеля. Я думаю, что он не откажется сделать штриховой рисунок для обложки. Посмотри в том же № «Аполлона» его фронтиспис[5] (который С. Мак<овский> по-идиотски поместил не фронтисписом, а в числе воспроизведений его картин).

Я страшно рад, что вопрос с Казанью разрешился так просто, и весьма благодарен Лобанову за его тактичность[6] – конечно, нельзя было это делать, не спросивши меня, как сам видишь. Я бы казанской статьи для Москвы не дал, а там могли бы уже издать каталог, и получилось бы черт знает что. Статья, которая очень понравилась Богаевскому, пропала бы даром.

Большое тебе спасибо за «Сурикова».[7] Я до слез тронут твоей энергией и настойчивостью в этом деле и, главное, твоим личным почином. Я никаких материальных благ не жду от издания. Лишь бы было издано и не слишком скверно. А есть ли какое-нибудь движение в смысле премии КУБУ?[8]

Очень грустно, что у тебя нет времени заниматься живописью.[9] Какие дела завалили тебя? Выставишь ли мой портрет,[10] как хотел? Он *очень* понравился Богаевскому по

фотографии, и он прибавил: «А какая, верно, фактура интересная». Страшно рад, что Любочка здорова.[11]

У Маруси все время не прекращаются глубокие и тянущие боли в оперированных областях. М<ожет> б<ыть>, это так и полагается, а м<ожет> б<ыть>, это и что-нибудь серьезное. Надо показаться Бранту (кот<орый> оперировал) в Харькове. Если ничего слишком страшного не окажется – приедем оттуда в Москву. Из Коктебеля выберемся не раньше конца русских праздников, т. е. в 20-х числах января, да недели две надо положить на Харьков. Раньше никак не успеем справить всех своих коктебельских дел: я литературных – Маруся домашних. Через 2 дня к нам приезжает Дада (Кариатида с Эрехтейона),[12] и очень надеемся на появление Анчутки.[13]

Юлахлы слопал пятую деревянную ложку и сейчас ходит совсем грустный и больной. Крепко тебя обнимаю, Наташу[14] целую, и всем сердцем будем с коктебельцами, что будут вместе встречать Нов<ый> Год у Шервинских. Сережу и Машеньку целуем крепко.

Спасибо за концерт,[15] спасибо за все.

Макс.

В по<с>ледний момент.

Прилагаю еще стихотворение «ДОМ ПОЭТА»,[16] и т<ак> к<ак> оно посвящается всем гостям Коктебеля, то, пожалуйста, передай его по назначению (каждому). Мне бы очень хотелось, чтобы оно было прочитано при встрече Нов<ого> Года у Шервинских, если дойдет вовремя. Для печати оно не предполагается.[17]

[1] Имеется в виду п. 200. В открытке, отправленной из Москвы 21 декабря 1926 г., Габричевский предлагал Волошину для сборника «Киммерия в искусстве» (см. примеч. 5 к п. 188, примеч. 8 к п. 196, примеч. 5 к п. 200) написать «новую статью, ровно в ½ листа (20000 букв)»: «Жду от тебя 1) статью, 2) стихов, 3) рисунков. Конечно, твоя статья должна быть новой только по своей форме, т. е. по характеру и порядку изложения» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 163).

[2] См. примеч. 4 к п. 197.

[3] Отклик на слова о С. В. Шервинском и его участии в запланированном сборнике из письма Габричевского, относящегося к середине декабря 1926 г.: «Сережа ж статьи писать не будет и предпочитает поместить стихи (либо что-нибудь Киммерийское, либо что-нибудь написанное ad hoc <для данного случая – *лат.*>, напр<имер>, на какую-нибудь определенную вещь Богаевского, которая будет на выставке)» (Там же. С. 162).

[4] В том же письме к Волошину Габричевский ставил ряд вопросов относительно внешнего облика задуманной книги: «Хорошо было бы иллюстрировать книгу пейзажными виньетками твоими и Богаевского, т. е. виньеток 6 – 8, по одной в начале каждой статьи и стихотворных групп <...> подумай и об этом и пришли мне 4–5 рисунка <...> каково твое мнение об обложке: делать ее без всяких картинок <...> или же попросить Богаевского, который, впрочем, на это едва ли согласится?» (Там же. Исправлено по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 382, л. 8–8 об.).

[5] Имеется в виду № 6 журнала «Аполлон» за 1912 г. со статьей Волошина «Константин Богаевский» и многочисленными репродукциями с работ Богаевского.

[6] См. п. 181, примеч. 1, примеч. 5 к п. 200. В письме от 21 декабря 1926 г. Габричевский сообщал Волошину: «Я на днях видел Лобанова, который мне сказал, что он Дульскому раздумал писать и считает неудобным от своего лица просить его уступить твою статью мне. По его мнению, это мог бы сделать только ты, тем более, что выставка в Казани будет в феврале» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 163. Исправлено по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 382, л. 5).

[7] В письме, относящемся к середине декабря, Габричевский уведомлял Волошина о продвижении к печати его монографии «Суриков»: «Суриков твой будет напечатан сейчас же после “Коровина” Никольского. Сидоров написал вступительную статью и точно также нисколько не сомневается в успехе (конечно, не денежном, ибо, кажется, Академия <ГАХН. – *Ред.*> гонораров не платит, так что ты будешь получать только проценты с продажи)» (Там же. С. 162). Упомянутая книга В. А. Никольского о К. А. Коровине в свет не вышла.

[8] См. примеч. 6 к п. 165.

[9] Об этом Габричевский сообщил Волошину в письме от середины декабря.

[10] См. примеч. 6 к п. 150.

[11] Л. А. Назаревская, которой предстояла операция по поводу аппендицита. В письме от середины декабря Габричевский сообщал: «Любочка поправилась, и операция ее отложена до следующих припадков» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 382, л. 8 об.).

[12] Л. В. Тимофеева (сопоставленная с одной из фигур портика кариатид Эрехтейона – храма Афины и Посейдона-Эрехтея на Акрополе в Афинах, 421–406 до н. э.).

[13] А. А. Кораго. Приезд ее и Л. В. Тимофеевой в Коктебель тогда не состоялся. Тимофеева телеграфировала об изменении планов 30 декабря (Труды и дни-2. С. 329).

[14] Н. А. Габричевская.

[15] См. примеч. 7 к п. 191.

[16] См. примеч. 17 к п. 200.

[17] К письму был приложен рисунок Волошина с его надписью: «Маруся делает уборку Максиного кабинета перед Новым годом. С праздниками!» (Собр. О. С. Северцевой; Труды и дни-2. С. 329).

202. М. С. и С. В. ШЕРВИНСКИМ

28 декабря 1926 г. Коктебель[1]

28/XII 1926. Коктебель.

Мои милые Машенька и Сережа, горячо обнимаем Вас и поздравляем с Новым Годом и наст<упающим> Рождеством. Будем в момент Нового Года против дома, на берегу моря, какая бы погода ни была, и будем Вас и всех собравшихся у Вас мысленно приветствовать, стоя лицом к северу. Из Сашиного письма я понял, что вы нас *лично* ожидаете встречать Нов<ый> год к себе.[2] Увы! Этого не будет. Мы несомненно выберемся из Кок<тебеля> в конце января – I этап в Харькове дней на десять (проф<ессор> Брант и Марусины боли в оперирован<ных> местах) и в Москве будем в феврале. Я надеюсь, что Саша принесет на встр<ечу> Н<ового> Года мое новое большое стихотв<орение> «Дом Поэта» и вы прочтете его вслух.[3] Оно послано ему с прошлой почтой. Получил ли ты посв<ященный> тебе сонет «Каллиэра»?[4] Как журнал?[5] Хотите ли Вы с Машенькой по-прежнему, чтобы мы остановились у Вас, или это неудобно в этом году? Напиши откровенно.[6]

Крепко обнимаем всех коктебельцев.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 30.12.26; Москва. 3.1.27.

[2] 21 декабря 1926 г. А. Г. Габричевский писал Волошину: «Новый Год будем встречать, по всей вероятности, у Сережи Ш<ервинского>. Из гостей ждем тебя с Марусей <...>» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 163).

[3] См. примеч. 17 к п. 200. В письме к Волошину от 10 января 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 16–16 об.) Шервинский, рассказав о встрече Нового года, добавлял: «Твое стихотворение (великолепное!) мы прочли несколько дней спустя, когда у нас случайно собрались очень многие коктебельцы. Впечатление было сильное. Мы отсюда, издали, умеем ценить эту удивительную жизнь вблизи стихий».

[4] Посвященный С. В. Шервинскому сонет Волошина «Каллиера» («По картам здесь и город был, и порт ..») датирован 18 ноября 1926 г. См.: Т. 1 наст. изд. С. 175.

[5] Подразумевается замысел, который Шервинский в подробностях охарактеризовал в письме к Волошину от 9 ноября 1926 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 14–15 об.):

«Тоскуя по каким-либо поэтическим проявлениям, я решил, не откладывая в долгий ящик, приступить к изданию рукописного ежемесячника с исключительно стихотворным содержанием. Он будет отпечатываться на пишущей машинке в количестве 12–15 экземпляров, часть которых будет мною передаваться в главнейшие библиотеки Москвы и Питера, а часть будет отдаваться авторам с тем, чтобы номер ходил по рукам. Опыт подобного “журнала” уже осуществлен в Москве. Я разумею “Гермес”, ныне переименовавшийся в “Гиперборей”, в котором близкое участие принимает Г. Г. Шпет и плеяда его учеников (бр<атья> Горнунги, Ромм, Волькенау, Нейштадт и др.). Но их орган – громоздкий, и, пожалуй, самое ценное в нем – статьи и библиография. Замышленный же мной ежемесячник будет видеть на своих страницах только стихи (поэмы, лирику, переводы). Я считаю, что лит-грызня и так надоела, да и для критической полемики требуется широкая общественная арена, – а писать критику “для себя”, – такого “одинокого сластолюбца” не отыщешь, да если бы и нашелся, нам вряд ли был бы нужен. Итак, будут только стихи. Я получил уже согласие на участие от Серг<ея> Мих<айловича> Соловьева, от Сережи Дурылина, А. А. Сидорова, группы моих ближайших учеников и их друзей и нескольких еще поэтов. Думаю обратиться еще к Пастернаку, Аделинушке <А. Е. Адалис. – *Ред.*> (но не знаю, где она сейчас), Липскерову, м<ожет> б<ыть> Парнок.

Уверен в сочувствии и этих лиц. По-видимому, идея такого скромного, для небольшого круга, ежемесячника поэтов всем приходится по душе. По крайней мере до сих пор я встречал горячее сочувствие. Ленинградцев пока не тревожу; сделаю это или при личном свидании, или после выхода первого выпуска. Редактором “журнала” я буду единолично. Это – экономней. Назвать его собираюсь “Дневник поэтов”; впрочем, ежели тебе придет на мысль какое-нибудь название лучше, напиши, можно будет подумать. Обложка будет темная, с наклейкой, для которой мне обещал сделать дерев<янную> гравюру Кравченко Формат – почтовой бумаги, на которой я сейчас пишу тебе. Секретарем моим по ред.-делам я попросил быть Кота Поливанова. Как видишь, моя дон-кихотская затея уже более или менее налажена. Очень хочу видеть тебя среди участников “Дневника”. Верю, что пришлешь мне материалы, – ведь у тебя так много вещей не видит света. Не смущайся объемом. Я с нетерпением и как можно скорей буду ждать твоей чистой, свежей, не засоренной поэтической присылки. Очисти нам атмосферу коктебельским ветром, – хотя я надеюсь, что никакой художественной или иной “грязи” я туда все-таки не напущу. Никакого общественно-политического оттенка этот отшельнический уголок иметь, конечно, не будет, и я буду составлять номера, чтоб не дразнить никаких гусей; однако, издание на правах рукописи тематически, разумеется, сильно раздвигает наши горизонты. Итак, дорогой, пришли поскорей, и не скупись. Должен, однако, предупредить, что вещи, опубликованные в “Дневнике”, я считаю действительно “опубликованными”. Поэтому поэмы, которые ты надеешься потом напечатать, лучше давай в более или менее цельных фрагментах. Конечно, это не относится к тем случаям, когда наш педантизм грозил бы лишить автора какого-нибудь очень солидного гонорара. Словом, исключения тут могут быть, но правило остается в силе. Пришли немедленно, потому что и я тянуть с этим делом не собираюсь. А в общем – одобряешь? Надо же как-то отчитываться перед будущими поколениями».

Об упоминаемом в тексте письма рукописном журнале «Гермес» см. подборку материалов «Московская литературная и филологическая жизнь 1920-х годов: машинописный журнал “ Гермес ”», подготовленную Г.А. Левинтоном, А.Б. Устиновым и М.О. Чудаковой, в кн.: Пятые Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига: Зинатне, 1990. С. 167–210.

На вопрос Волошина Шервинский ответил 10 января 1927 г.: «Мой рукописный журнал несколько задержался. Первый выпуск мною намечен так: стихи твои, стихи Ал<ексан>дра Серг<еевича>

Кочеткова и поэма С. С. Заяицкого, о котором ты знаешь. Думаю, к концу января осуществить» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 16–16 об.). По всей видимости, замысел «Дневника поэтов» остался нереализованным; в переписке Волошина и Шервинского эта тема в дальнейшем не возобновляется.

[6] Шервинский отвечал в том же письме: «...мысль – увидеть тебя в Москве – совсем чудесная. Ради Бога, не сомневайся относительно возможности остановиться у нас. Мы устроим тебя и Марусю с должным minimum'ом современного комфорта. <...> Итак, в феврале будем вместе».

1927

203. М.А. ПАЗУХИНОЙ

5 января 1927 г. Коктебель

5/I 1927. Коктебель.

Дорогая Марья Александровна,

Спасибо Вам за письмо, за бородинский хлеб, за шапку.[1] Шапка с наушниками великолепно – и именно о такой я и мечтал. Но другая – черная меня очень смутила. Она для меня слишком роскошна – и куда же я ее надену? Она хороша для города... но ведь я поеду на север в своей – кожаной. А в Коктебеле я ведь шапки не ношу. И почему две? Это, вероятно, для Маруси? Она ей очень нравится. Хотя ей очень хочется у меня отобрать кожаную. Но ее я не уступлю. Вообще я сейчас совсем смущен Вашими подарками, Марья Александровна. Вот тоже список красок – он опять окажется вдвойне. Ради Бога, простите меня за такое злоупотребление Вашим вниманием. Спасибо большое за Конст<антина> Феод<оровича>.[2] Он, конечно, такого подарка не ожидает совершенно.

Я закончил мое большое стихотв<орение> «Дом Поэта», что начал писать еще при Вас, и посылаю Вам.[3] Оно посв<ящается> всем друзьям и гостям коктебельского дома, и я прошу его передавать и читать по адресу.

Красок мне, конечно, не стоит сейчас высылать в Коктебель. Мне именно будет приятно иметь в Москве прямо из Ваших рук.

Запах Ваших духов дошел по почте не очень сохранившимся – я так думаю, – и мне он не так нравится, как прежние запахи Герлена, как «Après l’ondée» или «Vague souvenir».

Наша встреча Нового Года (н. ст.) прошла не очень хорошо: мы так ждали приезда Дады, что ее телеграмма о неприезде нас сбила с настроения.[4] Это все тетя Саша[5] напутала: уверила ее, что мы приезжаем в Харьков в начале января. А письмо дяди Пети[6] – Вы верно забыли вложить, – его не оказалось в конверте.

Как хорошо, что Вы с марта приедете в Коктебель.[7] Жаль, что нас в это время еще не будет, т<ак> к<ак> мы сами едва ли раньше мая сможем вернуться, раз выбравшись. Но это, конечно, не помешает Вам. Ваши комнаты всегда будут Вас ожидать. И Вы уже будете как хозяева принимать ранних гостей. Наш отъезд в половине января еще может задержаться: мне еще надо написать одну статью и закончить стихотворение «Четверть века»,[8] без чего не могу выехать. А т<ак> к<ак> я ничего не начинаю при ущербной луне, то если я не справлюсь к 18 янв<аря>, то нам придется застрять уже до 2 февраля с выездом.[9]

У меня уже определенное желание отъезда, и я привык к этой мысли. Но выехать из Коктебеля – «отлипнуть» от дома ужасно трудно.

Целую Дыма и Алика, обнимаю Василия Александровича[10] и горячо благодарю Вас.

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду письмо М.А. Пазухиной от 20–24 декабря 1926 г (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 927, л. 11–12 об).

[2] К.Ф. Богаевский. Речь идет о заграничных красках для него. Пазухина уведомляла Волошина в упомянутом письме: «Константину Федоровичу краски я достану не за его платы и акварель, а за мое личное к нему чувство, а оно очень высоко и благоговейно и как к художнику и как человеку».

[3] См примеч. 17 к п. 200.

[4] См. п. 201, примеч. 13.

[5] А.Л. Домрачева.

[6] П.Ф. Домрачев.

[7] В письме от 20–24 декабря Пазухина сообщала о своем возможном приезде в Коктебель в марте 1927 г. в том случае, если ее муж в феврале отправится в Америку. Приезд Пазухиных в Коктебель в намеченный срок не состоялся.

[8] Стихотворение «Четверть века (1900–1925)» («Каждый рождается дважды. Не я ли...») было закончено только 16 декабря 1927 г. См.: Т. 2 наст. изд. С. 83–87.

[9] Волошин и М. С. Заболоцкая выехали из Коктебеля в Харьков 19 января.

[10] Сыновья Пазухиных Вадим и Александр, В. А. Пазухин.

204. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

8 января 1927 г. Коктебель[1]

8/I 1927. Коктебель.

С Новым Годом, милая Наташа. Аля Сухотин писал, что Вы все встречали его (Н<овый> Г<од>) у Леночки?[2] А почему не у Шервинских, как писал Саша?[3] С тех пор, как ты мне перестала писать, я ничего не знаю о том, как живут и что делают москвичи-коктебельцы. На тебя не сержусь – представляю, как ты, должно быть, занята со студией,[4] но без вестей от тебя, без твоего «Pati-Journale»[5] чувствуешь себя очень оторванным от всех Вас. Мы сериозно собираемся на север и будем в Москве во второй половине февраля.[6] Маруся уже начинает причитать над собаками в предчувствии разлуки: «С ними никто и разговаривать не будет, когда мы уедем». Юлахлы стал громадным, но очень похудел после перенесенного благополучно шата. Но жизнерадостность полная. От избытка чувств не только подает лапу, вертит ею перед носом у Маруси, как мельница.

Зима у нас, несмотря на все пророчества о ее лютости, страшно мягкая, теплая и безветренная. Ни с морозами, ни со снегом, ни со штормами ничего у нее не выходит. Получил ли Саша мое письмо и все рукописи и между ними новые стихи «ДОМ ПОЭТА», посланные 27 декабря?[7] Прошу эти стихи прочесть всем коктебельцам.

Напиши мне, пожалуйста, у кого нам лучше остановиться в Москве, кого мы меньше все<го> стесним из приглашающих нас: у Шервинских, Фельдштейн? Может быть, сперва прямо приехать к Вам, а там уже решить, где?[8]

Во всяком случае, напишу еще при отъезде в Харьков и из Харькова.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 9.1.27; Москва. 12.I.27.

[2] Е. И. Стерлина, машинистка Мосгорбанка. В письме к М. С. Заболоцкой (Москва, 2 января 1927 г.) А. М. Сухотин сообщал: «Новый Год мы встречали дружно и весело, на квартире у Леночки, которая была очень мила и, по-видимому, счастлива, что собрались именно у нее. Народу было немного: всего 16 человек, из них только один не коктебельский. <...> Из Харькова, специально к этому дню, приехала Гуна <К. П. Девлет-Матвеева. – *Ред.*>, пела свои коктебельские куплеты. <...> Очарователен был Кот Поливанов, неумолкаемо, чрезвычайно живо и увлекательно рассказывавший о своих коктебельских похождениях <...>, имевших место прошлым летом. Он премило передавал, в особенности, свои беседы с С. М. Соловьевым <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 246).

[3] См. примеч. 3 к п. 202.

[4] Подразумевается драматическая студия Ю. А. Завадского, открытая в Москве в 1924 г.; Н. А. Габричевская посещала ее, по-видимому, с 1925 по 1929 г.

[5] Имеются в виду малоформатные книжечки, которые Габричевская заполняла рисунками и записями; некоторые из них сохранились в собрании О. С. Северцевой.

[6] Волошин и М. С. Заболоцкая прибыли в Москву 9 февраля 1927 г.

[7] Имеются в виду п. 200 и 201.

[8] Возможно, ответным является короткое недатированное письмо Габричевской к Волошиным: «Приезжайте скорей к нам, в сугробы, в свежайшие морозцы» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 92).

205. Е. Л. ЛАННУ и А. В. КРИВЦОВОЙ

8 января 1927 г. Коктебель

8/I 1927. Коктебель.

Дорогие Евгений Львович и Александра Владимировна! – крепко вас обнимаю и поздравл<яю> с праздниками и с Нов<ым> Годом.

Что произошло в нашей переписке, Евгений Львович, вначале, когда еще у нас было много осенних гостей, я получал от Вас и весточки, и книги, а потом, когда сам начал писать Вам, Вы замолчали.[1] Что случилось? Не больны ли Вы? Или просто пропали на почте Ваши или мои письма? Откликнитесь хоть открыткой! Как судьба Вашей книжки обо мне?[2] Я ее так и не видел и понятия не имею, вышла ли она. Разъехались от нас только в декабре. Написал несколько новых стихотворений, из которых одно, «Дом Поэта»,[3] кажется, значительное. Надеюсь, что сам прочту его Вам, т<ак> к<ак> я собираюсь в Москву. Выедем в конце января. Первый этап Харьков (свидание Маруси с ее оператором[4]), а после, в середине февраля — Москва.[5] Кажется, литературно эта зима крайне сера и уныла? Но я думаю, что мне с литературой придется соприкасаться еще меньше, чем в прошлый приезд. Но зато хочу видеть много музеев и выставок. Коктебельская зима тепла и тиха необычайно. Морозов еще не было. Всего, всего лучшего.

Макс.

[1] Речь идет о п. 184, 185. Ланн ответил Волошину 22 января 1927 г.: «Я очень рад; получив Ваше письмо, убедился, что Вы не отвечали мне на мое отнюдь не потому, что не желали. По-видимому, оно Вами не получено. А я горевал, думал, чем-то перед Вами провинился» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 110).

[2] См. примеч. 2 к п. 116. В ответном письме Ланн рассказывал Волошину: «Брошюра моя лежит в типографии – пока у В<сероссийского> с<оюза> поэтов денег ни гроша. У меня только один экземпляр» (Там же).

[3] См. примеч. 6, 7 к п. 193.

[4] Волошин и М. С. Заболоцкая выехали из Коктебеля в Феодосию, затем – в Харьков 17 января 1927 г. См.: Труды и дни-2. С. 332. Планировалась встреча М. С. Заболоцкой с доктором В. Д. Брантом, оперировавшем ее в 1925 г. См. п. 24, 26.

[5] В Москву Волошин и М. С. Заболоцкая приехали 9 февраля 1927 г. См.: Труды и дни-2. С. 334.

206. О. К. ТОЛСТОЙ

8 января 1927 г. Коктебель[1]

Дорогая Ольга Константиновна, всем сердцем присоединяюсь ко всем словам Марусиного письма. Посылаю Вам эти — новые мои стихи с просьбой показать их всем друзьям Коктебеля, которых Вы встретите.

Поздравляю Вас <с> Рождеством и с Новым годом и желаю его Вам более радостным и гармоничным. Привет Шаховским и Чертковым, которых, не зная лично, привык уважать с детства.

Макс.
8/I 1927.

Соне[2] посылаю эти стихи отдельно вместе с Марусиным письмом.

[1] Приписка после машинописного текста стихотворения «Дом Поэта», посланного О. К. Толстой вместе с письмом М. С. Заболоцкой.

[2] С. А. Толстая.

207. М. А. ПАЗУХИНОЙ

8 января 1927 г. Коктебель[1]

Милая Марья Александровна, спасибо за ёлку и ёлочные подарки: лимоны, копир<овальную> бумагу, блюдечки для аквар<ели>, чернила, тушь. Совсем настоящая ёлка. Целую Дима и Алика. Обнимаю Вас<илия> Алекс<андровича>.[2]

Макс.

[1] Приписка к письму М. С. Заболоцкой от 8 января 1927 г.

[2] Сыновья Пазухиных Вадим и Александр, В. А. Пазухин.

208. С. Н. ДУРЫЛИНУ

8 января 1927 г. Коктебель

8/I 1927. Коктебель.

Дорогой Сережа,

поздравляю тебя с Праздниками и с наступающим Новым Годом.

Письмо твое страшно обрадовало: пахнуло прежней Москвой – горячо и радостно.[1] Кстати, твою «Старую Москву» я уже много раз перечитывал за эту зиму вслух[2] – всем, кто ко мне ни зайдет. И каждый раз всё с большим чувством. Есть некоторые строфы (особенно в «Купце», в «Генерале», в «Протоиерее»), которые не могу читать без подступающих слез. Какая прекрасная и полная книга это будет. «Украдкой грудь крестя прадедовским крестом» – это одно из самых жгучих для меня мест.[3] Продолжился ли этот цикл в Москве? Или времени не было?

Ты очень хорошо пишешь о времени.[4] Меня часто преследовало такое толкование времени: не есть ли *время* прямое следствие того толчка, полученного Люцифером от Архист<ратига> Михаила, которым он был низвержен в бездну? Отсюда его *необратимость*. Мир разделяет это падение Люцифера, поскольку он во власти Князя Мира Сего. Поэтому детству так чуждо ощущение времени. Дни его длинны, как вечность. А поскольку мир захватывает человека – время ускоряет свой полет. И конец мировой истории будет обозначен полным иссякновением времени. «Времени больше не будет».[5] Дьявол крадет время у человека. «Нет времени» – бесовская перифраза, ироническое искажение «времени больше не будет».

Увы, это отсутствие времени захлестывает и в Коктебель: я ничего не делал и не писал из того, что намечал себе на зиму. Но зато кое-что закончил из старого, начатого уже давно. Посылаю тебе новое стихотворение «ДОМ ПОЭТА».[6] Оно посвящается всем друзьям и гостям Коктебеля, настоящ<им>, прошлым и будущим. Поэтому прошу его передавать по адресу.

Наш осенний людоворот не иссякал до половины декабря. А теперь вот уже пора готовиться к отъезду, потому что мы решили все-таки съездить в этом году на север.

Выедем в конце января: первый этап в Харькове, где Марусе необходимо показаться своему оператору проф<ессо-ру> Бранту. А в половине февраля будем в Москве. Страшно трудно отлипнуть от Коктебеля. До сих пор еще зима не начиналась, а стоит мягкая, серая осень, без больших ветров и с редкими заморозками да снежком, который выпадал дважды, но держался не более суток.

Марусе жалко оставлять своих собак, посаженные деревья, мне жаль непрочитанных книг... Недописанных стихов. Ведь мы вернемся не раньше мая, когда начнется съезд друзей, для нас такой неиссякаемо радостный, но всегда уводящий от книги и от творческой работы.

Крепко тебя обнимаю за себя и за Марусю. Привет всем нашим дорогим коктебельским друзьям, кого ты встречаешь, особливо Гениевым.

Шура нам написал недавно прекрасное письмо.[7]

Макс.

[1] Речь идет о недатированном письме С. Н. Дурылина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 5–6 об.), с признаниями: «Я горячо благодарен тебе за дружбу, помню каждый день коктебельский, как вычеканенный из золота подлинной мысли и любви, признателен за каждое твое слово, за каждую песенку Марьи Степановны, за каждый камешек, выброшенный киммерийскою волною... И в день Рождества Христова мне особенно хотелось бы быть с Вами, с тобой и М. С., – я и мечтал об этом».

[2] Цикл стихотворений Дурылина (машинопись), подаренный автором Волошину с надписью: «Дорогому Максу с подлинной любовью и благодарностью отдаю эти стихи, писанные в его благодатном Коктебеле. С. Д. 1926 г., июль. Коктебель» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1445, л. 1). В ответном (недатированном) письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 7–8 об.) Дурылин замечал: «Меня очень трогает твое внимание и любовь к моей “Старой Москве”. <...> К циклу прибавилось только одно стих<отворен>ие: “Ключевский”».

[3] Строка из стихотворения Дурылина «Купец» («Когда-то в доме жил Василий Львович Пушкин...») (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1445, л. 1).

[4] Имеются в виду слова из цитированного выше (примеч. 1) письма Дурылина: «Удивительные вы люди, ты с М<арьей> С<тепановной>. Вы как-то преодолели *время*; вы вырвались из-под силы не ньютоно-астрономического, а более страшно<го> "*тяготения*": тяготения *эпохи*, и, как свободные кометы, несетесь (это ты-то, толстый и милый!) свободным, а главное: своим! своим! – путем. Удивительные вы люди! Нет, вы – и не кометы. Вы какие-то особые "тела", только не подвластные никаким Ньютонам и их законам».

[5] Откр. X, 6: «...времени уже не будет».

[6] См. примеч. 17 к п. 200. Благодаря Волошина за стихи в ответном письме, Дурылин отмечал: «Они очень крепки и правдивы». В том же письме он размышлял: «Да, у тебя особая судьба. Конечно, не стихи и не акварели, а *она* – твое лучшее созданье, – весь мудрый смысл которого в том, что созданье это есть угаданная мысль создателя о тебе. Это – труднейшее из творчеств, но и высшее из доступных человеку! Я не люблю употреблять слово "мудрый", именно потому, что люблю его, но, думая о тебе, часто прилагаю к тебе, в твоем пути и в твоем деле, это слово. Мудрость – это знание Божьей мысли о себе, и я безотчетно, но глубоко чую, что тебе дано ее знать. От этого у тебя – "легкая рука": ее чуют все, кто к тебе приближается, – все, всех цветов люди – красные, белые, желтые, зеленые, черные и даже – бесцветные. Твой путь – *твой* только, конечно. Ни подражать, ни выучиться ему нельзя, но когда он пересекает другую душу, – хоть мою, например, – то делается хорошо и просторно на душе. Не так теснит время и не так мучит "человеческое, слишком человеческое". Я постоянно ощущаю, что пустеет жизнь, природа, история. И вот ощущение это покидает меня, когда я около тебя или слышу о тебе и о твоем».

[7] Александр Николаевич Шкарин (1910–1986) – ученик Дурылина; впоследствии врач.

209. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

10 января 1927 г. Коктебель

10. I. 1927. Коктебель.

Дорогая Юлия Леонидовна, с Новым годом и с праздниками. Спасибо за Ваше подробное письмо от 3/XII.[1] Я после него еще получил и письма от Габричевского и др<угих> и послал уже все материалы: и стихи, и статью: «Киммерия и ее

отражение в творчестве Богаевского» (свод всех моих статей о Бог<аевском>, заново сделанный),[2] а вчера отправил 173 акварели для выставки, разделив их на 30 циклов, чтобы можно было сделать 30 панно, каждое под отдельным заглавием. Подобрал очень тщательно. Вместе с тем, что сохранилось у К<онстантина> В<асильевича>,[3] я думаю, этого будет достаточно для выставки. Боюсь, что вся путаница лежит только в Габричевском: ведь он собирался у казанцев отнимать мою статью «Богаевский – художник Киммерии» для москов<ского> Ким<мерийского> Сборника. Какой умница Лобанов, что нашел это неудобным без моего ведома![4] Громадное ему спасибо за это. Я только боюсь, что они будут урезывать мои статьи. Сейчас мы на отъезде из Коктебеля. Числа 17-19 выезжаем – сперва в Харьков:[5] Маруся должна показаться своему оператору – проф<ессору> Бранту, а в феврале – в Москву. Очень трудно уехать из Коктебеля. Но мне очень уже захотелось и потянуло. Крепко обнимаю Кон<стантина> Вас<ильевича>. Привет Екат<ерине> Иван<овне> и Феод<ору> Конст<антиновичу>.[6]

Кланяюсь Лобанову. Очень я проголодался по живописи и по музеям. Есть новые стихи.

Макс.

Маруся всех приветствует.

[1] В этом письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 902, л. 44–45 об.) Ю. Л. Оболенская рассказывала о перипетиях, связанных с подготовкой выставки Волошина в Москве: «Повидавшись с Габричевским, могу Вам сообщить вот что: выставка (“Киммерия”) *решена*. Сидорову все известно, т<ак> к<ак> *они постоянно видятся* и говорят об этом. Так быстро (в январе) ее нельзя устроить как по причине сложной работы над сборником, так и потому, что большинство вещей К. Ф. <Богаевского. – *Ред.*> в Казани и надо подождать их возвращения. Следовательно, выставка будет к весне».

[2] См. примеч. 4 к п. 197.

[3] К. В. Кандауров.

[4] См. п. 200, примеч. 5, п. 201, примеч. 6.

[5] См. примеч. 9 к п. 203.

[6] Е. И. Оболенская, Ф. К. Радецкий.

210. Р. М. ГОЛЬДОВСКОЙ

10 января 1927 г. Коктебель

10/I 1927. Коктебель.

С Новым годом, дорогая Рашель Мироновна, приветствуем Вас и всех Ваших вместе с Марусей и вскоре надеемся приветствовать Вас лично. Через неделю мы выезжаем из Коктебеля. Первая остановка в Харькове, где Марусе необходимо показаться проф<ессору> Бранту, ее оперировавшему, и если он найдет, что все обстоит благополучно, то мы в феврале будем в Москве. Т<ак> к<ак> уплотнение и неудобства московской жизни все время прогрессируют, то мы очень просим известить нас заранее – не слишком ли мы стесним, если в этом году остановимся у Вас?[1] (До конца января адрес: Харьков. Лермонтовская 37. А. Л. Домрачевой для меня.)

Простите, что пишу открытку: я думаю, что она вернее дойдет, чем закрытое письмо. В этом году наши гости разъехались окончательно только в половине декабря. И мы очень мало успели воспользоваться нашей зимней тишиной. Но все же я привезу кое-что новое и из стихов, а акварели уже отправил в Москву, так как ведь этой весною Академия Худ<ожественных> Наук устраивает мою выставку совместно с Богаевским. Выставка будет под знаком Киммерии и будет сопровождаться изданием Киммерийского Сборника, куда войдут мои Киммерийские стихи и статья о Ким<м>ерии и Богаевском.[2]

Я еду в Москву с самыми хорошими намереньями: видеться только с близкими друзьями, очень мало читать стихов, ходить по музеям – словом, совсем не так, как в прошлом году. Но что из этого выйдет, не знаю. Ведь число моих интимных друзей в Москве увеличилось за эти годы по крайней мере на ½ тысячи. Коктебель покидать очень жаль, стоит великолепная тихая, мягкая, безветренная погода. Не было еще ни дождей, ни морозов. Самое трудное – это уехать. Крепко обнимаем Еву, Мишу и Надежду Ивановну.[3]

Сейчас мы целиком в передотъездном устройстве дома. Всего, всего лучшего.

Макс.

[1] Р. М. Гольдовская отвечала 24 января 1927 г.: «...так тяжело, что мы *физически* лишены возможности приютить вас на все время у себя – так это грустно, больно, обидно, а для моего “неукротимого характера” <...> *оскорбительно* и *возмутительно* <...>. Ведь у нас отняли верхние комнаты и столовую. Мы все *семеро* ютимся в 4-х комнатах <...> И – несмотря на все это безобразие – я вас, милочки, очень-очень-очень прошу *остановиться* на первые дни у нас. Прямо с вокзала к нам» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 434, л. 41–41 об.).

[2] См. примеч. 8 к п. 196.

[3] Е. А. Фельдштейн, М. С. Фельдштейн, Н. И. Ивановская.

211. П. И. НЕРАДОВСКОМУ

10 января 1927 г. Коктебель

10/I 1927. Коктебель.

Многоуважаемый Петр Иванович (я не ошибаюсь в Вашем имени-отчестве? Простите, пожалуйста, если память мне изменила). Посылаю Вам одновременно заказною бандеролью рукопись моей монографии о В. И. Сурикове (статья в «Аполлоне» была только сырым материалом[1]). Единственная просьба – не утратить рукопись и вернуть ее по использовании. По-видимому, она будет этой весною издаваться Моск<овской> Академ<ией> Худ<ожественных> Наук. Так они говорят. Но этой работе моей так классически не везло, что я уже ничему не верю, и если опять сорвется, то с удовольствием приму Ваше предложение. Что же касается моих акварелей, то они всегда к Вашим услугам.[2] Сейчас это особенно удобно. Весною Мос<ковская> Академия Худ<ожественных> Наук устраивает у себя мою выставку совместно с Богаевским,[3] и все работы последних лет я сегодня же отправляю на имя научн<ого> секр<етаря> Академ<ии> Х<удожественных> Н<аук> – проф<ессора> Алексея Алексеевича *Сидорова* – все мои работы будут соединены в Москве у него сейчас, а выставка будет на Пасхе. Наверное, Вы или кто-нибудь из предст<авителей> Рус<ского> Музея будет в Москве и Вы сами сможете выбрать, что для меня предпочтительно. Я же думаю выехать в Москву в феврале месяце, а в марте надеюсь побы-

вать в СПб и повидать Вас. В Москву мне можно писать в Акад<емию> на имя Сидорова. Наша выставка должна быть манифестацией «Киммерийского» искусства и будет сопровождаться сборником о Киммерии, куда войдут мои стихи и статьи о Богаевском.

А в Коктебель я Вас уже давно поджидаю, и для меня будет большою радостью, если Вы соберетесь этим летом. Если хотите поработать, то приезжайте на май – июнь, или сентябрь – октябрь. Если не боитесь шума, тесноты и веселья – то в июле – августе. Но бывает очень людно в это время.

До свиданья. Спасибо за память и внимание.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 5 к п. 117. В письме от 27 декабря 1926 г. П. И. Нерадовский извещал Волошина об открытии в Русском музее выставки произведений Сурикова и просил предоставить его работу о Сурикове «для доклада в Музее»: «Хотелось бы знать также, предполагаете ли Вы издать Вашу работу о Сурикове, и как бы Вы отнеслись к помещению ее в сборнике Музея. <...> Я слышал, что Вы очень дополнили Вашу статью, помещенную в “Аполлоне”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 877, л. 1–1 об.).

[2] В том же письме Нерадовский просил Волошина прислать несколько акварелей «для отбора в коллекцию Музея»: «Вы так много работаете и в Ваших работах столько самобытности и, я сказал бы, звучит такая поэтическая нота, что хотелось бы в Музейное собрание внести Ваше имя несколькими Вашими пейзажами».

[3] См. примеч. 8 к п. 196.

212. И. М. САРКИЗОВУ-СЕРАЗИНИ

11 января 1927 г. Коктебель

11. I. 1927. Коктебель.

Дорогой Иван Михайлович,

спасибо за согласие.[1] Все данные Вы получите, вероятно, через Вересаева. Через неделю мы уезжаем из Коктебеля. В феврале буду в Москве. Еще не знаю, где остановлюсь, но всегда мож-

но узнать у Шервинского. Позвоню Вам по приезде. Из лекарств буду просить пока только об одном «atophan» (атофан).

У нас стоит великолепная осень: тихие безветряные, сухие дни. Еще морозов не было. Просто досадно покидать Крым в такое время.

В Москве рассчитываю ходить по музеям, по театрам и *не* читать стихов целыми днями, как прошлый раз. Вообще употребить время для своего поучения и удовольствия, а не только «показываться». Мар<ия> Степ<ановна> Вас приветствует. Поздравляем Вас и Софью Настасьевну[2] с Нов<ым> годом.

Привет проф<ессору> Российскому.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] 31 декабря 1926 г. И. М. Саркизов-Серазини отвечал на неизвестное нам письмо Волошина: «Сегодня получил В<ашу> открытку. С удовольствием напишу о Коктебеле. Пусть мне сообщат – когда, кому, сколько строк» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1084, л. 34).

[2] С. А. Саркизова.

[3] Дмитрий Михайлович Российский (1887–1956) – историк, профессор медицины.

213. А. А. АЛЬВИНГУ

12 января 1927 г. Коктебель

12/I 1927. Коктебель.

С Новым Годом, дорогой Арсений Алексеевич! Получил Ваше письмо. И оно меня ставит в тупик.[1] Мне бы не хотелось Вам отвечать отказом. Между тем у меня совершенно нет нейтральных стихов. Все, что у меня было возможно в этом отношении, наскреб месяц назад (очень мало) и послал Сереже Шервинскому для его предполагающегося рукописного журнала.[2] И je suis à sec.* Конечно, у меня масса ненапечатанного, но все не по зубам цензуре, т<ак> к<ак> там говорится или с почтением о религии, или без почтения о материализме.

---

* я высох (*фр.*).

Может быть, Вас устроили бы мои переводы? Но и тут беда — они сделаны принципиально без рифм, и их поэтому никто не хочет. Во всяком случае я скоро (в феврале) буду в Москве и там сговоримся. Не принимайте моего отказа за принципиальный. Это просто глупая невозможность. А лирических стихов совсем не пишу последние годы. Надо ли добавлять, что я Вас в Коктебеле всегда поджидаю и что Вы всегда будете желанным и радостным гостем. Коктебель покидаю 17 янв<аря>,[3] но пробуду еще недели 2 по дороге в Харькове.

Привет Горнунгу. До скорого свидания.

Дружески обнимаю.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме из Москвы от 1 января 1927 г. А.А. Альвинг сообщал: «Мой приятель (Вам отчасти ведомый) поэт Сандомирский Михаил Борисович (автор “Марины Мнишек”. Стихи. Москва. 1914 г. К<нигоиздательст>во “Жатва”) и я со Львом Владимировичем <Горнунгом. — *Ред.*> решили во что бы то ни стало напечатать маленький сборник стихов. Сергей Мих<айлович> Соловьев дает нам сти<хотворен>ие, написанное Вам (“Послание”). Сейчас пишу Мих<аилу> Алек<сеевичу> Кузмину. Затем, если Белый ч<то->н<ибудь> даст из прежних стихов (сейчас он не пишет) — будет очень хорошо. Думаю, что он мне в этом не откажет. Затем значит: Лева, Сандомирский, я, Шервинский, Парнок и еще кое-кто. *Очень просим Ваших стихов* (“пригодных для печати”!). Хорошо‘ » (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 174, л. 2–3). Еще до получения ответа Волошина Альвинг писал М. А. Кузмину (2 января 1927 г.): «Я, Сандомирский <...> и Горнунг решили издать маленький сборничек стихов: Волошин, Парнок, Шервинский, мы (трое поименованных) и еще кое-кто» (*Морев Г. А.* К истории юбилея М.А. Кузмина 1925 года // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 21. М.; СПб.: Atheneum — Феникс, 1997. С. 356).

[2] См. примеч. 6 к п. 202.

[3] В этот день Волошин и М. С. Заболоцкая выехали из Коктебеля в Феодосию, 19 января — оттуда в Харьков.

214. В. А. РОЖДЕСТВЕНСКОМУ

Около 15 января 1927 г. Коктебель[1]

Дорогой Всеволод Александрович, спасибо за прекрасную книгу.[2] Я ее получил сегодня и уже дважды прочел вслух с тем трепетом, с которым читаешь только истинную поэзию и который охватывает сейчас все реже и реже. Я сейчас уезжаю на север. Надеюсь быть в СПб. в марте. Очень хочу Вас видеть не только там, но и в Коктебеле.[3] «Дом Поэта» — мое последнее стихотворение, — примите его как личный призыв. Стихи Ваши мне особенно близки.

Максимилиан Волошин.

[1] Приписка к машинописному тексту стихотворения «Дом Поэта» («Дверь отперта. Переступи порог...», 25 декабря 1926 // Т. 2 наст. изд. С. 78–82), которому предпослано рукописное посвящение: «Посв<ящается> всем его друзьям — настоящим, ушедшим и *будущим*». Датируется на основании указания Волошина об отправке письма В. А. Рождественскому 15 января 1927 г. (Труды и дни-2. С. 331).

[2] Имеется в виду сборник Вс. Рождественского «Большая Медведица. Книга лирики (1922—1926)» (Л.: Academia, 1926).

[3] Волошин виделся с Рождественским в Ленинграде 8 и 14 апреля 1927 г. (Труды и дни-2. С. 340, 341).

215. Л. С. ГИНЗБУРГУ

16 января 1927 г. Коктебель[1]

16/I 1927. Коктебель.

Глубокоуважаемый Лев Самойлович,

сейчас в день отъезда из Коктебеля я в числе моих письменных долгов с ужасом наткнулся на Ваше письмо из Алушты.[2] Простите ради Бога. Оно пришло ко мне в разгар летнего людоворота, и я его отложил на осень, тем более что надеялся на то, что Вы сами заедете ко мне. Но мой дом опустел в этом году очень поздно, только в декабре, а сейчас я уезжаю на север и в Москве буду в феврале и тогда, если позволите, лично

исполню Вашу просьбу о стихах и навещу Вас.[3] Остановлюсь я у С. В. Шервинского. Извините.

До скорого свиданья.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 16.1.27; Москва. 20.1.27.

[2] В этом письме от 26 июля 1926 г. Л. С. Гинзбург сообщал Волошину о своем намерении посетить его в Коктебеле и просил выслать свой автограф, затрагивающий пушкинскую тему («стихотворение, посвященное Пушкину, мысли о Пушкине и т. п.»), — «в Пушкинский альбом Л. С. Гинзбурга» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 415).

[3] Будучи в Москве, Волошин посетил Л. С. Гинзбурга вечером 19 февраля 1927 г. (Труды и дни-2. С. 335).

216. М. С. и С. В. ШЕРВИНСКИМ

27 января 1927 г. Харьков[1]

27/I 1927. Харьков. Пушкинская 14 (кв. Златогоровых).

Дорогие Машенька и Сережа,

мы в Харькове и к 7-му февраля надеемся быть в Москве.[2] О точном дне приезда будем телеграфировать. Марусино здоровье оказалось в полной исправности. Я же сплоховал и всю дорогу и первые дни по приезде очень страдал астмой. Харьковцы нас встретили с редкой сердечностью и радушием. Живем мы у Златогоровых в доме Медицинско<го> Общества.[3] Очень радуюсь тому, что моя выставка будет в феврале, а не на Пасху. Крепко обнимаем Вас и радуемся тому, что через неделю увидимся.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Харьков. 27.1.27; Москва. 30.1.27.

[2] Волошин и М. С. Заболоцкая прожили в Харькове с 20 января по 8 февраля 1927 г.

[3] Волошины переселились к Златогоровым (по приезде в Харьков остановились у Домрачевых), видимо, 21 января.

217. А. Г. и Н. А. ГАБРИЧЕВСКИМ

27 января 1927 г. Харьков[1]

27/I 1927. Харьков. Пушкинская 14, кв. Златогоровых.

Милые Саша–Наташа,

Мы в Харькове и надеемся к 7-му фев<раля> быть в Москве.[2] Остановимся прямо у Шервинских. Будем им телеграфировать перед выездом. Маруся была у Бранта: заросла на пять с плюсом.[3] Боли – швы и нервы. Встрече с Москвой и с друзьями радуюсь и волнуюсь. Харьков меня раздирает. В вагонах задыхаюсь от астмы, на морозе дышать нечем, но это мне не мешает радоваться. Маруся обнимает и целует.

Всего, всего лучшего.

MAX.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Харьков. 29.1.27; Москва. 31.I.27.

[2] См. примеч. 2 к п. 216.

[3] Подразумевается контрольный медицинский осмотр вследствие проведенной двумя годами ранее (в феврале 1925 г.) хирургической операции.

218. Д. Н. ЧАСОВИТИНОЙ и Г. С. КИРЕЕВСКОЙ

2–5 февраля 1927 г. Харьков[1]

2/II 1927. Харьков. Пушкинская 14, кв. Златогоровых.

Милые, милые Даня и Галя, Ваше письмецо настигло нас в Харькове,[2] а мы через неделю будем в Москве. Вероятно, будем в понедельник с ускоренным (ростовским) поездом (7 янв<аря>). Будем телеграфировать Шервинским, у которых остановимся. Бесконечно радуемся встрече. С Марусиным здоровьем всё благополучно. Если на вокзале нас встре-

тят милые и родные лица, будем считать это счастливым знамением. Обнимаем крепко и нежно.

Макс.
Маруся.

5/II 1927.

За два дня произошла модификация: мы выедем во вторник 8<-го> и следовательно будем в Москве в среду 9-го февраля. Когда возьмем билеты, протелеграфируем Шервинским. Задержка вызвана курсом лечения моей астмы.

Крепко целуем.

[1] Открытка. Отправлена по московскому адресу Д. Н. Часовитиной.

[2] Речь идет об открытке, датированной 21 января 1927 г., в которой Д. Н. Часовитина и Г. С. Киреевская выражали радость в связи с предстоящим приездом Волошиных в Москву (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1267, л. 15). Отправлена в Коктебель, переадресована в Харьков, на квартиру Домрачевых.

219. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

4 февраля 1927 г. Харьков[1]

4/II 1927 Хар<ьков>. Пушкинская 14,
кв. Златогоровых.

Милые Наташа и Саша,

Приедем в Москву не 7-го, а 9-го февраля в среду. (*Ускоренным*). Задерживает лечение моей астмы. Телеграфировать будем Шервинским и остановимся у них.[2]

Обнимаем и целуем и вас, и всех милых коктебельцев.

Макс.
Маруся.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Харьков. 5.2.27.

[2] Московский адрес Шервинских – Померанцевский пер., д. 8.

220. ВЯЧ. И. ИВАНОВУ

9 февраля 1927 г. Москва

Дорогой Вячеслав, только что (после многих лет) приехал в Москву и встретился со Всеволодом Михайл<овичем>, уезжающим сегодня ночью.[1]

Пользуюсь этим малым листком бумаги, чтобы крепко обнять тебя и братски поцеловать.

На твои слова о «Св<ятой> Руси» единственным ответом может быть только мое стихотворение «Русь Гулящая», написанное 6 лет спустя.[2] Всеволод Мих<айлович> обещал мне послать их к тебе. К сожалению, я из Крыма лишен возможности писать тебе, и возможность перекликнуться через В<севолода> М<ихайловича> — очень редкий случай.

Max.

9/II 1927.

[1] В. М. Зуммер. Он уезжал в Рим, где предполагал посетить Вяч. Иванова.

[2] Стихотворения Волошина «Святая Русь» («Суздаль да Москва не для тебя ли...», 1917) и «Русь гулящая» («В деревнях погорелых и страшных...», 1923). См.: Т. 1 наст. изд. С. 257–258, 289–290. Отзыв Вяч. Иванова о стихотворении «Святая Русь» Волошину сообщил Зуммер в письме от 10 ноября 1926 г. – дословно приведя цитату из ивановского письма: «Вот как реагировали в Риме на посланное мною туда “Суздаль и Москва не для тебя ли...”: “Когда получил я прекрасное стихотворение Макса, Вами мне присланное, я сказал себе: “с подлинным верно, *она* – такова, но если бы такую имел я женой, то без всякого колебания развелся бы с ней”. И в моем запрещении ей и отлучении ея больше верности ей же самой, истинной, изначальной, призванной, не одержимой, чем в потворстве ее беснованию, ибо та, что сочетает монастырь с разгулом и разбоем, одержима семью бесами и воистину беснуется”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 578).

221. П. И. НЕРАДОВСКОМУ

23 февраля 1927 г. Москва[1]

23/II 1927. Москва. (34). Померанцевский 8, к<вартира> 1.

Дорогой Петр Иванович,

получил Ваше письмо и очень тронут им.[2] Но я ничего не могу сказать точного и верного о своем приезде в Петербург. Все зависит от хода моего лечения, которое мне назначил проф<ессор> Щервинский, это сложное лечение с электрическими аппаратами под его наблюдением, которое может продлиться и месяц и больше. Это (самая главная причина моего приезда) совершенно опрокидывает и путает мои планы, и самый СПБ теперь становится под вопросом. Выставка моя открывается 26/II и будет открыта неделю.[3] Надеюсь, что Вы в течение этого срока попадете в Москву и мы увидимся. Ввиду зависимости моего приезда от лечения, я думаю, лучше *не* задерживать заседания памяти Сурикову, т<ак> к<ак> явно, что весь март я проведу в Москве.

Привет всем петербургским друзьям, которых я все же не отчаиваюсь увидеть.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Москва. 23.2.27; Ленинград. 24.II.27.

[2] 18 февраля 1927 г. П. И. Нерадовский писал Волошину: «На 21-ое февраля было назначено заседание Совета с чтением Вашей рукописи К. И. Чуковским, но вчера <...> А. П. Остроумова сказала мне, что Вы уже в Москве и собираетесь на месяц в Петербург. Узнав об этом, я остановил рассылку повесток. Очень прошу Вас написать мне, можно ли оставить рукопись до Вашего приезда с тем, чтобы просить Вас лично прочесть ее у нас в Музее, когда Вы приедете сюда. Это было бы большое удовольствие для нас» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 877, л. 3).

[3] См. примеч. 8 к п. 196. Выставка Волошина в ГАХН была закрыта 5 марта 1927 г. (Труды и дни-2. С. 336).

222. П. И. НЕРАДОВСКОМУ

6 марта 1927 г. Москва[1]

6/III 1927. Москва (34) Померанцевский 8, к<вартира> 1.

Дорогой Петр Иванович,

на Ваше первое письмо я ответил тотчас же. Второе получил сейчас.[2]

Выставка моя закрылась уже.[3] О приезде в СПБ ничего не знаю: мое лечение в Москве очень затягивается, и боюсь, что у меня не останется совсем времени на СПБ, а придется прямо возвращаться в Коктебель. Если никто не приедет из СПБ «Рус<ского> Музея» в ближайшее время, то позвольте мне самому отобрать для Вас (посоветовавшись с местными искусствоведами) 10 аквар<елей> и переслать их Вам, если мне самому приехать не удастся.[4]

До свиданья.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Москва. 7.3.27; Ленинград. 8.3.27.

[2] См. п. 221, примеч. 2. «Второе» письмо П. И. Нерадовского (от 22 февраля 1927 г.) содержало просьбу поскорее ответить на предыдущее письмо, а также сообщение: «Выставка Сурикова продолжится у нас до лета во всяком случае, следовательно Вы ее увидите <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 877, л. 4).

[3] См. примеч. 3 к п. 221.

[4] Волошин и М. С. Волошина приехали из Москвы в Ленинград 31 марта 1927 г., остановились у Л. А. Аренс на Невском пр. (д. 84, кв. 26) (Труды и дни-2. С. 340).

223. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

29 марта 1927 г. Москва[1]

Дорогой Сережа, ты дал мне образец дружбы — в «английском», т. е. лучшем смысле этого слова. С любовью.

Макс.

[1] Надпись на акварели. Сделана, возможно, в день встречи с французским писателем Жоржем Дюамелем в квартире Шервинских. См.: Труды и дни-2. С. 339.

224. В. П. БЕЛКИНУ

9 апреля 1927 г. Ленинград[1]

9 IV 1927. СПБ. Невский 84, кв. 26 (Л. А. Аренс).

Дорогой Веня,

я уже неделю в СПБ, и со мной преглупая история: я схватил грипп и не выхожу из дому. Вместо человечьего голоса у меня змеиный шип, и доктора требуют, чтобы я возвращался немедля восвояси, и носу не показав на петербургские улицы. Обидное идиотство.

Очень хотелось бы повидать тебя и Алехана.[2] Дома я круглые сутки, но предпочтительно с 12 дня до 12 ночи.[3]

Макс.

[1] Открытка. Два почтовых штемпеля: Ленинград. 10. 4. 27.

[2] А. Н. Толстой. Он проживал в одном доме с В. П. Белкиным (Ждановская наб., 3).

[3] Во время пребывания Волошина в 1927 г. в Ленинграде Белкин виделся с ним на открытии его выставки в Литературно-Художественном кружке (в Доме печати) 14 апреля, где произнес приветственную речь (Труды и дни-2. С. 341).

225. И. М. ГРЕВСУ

9 апреля 1927 г. Ленинград

9/IV 1927. СПб. Невский 84, кв. 25 (Аренс).

Дорогой Иван Михайлович,

со мной приключилось самое глупое из несчастий: приехав в СПб,[1] я схватил еще по дороге грипп, потерял голос и вот сижу уже вторую неделю на квартире у знакомых, и доктора не

только не позволяют мне показать нос на улицу, но и требуют, чтобы я немедленно уезжал восвояси. Так что навестить Вас не смогу.[2] Но если бы Вы сами заехали бы ко мне в любой час дня в течение этих дней, что я еще остаюсь в СПб, я бы был бесконечно счастлив. Но увы!

Я и разговаривать то могу только шепотом. Все данные за то, что и вечер мой не состоится за полной потерей голоса.[3] Мне раз в четыре года удается выбраться из Коктебеля, и нужно же было сразу подцепить такой грипп.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 4 к п. 222.

[2] Волошин должен был встретиться с И. М. Гревсом 17 апреля 1927 г. (См.: Труды и дни-2. С. 341).

[3] Речь идет о вечере, приуроченном к открытию выставки Волошина в Литературно-художественном кружке 14 апреля 1927 г. (См.: там же).

226. С. Ф. ПЛАТОНОВУ

18 апреля 1927 г. Ленинград

18. IV. 1927. СПБ.

Многоуважаемый Сергей Феодорович,

Судьба была ко мне очень сурова в СПБ:[1] я просидел 2 недели взаперти, а в тот час, когда Вы сами навестили меня, дома случайно никого не было из моих, и меня не захотели будить. Вчера же я совсем уже было собрался к Вам,[2] но почувствовал себя так простудливо, что меня не отпустили. Простите, что так вышло. Для меня это еще одна черта общего невезения. И я все-таки не смог повидать Вас. Крепко жму Вашу руку и не теряю надежды увидать Вас летом в Коктебеле. Простите, что так вышло. Врачи меня высылают немедля из СПБ, и я сегодня уже выезжаю на юг.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 2 к п. 225.
[2] Речь идет о 17 апреля 1927 г. См.: Труды и дни-2. С. 341.
[3] Волошины выехали из Ленинграда 18 апреля 1927 г. (Там же. С. 342).

227. Ф. СОЛОГУБУ

18 апреля 1927 г. Ленинград

18/IV 1927. СПб.

Дорогой Феодор Кузмич,

Я очень неудачно приехал в СПб:[1] простудился с первого дня, схватил грипп, лишился совершенно голоса и просидел запертый в комнате 2 недели, а сейчас врачи меня отсылают немедля восвояси.[2] Так я и не видал ни Петербурга, ни друзей, ни знакомых. Знаю, что Вы очень больны, и не мог заехать к Вам... Мария Степановна шлет Вам привет.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 4 к п. 222.
[2] Написано в день отъезда в Москву.

228. В. Я. ЭФРОН

5 мая 1927 г. Коктебель[1]

5/V 1927. Коктебель.

Милая Вера, я с трудом добрался до Коктебеля (в Харькове пролежал неделю)[2] и благополучно довез сюда все свои бронхиты, хрипы, потерю голоса и воспаление плечевого сустава и пока храню их при себе. Малая температура и большая вялость. Маруся переутомлена и моей болезнью, и приведением дома в порядок. Дома мы застали Катю[3] и Андерсов. Жену Грифцова я очень хочу приютить, но это возможно только на май–июнь.[4] Дольше едва ли. Дело в том, что к нам в этом году слишком много едет «матерей с одним ребенком».

Ежели они захотят взаимоуплотняться на июль – август – то возможно и дольше июня. Но пока нас количество собирающихся пугает. (Но так бывает в начале каждого лета). В Москве (я ведь там продремал 12 час<ов> в кресле у Шервинских[5]) я слышал, что Миша *сокращен*.[6] Правда ли? Очень ли это катастрофично? В какой мере? С трудом вожу пером – т<ак> к<ак> болит плечо. Крепко целую тебя, Лилю, Кота[7] и Мишу. Вся моя теперешняя простуда – следствие нашей прогулки с Лилей в Румянцев<ский> Муз<ей>[8] и действий той злющей бабы, которая меня заставила снять пальто в холодном помещении: «А то кто Вас знает: может, Вы картину под пальто унесете» (это «Явление-то Х<риста> народу»![9]).

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 7.5.27; Москва. 11.5.27.

[2] Утром 19 апреля 1927 г. Волошины прибыли из Ленинграда в Москву и в тот же день вечером выехали в Харьков, где Волошину был предписан постельный режим. Пробыв в Харькове с 20 по 27 апреля, Волошины выехали в Феодосию 28 апреля и 30 апреля возвратились в Коктебель (Труды и дни-2. С. 342).

[3] Е. О. Сорокина. Ее приезд в Коктебель с дочерью и сыном отмечен 2 мая 1927 г. (Там же. С. 343).

[4] М. И. Грифцова. В. Я. Эфрон отвечала в недатированном письме (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1345, л. 31–32 об.): «...едем с Марией Ив<ановной> Грифцовой, кот<орая> будет, как теперь решено, жить со мной. Вероятно, выедем 26-го в четверг».

[5] Имеется в виду день 19 апреля, проведенный в Москве после приезда из Ленинграда и перед отъездом в Харьков.

[6] М. С. Фельдштейн. В. Эфрон сообщала о нем в цитированном письме: «Миша не приедет в Кокт<ебель>. Нет денег».

[7] Е. Я. Эфрон, К. М. Эфрон.

[8] Бывший Румянцевский музей (Музей изобразительных искусств на Волхонке, д. 12) Волошины посетили 28 марта 1927 г. (Труды и дни-2. С. 339).

[9] Монументальное полотно А. А. Иванова «Явление Христа народу» (1837–1857); ныне экспонируется в Гос. Третьяковской галерее.

229. Е. Л. ЛАННУ

6 мая 1927 г. Коктебель

6/V 1927. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович, уехав из Москвы,[1] я сразу заболел. В СПб просидел в комнате 3 недели.[2] Лишился дочиста голоса. Читать не мог.[3] Никого не видел. Врачи отправили поскорее восвояси. По дороге останавливался в Харькове. Пролежал в постели неделю. Были признаки пневмонии. Теперь благополучно довез до Коктебеля все свои гриппы, с осложнениями, с кашлями, с воспалением плечевого сустава, и здесь отлеживаю их в тишине, в молчании, на солнце. Дайте знать о себе. Приедете ли этим летом? Когда?[4]

Что делаете в Москве? И что вообще там делается? Конец (целый месяц) моей поездки был очень плачевен, и мой грипп вовсе не имел намеренья быстро проходить, а голосовые связки восстанавливаться. Теперь я на много зим снова засяду в Коктебеле. Привет Лани.[5]

Максимилиан Волошин.

P. S. Если у вас есть №№ «Europe»[6] — пришлите.

[1] См. примеч. 2 к п. 228.

[2] См. примеч. 2 к п. 225, примеч. 3 к п. 226.

[3] На открытии выставки Волошина в Ленинграде 14 апреля его стихи читали артисты С. Н. Жарковский и А. И. Шварц. См.: Труды и дни-2. С. 341. См. также п. 225, примеч. 4.

[4] Летом 1927 г. Е. Л. Ланн в Коктебель не приехал.

[5] А. В. Кривцова.

[6] См. примеч. 14 к п. 90.

230. М. С. и С. В. ШЕРВИНСКИМ

10 мая 1927 г. Коктебель

10/V 1927. Коктебель.

Мои милые Машенька и Сережа,

добрались мы до Коктебеля с трудом — со всем багажом болезней и недугов, приобретенных за время странствий.[1] И до

сих пор я еще их не растратил, а по дороге еще приумножил (в виде воспаления плечевого сустава). Так что, кроме хрипоты, меня еще постигла карма (за обжорство людьми – очевидно) невозможности писать им. С трудом вывожу эти вот кавлючки больной еще рукой и ношу ее на привязи. Маруся предается с упоением всем хозяйственным излишествам, допустимым только перед большими праздниками: белит комнаты по пяти раз подряд, мое<т> полы, снимает каждую картиночку, чтобы потом повесить снова. Весна стоит прохладная и засушная. Дом, собаки, новопосаженные деревья провели зиму без нас благополучно.

Но у меня нет еще сил наслаждаться окружающим, где таится какая-то подлая инфекция, которая рождает апатию духа, вялость – какую-то томительную полуболезнь. Хрипота стягивает горло (голос у меня по-прежнему, как у Трюфеля[2]). Таким голосом можно только лягаться, а не говорить ласковые слова. Плечо ноет и лишает правую руку все<х> обычных движений (ни писать – ни рисовать).

Кроме всего я усмотрел, разбирая книги, что я совершил воровство у тебя: увез случайно с твоего письменного стола анисимовский путеводитель по иконной выставке:[3] вероятно, Маруся, разбирая книги, сунула его, не поглядев на надпись, в нашу стопку книг. Прости ради Бога. Мне это воровство на руку – потому что я его сейчас штудирую с великой пользой для себя – но, может, он тебе нужен сейчас – напиши. Он ведь сейчас редкость, и его экземпляров нет у Анисимова. Он, кстати, сейчас был здесь – проезжал через Коктебель, но не мог заехать, т<ак> к<ак> остальные спутники по экспедиции не захотели останавливаться в Коктебеле.[4] Так мы и не видались с ним.

Старость очевидно сказывается тем, что все случайные болезни из пылающих становятся тлеющими. К этой медлительности процессов душа моя еще не привыкла.

В эти дни я сделал для себя радостное литературное открытие: я открыл для себя Марселя Пруста – и позор! – в русском переводе.[5] Я еще в 15 году просматривал его книги в Париже, и что-то мне в них не понравилось. А пришедшая позже к нему слава меня еще более несправедливо отдалила

его от меня. А теперь, начавши читать его в вагоне, я оказался захваченным и покоренным им. Это действительно новое и подлинное и, главное, простое и реальное. А я-то его в свое время заподозрил именно в отсутствии последнего.

Но французские журналы приносят каждый месяц горестные литературные вести. Почти в каждом № открываешь некрологи друзей. Как всё во французском искусстве – смерти идут сериями. Известный период кончен, и целый ряд шахматных фигур быстро убирают с доски. Сейчас идет серия тех, кого я, приехавши в Париж в начале века, уже застал литераторами. Сегодня прочел о смерти Ван Бевера – которого я знал долго и близко,[6] который был одним из редких библиографов и блюстителей подлинных текстов в франц<узской> литературе.

Не могу писать. Рука начинает мучительно ныть.

Хочется еще раз дружески и крепко обнять тебя и Машеньку, за все, что было хорошего в нашем путешествии этой зимой. Потому что ведь все беды <с> нами начались, как только мы уехали от Вас!

И еще хочется поцеловать милую, лучащуюся добротой и гостеприимством Анну Михайловну, крепко пожать руку Василию Михайловичу и приветствовать Ольгу Венедиктовну.[7]

Передай мой привет всем присным дома сего: Дарию Гистаспу <?>, Константину[8] и т. д.

Макс.

P. S. Пока у нас только Сорокины и Андерсы. Да бурный дух Марусин мечется по комнатам с тряпками, щетками, ведрами грязной воды и жидкой известью.

[1] См. примеч. 2 к п. 228.

[2] Коктебельское прозвище Алеши Остроумова, сына Л. Е. и В. П. Остроумовых.

[3] Имеется в виду издание: Государственный Исторический музей. Путеводитель по выставке памятников древнерусской иконописи. М., 1926.

[4] 7 мая 1927 г. А. И. Анисимов писал Волошину из Феодосии: «Вчера я дважды проезжал мимо Вас <...>, но был лишен возможности остановить автомобиль и навестить Вас хотя бы на 5 минут.

Я был не один, а в составе так наз<ываемой> “экспедиции”. Грабарь воспротивился, остальные пребывали равнодушными <...> Самым резонным возражением Грабаря было то, что, если я пойду, то и он принужден будет идти со мною, так как ему неловко будет оставаться в автомобиле, тем более что он “так давно” с Вами “дружен” и “не виделся” с Вами за этот Ваш приезд в Москву! – Если бы не это “руководительство” безалаберного и глупого, но претенциозного человека, поездка в Крым была бы подлинным счастием <...>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 186, л. 3–4).

[5] Имеется в виду кн.: *Пруст Марсель.* Под сенью девушек в цвету. Роман / Пер. с франц. Л. Я. Гуревич. В сотрудничестве с С. Я. Парнок и Б. А. Грифцовым. М.: Недра, 1927.

[6] С Адольфом Ван-Бевером Волошин познакомился в Париже в начале 1904 г. и привлек его к сотрудничеству с московским символистским журналом «Весы», где французский критик стал регулярно помещать свои корреспонденции. См.: Французские писатели – корреспонденты М. А. Волошина / Публ. П. Р. Заборова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л.: Наука, 1981. С. 234–235, 246–250.

[7] Родители С. В. Шервинского – А. М. и В. Д. Шервинские (отчество отца указано ошибочно), О. В. Барцева.

[8] О ком идет речь, не установлено.

231. М. А. ПАЗУХИНОЙ

11 мая 1927 г. Коктебель

11/V 1927. Коктебель.

Дорогая Марья Александровна, мы с 1 мая в Коктебеле и ежедневно ждем Вас. Катя Сорокина и Андерсы здесь. Маруся в хозяйственном исступлении: моет, белит, чистит. Я довез все свои болезни до Коктебеля и медленно (очень медленно) их преодолеваю, но чувствую себя еще совсем больным. Весна очень засушная, ветренная и не теплая. В доме все оказалось вполне благополучно без нас. Деревья (посадки Марусины) все принялись, собаки процветают. Вчера приезжали Ол<ьга> Ник<олаевна> и Лидия Андр<еевна>[1] – окончательно переберутся через неделю. Я надеюсь, что письмо это Вас уже не застанет в Москве. Но если оно придет до Вашего приезда,[2]

то, пожалуйста, Марья Александровна, привезите мне (или пошлите) бородинский хлеб (для диеты). Я еще ни разу не ходил гулять. Малая температура, которая все держится, придает ужасную вялость темпу моей жизни. Точно я еще до Коктебеля не добрался. Привет Вас<илию> Алек<са>нд<ровичу>, целую Дыма и Алика.[3] Ждем.

Макс.

[1] О. Н. Сербинова и Л. А. Шкарина.

[2] 23 мая 1927 г. М. А. Пазухина сообщила Волошину о намерении выехать в Коктебель в один из ближайших дней (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 927, л. 19 об.). Приехала она вместе с сыновьями, племянником В. Н. Черновым и няней Ф. Е. Двойняковой лишь 6 июня (Труды и дни-2. С. 346).

[3] В. А. Пазухин и сыновья его и М. А. Пазухиной – Вадим и Александр.

232. С. А. ТОЛСТОЙ

14 мая 1927 г. Коктебель[1]

14/V 1927. Коктебель.

Милая Соня, несмотря на все препятствия, которые мне чинились в Харькове[2] (постель, консилиумы), мне все-таки удалось довезти до Коктебеля все свои болезни, не растеряв, а приумножив (осложнение на легкие и воспаление плечевого сустава). Храню их еще до сих пор, но, кажется, они и сами собираются меня покинуть. Голос еще такой, что им никаких ласковых и вкрадчивых вещей говорить нельзя (можно только лягаться). Маруся мною извелась. Но теперь она в хозяйственном исступлении: моет, чистит, белит. Не дом, а Чистилище.

Живут у нас Сорокины и Андерсы. Больше пока никого. Вероятно, к 20 мая прорвет все плотины. Весна студеная, но засушная. Как «заграница» – Ол<ьги> Кон<стантиновны> и твоя?[3] В Харькове провели 10 дней, но я никуда не выходил из дому (Златогоровы), а Маруся почти что. Но меня навещали. Все (Дада, Надя, Галя,[4] Лиза Нов<ская>, Ляля[5]) бледные,

измученные работой – полуобморные. Маруся тебя целует крепко, а писать не может.

Обнимаю. Люблю. Целую.

Ольге Констан<тиновне> – привет.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Феодосия. 15.5.27; Москва. 17.V.27.

[2] См. примеч. 2 к п. 228.

[3] О. К. Толстая. В письме от 7 сентября 1926 г. С. А. Толстая сообщала: «Заграница по тысяче причин отложена на не раньше Р<ождест>ва» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1185, л. 33 об.).

[4] Л. В. Тимофеева, Н. П. Грицай (Домрачева), Г. Н. Сартиссон.

[5] Ольга Константиновна Платонова (1903–1995), библиотекарь.

233. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

28 мая 1927 г. Коктебель[1]

28/V 1927. Коктебель.

Милый Левушка,

сегодня благополучно приехали Валькиша с Трюфелем.[2] Дом начал оживать. Что касается эпиграфов, то с удовольствием предоставляю тебе полную свободу: можно было и не спрашивать.[3] Желаю тебе плодотворной работы в Узком и ждем в Коктебель.[4] Крепко обнимаем.

Мах.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 25.5.27; Москва. 1.VI.27.

[2] См. примеч. 2 к п. 230. Валькиша – Валькирия, коктебельское прозвище В. П. Остроумовой. Трюфель – ее сын Алеша Остроумов.

[3] 22 мая 1927 г. Остроумов писал Волошину: «С твоей легкой руки мне повезло продать свою повесть о Крыме совсем неожиданным и исключительным образом, при несомненном участии добрых духов. <...> Кстати, не разрешишь ли ты мне поставить заключительные стихи “Дома поэта” эпиграфом к моей повести о Крыме? Там много археологии, любви к морю, да и основная мысль очень сходна

с твоей. Герои там татарские комсомольцы, ребята хорошие, головорезы, романтики и идеалисты. Словом, штирнерианцы и святые нищие. Если ничего против не имеешь, черкни открытку: повесть будет ходкая, всякий едущий в Крым непременно купит и сможет прочесть твой завет. Выйдет она этим летом. Называется “Золотая колыбель” (эмблема греческого княжества в Крыму)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 917, л. 9–10). Заключительные шесть строк стихотворения Волошина «Дом поэта» (первая из них: «Будь прост, как ветр, неистощим, как море») взяты эпиграфом к повести Льва Остроумова «Золотая колыбель» (<Харьков:> Пролетарий. <1928>. С. 5); это — первая публикация фрагмента стихотворения, в полном объеме впервые увидевшего свет в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1952. № 31).

[4] После пребывания в подмосковном Узком Л. Е. Остроумов приехал в Коктебель 20 июля 1927 г. (Труды и дни-2. С. 352).

234. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

13 июня 1927 г. Коктебель

13. VI. 1927.
Коктебель.

Дорогая Анна Петровна,

У меня нет ни одного подрамника указанного тобой размера.[1] Самый большой — квадратный: 2½ / 2 арш<ина>. Если это не подойдет для портрета в рост, то придется заказать. Столяр есть и в Коктебеле, есть и в Феодосии. Подрамник дело не мудреное. Напиши, пожалуйста, точно о сроке приезда. Твоя комната всегда ждет тебя так же, как и мы. Но мы пока ею пользуемся. У нас перепроизводство детей. Сейчас их около 20 чел<овек>, но будет еще. Благодаря им двор очень «оживлен». Лето сухое и знойное. За всю весну ни капли дождя и уже есть заминки с хлебом. Если Нерадовский не будет устраивать моей выставки,[2] то будь добра — привези мне мои акварели, кот<орые> у Елиз<аветы> Серг<еевны>.[3] Они в папке и <не> займут много места. Крепко обнимаю Сергея Вас<ильевича>.[4] Привет Вадиму Никандр<овичу>[5] и Хлопину. Маруся приветствует.

МАХ.

[1] Ответ Волошина на обращение А. П. Остроумовой-Лебедевой в открытом письме от 7 июня 1927 г.: «...не найдется ли у тебя подрамника для холста размером 2¾ арш<ина> / 1¼ арш<ина>. Временно, только на нем попробовать. Я очень хочу написать портрет Богаевского. На днях написала ему письмо с вопросом: может ли он пожить в Коктебеле и позировать мне. Ответа еще не шлет. Если у тебя нет подрамника, не знаешь ли ты столяра в Коктебеле, кот<орый> бы мог мне его сделать» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 41).

[2] Вероятно, речь идет о планируемой выставке акварелей Волошина в Ленинграде, которые были оставлены им П. И. Нерадовскому, заведующему художественным отделом Русского музея. См. п. 222.

[3] Е. С. Кругликова.

[4] С. В. Лебедев.

[5] В. Н. Верховский.

235. Л. В. КАНДАУРОВУ

22 июня 1927 г. Коктебель

22/VI 1927. Коктебель.

Милый Леонид, спасибо за весть о себе и за Астрономический бюллетень.[1] Наш дом действительно переполнен до отказа. Но все же заезжай сперва в Коктебель. Люди все-таки передвигаются, и для тебя всегда найдется место – хотя бы у меня в мастерской. Так что как-нибудь разместимся. В этом году у нас всё женщины и дети. Очень много детей. Я действительно болел гриппом и долго. В СПБ просидел 3 недели взаперти и остатки гриппа привез в Коктебель, где болел весь май месяц... И теперь еще вялость и апатия. Маруся занята, разумеется, по горло. До свиданья. Крепко обнимаю тебя. Жду.

Макс.

[1] Речь идет о списке «Астрономические явления. 1927» (сведения с 22 июня до 25 сентября), приложенном к письму Л. В. Кандаурова от 18 июня 1927 г. из Твери (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 617, л. 36–37 об.): «В этом году я, *может быть*, на *июль* приеду в Крым. Мои знакомые едут в Отузы. Не знаю, как поступить мне, присоединиться к ним, или попытаться заглянуть к вам. Юлия Леонидовна <Оболенская. – *Ред.*> говорила, что у Макса 408 новых друзей. Пожалуй, оста-

новиться у вас дело совсем безнадежное. <...> В начале мая был в Питере, мне говорили, что Макс все время хворал».

236. В. П. БЕЛКИНУ

22 июня 1927 г. Коктебель[1]

22 VI 1927.

Милый Веня, к сожалению, мне невозможно принять твою знакомую с ее дочерью, т<ак> к<ак> в этом году дом переполнен до отказа и забит людьми до начала сентября.[2] Коктебель же – курорт сравнительно пуст и комнат много. Пуст он частью от тревожных слухов, частью от дороговизны комнат. Так что рекомендовать, а тем паче занять комнату заранее для твоей знакомой не берусь. С 10 сент<ября> же охотно ее приму у себя. Погоды у нас обычно хорошие до декабря.

Твоей болезни очень сочувствую,[3] т<ак> к<ак> и мой грипп только на днях прошел, оставив по себе крайнюю вялость и слабость. Не могу себе простить, что так и не удалось повидать, будучи в СПб, Бор<иса> Михайл<овича> перед смертью.[4] Но это было для меня физически невозможно. Напрасно ты извиняешься за «плохое красноречие» на моем вечере.[5] Твои слова не были связны, но очень трогательны, и я очень, очень оценил твое дружеское самопожертвование.

Крепко обнимаю тебя и Веру.[6]

Привет Елиз<авете> Серг<еевне>, Алихану,[7] Сологубу (как он живет?). Маруся всех приветствует.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 22.6.27; Ленинград. 27.6 27.

[2] В письме от 5 июня 1927 г. В. П. Белкин просил Волошина принять в Коктебеле в июле и августе Екатерину Марковну Соколову с дочерью (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 246, л. 5–6 об.).

[3] В том же письме Белкин сообщал, что страдает от хронических кожных нарывов.

[4] Б. М. Кустодиев. Он скончался в Ленинграде 26 мая 1927 г. Волошин, согласно его помете в записной книжке, предполагал повидаться с Кустодиевым 17 апреля (Труды и дни-2. С. 341). Будучи в

Ленинграде в 1924 г., Волошин многократно встречался с Кустодиевым с 30 апреля по 8 мая, когда тот работал над его портретом (см.: Там же. С. 222—223). В упомянутом письме от 5 июня Белкин, говоря о смерти Кустодиева, добавлял об этом портрете: «Я считаю, что портрет его работы с тебя замечательный и единственный из твоих портретов, где твой облик не только наружный, но и внутренний дан в связи с землей, на которой ты живешь. В жесте, в напряженном средоточии лица и в трагической пустынности пейзажа сказано много больше, чем то нужно для портрета. Этот холст — история жизни поэта».

[5] См. примеч. 3 к п. 224. Имеются в виду слова Белкина из того же письма: «Макс, не сердись на меня, что я оказался плохим в красноречии в своем приветственном Слове в достопамятный вечер, говорил без всякой подготовки, т<ак> к<ак> был мобилизован перед самым выходом на эстраду».

[6] Вера Александровна Попова (1891—1960), жена В. П. Белкина.

[7] Е. С. Кругликова, А. Н. Толстой.

237. А. А. ГУБАРЕВИЧ-РАДОБЫЛЬСКОЙ

1 июля 1927 г. Коктебель

1/VII 1927. Коктебель.

Многоуважаемая Анастасия Антоновна.

Сейчас мой дом переполнен и пребудет таковым до начала сентября. Только тогда смогу Вас принять снова.[1] Помещение, которым я располагаю, непропорционально мало сравнивая с числом гостей, которые имеют в нем потребность, и самое большое неудобство — сохранять для кого-нибудь обещанную комнату и отказывать другим, уже приехавшим в Коктебель. Вас мы ждали весь этот месяц, и очень досадно, что вы не дали знать о своей болезни своевременно. К сожалению, это делают все, совершенно не принимая во внимание интересов тех, кто бывает из-за небрежности лишен возможности получить у нас приют. (Северные навыки гостиниц, санаторий и пансионов).

Надеюсь увидеть Вас у себя в начале сентября.

Максимилиан Волошин.

[1] Ответ на письмо А. А. Губаревич-Радобыльской, отправленное из Москвы 24 июня 1927 г.· «Вашу открытку с любезным разрешением приехать к Вам на июнь мы своевременно получили, и я была Вам очень благодарна. Но у меня разболелся палец на руке, и я не смогла выехать из Москвы и не могла писать; целый месяц пришлось пролечить палец. Николай Кириякович тоже был болен: у него был сильный грипп, так что он недавно встал с постели. Теперь я могу рассчитывать выбраться в Крым только во второй половине августа, и если эта возможность у меня будет, то я опять напишу Вам» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 472, л. 1–1 об.). Упоминается Н. К. Пиксанов, почтовая карточка адресована: «Максимилиану Александровичу Волошину. От Н. К. Пиксанова».

238. А. Ф. ГАУШУ

10 июля 1927 г. Коктебель

10/VII 1927. Коктебель.

Дорогой А<ле>ксандр Феодорович,

Одновременно посылаю Вам заказной бандеролью 16 акварелей на музей.[1] Они будут как раз вовремя. Послал ли Богаевский, не знаю: с весны не был в городе: теперь у меня страда: гостей сейчас 80 человек. Слыхал еще зимой от Бог<аевского>, что Вы в Севастополе. Очень хотел бы повидаться: не соберетесь ли Вы в Коктебель осенью (с сентября) пожить и поработать – с женою... Здесь ведь летами работаю много в живописи, зимой пишу стихи (количественно, как всегда, – мало).

Привет Шпажинскому.

Крепко жму руку.

Максимилиан Волошин.

[1] Отклик на просьбу А. Ф. Гауша в письме от 8 июля 1927 г. из Севастополя: «К посланному Вам “Ассоциацией Сев<астопольских> Художников” приглашению участвовать на Выст<ав>ке Ассоциации позвольте прибавить еще раз нашу просьбу прислать Ваши прелестные вещи на нашу Выст<ав>ку. Простите, что письмо мое запаздывает, но написать его Вам было поручено Ю. И. Шпажинскому и мне, но он все обещает написать и из этого ничего не выходит <.. > Вы-

ставка откроется, вероятно, в последних числах июля <...> Я здесь уже 3 года, работаю по школам и почти только в летние каникулы успеваю сделать что-нибудь для себя <...>

А Конст<антин> Фед<орович> <Богаевский. – *Ред.*> пришлет нам что-нибудь? Не слышали? Зимою мы с ним обменялись письмами, и он очень мило звал меня летом к себе вместе пописать» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 398). В числе акварелей Волошина, экспонировавшихся на 1-й выставке Севастопольской Ассоциации Художников, которая былаоткрыта с 25 июля по 1 сентября 1927 г. (приглашение Волошину за подписью Гауша, председателя Ассоциации, было отправлено 29 июня 1927 г. // ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 45, л. 3), были: «Предгорий героические сны», «Оранжевого цвета расцветшая луна», «Бронзовая земля», «После грозы» (упомянуты в севастопольской газете «Маяк Коммуны» 31 августа 1927 г. // Труды и дни-2. С. 354).

239. М. П. КУДАШЕВОЙ

17 июля 1927 г. Коктебель

17/VII 1927. Коктебель.

Милая Майя,

мне очень нужна с твоей стороны одна услуга: в июне арестован мой друг Сергей Николаевич Дурылин: поэт, критик, священник.[1] Он принял священство в 1922 и немедленно был сослан <в> Челябинск на 2 года.[2] Уже 2 года как вернулся. Он сотрудник ГАХН'а. Я об нем хлопочу через Политический Кр<асный> Крест – через М. Л. Винавера, который мне сообщает, что он может осво<бо>дить его немедленно, если у него будет бумажка, рекомендующая его от Академии Х<удожественных> Н<аук>.[3] Но выдачу такой бумажки Пет<р> Сем<енович>[4] почему-то заде<р>живает, хотя Дурылин являлся эти годы одни<м> из самых деятельных членов ее. Пожалуйста, повлияй в этом отношении на П<етра> С<еменовича>. Он, вероятно, смущен тем, что Дурылин – священник. Но после ссылки он лишен права служения и никакого участия в церковных делах не принимал последние годы, равно как и в политике – он может в этом отношении быть за него

совершенно спокоен. А несколько слов рекомендации от ГАХН'а своему деятельному, постоянному сотруднику даст Винаверу возможность его освободить из узилища. Это письмо тебе передаст Марина Баранович, очаровательная девушка, обладающая редким даром: она великолепно читает стихи особенно своей тезки: Марины Цветаевой.

Привет Петру Семен<овичу> и Надеж<де> Алек<с>андр<овне>.[5] Крепко тебя обнимаю.

Макс.

[1] С. Н. Дурылин, выехавший из Коктебеля 8 июня 1927 г. (Труды и дни-2. С. 346), был арестован сразу по возвращении в Москву – 10 июня, препровожден в Бутырскую тюрьму. Поспешный отъезд из Коктебеля был вызван известием об убийстве в Варшаве (6 июня) советского полпреда в Польше П. Л. Войкова; многими в кругу Волошина это было воспринято как предвестие новой войны. В позднейшей записи (от 26 мая 1930 г.) Волошин вспоминает о приезде в Коктебель С. С. Заяицкого с сыновьями на автомобиле: «В этот день в газетах была весть об убийстве Войкова. С. Н. <Дурылин. – *Ред.*> тотчас, узнав, собрался в Москву и уехал с этим же автомобилем. Это было начало его ареста и ссылки» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 355–356). Дурылину было предъявлено обвинение по статье 58/14 Уголовного кодекса в том, что он «имел отношение к руководителю антисоветской группы почитателей писателя Розанова, <Г. А.> Леману; давал последнему справки и устные сведения о настроениях, высказываниях Розанова и его биографии; сам же Дурылин пропагандировал некоторые моменты из учения Розанова, являющегося, несомненно, контрреволюционным» (*Макаров В.Г.* «...Элемент политически безусловно вредный для Советской Власти» (по материалам следственных дел в отношении С. Н. Дурылина 1922 и 1927 годов) // С. Н. Дурылин и его время / Составление и редакция Анны Резниченко. Кн. 1. Исследования. М.: Модест Колеров, 2010. С. 69–70).

[2] Дурылин принял духовный сан ранее – в 1920 г.: 8 марта епископ Феодор (Поздеевский) рукоположил его в сан диакона, а 15 марта – в сан иерея с обетом безбрачия (*Торопова В.Н.* Судьба как зеркало пути российской интеллигенции // «Я никому так не пишу, как Вам...»: Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С. 48). Арестован Дурылин был 12 июля 1922 г. и приговорен к ссылке в административном порядке в Туркестанский край на два года, который был заменен на Челябинскую область, под гласный надзор ГПУ. В Челя-

бинске Дурылин прожил с января 1923 по ноябрь 1924 г. (см.: Там же. С. 52–54). См.: Из следственного дела С. Н. Дурылина 1922 года // С. Н. Дурылин и его время. Кн. 1. С. 55–63; *Боже В.С.* С. Н. Дурылин: челябинская ссылка (1923–1924) // Там же. С. 77–83.

[3] Письма М. Л. Винавера, содержащего это предложение, в подборке его писем к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 342) не имеется.

[4] П. С. Коган.

[5] Н. А. Коган.

240. А. И. ЯРОЦКОМУ

30 июля 1927 г. Коктебель[1]

30/VII 1927. Коктебель

Дорогой Александр Иванович,

Ваше известие о приезде в Коктебель к 1 сент<ября> очень меня обрадовало.[2] Жду. Климат у нас в сентябре не отличается от Южн<ого> Берега. Хорошо. Тепло. Только это, как знаете, может прерваться на неделю равноденственными бурями. Но эта возможность не есть обязательство. И остальной Крым от этих эффектов равноденствия не избавлен.

Купаться вполне возможно. Винограду много и местного и из соседних Отуз.

Привет всем Вашим. Приедет ли кто из них с Вами? Ждем всех.

Максимилиан Волошин.

Мар<ия> Степан<овна> приветствует Вас и Нину Владимировну.[3]

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 31.7.27; Москва. 3.8.27. Отправлено по адресу Бабухинской больницы (Орловский пер., д. 2).

[2] В письме от 24 июля 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1368) А. И. Яроцкий спрашивал у Волошина разрешения приехать в Коктебель в сентябре и задавал конкретные вопросы, на которые отвечает Волошин в письме.

[3] Н. В. Яроцкая (урожд. Винберг), жена А. И. Яроцкого.

241. Э. Ф. ГЕЙНЕ

27 августа 1927 г. Коктебель

27/VIII 1927. Коктебель.

Могу принять с десятых чисел сентября.[1] Захватите мешок для сена (нет матрацев). И профсоюзный билет и справку о жаловании (самозащита от курорт<ных> налогов).

Если собираетесь работать с натуры – не забудьте взять в Феодосии разрешение в ГПУ (пограничная полоса!).

Обед стоит около 80 к. Пансион 2 р.

На одесской выставке выставляю, но не бывал никогда.[2]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме из Жмеринки от 21 августа 1927 г. Э. Ф. Гейне просил Волошина приютить его в своем доме в Коктебеле, сообщив о себе: «Я по образованию – художник и филолог. Учился в Петербурге и (очень немного) в Германии – в München'е» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 402). В ответном письме от 30 августа Гейне сообщал о невозможности приехать в этом году в Коктебель: «1-го сент<ября> начинается работа в школе» (Там же).

[2] Подразумеваются осенние выставки картин Художественного общества К. К. Костанди в Одессе 1925–1927 гг. В письме от 21 августа Гейне сообщал, что выставлял там свои работы.

242. А. А. КИПЕНУ

27 августа 1927 г. Коктебель

27/VIII – 1927 г.

Дорогой Александр Абрамович,

Спасибо за привет и любовь.[1] Посылаю Вам на этот раз 30 акварелей (малого формата). Если Вы мне их вернете, *как* в первый раз, *застекленными*, почту себя облагодетельствованным, т<ак> к<ак> у меня денег на стекла нет. Список с именами и ценами вкладываю в бандероль. Напишите свое впечатление, мне очень ценно Ваше мнение. Зимой был на севере.[2] Устраивали мою выставку в Москве в Акад<емии> Х<удожест-

венных> Наук и в СПБ.[3] Приехал больной гриппом. Болел 3 месяца. Сейчас измучен летним людоворотом, который не иссякает. Очень хотелось бы Вас видеть осенью в Коктебеле. Адрес Толстого: Ждановская наб<ережная> 3.[4] СПБ. Я его не видал.

Крепко обнимаю.

Максимилиан Волошин.

[1] В письме из Одессы от 15 августа 1927 г. А. А. Кипен приглашал Волошина принять участие в 3-й осенней выставке картин Художественного общества К. К. Костанди, открывавшейся в начале октября («Крайний срок присылки картин 20 сентября 1927 года»): «Не откажите известить меня, по возможности скорее, какую площадь (приблизительно) нужно предоставить для Ваших работ <...> мы все, и одесская публика Вас любим и ценим очень высоко. Посему для Ваших работ всегда найдем сколько угодно места» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 79, 80).

[2] В том же письме Кипен просил на обороте каждой высылаемой работы обозначить название произведения и цену для продажи.

[3] См. примеч. 8 к п. 196, примеч. 3 к п. 224. Выставка работ Волошина в Ленинграде была открыта с 14 по 21 апреля 1927 г.

[4] В цитированном выше письме Кипен спрашивал: «Видались ли в нынешнем году с Алешей Толстым? Давно собираюсь ему написать и поблагодарить за память обо мне (он прислал мне дружеское приветствие), да все не знаю, где он, не имею его адреса. Если знаете, сообщите» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп. С. 80).

243. А. Ф. ГАУШУ

2 сентября 1927 г. Коктебель

2/IX 1927. Коктебель.

Дорогой Александ<р> Феодорович,

Спасибо за привет и за доброе мнение о моих работах.[1] С радостью принимаю Ваше предложение поменяться своими работами: я очень люблю Ваши произведения и до сих пор помню Ваши этюды, привезенные из Англии.[2] Цена моих аквар<елей> (на случай продажи) по 25 р. Очень жалею, что

не увижу Вас этой осенью, но надеюсь, что Вы как-нибудь заедете в Коктебель — весною или осенью (летом мой дом слишком переполнен) в будущем году.

До свиданья. Жму Вашу руку и прошу передать мой привет Вашей жене.

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 238, примеч. 1. Письмо А. Ф. Гауша с «добрым мнением» о работах Волошина, видимо, не сохранилось.

[2] 13 ноября 1927 г. Гауш писал Волошину из Севастополя: «...посылаю Вам Ваши акварели с выражением большой благодарности Ассоциации за предоставление их на нашу Выст<ав>ку. Они имели крупный успех и послужили даже поводом к отдельной заметке в местной газете, озаглавленной “Гвоздь Выставки”. С особенным удовольствием воспользовался Вашим согласием поменяться и выбрал себе “Послегрозовой вечер”, взамен чего прилагаю три акварели на выбор. Радуюсь, что теперь всюду будет сопровождать меня Ваша прекрасная вещь. Если мои акв<арели> Вам не прийдутся по вкусу — вышлю что-ниб<удь> другое» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 398. Упомянутая оценка пейзажей Волошина была высказана в заметке «На выставке картин» (за подписью: С.), напечатанной в севастопольской газете «Маяк Коммуны» 31 августа 1927 г.).

244. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

15 сентября 1927 г. Коктебель[1]

15/IX 1927. Коктебель.

Милая Наташа, сейчас землетрясение отодвинуло все предыдущие события на сотни лет назад.[2] Трясло здорово. До хтонического ужаса в животе. Но все прошло благополучно. Пострадал больше всего мой кабинет и мастерская. Штукатурка, книги с полок, вазы: все сыпалось с грохотом, и весь дом скрипел до основания. У Юнге снесло трубу с крыши. Толчки идут третьи сутки, успокаиваясь постепенно. Все спали эти ночи во дворе.

Первые толчки: было так, как будто какой-то гигант в припадке ярости схватил дом двумя руками и трясет его. О твоем отъезде: ты поступила умно и тактично. Я ни минуты

не заподозрил тебя в ревности. Кроме всего, в тебе говорил тайный лошадиный инстинкт, предупредивший тебя о наступающей катастрофе. Это несомненно. В общем, все привело к лучшему. Я слишком многое узнал post factum и только смутно почувствовал твое душевное состояние, когда ты приходила прощаться вместе с Гали́.[3] С Любочкой мы прощались дружески.[4] Ее было жалко: ее тетки заклевали после твоего отъезда: я ее звал возвращаться в Коктебель, но только тогда, когда тебя не будет, чтобы здесь Вы не встречались больше.

Маруся совсем больна от трясения. У нее форменная морская болезнь. Но в общем у всех нас выработались морские ноги.

Крепко обнимаю тебя и Сашу.[5] Привет Ел<ене> Вас<ильевне> и Алекс<ею> Николаеви<чу>.[6]

Макс. Маруся.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 15.9.27; Москва. 17.IX.27.

[2] Крымское землетрясение началось в ночь с 11 на 12 сентября в 0 ч. 20 мин. (силой в 4–8 баллов, с эпицентром близ Ялты). 13 сентября 1927 г. в заметке «Землетрясение в Крыму» (Киевский пролетарий. № 208) сообщалось: «Большая трещина обнаружена на даче писателя Волошина. Дача Вересаева повреждена. Многие часы остановились. Дачники проводят ночь на улице, ожидая новых толчков» (Труды и дни-2. С. 359). См.: *Лидин В.* У художников. М., 1972. С. 86–88; *Рождественский Вс.* Страницы жизни. Из литературных воспоминаний. 2-е изд., доп. М.: Современник, 1974. С. 370–371.

[3] Галя Алексеевна Назаревская. Н. А. и А. Г. Габричевские уехали из Коктебеля в Москву 6 сентября (Труды и дни-2. С. 359). О напряженной атмосфере во взаимоотношениях гостей Волошина, способствовавшей этому отъезду, см. в недатированном письме А. Г. Габричевского к Волошину (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 167–168).

[4] Л. А. Назаревская; уехала из Коктебеля в Москву 12 сентября (Там же).

[5] А. Г. Габричевский.

[6] А. Н. Северцов (1866—1936), отец Н. А. Габричевской, биолог, академик Российской Академии наук, и Е. В. Габричевская (урожд. Бодиско; 1862–1930), мать А. Г. Габричевского.

245. Ф. Ф. ДИДЕРИХСУ

15 сентября 1927 г. Коктебель

Я ответил Вам открыткой на первое Ваше письмо.[1]

Не могу Вам ответить, к сожалению, ничего более утешительного и теперь. В Коктебеле нет никаких указаний на пребывание Вашей жены, и у меня она не была. В Феодосии справлялись по моей просьбе, и результаты такие же.

Думаю, что Вам надо было приехать в Крым самому и, прежде всего, обратиться в Симферополь в клинический городок, где помещается единственная в Крыму больница для нервнобольных. М<ожет> б<ыть>, в Крымздрав-отделе могли бы оказаться сведения.

Но прошедшая надо всем Крымом только что катастрофа[2] очень запутает сейчас все возможные справки и сведения. Лично я Вашей жены не знал и фамилию ее не слыхал (если не считать художницы В. М. Ходасевич, по мужу Дидерикс[3]).

Очень понимаю и разделяю Вашу тревогу и сожалею, что не могу Вам помочь, т<ак> к<ак> сам пребываю в Коктебеле безвыходно.

Максимилиан Волошин.

15/IX. 1927.
Коктебель.

[1] 1 сентября 1927 г. Ф. Ф. Дидерихс писал Волошину: «Уважаемый гр<ажданин> Волошин, разрешаю себе обратиться к Вам с просьбой понуждаемый следующими обстоятельствами. Жена моя, кажется, известная Вам поэтесса, Лидия Ивановна Аверьянова-Дидерихс, пропала без вести. 12/VII она выехала из Ленинграда в Крым. От 15/VII получена была от нее открытка из Ялты с сообщением, что в эту же ночь она отправляется дальше в Феодосию и думает побывать в Коктебеле, куда и просила адресовать почту до востребования. Однако вся почта <...> вернулась вся обратно в Ленинград. От 1-2/VIII была получена открытка со следующим содержанием: "Не писала вследствие тяжелой нервной болезни, течение которой не помню. Сижу сейчас в Севастополе. Завтра выезжаю домой". С тех пор жена никаких сведений о себе больше не давала. Г.П.У. Л.В.О. на справку

ответила, что пока еще Л. И. Аверьянова не арестована. Разного рода справки в Севастополе пока что не дали никаких результатов. Я надеюсь, что Вы не откажете в любезности и сообщите все, что, быть может, Вам известно о пребывании жены в Крыму. Я был бы Вам чрезвычайно благодарен, если бы Вам удалось установить хотя бы ее местопребывание во время течения болезни. <...> P. S. Возможные в связи с розысками расходы будут немедленно возмещены по уведомлению» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 501, л. 1–2). Об исчезновении Аверьяновой, вызванном психическим недугом, и возвращении ее через 3 месяца домой см.: *Павлова М. М.* «Поэта хрупкая судьба...» // Аверьянова Лидия. Vox humana: Собрание стихотворений. М.: Водолей, 2011. С. 239–243.

[2] Речь идет о череде землетрясений, произошедших в Крыму в 1927 г. См.: *Двойченко П.А.* Черноморское землетрясение 1927 года в Крыму // Черноморские землетрясения 1927 года и судьбы Крыма. Симферополь: Крымгосиздат, 1928. С. 77–99.

[3] В архиве Л. И. Аверьяновой, сохранился автограф Волошина:

«Быть изгоем при всех царях и народоустройствах.
Совесть народа – поэт. В государстве нет места поэту...
14/IV. 1927. СПб.»

На обороте автографа рукой Аверьяновой запись: «Мне дал лично, а потом забыл мою фамилию и потому такое письмо о моей пропаже в 1927 г.» (ИРЛИ, ф. 355, ед. хр. 15). См. также: *Аверьянова-Дидерихс Л. И.* Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 года / Публ. М. М. Павловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003-2004 годы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. С. 545–559.

246. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ и К. В. КАНДАУРОВУ

17 сентября 1927 г. Коктебель

17. IX. 1927. Коктебель.

Мои милые Юлия Леонидовна и Константин Васильевич, ждем вас со дня на день.[1] Народу у нас совсем стало мало и разъезжаются ежедневно. Землетрясение не причинило больших материальных ущербов (приедете – увидите), но дало познать «хтонический ужас».[2] Больше всего пострадал мой кабинет (под вышкой, благодаря ее эластичности): штукатурка

с западной стены, вещи, безделушки, фарфор, картины, книги с полок неслись как метательные снаряды. Точно обезумевший гигант, сжав весь дом в кулаках, тряс его с яростью.*

Ждем. Обнимаем. Целуем.

Макс.

[1] Ю. Л. Оболенская и К. В. Кандауров в это время жили в Феодосии (с 31 августа до, предположительно, 8 октября 1927 г. // Труды и дни-2. С. 354, 362).

[2] См. п. 244, примеч. 2.

247. О. К. ТОЛСТОЙ

20 сентября 1927 г. Коктебель[1]

Дорогая Ольга Константиновна, все это лето было очень тесно и беспокойно. Я вернулся с севера больной и усталый. Болезнь длилась и здесь — все начало лета — и оставила в наследство равнодушие и апатию, которые не покидали меня все это лето. Прилив гостей был необычайно силен в этом году. Болезнь, угроза войны, аресты, небывалый людоворот и наконец землетрясение сделали жизнь катастрофической и мрачной. Нервный шок от первых толчков был очень велик. И хотя землетрясение не имело той силы, что в Ялте, но все же оно дало ощущение Ужаса, к которому трудно привыкн.ть.[2] Както сразу стал понятен сейсмический ритм византийской молитвы, полученной во время землетрясения: «Свят, Свят! Свят! Господи Саваоф, исполни небо и земля славы Твоея!» В сотрясении земли действительно чувствуется ярость Бога Библии. Я знал о постигшем Вас горе, Ольга Константиновна,[3] и все лето у меня не было ни сил, ни минуты времени отвлечься от окружающего, текущего. Простите, поймите и не сетуйте. Примите мое запоздалое дружеское сочувствие.

Крепко обнимаю и целую Соню.[4]

Максимилиан Волошин.

---

* *В автографе:* ростью. *Далее вымарано несколько слов.*

[1] Приписка к письму М.С. Волошиной от 20 сентября 1927 г., в котором шла речь о последствиях землетрясения: «Я очень тяжело и болезненно пережила землетрясение. Оно нас застало во сне, и рушилось все в Максином кабинете нам на головы, и трясемся мы до сих пор <...>. Дом пострадал: трубы и печи, в кабинете у Макса обвалилась вся штукатурка и отошла западная стена. Масса трещин и отошел балкон, снесло с юнговского дома трубы и черепицу. <...> Макс наружно спокоен и вносит много покоя, но внутренно, я знаю, он потрясен страшно – только не показывает, а я видела, как он бледнел при толчках».

[2] См. п. 244, примеч. 2.

[3] Подразумевается, видимо, кончина сестры О.К. Толстой – Анны Константиновны Чертковой (урожд. Дитерихс; 1859–1927), жены В.Г Черткова.

[4] С.А. Толстая.

248. В.Я. ЭФРОН

26 сентября 1927 г. Коктебель[1]

26/IX 1927. Коктебель.

Милая Вера, спасибо тебе за приглашение.[2] Но я в Москву не собираюсь. Первые три раза нас тряхнуло очень сильно.[3] Но сломало <?> только трубы и одну (с юн<говского> дома) снесло. Многое попадало со стен. Но большого ущерба для дома не было. Хуже того, что прошло уже две недели, но земля еще продолжает ходить под ногами и временами вздрагивает. Каждый организм обрат<ился> в сейсмограф, без участия сознания реагирующий на каждое движение почвы сжатием сердца. Я это переношу сравнительно легко. Но Маруся измучилась окончательно. Она не спит. Мы живем в музыкальной комнате. Ее осязание, и обычно бывшее выше нормально<го>, обост<р>илось до того, что она слышит, как клоп ползет и как блоха копытами <?> цепляет за простыню (И гад морских подводный ход // И дольней лозы прозябанье[4]). А если к этим деликатным звукам присоеди<ни>ть летчиков, которые горланят пьяные песни и приходят по ночам спрашивать: «А мы хотим Волошина видеть... Он, может, сейчас стихи пишет? Так мы его вдохновим», да еще вой перепуганных собак и всенощной вопль гусей, потревоженных вздрагиваньем земли, то

получается сложная и не лишенная цельности симфония, от которой и человек со здоровыми нервами проснется. Если окажется возможность – то, может, выедем в Харьков нед<ели> на 2, чтобы дать Марусе выспаться – не больше.[5]

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 27.8.27; Москва. 30.8.27.

[2] 22 сентября 1927 г. В.Я. Эфрон писала Волошину: «...если тебя удерживает от приезда в Москву отсутствие комнаты, то знай, тебя с Марусей пристрою у себя. Разгородим с тобой большую мою комнату перегородкой, и у вас будет *своя* хоть маленькая, но своя комната. Не изводитесь в Крыму, приезжайте» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1345, л. 38).

[3] См. п. 244, примеч. 2.

[4] Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» («Духовной жаждою томим...», 1826).

[5] Поездка в Харьков состоялась лишь в январе 1928 г.

249. А.А. КИПЕНУ

26 сентября 1927 г. Коктебель

26/IX – 1927.

Дорогой Александр Абрамович,

получили Ваше письмо.[1] Очень обидно, что не удалось повидаться в Крыму. Дом у меня сравнительно благополучен. Пресловутой (газетной) трещины нет,[2] но попадали, расшатались трубы и печки. Трясемся до сих пор: нет-нет да пробежит по земле судорога – и так по несколько раз в день. Это очень неприятно действует на психику. Вы меня очень обрадовали мнением Гауша о моих акварелях.[3] О «застеклении» – простите – Вы меня сами развратили, вернув в первый раз все мои вещи застекленными. Я сам знаю цену и *недоступность* стекол. И Ваша первоначальная щедрость заставила меня подумать о необычайной дешевизне стекол в Одессе. Сконфуженный, беру просьбу свою обратно.[4]

У нас стоят великолепные дни. Гости разъехались (задержался только Петров-Водкин[5]). Только бы работать. Но содрогания земли не дают сосредоточенности.

Мария Степановна (моя жена) очень нервничает, не спит по ночам, и это совсем выбивает нашу жизнь из рабочей колеи. Тем более, что и живем-то мы *только* с начала землетруса внизу, а не в своих обычных комнатах.

Всего лучшего. Крепко Вас обнимаю. Если Вам что приглянется из последней присылки — то сохраните одну акварель для себя.[6]

Максимилиан Волошин.

[1] Письмо из Одессы от 19 сентября 1927 г., в котором А. А. Кипен сообщал о своей недавней поездке в Крым — «в Симферополь на съезд по филлоксерному делу»: «Вы не можете себе представить, как хотелось мне поехать в Ялту, побывать в Феодосии, повидаться с Вами. Однако самые срочные дела требовали моего присутствия в Одессе 15 сентября <...>» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 81).

[2] Подразумевается сообщение в газетной заметке «Землетрясение в Крыму» (см. примеч. 2 к п. 244).

[3] В цитированном выше письме Кипен сообщал: «В работы Ваши влюблен Гауш. Он очень волновался, выбирая для себя одну из Ваших акварелей, и все говорил: “Вот посмотрите, какая прекрасная вещь... но неловко, знаете ли, просить такую ценную акварель...”. В заключение он решил подарить Вам в обмен свою работу». Ср. примеч. 2 к п. 243.

[4] См. п. 242. В цитированном выше письме Кипен отвечал на просьбу Волошина: «Мы постараемся застеклить все Ваши вещи для выставки, но едва ли сможем вернуть их в стеклах <...> своих стекол у нас нет, купить стекла также не сможем, вследствие недостатка денег».

[5] К. С. Петров-Водкин с женой и дочерью жил у Волошина в Коктебеле с 24 августа до 10 октября 1927 г. (Труды и дни-2. С. 357, 362), в сентябре он написал маслом портрет Волошина, который подарил ему. Портрет экспонируется в Доме-музее М. А. Волошина.

[6] В ответном письме от 3 ноября 1927 г. Кипен благодарил Волошина за это предложение: «Я возьму одну из Ваших маленьких акварелей, а летом, когда увидимся, Вы сделаете на ней надпись» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп. С. 82).

250. В. А. МАНУЙЛОВУ

Август—сентябрь? 1927 г. Коктебель[1]

Милый Витя, жду Вас в Коктебель. Чем раньше весною, тем лучше.

Макс. В—н.

[1] Текст – на обороте акварели. Датируется предположительно, на основании сведений, приводимых Мануйловым после описания своего пребывания у Волошина в Коктебеле 24–25 июля 1927 г.: «Мы поцеловались на прощанье. Максимилиан Александрович звал приехать осенью или весной, обещал выслать по почте подаренную мне свою акварель, записал мой адрес, и мы расстались. <...> Как и обещал, Максимилиан Александрович прислал мне небольшую, размером с открытку свою акварель с ласковой надписью на обороте» (*Мануйлов В.А.* Записки счастливого человека: Воспоминания. Автобиографическая проза. Из неопубликованных стихов. СПб.: Европейский Дом, 1999. С. 175). Ср. сообщение в письме Мануйлова к Вяч. Иванову от 24 января 1928 г.: «Летом много странствовал пешком по берегам Черного моря, был в Коктебеле. М. А. Волошин встретил очень ласково» (Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2010. С. 664).

251. В. А. МАНУЙЛОВУ

4 октября 1927 г. Коктебель[1]

4/X 1927. Коктебель.

Милый Витя,

спасибо за дружбу и внимание.[2] Увидите Рождественского — он Вам расскажет все, как у нас было. Он приехал как раз за несколько часов до начала землетрясения и был свидетелем и участником всех первых ударов.[3] Но если бы катастрофа ограничилась этим, было бы еще ничего, но еще до сих пор каждый день почва трясется и шатается, и кажется, конца этому не будет. Это крайне действует на нервы, и бедная Мар<ия> Степан<овна> до сих пор не спит по ночам и зами-

рает в ужасе. В доме оказались самыми угрожающими моя мастерская и кабинет, и их придется не только чинить, но и укреплять. Но здесь все делается страшно медленно, и мы до сих пор не можем дождаться каменщика, который бы разобрал трубы, угрожающие падением при каждой новой встряске. Спасибо Вам и всем петербургским друзьям, которые собираются действенно нам помочь в восстановлении и укреплении дома.[4] Обнимите за меня Рождественского, которого я очень полюбил за несколько дней, у меня проведенных.[5]

Всего лучшего.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовый штемпель получения: Ленинград. 10.10.27.

[2] Ответ на письмо В. А. Мануйлова от 30 сентября 1927 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 435—436).

[3] В том же письме Мануйлов сообщал: «На днях приезжает сюда Всеволод Рождественский <...> Надеюсь получить от него более подробные сведения о Ваших делах» (Там же. С. 436).

[4] Отклик на слова из того же письма Мануйлова: «Вчера был у Анны Петровны Лебедевой и читал Ваше письмо, писанное тотчас же после землетрясения. <...> Мы вчера же обсудили ряд возможностей по организации чисто матерьяльной помощи и на этих же днях кое-что предпримем. Но я был бы рад исполнить для Вас какие-либо поручения лично, если только можно и нужно что-либо сделать — ведь Мария Степановна писала: “Помощь нужна всяческая”. Поэтому напишите мне, пожалуйста, если что-либо надо сделать, куда-либо пойти, с кем-либо поговорить и т. д.» (Там же. С. 435). Упомянутое письмо Волошина с рассказом о крымском землетрясении в подборке его писем к А. П. Остроумовой-Лебедевой (РНБ, ф. 1015, ед. хр. 516) отсутствует.

[5] 15 сентября 1927 г. Волошин подарил Вс. Рождественскому свою книгу «Верхарн: Судьба. Творчество. Переводы» (М.: Творчество, 1919) «в знак дружбы» (Труды и дни-2. С. 360).

252. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

11 октября 1927 г. Коктебель

11. X. 1927. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Мне так и не удалось повидать Вас как следует ни летом, ни перед Вашим отъездом, о котором узнал только post factum.[1] Правда, я был измотан за это лето как никогда. Я приехал из Москвы еще больной гриппом и потом, когда болезнь уже прошла, месяца три еще оставалось состояние неприятнейшей апатии, как иногда после гриппа бывает. А лето было, как нарочно, особенно тревожное и утомительное, со всевозможными тревогами, слухами и личными несчастьями, собиравшимися к нам со всех сторон, как в ушную раковину. И людей через наш дом за это лето прошло 500 человек, т. е. на сто человек больше, чем оба предыдущих лета. Это создало к концу лета громадную усталость. И на все это упало землетрясение.[2] И еще: ограничься землетрясение первыми (самыми сильными) ударами – было бы ничего, но оно не кончилось еще до сих пор, и не проходит дня, чтобы настороженный организм не отмечал 3–4 новых содроганий. Правда, в общем, они идут в убывающем порядке, но нет никогда уверенности в том, что не повторится удар большей силы, который обрушит тебе весь дом на голову. Эта мысль, к которой довольно хладнокровно относишься днем, учитывая все ее малое вероятие, становится навязчивой идеей ночью, когда раздеваешься и ложишься в постель.

В верхних комнатах, где качает и трясет больше, мы спать уже не решаемся и спим внизу, в музыкальной комнате. Первые удары застали нас под вышкой в моем кабинете, где тогда рухнула вся штукатурка с западной стены вместе с картинами, книгами и посудой, стоявшей на полках, и это, очевидно, оставило некоторую психологическую травму, которая мешает спать ночами вот уже месяц.

Дому предстоит очень большой ремонт с укреплением стен, стягиванием дома железным обручем, переделкой труб и балконов. Это все, конечно, не в наших возможностях, но

мы надеемся на концерт в Москве и СПб и на помощь наших летних гостей, которые обещают организовать сбор для ремонта дома.

Но есть еще одна необходимость, о которой я хочу с Вами посоветоваться и попросить Вашего содействия. Дело в том, что предо мной стоит необходимость поехать лечиться в Кисловодск (ожирение, повышенное кровяное давление, отеки ног и др<угие> прелести). Летом — это вне моих возможностей благодаря Коктебелю, и я сильно надеялся на ЦКУБУ на зимний сезон. Но оказывается, что санатория ЦКУБУ открыта только до 20 октября. Как Вы думаете — возможно было бы мне получить право на санаторное лечение на Минеральных Водах на зимний сезон иным путем, чем через ЦКУБУ? Может, непосредственно через Наркомздрав?

Могли ли Вы мне способствовать в этом, хотя бы опять через Сав. Пет<ровича> Соловьева?[3] Я думаю, что существование «Дома поэта», пропустившего через себя с 1923 года две тысячи человек, мне дает нравственное право ходатайствовать об санаторном зимнем лечении для себя и для моей жены. Об необходимости для меня такого лечения я могу всегда получить свидетельство от В.Д. Шервинского, который меня пользовал прошлою зимою. А сейчас для нас такая зимняя поездка в Кисловодск — единственный выход: 1) Нам необходимо на время уехать из Коктебеля, чтобы отдохнуть от постоянной нервной атмосферы (землетрясение). 2) Нам нельзя в таком состоянии показываться ни в Москву, ни в другие города — это только новое переутомление и трепка. 3) Мне нельзя откладывать своего лечения здоровья, которое от прошлогодней поездки в Москву и злосчастного гриппа только ухудшилось.

Я одновременно пишу на эту же тему в ЦКУБУ Б. А. Шпаро[4]: может, ЦКУБУ располагает еще иными возможностями, кроме собственной санатории?

На днях заходил на Вашу дачу: там все благополучно. Никаких видимых дефектов. Синопли уже перебираются к Вам.[5] Стоит великолепная осень — теплая и тихая. Какая великолепная пора для работы, если бы не эти ежедневно о себе напоминающие сотрясения, для восприятия которых у нас

выработалось какое-то сейсмографическое чувство. Привет Марии Гермогеновне.[6]

Максимилиан Волошин.

[1] Вересаев прожил в 1927 г. на своей даче в Коктебеле предположительно с первой половины июля по сентябрь включительно.

[2] См. п. 244, примеч. 2.

[3] Подразумевается Зиновий Петрович Соловьев (1876–1928), заместитель Наркомздрава. В 1922 г. он, по ходатайству Вересаева, содействовал лечению Волошина. См.: Т. 12 наст. изд. С. 508, 510–511, 514.

[4] См. п. 253.

[5] Семья Александра Георгиевича Синопли, владельца коктебельской кофейни «Бубны».

[6] М. Г. Смидович.

253. Б. А. ШПАРО

14 октября 1927 г. Коктебель

14/X 1927. Коктебель (Крым).

Дорогой Борис Александрович,

обращаюсь к Вам за советом и с просьбой: я прошлой весной ездил в Москву советоваться с врачами. Но из моего лечения ничего не вышло; Москва меня переутомила; грипп, который я подхватил, меня измучил и на все лето положил чувство апатии; количество гостей «Дома поэта» в этом году превзошло всякие границы (500 чел<овек> за лето), а окончательно доконало землетрясение,[1] и не столько первые – опасные – толчки, повредившие дом и разгромившие мой кабинет, сколько его неопасное, но нескончаемое продолжение – эти ежедневные толчки, колебания, которые окончательно расшатали нервы и не дают ни отдохнуть, ни сосредоточиться в своей работе.

Я очень рассчитывал, что настанет осень и я смогу выхлопотать себе у Ц.К.У.Б.У. возможность поехать зимой в Кисловодскую санаторию. Но только что я узнал, что Кисл<овод-ская> санатория Ц.К.У.Б.У. не открыта всю зиму, а закрывается в октябре.

Так вот: мои вопросы и просьбы заключаются в следующем:

1) Имеет ли возможность Ц.К.У.Б.У. направить меня в какую-нибудь иную санаторию, кроме собственной?

2) Если это невозможно, то не может ли Ц.К.У.Б.У. дать мне пособие на лечение и скидку на проезд?

Зима для меня – единственное возможное время для лечения, т<ак> к<ак> я не имею возможности оторваться от Коктебеля в иное время.

Одновременно я пишу В. В. Вересаеву письмо на эту же тему с просьбой устроить меня в какую-нибудь из кисловодских санаторий непосредственно через Нарк<ом->Здрав.[2]

Медицинское свидетельство я всегда могу иметь от проф<ессора> Шервинского, который меня пользовал прошлой зимой в Москве (я у него останавливался) и констатировал у меня повышенн<ое> кровян<ое> давление, недостаточность работы сердца, и отеки ног и т.д.

На этот раз мне приходится просить у Ц.К.У.Б.У. не об авансе на лечение, а о пособии, т<ак> к<ак> расходы по ремонту дома после землетрясения слишком велики для моего более чем скромного бюджета.[3]

[1] См. п. 244, примеч. 2.

[2] См. п. 252, примеч. 4.

[3] Б. А. Шпаро отвечал 23 октября 1927 г.: «...*обещаю* сделать все возможное. Надеюсь, что помощь окажем Вам существенную» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1312, л. 8).

254. В. А. ПАЗУХИНУ

15 октября 1927 г. Коктебель

15/X 1927.

Дорогой Василий Александрович,

будьте добры, передайте прилагаемое письмо Марье Вадимовне.[1] Это список адресов моих московских друзей и знакомых для устройства Коктебельского концерта.[2] Мне не хочется

посылать их по почте, и я пользуюсь отъездом Тани Хижинской и злоупотребляю Вашей добротой.

Простите.

Максимилиан Волошин.

[1] М. В. Дорогова. Упоминаемое письмо к ней не выявлено.

[2] Подразумевается предполагаемый благотворительный концерт с целью сбора средств для содержания и ремонта дома Волошина. Перенесенный на конец 1927 г. (из-за массовых праздничных мероприятий, приуроченных к 10-летию Октябрьской революции), концерт в честь Волошина был запрещен. Ср. сообщение в письме В. В. Вересаева к Волошину от 28 декабря 1927 г.: «С огорчением узнал, что вечер в пользу Вашего “дома отдыха” не удалось устроить» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л. 48).

255. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

18 октября 1927 г. Коктебель

18. X. 1927. Коктебель.

Милый Левушка,

спасибо за твое внимание и инициативу.[1] Я только вчера отправил письма об этом же Вересаеву и Шпаро (в Ц.К.У.Б.У.).[2] Действительно, уехать из Коктебеля нам (т. е. Марусе) хотя бы на месяц необходимо. А мне необходим Кисловодск и похудение. Прошение в Литературный Фонд прилагаю. А свидетельство медицинское нужно будет взять у Вас<илия> Дмит<риевича> Шервинского. Я пишу ему одновременно, а ты его возьми, пожалуйста, и сговорись (по телефону) с Вересаевым и Шпаро, чтобы не получилось разногласия и лишних хлопот. (Тел<ефон> Вересаева 2–60–28; Шпаро – в Ц.К.У.Б.У.).

Если у Шервинских будет какая-нибудь заминка с медицин<ским> свидет<ельством>, то позвони проф<ессору> Яроцкому в Старо-Екатерин<инскую> больницу (3–33–92). Он обещал в случае необходимости сделать это немедленно.

Землетрясение стало бытовым явлением.[3] Трясет каждый день по нескольку раз. Удары не сильные. Но их ждешь, к ним

прислушиваешься. От них каждый раз падает сердце. Слышишь их только по ночам. Они очень похожи на нервный самообман, но каждый раз объективно подтверждаются.

У Маруси от них кружится голова и бывает морская болезнь. Меня мучили одно время мигрени и болели глазные яблоки изнутри. Теперь прошло. Но много странных нервных явлений остается: постоянное мельканье в глазах, напр<имер>. Верно, так видят «чертиков» в белой горячке.

Ремонт дома предстоит большой и сериозный. Нужно делать контрфорсы для стен мастерской и связывать ее железным обручем: там, в конце концов, натрясло-таки сквозные трещины.

Делается ли что-нибудь для коктебельского концерта уже?[4] Мар<ии> Вад<имовне>[5] я уже послал все, что она ждала от меня.

Живем мы по-прежнему в музыкальной и так, вероятно, всю зиму останемся. Потому что к фундаментальному ремонту можно будет приступить, когда выяснится, какой суммой мы располагаем для него. Как идут твои литературные дела этой зимой?

Какое настроение в Москве? Нам еще пока никто из москвичей не пишет. У нас погода теплая и больше тихая.

Крепко целую Трюфеля и Валькишу.[6] Обнимаю Тебя. Спасибо еще раз.

Макс.

[1] В письме от 15 октября 1927 г. Л. Е. Остроумов предлагал свою помощь для получения направления в Кисловодск: «...тебе надлежит подать как можно скорее заявление на имя *Литературного Фонда РСФСР*, где изложи подробно причины, по которым просишься в санаторий (землетрясенье и проч.) и приложи медицинское свидетельство <...>. Заявление присылай мне, я лично передам секретарю Новокшенову, которого вижу почти каждый день» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 917, л. 12).

[2] См. п. 252, 253.

[3] См. п. 244, примеч. 2.

[4] См. примеч. 2 к п. 254. В письме к Волошину от 3 декабря 1927 г. Остроумов сообщал: «...мы все хлопочем об устройстве кон-

церта, так что я надеюсь, в Кисловодске ты будешь» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 917, л. 16).

[5] М. В. Дорогова.

[6] Прозвища сына и жены Остроумова – А. Л. Остроумова и В. П. Остроумовой.

256. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

20 октября 1927 г. Коктебель

20/X 1927. Коктебель.

Милый Сережа,

Пять долгих месяцев, как пять столетий... Это лето было необычайно долго, утомительно и трудно. Болезнь, которая кинула свою тень на все его течение, ряд несчастий с друзьями и необычайная человеческая теснота. Думаю, что все переживали это лето так же мучительно. Мы ждали тебя с Машенькой[1] с большим нетерпением к 16 августу, как ты обещал. Потом тебя одного в начале сентября. И наконец, когда разразилось над нами (вернее, конечно: под нами) землетрясение,[2] я понял твою мудрую предосторожность и предвиденье событий. Ты был совершенно прав, не приехавши в Коктебель этим летом. Многие друзья потом в письмах выражали сожаление, что пропустили такие интересные впечатления. Но они неправы. Мне пришлось несколько раз в жизни переносить незначительные колебания почвы, и я склонен был относиться к страхам землетрясения без надлежащего уважения и только теперь впервые почувствовал подлинный ужас – увидавши воочью лицом к лицу духа Земли во всей его ярости. А потом, когда ощущение мгновенной катастрофы стало переходить в морскую болезнь, тошноту, мигрени – стало уже по-иному мучительно. Теперь к этому мы уже привыкли, у нас выработались морские ночи и исчезло первоначальное изумление. Но оказалось, что работа воображения еще хуже, чем первоначальные страхи.

Тело, ошеломленное первыми большими встрясками, сохранило настороженность на все малые колебания – острую

сейсмичность, которою не обладают те, кто приехал в Крым уже после первых толчков. Мы все время ощущаем под ногами кипенье и вздрагиванье большого, напряженного котла.

И это не только воображение, т<ак> к<ак> эти моменты совпадают у различных наблюдателей, находящихся в разных местах, – другого более научного способа проверки у нас нет, т<ак> к<ак> в Крыму по-прежнему нет ни одного сейсмографа, установленного по всем требованиям науки. А любительские самодельные – реагируют гораздо более грубо, чем изнервничавшийся человеческий организм.

Толчки все время уменьшаются, и днем мы их по большей части не слышим, но редкая ночь проходит без неож<и>данного онемения ног и сжатия сердца, которыми обычно колебание земли дает о себе знать.

Только неделя, как мы стали спать сравнительно спокойно и по нескольку часов, не вскакивая каждую минуту от ночной тревоги. Но постоянно кто-нибудь просыпается с криком. Словом, обычное октябрьское опустение Коктебеля не дает отдыха, успокоения и бодрого рабочего настроения. Если только это окажется возможным, мы очень мечтаем поехать теперь же зимой на месяц в Кисловодск немного отдохнуть и прийти в себя. О севере в этом году и не думаем – это слишком утомительно. Вообще – если бы не землетрясение, мы бы никуда этой зимой и не тронулись бы из Коктебеля. Как ты провел это лето? Доволен ли Батумом? Как складывается зима? Все ли по-прежнему в милом Померанцевском переулке,[3] где совсем не трясет?

Крепко обнимаю Машеньку, привет Анне Михайловне, и Василью Дмитриевичу (пишем им одновременно), Ольге Венедиктовне, Вл<адимиру> Ник<олаевичу>,[4] Алекс. Ник.[5] и всей кухне, если нас там еще помнят.

А осень стоит ясная, теплая, ароматная – всеми запахами земного перегноя и морской испарины.

До свиданья.

Макс.

[1] М. С. Шервинская.

[2] См. п. 244, примеч. 2.

[3] В Померанцевском переулке (д. 8) проживала семья Шервинских.

[4] А. М. Шервинская, В. Д. Шервинский, О. В. Барцева, В. Н. Владимиров.

[5] Неустановленное лицо.

257. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

21 октября 1927 г. Коктебель[1]

21/X 1927. Коктебель.

Милый Саша,

Спасибо за письмо.[2] Я писал уже Наташе[3] о том, что события этого года, благодаря землетрясению, отодвинулись куда-то очень далеко, и самый Коктебель и дом чувствуются теперь иными благодаря тому *страшному*, что встало из земли. Кризис на «палубе» *нас* коснулся мало: просто мы ничего не знали и <не> замечали вплоть до его развязки.[4] Для меня это лето прошло с одной стороны под знаком апатии, у меня бывшей после гриппа, а с другой стороны под знаком личных катастроф и несчастий, стрясшихся со слишком многими близкими людьми. Словом, летом я душевно отсутствовал, и лето было для нас перегружено людьми (500 чел<овек>).

Все это – и апатия, и усталость, и тревога за людей, и перегруженность – все разрешилось сейсмической катастрофой. Это было одно из самых тяжелых лет в Коктебеле по настроению. Основная ошибка «палубы» – это, что она слишком варилась в собственном соку. Но иногда это неизбежно.

Меня беспокоит физическая судьба дома. Если землетрясение не кончится (а оно *все еще* не кончается – уже больше месяца), он сильно рискует развалиться. Мы его уже ремонтируем – но по-современному: не укрепляем, а разбираем опасные части. Но мастерскую еще надо стянуть железными ободами. Необходим целый ряд укрепительных работ. Поэтому не откладывайте концерта в Москве в долгий ящик.[5] Некоторые работы необходимо сделать до наступления зимы, а наши средства уже истощаются. Это самое насущно важное.

Постоянное нервное напряжение, настороженность и чувствительность к новым толчкам очень утомили. Маруся измучена вконец: морскою болезнью (качает ведь), ми<г>ренями, постоянными сжатиями сердца от колебаний земли. Я в гораздо меньшей степени, но тоже устал от этого. Очень хотелось бы поехать отдохнуть куда-нибудь в санаторию. В Кисловодск, напр<имер>. Я для это<го> сделал все демарши, но не надеюсь на благоприятный результат. У нас еще живут Пазухины и Андерсы. Последние будут зимовать, что нам и даст возможность отлучиться. О новой поездке на север и не думаем: слишком утомительно. Целую Наташу. Привет Елене Васильев<не> и Алексею Никол<аевичу>.[6]

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 23.10.27; Москва. 25.X.27.

[2] Недатированное письмо А. Г. Габричевского, относящееся, видимо, ко второй половине сентября 1927 г. (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 167–168).

[3] Н. А. Габричевская. См. п. 244.

[4] «Палуба» – обиходное название балкона второго этажа на восточной стороне дома Волошина; здесь подразумевается основной контингент близких людей Волошина, обычно селившихся в комнатах с выходом на «палубу». В упомянутом письме Габричевский замечал: «Я бы очень хотел, чтобы вы с Марусей не очень сердились на палубу и, в частности, на меня за все те нелепости, которые мы плодили, которые копились и зрели и разрешились Наташиным и моим отъездом, и за ту сгущенную и неприятную атмосферу, которая, честное слово, совершенно помимо нас, вокруг нас распространялась и должна была многим казаться тягостной. Та комбинация людей, которую называли "палубой", завершила, как мне кажется, какой-то внутренний цикл своего развития, и в момент этой линьки она испустила из себя целую пачку гнусных флюидов. Конечно, никто ни в чем не виноват, но этот круг людей пережил очень серьезный кризис, который, к счастью, может быть, для них и, наверное, к великому неудовольствию твоему и других, разразился именно в Коктебеле» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 382, л. 18–18 об.).

[5] См. примеч. 2 к п. 254.

[6] Е. В. Габричевская, А. Н. Северцов.

258. Э. БУРЖИНСКОЙ

21 октября 1927 г. Коктебель

21. X. 1927. Коктебель (Крым).

Дорогая Нора,

я получил Ваше письмо и стихи.[1] В стихах есть трепет живой и певучей человеческой души. Они подлинны и, следовательно, прекрасны. (А остальное приложится.)

Хорошо, что они от избытка, а не от ущерба. Но за Вас страшно, потому что Вы идете дорогами опасными и страстными. Таким стихам я раскрываю душу и говорю: войдите. Не сомневаюсь, что судьба рано или поздно приведет Вас в Коктебель, когда будет нужно.

Пришлите мне как можно больше Ваших стихов.

Да хранит Вас Бог! Крепко обнимаю Вас.

Максимилиан Волошин.[2]

[1] Подразумевается письмо Э. Буржинской из подмосковного Томилина от 15 сентября 1927 г. с вложением шести стихотворений (письмо и стихи напечатаны в составе публикации А. Сергеева и А. Тюрина, включающей весь сохранившийся корпус переписки Волошина с Э. Буржинской и Л.Т. Белугиной: «Удар, ее освободивший...» Судьба поэтессы Элеоноры Буржинской в переписке Максимилиана Волошина // Звезда. 1997. № 11. С. 219–234): «Вы просите писать о себе, спрашиваете – кто я? Сейчас – студентка III курса отд<еления> изобразительных искусств I МГУ. Дни проходят в беготне по лекциям, урокам, биржам труда, издательствам и т. п. <...> Жду от Вас письма и заранее благодарю за него» (Там же. С. 220–221). Несохранившееся, по-видимому, письмо Волошина к Буржинской, как следует из текста данного письма, содержало также приглашение приехать в Коктебель; оно было ответным на письмо Буржинской от 4 августа 1927 г. (см.: Там же. С. 219–220).

[2] В архиве Волошина сохранился черновик этого письма (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 9), при обработке неверно атрибутированного как письмо к Э. А. Блох (21 октября 1927 г.), в котором, в частности, говорилось: «Вы идете в жизни дорогами опасными и трагическими. <...> Принимаю Вас как друга всем сердцем и верю, что судьба рано или поздно приведет Вас в мой дом. Об Вас говорила мне летом Гуна Девлет (Матвеева)».

259. Л. Т. БЕЛУГИНОЙ

21 октября 1927 г. Коктебель

21. X. 1927. Коктебель (Крым).

Дорогая Л. Б.,

Ваше письмо о судьбе Норы Буржинской глубоко потрясло меня.[1] Я ее никогда не встречал, но в разное время получил от нее три письма.[2] Сейчас ответ был за мной, и только переживаемые нами сейсмические катастрофы не дали мне ответить на ее письмо вовремя. Очень трудно писать ей, зная ее положение. Ведь, судя по Вашему письму, она безнадежна: от менингита выживают изредка, но остаются идиотами, на всю жизнь. Лучше смерть! Передайте ей мое письмо,[3] предварительно прочтя его. Оно написано не только для умирающей — ее стихи действительно хороши, и я не преувеличиваю их значимости.

Раз Вы мне написали сами об этой катастрофе, то не откажитесь извещать меня, хотя бы открытками, о ходе ее болезни. Передайте Вашим товарищам мой привет и благодарность.

Максимилиан Волошин.

[1] 18 октября 1927 г. Л. Т. Белугина писала Волошину:

«Немного больше месяца тому назад Вы любезно ответили на письмо студентки I МГУ Элеоноры Буржинской. После этого она послала Вам свои стихи с просьбой дать о них отзыв.

23 сентября Нора, преследуя хулигана, вырвавшего у нее портфель с казенными деньгами, соскочила на полном ходу с поезда и ударилась головой о железнодорожную стрелку. Ее нашли близ полотна жел<езной> дороги три часа спустя, без сознания, с проломленным черепом. Вдавившаяся в мозг кость вызвала полный паралич правой руки и ноги. Ее перевезли в Басманную б<ольни>цу. Первую неделю после катастрофы Нора была в полном сознании и несколько раз спрашивала, нет ли от Вас письма.

Менингит и распадение тех клеток мозга, которые заведуют движением правой стороны, заставили ее потерять сознание.

Около недели тому назад сознание начало постепенно возвращаться. Сейчас у нее нарыв в мозгу, который требует второго опера-

тивного вмешательства (первое было произведено 3 дня спустя <после> катастрофы). Тем не менее Нора почти в полном сознании и беспрестанно вспоминает о Ваших стихах («Дайте мне стихи Волошина!»), спрашивает, не пришло ли от Вас письмо, и начинает волноваться при отрицательном ответе.

Узнав, что товарищи-студенты собирают деньги для ее дальнейшего лечения, она сказала: «Значит, я теперь смогу поехать в Крым к Волошину».

Зная, как Вы заняты, я тем не менее беру на себя смелость просить Вас по возможности скорее ответить на второе письмо Норы. Если Вы нашли ее стихи удачными, напишите Ваше мнение о них. Нора вкладывала в них свою душу, и я уверена, что Ваш благоприятный отзыв поможет ей с бóльшим мужеством бороться со своей болезнью. На наше предложение написать Вам о случившемся с ней Нора отвечает категорическим отказом. Поэтому я очень прошу Вас в Вашем письме не упоминать о том, что Вы знаете о случившемся с ней. Так как всякое умственное напряжение ее утомляет, буду просить Вас написать покороче. Положение Норы может в любой момент измениться к худшему и привести к роковому концу. Поэтому, от имени ее товарищей-студентов, умоляю Вас ответить как можно скорее, пока она еще в силах прослушать Ваше письмо» (Звезда. 1997. № 11. С. 222–223).

[2] Двум письмам, упомянутым в примеч. 1 к п. 258, предшествовало письмо Э. Буржинской к Волошину, написанное в 17-летнем возрасте, – от 10 октября 1925 г. (см.: Там же. С. 219).

[3] См. п. 258.

260. Е. Я. АРХИППОВУ

25 октября 1927 г. Коктебель[1]

25/X 1927. Коктебель (Крым).

Дорогой Евгений Яковлевич, спасибо за книгу, за привет и за друга, которого я почувствовал в Вашем письме.[2] Весть о Вас уже давно просачивалась до моего сознания: ведь Вы очевидно одно <и> то же лицо с тем «учителем», о котором мне 2 года назад говорили в семье Нич-Гергилевич (Ваш ученик родом из Феодосии). Но до появления Вс<еволода> Ал<ександровича> эти фрагменты не укладывались в одну личность. Мне радостно было прочесть «Миртовый Венец»[3]

и увидать в нем имена друзей и спутников, радостно взять в руки посмертные стихи Ин<н>ок<ентия> Феод<оровича> – книгу, которую я видел, но не имел. (Но я так и не получил «Золотой Маски», о посылке которой Вы меня извещаете).[4]

Землетрясение?[5] Оно еще длится... За это время я понял и хтонический ужас и ритм «Свят! Свят! Свят!!!», испытал и морскую болезнь и мигрени, и тревожные мелькания в глазах, и бессонницы с прислушиванием к внутренней дрожи земли, и, наконец, *привычку*. Дом мой цел, но нуждается в ремонте и в укреплении. И очевидно устоит, если не будет снова усиления толчков.

Есть некоторая возможность, что я в течение это<й> зимы буду проездом в Новороссийске (если наркомздрав уважит мое ходатайство о зимнем курсе лечения в Кисловодске), тогда мы встретимся с Вами очень скоро. Если же это не состоится, то я думаю, что Вы не откажетесь навестить меня летом в Коктебеле. Я люблю конкретного человека, а не рассказы о нем; живую беседу, а не переписку. Пишу (простите!) только «открытки», ибо не хватает времени. Я люблю свое зимнее коктебельское уединение и *наши* норд-осты, которые приходят в Коктебель укрощенные не больше чем на один балл. Знаете ли Вы Черубину (Лилю В<асильеву>) лично? Пишете ли ей в Ташкент?[6] Знаете ли что-нибудь о судьбе моих новороссийских знакомцев (Ивановых?) 1919 года?[7] Спасибо за все.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовый штемпель получения: Новороссийск. 31.10.27.

[2] Имеются в виду книга Иннокентия Анненского «Посмертные стихи» (Под ред. В. Кривича. Пб.: Картонный домик, 1923) и недатированное письмо Е.Я. Архиппова (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 207, л. 3–4 об.) с благодарностью «за те дары, что привез Вс<еволод> А<лександрови>ч <Рождественский. – *Ред.*>».

[3] Имеется в виду книга Е.Я. Архиппова «Миртовый венец» (М., 1915).

[4] «Золотая маска» – автобиография Архиппова; хранится в его архивном фонде (РГАЛИ, ф. 1458, оп. 1, ед. хр. 39). В упомянутом выше письме Архиппов сообщал Волошину: «Прежде всего спешу

послать Вам Посмертные стихи Инн<окентия> Федоровича и Мою автобиографию (Золотая Маска)».

[5] См. п. 244, примеч. 2. В том же письме Архиппов спрашивал, «как прошло землетрясение в Коктебеле, в окрестностях».

[6] В том же письме Архиппов признавался: «Ваше имя вплелось в судьбу двух избранных мною поэтов: Иннокентия Федоровича и Черубины де Габриак. И мои друзья Вам известны: Черубина, Дм<итрий> С<ергееви>ч Усов, Вс<еволод> А<лександрови>ч, Вера Меркурьева....». В ответном письме от 1 ноября 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 207, л. 1–2 об.) Архиппов сообщал: «Лиля В<асильева> для меня только Черубина. Знаю ее заочно с 1909 года, в духовном общении с 1921 года. Нет, я не писал еще в Ташкент. Но обязательно буду писать».

[7] Леонид Константинович Иванов и его жена Инна Ивановна Иванова. Волошин встречался с ними в Новороссийске 3/16 июля 1919 г. (Труды и дни-2. С. 80). Архиппов упомянул их в ответном письме от 1 ноября: «Здесь <...> в Н<овороссий>ске я был в литературном кружке, изучавшем Ваше творчество (Даленко. – Борис Алперс. – Ивановы)».

261. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

25 октября 1927 г. Коктебель[1]

25/X 1927. Коктебель.

Милый Саша,

Хочу тебе напомнить, что этой осенью 30-летний юбилей К. Ф. Богаевского. В Москве будет его персональная юбилейная выставка.[2] Хорошо было бы, если бы ГАХН раскачался бы и издал брошюру о *Киммерии* к этому времени с нашими статьями! Возможно ли это?[3] Крым-ЦИК относится к юбилею К. Ф. хорошо, и было известие в газетах, что ему будет назначена пенсия как национ<альному> художнику.[4] Как хорошо! Сейчас как раз время для наших статей о нем.

Не осталось ли у тебя экземпляра моего «Сурикова»?[5] У меня не осталось ни одного, отпечатанного на машинке. И это меня очень не устраивает. Очевидно, тот экземп<ляр>, что был для премии в Ц.К.У.Б.У., можно оттуда взять без вся-

кого ущерба для дела. Пожалуйста, устрой это, пришли мне. Наше отношение к «трусу» вступило в новую стадию: мы привыкаем. Но трясет неустанно и упорно.

Сегодня – день рождения Маруси, и ей Виктор подарил мой прекрасный портрет, сделанный пастелью.[7] Она в полном восторге от него. Мар<ия> Алекс<андровна>[8] его завтра снимет и увезет негатив в Москву.

Крепко обнимаю тебя и Наташу[9] и всех милых москвичей. Где Семочка?[10] Вернулся ли.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 27.10.27; Москва. 30.X.27.

[2] Выставка в Москве, приуроченная к 30-летию творческой деятельности К. Ф. Богаевского, своевременно не состоялась. Отдельный раздел работ Богаевского был представлен на выставке общества художников «Жар-Цвет» в 1928 г.

[3] Речь идет о сборнике «Искусство Киммерии» (см. примеч. 1 к п. 183, примеч. 5 к п. 188), который был приурочен к «киммерийской» выставке в ГАХН работ Богаевского и Волошина и остался неизданным. Написанная для него статья Габричевского «Героический пейзаж и искусство Киммерии» (1926) впервые опубликована в кн.: Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 131–140.

[4] Это газетное сообщение обнаружить не удалось.

[5] Речь идет о машинописном экземпляре монографии «Суриков», представленном либо для издания в ГАХН, либо на конкурс для получения премии от ЦЕКУБУ.

[6] Трус (*др.-рус.*) – землетрясение.

[7] В. П. Андерс. Выполненный им в 1927 г. портрет Волошина (бумага, пастель) хранится в ДМВ.

[8] М. А. Пазухина.

[9] Н. А. Габричевская.

[10] Александр Семенович Стрелков. См. о нем: *Милибанд С. Д.* Востоковеды России. XX –начало XXI века. Биобиблиографический словарь. М.: Восточная литература РАН, 2008. Кн. II. С. 424–425.

262. Е. Л. ЛАННУ

26 октября 1927 г. Коктебель

26/X 1927. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович, как странно, что это лето прошло без Вас. Но, может, это к лучшему. Лето было тяжелое и беспокойное. Я воротился из СПб совсем больной,[1] и мой грипп, кончившийся в Коктебеле, бросил тень на все лето. Потом начались вести о личных несчастиях в жизни отдельных друзей.[2] Потом небывалый наплыв людей (за это лето 500, а прошлое 400). И все закончилось землетрясением.[3] Но самое землетрясение не закончилось и по сю пору. Дом пострадал, но уцелел. Но второго такого он уже не вынесет. Сейчас мы его чиним и укрепляем, как можем. Мы познали и ужас ярости земли, и морскую болезнь от землетрясения, и мигрени, и бессонницы, и ночевки под открытым небом. Сейчас живем внизу, в музыкальной, потому что II этаж ненадежен. Мы и дома, но на биваках. Нет ни в чем уверенности. Хотя на второй месяц уже вырабатывается привычка к постоянным сотрясениям. Но нервная система непрестанно напряжена. Осень стоит погожая, теплая, безветренная.

Как и где провели Вы это лето? Как налаживается зима? Над чем работаете? Как судьба второй части Вашей книги обо мне?[4] Как поживает Александ<ра> Владимировна?

Это лето было несколько необычно по составу: перегружено писательскими женами и малолетними детьми (очень буйными). Из новых культурных приобретений: С. Заяицкий, Грифцов, Всеволод Рождественский, Петров-Водкин.

Еще более узнал и оценил этим летом С. Д. Кр<жи>жановского. Очень хочется узнать от Вас, как слагается литерат<урная> жизнь в этом году и какие слухи ходили на севере о нашем трясении.

Крепко обнимаю Вас и шлю привет Лани.[5]

Максимилиан Волошин.

[1] В Ленинграде Волошины пробыли с 31 марта по 18 апреля. О болезни Волошина см. п. 225.

[2] Вероятно, речь идет об арестах в 1927 г. – Е. И. Васильевой (Черубины де Габриак), Б. А. Лемана, С. Н. Дурылина. См. п. 239, примеч. 1. Об аресте Васильевой и Лемана Волошину сообщила Л. Брюллова в недатированном письме 1927 г.: «...у нас нехорошо. Очень скоро после твоего отъезда арестовали Лилю и Бориса. По тому, что у них взяли книги, – надо думать, что нашли подозрительным их образ мысли. Но теперь им предъявлена статья 58 § 11 – Это – “активная борьба с рабочим классом при царском правительстве и при белых”. Как видишь, это хуже. Думаю, что удастся выяснить правду – что они ни сном ни духом не виновны» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 287, л. 1 – 1 об.).

[3] См. примеч. 2 к п. 245.

[4] Речь идет о планировавшемся Ланном продолжении работы над книгой о Волошине. Под первой частью, видимо, подразумевается брошюра «Писательская судьба Максимилиана Волошина». См. примеч. 2 к п. 116. О том, что работа продолжается, Ланн сообщал Волошину в письме от 22 января 1927 г. («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма. Документы. Материалы... С. 110).

[5] Прозвище Александры Владимировны Кривцовой.

263. В. О. СЕЛЕЗНЕВОЙ (ВЯЗЕМСКОЙ)

27 октября 1927 г. Коктебель

Любови Орестовне Вяземской.
Для Лины.[1] Москва. 27/X 1927. Коктебель.
Колпачный пер., д. 4.

Милая Лина, только сейчас у меня явилась возможность ответить на твое хорошее письмо, полученное мною еще 16 мая.[2] Уехавши из Москвы в СПб, я там заболел гриппом с разными осложнениями и уехал оттуда совсем больной[3] (воспал<ение> легких, восп<аление> суставов) и в Коктебеле только начал оправляться. Но усталость и апатия, характерные для гриппа, бросили тень на все лето, которое было очень утомительно и событиями, и количеством гостей (500 чел<овек> за этот сезон), и на составе их: необычайное количество детей и их матерей. Одних мальчишек бандитского возраста было 25. Вообще все это начинает превосходить челове-

ческие силы своим количеством — и это так во всех областях жизни.

Финал этого года было землетрясение.[4] Об нем ты, вероятно, многое знаешь. У нас под защитой Карадага оно было меньше, чем в Ялте. Но достаточно сильно. Дом уцелел, но нуждается в серьезном ремонте. Мой кабинет, находящийся в III эт<аже> (под вышкой), подвергся серьезному разгрому. Рухнула штукатурка со всей стены, разбилось много вещей, вылетали толстые книги с полок... Обвали<ли>сь печные трубы. После этих толчков вот уже 1½ месяца как нас непрерывно, не пропуская ни одного дня, понемногу встряхивает. Мы прошли всю психологическую радугу землесотрясаемых... Начиная с кармического ужаса, морской болезни, бессонных ночей, сейсмической перенастороженности, <нрзб> до привычки.

Живем в доме, но в нижних комнатах: у себя и все же не бываем и, видимо, останемся там на всю зиму. Спешно ремонтируем и укрепляем дом. Осень стоит дивная, теплая и тихая, но вот и теперь, когда я пишу это письмо, часы уже пробили 11½ — ухо невольно прислушивается к вою собак и гоготанию гусей, которые предупреждают о новых толчках, что будут ночью. Я довольно легко привыкаю ко всем превратностям жизни, но Маруся, более нервная, очень измучена ими.

Привет Елене Дмитриевне и Любе.[5]

Макс.

P. S. Не заходила ли к Вам одна молодая дама — ваша соседка по дому, случайно у нас жившая все лето. Я ее просил зайти к Вам порассказать о нашей жизни. Ее зовут Кина Михайловна Зелинская.

[1] В. О. Селезнева (Вяземская).
[2] Это письмо В. О. Вяземской Волошину не известно.
[3] См. п. 225 и примеч. к нему.
[4] См. примеч. 2 к п. 245.
[5] Е. Д. Вяземская, Л. О. Вяземская.

264. Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

29 октября 1927 г. Коктебель

29/X. 1927. Коктебель.

Дорогой Эрик Феодорович,

простите, что я не сразу ответил Вам по получении Вашей прекрасной книги.[1] Но зато я ее прочел сейчас же – в первый же вечер, и прочел с упоением. Книги такого рода очень любят и умеют писать французы. Но в русс<кой> литературе это новость. Ваша тема очень благодатна, и Вы прекрасно использовали все ее выгодные стороны. Портретные абрисы и бытовые черты Вам очень удались.

Типографический туалет Вашего очерка не заставляет желать чего-нибудь лучшего.

Книжку Вашу я получил, когда еще была в Коктебеле Мар<ия> Ивановна.[2] Она Вам, верно, рассказала о наших бедах, и как прекрасная осень этого года (до сих пор солнечная, теплая и весенняя) была омрачена трагизмом землетрясения, которое не кончается еще до сих пор.[3] Мы познали и хтонический ужас, и нервное потрясение, и морскую болезнь (да! представьте), и бессонные ночи от настороженности к каждому звуку — все вплоть до привычки. Теперь уже я чувствую треп<ет>анье какого<-то> далекого котла под ногами без замирания сердца. Но первый месяц был очень мучителен. Дом не разрушился, но порядком пострадал, и теперь мы его чиним, укрепляем, связываем обручами со всех сторон.

И все-таки это не та привычка, от которой проходит чувство страха, а только привычка к страху, привычка к чувству постоянной неуверенности.

Крепко Вас обнимаю. Спасибо за прекрасную книгу.

Максимилиан Волошин.

[1] Речь идет о книге: *Голлербах Э.* Город муз. Детское Село как литературный символ и памятник быта. Л.: Изд. автора, 1927. В открытке от 21 октября 1927 г. Голлербах спрашивал Волошина: «Получили ли Вы “Город Муз”. Очень хотелось бы прочесть Ваше мнение» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 428, л. 27).

[2] Вероятно, М. И. Вязьмитина, которая уехала из Коктебеля 28 сентября 1927 г. (Труды и дни-2. С. 361).
[3] См. примеч. 2 к п. 245.

265. Л. Т. БЕЛУГИНОЙ

3 ноября 1927 г. Коктебель[1]

3. XI. 1927. Коктебель.

Милая Л. Б.,

Ваше письмо очень грустно и не дает никакой надежды.[2] Даже выздоровление – для жизни в полупа<ра>личе физическом и, вероятно, в духовном... Не знаю, можно ли пожелать *такого* выздоровления? Но есть чудеса! Бальмонт в юности бросился в окно III этажа на мостовую. Он разбил себе череп, руку, ноги. 1½ года – ничто не срасталось, и он лежал в больнице. А выздравев, он стал подлинным поэтом. До этого его стихи были совсем средни...[3]

Если Нора встанет и будет жить – то для того, чтобы стать большим поэтом.

Сердце горестно и тревожно сжимается при мысли об ее судьбе.

Максимилиан Волошин.

P. S. Напишите Ваше отчество. Я не люблю безличных обращений.

М. В.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 4.11.27; Москва. 8.11.27.
[2] В письме от 29 октября 1927 г. Л. Белугина сообщала о Э. Буржинской (см. примеч. 1 к п. 259): «...в состоянии ее здоровья наступила резкая перемена к худшему: сегодня лечащий ее профессор-хирург высказал предположение, что у нее образовался сток гноя где-то в глубине мозга. Жизнь ее опять висит на волоске. <...> Нечего и думать – пока она в таком состоянии – заговаривать с ней о Вашем письме <...> на прошлой неделе профессор разрешил ей читать, и она потребовала Ваши стихи. Один наш студент прочел ей 2–3 стихо-

творения (из новых), и с тех пор она все вспоминает о них» (Звезда. 1997. № 11. С. 224).

[3] Попытку самоубийства К.Д. Бальмонт совершил в Москве 13 марта 1890 г.: выбросился с третьего этажа гостиницы; впоследствии он называл этот день провиденциальным в его жизни (см.: *Куприяновский П.В., Молчанова Н.А.* «Поэт с утренней душой»: Жизнь, творчество, судьба Константина Бальмонта. М.: Индрик, 2003. С. 23–24). Волошин изложил рассказ Бальмонта об этом в дневниковой записи от 5 марта 1915 г. (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 349–352).

266. Э. БУРЖИНСКОЙ

14 ноября 1927 г. Коктебель

14. XI. 1927. Коктебель.

Дорогая Нора,

до меня дошла весть о страшной катастрофе, Вас постигшей (через тех же общ<их> знакомых, которые мне сказали Вашу фамилию),[1] и с этого дня я все время с Вами у Вашей постели всею своей волей, всею молитвой.

Никогда человек не может погибнуть, если сам не даст на то своего внутреннего согласия, и я твердо верю, что та воля к жизни, которая бьется в ваших стихах, преодолеет и гибель, и болезнь. Перед моим сознанием невольно встает судьба Бальмонта (очень близкого мне человека), который в юности бросился из окна.[2] Он разбил себе череп, руки и ноги. Пролежал 1 ½ года безо всякой надежды на поправку. А когда встал, то стал тем прекрасным поэтом (потому что у него все-таки одно гениальное стихотворение на сотню «никаких»), которого мы все знали наизусть. Судьба часто очень жестоко обращается с поэтами и любит их ставить в положения безвыходные на самый край гибели, как бы испытывая и насилуя их волю и веру. (В них в сущности и лежит *творчество*.)

Молитва (сосредоточие волевого заряда) — это громадная сила, которую мало кто сознает, и никто не знает ее пределов. Сейчас вся Ваша судьба лежит в силе молитвы и в исступленности Вашей воли к жизни.

Я пишу Вам короткое письмо, т<ак> к<ак> Вам нельзя утомляться. Но я буду Вам писать еще.

Посылаю Вам одновременно 2 коктебельские акварели и несколько стихотворений моих, не бывших еще в печати.[3] Не знаю, что до Вас доходило из моих стихов, и потому простите, если посылаю давно Вам известные.

Мне очень бы хотелось иметь больше Ваших стихотворений. Может быть, кто-нибудь из Ваших близких мог бы их списать для меня?

Мысленно крещу Вас и целую Вашу бедную голову.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 1 к п. 259.

[2] См. примеч. 3 к п. 265.

[3] К письму приложены машинописные тексты стихотворений «Северовосток», «Святой Франциск», «Доблесть поэта», «Дом поэта», «Каллиера».

267. Л. Т. БЕЛУГИНОЙ

15 ноября 1927 г. Коктебель

15. XI. 1927. Коктебель.

Милая Л. Б.,

спасибо за письмо.[1] Пишу Норе, как Вы посоветовали.[2] Посылаю ей несколько своих стихотворений и две акварели – отдельной бандеролью. Не оставляйте меня без вестей об ее состоянии. Напишите, насколько она сознает себя, и велики ли ее физические страдания.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 6 ноября (в автографе описка: «6.X.») 1927 г. Л. Белугина сообщала о Э. Буржинской: «Вчера я наконец сочла возможным прочесть Норе Ваше письмо <п. 258. – *Ред.*>. Ее чуткость за болезнь только обострилась: она тотчас заметила: “Очень осторожное письмо” <...> Письмо доставило ей большую радость: она положила его под подушку, поминутно вынимает и просит перечесть. Ваша аква-

рель тоже подняла ее настроение. Хотя Нора, вспомнив, что Вы не любите переписки, запретила мне – категорически – ответить за нее на Ваше письмо, я думаю, что если б Вы еще раз ей написали, то бесконечно порадовали бы ее» (Звезда. 1997. № 11. С. 224–225).

[2] См. п. 266.

[3] В ответном письме от 22 ноября 1927 г. Белугина сообщала: «Акварели Норе показала: они доставили ей радость, вероятно, последнюю на этом свете. Ждем конца с минуты на минуту. Врачами ее положение признано безнадежным <...>. Сил нет смотреть на ее страдания. Последнюю неделю дежурим бессменно у ее постели: мать и студентки». В том же письме Белугина переписала тексты пяти стихотворений Буржинской. См.: Звезда. 1997. № 11. С. 225–227.

268. А. В. ДОЛГОПОЛОВОЙ

15 ноября 1927 г. Коктебель[1]

15/XI 1927. Коктебель.

Дорогая Анна Васильевна,

страшно обрадовались, получив от Вас письмо, и ожидаем со дня на день.[2]

Сперва не отвечали, потому что казалось, что ответа не требуется. Но теперь сообразили, что вы, быть может, не решаетесь приехать, не зная, дома ли мы.

Пока мы дома. Правда, собираемся в Кисловодск, но это вилами на воде писано, т<ак> к<ак> зависит от того: устроят ли мне бесплатную санаторию и проезд в Москве. Это трудно и мало вероятно.

Погода у нас на редкость хорошая: тепло и тихо. Местные крестьяне пророчат, что так будет до января.

Крепко обнимаю М. И.[3]

Надеемся на днях увидаться.

Макс. В.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 17.11.27; Симферополь. 19<?> <11.27>.

[2] Упомянутое письмо, видимо, не сохранилось.

[3] М. И. Долгополов.

269. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ

20 ноября 1927 г. Коктебель

20. XI. 1927.
Коктебель.

Дорогая Анна Петровна,

получили твое письмо от 8. XI,[1] а предыдущее так и не получили. В этом году опять участились случаи пропажи писем. Отсюда перерывы в наших сношениях.

Прежде всего, деловые вопросы: может ли на зиму приехать «дама»?[2] Все зависит от того, что ей надо, и насколько она самодеятельна. Полного «пансиона» — конечно, в Коктебеле зимою иметь нельзя. Но столоваться можно у фельдшера, напр<имер>. Комнаты зимние есть на многих дачах, но их придется самой «ухичивать» и самой топить свою печку. Всегда можно ее устроить и у нас, если только она не будет требовать хозяйственного вмешательства Маруси в свои дела. Если человек она простой и к нашему духу подходящий, то это даже приятно будет. Ведь, кроме Андерсов,[3] у нас никого нет. Живем мы все внизу. Мы с Марусей в «музыкальной», где стало очень уютно и тепло. По-видимому, гораздо теплее, чем наверху. Андерсы — в своих летних комнатах — под мастерской.

Другое дело: ты пишешь, что моих акварелей на выставку не дала, т<ак> к<ак> она не состоялась.[4] Лида Аренс писала, что петербуржцы собираются устроить лотерею для «ремонта Дома»...[5] Я бы с удовольствием внес эти акварели для устройства лотереи. Кроме того, Богаевский (который недавно гостил у меня), узнав о лотерее, выразил желание внести в нее свою акварель (большую). Но т<ак> к<ак> он не знает, кому послать, и, наверное, забудет, то хорошо было бы, чтобы Лида (как устроительница) или ты написали бы ему.

Теперь о нас. Зима складывается неблагоприятно. Землетрясение приобрело затяжной характер.[6] Не проходит дня, чтобы мы не чувствовали легкой дрожи, качания земли. Правда, это микроскопическая дрожь — ничему не угрожающая и недоступная восприятию тех, кто не пережили больших содроганий. (У нас выработалась микросейсмичность). Но важ-

на здесь не сила, а психология: знаешь, чего можно ожидать, и во что эта малая дрожь может перейти. Это постоянное напоминание о действительно страшных моментах, которые вовсе не казались такими страшными в первую минуту, действует очень расстраивающе на нервную систему. Тем более, что все в нашем укладе жизни напоминает об катастрофе. Мы зимуем в Музыкальной комнате. Ночевать в верхних комнатах до сих пор не хватает духу. Тем не менее, и здесь имеет место привычка: мы приучились не говорить и не думать о землетрясении. И как только заговоришь или подумаешь, как сейчас же и заметишь некоторую дрожь земли. Происходит это, вероятно, потому, что мелкий трепет пробегает эти месяцы непрестанно. Проще, казалось бы, объяснить это нервностью и самогипнозом. Но, увы, нет — эти ощущения у разных людей, бывших в разных местах, совпадают по времени. Так что это объективно. Ремонт и укрепление дома идет все время, но черепашьим шагом. Откладывать такие вещи нельзя: многое сместилось от первых толчков, и случись более сильное содрогание, расшатанное раньше, может и рухнуть. Опоясываем каменную часть дома железными обручами. Но кузнецы, каменщики, штукатуры выматывают душу своей медлительностью, растягивая на месяцы то, что можно было бы закончить в несколько дней. А уже зима сказывается и дождями, и временными похолоданиями, и норд-остами.

У Маруси в жизни случилось очень большое горе: мы получили на днях телеграмму о смерти друга ее юности Леон<ида> Ив<ановича> Гиринского.[7] Она чуть было не выехала в Царское, но похороны нельзя было отложить до ее приезда. Она осталась, но ходит сама не своя. Первые дни она непрерывно плакала, причитала, кричала в голос, как от сильной физической боли. Сейчас она овладела собой, но переутомляется в разной домашней работе до полного изнеможения и вся комок обнаженных нервов.

Это большое горе ведь легло на организм, уже вконец измученный бессонными ночами, нервными страхами и головными болями, порожденными землетрясением.

Хорошо было бы куда-нибудь уехать вместе, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Но в город (даже в ближайший Харь-

ков) невозможно, т<ак> к<ак> это не отдых, а новое утомление. Было бы очень хорошо для нас обоих поехать в Кисловодск подлечиться. Я начал об этом хлопоты в Москве.[8] Многие друзья взялись за это дело с жаром, но что-то никаких результатов не видно.

Еще одно обстоятельство (но, кажется больше огорчающее меня, чем Марусю)... Ты знаешь, что мы позже всех узнаем, о чем говорят и что делают в нашем доме. Сейчас мы оба узнали (из разных источников: одни по дружбе, другие в раздражении), что из наших гостей очень многие (было сказано «большинство»), очень *не любят* Марусю и говорят, что «в Коктебеле был бы рай, если бы не было Мар<ии> Степан<овны>».[9] Такие сообщения очень много горечи и яда вносят в то дело, которое сейчас является делом всей нашей жизни. Мы не хотим знать, *кто* это думает и говорит, хотя вполне уверены, что это не петербуржцы и не харьковцы (т<ак> к<ак> там все старые друзья Маруси), т<ак> что нет сомнения, что это москвичи. Но охватывает глубокая горечь и негодование: неужели люди не видят и не понимают, что ДОМ держится только Марусей, и что она одна на своих слабых плечах выносит тяжесть этих 500 человек в лето. Неужели ей не прощают ее постоянного негодования (такого справедливого) на систематическое разорение дома и расхищение инвентаря (не по злому умыслу, а по разгильдяйству и небрежности), которого никак нельзя пополнить и возместить ни сборами, ни концертами, а только живой человеческой (т. е. Марусиной же) энергией. И мы в таком положении, что, несмотря на всю горечь и обиду таких разговоров, мы не можем на них ответить ничем, чтобы наши настоящие и искренние друзья не приняли негодования нашего на свой счет, как это бывает в таких случаях. Но кончаю о наших горестях и обидах. Я сейчас очень в художественной работе, и, кажется, сделал новые достижения. Литературн<ая> работа не налаживается, вероятно, благодаря тому, что мы живем в одной комнате. Богаевс<кому> по случаю 30-летн<ей> его деятельности Крым<ское> Правительство назначило пенсию (размер еще не известен) и открыло в Феод<осийском> музее комнату, ему посвященную.

До свиданья, дорогие и милые друзья. Крепко Вас обнимаю и уступаю перо Марусе.[10]

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду письмо А. П. Остроумовой-Лебедевой от 8 ноября 1927 г., в котором она спрашивала Волошина: «Я Марусе с месяц тому назад писала письмо с некоторыми вопросами и не получила на них ответа. Не пропало ли оно?» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 920, л. 42)

[2] В упомянутом письме Волошину А. П Остроумова-Лебедева интересовалась «...можно ли где-нибудь на зиму устроиться в Коктебеле, но не у Вас — это для одной для Вас незнакомой дамы? Или вообще комнаты зимой в Коктебеле не сдаются» (Там же).

[3] В. П Андерс и А. К. Щукина.

[4] В письме от 8 ноября 1927 г. Остроумова-Лебедева сообщала Волошину. «Выставка, на которую ты дал свои акварели <...> не состоялась, она не была разрешена <...> ввиду того, что должна была устраиваться юбилейная Октябрьская выставка для того, чтобы ее "не ослаблять". Все предполагали, что выйдет грандиозная выставка, но, в конце концов, она слабая, тусклая и совершенно не интересная и очень мало работ. Чувствуется большое утомление и не обеспеченность. Иногородних художников на эту выставку не пригласили, и потому я твоих вещей на нее не посылала» (Там же, л 43).

[5] Известно письмо Л А Аренс от 15 сентября 1927 г. Волошину, в котором затрагивается тема помощи коктебельскому дому, пострадавшему от землетрясения· «Если дом пострадал, то мы хотим знать, какая ему нужна помощь, и тогда сорганизуем здесь часть ее, т е., конечно, материальную часть» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 198, л. 22 об.).

[6] См. примеч. 2 к п. 245.

[7] Телеграмма о смерти Л. И. Гиринского не сохранилась. Известно только письмо М. М. Гиринской с описанием последних дней жизни Л. И. Гиринского (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 168, л. 1—3 об.)

[8] От Литературного Фонда РСФСР Волошин на свое заявление (см.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 24, л 1—1 об.) получил отказ. В официальном ответе от Литфонда сообщалось: «< ..> (по уставу членами Литфонда могут быть только члены Профсоюза) <...> средства Литфонда по статье санаторно-курортной помощи весьма ограничены в данный момент. Размер помощи, которую могло бы оказать вам правление Литфонда в настоящих условиях не может превысить 100—125 р. <...> нуждаетесь ли Вы в такой незначительной (по сравнению с просимой Вами) сумме ...» (Там же, л. 2). См также п. 275, 280.

[9] Речь идет о конфликте с Андерсами, проживавшими в доме Волошиных. См п. 358.

[10] Имеется в виду письмо М. С. Волошиной от 22 ноября 1927 г. (РНБ, ф. 1015, ед. хр. 518).

270. С. Н. ДУРЫЛИНУ

25 ноября 1927 г. Коктебель

25 XI 1927. Коктебель.

Дорогой Сережа,

все лето прошло под знаком несчастия, которое стряслось над тобой.[1] Оно не было единичным. Из поэтов, кроме тебя, пострадали Черубина (Ташкент) и Дикс (Соловки).[2] Кроме них еще много... Лето было омраченное, переполненное людьми, разладом, переутомлением. «Дом поэта» превратился в «Дом матери и ребенка». Было 25 младенцев муж<ского> пола (малолетних бандитов), которые швыряли камнями, калечили себя и друг друга, били окна из рогаток. Было 17 отроковиц в возрасте от 13 до 20 лет, которые гоняли по горам, коллективно травились (грибами). Было необычайное количество ихних матерей (матерых теток) – террасный балласт, которые пилили своих детей и вели длинные дачные разговоры об окружающих, что для нас с Марусей – нож вострый. Все лето прожили Сер<ежа> Соловьев и Сер<ежа> Заяицкий.[3] Поэзия была под знаком конструктивистов (Сельвинский, Вера Инбер).[4] Были, конечно, Габричевские со всей своей компанией. Была милая Ел<ена> Васи<льевна>[5] и многие ее родственники. Осенью Мат<вей> Ник<анорович> Розанов, Платоновы, Петров-Водкин, пр<о>ф<ессор> Яроцкий (биолог – мой старый парижский приятель) и очень много, слишком много (500 чел<овек>) разнообразных людей. И совсем не было единства. У меня было чувство переутомления и апатии (последствие московск<ого> гриппа). Когда же осенью население разрядилось и вздохнулось более свободно – пришла катастрофа настоящая – землетрясение. Первое малое предуведомление было еще в июле. Но это было днем, после обеда, все сидели

на кругу вне дома и отнеслись к нему не сериозно. Вечер с 11 на 12 сентября был удивительно хорош, в этот день как раз приехал поэт Вс. Рождественский. Очень долго засиделись после чая на большой террасе, за беседой. Читали стихи. И только что заснули, как стены очень зак<о>лебались и нас вышвырнуло из наших постелей. Мы с Марусей спали наверху в моем кабинете под вышкой и проснулись от грохота и скрежета всего дома. Рухнула сразу вся штукатурка с западной стены, со всеми картинами, полками, посудой, фарфором... Книги вылетали из плотно набитых полок. Статуи и бюсты шатались (но не разбита ни одна). Лестницы еще ходили ходуном, когда мы спускались вниз, а внизу мы застали всех волошинцов в самом живописном «безбелье». Была тихая, очень светлая лунная ночь. Когда мы оправились, обменялись впечатлениями, наговорились и снова улеглись, но <*так!*> нас на рассвете разбудил еще более сильный толчок. Больше всего в доме пострадал мой кабинет (как самый высокий), а в Коктебеле – наш дом (как наиболее сложный по конструкции и многоэтажный). Но он выдержал-таки испытание, и теперь все еще ремонтируется и укрепляется – связывается снаружи железными обручами и т.д. Первые ночи после землетрясения мы все спали в саду под открытым небом (нас было 70 чел<овек>), что было очень живописно. Потом все постепенно разъехались, и сейчас мы остались одни – (только Андерсы зимуют вместе с нами). А землю все еще продолжает трясти. Вот уже прошло 2½ <месяца> с первого толчка, и за это время не было ни одного дня, когда бы земля не тряслась. Правда, эти толчки идут в общем в убывающем порядке, но длятся они дольше, и нередко мелкая дрожь, напоминающая далекое сотрясение работающего котла, длится часами. Психологическое отношение к землетрясению – сложное и небезынтересное.

Самое ощущение трясения: какой-то гигант в ярости схватил дом огромными руками и сотрясает его. Вмешательство какой-то новой освирепевшей силы. Интеллектуальный испуг не так велик. Но после начинаешь замечать, что организм испугался гораздо больше, чем разум. Что он потрясен в своих основных устоях. Что он познал «хтонический ужас», что до

сознания еще не дошло. Что он больше не верит в устойчивость земли и настороженно прислушивается и улавливает те мелкие колебания, которых не замечал прежде. С этими содроганиями почвы, которые длятся в Крыму уже третий месяц, — все мы стали сейсмографами. Люди, приехавшие после первых толчков, совсем не замечают тех колебаний, что чувствуем мы совершенно явственно. В землетрясении есть свой ритм — очень быстрый и настойчивый, приближающийся скорее всего к трехстопному анапесту:

свя̆т! свя̆т! свя̄т!
Го̆спо̆дь Бо̄г Сӑвӑо̄ф
Йспо̆лнь тве̄рдь й зӗмля̄, Тво̆ей сла̄вы̆!

Это землетрясительное славословие действительно передает ритм «труса».[6]

В нашей домашней жизни землетрясение отразилось тем, что мы совершенно покинули комнаты верхнего этажа и поселились в *музыкальной* комнате, где и будем зимовать, а пока делаем спешно весь ремонт дома, который оказался немалым. Были снесены или сломаны все печные трубы, расшатана одна терраса, сквозные трещины в стенах мастерской. На Марусю землетрясение произвело очень сильное впечатление. Во время первых ударов у нее была форменная морская болезнь. После мы долго болели мигренями и бессонницами. Особенно бесприютно становится, когда чувствуешь сотрясение в ураганные, холодные и дождливые ночи. Куда спасаться из дому? К дому начинаешь относиться как <к> кораблю, который сильного шторма не выдержит.

Очевидно, и это испытание было необходимо «Дому Поэта», и успокаиваться на созерцании исторического процесса еще рано. Кроме того, Маруся еще глубоко потрясена смертью одного своего друга юности,[7] так потрясена, что несколько дней буквально выла от боли — в голос кричала. Теперь только немного успокоилась.

А Коктебель прекрасен по-прежнему. Побережье пустынно. Все люди давно разъехались. По горам бродят туманы. Ветер обрывает последние листь<я> у тополей. Были уже ночные заморозки, на вершинах лежал иней. Я не пишу стихов.

Но пишу много акварелей. (Одновременно посылаю тебе бандеролью несколько напоминаний о Киммерии и веточку полыни – для запаха).[8] Летом неоднократно читал самым различным людям (поэтам) твою «Старую Москву»[9] с тем же всегда успехом.

Крепко обнимаю тебя и Ирину.[10]

Макс.

Всею душою с тобой. Потрясен и возмущен глубоко.

Приписка М. С. Волошиной:

Дорогой Сергей Николаевич, присоединяюсь к Максу и крепко Вас обнимаю. Мыслями, сердцем скорблю о Вас. Так много хотелось бы сделать Вам, обласкать. Живите с сознанием, что много хороших дум о Вас и с Вами. Не проходит дня, чтоб мы о Вас не вспоминали. Макс очень горячо и трепетно переживает Вашу судьбу. Я вспоминаю Вас в молитве. Господь с Вами.

Маруся.

Привет и поцелуй Ирине.

[1] См. п. 239, примеч. 1. По постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 16 сентября 1927 г. С. Н. Дурылин был выслан из Москвы в Сибирь сроком на три года (исчислявшегося со дня ареста, т. е. с 10 июня 1927 г.) и направлен на поселение в Томский округ (см. Приложение 3 «Из архивного следственного дела С. Н. Дурылина 1927 года» к статье В. Г. Макарова «...Элемент политически безусловно вредный для Советской Власти (по материалам следственных дел в отношении С. Н. Дурылина 1922 и 1927 годов)» // С. Н. Дурылин и его время / Составление и редакция Анны Резниченко. Кн. 1. Исследования. М.: Модест Колеров, 2010 С 65–76), был этапирован через Пермь и Омск в Новосибирск и затем самостоятельно отправился к месту ссылки в Томск, куда прибыл 11 ноября 1927 г. См.: «Я никому так не пишу, как Вам...»: Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С. 109–117. 15 ноября 1927 г. Дурылин писал Волошину из Томска: «Я здесь всего 5 дней. До этого были многие и зело сложные мытарства. О них можно бы писать языком твоих “Путей Каина”, а мне хочется просто писать тебе, милый и дорогой. Из Москвы я ехал месяц до Новосибирска (бывший Новониколаевск на

Оби), и это хождение по этапам было тяжелее всего. Оттуда я ехал уже "сам по себе", получив назначение жить в г. Томске. У меня крошечная комната с низким потолком, выбеленными стенами и косым полом Кругом – снега, снега, снега, – и стойкая тысячеверстная тишина» Касаясь далее обстоятельств своего поспешного отъезда из Коктебеля (см. примеч. 1 к п. 239), Дурылин писал: «Мой внезапный отъезд был моей судьбой. Я безумно и верно рвался навстречу своей судьбе и, совершенно фантастически осужденный за то, что давал кому-то какую-то "информацию" из сочинений Розанова, очутился здесь... <...> Я вспоминаю тебя с глубокою радостью, – с покойным счастьем сознания, что есть на свете ты, – и этого уже довольно, чтобы знать, что Человек – еще не переведшаяся особь на земле» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 9–10 об.).

[2] Е. И. Васильева (Черубина де Габриак) и Б. А. Леман (Дикс) подверглись преследованиям как деятельные участники Антропософского общества – были арестованы 21–22 апреля 1927 г. Леман (обвиненный в службе в ОСВАГе Добровольческой Армии) на свободу не был выпущен, Васильеву отпустили 1 июня, но 1 июля вторично арестовали; 1 августа она получила приговор о высылке из Ленинграда («минус 6 городов») на три года и выехала к мужу в Ташкент (Хроника жизни и творчества Е. И. Васильевой (Черубины де Габриак) / Сост. В. П Купченко // *Черубина де Габриак.* Исповедь. М.: Аграф, 1998. С 334; *Агеева Лариса.* Неразгаданная Черубина: Документальное повествование. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006 С. 312–313).

[3] С М. Соловьев с дочерьми Натальей и Ольгой жил у Волошина с 22 июня до 23 августа 1927 г, С. С. Заяицкий с сыновьями Сережей и Мишей – с 8 июня до первой декады сентября включительно (Труды и дни-2. С. 346, 348, 357).

[4] Представители Литературного центра конструктивистов К. Л Зелинский, И. Л. Сельвинский (с женой и дочерью) и В. М. Инбер (с мужем) поселились у Волошина между 21 и 24 мая 1927 г (см.: *Новоселов Д.* <Акульшин Р. М > В Коктебеле // Грани. 1949. № 5. С. 56).

[5] Е В. Гениева (жила в Коктебеле у Волошина с 3 мая, приехав вместе с С. Н. Дурылиным, до 23 августа 1927 г. // Труды и дни-2. С. 343, 357).

[6] В ответном письме из Томска от 9 декабря 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 32–35 об.) Дурылин, делясь впечатлениями от присланных ему акварелей Волошина, переходил к теме землетрясения:

«И вдруг – как не входит это в сознание! – эти опалы и сапфиры кто-то плавит, они оказываются бунтующейся стихией и ко-

леблят “основание земли” – милой, древней киммерийской земли, на которой стоит Дом Поэта и которую так благословляю я из крепких здешних снегов. Письмо твое поразительно дает ощущать это “трясение” <...> Церковью доныне вспоминается: это день 26 октября: “Святаго и славнаго великомученика Димитрия мироточца. И воспоминание великаго и страшнаго трясения”. На этот день, на эту память сложен был тогда же поразительный по глубине мысли и поэтической силе – “канон” <...> Я советую тебе взять у Вашего священника *Минею месячную* за *октябрь* и под 26-м числом найти эту церковную службу на “великое трясение”». Приведя далее тропарь из этой службы, Дурылин продолжал· «И все-таки, все-таки как не вместимо “колебание земли” в сердце наше равнинное! Я не могу без жалости представить себе, что милые стены твоего дома – в ранах, в болезни и расслаблении, – как будто это ты пишешь про болезнь живого, близкого существа. И подумать только, что болезнь еще не прошла, что она еще в силе нападать, наносить язвы, убивать!»

[7] Имеется в виду Леонид Иванович Гиринский, юрист. О его смерти (12 ноября в Детском Селе) сообщил М.С. Волошиной П.Ф. Домрачев в письме от 13 ноября 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 176, л. 1–1 об.), отправив ей в тот же день телеграмму. В письме к М.С. Волошиной от 30 ноября 1927 г. Мария Гиринская в подробностях рассказала о болезни, смерти и похоронах мужа (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр 168).

[8] Дурылин отвечал в цитированном выше письме от 9 декабря (указав на вероятность перлюстрации полученного письма): «Сейчас только что получил твое чудесное письмо и книжку Шенгели, а 6-го – получил твои акварели; очевидно, новое произведение поэта Волошина, хотя бы и в эпистолярном роде, возбудило по дороге любопытство какого-то гоголевского почтмейстера, и он, не поинтересовавшись акварелями, поинтересовался прозой поэта. <...> Я, раскрыв трубочку с акварелями, ахнул – вместе с Ириной – заслышав милый, смиренный запах полыни, – это был “степной травы пучок сухой”, но он заблагоухал перед нами всею лаской Коктебеля, всею мудрою нежностью твоей дружбы и добротою твоего щедрого киммерийского радушия. На акварели мы долго любовались – и самоцветы Коктебеля, его опалы, сапфиры и золотые топазы – переливались перед нами живою игрою бытия и покоя...». (В тексте цитируется начальная строка стихотворения А. Н Майкова «Емшан» (1874); см.: *Майков А Н.* Избранные произведения. Л.. Сов. писатель, 1977. С. 376 («Библиотека поэта». Большая серия)).

[9] См. примеч. 2 к п. 208.

[10] И А. Комиссарова. Она, добравшись до Новосибирска и дождавшись там Дурылина, выехала вместе с ним в Томск 8 ноября. См.: «Я никому так не пишу, как Вам...» С. 62–63.

271. К. Ф. БОГАЕВСКОМУ

26 ноября 1927 г. Коктебель[1]

26/XI 1927.

Дорогой Константин Феодорович,

Только что получил письмо от Винавера: согласно справке ОГПУ, он сообщает: А. Ф. Богаевскому постановлением Ос<обого> Сов<ещания> от 4/XI с<его> г<ода> назначено «минус шесть» (т. е. запрещение жить в Москве, СПБ, Киеве, Одессе, Харькове, Ростове/Д, и Крыму, что выходит уже 7, а не 6) сроком на 3 года «с прикреплением».[2] Выписываю точно слова. Т<ак> к<ак> это сведение – вполне точное, как видишь, – до тебя, может, еще не дошло, спешу тебе его сообщить. У нас жизнь течет молчаливо. У Маруси очень большое горе: умер друг ее юности Л. И. Гиринский.[3] Она плачет целыми днями. Умер неожиданно от разрыва сердца. Привет Жоз<ефине> Гус<тавовне> и Паул<ине> Юльевне.[4]

Макс.

[1] Открытка. Почтовый штемпель получения Феодосия. 28.11.27.

[2] Пересказывается содержание письма М. Л. Винавера к Волошину от 19 ноября 1927 г. (на бланке «Помощь политическим заключенным»): «В ответ на Ваше обращение, согласно полученной из ОГПУ справке, сообщаю, что Богаевскому А. Ф. и Гудима Н. В постановлением Ос<обого> Сов<ещания> от 4/XI с. г. запрещено проживание в 6 пунктах: Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Харькове, Ростове-на-Дону и Крыму, сроком на 3 г<ода> с прикреплением» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 342, л. 33).

[3] См примеч. 7 к п. 270.

[4] Ж. Г. Богаевская и ее мать П. Ю Дуранте (урожд. Килюс; ок. 1859 – ок. 1932)

272. А.А. КИПЕНУ

27 ноября 1927 г. Коктебель

27/XI 1927.

Дорогой Александр Абрамович,

Спасибо за весточку и за сведения о выставке.[1] Наш зимний быт налаживается несколько необычно. Непрекращающиеся третий месяц колебания почвы превращают мой старый дом в корабль, и корабль весьма ненадежный. Живем в трюме (в нижнем этаже) не в своих комнатах. Накладываем заплаты и связываем дом железными обручами. Рабочие выматывают душу медлительностью и небрежностью. Все это стоит дорого для нашего более чем скромного бюджета, но это дело первой необходимости: десять лет революционного шторма мой дом вынес благополучно. Сейчас лучшая пора моей акварельной работы. Пользуюсь каждой минутой солнечного света. Кажется, достиг кое-чего нового в смысле света. Крепко обнимаю.

До свидания будущим летом? Правда?

Максимилиан Волошин.

[1] Подразумевается Третья осенняя выставка картин Художественного Общества имени К.К. Костанди в Одессе. Она экспонировалась с 15 октября по 21 ноября 1927 г в Музее изящных искусств, на ней были представлены 30 акварелей Волошина (Труды и дни-2. С. 363). 3 ноября 1927 г. Кипен, высылая Волошину каталог выставки, писал, что она «проходит с несомненным художественным успехом», однако: «Картины совершенно не продаются. За все время продана только одна вещь за 50 рублей. Ваши акварели всем очень нравятся» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 82)

273. М. И. и Я. А. ГЛОТОВЫМ

27 ноября 1927 г. Коктебель.

27/XI 1927.

Дорогая Марья Игнатьевна, милый Якс,

отвечаю вам одновременно. Тебя, Якс, благодарю за подарок – книжку об японском искусстве. Вас, Марья Игнатьевна, благодарю за мысли, заботы и хлопоты о моей кожаной куртке, о которых знаю из Вашего письма к Марии Митрофановне, что она мне переслала.[1] В смысле цвета меня смущало только то обстоятельство, что черная кожа является до известной степени униформой, демонстрацией своих убеждений, как раньше фуражка с красным околышком или штаны с красными лампасами. Потому я предпочитал иной оттенок, темно-коричневый предпочтительно. Но если таковых нет, то пусть будет – черная. Вы ее называете все время паль-*ТОМ* (как следует по последнему декрету, которого Вы не соблюдаете!). Но пальто – это ***ниже*** колен. А я мысленно вижу куртку, которая вершка на 2–2½ не достает до колен. Я вижу ее без ворота (как жилет) с вертикальными боковыми карманами (и вообще много больших широких вместительных карманов – где только возможно) и не тяжелую – на простой фланелевой подкладке темного цвета. Вижу ее до галлюцинации ясно – особливо в эти дни нордостов и мокрого снега, какие теперь стоят в Коктебеле. Моему духовному оку видится почему-то, что я сам получаю ее от Вас в Ростове. Это может случиться в реальности таким образом. Я с осени хлопочу о том, чтобы нас с Марусей Ц.К.У.Б.У. послало зимой лечиться в Кисловодск, и это, кажется, состоится. Но Марусе надо заехать в Харьков, и это мы сделаем совместно и, следовательно, поедем в Кисловодск через Ростов/Д, где на сутки думаем остановиться, чтобы повидаться с Вами.[2] Совершенно не могу еще предвидеть срока, когда это будет, т<ак> к<ак> еще не получил решающего и указующего письма из ЦКУБУ. Вся наша осень посвящена ремонту и укреплению дома (рабочие душу выматывают своей неторопливостью). А земля продолжает двигаться и вздрагивать, как при Вас,[3] – вот уже третий месяц.

У Маруси большое горе: скоропостижно умер в СПБ самый близкий друг ее юности,[4] которого эти годы она видела всё урывками, и это совершенно потрясло ее жизнь. Она места себе не находит от боли. И так до скорого свиданья (почему-то мне кажется, в середине декабря — буду держать Вас в курсе). Крепко обнимаю Якса и Вас. Какой ужас Ваше путешествие по Азовскому морю![5]

Маруся шлет привет. Написать хотела бы, да не может, настолько разбита и устала.

Макс.

P. S. Ежели с курткой будет перерасход — напишите: мы сейчас же дошлем недостающе<е>: мне бы хотелось иметь *хорошую вполне* куртку.

[1] М. М. Васюхнова-Зуммер. В письме к ней от 27 октября 1927 г. (пересланном Волошину) М. И. Глотова подробно рассказывала о своих неудачных попытках заказать для Волошина кожаную куртку (ИРЛИ, ф 562, оп. 6, ед. хр. 225). В письме к Волошиным от 10 октября 1927 г. Глотова сообщала: «С курткой для Макса <...> пока заминка — очень дорого обходится материал — 33 р. Может не хватить монет» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 426, л. 1 об.—2).

[2] Волошины приехали из Харькова в Ростов-на-Дону 24 января 1928 г. и остановились у Глотовых, на следующий день отбыли в Кисловодск (Труды и дни-2. С. 375).

[3] Глотовы с четырьмя сыновьями приехали в Коктебель 8 июня 1927 г и прожили у Волошина, видимо, до середины июля (Там же. С. 346, 351).

[4] Л. И. Гиринский. См. примеч. 7 к п. 270.

[5] В упомянутом выше письме к Васюхновой-Зуммер М. И. Глотова сообщала: «Мы едва не погибли, возвращаясь в Ростов. Попали в ужасный шторм на Азовском море, который длился 12 часов. Пароход был забит беженцами из Крыма до отказу — так что не только лежать, но негде было сидеть. И мы все 12 часов провели на палубе. Нас обдавало волнами, лил всю ночь дождь, и над нами и под нами была вода. Укачало решительно всех <...> Я две недели приходила в себя от пережитого <...>».

274. Л. Т. БЕЛУГИНОЙ

28 ноября 1927 г. Коктебель[1]

28. XI. 1927. Коктебель.

Милая Лида,

Сегодня пришло Ваше письмо и горестная открытка.[2] Господи, успокой ее жадную и неуспокоенную душу! Напрасно говоришь себе жалкие слова о том, что смерть лучше, чем паралич или идиотизм... Но примириться с судьбою, так грубо и жестоко оборвавшею нить жизни на всем бегу (буквально) в 19 лет – невозможно. Бедная мать! Я об ней ничего не знаю, кроме Ваших слов о том, что она дежурила у постели Норы с подругами. Но сердце переполнено острою жалостью к ней. Я как в сновиденьи, благодаря стихам и Вашим письмам, Лида, стал свидетелем этой короткой и жестокой трагедии (стильной для наших дней). Она неожиданно захватила и перебила горечь и тревогу текущего, близкого, своего. Мне странно, что не знаю Норы даже в лицо. Хотя она и говорила со мною из толпы во время моего чтения в ГАХН'е, и я *помню* это, но я не видел, *кто* говорит (она писала мне об этом).[3] Но она не подошла ко мне и не назвала себя.

Милая Лида, раз Вы стали для меня печальной вестницей ее судьбы, то докончите свою миссию: пришлите мне какой-нибудь ее портрет, чтобы память о ней была связ<а>на с конкретными чертами ее лица, перепишите для меня как можно больше ее стихов и запишите все, что об ней помните, какая она была – с ее голос<ом>, словами, судьбой, случаями ее жизни. Если бы я был в Москве, я бы разыскал Вас, но на это нет никакой надежды в ближайшие годы. Но если Вам случится быть на юге России, то заезжайте ко мне в Коктебель (около Феодосии), чтобы рассказать о Норе. Буду ждать Вашего письма, когда оправитесь сами.

Передайте ее матери все человеческое соболезнование человека, который никогда не видал Норы и глубоко потрясен ее судьбой и мыслью о великом горе ее матери.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка Почтовые штемпели: Коктебель. 28.11.27; Москва. 2.12.27.

[2] Речь идет о письме Л Белугиной от 22 ноября (см примеч. 3 к п. 266) и об ее открытке от 25 ноября 1927 г. с сообщением о смерти Э. Буржинской: «23 ноября в 2 ч<аса> 40 м<инут> дня скончалась Нора. Я успела только одеть ее, отстоять первую панихиду — и свалилась сама. Когда поправлюсь, напишу Вам все подробно От имени ее матери и нас, студентов, – сердечно благодарю Вас за все» (Звезда. 1997. № 11. С. 227).

[3] Имеется в виду вечер Волошина в ГАХН 13 марта 1927 г В письме к Волошину от 4 августа 1927 г. Буржинская сообщала: «Позднее, на вечере, я просила Вас прочесть особенно близкое мне тогда стихотворение:

— Замер дух стыдливый и суровый...

Теперь я глубоко сожалею, что мой дурной пример, которому последовали остальные, заставил Вас изменить намеченную заранее программу вечера» (Там же. С. 220. См. упомянутое стихотворение (1912): Т. 1 наст. изд. С. 149).

275. Б. А. ШПАРО

29 ноября 1927 г. Коктебель

29/XI 1927. Коктебель.

Дорогой Борис Александрович,

только что получил извещение Ц.К.У.Б.У. о Кисловодске и 150 р. пособия[1] и спешу выразить Ц.К.У.Б.У. и Вам мою глубочайшую благодарность.

Но прежде чем дать ответ о сроке моего отправления в Кисловодск, я должен частным образом спросить Вас о целом ряде вещей. Дело в том, что я на Кав<казских> Минер<альных> Водах не бывал и потому неясно представляю все практические условия жизни. Может быть, Вы мне можете дать некоторые сведения: сколько я себе представляю по Сакам и Севастополю, санатории ЦКУБУ и Курорт<ное> Упр<авление> представляют два раздельных учреждения. Санатория дает кров и стол. Кур<ортное> Упр<авление> производит медицинск<ий> осмотр и назначает и дает ванны, воды

и т. д. Т<ак> к<ак> санатория Ц.К.У.Б.У. закрыта, то она даст нам, очевидно, только кров – без питания. А лечение? все ли обычные виды кисловодского лечения сейчас функционируют или тоже частью в зимний сезон прикрываются? Вопрос о питании меня смущает очень: можно ли устроиться с питанием вне санатории двоим на 60 р. в месяц. Тем более это меня интересует, что ввиду того, что все мои болезни связаны с расстройством обмена, меня будут лечить прежде всего от ожирения и мне будет очевидно назначено строгое диетическое питание, которое едва ли может быть осуществлено вне санатории да еще с тою ограниченностью средств, в которой мы сейчас обретаемся. Полутораста рублей, вероятно, целиком уйдет на дорогу для двоих туда и обратно. Тем более, что зимние штормы и морозы наступили необычайно рано этой зимой и путь морем на Новороссийск сейчас закрыт благодаря норд-остам. Придется ехать в объезд Азовского моря на Ростов. Последние годы еще весь декабрь был великолепен и тепел. Я, по правде сказать, тайно надеялся, что мы сможем попасть в Кисл<оводск> на ноябрь. Поэтому теперь является мысль, не лучше ли перенести нашу поездку на апрель или март (когда санатория ЦКУБУ открывается?).[2] Ведь для меня важно не столько отдых и климатическое лечение (что есть и в Коктебеле), сколько воды, ванны и режим. Сейчас нам удалось уже в общем закончить ремонт и укрепление частей дома, пострадавших от землетрясения (а земля все еще вздрагивает!), так что лучше уже у себя перебыть эти суровые и бурные месяцы зимы. Поэтому, дорогой Борис Александрович, если можно, ответьте мне на следующие вопросы:

1) Сколько может обойтись питание в Кисловодске вне санатории?

2) Найдем ли мы теперь в санатории постельное белье, одеяла или надо везти с собою?

3) Отапливается ли санатория?

4) Будет ли затруднительно, если мы перенесем нашу поездку на весну?

5) Когда весною санатория Ц.К.У.Б.У. открывается и можно ли быть там первыми гостями?

Глубоко благодарен Вам, Борис Александрович, за Ваши хлопоты и за достижения и не принимайте моих сомнений за каприз: попасть в Кисловодск мне очень трудно и необходимо, и я боюсь попасть туда в таких условиях, что не смогу его использовать как следует.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] В уведомлении от ЦЕКУБУ от 24 ноября 1927 г. за подписями управляющего делами Б. Шпаро и заведующего канцелярией И. Тайцлина сообщалось о назначении Волошину пособия в сумме 150 руб., а также: «. Вам с женой может быть предоставлена на время Вашего лечения комната в санатории ЦЕКУБУ в Кисловодске, в настоящее время не функционирующем. По получении Вашего сообщения о том, когда состоится Ваша поездка, Управлением Делами ЦЕКУБУ будет послано уведомление Заведующему санаторием, а также выслано Вам отношение на имя Кисловодского Курортного Управления о предоставлении Вам процедур» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед хр. 21, л. 22–22 об.).

[2] 24 декабря 1927 г. Б. А. Шпаро сообщал Волошину: «Прошу Вас нисколько не беспокоиться и смело отсрочивать свою поездку. 150 р., Вам данных, Вы имеете право использовать по Вашему усмотрению» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1312, л. 9).

[3] Шпаро подробно ответил на вопросы Волошина в том же письме. В письме к Волошину от 12 января 1928 г. Шпаро сообщал: «Заведующая санаторием ЦЕКУБУ в Кисловодске Е. Б. Броннер, которая была знакома с Вами лет 25 назад в Париже, пишет сегодня письмо в Кисловодск своему помощнику Сергею Александровичу Вавилонскому о Вашем приезде, о помещении Вас и о содействии в организации Вам питания. Итак – можете спокойно ехать. – По части лечебной Е Б. Броннер советует Вам обратиться к врачу Ман<д>жос, которую С. А. Вавилонский хорошо знает <...>» (Там же, л. 11).

276. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

30 ноября 1927 г. Коктебель[1]

30/XI 1927.

Милая Наташа, наконец-то – первое письмо из Москвы за два месяца, кажется.[2] Мы думали, что москвичи нас забыли.

Да, мы все еще трясемся – дня не проходит без тряски – малой, правда, но для нашей настороженности, выработанной этими месяцами, очень явственной. Ложась спать, мы ставим обувь и одежду к дверям, чтобы успеть схватить, выбегая из комнаты на двор. А на дворе сейчас очень неуютно: рано завернула зима, морозы и штормы, от которых дом тоже сотрясается. Наше хроническое трясение ничтожно само по себе, но остается постоянным напоминанием о возможностях. Дом все-таки пострадал изрядно, и можно только удивляться, как он выдержал первые удары. Мы его всячески ремонтируем и укрепляем. На мастерскую набили 2 жел<езных> обруча, как на бочку, все разрушенные трубы и печки восстановили. Одну террасу снесли.

Всю осень было чувство бездомности и неуверенности в стенах и крыше. Теперь образовалась привычка к небезопасности, но все-таки при каждом новом содрогании, как бы мало оно не было, сердце замирает. Зима обещает быть лютой и суровой. На днях ураган ночью катал по полю базарные киоски, от которых к утру остались одни щепки. Кто-то ночью разбил на дачах (ком-хозских) 180 стекол. Зима слагается сурово: с севера приходят вести только о смертях и несчастиях. Маруся получила весть о смерти самого близкого друга ее юности – Лени Гиринского, которого мы долго и напрасно звали в Коктебель.[3] Это на нее произвело впечатление потрясающее. Она целую неделю в голос плакала днем и ночью. С нами зимуют Андерсы, но видимся мы с ними редко – не каждый день.

Ты ни слова не пишешь о Саше?[4] Давно ли Семочка[5] вернулся из Афганистана? Как прошло его путешествие. Что у Шервинских? Жива ли Валькириина мать?[6] Очень радуемся, что, наконец, состоится Коктеб<ельский> концерт.[7] Все наши денежные запасы, благодаря ремонту, истощились.

Крепко тебя и Сашу обнимаю. И Маруся.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 30.11 27; Москва 2.12.27.

[2] Речь идет о письме Н А. Габричевской из Москвы от 23 ноября 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 49–50 об.): «Неужели

вы всё трясетесь? У нас всё по-старому без перемен. Кто служит, а кого и скратили Сережа Заяицкий после Кок<тебеля> чувствует себя хорошо. Я хожу в студию, езжу верхом, делаю кукол на чайники, хожу в гости» – и т.д.

[3] См примеч. 7 к п 270.

[4] А Г. Габричевский.

[5] А С Стрелков.

[6] Мать В. П Остроумовой

[7] См. примеч 2 к п 254. В цитированном выше письме Габричевская сообщала· «18 декабря будет в Академии концерт для вас, нам нужно еще несколько музыкантов и певцов».

277. В ЦЕКУБУ

Ноябрь? 1927 г. Коктебель[1]

Вера Павл<овна> и Ольга Павл<овна> Безобразовы – дочери проф<ессора> византи<ни>ста П. В. Безобразова, внуки историка С. М. Соловьева, племянницы фил<ософа> Вл. Соловьева и поэтессы Поликс<ены> Соловьевой – являются последними отпрысками этой богато одаренной семьи, так много и многообразно поработавшей для Русс<кой> Культуры. Обе они несут на себе и расплату за слишком интенсивную творческую жизнь своей семьи в виде тяжелой физической и нервной наследственности, делающей их обеих неработоспособными. Превратности гражданск<ой> войны отбросили их в глухую крымскую деревушку – Коктебель, где для этих образованных девушек, владеющих несколькими языками, не было иной работы, как самый тяжелый и грязный ручной труд.

Ольга Павл<овна> была замужем[2] и в этом году потеряла одновременно и мужа и ребенка. В<ера> П<авловна> с самого начала, как более выносливая, несла черную работу поденщицы и судомойки.

Случайно мне довелось быть свидетелем той обстановки, в которой происходили роды О<льги> П<авловны>. Тюфяк без белья и простынь, где лежала роженица. Сваленные вещи. Грязь на полу вплоть до человеческих экскрементов.

Хозяйкин сын, осыпающий бранью О<льгу> П<авловну>, стиснувшую зубы от родовых болей, и грозящий вышвырнуть на улицу за неуплату за квартиру, – вот стиль их жизни.

Если есть существа, обездоленные наследственностью за свою принадлежность к слишком талантливой семье, истощившей свои силы в служении русской культуре, и поставленные судьбой у последней черты нищеты и отчаянья, то это, конечно, сестры Безобразовы. И едва ли кто-нибудь больше их нуждается в постоянной материальной помощи и имеет на нее все права нищеты, болезни и наследственности.[3]

[1] Черновик. Предполагаемая датировка: Труды и дни-2. С. 368.

[2] Муж О. П Безобразовой – Борис Васильевич Бакатин (1885–1927), лесник

[3] В результате ходатайства Волошина О. П. Безобразовой в феврале 1929 г. начислили ежемесячную пенсию в 10 руб. (Труды и дни-2. С. 417).

278. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

4 декабря 1927 г. Коктебель

4. XII. 1927. Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Получил Ваше письмо одновременно с извещением от Шпаро.[1] Большое спасибо за все, что Вам удалось сделать. Но у меня целый ряд сомнений, о которых я отправил запросы в кисловодскую санаторию. Во-первых, на юге наступила очень ранняя и крутая зима с морозами, ураганами, штормами, которые закрывают прямой путь в Кисловодск (морем), а с другой стороны, подымается вопрос о зимнем приспособлении «закрытой» на зиму санатории. Отапливается ли она в достаточной степени? А затем вопрос о питании, т<ак> к<ак> мне, вероятно, будет прописан режим диетический, очень строгий, то смогу ли я его осуществить вне санаторных условий и сколько это будет стоить? Вопрос очень существенный для нас, т<ак> к<ак> вне акад<емического> обеспечения (60 р.) у нас

нет иных источников существования. (То, что собирается на концертах в пользу коктебельского Дома, идет целиком на его ремонт и улучшение,[2] и мы не позволяем себе это тратить на собственные нужды.) Если из Кисловодска придет неблагоприятный ответ, то буду просить ЦКУБУ переложить мой курс лечения на весенние месяцы. Я, по правде, надеялся, что мне удастся поехать на ноябрь-декабрь – месяцы обычно еще очень мягкие на юге (от +10, +5). Зима, ведь это январь и февраль. С 20 года уже не бывало такой ранней и суровой зимы, как теперь. Пишу Вам все это в свое извинение, чтобы не осталось мысли: вот просил, а когда для него все сделано, отказывается и откладывает. Полтораста же рублей это только-только хватит на дорогу (туда и обратно на двоих).

Большое спасибо за все сделанное. Если не удастся поехать теперь, то отправлю Марусю в Харьков к друзьям (она слишком измучилась нервно), а сам буду зиму пережидать в Коктебеле.

Прочел, что Ваши «Воспоминания» вышли отдельной книгой.[3] Очень был бы Вам благодарен, если бы Вы мне ее прислали.[4] Ваш «Пушкин в жизни»[5] лежит у меня настольной книгой все лето и зиму.

Привет Марии Гермогеновне.[6]

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 1 к п. 275. В письме от 22 ноября 1927 г. Вересаев извещал Волошина: «Только теперь разрешилось в КУБУ дело об Вас. Вам будет предложено поселиться в кисловодской санатории КУБУ, – она официально закрыта, но жить там можно будет; столоваться придется на артельных началах со служащими там. <...> Вам ассигновано КУБУ на проезд 150 руб. Разрешение Вам, разумеется, – совместно с Мар<ией> Степановной. Обо всем этом Вас на днях официально известит КУБУ» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л. 46).

[2] См. примеч. 2 к п. 254.

[3] Имеется в виду книга Вересаева «В юные годы (Воспоминания)» (М.: Недра, 1927).

[4] Вересаев отвечал 28 декабря 1927 г.: «Мне очень приятно, что Вы хотите иметь мои детские воспоминания. Сейчас все авторские экземпляры разошлись. Как только раздобуду, пришлю Вам» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л. 47).

[5] Имеется в виду книга Вересаева «Пушкин в жизни: Характер — настроения — привычки — наружность — одежда — обстановка (Систематический свод подлинных свидетельств современников)» (Вып. 1–4. М.: Новая Москва, 1926–1927).

[6] М. Г. Смидович.

279. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

6 декабря 1927 г. Коктебель[1]

6. XII. 1927. Коктебель.

Дорогой Левушка, спасибо тебе за все твои хлопоты, увенчавшиеся таким блестящим успехом.[2] Я, по правде, не ожидал, что из них что-нибудь выйдет, и не думал, что поездка в Кисл<оводск> может состояться. Но от того, чтобы *на тебя* (!) претендовать за неуспех или молчание, у меня и в мыслях не было. Неделю назад я получил от Верес<аева> и от Шпаро известие, что Ц.К.У.Б.У. дала мне 150 р. на дорогу и комнату в «закрытый санаторий», а о питании я сам должен озаботиться.[3] Это материально меня не устраивало, т<ак> к<ак> 150 р. нам хватило бы на дорогу туда и обратно, но не на питание. Кроме того, смущала неожиданно ранняя и крутая зима с морозами и штормами. Едва ли «закрытая» на зиму Санатория сносно отапливается. И возможно ли лечение (т. е. ванны и т. д.) при морозах? Я написал соответственное письмо Шпаро[4] и отправил в Кисловодск запрос об условиях жизни. Но вот твои неожиданные 150 р. от Литфонда все это значительно упрощают, устраивая материальную возможность. Остается только климатическая часть: на это ответит только погода и справки об условиях тамошней жизни и теплоты помещений. Позвони об этом Шпаро, пожалуйста. Если мне помещение будет дано в частн<ой> квар<тире>, а не в закр<ытой> санатории, то, конечно, будет больше шансов, что оно приспособлено для зимовки в суровую зиму. Нас продолжает трясти ежедневно, но слабо. Мы привыкли к постоянной тревоге в жизни. У Маруси большое горе, которое она изживает очень остро: умер неожиданно в Царском самый близкий друг

ее юности (Л. Гиринский).[5] Первые дни она не переставая выла и кричала, как от очень сильной физической боли. Да и теперь еще не пришла в себя. Ей надо заехать в Харьков, и мы, вероятно, изберем этот окружной путь в Кисловодск, тем более что норд-осты делают морское сообщение с Новороссийском сейчас невозможным. Но ежели антициклон не отпустит юга, то придется отложить поездку на весну. Мы очень запоздали, а зима поторопилась. Такая погода обычно бывает в конце января, в феврале.

Как Валькишина мать?[6] Как твои материальные дела? Мы что-то очень мало получаем известий от москвичей и неясно себе представляли, что там у вас делается. У нас зимуют Андерсы.

Живем мы внизу в музыкальной. Уютно и тепло. Но в одной комнате вдвоем. Необходимейший ремонт успели закончить к холодам. Дом связали железными обручами. Крепко обнимаю тебя и Валькишу. Целую Трюфеля.[7] Получили ли Шервин<ские> наши письма? Отчего Сережа и Машенька[8] так упорно молчат?

Спасибо за все внимание и хлопоты.

Макс.

[1] Открытка Почтовый штемпель получения: Москва. 11.XII.27.

[2] 3 декабря 1927 г. Л.Е. Остроумов сообщил Волошину, что выхлопотал для него от Литературного фонда денежное пособие для поездки в Кисловодск «Принципиально решено выслать тебе 100–150 р., которые будут тебе высланы сегодня или завтра, если только не случится опять какой-нибудь проволочки» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 917, л. 16).

[3] См. примеч. 1 к п. 278.

[4] См. п 275.

[5] См. примеч. 7 к п. 270

[6] Мать В. П. Остроумовой.

[7] Сын Остроумовых Алеша.

[8] С. В и М. С. Шервинские.

280. А. П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ и С. В. ЛЕБЕДЕВУ

7 декабря 1927 г. Коктебель

7. XII. 1927.
Коктебель.

Дорогие Анна Петровна и Сергей Васильевич,

спасибо громадное за прекрасное письмо и (50 рублей, полученных вчера).[1]

Ты совершенно права, Анна Петровна: конечно, это так нужно принять и продолжать свое дело вопреки всему.[2] Сер<гей> Ник<олаевич> (он сейчас в Томске — я от него получил письмо)[3] был совершенно прав, сравнивая нашу миссию с монахами-гостинниками при монастырских гостиницах. Это считается одним из самых трудных «послушаний». Хотя наше-то положение, конечно, гораздо легче и проще. С моей стороны было большой слабостью жаловаться на это. Но выпад против Маруси очень оскорбил меня (выпады против меня мне привычны давно), но я никому, кроме тебя, об этом не писал, и не говорил, и не буду. Все будет по-прежнему. Только необходимо с будущего лета принять ограничительные нормы, чтобы ввести человеческий поток в пределы человеческих возможностей: чтобы число живущих в доме не превышало 60-70 чел<овек> единовременно.

Я думаю, что и самое время многим поможет: думаю, что слишком многих испугает землетрясение,[4] и Крыма вообще станут остерегаться.

У нас в доме настроение подавленное и нервное. Маруся не может оправиться после смерти ее царскосельского друга Л. Гиринского,[5] и если у нее нет тех острых приступов боли, что были первые недели, то все же остается острая тоска и непрерывная мысль об умершем. Она находит себе выход в хозяйственных сверхсильных предприятиях: упорных растапливаниях печек, которые не топятся при северных ветрах, в гневе на рабочих, которые, забрав деньги вперед, не приходят совсем на работу по ремонту дома, пропуская все благоприятные сроки работы, и многое другое, от чего се ни удержать, ни обор<о>нить нельзя.

В ответ на наши хлопоты о Кисловодске мы получили от Ц.К.У.Б.У. предложение остановиться, т. е. иметь помещение в санатории ЦКУБУ, запертой на зиму, но без питания.[6] Мы бы этим, вероятно, и воспользовались, если б не необычайно ранняя зима с морозами и штормами, которые и отрезают нам морской путь, и мы совсем не знаем — пригодно ли для зимовки помещение запертой на зиму санатории. Отправили туда запросы. Если ответ прилег неблагоприятный, то поедем весною.

А Маруся пока поедет в Харьков к Домрачевым[7] вместе с ними погоревать об умершем Лене Гиринском. Тогда застанет там Тат<ьяну> Руф<овну>[8], котор<ая>, кажется, тольк<о> в январе переезжает окончательно в Петербург. А я останусь пока в одиночестве в Коктебеле, чего мне, пожалуй, и желательно. Да, забыл прибавить: ЦКУБУ еще дает нам на поездку 150 р<ублей>. От Богаевского грустные вести: пенсию ему назначили, но не выдают, и сумму не определили. А у него одна из «теток» (как раз его воспитавшая) заболела раком. Ее надо везти в Харьков лечить радием, и нет денег. В Феод<осийском> музее открыта зала его произведений (постоянная). Это было некоторое торжество, на котором я (по его просьбе) не был. Отмечено ли было 30-летие его чем-нибудь в СПБ? А будущим летом будет 35-летие «Дома Поэта» или, вернее, моей жизни в Коктебеле (мы приехали сюда в 1893 г<оду>, а мой дом строили <в> 1903 г<оду>). Физически «Д<ом> П<оэта>» существует 25 лет, а духовно, конечно, с нашего приезда и поселения в Коктебеле.

Крепко обнимаю С. В.[9] и тебя и желаю Вам обоим в работе — восторга и воплощения.

До свиданья.

Максимилиан Волошин.

Очень приветствую Хлопина.[10]

[1] Имеется в виду письмо А. П. Остроумовой-Лебедевой Волошину, в автографе ошибочно датированном 30 декабря (правильно, видимо, 30 ноября), в котором речь шла о лотерее, проводимой друзьями поэта в пользу пострадавшего от землетрясения дома поэта в Коктебеле (см. п. 269). Остроумова-Лебедева сообщала Волошину:

«Сегодня я выслала Вам 50 рублей переводом из денег, полученных с лотерейных билетов. Билеты продаются, продано уже приблизительно 300 б<илетов>, еще осталось продать 100 б<илетов> всего на сумму в 200 рубл<ей>. Все выигрыши находятся у меня, и через неделю у нас будет розыгрыш; к этому времени я надеюсь продать все остальные билеты (их у меня было 200 шт<ук>)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 45 об.).

[2] Речь идет о реакции А. П. Остроумовой-Лебедевой на рассказ Волошина о конфликте с Андерсами. См. п. 269, п. 358. Остроумова-Лебедева писала Волошину: «Разве Вы не знали, что среди людей, особенно если они собраны вместе, очень много есть неблагодарных, грубых и завистливых людей. Ведь есть очень много людей, которым ненавистна мысль, что они кому-нибудь чем-нибудь обязаны, чувство благодарности им тяжело и, в конце концов, они просто начинают не выносить тех, кому они обязаны. И не дурные они люди; в них часто встречается еще и какое-то разгильдяйство, и когда их приводят в порядок, то они недовольны, и это их раздражает. За все время, как мы жили у Вас, я и Серг<ей> Вас<ильевич> никогда ни от кого не слышали каких бы то ни было выпадов по адресу Маруси, и нас очень удивило и огорчило, что ко всем Вашим огорчениям этого года прибавилось еще и это. Не придавайте же большого значения всему этому, и если нашлись люди, у которых совесть их позволила им упрекать в чем-либо Марусю, то просто игнорируйте их, отметите их, да, впрочем, они и сами отойдут от Вас. <...> А дом поэта нужен, Вы оба много добра делаете, что принимаете, согреваете и жалеете людей, и наша прямая обязанность поддерживать его, сохранять и для Вас, и для себя, и для этих еще людей, кот<орые> будут находить в нем приют и ласку» (Там же, л. 44–45).

[3] С. Н. Дурылин писал Волошину из Томска, куда был выслан 15 ноября 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 525, л. 9–10). См. также примеч. 1 к п 239. В подборке писем С. Н. Дурылина письма, содержащего подобные утверждения, не обнаружено.

[4] См. примеч. 2 к п. 245.

[5] См. п. 269, примеч. 8.

[6] См. примеч. 9 к п. 269.

[7] Имеется в виду семья П Ф. и А. Л. Домрачевых.

[8] Т. Р. Златогорова

[9] С. В. Лебедев.

[10] Отклик на сообщение А. П Остроумовой-Лебедевой: «На днях вернулся Хлопин из-за границы» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед хр. 920, л. 45 об.).

281. К. Ф. БОГАЕВСКОМУ

8 декабря 1927 г. Коктебель

8. XII. 1927. Коктебель.

Дорогой Костя,

спасибо за письмо, за посылку акварели для лотереи[1], за весть о красках. Не могу ли я быть тебе полезен в смысле денег: мы сейчас получили часть денег, собранных на ремонт дома, и т<ак> к<ак> сейчас все работы приостановлены из-за холодов, я мог бы тебе одолжить денег до 200 руб., если ты сможешь мне вернуть в конце февраля и не подведешь. Может быть, это смогло бы устроить поездку Соф<ьи> Ант<оновны>[2] в Харьков? Тогда напиши, и я тебе сейчас же их пришлю через Нилушку.[3]

Относительно акварельных красок: уверен ли ты, что именно эти 8 тюб<иков> предназначаются мне? А именно: Raw sienna (2), Burnt sienna (2), Raw Umber (3), Burnt Umber (1), Italian Ochre (3), Burnt Italian Ochre (3), Madder Lake (2), Venetian Red (2), Prussian Blue (2).[4]

В нем совсем не было, напр<имер>, Blue Black (2)[5], который, помнится, был в твоем списке. Тут очень многого нет совсем, а кое-что лишнее. И это лишнее меня больше всего смущает. Очень жду и акварелей и кисточек – все, что есть. Лучше всего пошли посылочкой через почту. Да, а кисти в моем списке были 2 Martre Rouge[6] 12/16 (двойные). Тебе мой список в сопоставлении с твоим, если ты его сохранил, поможет распутать <и> поделить присланное. Видел ли ты третьего дня ночью поразительное лунное «Halo»?[7] с крестами, венцами, ложными лунами, полумесяцами, – заполнившее весь шатер небосклона – вполне выявлявшее LABARUM Констант<ина> Великого.[8] Это было явление поразительное и величественное.

Обнимаю тебя крепко. Привет Жоз<ефине> Густав<овне> и Паул<ине> Юльев<не>.[9]

Макс.

[1] Имеется в виду художественная лотерея, устраивавшаяся друзьями Волошина в Москве с целью сбора средств на содержание и ремонт его коктебельского дома.

[2] С. А. Дуранте, родственница жены Богаевского Жозефины Густавовны

[3] Н В. Успенская.

[4] Английские названия красок: сырая сиенна, жженая сиенна, сырая умбра, жженая умбра, итальянская охра, жженая итальянская охра, марена крамплак, венецианская красная, прусская голубая.

[5] Сине-черная (*англ*).

[6] Красная куница (*фр.*).

[7] Гало – оптические явления в атмосфере, возникающие вследствие преломления и отражения света луны (или солнца) ледяными кристаллами облаков и туманов. 12 декабря 1927 г. К. Ф. Богаевский сообщал К. В. Кандаурову об этом наблюдении Волошина, добавляя: «К сожалению, я и не подозревал, что в ту ночь было лунное затмение В Феодосии также наблюдали эти явления» (РГАЛИ, ф. 769, оп. 1, ед. хр. 26, л. 225).

[8] Лабарум – знамя, введенное римским императором Константином Великим в своих войсках после увиденного им на небе видения креста.

[9] П. Ю. Дуранте, родственница Ж Г Богаевской.

282. Л. Т. БЕЛУГИНОЙ

9 декабря 1927 г. Коктебель

9. XII. 1927. Коктебель.

Милая Лида, благодарю Вас за хорошее, большое, подробное письмо о Норе, которое дало мне яркое и выпуклое впечатление ее живой, трагической фигуры.[1] Гораздо большее, чем ее фотография. Там ее поза и выражение лица слишком «фотографичны» – сквозь них не рассмотришь живого человека. Но больше всего дали ее письма (которые Вам сейчас же и возвращаю, как Вы просили).

Особенно много дает ее письмо от 21.IX, написанное, очевидно, за 2 дня до катастрофы. Очевидно, портфель с деньгами от этого «сбора»[2] и послужил причиной несчастия. И все это из 8 р<ублей> заработка! Этих писем нельзя читать без

глубокого волнения. Они оправдывают и комментируют все слова Вашего письма о ней. В каждой строчке этих писем чувствуется талантливость, живое отношение к жизни, тот здоровый, наблюдательный «реализм», который лежит в основе всякого искусства. И невольно хочется возразить Норе на ее пессимистическое усугубление Гоббсовой формулы: «Человек человеку – бревно»[3] (на эту тему есть у Ф. Сологуба прекрасное стихотворение из ненапечатанных еще[4]) – другой формулой, которая, наверное, была бы близка ее сердцу: «Homo homini – Leo = Человек человеку – Лев» (К. Сюннерберг[5]).

Я же говорю иначе: «Каждый человек – темница, в которой томится заключенный. Его надо освободить». Или: каждый человек – ангел в дьявольской личине.[6] Нора ушла из своей человеческой темницы (русской судьбы, «социального положения», наследственности), но удар, ее освободивший, страшно груб – стиль современности, всегда ненавистной. Последний год я окружен этими дурными вестями – ссылками, гибелями, смертями близких и любимых.

Через письма Норы я увидел и Вас, Лида, – моя милая, безликая корреспондентка. Мне не хочется прерывать переписки с Вами, и Вы мне еще далеко не все рассказали о Норе. Я буду ждать еще большого Вашего письма на Рождество.[7]

Кроме острой боли о судьбе Норы, ее письма и Ваши мне приоткрыли дверь в круг и психологию учащейся молодежи этих дней. Ведь из 50 лет в 19 гораздо дальше, чем из Москвы в Коктебель, и мне уже много лет не приходилось бывать в тех годах. Скажите Вашим подругам и коллегам, дежурившим у постели Норы, что я буду рад каждому из них, кто летом заглянет ко мне и расскажет еще о ней. Мне хочется знать и видеть тех, кого она любила и о ком так внимательно заботилась.

Вероятно, я среди зимы, а может, и теперь еще в декабре уеду из Коктебеля на месяц лечиться в Кисловодск. Но письма будут меня дожидаться здесь.

До свиданья, милая Лида. Спасибо за Ваше письмо и за Норины письма. Передайте мой привет Анне Борисовне.[8]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме от 3–4 декабря 1927 г. Л. Белугина подробно рассказывала об Э. Буржинской, привела четыре ее стихотворения (одно – с эпиграфом из Волошина); к письму были приложены фотография покойной и несколько ее писем к Белугиной Белугина, в частности, сообщала Волошину: «Вся ее жизнь была цепью жестоких испытаний: девочкой – переживала ужасные дни, когда то мать, то отца уводили на расстрел. Девушкой – скрывала свое "социальное" положение, перевирала графу о родителях в университетской анкете. На I курсе – арест отца, мамы и ее – обманом (она была несовершеннолетняя). Обвинение· знала, кто отец, и не донесла. 4 месяца в тюрьме Отца ссылают на 3 года. Жестокая нужда, жизнь втроем с мамой и бабушкой, всевозможные заработки; сдержанность порывов откровенности по отношению к подругам. < ..> За гробом ее шло около 150 чел<овек>, хотя похороны были церковные. <.. > Любимыми поэтами Норы были Ахматова, Блок, а в последнее время – Вы. Она знала Вас наизусть, любила декламировать В ее записных книжках – целые страницы исписаны цитатами из Вас» (Звезда. 1997 № 11. С. 228–229)

[2] См. примеч. 1 к п. 259.

[3] Волошин ориентируется здесь на положения Введения к книге Конст. Эрберга (К.А. Сюннерберга) «Цель творчества» (1913). «Гоббс строит свое государство, исходя из того положения, что "человекчеловеку – волк"» (*Эрберг Конст.* Плен. Цель творчества. Томск: Водолей, 1997. С. 75) Крылатая фраза «Человек человеку волк» («Homo homini lupus est») восходит к комедии римского драматурга Плавта «Ослы» («Asinaria», 493–495). Сентенция «человек человеку – бревно» восходит к гл. 1 повести А. М. Ремизова «Крестовые сестры» (1910). См.. *Ремизов А.М.* Собр. соч. Т. 4: Плачужная канава. М : Русская книга, 2001. С. 101.

[4] Подразумевается стихотворение Ф. Сологуба (1922), начинающееся строфой· «В ярком мрении насмешливо дневном // Забелелося какое-то пятно // Притворяется березовым бревном, // А поближе глянешь, – вовсе не бревно». И далее: «Человека по всему признаешь в нем, // Распилить его, казалось бы, грешно. // Почему ж он притворяется бревном? // Потому, что в самом деле он – бревно» (Неизданный Федор Сологуб / Под ред. М. М. Павловой и А. В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 1997 С. 113–114. Публ. М. М Павловой).

[5] Имеется в виду рассуждение во Введении к «Цели творчества»: «Если лев – олицетворение гордости, то я сказал бы: надо, чтобы человек человеку был не волком и не Богом, а львом. Homo homini

leo – вот *формула общественности будущего»* (*Эрберг Конст* Плен. Цель творчества. С. 75).

[6] Ср. стихотворение Волошина «Потомкам (во время террора)» («Кто передаст потомкам нашу повесть?..», 1921): «...мы поняли, что каждый // Есть пленный ангел в дьявольской личине» (Т. 1 наст. изд. С. 350).

[7] Л. Белугина ответила подробным письмом от 17 декабря 1927 г. (Звезда. 1997. № 11. С. 231–234), предпослав ему эпиграф: «“Разве я плачу о тех, кто умер? // – Плачу о тех, кто остался жив!” *Любимая Норина цитата из Вас»*. (Неточно приведены заключительные строки стихотворения Волошина «Бойня» («Отчего, встречаясь, бледнеют люди...», 1921); см.: Т. 1 наст. изд. С. 339). На этом ее переписка с Волошиным прекратилась.

[8] А. Б. Буржинская, мать Э. Буржинской. В архиве Волошина имеется ее короткое недатированное письмо к нему: «Приношу Вам свою благодарность за ту короткую мимолетную радость, доставленную Вами моей несчастной девочке, жизненный путь которой был короток, но безрадостно горестен» (Звезда. 1997. № 11. С. 234).

283. С. Н. ДУРЫЛИНУ

17 декабря 1927 г. Коктебель

17 XII 1927. Коктебель.

Дорогой Сережа,

спасибо тебе за письмо.[1] Оно шло очень быстро – неделю (7–17 дек<абря>). Для расстояния из Томска совсем немного. Но в письме ты говоришь только о Коктебеле и нашем землетрясении и ни слова не говоришь о себе. Я совершенно не вижу и не знаю, как ты живешь. Не вижу твоей обстановки. Не знаю всего того, что Томску предшествовало. О внешней стороне я знал о тебе от Винавера. Недавно, уезжая за границу, он мне писал, что твое дело не завершено и что о тебе продолжают хлопотать – он и Екатер<ина> Павл<овна> (Пешкова).[2] Знаю от Андерса, что Томск город культурный и академический, что это город высш<их> учебн<ых> завед<ений> (полярный Гейдельберг). Он тебя приветствует и собирается тебе писать и послать адреса своих знакомых, которые могут быть тебе

интересны. В этом письме посылаю тебе мои последние стихи «Четверть Века»,[3] начало которых ты, кажется, знаешь, и 2 миниатюрных акварели для того, чтобы не описывать Коктебеля в письмах и постоянно напоминать тебе о нем. Спасибо за тексты канонов. Минею достану непременно. Все это время у меня в душе повторяются слова 59 псалма: «Ты потряс землю, разбил ее: исцели повреждения ее, ибо она колеблется».[4] Это страшно точно соответствует действительности. В крымских газетах почти не пишут о землетрясении, вероятно для того, чтобы не волновать публику и не отпугивать курортников, которые очевидно сильно напуганы. Известий об научных исследованиях не появляется – да, вероятно, их и нет; зато научные сплетни циркулируют свободно. Говорят о том, что найдена глубокая трещина на морском дне, окаймляющая все побережье Крыма в ста верстах от берега, говорят, что японский профессор предсказал, что весь Крым уйдет в море до 15 декабря. Поэтому в деревне в ночь на 15-ое ждали конца мира, а в Стар<ом> Крыму его ждут сегодня ночью и т. д.

«Горы прыгали, как овны, а холмы, как агнцы», описывает библия.[5] И напрасно ты думаешь, Сережа, что средняя Россия не трясется. Русская летопись постоянно отмечает трясения. А вон русс<кий> геодезист Вагнер установил, что в средней России почва колеблется по крайней мере раз в неделю заметным образом. Я думаю, что у нас просто раскрылись органы восприятия на то, что мы раньше не замечали...

Ты спрашиваешь о моем здоровье: я собираюсь в Кисловодск только с намерением сбросить там жиру и облегчить этим работу сердца. А то у меня отекают ноги. Но никаких ухудшений за этот год не наблюдалось, и сейчас после длительной молочной диеты я чувствую себя совсем не дурно. И мне, по правде сказать, несмотря на тревогу, ставшую привычной, совсем не хочется покидать коктебельского зимнего уединения, такого полного, такого благостного.

Еще высылаю тебе одновременно серию книжек стихов, изданных «Узлом», и мои «Иверни» (10 книжек).[6] У меня случайно есть «дубликат». Ты их, конечно, знаешь. Но их, вероятно, тебе приятно будет иметь под рукой. Кстати – Виктор[7] говорил, что в Томске есть *очень хорошая* библиотека.

Мое письмо сегодня бессвязно и кратко. Но сейчас глубокая ночь (четвертый час). Земля вздрагивает, море грохочет. Маруся плачет и бредит во сне. На душе грустно и беспокойно. Буду очень тебе благодарен за все критические замечания, что тебе придут по поводу «Четверти века». Крепко целую Ирину[8] и обнимаю тебя.

Макс.

Маруся шлет любовь и привет Вам обоим.
С наступающими праздниками и с Нов<ым> Годом![9]

[1] Имеется в виду письмо С. Н. Дурылина от 9 декабря 1927 г. (см. примеч. 6, 8 к п. 270).

[2] О том, что о Дурылине «хлопоты идут», М. Л. Винавер упоминал в письме к Волошину из Москвы от 1 ноября 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 342, л. 32).

[3] Стихотворение «Четверть века (1900–1925)» («Каждый рождается дважды. Не я ли...») было закончено 16 декабря 1927 г. (помета под текстом: «Коктебель. В дни землетрясения»). См.: Т. 2 наст. изд. С. 83–87.

[4] Пс. LIX, 4.

[5] Пс. CXIII, 4.

[6] Книга Волошина «Иверни (Избранные стихотворения)» (М . Творчество, 1918) «Узел» – московское кооперативное издательство, планировавшее, в частности, опубликовать сборник Волошина «Семь поэм» (см : *Громова Н. А.* Хроника поэтического издательства «Узел». 1925–1928. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2005. С. 98). Волошин выслал Дурылину девять из 15-ти, изданных «Узлом», авторских поэтических книг. в 1926 г. – «Музыка» С. Парнок, «Московский ветер» В. Звягинцевой, «Пять ветров» С. Федорченко, «Избранные стихи» Б. Пастернака, «Под пароходным носом» М. Зенкевича, «Запад» П. Антокольского, «Сполохи» Вл. Луговского, «Рекорды» И. Сельвинского, «Поединок» Д. Петровского, «Патмос» Б Лившица, «Земное время» С. Спасского, «Телега» П. Радимова; в 1927 г. – «Разговор с читателем» Е Николаевой, «Ночной смотр» А. Ромма, «Крутой подъем» А. Чичерина Ср. запись в мемуарно-дневниковой книге Дурылина «В своем углу»: «Макс <Волошин> прислал кучу книжек стихов» (*Дурылин Сергей* В своем углу. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 448).

[7] В. П. Андерс.

[8] И. А. Комиссарова.

[9] Ср. сообщение о данном письме в письме Дурылина к Е. В. Гениевой от 11 января 1928 г.: «Макс меня, действительно, любит. Он

прислал мне “Иверни” с вклеенной туда чудесной акварелью, кучу книжек стихов, – и прелестное, но грустное, грустное письмо, писанное при колеблющейся земле, ночью, когда Маруся спала в слезах, измученная землетрясеньем». И далее – после интервала. «Вот какие вещи мы переживаем: измученная землетрясеньем!» («Я никому так не пишу, как Вам...» Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой М.: Центр книги Рудомино, 2010 С. 133) Позднее, в письме к тому же адресату от 22–25 мая 1928 г., Дурылин отмечал в связи с выходом сборника «Писатели – Крыму». «Открытка Макса с описанием в 2 словах землетрясения дала мне больше, чем целые очерки Тренёва и других» (Там же. С. 222).

284. Е. Я. АРХИППОВУ

18 декабря 1927 г. Коктебель

18/XII 1927. Коктебель.

Дорогой Евгений Абрамович, <*так!*>

Посылаю Вам мои последние стихи «Четверть Века» – законченные на днях, как Вы видите по дате.[1] Буду Вам очень благодарен за всякие критические замечания и мнения.

Спасибо за письмо.[2] Дурылин, сколько я знаю, никогда не писал под псевдонимами.[3] У него были изданы в «Мусагете» – перевод Fioretti Св. Франциска и книжка о Вагнере.[4] В «Рус<ской> Мысли» напечатан рассказ «Жалостник».[5] Стихи печатались только в альманахах.

В 1923 г. он принял священство и был сослан.[6] В 1926 г. вернулся – много работал в Акад<емии> Х<удожественных> Н<аук>, делал доклады по символизму (о Добролюбове)[7] и о Гоголе (о письмах). Теперь он снова в Томске.[8] Его прекрасный цикл стихов «Старая Москва» нигде не был напечатан.[9]

Я сижу в Коктебеле в ожидании решения Москвы о сроке моей поездки в Кисловодск. Пока начал писать снова стихи. И сейчас бы с удовольствием никуда бы не поехал, а сидел бы в Коктебеле за работой – благо антициклон и норд-осты пока ослобонили.

Как раз внимательно перечитываю Ростовцева.[10] В этой теме мне мерещится очередная поэтическая тема – о России

до русских и какая-то поэтическая география старой Руси (в духе и стиле интродукции Мишле к «Histoire de France»[11]).

У меня за последние годы почему-то совсем исчез вкус к коротким стихам. Всё выходят какие-то перенасыщенные трактаты.

Все-таки не видать своих стихов в печати – это то же, что для художника не иметь возможности увидать написанную им панораму в широком выставочном помещении, а рассматривать ее в тесной собственной мастерской. Друзья меня утешают, что мои стихи нужны, что у меня есть читатели... Но мне сейчас нужна очень широкая аудитория и свободный ветер, чтобы самому почувствовать, как «звучат» мои стихи. А мне уже с 1912 года замкнут рот, и каждая новая смена цензуры только усугубляла запреты.

До свиданья.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч 3 к п. 283.

[2] Письмо от 1 декабря 1927 г (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 207, л. 7–7 об.), ответное на неизвестное нам письмо Волошина. В нем Архиппов, в частности, писал о С Н Дурылине «О Серг<ее> Ник<олаевиче> Дурылине не знаю ничего кроме того, что он делал доклады в ГАХН'е. Последние его стихи мне не известны. Но стихи он подписывал, кажется: Раевский?»

[3] Ошибочное суждение. С. Н. Дурылин печатался под псевдонимом Сергей Раевский (С. Раевский) — в частности, им подписаны три сонета в «Антологии» (М.: Мусагет, 1911) и некоторые журнальные публикации. Его же псевдоним — С. (Сергей) Северный.

[4] См.: *Дурылин Сергей*. Рихард Вагнер и Россия: О Вагнере и будущих путях искусства. М. Мусагет, 1913 Fioretti – «Цветочки святого Франциска Ассизского» (М.: Мусагет, 1913), изданы в переводе А П. Печковского со вступительной статьей Дурылина Обе работы переизданы в кн.: *Дурылин С. Н.* Статьи и исследования 1900–1920 годов / Сост. А. Резниченко и Т. Резвых. СПб.· Владимир Даль, 2014. С. 38–52, 70–106

[5] Рассказ Дурылина «Жалостник» был опубликован в № 3/4 «Русской Мысли» за 1917 г. (Отд. I С 1–34) и выпущен также отдельным изданием (М., 1917). См.: *Дурылин С. Н.* Рассказы, повести и хроники / Сост. А Резниченко и Т. Резвых. СПб.: Владимир Даль, 2014. С. 64–92.

[6] См. примеч. 2 к п 239.

[7] В архиве С Н. Дурылина сохранились автограф статьи «Александр Добролюбов» (1926) и текст доклада «Александр Добролюбов. К истории раннего символизма» (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 25, 162; *Дурылин С Н.* Статьи и исследования 1900–1920 годов. С 685–735).

[8] См. примеч 1 к п 270.

[9] См. примеч. 2 к п 208.

[10] Какие именно труды М И. Ростовцева подразумевает здесь Волошин, неясно. Из отдельных изданий наиболее вероятны: «Античная декоративная живопись на юге России» (Т. 1. СПб., 1914), «Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма» (Пг., 1918), «Эллинство и иранство на юге России» (Пг., 1918), «Скифия и Боспор. Т. 1. Критическое обозрение памятников литературных и археологических» (Изд. РАИМК, 1925) В библиотеке Волошина имелась книга Ростовцева «Эллинство и иранство на юге России»; Архиппов предлагал ее Волошину в письме от 9 ноября 1927 г и, получив ответ, писал ему 1 декабря. «Как жалко, что я опоздал с книгой Ростовцева!».

[11] «История Франции» – труд Жюля Мишле (Vol. 1–17. Paris, 1833–1867). В библиотеке Волошина сосредоточено 30 томов исторических сочинений Мишле (см.: Мемориальная библиотека М.А. Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. Каталог. М.: Центр книги Рудомино, 2013. С. 314–320).

285. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

19 декабря 1927 г. Коктебель

19. XII. 1927. Коктебель.

Мой дорогой Левушка, получил твое письмо от 15/XII.[1] Большое тебе спасибо за твои старания и хлопоты. Смотрю на них как на выявление самой искренней и подлинной дружбы.

Неудача конечная, разумеется, зависит не от тебя. Но она в настоящую минуту вносит невыразимую путаницу в мои дела. До известия об этом пособии я не имел материальной возможности ехать в Кисловодск (150 р. от Ц.К.У.Б.У. – это только дорога на 2-х туда и обратно). Но узнав, что они высылаются (и будучи уверен, что оно уже лежит в феод<осийском> банке у Успенских в ожидании нашего проезда в Кисл<о-водск>), я написал Шпаро, что дела мои упростились и что

я *могу* ехать в Кисл<оводск>, и просил закрепить за мной лечение с 10-го янв<аря>.[2] Теперь без этих денег я вновь не могу ехать. Сговорился ли ты вовремя со Шпаро? Известил ли ты его об этом осложнении, которое делает мою зимнюю поездку материально невозможной? Сегодня же, одновременно, напишу ему и буду просить нас принять в санаторию Ц.К.У.Б.У. весною, как только она будет открыта.[3]

Ты пишешь: «у тебя будут деньги от концерта».[4] Этих денег мы отнюдь не считаем своими и из них на свои нужды не берем ничего: они идут только на ремонт дома (мы можем дать отчет в каждом рубле). В этом же году тем более – они будут все истрачены на дом, как бы удачен сбор ни был с концерта.

Против вступления в местком писател<ей> я ничего не имею. Напиши, что нужно сделать, и я напишу. Против же Всерабиса[5] имею всё – мне там совершенно нечего делать. А другого профсоюза здесь нет.

Думая, что мы едем в Кисловодск, мы собирались теперь же (до комсом<ольского> рож<д>ества[6]) выехать в Харьков, а в начале янв<аря> быть в Кисловодске. Теперь я остаюсь в Коктебеле, а в Харьков Маруся едет одна: поплакать с Домрачевыми о смерти их общего друга Гиринского и советовать<ся> с врачами (какой-то очередной рак) и к правосл<авному> Рождеству вернется ко мне.[7]

Я, по правде сказать, сейчас уже вовсе не огорчаюсь, что мы не попадем в Кисловодск. Мне хочется только, чтобы скорее вся эта канитель выяснилась окончательно. Кисловодск имел бы для нас полный смысл в ноябре, в декабре в крайнем случае, на что мы и надеялись. Но среди суровой янв<арской> и февр<альской> зимы горячие ванны едва ли принесут пользу. А к землетрясению мы попривыкли (как и оно к нам). Ощущение жути при содроганиях не уменьшилось, но к этому ощущению образовалась привычка. Мне как раз удалось себя ввести в стихотворный ритм. Я закончил наконец «Четверть Века» (посылаю тебе его: прочти его друзьям).[8] Пожалуйста, напиши свое впечатление и критические замечания.

Крепко тебя обнимаю. Жду твоей книги.[9]

Маруся целует вместе со мной тебя и присных твоих.

Max.

P. S. Пожалуйста, сейчас же позвони Шпаро и выясни вместе с ним всю путаницу и невозможность нашего Кисловодска сейчас.

150 р., полученные от Ц.К.У.Б.У., я могу вернуть сейчас же, если это нужно, а если возможно, оставить их до весенней поездки.

[1] 15 декабря 1927 г. Л. Е. Остроумов сообщил Волошину, что выделенная ему денежная ссуда не утверждена потому, что он не является членом Литфонда, и предложил вступить в Литфонд: «В Месткоме писатели объединяются исключительно по их писательскому признаку, вне зависимости от той или другой идеологической позиции. Это учреждение (фактически) деловое и правовое, а отнюдь не политическое. Поэтому в твоих интересах записаться туда и не быть отщепенцем. Вот мой искренний совет, опирающийся на то, что сейчас в Месткоме состоит целый ряд крупных старых писателей» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 917, л. 17–17 об.).

[2] Вероятно, об этом шла речь в неизвестном нам письме Волошина к Б.А Шпаро от 7 декабря 1927 г. (Труды и дни-2. С 369)

[3] Волошин отправил письмо Шпаро (также нам неизвестное) 20 декабря 1927 г. (Там же С. 371).

[4] См примеч. 2 к п. 254 В письме от 15 декабря Остроумов замечал: «Твой концерт налаживается довольно успешно».

[5] Всероссийский Союз работников искусств.

[6] Т. е. до 25 декабря (н ст.)

[7] Намеченная поездка М. С. Волошиной не состоялась.

[8] См. примеч. 3 к п. 283.

[9] Подразумевается повесть Остроумова «Золотая колыбель» (см. примеч 3 к п. 233).

286. П. Е. КОРНИЛОВУ

20 декабря 1927 г. Коктебель

20/XII 1927. Коктебель.

Многоуважаемый Петр Евгеньевич,

5 экз<емпляров> моей статьи я в свое время получил и не оповестил Вас об этом только потому, что Великое Крымское трясение, длящееся до сих пор, нарушило все распорядки.[1]

Получил и брошюру о выставках с портретом Верейского. И очень Вам за нее благодарен. Имели ли Вы в Казани каталоги моих выставок в Москве и СПБ со статьями Сидорова и Голлербаха?[2] Если нет – то пришлю.

Относительно моей статьи о Богаевском: мне 5 экз<емпляров> слишком мало – мне надо по крайней мере еще 20, а лучше 40 для раздачи друзьям Богаевского и моим. Вы ведь знаете, какое количество художников и искусствоведов проходит ежегодно через мой Дом. Так что очень прошу Вас дослать мне хотя бы до нормального числа авторских (25 экз<емпляров>), а то я никому и дать не мог этого издания.[3]

Всего лучшего. Спасибо.

Максимилиан Волошин.

[1] Авторские экземпляры каталога выставки К. Ф. Богаевского (см. примеч. 1 к п 181) П Е. Корнилов отправил задолго до начала землетрясения в Крыму; 4 июля 1927 г. он писал Волошину из Казани: «На днях послал Вам пять экз<емпляров> (авторских) каталога выставки К Ф. Богаевского, кот<орую> открыл 1 июля». В письме к Волошину от 8 декабря 1927 г. Корнилов выражал беспокойство, дошли ли до него авторские экземпляры, а также добавлял: «...посылаю Вам брошюру о выставках нашего Музея, где имеется Ваш портрет работы Г. С. Верейского» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 692).

[2] Статья А. А. Сидорова была помещена в каталоге ГАХН «Выставка акварелей М. А. Волошина» (М., 1927), статья Э. Ф. Голлербаха – в одноименном каталоге (Л., 1927).

[3] 11 мая 1928 г Корнилов писал Волошину: «Мне удалось добыть для Вас еще 5 экз<емпляров> книжечки с Вашей статьей о К. Ф. Богаевском, кот<орые> и посылаю одновременно. <...> Большего количества каталога добыть не смог, в чем и винюсь перед Вами» (ИРЛИ, ф 562, оп 3, ед. хр. 692).

287. Е. Н. ПОТАПЕНКО

22 декабря 1927 г. Коктебель[1]

22/XII 1927.

Г. Г.

Отвечать Вам на письма я не буду — почему — Вы сами прекрасно знаете. Денег у меня сейчас совсем нет.[2]

Волошин.

[1] Открытка, адресованная в Феодосию, не была отправлена.

[2] В письме к Волошину от 6 декабря 1927 г. Е. Н. Потапенко просила одолжить ей 10 руб.: « ..голодаю и нахожусь в тяжелом, остро-тяжелом матер<иальном> положении» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 999). Судя по следующему письму Потапенко, обращенному к М. С. Волошиной, с выражением благодарности (31 декабря 1927 г. // Там же), ответ на просьбу был положительным.

288. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

24 декабря 1927 г. Коктебель

24/XII 1927. Коктебель.

Мой милый Сережа,

твое письмо о смерти Анны Михайловны пришло сегодня.[1] Наши последние письма разошлись. Мое было отправлено в один день с твоим. И в нем я приветствую Анну Михайловну как живую.[2] Для нас весть о ее смерти была полной неожиданностью: ведь до нас не просочилось ни одного намека на ее тяжкую болезнь. (Нам никто не пишет эту зиму.) И сразу вспомнилась она живая с ее голосом, ее взглядом, с ее быстрыми хлопотливыми движениями, и вся атмосфера домашнего уюта, привета и ласки, которая ее окружала. Все вспомнилось сразу, ярко и умилительно до слез. Вспомнилось ее лицо в коридоре, когда мы прощались в день моего проезда через Москву из СПб.[3] У нее была своя аура — пятидесятилетнего настоенного семейного счастья, составленного, б<ыть>

м<ожет>, из хозяйственных хлопот, материнских беспокойств, бабушкиных огорчений (вспоминается прошлогоднее – да нет – этого года, этой весны ее огорчения о судьбе Васи) и того удивительного благоволения и ласки, которыми она озаряла гостя ее дома. Я всегда испытывал в ее присутствии то чувство благоговения и пиетета, которое рождает желание поцеловать руку, положить голову на колени. В ней – кроме собственной ее жизни – жила еще вся душа Вашего дома...

Мне страшно себе представить ту пустоту, которую сейчас испытывает Василий Дмитриевич.[4] 50 лет! Ведь пятьдесят лет счастливой жизни, отлившейся единым монолитом. Как пережить такую ампутацию. Правда, я понимаю и вижу, что твоя способность точно знать пределы своих сил, и уметь сохр<аня>ть их – унаследованы тобою от него. Но чем может помочь самая умная рассудительность и предосторожность. Ведь 52 года! Мне кажется, что я отсюда чувствую тоску пустоты и одиночества, которые его охватывают в этих пустых комнатах, так наполненных ее духом.

Милый Сережа, крепко тебя обнимаю и целую. Твои слова о том, что Анна Михайловна вспоминала о нас с симпатией, любовью, для меня драгоценны и радостны.

Макс.

P. S. Какой тяжелый год – тот, который уходит. За 6 месяцев умерло 8 человек: нам близких и любимых людей. И еще 4 месяца «великого трясения» и те друзья, которые превратностями судьбы теперь пишут мне из Томска (Сережа Д<урылин>), из Ташкента (Черубина).....[5]

Крепко целую Машеньку.[6] Привет Ол<ь>ге Венедиктовне, Евгению Васильевичу[7] и «кухне».[8]

[1] А. М. Шервинская. 19 декабря 1927 г. С. В Шервинский писал Волошину: «Третьего дня, в субботу, мы схоронили нашу маму. <...> У меня нет чувства оскорбления за эту кончину маме было 74 года, и она прожила на редкость счастливую жизнь; мне, конечно, бесконечно больно смотреть на тоску отца; но чего я никак не могу пережить, это ее страданий в течение последнего месяца! Она умерла от рака желудка. Форма болезни очень скоротечная: обнаружилась

в конце сентября, а 15 декабря свела ее в могилу. <...> По ее собственному завещанию и по настоятельному желанию отца ее тело подвергли кремации. После обычного отпевания проводили до Донского монастыря и там, очень чинно и тихо, – незримо, – подвергли кремации. Мама, со свойственной ей живостью и либерализмом, и здесь оказалась "первой", подвергнувшейся сожжению, в Москве, – после церковного отпевания <...> Мама, получившая ваши письма, когда была уже безнадежно больна, но еще на ногах, так тепло и всем сердцем сочувствовала вам Она вас очень любила[1]» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 17–18).

[2] Это письмо Волошина нам неизвестно.

[3] День 19 апреля 1927 г., проведенный в московской квартире Шервинских.

[4] В.Д. Шервинский.

[5] См. примеч. 1, 2 к п. 270

[6] М.С Шервинская

[7] О. В. Барцева, Е. В. Шервинский – брат С В. Шервинского.

[8] К письму приложен машинописный текст стихотворения Волошина «Четверть века» (л. 24–25 об.; см. примеч. 3 к п. 283).

289. Г. Н. САРТИССОН и К. К. ПЛАТОНОВУ

29 декабря 1927 г. Коктебель.

29/XII 1927. Коктебель.

Мои милые Галка и Кот,

как это ни странно, но я искренне обрадовался тому, что вы женитесь друг на друге (этого обычно со мной не бывает при таких известиях).[1] Право, вы не могли придумать ничего лучшего. Во-первых, потому что брак должен бы был всегда быть естественным заключением дружбы (а не любви – особливо романтической – ошибка всех романистов). Во-вторых, потому что это прекрасный ответ на все злостные пересуды. Вы ведь (согласно моим теориям) всех гнусных сплетников (вроде Петрова-Водкина) одним взмахом кадила превращаете в честных ясновидцев и пророков, что очень хорошо и благородно с Вашей стороны. Если вы оба после этой тяжелой операции останетесь живыми людьми, на что есть большая

надежда, то несомненно, что у Вас обоих будут еще романтические фейерверки, направленные в разные стороны, и вам только не следует никогда ни прятать их друг от друга, ни думать, что эти вспышки могут иметь хоть какое-нибудь влияние на ваш союз. Самое страшное в браке – это быть чересчур (всецело) удовлетворенными друг другом – стать «чудовищем с двумя спинами», по колоссальному образу Шекспира.[2] Надо всегда быть обращенным лицом к миру, к жизни, а не только к тому, кого любишь.

То, что ты можешь думать только о коврах, которыми украсишь стены, Галя, – в этом я вижу тоже глубочайшую мудрость кочевого инстинкта. Вам сейчас прежде всего нужен свой шатер, который можно раскинуть в любой пустыне современного города или родительской ограды. Пестрый и красочный шатер номадов – ковры и ткани, которыми можно прикрыть стены, и несколько просветов, форточек наружу – в мечту, т. е. картин. Их я Вам пришлю с этой же почтой.

Крепко Вас обнимаю, целую и жду в Коктебель.

Макс.

[1] 21 декабря 1927 г. Г. Н. Сартиссон писала Волошину из Харькова: «...вышло какое-то недоразумение, и мы с Котей вдруг послезавтра женимся, и главное то, что, кроме нас, никто этому не удивляется. И все это произошло в течение последних трех дней». Далее – приписка К. К. Платонова «Положим, не трех дней, а трех лет, но дело ведь не в сроке. Но Галка права – сами б мы до этого не додумались бы. В числе прочих спасибо Петрову-Водкину» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 973, л. 3).

[2] Имеется в виду реплика Яго в трагедии Шекспира «Отелло» (1604). «...ваша дочь в настоящую минуту складывает с мавром зверя с двумя спинами» (акт I, сцена 1).

[3] В цитированном выше письме Г. Сартиссон замечала: «На меня все нападают, почему я не смотрю серьезно на будущее, а я могу только думать о коврах, которые я разрисую и развешаю по стенкам. Ведь это ужасно, ужасно весело».

290. М. А. ПАЗУХИНОЙ

29 декабря 1927 г. Коктебель[1]

1927 г. 29 декабря.

Милая Мария Александровна, с Новым Годом и с наступающими праздниками. Крепко Вас обнимаем и целуем. Очень беспокоимся, не получая от Вас никаких вестей о здоровье Севы.[2] Все ли у Вас благополучно. Мы за это время несколько раз то совсем уезжали в Кисловодск, то откладывали, то Маруся ехала одна в Харьков.[3] Все писал и телеграфировал <в> Москву, и мы не имели никаких точных ответов оттуда. Спасибо большое за краски, которые я получил через К. Ф. Богаевского. Крепко целуем Дыма и Алека.[4] Привет Фене и няне.[5]

Макс.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] Всеволод Николаевич Чернов, племянник М. А. Пазухиной. О перенесенной им тяжелой болезни Пазухина подробно написала Волошину 13 января 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 927, л. 23 об.– 24 об.).

[3] См. примеч. 7 к п. 285.

[4] Вадим и Александр Пазухины, сыновья М. А. Пазухиной.

[5] Пояснение М. А. Пазухиной: «Феня – Феодосия Егоровна Двойнякова, домработница брата Марии Александровны Николая Александровича Чернова, ее речь – образная, народная очень нравилась Волошину, и они много беседовали и дружили. То же относится и к нашей няне Домне Андреевне Коваленко, пожилой украинке из Киева, рекомендованной нашей бабушкой, жившей там же» (ГЛМ, ф. 271, оп. 1, ед. хр 23).

291. С.А. ТОЛСТОЙ

30 декабря 1927 г Коктебель[1]

30/XII 1927. Коктебель.

Милая Соня,

Спасибо за хорошее дружеское письмо.[2] (Маруся из постели спрашивает, получила ли ты осенью ее письмо? — длинное... большое...). Нам ужасно мало кто пишет этой зимой, точно какая-то связь оборвалась с нашими московскими друзьями. И твое письмо сразу разрушило это наваждение. А мы все-таки едем в Кисловодск. Мы получили наконец от Шпаро необходимые комментарии,[3] и наше материальное положение модифицировалось. Мы ведь не ехали не из нежелания, а из-за материальной невозможности. Мне неожиданно доставило большую радость то, что ты написала об отношении Львова-Рогачевского ко мне.[4] А то давно уже было чувство, что надо мной в литературе точно крышку захлопнули.

Зима эта была действительно тяжела:[5] из близких нам людей за последние ½ года умерло — 8 человек. Землетрясение как-то вывело коктебельскую почву из-под ног. Коктебель перестал быть местом спасения, а оказалось, что из него еще, может, надо спасаться. (Толчки еще до сих пор не успокоились.) И все-таки... теперь, когда уже решено окончательно, что мы 7—8 января выезжаем в Харьков, а оттуда в Кисловодск, нам очень жаль покидать наш зимний дом. Напиши подробнее о себе, Соня. Какою именно ты работой занята? Привет Ольге Константиновне.[6] Получила ли ты мои поздрав<ительные> акварельки? Крепко тебя обнимаем и целуем.

Макс. Маруся.

Адрес в Харькове: Домрачевым. Лермонтовская, 37. Будем там до 15 ян<варя>.

[1] Открытка. Почтовые штемпели· Коктебель. 30.12.27, Москва. 4.1.28.

[2] Имеется в виду письмо С.А Толстой от 25 декабря 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 1185, л. 38–39 об.), включавшее отзыв о стихотворении Волошина «Дом поэта»: «Необыкновенно радостно было мне стихотворение – и сам факт его появления, и само оно – чудесное, настоящее, Максино и ужасно значительное».

[3] Подразумевается письмо Б.А Шпаро от 24 декабря 1927 г (см примеч. 2 к п 275).

[4] В письме от 25 декабря Толстая сообщала: «В Доме Герцена к “Октябрю” была выставка художеств<енной> литер<атуры> за 10 лет. Макса выставили портрет и все книги, и “Демонов”, а Львов-Рогачевский, когда давал объяснения, все останавливался на Максе с ужасной любовью и уваженьем».

[5] В том же письме Толстая отмечала: «По-моему, прошедший год был исключительно для Вас плох».

[6] О К. Толстая

292. Р. М. ГОЛЬДОВСКОЙ

Конец декабря 1927 г. Коктебель[1]

Дорогая Рашель Мироновна,

поздравляю Вас с Новым годом и с праздниками.

Если наступающий год будет менее тяжел утратами и катастрофами, то это уже счастье.

А земля продолжает вздрагивать.

Макс. Маруся. 1927.

[1] Текст на обороте акварели.

1928

293. А. А. КИПЕНУ

2 января 1928 г. Коктебель[1]

2/I 1928 Коктебель.

С Новым годом!

Дорогой Александр Абрамович, крепко Вас обнимаю и желаю всего лучшего. Ваше письмо и мои акварели (29) получил.[2] Уезжаю сейчас в Кисловодск лечиться. Возвращусь в марте. Жду Вас летом, лучше всего в мае, позже — особливо июль и август — у нас такая толчея, что ни повидаться, ни побеседовать не успеешь.

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] Имеются в виду письмо А. А. Кипена, отправленное из Одессы 29 ноября 1927 г, с сообщением: «Акварели Ваши (29) отправлены Вам сегодня заказной бандеролью в двух трубках. Не откажите известить о получении» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь Таврия, 1999. С 83), и акварели Волошина, экспонировавшиеся на Третьей осенней выставке картин художественного Общества имени К. К. Костанди.

294. Н. Г. и Г. И. ЧУЛКОВЫМ

2 января 1928 г. Коктебель[1]

2/I 1928.

Дорогие Надежда Григорьевна и Георгий Иванович, поздравляю Вас с праздниками и Новым годом.

Крепко обнимаю.

Макс.
М. Волошина.

[1] Текст на обороте акварели.

295. А. В. и М. И. ДОЛГОПОЛОВЫМ

2 января 1928 г Коктебель[1]

2/I 1928. Коктебель.

Дорогие Анна Васильевна и Митрофан Исидорович,

наши судьбы выяснились: мы в конце недели уезжаем лечиться в Кисловодск (через Харьков) и вернемся в первых числах марта.

Поздравляем с Новым Годом, дружески обнимаем и желаем всего, всего лучшего. Ждем вас весною ранней.

Макс.
Маруся.

[1] Текст на обороте акварели.

296. А. И. ЯРОЦКОМУ

4 января 1928 г. Коктебель

4/I 1928.

Дорогой Александр Иванович,

Ваше письмо застало нас на отъезде.[1] Мы все-таки едем в Кисловодск (через Харьков). Нам Ц.К.У.Б.У. дает на дорогу и

комнату там. А на жизнь малую толику прислал Вересаев из одного частного литер<атурного> фонда, да надеемся по дороге заработать в Харькове. Уезжаем из дому до марта. Нас всю зиму до сих пор потряхивало и пошатывало.[2] Не очень сильно и не очень опасно, но давая постоянные психологические предупреждения и неустанно расстраивая нервы возможною опасностью. Так что мы до сих пор, ложась спать, аккуратно складываем вещи и валенки на стуле у выхода, чтобы не выскакивать голыми в ночь, мороз и шторм. Эта ежеминутная готовность до известной степени напоминала времена 20-го года в Крыму. Дом, сколько было возможно, укрепили, связали обручами. Но ранняя зима остановила ремонт, который еще возобновится весною.

Адрес Кругликовой: Площ<адь> Александринского Театра 9 – СПБ. Петровых-Водкиных (Косьма Сергеевич и *Мара Феодоровна*) – Шувалово (СПБ).

Сейчас мы с Мар<ией> Степан<овной> всё в сборах в дорогу и предотъездной уборке. Поэтому простите краткость моего письма. Прилагаю мои последние стихи.[3] Адрес: Кислов<одск>. Санатория Ц.К.У.Б.У. (Она закрыта, но нам там дают комнату).

Привет Нине Владим<ировне>[4] и тем из Ваших дочерей, что сейчас в Москве.

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду письмо от 31 декабря 1927 г., в котором Яроцкий благодарил Волошина за приют в Коктебеле и, в частности, спрашивал адреса Е С. Кругликовой и К.С. Петрова-Водкина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1368, л. 10–11).

[2] Последствия землетрясения, начавшегося в Крыму в ночь с 10 на 11 сентября 1927 г.

[3] Видимо, вместе с письмом был отправлен машинописный текст стихотворения «Четверть века» (см. примеч. 3 к п 283).

[4] Н. В. Яроцкая (урожд. Винберг), жена А. И. Яроцкого.

297. М. А. ПАЗУХИНОЙ

5 января 1928 г. Коктебель

5/I 1928. Коктебель.

Дорогая Мария Александровна,

послезавтра мы выезжаем в Кисловодск через Харьков.[1] Только встретим сочельник дома. Маруся занята предотъездной приборкой и измучена до последних сил. Поэтому сама не может Вам написать. Мы оба очень встревожены Вашим молчанием. Ваше последнее письмо, до нас дошедшее, было о болезни Севы,[2] и мысль невольно продолжает ту тревогу, которой оно было полно. Поправился ли он? не заразились ли Дым и Алик?[3] И т.д. Мы выедем из Коктебеля и надолго будем отрезаны от известий из Москвы. До 20 ян<варя> наш адрес – у Домрачевых, после: Кисловодск. Санатория Ц.К.У.Б.У.

Приветствуем Вас и Василия Александровича[4] с Новым годом. Дай Бог, чтобы он был лучше своего предшественника.

Максимилиан Волошин.

Маруся.

[1] 7 января 1928 г Волошины выехали из Коктебеля в Феодосию, в Харьков прибыли днем 9 января.

[2] См. примеч 2 к п. 290.

[3] Вадим и Александр – сыновья Пазухиных.

[4] В.А. Пазухин.

298. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

11 января 1928 г. Харьков[1]

11. I. 1928. Харьков.

Милый Левушка,

Спешу оповестить тебя, что мы добрались до Харькова (отлипли от Крыма)[2] и думаем около 20<-го> держать курс на Кис<лово>дск. Надеюсь кое-что подработать чтениями на Кисловодск. Мне писал Заяицкий, что ты мне напишешь все,

отчего не состоял<ся> коктебельский концерт.[3] Мы не знаем еще ничего, кроме самого факта. Если ты еще не написал, то адресуй нам сюда по адресу: Харьков. Лермонтовская 37. Петру Феод<оровичу> Домрачеву для меня. Если уже написал в Коктебель, то получим письмо на днях.[4] Вчера написал Шпаро уже отсюда и прошу его сюда переслать нам все документы на Кисловодск. Не получив их, отсюда не выедем. Обнимаю тебя, Валькирию и Трюфеля.[5]

Всего лучшего.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Харьков. 13.1 28; Москва. 15 1.28.

[2] См. примеч. 1 к п. 297.

[3] См. примеч. 2 к п. 254. 4 января 1928 г. С. С. Заяицкий писал Волошину: «Не думайте, что друзья Ваши перестали заботиться о Вас, но приходится преодолевать необыкновенно много трудностей. <...> Лёвушка должен написать Вам обо всем подробно» (*Лавров Александр.* С. Заяицкий – корреспондент Максимилиана Волошина // Toronto Slavic Quarterly / Ed. Zahar Davydov. № 40. Spring 2012. С. 198–199).

[4] В письме к Волошину от 10 января 1928 г. Л. Е Остроумов подтверждал, что запрещение концерта «действительно имело место», и добавлял: «Я бы тебе охотно написал подробнее по поводу концерта, но не все следует излагать на бумаге. Одно только скажу, что дело в конце концов чепуховское, сводящееся к мелкой подлости человеческой и решительно никакими осложнениями не грозящее, кроме, конечно, затрудненного ремонта дома. Волноваться тебе по поводу запрещенья нечего, а помочь тебе мы постараемся» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 917, л. 21–22). Наиболее внятный рассказ о происшедшем — в недатированном письме М В Дороговой (главного инициатора концерта) к Волошину: «Когда, после разрешения Гублитом, концерт был запрещен Верховным органом, и меня туда вызвали, я попробовала и там повоевать: я доказывала, что концерт устраивается не для Вас, а для дома, в котором находят бесплатный отдых свыше 400 человек в год, — мне было отвечено· “Что там, пролетарская публика, что ли!” — Да, и пролетарская, — воскликнула я, — много крестьянских поэтов, экскурсий и коммунистов. — “Для одного лица нельзя ничего устраивать, нужно было обратиться в Посредрабис, чтобы он устроил концерт”. — Да ведь он этим не занимается. — В конце концов была сказана фраза, по которой я решила, что от меня просто хотят отвязаться, не называя причины отказа “Если бы мы

не узнали о концерте, Вы бы его устроили без разрешения". — "Да ведь я его не в частной квартире, а в госуд<арственном> учреждении устраивала, меня бы и в зал не пустили без разрешения из Гублита, мое прошение насчет зала там шло официально через Правление". Ничего не помогло Так я и ушла с Лубянки ни с чем» (ИРЛИ, ф 562, оп 3, ед хр. 515, л 45–46 об)

[5] В. П. Остроумова и Алеша, сын ее и Л. Е. Остроумова

299. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

21 января 1928 г. Харьков[1]

21. I. 1928. Харьков.

Милый Левушка,

мы еще в Харькове. Вероятно, через 2 дня выедем в Кисловодск.[2] Шпаро прислал бумаги на леченье, и выяснилось, что нам за все леченье придется *платить* (хотя и со скидкой). Я этого совсем не ожидал, т<ак> к<ак>, когда меня в 1921 г. посылали в Саки, то были совсем иные порядки. Это образует нам дополнительных расходов вдвое против то<го>, что у нас есть. Мы ведь так и не смогли добиться ни у кого — какие же *расходы* нам предстоят в Кисловодске. Харьковские друзья пришли на помощь и устроили мне ряд платных чтений,[3] и, кажется, мы все-таки выедем через 2 дня. Но у меня уже грипп и простуда. Я *умоляю* тебя не делать никаких *сборов* в пользу дома. Этого мы принять не можем. А раз с концертом ничего не вышло, то лучше устроить лотерею.[4] Для этого я посылаю тебе 40 аквар<елей>, к<ото>рые случайно захватил с собою для Харькова, но не использовал здесь. Их привезет Мар<ия> Алек<сандровна> Пазухина, котор<ая> приехала сюда повидаться с нами.[5]

Мы живем в Харькове у Златогоровых.[6] Нам очень хорошо. Но у меня уже грипп, как в прошлом году, и потому все время является соблазнительная мысль, а не махнуть ли рукой на все и не вернуться ли в Коктебель? Но этому соблазну я не поддамся, хотя еще 2 дня назад это казалось неизбежно. Анкету я пришлю на днях. Но я членом профсоюза не состою.

Я бы мог в сущности восстановиться, но по здравом размышлении решил не делать этого, т<ак> к<ак> это внесет нежелательные осложнения в коктебельскую жизнь, т<ак> к<ак> Всерабис начнет мне посылать всех феодосийских «каботэнов»[7] в Коктебель, а меня выступать на разных обязательных вечерах. То и другое одинаково неприемлемо.

Max.

[1] Открытка. Почтовые штемпели. Харьков 21.1 28; Москва. 23.1.28

[2] Волошины выехали из Харькова в ночь с 23 на 24 января через Ростов-на-Дону, где пробыли 24 и 25 января, приехали в Кисловодск 26 января.

[3] Известно, что 17 января 1928 г. Волошин выступал с чтением стихов в харьковском Доме ученых (Труды и дни-2. С. 374)

[4] Подразумевается распродажа акварелей Волошина посредством лотереи

[5] М.А. Пазухина пробыла в Харькове неделю – с 15 по 22 января (ср. п. 300).

[6] Волошины переехали от Домрачевых к Златогоровым вечером 10 января (Труды и дни-2. С 373).

[7] Cabotin (*фр*) – странствующий актер, комедиант

300. М.А. ПАЗУХИНОЙ

22 января 1928 г. Харьков

Дорогая Марья Александровна,

мне хочется еще сегодня же ночью, когда Вы ушли, сказать Вам, что Ваш приезд был большою радостью.[1] Я Вас видел мало и говорил с Вами еще меньше в эти дни, но Ваше присутствие (как и в Коктебеле) невидимо светит и озаряет. И это чувствуют все, хотя и не все сознают. Это я пишу к тому, чтобы Вы и думать не могли поехать летом куда-нибудь опричь Коктебеля. Коктебель будет неполон без Вас, и мы с Марусей будем лишены нашей постоянной опоры – моральной и духовной, – которую мы почувствовали с такой силой за эти годы в Вашем таком тихом и малословном присутствии. За

дни Вашего пребывания в Харькове я особенно ясно осознал Ваше значение в нашей жизни, и т<ак> к<ак> я не смогу завтра поехать на вокзал проводить Вас, то мне захотелось написать Вам эти несколько слов, чтобы Вы прочли их уже в поезде, уезжая из Харькова.

Макс.

[1] См. примеч. 5 к п 299 В письмах к мужу из Харькова Пазухина сообщает, что ежедневно бывает там же, где и Волошины, и приводит слова Волошина «Как Вы хорошо сделали, что приехали» (Труды и дни-2 С 374).

301. Е. Я. АРХИППОВУ

4 февраля 1928 г. Кисловодск[1]

Кисловодск. Крестовая улица, 4. Цекубу.
4/II 1928.

Дорогой Евгений Яковлевич,

пишу Вам из Кисловодска, куда мы с женой приехали уже дней 10[2] и крайне неудачно: оба свалились в гриппе после приезда.

Мое кровяное давление оказалось слишком высоким для Кисловодска: мне запретили брать нарзанные ванные и вообще спускаться вниз с Крестовой горы и ходить по горам. Сейчас нам обоим лучше. Но Кисловодск по уши засыпан снегом и скорее напоминает какие-нибудь Weihnachts-Abend – Post-Carten,* чем Кавказ. Словом, нам делать здесь нечего, и мы, вероятно, через неделю отправимся восвояси через Новороссийск в Феодосию. Если Вам не трудно разузнать, Евгений Яковлевич, то, пожалуйста, сообщите мне, по каким дням отходят из Новороссийска в Феодосию пароходы. (Теперь, кажется, не все крымские пароходы заходят в Феодосию). А в том случае, если пароход не отойдет в назначенный день, то не могли ли бы мы с Марией Степановной провести ночь под Вашим кровом? Последний вопрос условен – т<ак> к<ак> я

* Рождественские почтовые открытки (*нем*)

совершенно не знаю Ваших квартирных условий и боюсь Вас слишком стеснить. Но я буду Вам очень благодарен, если Вы мне ответите открыткой не медля.[3] Ваше большое письмо от 1/I я получил в Харькове.[4] Дорога и болезнь не дали мне возможности ответить на него до сих пор. Но я это надеюсь сделать лично в Новороссийске.

Итак до скорого свиданья.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Кисловодск. 6.2.28; Новороссийск. 9.2.28.

[2] См. примеч 2 к п. 299.

[3] Волошину ответила К.Л Архиппова. См. примеч. 2 к п. 302.

[4] В письме от 1 января 1929 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 207, л. 8–9 об.) Архиппов, ознакомившись со стихотворением «Четверть века», делился с Волошиным размышлениями о его поэзии: «Ваша последняя поэма вызывает в память все, что начертали Вы в своих других поэмах <...>. Ваши поэмы – новая литературная форма. Каждая почти заключает в себе темный спектр русской истории и каждый раз по-иному отражает его линии В восприятии спектра (в особенности его темных тонов) русской истории Вы – наследник П.Я. Чаадаева и В.О Ключевского. Линии Чаадаева и Ключевского скрестились в Вас. Первоначальный образ русской истории: тьма, брожение, плавильня (частично отраженный у Чаадаева) в соединении с кристаллически построенными формами Ключевского – перешли к Вам, к Вашей философии истории, так необыкновенно остро, афористически и вместе сконцентрированно изложенной в Ваших поэмах. Вы же и наследник формул Ключевского, – только какой бичующей волей озарились эти формулы. Восставший Аввакум, во всеоружии исторических и европейских знаний – сейчас, среди нас! – клеймит дороги и водителей русской истории. Вот впечатление от Ваших философско-исторических поэм. Кристаллы озарились огнем, стали наконечниками стрел, пущенных в прошлое и магически поражающих современное».

302. Е. Я. АРХИППОВУ

17 февраля 1928 г. Кисловодск[1]

17/II 1928. Кисловодск. Крестовая 4. Цекубу.

Дорогой Евгений Яковлевич,

получил милое письмо Клавдии Лукьяновны и спешу извиниться перед Вами за невольное беспокойство.[2] Вопрос о нашей остановке в Новороссийске уже улажен: мы остановимся у моего старинного феодос<ийского> знакомца Ник<олая> Матв<еевича> Нич, который располагает и больш<ой> семьей, и соотв<етствующим> помещением.[3] Приеду накануне отхода парохода, чтобы иметь время повидаться и поговорить. Адрес: Цемесская 40 (теперь ул. Губернского). Думаю, что наш проезд состоится около первого марта. Как Ваш грипп?

Прошу передать мой привет и благодарность Клавдии Лукьяновне.

Лучшее средство от гриппа: капля иода на стакан воды. Пить по столовой ложке стакан в течение дня.

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Кисловодск. 17.2.28, Новороссийск. 19.2.28.

[2] К. Л Архиппова. В письме от 11 февраля 1928 г. она сообщала о болезни Е. Я. Архиппова и просила от его имени непременно посетить их во время пребывания в Новороссийске – с оговоркой: «Квартирные условия наши крайне плохи, но Вы и Мария Степановна посмотрите сами» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 208).

[3] Отвечая Волошину на его письмо из Кисловодска, Н. М Нич писал 9 февраля 1928 г.: «...время, проведенное Вами и Марией Степановной у нас, будет самым приятным для нас временем за три года, прожитые в Новороссийске» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 888).

303. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

19 февраля 1928 г. Кисловодск

19. II. 1928. Кисловодск. Крестовая 4. Цекубу.

Милый Левушка,

Вот уже четвертую неделю сидим в Кисловодске. У меня в столе груды полученных писем, и я никому не отвечаю: нет времени и настроения. Приезд наш был омрачен многими неутешительными знамениями (в духе твоего классического невезения). Оба мы приехали огрипленные и простуженные: Маруся слегла с первого же дня приезда, я с третьего и оба пролежали в постели первую неделю.

Д<окто>ра Полонского,[1] к которому нас направили, в Кисловодске не оказалось. Мы пошли по линии официальных врачей. Моя судьба оказалась в руках старичка ипохондрика[2] – «очень опытного», но давно лично утратившего вкус к жизни. Он мне сказал, осмотревши меня (на 3-тий день): «Кто Вас послал в Кисловодск? Здесь при Вашем кровяном давлении за Вашу жизнь я ручаться не могу. Уезжайте сию же минуту. Ваша жена больна? Чем бы она ни была больна – Ваше положение катастрофичнее, чем ее... Ну тогда ложитесь в постель и не смейте спускаться вниз из Цекубу. Таким больным нарзанных ванн не дают и в Кисловодск не пускают». Все это довольно-таки ошеломило меня, а еще больше Марусю, тем более что все врачи мне говорили, что у меня сердце здоровое и склероз умеренный. На следующий день у меня тоже разыгрался грипп и температура. Я слег рядом с Марусей на неделю.

Когда мы приехали, у нас не было ни единой души знакомых. Но во время нашего великого лежания в постели к нам стали приходить на помощь разные незнакомые люди, навещать врачи, и к нашему выздоровлению мы уже имели круг очень близких друзей, среди которых оказалось несколько человек, совершенно замечательных своими моральными достоинствами. Через неделю выяснилось, что мое состояние вовсе не так уже безнадежно и что я рискую остаться в живых, даже не покидая Кисловодска. Но д<окто>р ипохондрик ска-

зал, что все-таки он меня лечить не берется, пока я из нагорного дома Цекубу не перееду вниз на местную заплеванную Picadilly[3] в Grande-Hôtel. Но в виде особой милости позволил гулять по панели около дома. Постепенно мой круг друзей и знакомых расширился, я стал читать стихи по знакомым домам, и мы вновь оказались в вихре светской жизни. Во мне стали принимать участие другие врачи и в виде особой милости дали мне принять одну нарзанную ванну, которая подействовала на меня так хорошо, что у них явилась мысль дать мне принимать целую серию нарзанных ванн. Но это только теперь на четвертую неделю моего пребывания в Кисловодске. Но на наше счастье Мария Александровна[4] выслала нам 100 р., и это дает нам возможность остаться здесь еще взять от Кисловодска ту малую долю лечения, которое он нам может предоставить. Несмотря на мое положение умирающего, состояние духа у меня все время было превосходное и ликующее. Кисловодск в его классических местах я еще совсем не видал. До нарзанного ключа меня так и не допустили. Но я видел народный нарзан, кантированный в форме писсуара, был на «храме Воздуха»,[5] построенном как раз над городскими свалками, и гулял по верхним аллеям парка, по которым разъезжают (для освежения воздуха) ассенизационные бочки, сочащиеся озоном.

Думаю, что летом Кисловодск изрядная мерзость, но сейчас — до ушей засыпанный снегом, с инеем на деревьях, с морозами, доходящими ночью до — 20° мороза, и в тихое время совсем теплыми благодаря полному безветрию, он представляет большую прелесть. Он напоминает немецкие рождественские карт-постали[6] с оснеженными елями и вифлеемской звездой на шесте на крыше соседней санатории. Вообще больше всего похоже на Финляндию зимой. Это, верно, не вполне обычный его аспект, но эта полезная экзотика после стольких зим в Крыму мне нравится.

Нарзанные ванны имеют на меня очень хорошее влияние: сразу выровнялся и упал пульс и кровяное давление. Так что мы, очевидно, еще останемся недели на 2 на 3, чтобы взять полный курс их. Досадно только, что мы, благодаря врожденному пессимизму первого врача, потеряли сначала 3 недели,

когда мне ни ванн не давали, ни давали по горам бродить. Страшно глупо.

Относительно Лит-Фонда:[7] я долго раздумывал о возобновлении моего членства во Всерабисе в Феодосии, где я раньше и был членом. Но по зрелом размышленьи решил, что это для меня очень невыгодно: 1) потому что там большинство подавляющее — провинциальные каботэны[8] и кино-артисты. И мне от них никак не огородить коктебельский дом, раз я стану их сочленом. А это, ты сам знаешь, для лета элемент самый нежелательный. 2) Т<ак> к<ак> я буду числиться «безработным» и зачислен поэтому в число «эстрадников», то это поведет к тому, что меня будут отправлять каж<д>ую неделю для разных выступлений во все концы уезда.

Поэтому я в союз не пойду и Лит-Фонд, очевидно, меня не примет. Но анкету я все-таки заполнил и посылаю тебе на твое личное усмотрение. Думаю, что ее не стоит подавать. Если там есть члены, меня ценящие, как поэта, то это, может, и имело бы смысл. Но в этом сомневаюсь. Да и сам ты пишешь, что «Местком» разваливается.[9]

За книгу твою и за эпиграф очень благодарю.[10] Я прочел ее с интересом и узнал много нового для себя о крымских легендах. Ты собрал очень богатый материал. Но ты неудачно вложил его в уста твоих действующих лиц. Они часто говорят о том, чего сами знать не могут, и говорят не своим языком, им свойственным, а просто излагают твои знания. Это вносит в книгу нежелательный элемент художественно<й> небрежности (скорее недоделанности). Если бы ты переписал рукопись еще 2—3 раза, то, конечно, этого бы не было.

А интересного там очень много. Спасибо.

Мое время в Кисловодске так занято лечением, чтением стихов и посещением неудержимо растущего круга друзей, что я едва ли успею написать много писем и поэтому прошу тебя прочесть письмо или сообщить его содержание общим друзьям (не исключая из них Пазухиных и Варвары Дмитриевны[11]). Привет Валькирии и поцелуй Трюфелю.[12]

Макс.

[1] Митрофан Григорьевич Полонский (1879–?), врач-терапевт

[2] Имеется в виду врач-терапевт Николай Матвеевич Стельмахович (1858–?). Осмотр состоялся 28 января.

[3] Пикадилли – респектабельная улица в Лондоне.

[4] М.А. Пазухина.

[5] Храм Воздуха – белоколонный павильон в Верхнем парке Кисловодска у Серых камней (1914 г, архитектор В. Н. Семенов).

[6] Carte postale (*фр*) – почтовая открытка

[7] См. примеч. 1 к п 285.

[8] См. примеч. 7 к п. 299.

[9] Текст упоминаемой анкеты, заполненной Волошиным, не выявлен. 12 февраля 1928 г. Л. Е. Остроумов сообщал Волошину. «Сейчас Местком Писателей переживает кризис. не все из его деятелей оказались на высоте, произошли разные скандальные истории, а так как у Месткома недоброжелателей очень много, положение его сильно пошатнулось. Сейчас прекращен прием новых членов Вообще положение писателей грозит очень ухудшиться» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 917, л. 23 об.).

[10] См примеч. 3 к п. 233.

[11] В.Д. Финкельштейн.

[12] Жена и сын Остроумова – В. П. Остроумова и Алеша.

304. Е. Я. АРХИППОВУ

28 февраля 1928 г. Кисловодск[1]

28/II 1928. Кисловодск. Цекубу. Крестовая 4.

Дорогой Евгений Яковлевич,

врачи меня задерживают в Кисловодске еще на 2 недели, так что я, очевидно, раньше половины марта, а может, и позже в Новороссийск не попаду. Относительно дня приезда буду телеграфировать Н. М. Нич.[2] Очень радуюсь и сочувствую Вашему выздоровлению. Грипп штука длительная, навязчивая и отвратительна<я>. В прошлом году он у меня отнял 4 месяца и все мое пребывание в СПБ.[3] Не дал мне повидать перед смертью ни Сологуба, ни Кустодиева.[4] Только с Кони мы провели один вечер[5] (я останавливался в соседстве от него). Словом, по приезде в СПБ мне пришлось месяц вы-

сидеть в комнате без голоса. Последние слова, переданные мне Сологубом, были: «Пусть поторопится: когда деревянный сюртук наденут – поздно будет». Статью о Черубине я еще не получил:[6] она лежит, вероятно, в Коктебеле: я просил мне пересылать сюда только письма, а не книги. Мое здоровье недурно: врачи в Кисловодске сперва запретили мне даже пребывание здесь. Только простуда Мар<ии> Ст<епановны> задержала меня на несколько дней. А теперь нашли, что мне нарзанные ванны даже очень полезны, и задерживают из-за них. До скорого свиданья. Привет наш Клавдии Лукьяновне.[7]

Максимилиан Волошин.

[1] Открытка Почтовый штемпель получения Новороссийск. 1.3 28.

[2] Волошины выехали из Кисловодска 17 марта и прибыли в Новороссийск на следующий день, остановились у Н. М. Нича (Цемесская ул., 40), 18 и 19 марта были у Архипповых (Труды и дни-2. С. 379).

[3] Время пребывания Волошиных в Ленинграде в 1927 г.: 31 марта – 18 апреля.

[4] См. п. 226. Ф. Сологуб скончался в Ленинграде 5 декабря 1927 г., Б. М. Кустодиев – 26 мая 1927 г.

[5] А. Ф. Кони скончался в Ленинграде 17 сентября 1927 г. Он посещал Волошина по адресу его ленинградского пребывания (Невский пр., 84, кв 26) вечером 7 апреля и, возможно, 15 апреля 1927 г. (Труды и дни-2. С. 340, 341)

[6] Статья Е. Я Архиппова «Черубина де Габриак» в двух частях («Лирика Черубины де Габриак» и «Темный ангел Черубины») сохранилась в архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 1442). Машинопись «Темного ангела Черубины» имеет дарительную надпись автора Волошину от 15 апреля 1928 г.: «Дорогому Учителю, явившемуся мне “в Грозе и Буре”» (Труды и дни-2. С. 382).

[7] К. Л. Архиппова

305. М. А. НОВИЦКОЙ

26 марта 1928 г. Коктебель

26/III 1928. Коктебель.

Дорогая Муся,

мы не были в Коктебеле в день смерти Феод<ора> Эдуард<овича>[1] и возвратились из Кисловодска лишь 3 дня назад.[2] Т. е. через месяц после его смерти. И застали такое положение вещей: Ольга Андреевна как мертвая, с мертвенным лицом. Вялая и безвольная. Ночует у Андерсов (живущих у нас). Андерсы, бывшие при смерти Феод<ора> Эд<уардовича> с самого начала, приняли в ней горячее участие, окружили ее заботой и переселили к себе. Они ей помогают укладывать вещи и книги, которые она собирается сейчас же увозить из Коктебеля и распродавать часть в Феодосии, часть отправлять к Вам и к сестре, а сама ехать к Вам. Говорить с нею об ее планах сейчас не приходится.

Надо сказать, что сейчас же по получении известия о смерти Ф<еодора> Эд<уардовича> мы написали ей из Кисловодска, где просили ее считать, что с его смертью ничего не меняется, и просили, чтобы их комнату она всегда считала своей. Между тем сейчас она сказала, что «к Пасхе[3] я вам Вашу комнату освобожу», а на наши протесты добавила: «ведь она Вам нужна».

Сейчас за ее болью и почти полной душевной невменяемостью эта торопливость в сборах и в ликвидации вещей и старого гнезда очень мучительна и невольно рождает мысль, что она считает нас себе враждебными. Вы — ее старые и единственные друзья — знаете, что это не так. Помните наши разговоры летом об единственном недоразумении, которое у нас было за эти годы с Юнгами: из-за комнат, занятых ихними вещами, которые мы просили освободить на лето? Теперь, конечно, не время выяснять эти старые истории, но они очевидно действуют на Ольгу Андреевну и заставляют ее поступать сейчас совсем не разумно.

Она, например, сейчас же после нашего приезда поторопилась взять к себе в нагроможденную комнату все книги,

лежавшие уже 10 лет в моей мастерской, никого не стесняя: «они Вам обременительны».

Словом, я бы хотел от Вас — от ее старых единственных друзей, — чтобы Вы повлияли на нее советом (если только Вы согласны с моей точкой зрения). Конечно, сейчас ей лучше всего уехать на время к Вам. Но ей ни в каком случае не надо рвать с Коктебелем, куда ее, конечно, потянет после к дорогой могиле, и разорять старого гнезда. Ей нельзя смотреть на нас как на врагов и отказываться от нашей помощи. Ей вовсе нет необходимости сейчас же ликвидировать все имущество: вещи, книги, мебель. Она их может запереть в своей комнате и взять ключ с собою, уезжая к Вам.

Вообще не следует ей поступать вопреки своим интересам. Чувствуя если не враждебность, то полную ее отчужденность к нам, я пишу это письмо Вам (т. е. не только Вам лично, Муся, но настолько же и Юлии Ивановне и Алексею Петровичу),[4] чтобы Вы письмом и советом смягчили это положение вещей. Ведь Вы знаете практически, как мы всегда относились к Юнге, особливо в тяжелый период их жизни, как относилась к ним покойная мама, как относились мы с Марусей.

Крепко обнимаем и приветствуем всех Вас.

Максимилиан Волошин.

[1] Ф. Э. Юнге скоропостижно скончался 24 февраля 1928 г. В П. Андерс известил Волошина об этом письмом в Кисловодск на следующий день: «Вчера днем скоропостижно умер Федор Эдуардович. Все, что можно было сделать — сделал врач, в течение 2-х часов напрасно пытавшийся вернуть ему если не жизнь, то хоть сознание. Состояние Ольги Андреевны ужасное. Завтра надеемся похоронить, если достанем все нужное» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр 1377). Дополнительные подробности о смерти и похоронах Ф. Э. Юнге Андерс сообщил в письме к Волошину от 11 марта 1928 г (Там же). Юнге и его жена Ольга Андреевна Юнге проживали тогда во флигеле дома Волошина.

[2] Волошины отплыли из Новороссийска 20 марта и прибыли в Феодосию на следующий день, 23 марта 1928 г возвратились в Коктебель (Труды и дни-2. С. 379).

[3] Пасха в 1928 г. – 15 апреля.

[4] Родители М.А. Новицкой – Ю И и А. П. Новицкие. Семья Новицких проживала в это время в Киеве

306. М. А. ПАЗУХИНОЙ

28 марта 1928 г Коктебель

28/III 1928. Коктебель.

Дорогая Марья Александровна,

Вот мы наконец и в Коктебеле.[1] Как ни хорошо в иных местах, а все-таки лучше Коктебеля места нет. В Новороссийске нас застал норд-ост. Пришлось 2 суток дожидать<ся> нашего парохода, который не мог зайти в порт. Переезд до Феодосии, несмотря на ураган, прошел почти без качки (ветер был с берега). У нас в доме глубокое уныние. Умер без нас скоропостижно Фед<ор> Эд<уардович> Юнге (25 февр<аля>). Ольга Андр<еевна> как мертвая.[2] К ней очень хороши и внимательны Андерсы. Но почему-то ее склоняют уехать из Коктебеля совсем, и она ликвидирует все вещи и комнату, несмотря на наши просьбы остаться с нами. А кругом – благодать Божия. С нашим приездом началась дружная весна. Снег сразу вымело с гор. Солнце светит, море благоухает всем своим большим, холодным муаровым телом. Маруся целые дни в саду «надрывает себе последние животики». Я пишу письма (150 неотвеч<енных>), акварели, держу диету (с лета спустил 14 кило = 33 ф<унта>).

Все<х> обнимаю и целую.

Макс.

[1] См. примеч 2 к п. 305.
[2] См. примеч. 1 к п. 305

307. Л. Е. ОСТРОУМОВУ

28 марта 1928 г. Коктебель[1]

28. III. 1928. Коктебель.

Дорогой Левушка, мы вернулись в Коктебель из Кисловодска благополучно, хотя как раз пришлось ехать по Черн<ому> морю в дни урагана.[2] В Новороссийске просидели 2 ½ су-

ток, т<ак> к<ак> пароход не мог зайти в порт. Но во время пути в Феодосию ветер нам дул в хвост и почти не качало. На Кавказе глухая зима, а здесь со дня нашего приезда началась теплынь и весна. Дни такие, что не нарадуешься. Море шелковое и пахнет фиалками и водорослями. В доме – горе. Без нас скоропостижно умер Феод<ор> Эд<уардович> Юнге. Ольга Анд<реевна> вне себя от тоски и отчаянья.[3] Собирается уезжать из Коктебеля. Мы ее уговариваем остаться жить с нами. Андерсы перезимовали всю зиму. Теперь собираются перебираться в Феодосию. Маруся возится целыми днями в саду. Перед отъездом мы получили 70 р. телегр<афом> – неизвестно от кого – верно, Валькирия?[4] Я очень прошу ее (если есть еще наши деньги) мне купить и прислать (с оказией или по почте) ***сандалий*** мне ***лосиной*** кожи (белые) лучш<его> качества. Длина подошвы 30 сан<тиметров>, ширина 11 сант<иметров>. № своего не помню. Маруся ей каждый день собирается писать. Но весной – день так переполнен, а у меня свыше 100 неотвечен<ных> писем за эти 2 мес<яца> в Кисловодске.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель 29.3 28; Москва. 1 4.28

[2] См. примеч. 2 к п. 305

[3] См примеч 1 к п. 305.

[4] Прозвище В П. Остроумовой.

308. В. В. ВЕРЕСАЕВУ

29 марта 1928 г. Коктебель

29. III. 1928, Коктебель.

Дорогой Викентий Викентьевич,

Я неделю назад возвратился из Кисловодска и получил от Вас 60 руб.[1] Глубоко тронут Вашим вниманием и дружественностью. Но сейчас – раз я вернулся с лечения – у меня

нет крайности в деньгах. Поэтому позвольте мне дать им то употребление, которое мы даем всем тем средствам, которые нам удается сэкономить на собственном бюджете: переслать их тем, кто не имеет средств на билет в Коктебель (сейчас я имею в виду внучку Ф. И. Тютчева – А. А. Кораго), или просто их вернуть Вам с глубокой благодарностью.

Мы провели около 2 месяцев в Кисловодске. Сперва меня там напугали и обескуражили: врач мне сказал, что у меня настолько высокое давление крови, что мне Кисловодск опасен и я могу каждый момент умереть на улице от разрыва сосудов, что мне нарзанные ванны вредны безусловно и чтобы я сейчас же уезжал восвояси. Я, может быть, это и сделал, если бы Мария Степановна не слегла, приехавши, в жесточайшем гриппе, а через день к ней присоединился и я.

За наше лежанье в постели к нам стали нахаживать другие (не казенные) врачи и др<угие> неожиданные друзья. Мы поправились, остались еще на несколько дней, чтобы не уезжать, так ничего и не увидевши.

Недели через 3 собрались ехать. Но перед отъездом мне предложили принять нарзанную ванну: не для лечения, а чтобы «полакомиться». Но оказалось, что она на меня прекрасно подействовала. Кровяное давление понизилось, пульс выправился. Словом, врачи (друзья) нашли, что мне необходимо проделать полный курс нарзанного леченья. И мы остались еще на четыре недели. Очевидно, это просто манера любезной встречи на казенной фабрике: сперва убедить в отчаянности положения, а потом исцелить. Впрочем, я чувствовал себя великолепно и тогда, когда рисковал помереть каждую минуту. Лишь за два дня до нашего отъезда вернулся в Кисловодск тот врач, к которому мы, в сущности, и были направлены.[2] Он только подтвердил диагноз профессора Щербинского. У меня «гипертония», нуждающаяся в серьезном клиническом исследовании, но при соответственной, очень строгой, диете (в смысле влаги и соли) непосредственно ничем не грозящая (кроме «удара» и т. д.). Наши московские друзья по собственной инициативе приняли большое участие в нашем лечении и розыгрышем моих художественных работ дали нам средства на леченье. Словом, мы приобрели от этой

поездки человек 60 новых близких друзей в Кисловодске, некоторое улучшение в здоровье и впечатления хорошей северной зимы, давно нами не виданной. Кисловодск похож на Финляндию.

Позвольте мне напомнить Вам, Викентий Викентьевич, что Вы мне обещали прислать Ваши «Воспоминания», и я их очень жажду.[3]

Скажите мне: числюсь ли я членом «Союза писателей», а если нет, то могу ли я быть таковым и что для этого нужно мне сделать?

Скоро ли Вы приедете в этом году в Коктебель?[4]

Посылаю Вам и Марии Гермогеновне[5] две акварели – из впечатлений черноморских берегов во время переезда из Новороссийска.

Всего лучшего. Спасибо еще раз. Получили ли Вы мои стихи «Четверть века»,[6] что я посылал Вам до Кисловодска?

Максимилиан Волошин.

[1] 27 декабря 1927 г. В. В Вересаев писал Волошину из Москвы: «С огорчением узнал, что вечер в пользу Вашего “дома отдыха” не удалось устроить Посылаю 60 р (КУБУ), – Вы помните, я Вам как-то говорил: такие не подлежат отдаче» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 331, л. 48).

[2] М. Г. Полонский.

[3] См. п. 278, примеч. 3, 4. Вересаев отвечал 10 апреля 1928 г.: «Распорядился в издательстве, чтоб Вам выслали “В юные годы”» (Там же, л. 50).

[4] В том же письме Вересаев сообщал «Вы избраны в члены Союза Писателей. Членский взнос (6 руб) внесу за Вас. Разочтемся летом Билет, если он Вам пока не нужен, привезу с собой. Приеду не раньше июня».

[5] М. Г. Смидович.

[6] См. примеч. 3 к п. 283.

309. А. О. ЯКУБЧИК

29 марта 1928 г. Коктебель

29/III 1928. Коктебель.

Дорогая Симпатяга,

Большое спасибо тебе за книгу Чуковского об Некрасове.[1] Я нашел ее, вернувшись в Коктебель, и читаю ее сейчас с увлечением — вернее, перечитываю, потому что многие из отдельных статей я уже читал в свое время. Прекрасная книга. Путешествие наше в Кисловодск прошло очень хорошо: мы нашли там человек 100 прекрасных людей, которые стали нашими друзьями (и, конечно, приедут в Коктебель). Кое-что принесло это и для здоровья — но это неважно. Для здоровья лучше всего сидеть в Коктебеле и держать диету. Я и держу. За эту зиму сбросил 14 килограммов. Сейчас весна. Теплынь. Пахнет морем, водорослями и цветами (от моря). Маруся надрывает последние животики в саду за работой. У меня лежит много новых книг, и глаза переполнены виденьями моря, берегов и снежных мятелей. А в доме у нас горе: умер без нас Фед<ор> Эд<уардович> Юнге. Ольга Андр<еевна> места себе не находит от тоски и отчаянья.[2] Крепко тебя обнимаем и целуем.

Мах
и Маруся.

[1] Имеется в виду книга К. Чуковского «Некрасов: Статьи и материалы» (Л.: Кубуч, 1926).
[2] См. примеч. 1 к п. 305.

310. Г. Н. и К. К. ПЛАТОНОВЫМ

30 марта 1928 г. Коктебель

30/III 1928. Коктебель.

Мои дорогие Галя и Кот!!

Во-первых, простите, что из Кисловодска, где получил оба Ваши письма, Вам не отвечал.[1] Это указывает лишь на то,

что наша жизнь текла там непрерывными потоками: за «процедурами» (ваннами, массажами, лежаньями) следовали люди, чтенья стихов, беседы, интимные признанья и т. д. Словом, наша обычная жизнь в полном разгаре. Отвечать на письма было некогда. Потом мы ехали сквозь норд-осты, ураганы с сиденьем в Новороссийске.[2] Норд-ост похож на мокрый брезент – такой же непроницаемый и грубый. Но уезжать по норд-осту из Новороссийска хорошо – гонит и не качает. Зима в Кисловодске была снежна<я>, пушистая «рождественская». Мы так его вне снега и мороза не видали. На мой взгляд, пейзаж и климат до иллюзии напоминают Финляндию. Зима была и сурова в Крыму. Коктебель мы застали под снегом (мы ехали во время снежного шторма по морю). Но он в первую же ночь стаял, а солнце подлизало последние белые трещинки в горах, и вот уже неделя стоит самая тихая и узывная весна и напоминает о том, что через 2 недели Пасха и добрый ветер к этому времени, конечно, принесет в Коктебель целый ряд добрых друзей и Пасха пройдет не без Кота и Галки, которые, разумеется, найдут возможность хотя бы на неделю выскочить из своего учебного (беличьего) колеса. И добудут (хотя бы родителей?) средства на этот побег.[3]

Если я вам скажу, что море пахнет водорослями и фиалками, что трава зазеленела и что всю<ду> лезут крокусы, что по ночам с Азовского моря ползут лунные туманы, что Маруся белит комнаты и ругается, что твой ломовик, то неужели это не соблазнит вас на невозможное?

Все-таки на всякий случай прила<га>ю два глотка весеннего воздуха (акварели), чтобы они Вам не дали покою до самой Страстной.

Кот, привози своего отца. Сговорись с тетей Сашей – Домрачевой, которую мы тоже поджидаем на Пасху.[4]

Крепко вас обоих целуем – вместе с Марусей.

Макс.

[1] Имеются в виду письма Г. Н. Платоновой из Харькова от 23 февраля и 7 марта 1928 г (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 973, л. 5–8 об).

[2] См. примеч. 2 к п. 305

[3] К. К. Платонов приехал из Харькова в Коктебель на пасхальные праздники (15 апреля).

[4] К. И. Платонов и А. Л. Домрачева на Пасху в Коктебель не приехали.

311. Е. Я. АРХИППОВУ

2 апреля 1928 г. Коктебель

2/IV 1928. Коктебель.

Дорогой Евгений Яковлевич,

получил Ваше, как всегда милое и дружественное письмо от 20/III. Я тоже не удовлетворен нашей встречей.[1] Этот норд-ост был не только оскорбителен, как площадное насилие, — он точно выдувал сознание из головы. У меня осталось такое чувство, что в течение 2 суток мне приходилось продираться сквозь мокрый брезент. После такой рукопашной можно только пить горячий грог в портовом кабаке с пьяными матросами, а не сосредоточиваться душою у обмоленного алтаря поэзии, втиснутого в одну из горных щелей этих негостеприимных берегов. Уже post factum я почувствовал всю умиленность (и умилительность) собранных Вами реликвий и ex-voto* и лишь здесь оценил всю прелесть их анахронизма в таком месте и понял глубину его символа: норд-ост — современность. Так что я, сознаюсь, радовался, когда мы наконец добрались до парохода и там в течение полусуток перехода до Феодосии, в уединении каюты отдыхал от но<во>российского насилия.

Теперь коктебельские ветры кажутся мне ласкающими зефирами. Правда, мы ехали под дыханием снежных урагано<в>, застали Коктебель запорошенным снегом, но в первый же день началась оттепель и теперь солнце уже подлизало последние белые штришки на горах, зазеле<не>ла трава, затеплились крокусы и весна подступает со всех сторон.

Посылаю Вам, Клавдии Лукьяновне и дочери Вашей Ирине[2] (я не ошибаюсь в ее имени?) акварели (впечатления бере-

* Приношений (*лат*)

гов, мелькавших перед глазами). С громадным интересом и удовольствием прочел Вашу статью о Черубине (и о «Corona Astralis»).[3] Это очень тонкое и проницательное исследование корней и соответствий образов и символов, нас так близко связующих. Немного пожалел о том, что не успел Вам при встрече рассказать всю фактическую и анекдотическую историю Черубины – как она возникла и оформилась. Эта одна из фантастических «петербургских повестей» – стильная и своеобразная, которую Вам необходимо знать и в бытовом ее аспекте, чтобы оценить ее мистическую сущность.[4] Писать об этом долго и невозможно. Но еще ничего не упущено, и я надеюсь, что этим летом Вы вместе с Клавдией Лукьяновной навестите меня в Коктебеле. Расстояние между нами не такое большое и трудное, как я теперь убедился. А время Вы сами выберете в зависимости от того, предпочитаете ли Вы месяцы безлюдные (до конца июня и с сентября) или людные (июль – август). Будем Вам рады всегда. Относительно же корректуры списков – я всегда к Вашим услугам.[5] А после Пасхи, когда я смогу перебраться в свой кабинет, – я посмотрю среди сохранившихся списков, нет ли чего, что бы я мог Вам послать сам. Привет Клавдии Лукьяновне и Вашей дочери от нас обоих.

Мар<ия> Степановна сейчас по уши занята обычными весенними работами – ремонтом дома и садом.

Крепко Вас обнимаю.

Максимилиан Волошин.

P. S. Не забудьте, что вся семья Гергилевич очень скоро перебирается на жительство во Владикавказ.

[1] Подразумевается встреча в Новороссийске, где Волошин общался с Е. Я. Архипповым в течение двух с половиной дней – с 18 по 20 марта 1928 г. В письме к Волошину от 20 марта 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 207, л. 11–11 об.) Архиппов признавался: «Вся встреча наша (– которая незабвенна для меня, как высокая радость –), прошла не так, как хотелось бы: на фоне тревожного и злого ветра <...>. Мне жаль, что минуты Вашего присутствия были теми же краткими, исчезающими минутами. »

[2] К. Л. Архиппова и Ирина Евгеньевна Архиппова (1907–1979), дочь Е. Я. Архиппова от первого брака

[3] См. примеч. 6 к п. 304 «Corona Astralis» – венок сонетов Волошина (1909) См.. Т. 1 наст. изд. С. 119–126.

[4] См. устный рассказ Волошина о Черубине де Габриак, записанный Т. Б. Шанько (Т. 7, кн. 2 наст. изд С. 451–471)

[5] В цитированном выше письме Архиппов сообщал: «У меня нет многих Ваших вещей, с которыми я познакомился в Вашем чтении. Но я поступлю так, я перепишу у девочки Гергилевич (из привезенной ею тетради) и пришлю Вам, чтобы Вы поправили (текст слишком страдает при переписке его молодыми)»

312. В. П. ОСТРОУМОВОЙ

2 апреля 1928 г. Коктебель

2. IV. 1928. Коктебель.

Милая Валькиша,

спасибо тебе за твои дружеские и самоотверженные хлопоты о Коктебеле и о его хозяевах.[1] Всецело присоединяюсь к письму Маруси. Обо внешних событиях я писал Левушке.[2] А вот через тебя хочу просить коктебельцев вот о чем:

Долго беседуя (еще с осени) с Марусей о детском засилии, мы решили, что мы сами доброй волей сокращать числа детей не можем. Но несомненно, что эту банду надо как-нибудь урегулировать. И в этом году мы ставим условием всем матерям, чтобы они сами между собою сговорились о детском порядке. Необходима регулирующая рука (одна из «матерей» либо «пастух»), которая бы направляла эту орду подальше от дачи, где бы они меньше мешали своим криком и гвалтом и меньше били стекол и ломали деревьев. Возьми инициативу такого «предпарламента» матерей на себя и сговорись с Мар<ией> Алек<сандровной>,[3] Катей Сорокиной, Верой,[4] Заяицкими, Шаховскими, Гениевыми, Ниной,[5] какой распорядок установить, чтобы установить возможное совместное существование.

Кроме того, очень прошу довести до общего сведения мою просьбу: не привозить мне в подарок конфект. Я посажен и постепенно привыкаю к очень строгой диете. Сладкого мне совсем нельзя (а Маруся и без запрещения конфект не ест, а раздает детям). Поэтому я прошу *убедительно* едущих в Кок-

тебель *совсем* не привозить конфект. В конце концов, всегда их можно заменить чем-нибудь иным (аквар<ельная> бумага, писчая бумага, картон, книги... мало ли?).

Кроме того, извести всех тоже и о том, что у нас убавилось число хороших пружинных кроватей. Прошлой осенью к нам явилась одна местная девица — Вера Бояджиева — требовать у нас свои 6 кроватей, оставленных ею на сохранение 10 лет назад моей матери. У нас не бы<ло> данных сомневаться в истинности ее слов, и она отобрала у нас 6 лучших кроватей и увезла продавать. Так что теперь некоторые комнаты остались совершенно лишенными кроватей, в том числе комната Габричевских.

Вот и всё, кажется. Прости, что я тебя затрудняю всеми этими неприятными поручениями. Но ты чаще, чем остальные, кажется, видишься с отдельными группами коктебельцев, и тебе легче все же это все сделать, чем кому-либо иному.

Крепко целую тебя и Трюфеля.[6]

Макс.

[1] 5 марта 1928 г. В.П. Остроумова писала М.С. Волошиной: «Деньги, высланные нами, принадлежат только вам, вследствие реализации Максовых акварелей. Так как продавать их невозможно, п<отому> что их не всякий из нас мог бы купить, мы устроили лотерею. Часть собранных денег выслала и по мере накопления денег буду вам высылать частями» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 218, л. 14).

[2] См. п. 307.

[3] М А. Пазухина.

[4] В.Я. Эфрон.

[5] Н.В. Крыжановская.

[6] Сын Остроумовых Алеша.

313. С.Н. ДУРЫЛИНУ

9 апреля 1928 г. Коктебель[1]

Коктебель. 9/IV 1928.

Милый Сережа, прости долгий перерыв в переписке. Мы два месяца были в Кисловодске (груды снега, 20°-дусные мо-

розы, без<в>етрие – вероятно, как <в> Томске. Похоже на Финляндию). Вернулись на днях.[2] В Коктебеле груды неотвеченных писем. Отвечаю только открытками (пока) и эту пишу только для того, чтобы тебя обнять, поцеловать и сказать: Х<ристос> В<оскрес>![3] Из Кисловодска никому не писал, т<ак> к<ак> целый день был занят, не столько «процедурами», сколько людьми. Судьба нам послала там нескольких *прекрасных* людей и очень много просто хороших и нас полюбивших. В Коктебеле весна – студеная, ветреная, но солнечная. Очень хочется знать, как ты перезимовал эту зиму, как твое здоровье? Есть ли какая-нибудь надежда на дальнейшее движение твоего дела?[4]

Маруся крепко тебя целует и поздравляет. Целуем и поздравляем Ирину.[5]

Макс
и Маруся.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 9.4.28; Томск 17.4.28. Отправлено по адресу: Малая Кирпичная, д. 3, кв. 2.

[2] См. п. 305, примеч. 2.

[3] Написано за неделю до Пасхи (15 апреля). Аналогичную поздравительную открытку Дурылин отправил Волошину из Томска 10 апреля 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 525, л. 20).

[4] Ср. сообщение в письме Дурылина к Е. В. Гениевой «Макс писал уже из Коктебеля. Бурно там и холодно» («Я никому так не пишу, как Вам...» Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С. 204).

[5] И. А. Комиссарова.

314. Н. А. и А. Г. ГАБРИЧЕВСКИМ

9 апреля 1928 г. Коктебель[1]

9/IV 1928. Коктебель.

Милые Наташа и Саша, прежде всего Х<ристос> В<оскрес>! Мы вернулись в Коктебель недели 2 назад. Такая масса за это время накопилась письменных долгов, что успеваешь отвечать только открытками. Еди<н>ственная более или ме-

нее регулярная переписка у нас в этом году поддерживалась только с Валькирией и с Левушкой.[2]

Хочется через Вас обнять всех коктебельцев, что перебывали у Вас на Пасхе, и очень прошу всех, кого Вы увидите, попросить нас теперь же (с весны) известить, кто к нам собирается и приблизительно в каком месяце. Это для нас очень важно. Кроме того, деловое сообщение: прошлой осенью Вера Бояджиева у нас забрала 6 кроватей (пружинных), что она оставляла (будто бы) моей матери в начале усобицы. Выбрала, конечно, самые лучшие. В том числе обе из Вашей комнаты. Поэтому очень просим Вас с Сашей, когда поедете, захватить с собою какие-нибудь ложа для себя (наверно, среди залежей такие найдутся), а то мы не знаем, как быть здесь, т<ак> к<ак> кровати прикреплены к комнатам.

Крепко обнимаем и целуем наших милых Габричей. Напишите о себе и скоро ли едете к нам?[3]

Макс и Маруся.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 9.4.28; Москва. 14.4.28.

[2] В. П. и Л. Е. Остроумовы.

[3] В ответном письме, начатом 25 апреля и законченном 12 мая 1928 г., Н. А. Габричевская сообщала: «Мы в июне приедем в Коктебель на несколько дней и проедем в Козы, где и будем жить и приезжать в гости, а в сентябре приедем снова к вам и проведем вместе тихую осень. Я очень устала от зимы, и мне просто нужно тихо пожить, дабы набраться сил на осень» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 57)

315. М. А. ПАЗУХИНОЙ

10 апреля 1928 г. Коктебель

10/IV 1928. Коктебель.

Х<ристос> В<оскрес>!

Дорогая Марья Александровна, только что получили Ваше письмо от 1/IV из Узкого.[1] Это лето обещает быть очень музыкальным. К нам с мая месяца приезжает мой петербургский

приятель – молодой композитор Юрий Никол<аевич> Тюлин с женой – очень хорошей певицей (племянницей Збруевой).[2] Мы как раз встретились с ним в Кисловодске за несколько часов до его отъезда, и это вновь оживило нашу дружбу.[3] В нем очень много сериозного творчества и музыкального энтузиазма. Я ему очень рад лично. А в дополнение к Вашей музыкальной программе это даст нам летом очень приятное верховенство музыкальной стихии. Тюлины собираются на все лето.

Вашу болезнь и неприятное состояние я очень понимаю, т<ак> к<ак> моя болезнь (гипертония) носит такой же характер: если я никогда не буду пить воды, ни есть ничего сладкого, кислого, острого, соленого, жирного и горького, то я могу прожить энное количество лет, совершенно ее не замечая. (Но каждое нарушение режима приносит малый вред, но уже непоправимый.) О болезни Вашей – я знаю потому, что мы все письма читаем вслух, но Ваше указание о нераспространении принимаю как Маруся.

Спасибо за память о «Книге Разлук».[4] Она как раз понадобится мне на Пасху, когда приедет (судя по вчерашним письмам) много харьковских друзей. Собираются Кон<стантин> Ив<анович> Платонов, Кот с женой, Гуна, Дада и т. д.[5]

Это радостно вдвойне, т<ак> к<ак> одно это известие уже рассеяло то тяжелое настроение, которое нас совсем угнетало эти недели.

Дело в том, что, вернувшись из Кисловодска, мы застали дома очень враждебную нам атмосферу, созданную Антон<иной> Кузминишной,[6] которая все время восстанавливала против нас несчастную Ольгу Андр<еевну>.[7] Я пишу это Вам, потому что Вы в курсе нашей осенней истории с нею. Но нам бы очень не хотелось, чтобы это куда-нибудь распространилось далее. Ант<онина> Куз<ьминична> оказалась очень мелочной, злопамятной и мстительной. Марусе тогда она ничего не простила, и это очевидно имело корни глубже и раньше. Сперва мы ничего не понимали и только недоумевали. Потом постепенно поведение Ольги Андр<еевны> и ее нежелание оставаться у нас в доме выяснилось. Тоня теперь сама ничего не говорит с нами и внешне дружелюбна, но ее *ненависть* чув-

ствуется в каждом жесте и взгляде (иногда страшно делается). Андерсы скоро от нас уезжают в Феодосию совсем. И нам не хо<че>тся, чтобы эта естественная разлука была еще осложнена словесными унизительными комментариями. С Ольгой Андреев<ной> у нас теперь отношения более или менее выяснились и наладились.[8] Хотя она сейчас совсем мертвая и ко всему равнодушная. Все, что относится к Тоне, не относится к Виктору. Он по-прежнему простодушен, хотя и служит иногда психическим рупором Тони. Но его обвинять ни в чем не приходится. Но чувства Тони выявлены вне слов и поведения. Так что мы это знали еще раньше, чем до нас дошли те озлобленные слова, которые она говорит всем окружающим про нас.

Еще одна просьба к Вам, Марья Александ<ровна>: прошлым летом Федя Петровский нам привез очень хороший альбом для наклейки фотографий в простом картонаже с листами толстой зелено-серой бумаги (вкладными). Мы его для фотогр<афий> не применили, но он оказался великолепен для акварелей. Мне бы хотелось иметь еще такой же, но меньшего формата, чтобы составить такой альбом для Маруси из маленьких моих аквар<елей>, ей уже подаренных. Альбом Феди разм<ером> 26/35 сан<тиметров>, а мне был бы нужен 17 на 26. Не могли ли бы Вы спросить у Феди, где он нашел такой, и достать нам? Обнимаю и поздравляю Вас<илия> Алекс<андровича>, Дымка, Алика, Севу.[9]

Максимилиан Волошин.

[1] В письме к М.С. Волошиной из Узкого от 1 апреля 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 224, л. 6–17 об.) М.А. Пазухина сообщала, что она попала в «Санаторий ЦЕКУБУ – Узкое» «по милости своего сердца, докатившись до точки».

[2] С. В. Тюлина и Евгения Ивановна Збруева (1868–1936), оперная певица.

[3] Волошин познакомился с Ю. Н. Тюлиным у Ю. Ф. Львовой в Ленинграде в апреле 1927 г. (Труды и дни-2. С 340).

[4] См. примеч. 2 к п. 107 В цитированном письме к М. С. Волошиной из Узкого Пазухина замечала: «...журнал ты скоро получишь, я о нем не забыла, но я решила выписать тебе его поближе к марту, но уехав сюда, я не успела это сделать перед отъездом <...>».

[5] К. К. и Г. Н. Платоновы, К П. Девлет-Матвеева, Л. В. Тимофеева. Из упомянутых лиц на Пасху в Коктебель приехал только К. К Платонов

[6] А. К. Щукина, жена В. П. Андерса

[7] О. А. Юнге.

[8] У Волошина, согласно его записи, «раз<говор> с Ольг<ой> Анд<реевной>» состоялся 9 апреля 1928 г. (Труды и дни-2 С. 381)

[9] В. П. Пазухин, сыновья его и М. А Пазухиной – Вадим и Александр, В. Н. Чернов.

316. С. И. ЗЛАТОГОРОВУ

21 апреля 1928 г. Коктебель[1]

21/IV 1928. Коктебель.

Дорогой Семен Иванович,

в эти дни торжественного чествования тридцатилетия Вашей научной деятельности у меня нет желания быть в толпе ученых и учеников, Вас приветствующих. Да имеет ли и право поэт возвышать свой голос на этом торжестве научного исследования и точного познания.

Но когда, утомленный, поздно вечером Вы вернетесь домой, мне бы хотелось остаться с Вами наедине несколько минут.

В такие дни больших итогов жизни, после стольких высоких оценок и хвалебных речей (заслуженных и искренних, но всегда облаченных в неуклюжие формы юбилейных трафаретов) – на дне души невольно остается ржавый осадок и собственная оценка всего совершенного за эти 30 лет бывает всегда слишком строга и несправедлива в обратную сторону.

В минуты такого юбилейного похмелья неизбежно говоришь себе:

«Значит уже 30 лет прошло... Как много задумано и как мало еще осуществлено. А время с каждым годом течет все быстрее....»

Вот в такую минуту мне хотелось бы подойти к Вам и сказать вполголоса:

«Самое вечное и ценное в жизни — это те минуты умиленья и энтузиазма, которые Вы давали людям, сами того не сознавая... Их было не мало...»

и крепко Вас обнять и поцеловать, милый Семен Иванович.

Максимилиан Волошин.

[1] Печатается по беловому тексту (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 48, л. 1—2). Сохранились также карандашный черновик (Там же, л. 5) и незаконченный беловой текст, датированный 20 апреля 1928 г. (Там же, л 3—4)

317. В. П. ОСТРОУМОВОЙ

24 апреля 1928 г. Коктебель[1]

24. IV. 1928. Коктебель.

Милая Валькиша,

я вижу (по твоему и Наташину письму), что относительно летней организации детей идет новое <?> недоразумение.[2] Вероятно, я как-нибудь неточно выразился в письме к тебе. Но выгонять всех детей на плаж на солнце в течение всего дня мы совсем не имели в виду. Дело идет о общем надзоре за детьми и о том, чтобы буйные коллективные игры (вроде прошлогоднего взятия Бастилии) выносились за ограду Максреспублики, не больше. Солнце же палит за и внутри ограды совершенно одинаково, т<ак> к<ак> аллеи Максреспублики тенистостью отнюдь не отличаются. И на плаже об<ал>делые от свободы дети тоже не должны быть лишены благодетельного и цивилизующего надзора дет-пастуха. Вообще все должно идти по формуле: «Воспитание есть самозащита взрослых от детей». Поэтому ни против пребывания младенцев в жаркие часы на (потном) лоне собственных матерей, ни против раннего развития живописных талантов на террасах, ни против меланхоличных и одиноких прогулок будущих ипохондриков по тенистым аллея<м> мыслимого будущего коктебельского парка, ни против одинокого самоутвержденья

отдельных интеллектов посредством прыжков на месте, кувырканья на постели и прыганья через веревочку – мы ничего не имеем. Словом, ни Трюфелю,[3] ни его сверстникам вовсе <не> угрожает принудительного солнечного удара, вне их собственных на то стараний.

Шутки в сторону, дорогая Валькирия, но дело идет только о том, чтобы ввести хотя бы некоторую организованность в летние «банды беспризорных», чтобы сделать совместную жизнь более приемлемой, а что именно надо от детей требовать – Вы, «Верховный Совет Матерей», сами и будете решать. А ежели ни Трюфель, ни Сорочата[4] в этом году не приедут, мы с Марусей будем искренно огорчены.

Макс.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 26.4.28, Москва. 30 4.28.

[2] Подразумевается реакция на предложения, высказанные Волошиным в п 312. 19 апреля В. П. Остроумова писала Волошину «Спешу тебя успокоить отчасти относительно детского засилья, т<ак> к<ак> очень многие из них, по всей вероятности, не приедут. <. .> Что же касается меня, то я, если бы даже и хотела приехать к вам, то на дачу бы не приехала, т<ак> к<ак> если даже над детьми и будет присмотр в виде “пастуха”, то существование для Алексея все время вне дачи под солнцепеком совершенно немыслимо по состоянию его здоровья. <...> Я охотно соглашаюсь, что дети – это большое зло в наше время, но, к сожалению, для нас, матерей, это зло, с которым нам надо считаться, и я, в частности, конечно не могу допустить изгнание Алешки на целый день под палящий зной» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 918). Н. А. Габричевская (детей не имевшая) высказалась на ту же тему в недатированном письме к Волошиным, сопроводив текст шуточными рисунками «Я слышала про твою идею, Макс, насчет “матери-пастуха”. Ты об этом говорил давно, но настал час, когда должно произойти воплощение идеи в действительность. На даче тишина..... В горах нет крика...... И в воздухе не слышен детский дух..... Лишь “Мать-Пастух” природе внемлет тихо.........» – и т. д. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 381, л. 82–82 об.).

[3] Прозвище сына В. П. Остроумовой Алеши.

[4] Наташа (Наталия Тихоновна) и Сережа (Сергей Тихонович) Сорокины – дети Е О. и Т. И Сорокиных.

318. В.Я. ЭФРОН

25 апреля 1928 г. Коктебель[1]

25/IV 1928. Коктебель.

Дорогая Вера, Х<ристос> В<оскрес>!

Глубоко потрясен, получивши от тебя три (!!!?) письма подряд, и крайне огорчен тем, что ты в этом году не приедешь.[2] Чувствую, что <в> это лето произойдет какой-то надлом в коктебельской жизни: что-то очень многие предупреждают о своем неприезде этим летом. Уж не к войне ли это? Как твое здоровье сейчас? Какие тебе операции делали кроме ап<п>ендицита? Неужели весь «Марусин комплекс»?[3] Как чувствуют себя Кот и Миша?[4]

Крепко обнимаю и целую тебя. Маруся тоже.

Макс.

Сегодня получил привет от Сережи из Мэдона.[5]

[1] Текст на обороте акварели.

[2] В подборке писем В.Я. Эфрон к Волошину (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 1345) имеются открытка, отправленная из Москвы 17 апреля 1928 г: «Наконец я на ногах и дома. Тоскую по Коктебелю, но в этом году у вас не буду» (Л. 40) – и недатированное письмо на обороте окончания письма М.А Пазухиной к М.С. Волошиной: «Думаю, в этом году к вам не попаду в Коктебель. Только что начала поправляться после всех зимних болезней и если приеду, то опять придется слечь, сердце не налаживается еще» (Л. 42).

[3] Подразумевается сложная гинекологическая операция, перенесенная М.С. Волошиной в феврале 1925 г (см. примеч. 2 к п. 24).

[4] К.М. Эфрон, М.С. Фельдштейн.

[5] С.Я. Эфрон. Имеется в виду почтовая открытка с видом Мёдона, отправленная 14 апреля 1928 г., со следующим текстом. «Обнимаю и поздравляю родного Макса – Сережа» – видимо, отклик на сообщение о принятии Волошина во Всероссийский Союз Писателей в апреле 1928 г. (*Цветаева Марина.* Неизданное: Семья. История в письмах / Составление и комментарии Е.Б. Коркиной. М.: Эллис Лак, 1999. С. 335, 521).

319. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

30 апреля 1928 г. Коктебель[1]

30. IV. 1928. Коктебель.

Милая Юлия Леонидовна,

посылаю Вам весенний привет из Коктебеля и запоздалое поздравление.[2] Я провел 2 месяца зимою в Кисловодске. Сидели засыпанные снегом с головою в какой-то Кавказской Финляндии. У меня не очень хороши дела с почками и, очевидно, суждено всю жизнь сидеть на строгой диете. Главным образом, запрещены соль и вода. Но зато похудел (за зиму на 18 кило – т. е. на 1/7 самого себя). Сейчас готовимся к летнему сезону. Я понемногу пишу стихи и неуде<р>жимо акварели. С грустью узнал из газет, что открыт Жар-Цвет[3] и я пропустил его. С К<онстантином> Ф<еодоровичем>[4] видели<сь> очень редко. Я совсем не бываю в городе теперь. Так что виделись, когда возвращался из Кисловодска. У него очень грустно: все больны, все медленно умирают. Он занят по горло... всем, кроме живописи.

Шлем привет (я и Маруся) Ек<атерине> Иван<овне> и Феод<ору> Констант<иновичу>.[5] Как поживают они? Что делается у Вас в квартире?

Хотелось бы очень Вас повидать – хорошо, долго, на досуге, не так, как прошлым летом. Как здоровье Константин<а> Васильевича?[6] Ваше? Крепко и дружески жму Вашу руку.

Что слышно о Володе Рогозинском?[7]

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «MW 1928»

[2] Поздравление с Пасхой (15 апреля)

[3] Выставка «Жар-Цвет» открылась в Москве 8 апреля 1928 г. См.: Выставка картин Общества художников «Жар-Цвет» / Вступ. статьи А. А. Сидорова и А. Г. Габричевского. М., 1928.

[4] К. Ф. Богаевский.

[5] Е. И. Оболенская, Ф. К. Радецкий.

[6] К. В. Кандауров.

[7] Оболенская отвечала 8 мая 1928 г.: «Наши встречи последних лет, как московские, так и коктебельские, действительно неудовле-

творительны; я, в частности, во время Вашего пребывания в Москве занималась тем, что.. перечитывала Ваши старые письма, чтобы как-то заполнить этот значительный для меня пробел. <...> Живописью сейчас заниматься не можем, как из-за “площади” неподходящей, так и вследствие разных занятий: случайных работ для заработка у меня, и стопроцентной деятельности по устройству Государственных выставок и музеев вновь открытого и вошедшего в моду Конст<антина> Вас<ильевича> Откуда берется такая энергия и физическая сила и ловкость в таком измученном, постоянно тяжело больном маленьком существе – до сих пор понять не могу. Здоровье его очень плохое, подправит одно, начинается другое. < ..> Рогозинских видели мало и коротко. Они были у меня на 3-ий день Пасхи, но одновременно с Барсамовыми, так что не удалось подробно узнать о делах Володи Знаю, что занят он свыше меры <...> Мама довольно бодра <...> То же и Ф. К. – он ведет светский образ жизни, видим его только за обедом и то не всегда» (ИРЛИ, ф 562, оп 3, ед хр. 903, л 9–11).

320. М. В. ДОРОГОВОЙ

5 мая 1928 г. Коктебель[1]

Коктебель 5/V 1928.

Дорогая Мария Вадимовна. Я получил вчера от Вас 40 руб., без всякого указания на назначение этих денег. Напишите, пожалуйста, кому и на что они назначены.

У нас холодноватая, очень медленно теплеющая весна. Еще никого нет. Из Москвы приходят тревожные слухи о том, что многие из постоянных друзей к нам не будут. Неужели землетрясение оказало-таки свое моральное действие? Но надеюсь, что на Вас-то оно не окажет такого влияния. Вы ведь любите землетрясения? И потому жду от Вас вести, в какую пору лета Вас ждать с Кириллом и Вл<адимиром> Николаевичем,[2] – которым шлем самый дружеский привет и напоминание о своем существовании.

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели «Столовая гора» (1928).

[2] Муж М. В. Дороговой В. Н. Дорогов и его сын.

321. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

Около 5 мая 1928 г. Коктебель[1]

Милый Саша,

ходят слухи, что ты не приедешь в Коктебель этим летом... Правда ли? Неужели тебе удастся-таки уехать за границу?[2]

У меня к тебе просьба: достань и пришли мне какой-либо из экземпляров моего «Сурикова» (в Академии, в Цекубу... какой удобнее взять). У меня совсем не осталось никакого для меня, а я чувствую иногда необходимость в таковом.[3]

Макс.

Привет Елене Васильевне и акварели посылаем.[4]

[1] Датируется по связи с одновременно высланной на имя Е. В. Габричевской акварелью (написанной 30 апреля 1928 г.) с записью на обороте: «Дорогая Елена Васильевна, посылаем Вам весенний привет из Коктебеля. Максимилиан Волошин. Маруся Волошина 5/V 1928» (Собрание О. С Северцевой, Москва).

[2] 12 мая 1928 г. А. Г. Габричевский отвечал Волошину: «Прожить лето, не повидавши Вас и родные места, я не мыслю, и куда бы я ни поехал, я в Коктебеле буду. < ..> Еще есть слабая надежда попасть в Италию, и я не считаю себя вправе не делать ежегодно всех возможных попыток, чтобы туда попасть» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968 К 100-летию со дня рождения. М.. Сов. художник, 1992. С. 169. Исправлено по автографу· ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 381, л. 58).

[3] С той же просьбой Волошин обращался к Габричевскому ранее (см. п. 261). О высылке «статей о Сурикове и о Бенуа» Габричевский извещал в цитированном ответном письме и далее замечал в оправдание того, что обещанное издание «Сурикова» в ГАХН не состоялось: «...м<ожет> б<ыть>, мы упустили момент – но сейчас печатание делается вообще почти невозможным, и мы поистине не так уж виноваты» (Александр Георгиевич Габричевский. С. 170. Исправлено по автографу).

[4] Габричевский откликнулся в том же письме: «...позволь тебя крепко, крепко расцеловать за чудные маленькие акварели и передать тебе и Марусе горячую благодарность и привет от Мама́. <...> Эти последние акварели мне страшно понравились – они очень насыщены цветом, и многое в твоей технике выигрывает от маленького формата» (Там же. Исправлено по автографу).

322. Е. Я. АРХИППОВУ

12 мая 1928 г. Коктебель

12/V 1928. Коктебель.

Дорогой друг Евгений Яковлевич,

мое письмо задержала переписка стихотворения Ходасевича. Переписал и посылаю только «Звезды».[1] «An Mariechen» Вы найдете в «Русском Современнике» за 1924 г. № 4, стр. 39. Там же прекрасные стихи «Окна во двор».[2] Я очень туг на переписку. У меня не хватает времени. Когда я свободен от людей и домашних дел – я рисую, когда не рисую – читаю.

Кроме того, у меня масса обязательной корреспонденции о комнатах на лето. Это делает то, что я не часто сажусь за письменный стол. Кроме того, я, по-видимому, не люблю самого процесса писания. Вероятно, поэтому я предпочитаю стих – прозе. Посылаю Вам две фотографии: одну мою, другую с Черубиной – случайный переснимок из группы, снятой во время открытия моей выставки в СПБ.[3] У нас в Коктебеле уже появляется народ, и времени будет становиться все меньше. Потому предупреждаю честно, что отвечать на письма среди лета станет для меня совершенно невозможным. Заглянете ли Вы в Коктебель этим летом? Очень хотелось бы видеть Вас и Клавдию Лукьяновну[4] в нашем доме.

Вообще как предполагаете распорядиться своими каникулами? Или останетесь все лето в Новороссийске?[5]

Спасибо за дорогие мне слова Черубины обо мне и за интересную статью об ней.[6]

Максимилиан Волошин.

[1] Стихотворение Вл. Ходасевича «Звезды» («Вверху – грошовый дом свиданий.. », 1925) было опубликовано в парижском журнале «Современные Записки» (1925. Кн 26. С. 214–215).

[2] Стихотворение «Окна во двор» («Несчастный дурак в колодце двора ..», 1924) было опубликовано в «Русском Современнике» (1924. № 4. С. 41–42) и «Современных Записках» (1924. Кн. 20. С. 225–226). См.· *Ходасевич Владислав* Собр. соч : В 8 т М . Русский путь, 2009. Т 1. С. 166–167, 180–181, 191–192 В письме к Волошину от

15 апреля 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 207, л. 12–12 об.) Е.Я. Архиппов замечал: «У меня не выходят из головы те 2 стих<о-творения> Вл. Ходасевича, что Вы читали в последний вечер: одно Вы назвали "*Созвездие*"; другое *о девушке за стойкой* <...> Если можно, пришлите мне их· я перепишу и вновь отошлю Вам...»

[3] Имеется в виду групповая фотография, сделанная на открытии выставки Волошина в ленинградском Доме печати 14 апреля 1927 г.. Э.Ф. Голлербах, А.П. Остроумова-Лебедева, Волошин, Е.И. Васильева, С.Н. Жарковский, Вс.А. Рождественский, А.И Шварц, Е С. Кругликова, Е.И. Замятин. См. воспроизведение: *Волошин Максимилиан.* Стихотворения и поэмы СПб.: Петербургский писатель, 1995. Между с. 320 и 321, илл. 26 («Библиотека поэта» Большая серия)

[4] К.Л. Архиппова.

[5] Архиппов отвечал 15 мая 1928 г: «Летние намерения наши еще не определились, но они, скорее всего, – северные» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр 207, л. 14 об.).

[6] См. примеч. 6 к п. 304 В письме от 15 апреля Архиппов сообщал Волошину о намерении выслать ему статью «Темный ангел Черубины» и добавлял «Как раз на 1-ый день Пасхи получил весточку от Черубины. <...> Вот ее слова о Вас: "Больше всего в жизни, больше всего в мире я люблю трех людей, и один из них М. А. Без сознания, что он есть на земле, мир был бы мне темен"»

323. М.А. ПАЗУХИНОЙ

15 мая 1928 г. Коктебель

15/V 1928. Коктебель.

Милая Марья Александровна, мы смущены, что от Вас целый месяц нет ни слуху, ни духу. Ни сами Вы не едете, ни писем не шлете. Боюсь, что и здесь какое-то недоразумение, которое вышло с моим письмом к Валькирии о детоустройстве.[1] Мы с Марусей решили, что мы *не пускать* детей *не можем.* Что те, кто у нас рос, должны расти и дальше. И только просили Валькирию заранее еще в Москве сговориться с матерями относительно способа пасти детей (Вас это лично не касается: Ваши дети бы<ли> всегда пасомы хорошо) и просили ее привлечь Вас в смысле организации. Но из моей просьбы об организации коллективных детских игр вне ограды совершенно

неожиданно для меня вытекло, что мы будто бы требуем целый <?> день морить ребят на солнце (так я понял из письма Наташи Габрич<евской>[2]). Ничего подобного, конечно, мы не хотим. И известие о том, что ни Валькирия, ни Катя[3] с детьми не едут, нас не только не обрадовало, но погрузило в глубочайшее уныние. И вот Вы ничего не пишете о своем приезде... А между тем у нас копятся на даче <?> уже новые дети и всё двухлетние. Ведь если кто из старых друзей не приедет – он естественно будет заменен <?> еще большим количеством новых, и удержать нарастание нет возможности. Так что когда старые друзья из деликатности воздерживаются от Коктебеля – нам это приносит только огорчение и никакого облегчения.

[1] Имеется в виду п. 312 – к В. П Остроумовой.
[2] См примеч. 2 к п. 317.
[3] Е О Сорокина.

324. А. Г. ГАБРИЧЕВСКОМУ

18 мая 1928 г. Коктебель

Милый Саша, спасибо за дружеское, такое хорошее письмо и хорошие вести о Богаевском.[1] У него несчастного подвалило умирающих теток и дядей и весь дом <?> госпиталь. Ему нет времени работать, приходится содержать несколько семейств, и сверх того он зачислен по приказу местной милиции в «дворники». (У нас умеют чествовать юбиляров). Книжной посылки твоей еще не получил.[2] Вероятно, завтра. Спасибо. Очень радуюсь, что мы увидимся скоро. Не думаю, чтобы Вы усидели в Козах.[3] Думаю, что как-никак, а в Коктебеле Вы устроитесь лучше. Но делайте как хотите. Твое желание безлюдья понимаю, но думаю, что оно тебе так же мало доступно, как и мне. Ведь Вы с Наташей людей за собою всюду привезете. А в Козах будет все менее приспособлено, чем в Коктебеле. Твое письмо и то, что Вы не изменяете с Наташей Коктебелю, для меня большая радость.[4]

Крепко тебя обнимаю и целую.

Макс.

P. S. В Крыму совсем нет чаю – захватите в Москве фунт чаю на нашу долю и летнюю порцию для себя.

[1] В письме от 12 мая 1928 г. А. Г. Габричевский сообщал о мероприятиях, приуроченных к 30-летию творческой деятельности К. Ф. Богаевского: «Сейчас я очень занят Богаевским. Присылаю тебе каталог Жар-цвета с моей статьей < ..> 23 мая состоится в Академии заседание в честь К. Ф., на котором будет однодневная выставка 5 картин, рисунков и эскизов, доклады и речи: Недовича, Шервинского, Тарабукина и Габричевского и концертное отделение, на котором некая Дмоховская и Завадский будут читать стихи твои и Сережи <С. В. Шервинского – *Ред.*>, посвященные Киммерии. Кроме того, К. Ф будет поднесен адрес, сочиненный Сережей и исполненный Пискаревым Если все это удастся, я буду очень рад за К. Ф., которому это очень нужно. На выставке кое-что продалось, так что Кандауров уже послал К. Ф. некоторую сумму денег. В связи с этим мы думаем выманить его в Москву, но он наверное не раскачается» (Александр Георгиевич Габричевский. 1891–1968. К 100-летию со дня рождения. М.: Сов. художник, 1992. С. 170. Исправлено по автографу: ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр 381, л. 58). Упомянутая статья Габричевского «Искусство К. Ф. Богаевского» опубликована в каталоге выставки картин Общества художников «Жар-Цвет» (М., 1928). Ср. хроникальное сообщение о деятельности ГАХН «23 мая состоялось пленарное заседание секции, совместно с объединением художников “Жар-Цвет”, в ознаменование 30-летнего юбилея К Ф. Богаевского, были прочитаны доклады· 1) А Г. Габричевского “О творчестве К. Ф. Богаевского”, 2) Н. М. Тарабукина “Художественный образ в искусстве К. Ф Богаевского”. На вечере выступили с чтением приветствий, стихотворений и речей С. В. Шервинский, Д. С Недович и др.» (Бюллетень ГАХН Вып. 11. М , 1928. С 59)

[2] В цитированном выше письме Габричевский сообщал о высылке Волошину упомянутого каталога выставки Общества «Жар-Цвет», а также сборника «Искусство портрета» (М.: ГАХН, 1928), журнала «Искусство» (1927. Кн. 2/3, в нем была помещена статья Габричевского «К вопросу о строении художественного образа в архитектуре») и «Фауста» Гете в переводе В. Брюсова (Ч. I. Редакция и комментарии А. В. Луначарского и А. Г. Габричевского М ; Л.· ГИЗ, 1928).

[3] В том же письме Габричевский делился с Волошиным своими и Н. А Габричевской летними планами: «...в первых числах июня мы у Вас, а затем пытаемся устроиться, напр<имер>, в Козах с тем, что-

бы сентябрь провести в Коктебеле, когда схлынет людская волна <...> я хочу наконец позаниматься, написать многое, что накопилось, с тайной мыслью освободить себя в будущем (!?) для живописи < . > нам, главное Наташе, нужен продолжительный отдых в форме безлюдия Физически и психически Наташа после усиленной зимней “студийности”, а главное после прошлогоднего лета, в таком состоянии, которое требует немедленного вмешательства именно в смысле режима покоя и уединения» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр 381, л. 58) Ср. примеч. 3 к п. 314.

[4] Габричевские приехали в Коктебель 10 июня (см.: Труды и дни-2. С. 388) и отбыли обратно в Москву в первой половине сентября 1928 г.

325. М. В. ДОРОГОВОЙ

20 мая 1928 г. Коктебель

20/V 1928. Коктебель.

Дорогая Мария Вадимовна, какие страшные вести Вы сообщаете (смерть Вашей сгоревшей племянницы).[1] Такие случаи последнее время учащаются. И повторение таких трагических бессмыслиц, на мой взгляд, говорит о наступлении общих конвульсий и катастроф. Такие же бессмыслицы повторялись перед 1905 и 1914 годами. (Это avant-coureurs*). У меня все время чувство, что 1928 г. будет ознаменован какой-то общеевропейской катастрофой.

У нас весна наступает обычными темпами и обычными работами, тревогами и ожиданиями. Только многие из верных друзей Коктебеля извещают, что они не приедут в этом году. Это очень грустно. Можем обещать Вам более просторное лето, чем обычно. У нас сейчас пора цветения и тишины.

Наш привет Влад<имиру> Никол<аевичу> и Кириллу.[2] Когда бы Вы ни приехали, Вы всегда будете желанными и ожидаемыми гостями.[3]

Большое спасибо за деньги.[4]

Максимилиан Волошин.

---

* Предвестники (*фр*)

[1] В письме к Волошину от 13 мая 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 515, л. 31–32 об.) М. В. Дорогова описала гибель своей 19-летней племянницы при пожаре в квартире от взрыва фляги с бензином: «Нина, получив страшные ожоги, через 10 часов скончалась».

[2] См. примеч. 2 к п. 320.

[3] В цитированном письме Дорогова благодарила Волошина за приглашение в Коктебель и обещала воспользоваться им на будущий год· «...это лето я собираюсь провести на Кавказе <...>»

[4] В том же письме Дорогова сообщала: «Деньги, котор<ые> Вы от меня получили, – это часть лотерейных; назначение – конечно, по Вашему усмотрению <...>».

326. А. А. ВЕЛИКАНОВОЙ

21 мая 1928 г. Коктебель

21 мая 1928 г.

Милая Александра Анатольевна!

Простите, что только через месяц отвечаю на Ваше милое и дружеское письмо.[1] Пусть это скажет Вам о количестве писем и людей, которые проходят через наш дом и душу. В этом году благодаря землетрясению и общему безденежью это количество обещает быть гораздо менее обычного, и мы с радостными сердцами сможем принять Вас и Вашего сына.[2] Только (если не хотите попасть в самый кипень людоверти) избегайте приезжать на вторую половину июля и весь август. Если приедете раньше и захватите этот срок – тоже ничего. В то время просто бывает трудно втиснуть нового человека.

Посылаю Вам эту акварельку, чтобы она пробудила в Вас тоску по киммерийским встречам и привела Вас к нам.[3]

Максимилиан Волошин.

[1] Вероятно, имеется в виду письмо А. А. Великановой от 26 января 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 329, л. 1–2 об.).

[2] Геннадий Николаевич Великанов (1913–1941; погиб на фронте), впоследствии студент-математик.

[3] Великанова отвечала 4 июня 1928 г.: «Спасибо за акварельку – хороши у Вас берега, и за ласковые строки спасибо. Мы едем к Вам. Выезжаем 10 июня и вероятно 13-го доберемся до Вас» (Там же, л. 3).

327. В. А. МАНУЙЛОВУ

30 мая 1928 г. Коктебель[1]

30/V 1928. Коктебель.

Милый Виктор,

мы вас помним, любим и будем очень рады Вашему и Всеволода Александровича[2] приезду вместе с женами.[3] Всякие трясения у нас прекратились,[4] но слухи дают «курортным» надлежащую острастку, и лето очевидно не будет многолюдно. Только предупредите, когда точно Вас ждать.

Крепко вас обнимаю.

Привет Вашей жене.[5]

Максимилиан Волошин.

P. S. Полный пансион 70 р. (месяц). Завтр<ак> — обед — ужин — 2 р. (день). Необходимы для освобожд<ения> от курорт<ных> налогов — профсоюзный билет и сведения о жаловании.[6]

[1] Текст на обороте акварели

[2] Вс А Рождественский.

[3] В письме к Волошину от 25 мая 1928 г. В. А. Мануйлов сообщал о почти одновременной женитьбе – своей и Вс Рождественского, а также: «Особенно часто вспоминаем мы о Коктебеле со Всеволодом Рождественским и, наконец, оба решили написать Вам по письму и спросить, как это сделать, и можно ли так сделать, чтобы нам провести несколько недель (5–6) этого лета в Коктебеле» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2011 год. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 438).

[4] В том же письме Мануйлов касался прошлогоднего крымского землетрясения. «Мне передавали, что Вас все еще трясет, но никого из нас это не страшит – нас не укачивает на море и вряд ли укачает на земле» (Там же).

[5] Жена Мануйлова – Лидия Ивановна Сперанская (ум. в 1946 г.). Их союз распался в 1930 г.

[6] В 1928 г Мануйлов в Крым не приехал См. его письма к Волошину от 17 июня и 19 августа 1928 г (Там же. С. 439–441).

328. Е. Я. АРХИППОВУ

30 мая 1928 г. Коктебель[1]

Дорогой Евгений Яковлевич, спасибо за привет и за хорошие слова.[2] Одновременно получил письмо от поэта Мануйлова – он собирается к нам вместе с Рождественским летом.[3] Еще у нас пусто, но не пройдет недели, как Дом закипит?

Жду композитора Тюлина на этих днях.[4] Но, кажется, это лето не будет слишком людно: землетрясение дало острастку, и мы это используем для относительного спокойствия. К нам вскоре приедет мой кисловодский друг, о котором я говорил Вам, Вс<еволод> Ив<анович>, страстный любитель и собиратель стихов.[5] Я ему дам Ваш адрес, чтобы Вы познакомились, когда он будет в Новороссийске. Посылаю Вам для Вашей коллекции автографов листок с черновиком очень старых моих стихов, еще из «Киммерийских Сумерек»,[6] и статью о Киммерии и Богаевском.[7]

Максимилиан Волошин.

Коктебель. 30. V. 928.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] Имеется в виду письмо Е. Я Архиппова от 15 мая 1928 г., с сообщением: «Я окончил собирание всех стихотворений до 1928 года, – и получился том в 351 лист с 2-мя статьями, примечаниями (моими) и описанием источников. Я думаю отослать один экз<емпля>р Черубине, тем более что она пишет о гибели всех своих стих<отворений> в Петербурге» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 207, л. 14 об.). Все творческие рукописи Е. И. Васильевой были изъяты при аресте в апреле 1927 г.; 26 июня 1927 г. она писала Архиппову: «Пропали все мои книги, все стихи, все карточки. Вы, Евгений, единственный человек в мире, имеющий мои стихи» (*Черубина де Габриак.* Из мира уйти неразгаданной: Жизнеописание. Письма 1908—1928 годов. Письма Б. А. Лемана к М. А. Волошину / Составление, подготовка текстов, примеч. Вл. Купченко и Р. Хрулевой. Феодосия; М : Изд дом «Коктебель», 2009. С. 158).

[3] См. примеч. 3 к п. 327.

[4] Ю. Н. Тюлин приехал в Коктебель с женой и сыном 6 июня (Труды и дни-2. С. 387).

[5] В. И. Попов.

[6] «Киммерийские сумерки» – цикл из 14 стихотворений в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» (М.. Гриф, 1910). См : Т. 1 наст. изд. С 88–96

[7] В ответном (недатированном) письме Архиппов сообщал, что обещанную «статью о Киммерии Богаевского» он не получил (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 207, л. 15 об.).

329. М.А. ПАЗУХИНОЙ

30 мая 1928 г. Коктебель

1928. 30 мая. Коктебель.

Дорогая Мария Александровна,

спасибо за хорошее письмо, которое пришло вовремя и было антиподом нашим мыслям и отношениям, очень глубоко отравленным эту весну человеческой ненавистью и завистью.[1]

Для «Книги Разлук» мне достаточно самой простой «общей тетради» от Мюра,[2] а если Вы нам подарите «альбом» большого формата, не в четвертушку, а «format commercial» в обычном переплете, куда можно вклеивать старые и собирать новые автографы и рисунки, будем очень благодарны.

Крепко целуем. Ждем.

Максимилиан Волошин.

[1] Имеется в виду письмо М.А. Пазухиной из Сочи от 23 мая 1928 г. (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 927, л. 31–33 об)

[2] См. примеч. 2 к п. 107. «Мюр и Мерилиз» – универсальный торговый магазин в Москве (Петровка, д. 2) В 1928 г. – магазин акционерного общества «Мосторг». В упомянутом письме Пазухина замечала: «Я очень виновата перед Вами <...>, что не прислала еще до сих пор книгу разлук <...> Не думайте, что я не делала попыток купить подходящую книгу, и я довольно много побегала в этом направлении, но мне кроме общей тетради никто ничего дать лучшего не мог Нет у них толстых книг в переплете».

330. С. Н. ДУРЫЛИНУ

10 июня 1928 г. Коктебель

10/VI 1928. Коктебель.

Дорогой Сережа,

медлил с ответом,[1] дожидаясь цветения маслин и белых акаций, чтобы послать тебе одновременно с письмом.

Эта коктебельская весна была очень поздней и холодной. Зато на редкость зеленой и цветущей благодаря обильным дождям. Для нас она была омраченной с самого возвращения из Кисловодска: в первый раз за все наше «гостинничество» нам пришлось столкнуться с определенной мелочной злобой, направленной против нас, и усумниться как в самих себе, так и в пользе того дела, которое казалось нам полезным и нужным, т.е. в нашем доме и его постановке.[2]

Причиной всего оказались люди, в злую волю которых труднее всего было поверить: Андерсы. Впрочем, в злую волю и в инициативу Виктора я до сих пор не верю. Его характер я представляю себе очень ясно и думаю, что не ошибаюсь. Он не имеет мнения о житейских делах и говорит лишь то, чем его начиняют. А начиняет его Тоня, которая выявилась очень мелочной и мещанистой. Вероятно, симптомы этого были и раньше, но мы по наивности на них не обращали внимания. Но, вернувшись из Кисловодска (где мы провели 2 мес<яца>), застали в доме настолько враждебную нам атмосферу, что хотели даже бежать в Феодосию. Но нас задержал дома приезд друзей на Пасху. За наше отсутствие неожиданно скончался Фед<ор> Эд<уардович> Юнге.[3] Мы ускорили свой отъезд. В Ольге Андреевне[4] Андерсы приняли очень большое участие. Не отходили от нее. Переселили в свои комнаты. Вообще высказали относительно ее все человеческое сочувствие, какое возможно. Но в то же время всячески возбуждали ее против нас и уговорили не оставаться жить у нас. Юнге жили у нас 18 лет. И после смерти Ф. Э. мы писали Ольге Андр<еевне>, прося ее считать комнату, где он умер, своею собственностью. Когда мы приехали, Ол<ьга> Анд<реевна> встретила нас сухим извещением, что она через месяц освободит нам комнату.

Это было абсурдно. Теперь Ол<ьга> Анд<реевна> осталась у нас. А Андерсы покинули наш дом по собств<енной> воле. Мы с ними не поссорились, но и не удерживали. Они поселились неподалеку от нас: скверно, тесно, дорого. Во всем этом чувствуется какая-то наша несостоятельность, как «гостинников». А зло все продолжается, т<ак> к<ак> они продолжают восстанавливать людей против нас, чем больше всего вредят этим же людям (лишая их крова и прибежища). Они как будто хотят поссорить нас со всеми близкими, утверждая, что «в Коктебеле был бы рай, если бы не было Маруси», что мы «неискренно» даем у себя приют людям, упрекая меня в жадности и скупости, в том, что лучшие акварели у меня берет Маруся, что я не раздаю своей библиотеки и что у меня есть три рубашки.

Прости, что я пишу тебе все эти мелочи. Но уже три месяца приходится в этом жить и как-то на это реагировать. Потому что совершенно посторонние люди, пришедшие с улицы, начинают у нас требовать отчета. И все это, к сожалению, слишком переполняет нашу жизнь. Народу в Коктебель в этом году попадает очень мало. И наш дом тоже пустует (относительно). Но теперь к половине июня начинают уже собираться старые друзья. Всех удручает безденежье и пугают слухи о землетрясении (которого нет) и особливо слух о том, что из Крыма бегут крысы (как с тонущего корабля), о чем у нас что-то не слышно. Крепко целую тебя и Ирину.[5] Маруся тоже. Цветы маслины и акации посылаем одновременно посылочкой.[6]

Макс.

[1] Ответ – на письмо С. Н Дурылина от 27 апреля 1928 г (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 525, л. 26–27 об.).

[2] Этот абзац Дурылин полностью привел в мемуарно-дневниковом своде «В своем углу». См.: *Дурылин Сергей.* В своем углу. М : Молодая гвардия, 2006. С. 615.

[3] См. примеч. 1 к п. 305.

[4] О.А. Юнге.

[5] И.А. Комиссарова.

[6] Дурылин отвечал в недатированном письме: «...получил посылочку твою с цветами маслин Когда я ее взял в руки еще запечатанную, руки запахли запахом маслин. Удивительно!

Преодолев....
Живую грань пространства и времен,

маленькие цветочки оказались сильнее “средств транспорта”, почтовых сумок, тележек, вагонов, и проч., и проч. – и сохранили *свой* киммерийский запах. Когда же я распечатал с Ириной трубочку, запах твоего сада – тепла, солнца, песка, моря и суховатых серебристых деревьев – охватил нас Теперь пучок маслин стоит у меня на столе, а маленькие веточки – одна положена в книжку твоих стихов, другая – в мою тетрадь, третья – в Пушкине» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 525, л. 23). Ср. фрагмент из свода «В своем углу» (запись от 14 июня 1928 г.): «Посылка от Макса из Коктебеля. Трубочка, свернутая из картонной бандероли, «L'art vivant», а в ней несколько веток коктебельской цветущей маслины.

Я взял в руки трубочку, обернутую в холст, – и руки стали пахучи. Запах шел через картон и холст.

Пусть они останутся тут, две веточки

Пришли из-за 5000 верст, – и запах оказался сильнее пространства. “Прекрасное” прошло через “полезное”, – и не заразилось им, не переняло, а победило зловоние “полезного” (вагонов, почты, “транспорта”...).

И как мудро: заставить “полезное” – служить бесполезному – Прекрасному!» (*Дурылин Сергей.* В своем углу. С. 625). В письме к Е. В. Гениевой от 29 июня – 5 июля 1928 г. Дурылин сообщал: «Получил от Макса письмо грустное-прегрустное, – и посылочку... с цветами маслины. Благоухают» («Я никому так не пишу, как Вам » Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С. 234).

331. Е. Л. ЛАННУ

28 июля 1928 г. Коктебель

28/VII 1928. Коктебель.

Дорогой Евгений Львович,

По-видимому, Ваше желание о комнате Шервинских я удовлетворить могу:[1] с 10-го она будет свободна. Буду очень рад Вас увидать подробно. Сейчас у нас горячий людоворот, осложненный 2-мя случаями детской скарлатины и большою человеческой усталостью.

Приветствую Лань.[2] Перед выездом телеграфируйте. Крепко обнимаю Вас.

Максимилиан Волошин.

[1] Ответ на просьбу в письме Ланна от 26 июля 1928 г.: «Мне удалось отвевать у судьбы и обстоятельств 1 ½ месяца работы вне Москвы, не отдыха, а работы. И, разумеется, я прежде всего подумал о Вас и Коктебеле, и посему, совместно с А. В <Кривцовой. – *Ред.*> мы решили запросить Вас о возможности провести эти полтора месяца, с 10 августа, у Вас. <...> не сочтите за наглость запросить Вас, можете ли Вы нас принять с тем, чтобы наш приют был бы удален от детей и буйных Габричевских. Насколько я помню, этим условиям удовлетворяет комната, где жили Шервинские, – с дверью, выходящей в забор» («...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма Документы. Материалы... С. 115–116).

[2] А В. Кривцова

332. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

3 августа 1928 г. Коктебель[1]

3/VIII 1928. Коктебель.

Дорогой Сережа,

О сложной ломке твоей жизни мы осведомлены давно.[2] Маруся сперва была огорчена, но когда я <?> успокоил ее тем, что теперь Вы будете навещать нас вчетвером – она утешилась. Пока мы будем очень рады приветствовать тебя, Лелю и Василия Дмитриевича[3] в Коктебеле и надеемся, что Машенька и Влад<имир> Никол<аевич> на<с> навестят в ближайшее лето.[4] Приезду Василия Дмитриевича мы радуемся особливо и постараемся сделать все, чтобы ему в Коктебеле было уютно – и физически и морально. Не думаю, чтобы твои опасения относительно 17 авг<уста> были бы основательны. Гуна[5] 15-го уезжает в Туркестан <*нрзб*>, день пройдет без твоей и ее инициативы очень <?> тихо и мирно. Лелю ждем и примем как родную. Прости, что отвечаю открыткой: сам знаешь, какой людоворот сейчас. Наш привет Василию Дмитриевичу.

Макс и Маруся.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 4.8.28; Москва. 6 VIII 1928.

[2] 12 мая 1928 г. Н. А. Габричевская сообщала Волошиным: «Шервочки развелись и женятся каждый на своей “слабой струне” (есть такой водевиль)» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 381, л. 57 об. Упомянута комедия в 2-х действиях М. И. Попова «Слабая струнка, или Постояли за себя!»). 31 июля 1928 г. С В. Шервинский писал Волошину о расторжении брака с первой женой, М С. Шервинской, и о новом супружеском союзе. «Ты, конечно, осведомлен от общих друзей наших о перемене в моей личной жизни. Хотя перемена эта подготовлялась исподволь, и настоящее положение – лишь фиксация годами сложившихся отношений, тем не менее всякая ломка тяжела для души, и из подобных перипетий все-таки выходишь пораненным. Об одном прошу близких мне друзей, – не принимать все это за разрыв, помнить, что у нас с Машенькой такие крепкие и светлые отношения, что они не могут не сохраниться во всей их значительности и полноте. Ты это поймешь лучше, чем кто бы то ни было, и как друг поможешь мне в дальнейшем выправлять мой жизненный путь на основе общего доверия и взаимной дружеской нежности <...> Позволь и в нынешнем году нам троим, т. е. отцу моему, все-таки душевнобездомному и, конечно, глубоко тоскующему, жене моей, вступающей в совершенно новую и во многом чуждую ей жизнь, и мне – окунуться в коктебельскую лазурь и в вашу дружбу. Я совершенно уверен, что ваша теплота и Киммерия окажут благотворное влияние на отца, и с большой надеждой везу его в Коктебель. Напиши мне, можем ли мы приехать А собираемся мы в двадцатых числах августа. Не удивляйся и не обижайся, что мы приедем после твоих именин. Но папа в его теперешнем состоянии боится шума, и я просто опасаюсь напугать его всеми кликами и литаврами, которые будут дружески раздаваться вокруг тебя 17-го августа. Что же касается до жены моей, Елены Владимировны, а для вас с Марусей – Лёли, то я не представляю себе, чтоб она не познакомилась с вами и миновала Коктебель» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 1296, л. 19–19 об.).

[3] В.Д Шервинский.

[4] М. С. Шервинская и В. Н. Владимиров (Долгоруков). В цитированном письме Шервинский сообщал: «Машенька и Владимир сейчас пребывают в Елатьме Рязанской губ. на Оке».

[5] К. П. Девлет-Матвеева.

333. Е. В. ГЕНИЕВОЙ

10 августа 1928 г. Коктебель[1]

Милая Леля, кажется, наши сношения прервались из-за почты, затерявшей мое или твое письмо. Я посылал тебе к Рождеству и Нов<ому> Году пачку акварелей для тебя, детей Марг<ариты> Вас<ильевны> и ми<ло>му <?> Ник<олаю>.[2] А после ответа от тебя не получил. Очень ждем тебя в Коктебеле, очень.[3]

Макс.
10 VIII 1928.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] Маргарита Васильевна Кирсанова (Гумилёва), сестра Е. В. Гениевой, преподаватель кафедры иностранных языков в Московском энергетическом институте, и Н. Н. Гениев, муж Е. В. Гениевой.

[3] Ответного письма в подборке писем Е. В. Гениевой к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 405) не имеется.

334. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

19 августа 1928 г. Коктебель[1]

Милая Юлия Леонидовна,

мне очень досадно, что я Вас так упустил из дому: когда я встал и шел умываться, Вы еще были в доме: мне сказали, что Вы сидите на террасе. А пока я умылся, Вы уже уехали. Еще более мне стыдно за предыдущий вечер: меня так запраздновали и зацеловали, что я сидел с Вами за ужином совсем выпитый и не мог ни слова сказать.[2]

Простите мне мою усталость. Я только теперь — на третьи сутки — начинаю немного приходить в себя. Привет «старым Костям»,[3] крепко их обнимаю.

Неужели Вы не навестите меня пред отъездом, когда станет просторнее от людей.

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «M W 14/VIII 1928».

[2] Речь идет о праздновании именин Волошина 17 августа (см : Труды и дни-2. С 394). Ю.Л. Оболенская и К.В. Кандауров приезжали в этот день на праздник из Феодосии, куда возвратились утром следующего дня. 18 августа Оболенская отправила Волошиным из Феодосии открытку: «Константин Вас<ильевич> и я просим извинить нас за наше исчезновение: нас напугали трудностью отъезда, и, выйдя на разведки, мы решили воспользоваться случайно оказавшимися свободными местами на частном автомобиле. Мы очень огорчены, что не пришлось проститься с Вами: вы все еще спали. Мы очень рады, что все-таки удалось нам и в этом году хоть на минуту заглянуть к Вам» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 903, л 15).

[3] К.В. Кандауров и К.Ф. Богаевский.

335. Л.А. НАЗАРЕВСКОЙ

5 сентября 1928 г. Коктебель[1]

5/IX Коктебель.

Милая Любочка,

конечно, мы тебя ждем в сентябре и на самый долгий срок, который тебе позволит отпуск.[2] Не ответил тебе сразу потому, что не знал (и до сих пор не знаю) ничего об отъезде Габричей.[3] Но они сами ничего не знают, но ясно, что в половине сентября они уже будут в Москве. Если ты приедешь к 15<-му>, то не застанешь их. Крепко тебя целуем, любим по-прежнему и ждем.

Макс.

[1] Открытка. Почтовый штемпель получения: Москва. 10.9.28.

[2] 16 августа 1928 г. Л.А. Назаревская писала Волошину. «Приняла всерьез ваше приглашение на сентябрь и собираюсь приехать Напишите, не пошутили ли вы?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 868).

[3] Н.А. и А Г. Габричевские.

336. А.А. КИПЕНУ

10 сентября 1928 г. Коктебель

10/IX* 1928.

Дорогой Александр Абрамович,

Посылаю Вам одновременно 15 аквар<елей> (заказн<ой> бандер<олью>) и прислан<ное> Вами «Заявление».[1]

У меня очень много народу в этом году, и я перегружен. Нет минуты написать письмо. Крепко обнимаю.

Из *аквар<елей>* одну выберите для себя.[2]

Чувствую себя хорошо.

Зимую в Коктебеле.

Максимилиан Волошин.

[1] Акварели предназначались для очередной выставки одесского художественного Общества имени К.К. Костанди, «заявление» — о принятии в члены этого Общества. 27 августа 1928 г. А.А. Кипен писал Волошину из Одессы: «С 15 октября по 18 ноября мы устраиваем нашу очередную *четвертую осеннюю выставку картин* и, конечно, не представляем себе этой выставки без Вашего участия. <...> К сожалению, в нынешнем году площадь наша ограничена новым помещением. Во всяком случае мы предоставляем Вам отдельный щит в четыре квадратных метра. Ваши вещи не откажите прислать не позже 3-го октября. <...> Давно собирался предложить Вам войти в состав нашего Общества. Если ничего не имеете против, подпишите и верните мне прилагаемое заявление. Это только необходимая формальность, так как Вас, конечно, выберут единогласно» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь: Таврия, 1999. С. 84)

[2] Кипен благодарил Волошина за «дорогой < > дружеский подарок» в письме к Волошину от 25 сентября 1928 г (Там же С. 85).

* *В автографе описка.* 10/XI

337. С. А. АБРАМОВУ

11 сентября 1928 г. Коктебель

11/IX 1928. Коктебель.

Дорогой Соломон Абрамович,

Ваше письмо пришло в разгар человеческого людоворота, когда я не принадлежу сам себе совершенно.[1] (В этом году через меня и мой Дом прошло уже **600** челов<ек>.) Статья о Сарьяне? Но я так и не видал ни одной его картины с довоенных времен. Его самого я видал в 1924 г. мельком.[2] Кое-какие книги об Армении тогда же собрал.[3] Но ни Армении, ни нового Сарьяна в новой Армении так и не видал. Ехать теперь в Армению? Но я стал грузен. Мое здоровье позволяет мне только странствия, обставленные комфортом, что будет для «Рус<ского> Искус<ства>» накладно. А без знания современных работ Сарьяна я писать о нем не могу. Эту работу придется взять на себя кому-нибудь знающему живопись Сарьяна революцион<ного> периода и видавшему современную Армению. Что же касается моих статей о Бенуа и о Сурикове[4] – они в Вашем распоряжении (т. е. еще не использованы). Спасибо за Ваши стихи, которые мне доставили несколько минут эстетического удовольствия.

До свиданья.

Максимилиан Волошин.

Зимую в Коктебеле.

[1] Указанное письмо С. А. Абрамова не обнаружено.

[2] Волошин встречался с М. Сарьяном в Москве 12 мая 1924 г. (Труды и дни-2 С 224).

[3] Книги – для неосуществленного замысла работы о Сарьяне, которую Абрамов тогда предложил написать Волошину. См : Т. 12 наст. изд. С. 728–734.

[4] Подразумеваются неопубликованные тексты Волошина – статья «Александр Бенуа» и монография «Суриков». См.: Наст. изд. Т. 6, кн. 2. С. 329–338; Т 3. С. 363–541.

338. С. В. ТЮЛИНОЙ

3 октября 1928 г. Коктебель[1]

Милая Софья Викторовна, шлю привет из Коктебеля и часто вспоминаю Sicilian'у[2] и Ваше мычание.

Макс.

[1] Текст – на акварели с пометой: «M W 3 X 1928».
[2] Сицилиана – старинный итальянский танец пасторального характера.

339. М. С. ФЕЛЬДШТЕЙНУ

3 октября 1928 г. Коктебель[1]

Дорогой Миша, твое отсутствие в этом году очень чувствовалось в Коктебеле.

Макс. Маруся.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «M W 3 X 1928».

340. А. А. КИПЕНУ

4 октября 1928 г. Коктебель

4/X 1928.

Дорогой Александр Абрамович,

Спасибо за Ваше милое и дружеское, как всегда, письмо и за утверждение меня членом Вашего общества,[1] свой «портрет» работы Петрова-Водкина у меня имеется, и я Вам пошлю его. Но это крайне торопливый и мало удачный набросок, и меня немало удивляет, что П<етров>-В<одкин> хочет его выставить.[2] Но это его дело. Я говорю, разумеется, не о «сходстве», а просто о слабости рисунка. Он ведь художник крайне неровный, и это отсутствие самокритики мне непонятно. Получите – будете судить сами. Пишу наскоро, пото-

му что еще моя летняя страда не кончилась, и жизнь моя еще поглощена текущими людьми и делами.

Максимилиан Волошин.

[1] См. примеч. 1 к п. 336. В письме из Одессы от 25 сентября 1928 г. А.А. Кипен благодарил Волошина: «Спасибо Вам за вхождение в нашу семью» (*Михаленок Д.К.* Карадагский калейдоскоп: Калейдоскоп литературы, науки, искусства. Версия 1. Симферополь. Таврия, 1999. С. 85).

[2] Портрет Волошина К.С. Петров-Водкин написал и подарил ему в сентябре 1927 г. В цитированном письме Кипен сообщал Волошину об ответе Петрова-Водкина на предложение участвовать в выставке Общества имени К.К. Костанди· «Вот дословно то, что он пишет: “...могу Вам предложить следующее у М.А. Волошина имеется его портрет моей работы (1927) – эту вещь я бы мог предложить для выставки – думаю, что М.А. ничего не будет иметь против”. Слово, стало быть, за Вами. Как Вы решите – так и будет. Будем Вам дружески благодарны, если Вы найдете возможным прислать нам по почте этот портрет Само собой разумеется, что мы будем хранить его с особенным вниманием и, по окончании выставки, немедленно пришлем Вам в наилучшей упаковке» (Там же. Исправлено по копии с автографа: ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед хр. 643, л. 13–13 об) Портрет Волошина работы Петрова-Водкина был представлен на Четвертой осенней выставке картин художественного Общества имени К К. Костанди в Одессе (1928) под названием «Этюд головы».

341. М.Д. СЕМЕНОВУ–ТЯН-ШАНСКОМУ

4 октября 1928 г. Коктебель

4/X 1928. Коктебель.

Дорогой Михаил Дмитриевич,

Простите, что я до сих пор не откликнулся ни словом на Ваше письмо и на рукопись Вашего брата, ни на тетрадь Ваших стихов.[1] Дело в том, что я отвечаю на письма только зимой (с ноября). Мое лето так затоплено человеческим людоворотом, что я не имею времени физически отвечать на письма

в летние месяцы. Если Вы представите себе, что значит пропустить через свою душу шестьсот человек, то вы поймете меня. Ваша присылка пришла ко мне в начале моей летней страды, я прочел ее с жадностью, но времени на ответ не было и теперь еще нет. Благодарю Вас очень, и отвечу через несколько недель, когда начну платить все письменные мои долги за лето. Простите и не осудите. Стихи Ваши я почувствовал очень близкими.

Максимилиан Волошин.

[1] С М.Д. Семеновым-Тян-Шанским Волошин познакомился в Ленинграде на открытии своей выставки в Доме печати 14 апреля 1927 г. (Труды и дни-2. С. 341). В пояснительной записке к двум письмам Волошина к нему М.Д. Семенов-Тян-Шанский сообщает «Весною 1927 г М.А. <Волошин> приезжал в Ленинград, где устроил выставку своих акварелей и вечер, где читались его стихи. На этом вечере я с ним познакомился, разговорился о брате Л. Д. и обещал прислать посмертное произведение брата «Грешный грешным», а также просил разрешение послать ему и мои произведения Послать все обещанное удалось только поздней осенью» (РГАЛИ, ф. 1316, оп. 2, ед. хр. 1, л. 3). Семенов-Тян-Шанский выслал Волошину «посмертные записки» своего брата Леонида и машинописный сборник собственных стихотворений 8 июля 1928 г.; в сопроводительном письме он признавался « ..я был Вашим почитателем уже двадцать лет назад, всегда поражаясь глубокому мастерству Вашего письма, наиболее самобытного за последнее время. Последние же Ваши стихи заразили и меня своей силой и чувством, и Вы найдете в моем сборнике невольный мой отголосок на них» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр 1099) Не получив своевременно ответа, Семенов-Тян-Шанский отправил Волошину 28 сентября открытку с вопросом, получил ли он посылку с рукописями (Там же).

342. А. С. ЕНУКИДЗЕ

Первая декада октября 1928 г. Коктебель[1]

Т. Енукидзе

поэта Максимилиана Волошина (Коктебель)

Заявление:

т. Енукидзе,

Я решаюсь обратиться к Вам за помощью в деле организованной мною в Коктебеле бесплатной художественной колонии только потому, что одна из Охранных Грамот, позволивших мне осуществление этого дела, была подписана Вашим именем. (Копии всех документов прилагаются.)

Дом в Коктебеле, построенный мною в 1903 г., в течение четверти века был убежищем для поэтов и художников. А с начала Советской власти я превратил его в бесплатную колонию для поэтов, художников, ученых и их семейств.[2]

Очевидно, в силу своей литературной репутации во время Революции он ни разу не был национализирован, а в 1925 г. (постановление от 29/I-25 г., прот. 4) закреплен за мною Крым<ским> ЦИК'ом.

Текущий ремонт его производится с трудом при помощи Ак-Обеспечения, выплачиваемого мне Ц.К.У.Б.У. (60 р. в месяц). В чрезвычайных же случаях (как прошлогоднее землетрясение) я обращаюсь к друзьям с просьбой устроить в Москве лотерею моих акварелей или концерт (чтобы не делать никаких сборов среди гостящих), что и покрывает необходимые расходы.

Полезность такого учреждения, целиком существующего на частные средства, — ясная для центра, — не вполне понятна для сельских властей.

В порядке анекдотическом их отношение ко мне и к моему дому может характеризоваться двумя фразами: «Ишь буржуй: комнаты *даром* сдает, нашей власти признавать не хочет» и «В Коктебеле можно было бы расторговаться, если бы не странноприимный дом Волошина».

Не учитывая того, что Коктебель возник как культурный центр благодаря моему многолетнему пребыванию здесь, они склонны рассматривать меня как своего конкурента, а моих гостей как упущенных ими жильцов.

Несомненно, что если бы я эксплуатировал свой дом коммерчески и нормально сдавал бы комнаты, то у меня не было бы никаких недоразумений. Но обывательский ум не может допустить, чтобы частный человек, вне всякого принуждения свыше, такую коммерческую ценность, как дом, мог употребить для бескорыстного обслуживания своих собратий. Поэтому я подвержен постоянным доносам со стороны соседей и придиркам со стороны местных властей.[3]

Простое выражение внимания и интереса к моему дому со стороны центра могло бы в корне устранить все эти мелкие местные неприятности, занимающие в жизни слишком большое место. В моей деятельности таким центром является не Симферополь, а Москва, т<ак> к<ак> мой дом обслуживает не местных крымских граждан, а писателей и ученых во всесоюзном масштабе. В Москве лучше осведомлены о характере моей деятельности и легче навести справку о точности моих слов.

Поэтому просьба моя к Вам заключается в следующем: ходатайствовать перед Крымским правительством или перед отдельными членами его (в той форме, какую Вы найдете для себя более удобной и подходящей) о более внимательном отношении к «Дому Поэта» в Коктебеле, как предприятию бескорыстному и полезному в общесоюзном масштабе, и об оказании мне помощи в нужный момент.

Из лиц общеизвестных у меня жили и могли бы подтвердить правду моих показаний:

Академия Наук: М. Н. Розанов, С. П. Костычев,

Медицинская Академия: С. В. Лебедев, В. Н. Верховский,

ГАХН: проф. Сидоров, Ларионов, Габричевский, Жинкин, Шпет, Ярхо, М. Петровский,

Врачи: проф. Шервинский, Яроцкий, Обакевич, Дамперов, Саркизов-Серазини,

Профессора: А. А. Байков, Златогоров, Котляревский, И. Розанов, Адрианов,

Поэты: Г. Шенгели, Е. Ланн, Вс. Рождественский, Андрей Белый, Лев Остроумов, Л. Леонов, Вера Инбер, Сельвинский, Р. Ивнев, Заяицкий,

Художники: К. Богаевский, К. Кандауров, Ю. Оболенская, Шаронов, Петров-Водкин, С. Лобанов, Нюренберг, Мидлер, Остроумова-Лебедева, Кругликова,

Музыканты: Зоя Лодий, Гнесин, Тюлин.

Поэт Максимилиан Волошин.
Коктебель. X 1928.

[1] В архиве Волошина сохранились два черновых карандашных автографа этого письма (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 45): первоначальный незаконченный вариант текста с обозначением предполагаемых адресатов: «Енукидзе, Луначарск<ому>, Кондурушкину, П. Новицкому» (л. 2–2 об.) – и последующий (л. 1–1 об.), имеющий существенные отличия от окончательного и адресованный А. С. Енукидзе. В примечаниях приводятся наиболее значимые варианты этого чернового текста

[2] В черновом тексте·

«С самого своего основания это была в течение 20 лет пристань для поэтов и художник<ов>. Не желая его коммерчески эксплуатир<овать>, я с начала сов<етской> власти превратил его в бесплатную колонию для художн<иков>, поэтов и ученых. В 1923 г. у меня перебывало 200 чел<овек> за лето, и постепенно возрастая из года в год, эта цифра дошла ныне до 600 чел<овек> за лето, считая с проходящими экскурсиями. Так что за 5 лет через меня прошло больше 2 тысяч человек. Конечно, это не только поэты, художн<ики> и ученые – преобладают их семьи, т<ак> к<ак> писателю важнее экономически иметь бесплатный приют для своей семьи и детей, т<ак> к<ак> для него самого открыты Дома Отдыха.

К сожалению, в таких глухих и отдаленных местах, как Коктебель, существует очень странное смешение понятий, и случай, чтобы человек по собственной инициативе совершенно бескорыстно обслуживал своих собратьев, кажется местным сельским властям совершенно немыслимым».

[3] В черновом тексте: «Я же подвержен постоянным угрозам оттягать если не весь дом, то часть пристроек. (Дом состоит из здания, где помещаются библиотека и мастерская, каменного флигеля и двух небольших пристроек, которые все бывают заняты гостями в июле – августе.)

Эта постоянная угроза и тревога, с нею связанная, могла быть устранена, если бы центр выразил в какой бы то ни было форме свой интерес и со<чу>вствие моему делу, которое, как я склонен думать, не противоречит ни принципам, ни интересам Советской власти, а приносит, как-никак, определенную обществен<ную> выгоду

Одного слова сочувствия моему делу, высказанного официал<ь-ным> или частн<ым> образом от лица, имеющего авторитет в Ре<с>пуб<лике>, сразу сделало бы излишним скучную канитель канцелярс<ких> отписок и отношений.

Я, обращая<сь> к Вам, ищу не патронажа для моего дела, не в своих личн<ых> интересах, а в интересах тех, кто ежегодно пользуется моим гостеприимств<ом>

Как у меня поставлено дело и насколько бескорыстным является мое предприятие, может засвидетельствовать любой из тех 2000 чел<овек>, что у ме<ня> перебывали за эти годы».

343. С. А. ТОЛСТОЙ

7 октября 1928 г. Коктебель

7/X 1928. Коктебель.

Милая Соня,

не писал тебе давно. Полгода моего летнего письменного безмолвия истекают и последняя партия наших летних гостей, которые тебе отвезут это письмо, уедет послезавтра. Пишу с ними, а то после не скоро будет оказия. И пишу не просто дружеское письмо, а прибегаю к твоей дружбе. Дело в том, что наш дом снова подвергается опасности. Есть угроза, что у нас хотят отнять каменный флигель, где жили Юнге. Ты знаешь, что Феод<ор> Эдуардович в этом году, когда мы были в Кисловодске, умер.[1] Ольга Андреевна выехала осенью к друзьям в Киев,[2] с тем, что возвратится после к нам. После ее отъезда поднялись слухи о том, что из Крыма будет произведено дополнительное выселение помещиков, и Юнге будут выселены. В связи с этим у нас был председатель Сельсовета и говорил о том, что они знают, что дом, где мастерская, — мой, а тот дом — всегда назывался Юнговским и что в нем 20 лет жили помещики Юнге, и что он считает тот дом собственностью Юнге. Это, конечно, ерунда пока, но это предупрежде-

ние, что к весне будет сделана попытка его отнять. Мы много об этом думали и решили, что если дело дойдет до постановления, то нам придется много хлопотать и, б<ыть> м<ожет>, судиться, что для меня совсем не приемлемо. Если же заранее принять меры, то достаточно простого сочувственного интереса из Москвы от правительственных кругов, чтобы всякие враждебные придирки ко мне стали невозможны. Поэтому у меня к тебе такая просьба: можешь ли ты передать Енукидзе мое письмо, которое посылаю тебе,[3] и сама подтвердить его содержание (прочти его!) и точность всего, что я говорю об организации моего дома? А перед этим повидаться с моим другом Митрофаном Исидоровичем Долгополовым, находящимся сейчас в Москве, бывшим юрисконсульт<ом> Крымск<ого> Правительства – находящим<ся> в курсе всех моих дел, который тебе даст еще указания. Если же письмо мое его уже не застанет (я прошу, чтобы он сам позвонил тебе и зашел[4]), то сама передай просто мое письмо Енукидзе. Очень просим тебя: сделай, что можешь. Это может кончиться действительно отобранием у нас флигеля за то, что в нем жили Юнге.

Ну вот, дела кончены. Лето кончается, и мы чувствуем пустоту и облегчение. Но усталость меньшая, чем в предыдущие годы. Привычка ли? или здоровье лучше? Потому что лето выдалось очень хлопотливое и неприятное в человеческих отношениях.

Начали весною Андерсы, которые, прожив 2 года у нас в доме без всяких недоразумений и столк<н>овений, вдруг объявили, что у нас в доме жить нельзя, т<ак> к<ак> у Маруси адский характер и что «все говорят, что в Коктебеле был бы рай, если бы не Маруся». Это им не помешало оставаться у нас в доме, жить до поздней весны, а потом переселиться на соседнюю дачу. И в течение всего лета предупреждать против нас целый ряд живших у нас людей, которые сами выселялись от нас со скандалом, упрекая нас в жадности, в скупости, в лицемерии, в том, что мы «неискренно» отдаем комнаты. В этой приятной атмосфере «дружеских обличений» мы прожили всю первую половину лета, когда были затоплены новой волной летних посетителей, среди которых особливо приятным для нас было пребывание 80-летнего старика В.Д. Шервинского.

Вероятно, мое зимнее пребывание <в> Кисловодске дало мне бодрость и силу перенести все лето без переутомления. Маруся, как всегда, крайне нервна, но физически чувствует себя недурно. Пребывание осенью у нас целого ряда известных врачей (Шервинский, проф<ессор> Яроцкий, Обакевич) делает для нас ненужными зимние поездки на Север. И мы думали в этом году зимовать в Коктебеле безвыходно. Кроме этих моральных невзгод этим летом нас посетили и несчастия материальные: нас обокрали: унесли все наши теплые вещи и 150 моих акварелей.[5] Маруся так горевала об акварелях, что забыла о пропаже зимних* вещей. А когда акварели нашлись (Маруся их просто сунула в другой шкап), то радость совершенно заставила нас забыть об остальной потере.

От тебя мы летом имели письмо с описанием твоего путешествия с американками мимо Коктебеля и глубоко возмущались их поведением.[6]

С большою радостью и любовью принимали у себя твою милую казанскую протеже – Дельвиг.[7] Она очаровательна.

Позднею осенью у нас появлял<ся> и жил некоторое время твой кузен – Мих<аил> Мих<айлович> Кузминский.[8] Впрочем, ты, кажется, его и не знаешь – к счастью для себя, потому что он оставил по себе впечатление неблагоприятное.

Как жила ты осенью? Как живет Ольга Константиновна?[9] Шлем ей сердечный привет. А также всем коктебельским друзьям, которых мы не видали этим летом у себя.

Крепко тебя обнимаем.

Макс
и Маруся.**

[1] См примеч. 1 к п. 305.

[2] Речь идет об отъезде О. А. Юнге к Новицким.

[3] См. п. 342.

[4] См. п. 345.

[5] О том, что Волошиных обокрали, Ю. Л. Оболенская написала матери из Феодосии 12 сентября 1928 г.: унесли все теплые вещи, отрез сукна, 30 рублей (Труды и дни-2. С. 398).

---

* *В автографе, вероятно, описка* земных

** *Приписка рукой М С. Волошиной.*

[6] 23 мая 1928 г. С А. Толстая писала Волошиным в поезде Батум – Тифлис: «Я сейчас езжу переводчицей с 3-мя американками по всему югу России <...> Если бы вы знали, как у меня сердце разрывалось, когда пароход шел в виду Коктебельских гор и сколько вечных хороших чувств я посылала Вам. Мои обезьяны тоже рвались к Вам, я нарассказала им с три короба, какие Вы замечательные, но у них нет времени и они очень мало выносливы Вообще эта прославленная спортивная нация по моим наблюдениям куда слабее нас Они очень милые, простые, веселые, но мне с ними смертельно скучно и пусто» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 1185, л. 40–40 об.).

[7] 23 июня 1928 г. С. А. Толстая послала Волошину письмо с Еленой Павловной Дельвиг (1907–?), студенткой, правнучкой поэта барона А. А Дельвига, приехавшей в Коктебель 17 июля и уехавшей 27 июля (Труды и дни-2. С. 391, 392), в письме она сообщала· «Я ее лично не знаю, п<отому> ч<то> она живет всегда в Казани, но я очень хороша с ее младшей сестрой, а вся ее семья очень старые и близкие друзья большого друга моего деда и нашего – Елиз<аветы> Вл<адимировны> Молоствовой <...> Семья эта перенесла пропасть несчастий и вконец разорена и забита. Это будет очень хорошее и доброе дело, если Вы приютите Елену Павловну» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед хр. 1185, л. 42 об.–43). Ср. свидетельство о Волошине М. К. Баранович: «Однажды он получил письмо от дальней наследницы имени Дельвиг. Боже, как Макс радовался, что есть еще в России существо с этим именем, как он всем и каждому об этом сообщал· “А знаете, к нам скоро приедет Леночка Дельвиг, подумайте только – *Дельвиг!*”» (*Баранович-Поливанова А* Оглядываясь назад. Томск: Водолей, 2001 С. 22).

[8] Имеется в виду Михаил Александрович Кузминский (1875–?), ранее товарищ прокурора в Витебске.

[9] О. К. Толстая.

344. Ю. Н. ТЮЛИНУ

7 октября 1928 г. Коктебель[1]

7/X 1928.

Дорогой Юрий,

отвечу через несколько дней на твое письмо, как только уедет последняя группа гостей.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «M W 30 VIII 1928». Ср п. 338. В собрании Ю. Н. Тюлина имеются еще семь акварелей Волошина с надписями: «M W Дорогому Юрию Николаевичу – основной тон Коктебеля. 1928 IV»; «M W 4 I 1929 Дорогой Юрий, с новым годом и с праздниками! Макс. Маруся»; «M W 1.II. 30. С рожд<ением> Солнца!»; «Милым Харламовым – привет и восторг. Волошины. M W 20.X. 30», «Дорогому Юрию – привет и призыв. Max и Маруся. M W 29. X. 30»; «Соне – память о Коктебеле. Max. M W 28 XI 30»; «Дорогому Юрию напоминание о Коктебеле и о Волошиных. MW 28 XI 30».

345. М. И. ДОЛГОПОЛОВУ

10 октября 1928 г. Коктебель

10 X 1928. Коктебель.

Дорогой Митрофан Исидорович,

только что отправил Вам вчера с отъезжавшими открытку с просьбой навестить Соф<ью> Андр<еевну> Толстую (Померанцевский 3, кв. 8. Тел. 10–93), которой послал письмо для Енукидзе,[1] как узнал об активном уже выступлении против нас. 6/X состоялось постановление местного комит<ета> бедноты и ком<мунистической> ячейки о реквизиции дач Манасеиной, Яновских, Павловых, Дейши, Волошиных и об их выселении из Коктебеля. Постановление направлено в Симферополь.[2] Вересаева и Святских в этом постановлении нет. Но вообще достоверен только факт постановления (изгнание «нетрудового элемента»). А об различных подробностях содержания его – слухи расходятся. Дачи предполагается передать в Курорт-трест, чем дер<евенская> беднота разочарована. Обо мне сказано: довольно нажился: семь лет поторговал...

Вересаев говорит: «все это ерунда. Не принимайте к сердцу».[3] Но все же это наводит на меня глубокую тоску. Как можно жить среди людей, которые тебя считают торгашом?

Перед отъездом Евг<ений> Львов<ич> Ланн предлагал мне, если понадобится, написать бумагу и собрать подписи наиболее выдающихся писат<елей>, ученых и художников, живших у меня за эти годы. Нужно ли это сделать? Какой текст? Я теряюсь и недоумеваю. М<ожет> б<ыть>, Вы найде-

те время повидаться с ним и поговорить об этом деле и выработать вместе текст. Он живет очень близко от Вас: Бол<ьшая> Дмитровка 9, кв. 31.

Крепко Вас обнимаю и надеюсь на Вашу помощь.

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 342, 343.

[2] Упомянутое постановление коктебельского Комитета бедноты было отправлено в Райисполком и Крым-ЦИК на утверждение.

[3] В. В. Вересаев жил на своей даче в Коктебеле с июня до середины октября 1928 г.

346. Е. Л. ЛАННУ

12 октября 1928 г. Коктебель

12/X 1928. Коктебель.

Дорогой Евгений,

уезжая, ты мне предлагал, будучи в Москве, собрать подписи Московских Коктебельцев под бумагой, свидетельствующей мое бескорыстие и истинный характер ДОМА ПОЭТА, *когда понадобится*. Этот час, очевидно, настал.[1]

6/X 1928, как мы вчера узнали, состоялось постановление местного комитета бедноты совместно с комячейкой о реквизиции *всего* моего имущества и выселении меня из Коктебеля, которое и направлено в Симферополь на утверждение.

«Довольно он здесь за семь лет наторговал комнатами, достаточно ему наживаться». Любопытно, что в 1917 г., приблизительно в июне месяце, та же деревня подписала другое постановление, о выселении меня из Коктебеля, *как большевика** (вместе с Мак<симом> Горьким и Гавр<илой> Стамовым).[2] Теперь же я разделяю эту участь с Манасеиными, Павловыми, Юнге и Яновскими.[3] Причины, очевидно, те же:

* Тогда инициатива принадлежала Дейше-Сионицкой (в том году я был прощен на именины) <*Примеч Волошина*>

«В Коктебеле можно было бы расторговаться, если бы не страннприимный дом Волошина».*

За три дня до этого я направил в Москву письма Енукидзе (через Соню Толстую), Кондурушкину, Луначарскому и Павлу Новицкому (в Наркомпрос),[5] еще ничего не зная об этом, я просил их просто рекомендовать мое дело Крымскому Правительству.

Я не могу и не хочу давать текста для предполагаемой коллективной бумаги, но думаю, что схема ее содержания желательна таковая:

«Мы, пользовавшие<ся> в годы Совет<ской> Власти гостеприимством Максимилиана Волошина в Коктебеле, свидетельствуем о важности его дела для советских** деятелей искусства и науки и о полном бескорыстии его. Дом Волошина в Коктебеле является бесплатной художественной колонией, где каждый поэт, художник и ученый может найти приют для себя или для членов своей семьи, и не в порядке личного знакомства, а просто списавшись с ним предварительно, и находить не только отдых, но и благоприятные условия для работы благодаря обширной библиотеке и уединению».

Я не придаю постановлению комбеда большего значения, чем оно имеет. Но оно показывает ясно, в какой среде приходится жить, и с какими людьми иметь дело ежедневно и от кого зависеть. Я не боюсь, что меня из Коктебеля выселят, но невольно чувствую себя оскорбленным. Пожалуйста, извести об этой новой фазе существования Дома Поэта всех Коктебельцев. У нас уже почти пусто. Остаются только М. А. Пазухина с детьми,[6] Ирина Северцева и один юноша – Моисеев.

Писать подробнее некогда. Крепко обнимаю. Привет Лани.[7]

Макс.

P. S. Жду обещанных книг![8]

---

* в «Ком-бед» входят членами ряд арендаторов столовых и кооператор Арнаута, судимый за истязание и избиение M<ada>me Вересаевой [4] <*Примеч Волошина*>

** В автографе первоначально было. «русских» – *Ред.*

[1] Е.Л Ланн откликнулся на сообщение и просьбу Волошина в письме от 1 ноября 1928 г, изложив историю своих переговоров по его делу с П.С. Коганом, С.В Шервинским, А.Г. Габричевским, С.А. Котляревским и др. (см.: «...Темой моей является Россия». Максимилиан Волошин и Евгений Ланн. Письма Документы. Материалы... С. 119–120) Запрашиваемый Волошиным документ был составлен См.. «Коллективное свидетельство о бесплатности дачи Волошина М.А. «Дом поэта» 1928» (Там же. С. 198–203).

[2] См.: Т. 10 наст изд. С. 654, 674.

[3] Упоминаются семьи коктебельских дачевладельцев: Е.М. и Н.И Манасеиных, Н.В. и А.Н. Павловых, О.А. и Ф Э. Юнге, Е.Д. Яновской.

[4] См. примеч. 3, 8 к п 347.

[5] См. п. 342, 343, 350

[6] Сыновья М.А Пазухиной – Алек (Александр Васильевич Пазухин), Дым (Вадим Васильевич Пазухин).

[7] А.В. Кривцова

[8] Возможно, речь идет о романах В Вудворта, которые были подготовлены к изданию в русском переводе Е.Л. Ланном и А.В. Кривцовой: «Вздор» (Пер. с англ. С А. Полякова и Л.И. Некрасовой. Под ред Евгения Ланна М.; Л., Гос. изд., 1927); «Лотерея» (Пер. с англ. А.В. Кривцовой. Ред. и предисл. Евгения Ланна. М.; Л.: Гос. изд., 1927); «Хлеба и зрелищ» (Пер. с англ. А.В. Кривцовой Очерк о Вудворте Евгения Ланна. М.; Л.: Гос. изд., 1927). См. также п. 354.

347. С.В. ШЕРВИНСКОМУ

12 октября 1928 г. Коктебель

12/Х 1928. Коктебель.

Милый Сережа,

Мы узнали, что 6/Х состоялось постановление Ком-ячейки, совместно с Ком-бед'ом о выселении нас из Коктебеля как «нетрудового элемента» и о реквизиции всего имущества: «Довольно, – наторговался комнатами за семь лет – нажился...». Постановление отправлено в центр (Симфер<ополь>) на утверждение.[1] Любопытно, что таковое же постановление о выселении меня из Коктебеля, но «как большевика», было подписано теми крестьянами в 1917 году в июне по инициа-

тиве Дейши-Сионицкой.[2] Не думаю, что его удастся привести в исполнение больше, чем первое, но любопытны аналогии; в составе постановлявшего «комитета бедноты» состоят «арендатели столовых», а во главе стоит кооператор, избивший М<арию> Герм<огеновну> Вересаеву.[3]

Кампанию ведет представитель Курорт-Треста – Ткачев словом <?>: «В Коктебеле можно было бы расторговаться, если бы не странноприимный дом Волошина», и с тайною мыслью «если не удастся самого выселить, то, по крайней мере, хоть один дом отнимем». Еще до этого решения я отправил, как было решено (с Серг<еем> Андр<еевичем> Котляревским), письма Енукидзе и Луначарскому и Кондурушкину[4] с просьбой обратить внимание Крымского правительства на отношение местных властей к моему дому и прошу всех коктебельцев не остаться в бездействии. В доме у нас сейчас остались только Мар<ия> Алекс<андровна>[5] и Ирина Северцева, Ася[6] и Лид<ия> Вас<ильевна>.[7] Совсем пусто. Мы с Марусей как-то совсем не волнуемся и ждем событий. Вересаевский суд состоится через 3 дня в Ст<аром> Крыму.[8]

Кроме нас, постановлено тоже выселить всех, кому возвращены дачи Манас<еиных>, Павловых и др. Крепко обнимаем тебя, Лелю, Машеньку.[9] Привет Василию Дмитриевичу, Влад<имиру> Николаевичу, Ольге Венедиктовне, Евгению Васильев<ичу>, Константину и Дарию Гистаспу.[10] Всего, всего лучшего.

Макс.
Маруся.

[1] См. п. 345, примеч. 2.

[2] См.: Т. 10 наст. изд. С 601, 604

[3] Этот инцидент В. В. Вересаев изложил в «Письме в редакцию», напечатанном в газете «Красный Крым» 18 сентября 1928 г.: в Коктебеле его 53-летняя жена М. Г. Смидович была избита кассиром местного Кооператива С. Д. Арнаутовым, который таким образом решил «заступиться» за свою 7-летнюю дочь, нарвавшую в саду Вересаевых охапку маслин и приведенную М. Г Смидович к матери (Труды и дни-2. С 398–399)

[4] См. п. 342. Тексты писем к А. В. Луначарскому и И. С. Кондурушкину не выявлены.

[5] М.А. Пазухина.

[6] Ася – коктебельское имя Раисы Моисеевны Гинцбург.

[7] Л.В. Щепотьева.

[8] 23 октября 1928 г. «Красный Крым» опубликовал сообщение о том, что Арнаутов за избиение жены Вересаева приговорен старокрымским Народным судом к трем месяцам лишения свободы и снят с работы в кооперативе (Труды и дни-2. С. 403).

[9] Е.В. Шервинская, М.С. Шервинская.

[10] Установленные лица: В.Д. Шервинский, В.Н. Владимиров, О В Барцева, Е.В. Шервинский.

348. М.И. ГИНЦБУРГУ

13 октября 1928 г. Коктебель[1]

Коктебель. 13/X – 28 г.

Уважаемый Моисей Исаакович. Хочу поставить Вас в известность о несчастьи, готовящемся обрушиться на нас, и просить Вас сообщать о нем лицам, которым найдете это нужным. Центру должно быть своевременно известно, что нас собирается местная власть выселить из Коктебеля. Это уже второй раз за время революции: в первый раз эта деревня постановила меня выселить, как большевика, в июне 1917 г. Теперь же меня выселяют за то, что 600 человек, приезжающие к нам, кажутся очень заманчивыми для Курорт-треста. Но он ошибается: вряд ли кто-нибудь из этих моих друзей приедет в Коктебель после моего выселения. Курорт-трест даже убыток потерпит – автомобили Крым-Курсо будут иметь меньше на 600 человек в год. Но Курорт-трест обезумел (огородив берег колючей проволокой, что стоило 600 р., и попав под суд за бесхозяйственность), а моя дача является сохранившейся и благоустроенной. Он нажал на Комитет Бедноты (в который, кстати, входят содержатели двух ресторанов и бывший богатейший мужик), и комбед совместно с ячейкой постановил меня выселить, а дачу передать для коммерческих надобностей, для эксплуатации, Курорт-тресту.[2] А дом мой, построенный мной в 1903 г., все время революции охраняемый мной, не отобранный мной и Советской властью <*так!*>, дает все

эти годы приют работникам литературы и искусства. Дает безвозмездно, чему никак не в силах поверить местный обыватель-собственник. Дом после землетрясения и ежегодно ремонтируется мною из 60-ти рублей стипендии ЦКУБУ и из средств тех выставок и лекций, которые зимой устраивают мне друзья в центральных городах. Отнять у ученых и работников искусства возможность отдыха и общения ради выгоды Курорт-треста центру должно показаться менее возможным, чем местному Комитету Бедноты.

Поэтому сообщайте о настоящем положении вещей кому найдете возможным.[3] Благодарю Вас, М<оисей> И<саакович>, за внимание и память – получил посланные Вами журнал и письмо. Книги пришлите лучше с иллюстрациями.[4]

[1] Черновик рукой неустановленного лица с правкой.

[2] См. п. 345, примеч. 2

[3] Письмо, направленное по московскому адресу М. И. Гинцбурга, было прочитано его женой Н. М. Гинцбург, которая писала Волошину 30 октября 1928 г «М. И. еще за границей. Приедет 4–6 ноября. Дело Ваше спешное. Я моментально перепечатала В<аше> п<исьмо> в 3-х экземплярах и дала В<ашему> другу – Симону Кореву. Он работает со Свидерским в Главискусстве. Письмо в тот же день, т. е. вчера 29/X было направлено в высший орган. Симон энергично взялся за В<аше> дело». 6 ноября Н. М. Гинцбург сообщала Волошину «В<аше> письмо было уже обсуждено. Соответствующее постановление отправлено Крымск<ому> ЦИК'у. Надеюсь, что волнениям Вашим по этому поводу положен конец» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 418).

[4] Находившийся тогда в Чехословакии М. И. Гинцбург (Даиан) писал Волошину 17 августа 1928 г: «Хотел бы послать Вам какую-нибудь нужную Вам книгу по искусству. Но не знаю, что Вам нужно из новейшей немецкой литер<атуры> по иск<усству>. Буду рад получить В<аши> указания». По получении ответного письма Гинцбург извещал Волошина 30 сентября: «Через недельку я Вам вышлю пару интересных немецк<их> книжек по ист<ории> религии» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 483).

349. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

29–30 октября 1928 г. Коктебель

29/X 1928. Коктебель.

Милый Сережа,

ты запрашивал меня о положении дел,[1] я тебе телеграммой ответил: «Станционарно» <*так!*>.

Нового мы ничего не узнали. Постановление о реквизиции всего нашего имущества и выселении нас из Коктебеля «как нетрудового элемента» составлено и пошло на утверждение в Симферополь.[2] Знаю только, что было и другое мнение: дома отобрать нужно, но выселять не следует, а, напротив, дать мне комнату в деревне, очевидно, чтобы те, которые хотят меня повидать, селились бы вокруг у крестьян, а за Марусей легче было бы посылать – всегда под рукой: это было мнение нам симпатизирующих.

Утвердит ли это Симферополь? Правительство там из новых людей, которые могут меня и не знать – все они присланы с севера.

Долгополов, который вернулся опять на несколько недель в Симферополь (перед окончательным отъездом на Украину), мне написал (с оказией), что это превышение власти со стороны коктебельских властей и что они получат за это выговор свыше.[3] Но выговор – выговором, но кто не поручится, что симфер<опольская> власть и не воспользуется случаем, чтобы самой разделаться с нежелательным элементом? Во всяком случае дело вступило сейчас в такую стадию, что раз Долг<ополова> в Сим<ферополе> не будет, мы ничего не будем знать до тех пор, пока нас не придут выселять. Но настроение у нас хорошее.

Потому ли, что стоят дивные тихие дни? Потому ли, что мы твердо верим в помощь и добрую волю московских друзей? Потому ли, что искренне полюбили неизбежное? Но нам хорошо живется, работается, и мы наслаждаемся всем окружающим, не думая о будущем. А московских друзей просим о том, о чем просили: нам не надо официального вмешательства: нам надо, чтобы неведомые нам члены Кр<ымского>

правительства частным образом получили предупреждение: «Там у Вас в Крыму есть Волошин, который дает бесплатный отдых поэтам и ученым, – это дело надо поощрять, а не уничтожать».

Привет Леле, Вас<илию> Дмитр<иевичу>, Машень<ке>, Влад<имиру> Николаев<ичу>, Ольге Венед<иктовне> и всем присным.[4]

Макс.

30/X 1928.

Сегодня пришло сразу после большого интервала много писем: среди них запрос от КрымНаркомПроса:[5] «Луначарский нас извещает, что Вас “обижают” местные власти – напишите, чем?» – и от Союза Писателей: «Не можем ли мы быть Вам полезны?» Буду им отвечать. Других новостей никаких. Из писем Валькирии и Кати знаю, что многое предпринято в Москве.[6] Это хорошо. Потому что здешние власти говорят так: «Ну, если выселить его совсем и не удастся, то один-то дом, как-никак, отнимем». Если вмешательство Москвы *случайно* и окажется сильнее, чем нападение, то оно сохранит дом и гарантирует нам спокойствие до новой смены властей. Вся эта кампания против нас ведется Курорт-Трестом, которому желателен захват дома. Но пути он выбирает окол<ь>ные.

[1] С. В. Шервинский откликнулся на п. 347, возможно, телеграммой или неизвестным нам письмом

[2] См. п. 345, примеч. 2.

[3] 14 октября 1928 г. М. И. Долгополов писал Волошину: «Вчера утром я вернулся в Симферополь и еще не успел ознакомиться с положением коктебельских “фокусов” (иначе я не могу назвать это дикое постановление), но <...> вчера же предупредил кое-кого о коктебельских недоразумениях и думаю, что все это кончится здесь, без Москвы. В один из ближайших дней вновь будет дано указание местным властям, чтобы они осторожнее относились к своим постановлениям и внимательнее читали опубликованную в “Красном Крыму” инструкцию о выселении помещиков» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 509, л. 24).

[4] Е. В. Шервинская, В. Д. Шервинский, М. С. Шервинская, В. Н. Владимиров, О. В. Барцева

[5] См. примеч. 1 к п. 350.

[6] В. П. Остроумова, Е. О. Сорокина. В письме к М. С. Волошиной от 3 октября 1928 г. В. Остроумова сообщала: «Вчера Левушка <Л. Е. Остроумов. – *Ред* > случайно встретился с Долгополовым, который сказал, что особенно волноваться не стоит, т<ак> к<ак> у тамошней братии ничего не выйдет, к Максу самое благожелательное отношение со стороны верхов и РКИ (рабоч<е>-крест<ьянская> инспекция)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 218, л. 20).

350. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

1 ноября 1928 г. Коктебель

1/XI 1928.

Сегодня пришла твоя телеграмма. Спасибо. Не вижу еще, в чем дело, но чувствуем полное и надежное успокоение. До сих пор это были только ободрения: не беспокойтесь – все обойдется. Но в тоне твоей телеграммы читаю уже совершившуюся реальность.[1] Крепко обнимаю тебя и Василия Дмитриевича,[2] вмешательству которого мы несомненно и обязаны быстрым и радикальным разрешением вопроса. Теперь будем ждать с нетерпением письма.

Макс.

[1] Текст телеграммы не сохранился. Подробное изложение его содержания – в письме С. В. Шервинского к Волошину от 1 ноября 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1296, л. 20–20 об.): «Только – было – я написал тебе и хотел уже опустить письмо, как пришли новые сведения, – по-моему, решающие, – те самые, которые вызвали вчерашнюю мою телеграмму Вскоре по получении твоего тревожного письма мой отец переговорил о твоем деле с н<ар>к<ом>здравом Ник<олаем> Ал<ексан>др<овичем> Семашко, и тот незамедлительно послал в Симферополь, телеграфно, запрос. Вчера утром моего отца вызвал к телефону секретарь Семашки и сказал, что нарком просил передать, что им получена ответная телеграмма из Симферополя и что “выселения не будет”. Это извещение настолько официозно, что в достоверности его не может быть сомненья. Кроме того, дня 3 тому назад я видел Вересаева, и тот сообщил, что в Феодосии, проездом, он узнал из достоверного источника, что дело твое разрешилось в благоприятном для тебя смысле. Во всяком случае, поскольку я могу судить из разговоров с Котляревским, Винавером и др , Москва до-

статочно заинтересовалась твоими перипетиями, и я смею думать, что в случае новых нелепых попыток, направленных против тебя, центр не останется индифферентным. Существенно, что Котляревский встретил весьма теплый отклик в ЦКУБУ; зашевелился также и Союз Писателей, и Академия Худ<ожественных> Наук. Однако, сейчас мы пресекли какие бы то ни было хлопоты, просто за ненужностью оных, но при первом заявлении с твоей стороны можем их сейчас же возобновить. < . > Кондурушкин – в отпуску, где-то на Юго-Востоке, но его жена говорила по телефону с Левушкой <Л. Е Остроумов – *Ред.*> и была чрезвычайно доброжелательна».

[2] В.Д. Шервинский

351. В КРЫМНАРКОМПРОС

2 ноября 1928 г. Коктебель[1]

В Крымнаркомпрос

Поэта Максимилиана Волошина (Коктебель)

Заявление:

В ответ на Ваш запрос (за № 10 860, от 25/X)[2], вызванный материалами, поступившими от т. Луначарского.

Мой дом в Коктебеле (состоящий из мастерской, библиотеки, флигеля и двух пристроек, расположенных на одном акре земли, закрепленный за мной постановлением КрымЦИК'а (номер 03945 от 29 янв<аря> 1925 г.) и рядом охранных грамот за подписями т.т. Калинина, Луначарского, Енукидзе, Сапронова, визированных Крым-Совнаркомом (копии прилагаются), — я не захотел эксплуатировать в свою пользу, сдавая комнаты за плату, а объявил бесплатным домом для поэтов, художников, ученых и их семейств, где каждый из моих малоимущих товарищей по искусству и научным интересам, нуждающихся в летнем отдыхе, может найти приют, даже не будучи моим личным знакомым.

Именно эта *бесплатность* служит постоянным источником недоразумений между мной и местными властями, которые, будучи экономически заинтересованы в сдаче комнат «курортникам», возмущаются существованием моего дома: «В Коктебеле можно было бы расторговаться, если бы не странно-

приимный дом Волошина». И хотя едва ли у кого-нибудь из моих посетителей хватило бы средств на поездку в Крым, не будь моего дома, — они смотрят на меня как на своего конкурента...

Поэтому при каждой смене сельских властей или представителей Курорт-треста делаются попытки реквизировать мой дом, а мне приходится обращаться за помощью в Москву

Этой осенью (6 окт<ября> 1928 г.) Коктебельская комячейка и Кокт<ебельский> ком-бед в порядке «ликвидации ибрагимовщины»[3] постановили реквизировать мой дом («довольно наторговался комнатами за 7 лет, — разжился») и выселить меня из Коктебеля как «нетрудовой элемент», а постановление отправили на утверждение в Симферополь.[4] («А если выселить не удастся, то по крайней мере флигель отберем»).

Сведения эти я имею, конечно, не из официальных источников, но в таком глухом углу, как Коктебель, такое постановление, несмотря на явное превышение власти, составляет реальную угрозу и заставляет заранее искать помощи.

Крым-наркомпрос мог бы мне помочь, если б взял на себя труд разъяснить сельским властям Коктебеля и Курорт-тресту, что, если правительство Республики оказало мне внимание, назначив мне Академическое обеспечение, и доверие, отдав мне мой дом, и если я употребляю этот дар не в своекорыстных целях, а в помощь своим сотоварищам по творчеству, то это отнюдь не является признаком буржуазности («Ишь буржуй — комнаты даром сдает: нашей власти признавать не хочет»), — то, что мое поведение вполне согласно с основными принципами коммунистического строя и что мой дом существует с ведома и одобрения центральной власти.

Постоянная угроза реквизиции и выселения, под которой мне приходится жить из года в год, усиливается еще и оскорбительным для меня недоверием.

Очевидно, никто из местного населения не может допустить, чтобы в коммунистическом государстве мог существовать частный человек, который бы добровольно и вопреки интересам наживы мог руководствоваться в своей жизни экономическими принципами коммунизма и не желал бы торговать принадлежащим ему имуществом принципиально.

Последнее выражается в оскорбительных для меня доносах фининспекции на то, что я содержу «гостиницу», не имея на то патента. Хотя в подлинном характере моего дома так легко убедиться — летом из опроса людей, живущих у меня, а зимой просмотрев подписи их, свидетельствующие, что живут у меня совершенно бесплатно.

Ежели КрымНаркомпрос найдет для себя возможным сделать такое разъяснение Курорт-тресту и Коктебельскому Сельсовету, то прошу копию направить мне, чтобы при новой смене властей не быть принужденным снова просить о такой же услуге.

[1] Текст сохранился в черновом карандашном автографе, беловом автографе и машинописи. Датировка — в беловом автографе (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 62, л. 10–10 об.). Печатается по машинописи.

[2] Этот документ, в котором, в ответ на распоряжение А. В. Луначарского, Крымнаркомпрос запрашивал Волошина о его проблемах и нуждах, не выявлен.

[3] Вели Ибраимов (1888–1928), председатель Крым-ЦИК с 1924 г., был снят со своей должности 28 января 1928 г., исключен из партии, судим вместе с 15-ю сообщниками и 28 апреля приговорен к расстрелу как буржуазный националист.

[4] См. п 345, примеч. 2.

352. ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

2 ноября 1928 г. Коктебель

Всероссийскому Союзу Писателей.

Выражаю Правлению Всероссийского Союза Писателей мою глубокую благодарность за внимание.

Одновременно я получил от Крым-Наркомпроса запрос о моих делах согласно заявлению т. Луначарского (к которому я обратился с ходатайством о защите).[1] Позвольте мне сообщить Вам мой ответ Крым-Наркомпросу с изложением моих недоразумений.

Я надеюсь, что Крым-Наркомпрос исполнит мое ходатайство и что помощь Союза Писателей не понадобится мне,

но думаю, что С<оюзу> П<исателей> небезынтересно будет узнать о характере нападок, которые мне приходится выносить постоянно, почти каждый год.

Примите мою благодарность.

Максимилиан Волошин.
Коктебель 2/XI 1928.

[1] См примеч. 1 к п. 349, п. 349.

353. С. В. ШЕРВИНСКОМУ

10 ноября 1928 г. Коктебель[1]

10/XI 1928. Коктебель.

Милый Сережа, почти две недели сидим мы, не получая никаких писем, никаких сведений о нашем деле. Только сегодня почту точно прорвало: мы сразу получили массу писем (от конца октября и 1 ноября), то есть с опозданием на 10 дней. В том числе твое,[2] которое мы ждали с момента телеграммы и уже собирались писать тебе, что обещанное тобою письмо пропало. Вместе с ним пришли письма и от Вересаева, от Левушки О<строумова>, от Ланна, Марины Б<аранович> и еще много. Словом, сегодня разошлись последние наши сомнения и опасения, которые у нас были, несмотря на все благоприятные прогнозы, благодаря полному молчанию, которое нас окружало последние недели.[3] Еще раз большое наше спасибо всем верным друзьям Коктебеля и особливо дому Шервинских. Передай Василию Дмитриевичу[4] нашу горячую признательность. Но единственное, о чем я попрошу (это не в связи уже с выселением, а для парирования фискальных нападений), это собрать подписи всех друзей Коктебеля, свидетельствующих о бесплатности нашего дома и о нашем бескорыстии в этом деле. Это просто *будет* нужно нам, очевидно, будущим летом. Подписи желательны наиболее авторитетные и засвидетельствованные каким-нибудь учреждением – хотя бы ГАХН'ом или ЦЕКУБУ. Спешу тебе ответить сейчас же по получении письма и поблагодарить через тебя всех друзей.

Привет Лёле,[5] Вас<илию> Дм<итриевичу>, Машеньке, Влад<имиру> Никол<аевичу>[6] и всем домашним.

Макс.
Маруся.

Сегодня от нас уехала О. К. Толстая, а остаются еще Пазухины, Ася и Лид<ия> Вас<ильевна>.[7]

[1] Открытка Почтовые штемпели. Коктебель 11.11.28, Москва 14.11.28.

[2] Письмо С. В Шервинского от 1 ноября 1928 г. (см. примеч. 1 к п. 351).

[3] Ср. письмо к Волошину из Феодосийского районного исполнительного комитета от 9 ноября 1928 г. (за подписями председателя РИК'а Плинокоса и секретаря Зеленского): «До сведения РИК'а дошло, что с Вашей стороны имеется беспокойство, вызванное тем, что Феодосийский РИК якобы обсуждает вопрос о выселении Вас из пределов Крыма. Ввиду чего РИК счел необходимым поставить Вас в известность, что ни в одном из Соворганов нашего района вопрос о Вашем выселении не обсуждался и никакому выселению, как б<ывший> помещик и проч., Вы не подлежите» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 25).

[4] В Д. Шервинский

[5] Е. В. Шервинская.

[6] М. С. Шервинская, В Н. Владимиров.

[7] Р. М. Гинцбург, Л. В. Щепотьева.

354. Е. Л. ЛАННУ

10 ноября 1928 г. Коктебель

10/X 1928. Коктебель.

Дорогой Евгений,

сегодня после долгой изоляции нашей от всех вестей и писем (недели 2) к нам пришла уйма писем — от тебя, Шервинских, Вересаева и т.д.[1] Все они были на 1 ½ недели почему-то задержаны почтой. Спасибо тебе и всем московским друзьям за такое энергичное вмешательство. Ну что же? Вопрос о выселении, очевидно, можно считать ликвидированным? А от мест-

ных властей мы, по-видимому, ничего и не узнаем. Я все-таки прошу тебя об одном: о бумаге, свидетельствующей ясно и четко о *бесплатности* моего дома и о моей материальной незаинтересованности, с рядом авторитетных и веских подписей, засвидетельствованных каким-либо учреждением (ГАХН'ом и Ц.К.У.Б.У?).[2] Это надо на будущее время, как защита от «фискальных» нападений.

За все сделанное благодарю тебя от всей души и крепко обнимаю тебя и Лань,[3] совместно с Марией Степановной.

Сегодняшняя почта окончательно сняла с нашей души последнюю тень омраченности и опасений,[4] и я с тихим наслаждением погружаюсь в свое зимнее книжно-акварельно-стиховое уединение. Очень жду обещанного Вудворта.[5] Только что мы проводили Ол<ьгу> Кон<стантиновну> Толстую, и теперь с нами остается только М. А. Пазухина, которая уезжает через неделю. Спасибо за все.

Макс.

P. S. Мне говорили, что Д. Д. Благой написал обо мне большую статью в какой-то из новых энциклопедий.[6] Где? Не знаешь ли? Нельзя ли через кого достать эту книгу?

М. В.

P. S. Привет Сигиз<мунду> Доминик<овичу>.[7]

[1] См. примеч. 1 к п. 346, примеч. 1 к п. 351. 31 октября 1928 г В В. Вересаев писал Волошину: «...сообщаю, что в Феодосии я из достоверного источника узнал, что ходатайству коктебельской ячейки райкомом дальнейшего движения не дано, а ячейке сделана нахлобучка за незнакомство с советскими декретами и за то, что занимаются не своим делом» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 331, л. 52).

[2] Подготовленное «Коллективное свидетельство о бесплатности дачи Волошина» было подписано только частными лицами. См. примеч. 1 к п. 346.

[3] А. В. Кривцова.

[4] См. примеч. 3 к п. 353. В архиве Волошина сохранился также документ от 15 ноября 1928 г, свидетельствующий: «Крымнаркомпрос, направляя при сем копию заявления писателя Волошина с приложенными к нему охранными грамотами, просит предложить курортресту и Коктебельскому с/с придерживаться директив центра

в отношении имущества тов<арища> Волошина» (ИРЛИ, ф 562, оп. 4, ед. хр. 59, л 22).

[5] См примеч. 7 к п. 346.

[6] Упоминаемая статья Д Д. Благого неизвестна.

[7] С.Д. Кржижановский

355. К. М. ЗЕЛИНСКОЙ

18 ноября 1928 г. Коктебель[1]

18/XI 1928.

Милая Кина Михайловна,

Спасибо за Ваше прекрасное, такое дружеское письмо и за геометанические лекарства.[2]

Ася[3] уезжает на 2 недели в Москву и расскажет Вам о нашем осеннем житье-бытье. Дело о нашем выселении очевидно ликвидировано окончательно дружными усилиями друзей.

Привет Каю и Корнелию Люциановичу.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели

[2] Имеется в виду письмо К. М. Зелинской к Волошиным от 6 ноября 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 566, л 2–3 об.).

[3] Р. М Гинцбург. В упомянутом письме Зелинская спрашивала: «Ну а как Ася? Мучает ли она Вас или собирается уезжать?».

[4] К. К Зелинский (сын К. М и К Л. Зелинских) и К. Л Зелинский.

356. Т. Д. ЦЕМАХ

18 ноября 1928 г. Коктебель[1]

18/XI 1928. Коктебель.

Милая Татидушка,

спасибо за хорошее письмо.[2] Это письмецо – аквар<ель> тебе передаст Ася,[3] которая едет в Москву на 2 недели. Она расскажет о нашей осенней жизни. Мы до сих пор еще не остались в

зимнем уединении: гости еще продолжают к нам наезжать и работа моя стиховая, зимняя еще не началась. Стихи, что ты прислала, мне очень понравились. Не помню, при тебе ли начались наши осенние неприятности:[4] местн<ые> власти постановили нас выселить из Коктебеля «как помещиков» и наше имущество реквизировать. Но теперь дружным натиском моск<о>в<ских> друзей и несколькими наркомьими телеграм<м>ами это ликвидировано и сделан выговор за превышение власти.

Тарловского стихи мне очень нравятся, но его самого я совсем не помню по Одессе.[5]

Спасибо и огромное за «Четки».[6] Маруся тебя приветствует лежа в постели. Потому что уже поздно. Крепко тебя обнимаю.

Макс.

Адрес служебный: Микробиологический Институт. Малая Пироговская, д. 57.[7]

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «M W 30 IX 1928».

[2] Имеется в виду письмо Т.Д. Цемах из Москвы от 10 ноября 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1259).

[3] См. примеч. 3 к п. 355.

[4] Пребывание Цемах в Коктебеле в 1928 г. документируется двумя надписями Волошина на акварелях: «Милой, доброй и бесконечно деликатной Татиде Макс» (15 августа); «Дорогой Татиде – верной, доброй и незлобивой. Макс» (21 августа) (РГАЛИ, ф. 102, оп. 3, ед. хр. 10).

[5] В упомянутом письме Цемах сообщала Волошину: «Вчера, в Союзе поэтов, где читал свои стихи Тарловский, встретила Г.А. Шенгели и Нину Леон<тьевну> <Манухину. – *Ред.*>. Как прекрасны стихи Тарловского! Такие полновесные, подлинные! Он производит прекрасное впечатление. Я ушла совсем очарованная. Ты помнишь, он был самым молодым из кружка одесских поэтов? Удивительно, как они выросли! Это целая плеяда талантливых писателей: Олеша, Багрицкий, Катаев, Иркутов».

[6] Книга стихов Анны Ахматовой (1914); последнее, 9-е издание – Берлин: Петрополис; Алконост, 1923.

[7] Московский адрес Цемах (для передачи акварели с оказией).

357. Е. К. ГЕРЦЫК

19 ноября 1928 г. Коктебель

19/XI 1928. Коктебель.

Дорогая Евгения Казимировна,

посылаю Вам ряд рекомендательных акварелей к моим кисловодским друзьям,[1] которых Вы, быть может, уже и знаете, потому что круг наших знакомых с Бодянским – один. Не зная Вашего адреса – посылаю на их имя. Спасибо большое за книги, привезенные Валер<ией> Дмитриевной.[2] Она у нас пробыла 5 дней, к нашей большой и общей радости. Мы очень ее все полюбили, узнавши ближе. Коктебель опустел. Но гости у нас не иссякают. После В. Д. гостила неделю Ол<ьга> Кон<стантиновна> Толстая. Наша история с выселением окончилась благополучно, и местные власти получили очевидно нахлобучку «за превышение власти»[3], а я извинения. Вмешательство наших московских друзей и несколько телеграмм свыше возымели свое действие сразу. Напишите, как Вы устроились и как чувствуют себя Ваши больные в Кисловодске.[4] Мои письма адресованы к тем, кого я особливо полюбил за прошлую зиму. Вы найдете прекрасных людей вокруг себя. Привет Евг<ении> Антоновне, Любовь Алекс<андровне> и Веронике.[5] Всего-всего лучшего на новоселье.

Макс.

[1] Ответ на просьбу Е. К. Герцык, высказанную в письме от 15 октября 1928 г.: «... знаю, что у Вас образовались хорошие отношения с разными людьми в Кислов<одске>, и была бы Вам благодарна, если бы Вы мне дали к кому-ниб<удь> записочку. В чужом месте так нужны друзья друзей» (*Сестры Герцык*. Письма. СПб.: ИНАПРЕСС; М.: Дом музей Марины Цветаевой, 2002. С. 567). 16 декабря 1928 г. Е. К. Герцык откликнулась на эту присылку Волошина: «...как только я получила Ваши первые "рекомендательные" акварели через Бодянских, меня как-то так необычайно, совсем по-новому пронзили они – потому ли, что они так неразрывно связаны с утраченным Крымом <...>. Не знаю, но только я как никогда полюбила Вас, живописца» (*Герцык Евгения*. Лики и образы. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 517).

[2] В.Д. Жуковская. В своем письме Е.К. Герцык просила Волошина: «...Валерия Дм<итриевна> в виду предстоящих нам трудностей на новом месте и тесноты решила на эту зиму ехать на Север. <...> Не найдется ли у Вас среди Ваших гостей добрый человек, кот<орый> взялся бы ее довезти до Москвы» (*Сестры Герцык*. Письма. С. 566). См. также п. 363, примеч. 4.

[3] См.: примеч. 1 к п. 354.

[4] Е.К. Герцык сообщала Волошину о Л.А. Жуковской и Е.А. Лубны-Герцык: «Вы понимаете, как с моими двумя больными (Люб<овь> Ал<ександровна> на носилках, Е<вгения> Ант<оновна> слабая) трудно...» (Там же). 17 ноября 1928 г. Е.К. Герцык сообщила Волошину: «Все совершилось благополучно для больных моих, и здесь мы в хороших условиях...» (*Герцык Евгения*. Лики и образы. С. 516).

[5] Е.А. Лубны-Герцык, Л.А. Жуковская, В.В. Герцык.

358. А.П. ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ и С.В. ЛЕБЕДЕВУ

26 ноября 1928 г. Коктебель

26. XI. 1928,
Коктебель.

Дорогие Анна Петровна и Сергей Васильевич, только теперь, когда, наконец, наш дом опустел окончательно, и для нас началась длинная зимняя идиллия — зимовка вдвоем за полярным кругом — есть, наконец, возможность письменно снестись с далекими друзьями. О вас обоих мы очень волновались летом, когда приходили такие страшные и смутные слухи о твоем здоровье, Сергей Васильевич.[1] Но в то время и писать было некуда — никто не знал вашего адреса. А потом, когда мы узнали, что все окончилось благополучно, и что вы в Кисловодске — нам было не до писем самим. Конечно, у нас не было в жизни ничего равносильного в смысле трагизма и угрозы, но этот год весь был на редкость полон неприятностей, которые начались у нас тотчас же после нашего весеннего возвращения из Кисловодска.[2] Весна и первая половина лета была для нас полна человеческих неприятностей. Это началось сперва с Андерсами,[3] которые зимовали с нами.

Прожив у нас 2 года и, казалось, так дружественно, — они стали нас неожиданно упрекать в том, что мы не оправдали их ожиданий, что мы скупы, что мы эгоистичны, что это дом лицемерия и т. д. Казалось, после этого им нельзя было оставаться у нас ни минуты, но они жили до мая месяца, а потом переселились рядом на дачу и все лето продолжали восстанавливать разных людей против нас. Все это было очень тяжело и заставляло нас дышать атмосферой московс<кой> уплотненной квартиры и городских дрязг. Они восстанавливали против нас Ольгу Андр<еевну> Юнге, потерявшую в этом году своего мужа,[4] и многих других. Лето было людно. Многолюднее прошлого на сто человек (625 за лето). А осенью обнаружилась вражда к нам соседей за «бесплатность» нашего дома. Она выразила<сь> постановлением местного «Комбеда» о реквизиции нашего имущества и выселении нас из Коктебеля.[5] «Довольно наторговались комнатами — разбогатели». В этом недоверии к нашей жизни — достаточно открытой — в этом злостном непонимании наших целей было нечто глубоко обидное и однородное с тем, что весною шло от Андерсов. Между этими двумя историями нет никакой логической и фактической связи, но они однородны и психологически, конечно, связаны. Фактически все это не имеет никаких последствий. Московские друзья, прознав про угрожающие нам беды, проявили большую энергию, вызвали ряд телеграмм из центра, которые сразу предотвратили все.[6]

Но горечь и отчуждение за самую возможность этого остаются невольно. Я помню, как я тебе писал еще весною о начале Андерсовских историй и твое прекрасное письмо в ответ на мое.[7] Оно было той дружеской поддержкой, которая дала нам возможность бодро перенести это лето, не доходя до состояния полного нервного переутомления.

Кроме того, если уже перечислять, все наши малые несчастья этого года: нас еще и обокрали: унесли, забравшись в комнату, где я спал ночью, все наши теплые домашние вещи.

Но, кроме того, есть и радости: мои акварели продаются на выставках. В этом году они были проданы на всех выставках, где я ни выставлял, т.е. в Феодосии, Севастополе, Одессе[8] — всего 8 акварелей на 170 руб. По нынешним временам —

это очень много. А главным образом меня радует самый факт продажи.

Это лето принесло нам и несколько новых друзей и прекрасных людей.

Совершенно новым человеком была Александра Анатольевна Великанова (живущая теперь в СПБ). Прекрасный, тонкий, редкого душевного такта человек, с которой мы очень сошлись дружески. Другим очень для нас милым человеком была Зоя Лодий, которая жила у нас почти все лето.

Очень не хватало нам этим летом тебя и Сер<гея> Вас<ильевича>. Мы надеялись, что по дороге из Кисловодска вы к нам заглянете. Ведь Сергей Васильевич всегда так хорошо себя чувствовал в Коктебеле.

Очень чувствовалось нами тоже отсутствие Златогоровых.[9]

Из новых лиц осенью у нас жили: пр<офессор> Шервинский (отец), проф<ессор> А. И. Яроцкий, С. А. Котляревский с семьей, поэт Вс<еволод> Рождественский, д<окто>р Обакевич, что давало иногда очень интересные и страстные беседы и диспуты. Были возобновлены и поэтические состязания, как при Брюсове.[10] Именинный спектакль не в пример прошлым годам прошел менее удачно. Много было вложено старания и таланта, но не было ни одного режиссера, который бы заострил и расположил архитектурно весь этот сырой материал.[11] (Гуна уехала за неделю до именин,[12] а Сережа Шервинский приехал с отцом уже после). Все остальные, верные Габричевские[13] и вся их компания, были налицо, и все оставались сами собой + некоторое общее утомление, которое сказывается на всех за эти годы.

Сегодня пришел от тебя перевод на 30 р.[14] Это, очевидно, лотерея на мои акварели, что захватил с собою Саша Сомов? Спасибо. Они как нельзя более кстати: нам приходится вновь обзаводиться целым рядом зимних вещей, украденных летом, и эти деньги вместе с деньгами за проданные акварели нам позволят возобновить все необходимое.

Ожидаются ли в СПБ выставки этой зимой, куда можно послать работы?[15] Этим летом Барсамов просил меня просить тебя о том, чтобы ты не отказалась принять участие в Феодосийск<ой> выставке, теперь ежегодно повторяющейся

(с июля по октябрь). Но это было в эпоху болезни Сергея Васильевича, и потому только теперь передаю тебе это приглашение.

Маруся сама тебе будет писать завтра.[16] Крепко обнимаю Серг<ея> Васильевича и радуюсь, что летняя катастрофа разрешилась так благополучно.

Какова сейчас судьба его изобретений и открытий?[17]

Макс.

[1] Речь идет о перенесенной С. В. Лебедевым срочной операции по поводу непроходимости кишечника. Более подробно об этом см.: *Остроумова-Лебедева А.П.* Автобиографические заметки. Т. III. М.: Центрполиграф, 2003. С. 99–105. А. П. Остроумова-Лебедева откликнулась в письме от 29 декабря 1928 г.: «Сергея Васильевича здоровье – недурно, он даже лучше выглядит, чем в прошлом году. Да этот урок ему был очень на пользу. Сейчас он больше бережет свои силы, не надсаживается так безрассудно» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 47).

[2] Волошины вернулись из Кисловодска 23 марта 1928 г. (См.: Труды и дни-2. С. 379).

[3] В. П. Андерс и А. К. Щукина. См. п. 269.

[4] Ф. Э. Юнге.

[5] См. п. 346.

[6] См. примеч. 1 к п. 354.

[7] См. примеч. 2 к п. 280.

[8] Речь идет о выставках 1928 г., организованных Художественным Обществом имени К.К. Костанди в г. Одессе (Волошин выставил – 15 акварелей; каталог выставки см.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 4, ед. хр. 45) и Севастопольской Ассоциацией Художников (там же, л. 4); выставке в Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского (выставлено – 16 акварелей) (см.: Труды и дни-2. С. 391).

[9] С. И. и Т. Р. Златогоровы.

[10] Речь идет о пребывании В.Я. Брюсова в Коктебеле летом 1924 г. См.: Труды и дни-2. С. 232–249. См. также п. 116, примеч. 11.

[11] В 1928 г. к именинам Волошина 17 августа был разыгран «театр китайских теней». См.: Труды и дни-2. С. 394.

[12] К. П. Девлет-Матвеева.

[13] А. Г. и Н. А. Габричевские.

[14] Речь идет о почтовом переводе на 30 р., высланном А. П. Остроумовой-Лебедевой Волошину 21 ноября 1928 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 46).

[15] Остроумова-Лебедева в ответном письме от 29 декабря 1928 г. сообщала Волошину о выставке «16», «кот<орую> рассчитывали устроить в конце февраля», и спрашивала: «Хотите ли Вы на ней участвовать. Напишите мне, и я поговорю с президиумом» (Там же, л. 47 об.).

[16] Упоминаемое письмо М. С. Волошиной неизвестно. См.: Труды и дни-2. С. 406 (26 ноября).

[17] В письме к М. С. Волошиной от 15 мая 1928 г. А. П. Остроумова-Лебедева рассказывала: «Зима у нас прошла в очень большом напряжении и волнениях, которые и теперь еще не кончились. Причиной всего каучук, который Серг<ею> Вас<ильевичу> удалось добыть и с которым он выступил на конкурсе. До января была бешеная работа в лаборатории, ни одного дня, ни одного часа не должно было потерять <...>, но все сошло благополучно, каучук появился на свет – 5 фунтов <...>, и он был послан на конкурс под дивизом "диолифин". На конкурсе <...> только каучук С. В. был признан достойным практ<ически>. И вот с этого момента начинаются наши несчастья. Нашлись негодяи (два из работавших у С. В., муж и жена), которые заявили, что они авторы этого каучука. Они рассчитывали на свою безнаказанность ввиду больших своих связей. И вот эта история тянется с января месяца, и до сих пор ничего не выяснено» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 220, л. 9 об.). В ответном письме Волошину Остроумова-Лебедева сообщала: «История с авторством окончилась. Арбитражная комиссия признала за ним <С. В. Лебедевым. – *Ред.*> авторские права, а не за тем другим. И выразила ему полное доверие...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 920, л. 47 об.).

359. Ю. Н. ТЮЛИНУ

30 ноября 1928 г. Коктебель

30 XI 1928. Коктебель.

Дорогой Юрий, прости пожалуйста, что молчал так долго. Коктебельский Дом долго, долго еще не пустел. Собственно только с 23/XI мы остались совсем в одиночестве,[1] и вся осень была полна разными беспокойствами относительно дома и нашего принудительного выселения из Коктебеля. Ты, вероятно, уже знаешь, что местная комъячейка постановила наше имущество реквизировать, а нас выселить из Коктебеля как помещиков. «Довольно наторговались комнатами –

разбогатели». Московские друзья всполошились, действовали дружно, и в результате последовал ряд внушений из Москвы и полная ликвидация этого предприятия в самом зародыше. Но нам пришлось долго волноваться, писать письма разные, неинтересные и официальные. Теперь все это разошлось. Очевидно, все, кому надо, получили соответственные выговоры.

Сейчас наш дом опустел. Даже Ася уехала в Москву по вызову матери.[2] Говорит, что на 2 недели, но думаю, что пробудет значительно дольше. Осталась только Лидия Васильевна[3] и мы.

Вот исправления строчек.[4]

«Знак "Made in Germany" – клеймо "Романов"». (Но это место я вообще вычеркнул).[5]

«Царица из солдатских *портомой*». (Екат<ерина> I.)

Желвак От-Цу. (Имя того японского городового, который покушался на жизнь Н<иколая> II, во время его путешествия наследником).[6] У Н<иколая> II всю жизнь оставался желвак на черепе, который было строго воспрещено изображать на портретах.

Мне стыдно, что эти чисто технические исправления я до сих пор не собрался тебе сообщить.

Твой Макс.

[1] 23 ноября из дома Волошина уехала семья Пазухиных (Труды и дни-2. С. 405).

[2] Ася (Р. С. Гинцбург) уехала в Москву 19 ноября (Там же).

[3] Л. В. Щепотьева.

[4] Исправления в тексте поэмы Волошина «Россия» (1924). См.: Т. 1 наст. изд. С. 371, 369, 372.

[5] В авторизованной машинописи, служащей основным источником текста поэмы «Россия», цитируемая строка сохранена.

[6] Неточное пояснение. От-Цу (Оцу) – город в Японии, в котором 29 апреля / 11 мая 1891 г. на наследника престола, будущего Николая II, было совершено покушение: полицейский Цуда Сандзо нанес цесаревичу саблей несколько ран (приговорен к пожизненному заключению).

360. Ю. Л. ОБОЛЕНСКОЙ

Ноябрь 1928 г. Коктебель

Милая Юлия Леонидовна,

посылаю Вам серию акварелей для Жар-Цвета – заранее.[1] Заглавия для них стихотворные. Они написаны на оборотной стороне каждой акварели, но для удобства каталога выписываю их здесь на отдельном листе. А для серии маленьких акв<арелей>, что Вы увезли, пусть остается то же имя, что дала им Маруся – их хозяйка: «*Коктебельские ковырлючки*».

Итак, вот список:

1). Сквозь прозелень вечерней тишины
В оправе гор мерцающие воды.
2). Внезапный снег опорошил холмы
И плеши гор на склонах Карадага.
3). Морская зыбь и водопад холмов.
4). Ртутный отблеск и сиянье
Оссиановых ночей.
5). И земля, и небо, и заливы
Угасают в желтой тишине.
6). Стеклянная прозрачность пре<д>вечерий.
7). Осень пишет тонкой кистью дали.
8). Вечерним облаком озарены заливы.
9). Осенних сумерок лиловые миражи.
10). В желтых закатах заливы... заливы...
<Башни и > стены былых городов.
11).* < >
12). Тень облаков, бегущих над заливом.
13). В лунном зеркале арабской сказки
Очертанья стен и куполов.
14). Солнце гудело как шмель, упоённый
Зноем, парами и запахом трав.
15). Стена размытого вулкана
Как воздымающийся храм.
16). Заливы гулкие земли глухой и древней.

* *Край листа с текстом оторван*

17). По картам здесь и город был, и порт.
18). Эти пределы священны уж тем, что однажды под вечер
Пушкин на них поглядел с корабля по дороге в Гурзуф.[2]

Всего посылаю 18 акварелей. Предчувствую, что К<онстантин> В<асильевич>[3] будет ворчать, что так много стихов надо печатать в каталоге. Но ничего не поделаещь. Моя акварель и ее смысл становятся понятны, когда в то время, как смотришь, звучит в памяти стих. А надпись на лице пачкает акварель. Обнимаю его с нежностью. Привет Ек<атерине> Иван<овне> и Феод<ору> Конст<антиновичу>.[4]

Максимилиан Волошин.

[1] Высланные работы предназначались для выставки Общества художников «Жар-Цвет» (см.: Каталог выставки 1929 Общества художников «Жар-Цвет». М., 1929); она открылась в Москве в помещении клуба Нарпит 19 мая 1929 г., на ней экспонировались акварели Волошина (из приведенного ниже списка, согласно каталогу, – 5, 6, 7, 17).

[2] Надпись 17-я – первая строка сонета «Каллиера» (1926; Т. 1 наст. изд. С. 175). Надпись 18-я выделена Волошиным как самостоятельное стихотворение под заглавием «Коктебельские берега» (Т. 2 наст. изд. С. 77). Другие заглавия приводимого списка воспроизводятся под рубрикой «Надписи на акварелях» (Там же. С. 575–597).

[3] К. В. Кандауров.

[4] Е. И. Оболенская, Ф. К. Радецкий.

361. В. Д. ЗЁРНОВУ

1 декабря 1928 г. Коктебель[1]

1/XII 1928. Коктебель.

Дорогой Владимир Дмитриевич,

простите, что я так долго не исполнял Вашей просьбы об автографе для С. Н. Блажко: меня задержала фотография, которую я хотел приложить.[2] Посылаю Вам и то и другое. Эта осень

была тревожна, т<ак> к<ак> местные власти собирались меня выселять из Коктебеля и реквизировать мое имущество. Но это все удалось ликвидировать вмешательством из Москвы. Спасибо еще раз за Гельмгольца и Хвольсона.[3] Пишу Вам на акварельке, чтобы рассказать об ноябр<ь>ском Коктебеле.

Максимилиан Волошин.

[1] Текст на обороте акварели.

[2] 26 сентября 1928 г. В.Д. Зернов писал Волошину: «На днях я виделся с проф. С.Н. Блажко и рассказывал ему о нашей встрече в Коктебеле. Сергей Николаевич просил меня обратиться к Вам с просьбой прислать для Московской Обсерватории Ваше стихотворение “Памяти В. К. Церасского”. Хотелось бы иметь там это стихотворение, написанное Вашей рукой – оно будет храниться на Обсерватории и к нему, если Вы позволите, будет приложена Ваша карточка» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 571).

[3] Имеются в виду кн.: *Зернов В.* Гельмгольц. М.; Л.: ГИЗ, 1925 (сохранилась в библиотеке Волошина); *Хвольсон О.Д.* Физика наших дней. Новые понятия современной физики в общедоступном изложении. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928.

362. М.Д. СЕМЕНОВУ-ТЯН-ШАНСКОМУ

2 декабря 1928 г. Коктебель

2/XII 1928. Коктебель.

Дорогой Михаил Дмитриевич, мне очень совестно, что я так долго задержал свой ответ на Вашу присылку. Я Вам объяснял в открытке строй моей жизни.[1] Одна половина года (лето и осень) у меня целиком уходит на текущих людей. В это время у меня нет физической возможности вести переписку и общаться с людьми, не живущими у меня. Мой день так разобран по минутам, что нет свободного мгновенья присесть за письменный стол.

Поздней осенью народа становится меньше, но в этом году начались снова административные неприятности, возвращающиеся время от времени. Местные власти вынесли постановление о конфискации моего имущества и о выс<е>-

лении меня из Коктебеля. Курьез: мой дом (я живу здесь уже 35 лет) мне (вероятно, как писателю) оставили и утвердили за мной. Но т<ак> к<ак> я превратил его в бесплатное убежище для поэтов, художн<иков> и ученых, то эта *бесплатность* кажется местным людям явной контрреволюцией. Пришлось хлопотать, писать, и это дело сейчас уже ликвидировано. Вот почему я так долго не мог ответить Вам.

Дневники Леонида Дмитр<иевича>[2] я прочел еще летом, по ночам урывками. Так они были интересны для меня. А сейчас снова перечел их целиком одним глотком. Они дают впечатление большой художественной и трагической цельности. В самом начале сектантские приемы письма несколько затрудняют подход, а уже в середине они становятся худож<ественно> необходимыми. Просто эти слова о «грешном брате» — не вполне вяжутся с возрастом и характером рассказчика — той эпохи. Я говорил Вам, что, зная многое о Вашем брате, я только мельком однажды видел его самого раз на Невском, не незнакомо мне было тоже имя «сестры Маши»,[3] о которой както мне говорил Григорий Петров. Но эти мимолетные упоминания и мгновенные встречи сразу мне освещали изнутри действующих лиц. В душевной истории Вашего брата я видел невольно символический образ лучшей части последнего поколения русск<ой> интеллигенции и его гибель во время революции. В символистах рядом с разложением духовным и эротическим экспериментом был и этот аскетический элемент (пример — Александр Добролюбов*). Но в судьбе Леонида Дмитриевича повторяются как бы судьбы всей русской молодежи от 70-х годов, через толстовство[4] до гибели во время революции. Через все записки проходит трагическая цельность русской жизни. Последние страницы, относящиеся к 17-му году, когда круг все суживается, каждым словом ведут к последней развязке. Последняя запись ведь, судя по дате, относится к самому дню его гибели.[5] Он уже готов для смерти. Самая недосказанность художественно необходима. Но все-таки мне хотелось бы знать подробно обстоятельства его смерти? Эту осень у нас гостила Ольга Константиновна Толстая

* (Б<ыть> м<ожет>, Эллис?) (*приписано под текстом*)

(сестра Анны Конст<антиновны> Чертковой, жена Андрея Львовича[6]). Я позволил себе дать ей прочесть дневник Л. Д. Она хорошо помнит Леон<ида> Дм<итриевича> во время его приходов в Ясную[7] и была потрясена Записками и спрашивала, есть ли список этого дневника в Толстовском Музее. Я ей ничего не мог ответить, но сообщил ей Ваш адрес, Михаил Дмитриевич.

Мне очень трудно сказать Вам о тетради Ваших стихов.[8] Когда-то, когда для меня еще была открыта возможность печататься, я занимался литературной критикой и писал о стихах. Тогда у меня были свои критерии и наметан взгляд. Но вот уже 16 лет как я живу вне этого. Я вижу мало стихов и выбираю из них только немногие для своей интимной потребности. С этими отдельными строфами, а иногда строками, я не расстаюсь и читаю их постоянно и друзьям и про себя. Но этот критерий слишком строг, капризен и несправедлив. И я не смею подходить с ним к стихам, мне присланным для оценки. Ваши стихи говорят о поэте, владеющем и стихом и мыслью и чувством, но ни одно не осталось со мною и не твердится мною наизусть. Если бы они были написаны мною, то я бы на них смотрел как на черновой материал, из которого можно создать много хорошего, но многими переплавками и долгой чеканкой.[9] Мне бы очень хотелось обо многом поговорить с Вами лично, и я был бы очень рад, если бы Вы заехали как-нибудь ко мне в Коктебель погостить (лучше весною или позднею осенью, когда меньше людоворот).

Я очень благодарен Вам, Михаил Дмитриевич, за то, что Вы выбрали меня для того, чтобы сообщить мне эти драгоценные страницы дневника Вашего брата. Позволите ли Вы сохранить эти тетради в моем архиве или переслать их в Толстовский Музей? (Между прочим – знаете ли Вы, что во второй тетради отсутствуют начальные страницы?).[10]

Позвольте мне в ответ послать Вам несколько моих стихотворений последних лет, которые прошу сообщить тоже Вашему дяде Андрею Петровичу[11] вместе с моим приветом.

Максимилиан Волошин.

[1] См. п. 341, примеч. 1.

[2] Машинописный текст автобиографического произведения Л. Д. Семенова-Тян-Шанского «Грешный грешным» сохранился в архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1457). Впервые Записки Семенова опубликованы З. Г. Минц и Э. А. Шубиным (ч. 1 – Труды по русской и славянской филологии. XXVIII. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 414). Тарту, 1977), С. Б. Бураго (ч. 2, 3 – Collegium. 1993. № 2) и В. С. Баевским (Русская филология. Ученые записки Смоленского гуманитарного ун-та. Смоленск: Траст-Имаком, 1994); вошли в кн.: *Семенов Леонид.* Стихотворения. Проза / Издание подготовил В. С. Баевский. М.: Наука, 2007. С. 249–344 («Литературные памятники»).

[3] Мария Михайловна Добролюбова (1880–1906) – сестра А. М. Добролюбова; сестра милосердия в русско-японскую войну 1904–1905 гг., участница революционного движения. Послужила прообразом героини повести Л. Семенова «Проклятие» (1907). См. о ней: *Азадовский К.М.* Александр Блок и Мария Добролюбова // Ал. Блок и революция 1905 года. Блоковский сборник VIII (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 813). Тарту, 1988. С. 31–50; *Святловский Глеб.* «...Сестра Петербурга» (Крупицы жизни Марии Добролюбовой). СПб., 2000.

[4] См.: *Сапогов В.А.* Лев Толстой и Леонид Семенов (Об одном корреспонденте Л. Н. Толстого) // Ученые записки Ярославского гос. пед. ин-та и Костромского гос. пед. ин-та. Вып. 20. Филологическая серия. Кострома, 1970. С. 111–128; *Баевский В.С.*, *Романова И.В.* Лев Толстой и Леонид Семенов (По неопубликованным материалам) // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2004. Т. 63. № 5. С. 40–48.

[5] Л. Семенов был убит крестьянами-бандитами 13 декабря 1917 г. Именно этим днем датирован последний фрагмент в его записках «Грешный грешным» (*Семенов Леонид.* Стихотворения. Проза. С. 341–344).

[6] Граф А.Л. Толстой (1877–1916) – сын Л. Н. Толстого, служащий тамбовского Крестьянского банка.

[7] Л. Семенов посещал Л. Н. Толстого в Ясной Поляне 22 июня и 18 сентября 1907 г., 14–18 апреля 1908 г., 27 октября – 1 ноября 1909 г., а также 18 сентября 1909 г. в Москве в Хамовниках (Леонид Семенов: хронологическая канва / Сост. В. С. Баевский // *Семенов Леонид.* Стихотворения. Проза. С. 557–559).

[8] Подборка стихотворений (1919–1922) М.Д. Семенова-Тян-Шанского сохранилась в архиве Волошина (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1458, 154 лл.).

[9] «Ваш приговор о моих стихах, – писал Семенов-Тян-Шанский Волошину 18 декабря 1928 г., – поразил меня суровостью. Итак,

я только черновой набросок Ваших стихов и требую дальнейшей обработки и чеканки. Не жестоко ли это? О, как бы мне хотелось слышать от Вас те строфы и те строки, которые доходят до Вас и которые остаются в Вашей памяти, чтобы знать, что же нехватает моим стихам. Иначе Ваш приговор о моих стихах не может быть убедительным» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1099).

[10] Семенов-Тян-Шанский отвечал в том же письме: «Что касается рукописного наследства брата, — то все, что удалось собрать написанного его рукою, находится у меня. Я постарался размножить его последнюю наиболее цельную вещь, — но она не вся, брат думал о трех частях, — третью ему написать не удалось. То, что имеется у Вас, я лично передал в Толстовский Музей в Москве с условием ничего не печатать без моего ведома, — то, что у меня остается, думаю передать после моей смерти в Пушкинский Дом. <...> Рукописи, которые я прислал Вам, да останутся у Вас».

[11] А. П. Семенов-Тян-Шанский (1866—1942) — биолог, энтомолог, журналист.

363. Е. К. ГЕРЦЫК

3 декабря 1928 г. Коктебель

3/XII 1928.

Милая Евгения Казимировна,

получил Ваше письмо от 17/XI.[1] Оно разошлось с моим,[2] которое я отправил на имя Бодянских,[3] не имея Вашего адреса. Вы его верно получили. Там рекомендательные строки ко всем моим кисловодским друзьям, которые могут быть Вам интересны и полезны. Спасибо большое за книги — и франц<узские>, и итальянские, которые здесь найдут и приют, и читателей.[4]

Посылаю всем экстапированным по акварели для помощи в минуты Сурожской ностальгии.[5] Пребывание Валерии Дмитриевны у нас было большою радостью для всех.[6] Как она добралась до Москвы? Мы ничего от нее не имели оттуда. Нас оставили в покое в смысле выселения.[7] Напишите о кисловодских наших друзьях, когда познакомитесь с ними.

Макс.

[1] См.: *Герцык Евгения.* Лики и образы. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 516–517.

[2] См. п. 357.

[3] П. В. и М. А. Бодянские.

[4] В письме от 17 ноября 1928 г. Герцык извинялась перед Волошиным: «Я еще до сих пор не успела извиниться перед Вами за кипу книг, посланных Вам. Мы рассовывали и раздавали, кому могли, оставшиеся книги, но я не могла допустить, чтобы поэты пошли на подтопку печей, и потому решила просить Вас принять их в свою библиотеку – у Вас кто-ниб<удь> когда-ни<будь> заглянет и в итальянские книги» (Там же. С. 517).

[5] Имеется в виду ностальгия по Крыму, в том числе Судаку, русское название которого – Сурож.

[6] О В. Д. Жуковской Герцык писала Волошину: «Горячую благодарность шлем Вам и Марии Степановне за глубокое радушие по отношению к Валерии Дмитриевне. Мы получили от нее два письма, и в них отразилось то, как ей глубоко внутренне хорошо было у Вас. И Вы, и жившие у Вас друзья окружили ее таким теплом, а она обостренно чувствует это» (Там же. С. 516–517).

[7] См. п. 346.

364. Е. С. КРУГЛИКОВОЙ

4 декабря 1928 г. Коктебель[1]

4/XII 1928. Коктебель.

Дорогая Елизавета Сергеевна,

дошли до нас слухи, что СПб-ские коктебельцы обеспокоились нашими тревогами. Да, действительно, тревога была. Но уже все ликвидировано. Деревенский совет пытался реквизировать наш дом и нас выселить из Коктебеля, но, благодаря вмешательству моск<овских> друзей, вызвавших несколько телеграмм от наркомов, им было разъяснено, что невзимание платы за комнаты не есть ни контрреволюция, ни признак буржуазности. Теперь все успокоилось. Это лето было чересчур людно (600 человек!) и отмечено самыми неожиданными и нелепыми столкновениями с людьми, которые покидали наш дом поссорившись (Андерсы м<ежду> п<рочим>). Это было очень грустно. Нат<аша> Га<б>ричев<ская> писала, что

у тебя при ней было объединение стар<ых> коктеб<ельцев> с новыми.[2] Кто же у тебя был из новых? Из новых людей (не говорю о Матвеевых[3]) мне была очень мила и близка Александра Анатольевна Великанова. Мне бы очень хотелось, чтобы ты с нею познакомилась. Можно ей написать, чтобы она созвонилась бы с тобою? Передай, пожалуйста, Матвеевым два прилагаемых акварельных привета и Надежде Александ<ровне>[4] тоже. Видаешь ли ты Павловскую?[5] Как ее здоровье? (А также и отчество: Валентина ... ?) Видала ли ты у Матвеева бюст (воск), который он лепил с меня? Что он думает с ним делать? Он хотел его высечь из дерева в большом размере. Пожалуйста, узнай у него.[6]

Крепко обнимаем вместе с Марусей.

Макс.

P. S. Как твое положение в Академии?[7] – Есть ли виды на Париж.

[1] Текст на обороте акварели. Помета. «MW 24 XI 1928».

[2] 16 октября 1928 г. Н. А. Габричевская писала Волошину: «Я уже три дня в Москве, ездила в Питер. Видела всех от самых старых кокт<ебельцев> до новейших. У Елиз<аветы> Сер<геевны> было слияние и очень хорошо обошлось, все более и менее друг другу понравились. Мне это было страшно приятно» (ИРЛИ, ф. 562, оп 3, ед. хр. 381, л. 51). В ответном письме от 9 декабря 1928 г. (Там же, ед. хр. 717, л. 41–42 об.) Е. С. Кругликова сообщала: «Приезд Нат. Габр<ичевской> был лучезарным праздником. Собирались и у меня, и у Анны Петр<овны> <Остроумовой-Лебедевой. – *Ред.*>, и у Матвеевых, и у Великановых».

[3] А. Т. Матвеев и его жена, художница Зоя Яковлевна Матвеева (урожд. Мостова; 1895–1972) жили у Волошина в Коктебеле с 6 июля по 22 августа 1928 г. (Труды и дни-2. С. 390, 395).

[4] Н. А. Мезенцева-Норовлева.

[5] Валентина Константиновна Павловская. В письме от 9 декабря Кругликова сообщила о ней: «Как раз вчера вечером она была у нас <...> восхитилась твоими акварелями, которые мне принесли из Аничк<ова> дворца с выставки в пользу Крыма <...>».

[6] Над бюстом Волошина Матвеев работал в Коктебеле в августе 1928 г. Кругликова отвечала 9 декабря: «Бюст твой Ал<ександр> Тер<ентьевич> хочет отлить из бронзы, но бронзовщик так загружен работой, что еще не мог приняться за это».

[7] Подразумевается Академия художеств. В 1922—1929 гг. Кругликова была там профессором полиграфического факультета, руководила обучением технике офорта. 9 декабря Кругликова отвечала Волошину: «Мои занятия в Академии начались в этом году только с прошл<ой> недели, все ждали каких-то утверждений из Москвы Таким образом у меня был отдых полтора года. Отдых главным образом от заседаний и зачетов, а преподаванием я все равно не прекращала заниматься в кабинете офорта Много я расплодила учеников, и есть очень талантливые».

365. С. Н. ДУРЫЛИНУ

5 декабря 1928 г. Коктебель

5/XII 1928. Коктебель.

Мой дорогой Сережа, вот полгода как я тебе не писал. Что поделаешь: как Персефона, я провожу полгода среди людей, и только в другое полугодье, когда наступает зимняя тишина Аида,[1] я могу сноситься с отсутствующими и далекими. И весна, и лето, и осень этого года были полны тревог и волнений. Андерсовская история[2] захватила и весну, и начало лета. Она имела, увы, свое продолжение. А<ндер>сы не уехали из Коктебеля, а жили рядом на даче и продолжали «предупреждать людей» о нас. И еще несколько человек с нами разорвало и ушло от нас. Был такой скрипач — пьяница и бродяга — Наум,[3] которого мы приютили, и который потом начал нас публично срамить и ругать: «Мне Виктор[4] все объяснил: знаю, что Вы людей *неискренно* [пускаете к себе жить], комнаты сдаете». Был 18-летний юноша — Саша, соединявший в себе всю грацию недоросля из дворян с ароматом комсомольца, тоже немало доставивший нам расстройства,[5] и базировавшийся на авторитете Ан<дер>са: «ведь сам же М<аксимилиан> А<лександрович> говорил, что А<ндерс> очень талантливый и умный человек...» И т. д. ... много было... Пока все это не было смыто летним людоворотом. Начало лета было пустовато: боялись прошлогоднего землетрясения. Но к середине лета приезжий пошел «густо». И это лето многолюдством побило все предшествующие. (*625* челов<ек> прошло через дом). Основ-

ной контингент был постоянный: Габричевск<ие>, с их компанией, Сережа Солов<ьев>, Звягин<цева>, Головина, Сухотин, Пазухины. Но не было ни Сорокиных, ни Веры с Котом,[6] ни Гениевых, ни Дороговых, ни Анчутки.[7] Зато вошли в жизнь новые и прекрасные люди: Зоя Лодий, Алек<сандра> Анат<ольевна> Великанова, Вс. Рождественский. Сережа Шервинский привез на осень своего отца В. Д. Шер<винского>. Были поэтические состязания: (на франц<узскую> балладу).[8] Были очень интересные диспуты (о фокстроте), вечера воспоми<на>ний (старик Шервинский о Захарьине[9]), чтения (Сер<ежа> Соловьев – свои переводы «Конрада Валленрода» и петерб<ургской> поэмы из «Дзядов»,[10] котор<ые> я слышал впервые). К сожалению, Сережа С<оловьев> пробыл очень мало.[11] Он приезжал с одной Лелей, и эта маленькая и капризная женщина (11 л<ет>), не найдя здесь своих сверстниц, увезла его через 2 недели в Мураново к Леле Гениевой. А С<ергею> М<ихайловичу> очень хотелось остаться подольше.[12]

Осенью начались частные «административные неприятности». Местные (сельские) власти, завидуя переполненности нашего дома и глядя на нас как на «конкурентов», постановили дом наш реквизировать, а нас из Крыма выселить «как помещиков» в порядке ликвидации ибрагимовщины.[13] «Довольно он за 8 лет наторговался комнатами – разбогател».

Это было в октябре, когда большинство разъехалось. Но когда весть дошла до Москвы, то все коктебельцы всполошились, и в результате Кр<ымское> правительство получило ряд телеграфных запросов от Луначарского, Семашки... о моей высылке из Крыма, и это дело было ликвидировано. Еще сегодня это имело некоторый характерный финал: меня вызвал в деревню под страхом ареста некий представитель Угрозыска,[14] который с Марусей разговаривать и не пожелал, доведя ее до нервного исступления. Когда же он наконец получил меня, то оказалось, что он послан Наркомпросом (sic!!!) защищать мои интересы.

Если ко всему этому прибавить, что летом у нас украли (через окно) все наши зимние вещи,[15] то вот полностью список наших злоключений этого лета и итог недурной. Нам вез-

ло: все кончилось благополучно и без особых ущербов. А могло быть и очень плохо. Меня лето утомило меньше, чем предыдущие годы, и чувствую я себя бодро и радостно. Только у Маруси очень расходились нервы, и все это ее истрепало сильно. Осень дивная: теплая, безветренная, с сильными дождями по ночам. Над заливом миллиарды птиц. И полное безлюдье. Мы с жадностью вступаем в это Аидово полугодье, чтобы к весне вновь восхотеть пестроты земной жизни. Крепко обнимаю тебя и Ирину[16] и поздравляю вас обоих с наступающими праздниками, потому, что к тому времени, к<ак> это письмо достигнет Томска, они, конечно, уже наступят.

Обнимаем тебя от всего сердца.

Макс.

Приписка М.С. Волошиной:

Дорогой Сергей Николаевич, так бы хотелось побеседовать с Вами, но сейчас 11 ч. вечера, не хочу задерживать Максиного письма, чтоб оно пошло завтра, а я сейчас писать не могу, устала. Крепко Вас целую, шлю свой привет и нежность к Вам. Вас мы вспоминаем, и если не пишем, то только от невозможности, а не от забывчивости. Я и устала и намучилась. Ходила пешком за 60 верст на богомолье, а в это время нас обокрали. Но мы бодры, а Макс даже весел, у меня этого нет. Всего доброго, черкните о себе. Целую Ирину. Маруся.

[1] Персефона (греч. миф.) – богиня плодородия и подземного царства, дочь Деметры и Зевса, супруга бога подземного мира и царства мертвых Аида. Ей предопределено треть года находиться среди мертвых, а две трети – на земле, с матерью Деметрой.

[2] См п. 330.

[3] Наум Михайлович Рейнбальт (Рейнгбальд) – бродяга и скрипач-любитель, которого Волошин приютил в ночь на 8 мая 1928 г.; досаждал всевозможными эксцессами вплоть до июля 1928 г. (см : Труды и дни-2. С. 384–386, 389–391). См. о нем в воспоминаниях М. С. Волошиной (Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма / Сост., подготовка текстов и примечания Вл. Купченко. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2003 С. 150–155).

[4] В. П. Андерс.

[5] Александр Владимирович Фидровский (1911–?), ученик харьковской профшколы; приехал к Волошину вместе с матерью в мае 1928 г. (Труды и дни-2. С. 384). См.: Мария Степановна Волошина о Максе, о Коктебеле, о себе. С. 152.

[6] В.Я Эфрон и К.М. Эфрон

[7] А.А. Кораго.

[8] «Турнир французских баллад» (с заданным рефреном: «Не остывал аэролит») был устроен в Коктебеле в конце августа 1928 г., участники: Ф.К. Арнольд, А.А. Белецкий, Волошин, Е.Л. Ланн, Н.Л. Манухина, Л.Е. Остроумов, Г.А Шенгели, С.В. Шервинский (см.: Труды и дни-2. С. 395–396). Волошин представил на конкурс стихотворение «На берегах Эгейских вод...» (см.: Т. 2 наст. изд. С 479–480).

[9] Имеется в виду Григорий Антонович Захарьин (1829–1896) – врач-терапевт, профессор Московского университета

[10] Поэма Адама Мицкевича «Конрад Валленрод» (1828) и отрывки из 2–4 частей поэмы «Дзяды» («Dziady», 1823–1832) в переводе С.М. Соловьева опубликованы в кн.: *Мицкевич Адам.* Избранные произведения: Переводы русских поэтов / Вступ статьи А.В. Луначарского и А.К. Виноградова. М.; Л.: Госиздат, 1929. С. 80–160, 220–290.

[11] С.М. Соловьев с младшей дочерью Ольгой Сергеевной (Лёлей) жил в доме Волошина с 27 июля по 10 августа 1928 г. (Труды и дни-2. С. 392, 393).

[12] Дурылин писал 28 декабря 1928 г. Е.В. Гениевой: «Макс написал мне о своих злоключениях и выселениях, окончившихся благополучно Он сетует, что капризная “маленькая женщина Лёля”, не найдя своих подруг в Коктебеле, увезла оттуда своего отца в Мураново к подругам. Правда ли это?» («Я никому так не пишу, как Вам...» Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С. 277). Гениева отвечала в начале января 1929 г.: «Макс верно написал про капризную Лёлю, но (если только Вы никому об этом не скажете), я добавлю, что С.М. самому не очень понравилось в этом году в Коктеб<еле>, он был совсем одинок и охотно уехал к своим друзьям» (Там же. С. 281).

[13] См. п. 345, п. 349, примеч. 2.

[14] В записной книжке Волошина 4 декабря 1928 г записано: Мурзин (Труды и дни-2 С. 407); видимо, это фамилия указанного лица.

[15] См. п. 343, примеч. 5.

[16] И.А. Комиссарова.

366. М. С. ВОЛОШИНОЙ

10 декабря 1928 г. Феодосия[1]

Понедельн<ик>. Утро.

Милая Маруся, Берман просит тебя известить, чтобы ты *к нему* еще подождала приезжать:[2] у него заболел техник, и он без него не может начать твои зубы. Он известит тебя сам. А меня он, вероятно, освободит в среду утром (а не в четверг).

Так что, может быть, тебе и не стоит приезжать во вторник вечером (раз я сам вернусь в среду). Словом, во вторник буду дома, но если не приедешь, не буду беспокоиться. Все хорошо. Целые дни сижу дома и читаю. Бегаю мало. Чувствую очень свою грузность в городе.

Крепко целую.

МАХ.

[1] Датируется по почтовому штемпелю (10.12.28) и указанию дня недели (понедельник – 10 декабря). Волошин находился в Феодосии с 6 по 11 декабря – лечил зубы

[2] М. С. Волошина приехала в Феодосию вместе с Волошиным 6 декабря и 8 декабря возвратилась в Коктебель.

367. М. С. ФЕЛЬДШТЕЙНУ

14 декабря 1928 г. Коктебель

14/XII 1928. Коктебель.

Дорогой Миша,

сегодня меня разбудила твоя телеграмма о смерти Рашели Мироновны.[1]Да будет мир ее душе, дольше других ее современников замешкавшейся на путях этого чуждого ей мира. Уже давно – в довоенной Москве – она казалась обломком другой более культурной эпохи – слишком музейным и торжественным для текущей жизни. Я тогда это чувствовал, но не ценил. И только в годы Революции, когда «старинное» стало «архаическим», я почувствовал всем сердцем глубокую меланхолию и величественность ее бытия и проникся и нежностью

и уважением глубоко человеческим, интимным, родственным. Сказать, что вместе с нею отходит последний обломок русской литературной культуры, — мало, потому что в ней чувствовались живые токи большой Европейской напряженности середины XIX века, т. е. та эпоха, к которой нам с уходом Р. М. совсем не остается живых путей.

Рядом с этим *историческим* чувством ее смерти, и еще сильнее его, я чувствую сейчас все значение «семейной» утраты.

Жизнь Р. М. была центром тяготения твоей семьи, поддерживавшим искусственно те формы, которые уже давно перестали соответствовать действительному их содержанию. Несомненно, что теперь они быстро расправятся и найдут свои естественные русла.

Я радуюсь за Лелю и Таню,[2] которые узнают своего брата, и радуюсь за Кота,[3] которому судьба подарит таких хороших сестер.

Ты знаешь, как я люблю и ценю и Веру и Эву,[4] и как мне не хотелось бы ущерба и обиды ни для одной. Мое самое большое желание сейчас над гробом Рашели Мироновны, чтобы они полюбили друг друга и не заставляли тебя делить себя между ними. Они достаточно высоки и благородны сердцем, чтобы избрать этот трудный, но единственный выход.

Крепко обнимаю тебя от всего сердца и от всей дружбы.

Макс.

P. S. Смерть никогда не ходит в одиночку: накануне я узнал о смерти Лили Васильевой («Черубины де Г<абриак>»), умершей в Ташкенте в ночь с 4 на 5 декабря, в больнице от рака (ее лечили от печени).[5] Так ей и не удалось дождаться своего срока возвращения в СПБ...

Приписка М. С. Волошиной:

Дорогой Миша, словами не передашь того, что чувствуешь — знаешь, что есть на свете неизбежные вещи и от этого еще тяжелее. Мысленно и сердцем скорбим с Вами.

Маруся.

[1] Телеграмма с извещением о смерти Р. М. Гольдовской (12 декабря 1928 г.) в архиве Волошина не сохранилась.

[2] Внучки Р. М. Гольдовской и дочери М. С. Фельдштейна и Е. А. Фельдштейн – Елена Михайловна Фельдштейн (род. в 1915 г.) и Татьяна Михайловна Фельдштейн (в замужестве Митрян; 1910–1995).

[3] К. М. Эфрон, сын М. С. Фельдштейна и В. Я. Эфрон.

[4] В. Я. Эфрон (вторая жена М. С. Фельдштейна) и Е. А. Фельдштейн (его первая жена, в 1909–1918 гг.).

[5] См. примеч 1 к п. 369.

368. Е. А. ФЕЛЬДШТЕЙН

14 декабря 1928 г. Коктебель

14/XII 1928. Коктебель.

Дорогая, милая Эва,

Сегодня из Мишиной телеграммы мы узнали о смерти Рашели Мироновны[1] (а накануне – о смерти Лили-Черубины в Ташкенте[2]). Зимой, когда мы одни, – и ухо прислушивается ко всяким далеким и отсутствующим – не проходит недели, чтобы почта не приносила нам вестей о смерти близких. Уход Рашели Мироновны не является ни ранним, ни преждевременным.[3] Она пережила всех своих литературных современников и друзей. Жизнь ей могла бы принести только новые утраты и разочарования. В такие трудные времена можно только радоваться о них – уходящих. Но со смертью Р. М. выпадает ключ свода Вашей семьи. И мне хочется тебе сказать (что ты и сама знаешь), что коктебельский дом, пока его у меня не отняли,[4] всегда открыт и ждет тебя и Таню с Лелей.[5] И что нам бы хотелось, чтобы ты смотрела на него, как на свой дом, как на постоянное прибежище в случае усталости, болезни, несчастья, и что мы всегда тебя ждем с радостью, потому что ты сама всюду приносишь ее с собою.

Я помню, как мы однажды целый вечер говорили о тебе с покойным Анат<олием> Феодоровичем К<они> – именно о той гармонии, о музыкальности, которую ты вносишь в жизнь людей одним своим присутствием.

Передай Тане и Леле наш привет и скажи им, что мы ждем их всегда.

Крепко их обнимаю и целую вместе с тобою.

Макс.

Приписка М.С. Волошиной:

Милая, хорошая Ева Адольфовна, крепко Вас обнимаю, всем сердцем со всеми вами скорблю и присоединяюсь к Максиным словам. Всегда Вас ждем, всегда Вам рады, а в такие минуты, как сейчас, особенно хотелось бы дать Вам тишину и ласку.

Маруся.

[1] См. п. 367 и примеч. к нему.

[2] См. п. 369, примеч. 1.

[3] Ср. со стихотворением Волошина «Р. М. Хин» (22 декабря 1913). Т. 1 наст. изд. С. 193–194.

[4] См. п. 346.

[5] Т. М. Фельдштейн, Е. М. Фельдштейн.

369. Е. Я. АРХИППОВУ

15 декабря 1928 г. Коктебель

15/XII 1928. Коктебель

Дорогой Евгений Яковлевич, о смерти Лили – Черубины меня уже известили.[1] Она умерла в больнице, куда легла во время сильного припадка печени.

Смерть констатирована от рака желудка, которого никто у нее не подозревал. Сведения получены из СПБ.

Написал Всеволоду Николаевичу в Ташкент.[2] 12 декабря умер другой мой старый друг – Рашель Мироновна Гольдовская – литературный обломок другой давно ушедшей эпохи. Усов, вероятно, Вас известит и об этой потере (это тетка его жены).[3]

С сентября я ничего не получал от Лили. В конце лета я послал ей коктебельских камушков, веток, полыни и акваре-

лей. Она отвечала благодарностью и писала, что, может, приедет весною в Коктебель, чтобы дождаться здесь окончания срока, «если пустят».[4] Наша приятельница, заезжавшая к ней в Ташкент по нашему поручению, застала ее очень грустной, только что вышедшей из больницы.[5] За неделю до смерти мне писали, что она снова в больнице из-за того же: припадок печени. И вот печень оказалась раком.

Для меня это лето было на редкость беспокойным и тяжелым. Первая половина его была полна несколькими неприятными человеческими историями, вообще весьма редкими в моей жизни. А осенью начались истории общественного характера с местными властями, которые постановили было реквизировать мой дом и имущество и выселить нас из Крыма «как помещиков».

Но, к счастью, когда это дошло до Москвы (через наших друзей), то Москва выступила в мою защиту и сейчас, по-видимому, все ликвидировано. Но на все это – на переписку, на ответы на запросы ушло и уходит еще много времени. Я хотел Вам писать много раз и, вероятно, сегодня же написал бы Вам и без Вашего письма,[6] т<ак> к<ак> не знал, что весть о смерти Лили уже дошла до Вас.

Летом у меня был Всеволод Р<ождественский>, и мы много раз Вас вспоминали и поминали.

Как прошла Ваша поездка в СПБ? (Одно письмо я от Вас получил об этом).[7]

Эти смерти одна за другой сейчас меня выбили из хода моих мыслей, и я себя чувствую неспособным на хорошее и обстоятельное письмо. Простите, милый Евгений Яковлевич.

Максимилиан Волошин.

P. S. Зная Вашу любовь к собирательству автографов, присылаю Вам несколько случайных листков с ивернем «Четверти Века» и один уцелевший от «Таноба».[8]

1 Е. И. Васильева умерла от рака печени в ночь с 4 на 5 декабря 1928 г. в Ташкенте. 6 декабря (в автографе описка: «6 ноября») Д. Н. Часовитина писала Волошину: «...только что сообщили горестную весть. Вчера в Ташкенте скончалась Елизавета Ивановна От Всеволода Николаевича <Васильева. – *Ред* > получена телеграмма. Никто не

знает причин ее смерти. Предполагают только, что могло быть повторение недавно бывшего (в августе) припадка печени с сердечным осложнением» (ИРЛИ, ф 562, оп. 3, ед. хр. 1267, л. 16).

[2] Это письмо Волошина к В. Н. Васильеву не выявлено. Васильев сообщал в ответном письме от 5 января 1929 г.: «О том, что у Лили, *по-видимому*, рак, я узнал только за 9 дней до смерти, – и не верил в это до последних минут. Она же предощущала это много раньше – и еще в конце октября написала мне письмо-завещание <...>. Последние дни у нее было то серьезно-безучастное состояние духа, о котором говорит Толстой, описывая смерть кн<язя> Андрея. Она быстро слабела, не могла поднимать головы, повернуться на другой бок без посторонней помощи. Сама смерть пришла совершенно незаметно и тихо – стало перебиваться дыхание, потом совсем прекратилось» (*Черубина де Габриак.* Из мира уйти неразгаданной. Жизнеописание. Письма 1908–1928 годов. Письма Б.А. Лемана к М.А Волошину / Сост., подготовка текстов, примечания Владимира Купченко и Розы Хрулёвой. Феодосия; М.: Изд. дом «Коктебель», 2009. С 166).

[3] 22 декабря 1928 г. Д. С. Усов сообщал Е. Я. Архиппову: «11-го декабря скончалась мама Алисы Гуговны <К. М. Левенталь, мать А Г. Усовой – жены Усова. – *Ред.*>. На другой же день после нее скончалась ее сестра – Рашель Мироновна Хин – старая писательница тургеневской школы, друг Владимира Соловьева, Кони, Стороженко и Волошина» (*Усов Дмитрий.* «Мы сведены почти на нет...» Т. 2 Письма / Сост , вступ. статья, подготовка текста, комментарии Т. Ф. Нешумовой. М.: Эллис Лак, 2011. С 529).

[4] См. примеч. 2 к п. 270. Имеется в виду письмо Васильевой к Волошину от 8 сентября 1928 г., в котором, однако, приводимых Волошиным слов нет (возможно, они были переданы в устной форме), о вероятной будущей встрече говорится лишь следующее: «Я бы очень хотела повидаться и с тобой, и с Марусей. Может быть, это еще и будет» (*Черубина де Габриак.* Из мира уйти неразгаданной. С. 165).

[5] Имеется в виду Ксения Павловна Девлет-Матвеева (коктебельское прозвище – Гуна, ок. 1890–1976), преподавательница иностранных языков в Харькове. В том же письме Васильева извещала Волошина: «Вчера была Гуна от тебя с подарками. Так хорошо, когда что-нибудь приходит из Коктебеля Спасибо Марусе за чудесную коробочку с камешками, похожими на звезды» (Там же. С. 164–165).

[6] 7 декабря 1928 г. Архиппов писал Волошину: «Скончалась Елизавета Ивановна. 4.XII.1928. Сообщили из Москвы. Очень прошу: откликнитесь, скажите скорее, что Вы знаете... Имели ли Вы от нее письма за последнее время. Чем она была больна? Уже давно мне она не писала» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр 207, л. 17).

[7] Об этой поездке и о встречах с Д. С. Усовым, Э. Ф Голлербахом, В. И. Анненским-Кривичем Архиппов написал Волошину 5 сентября 1928 г. (Там же, л. 16–16 об).

[8] См. примеч. 3 к п. 283. «Таноб» (1926) – поэма Волошина, предполагавшаяся к включению в цикл «Путями Каина». См.: Т. 2 наст. изд. С. 70–76

370. О. Н. АННЕНКОВОЙ

15 декабря 1928 г. Коктебель[1]

15 XII 1928. Коктебель.

Милая Лёля! Шлю тебе привет зимнего солнцестояния из Коктебеля. В эти горестные дни смерти Лили[2] всею душою вместе с Вами.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели, датированной 5 декабря 1928 г.

[2] Е. И. Васильева. См. п. 369, примеч. 1.

371. М. С. ВОЛОШИНОЙ

19 декабря 1928 г. Коктебель

19/XII 1928. Среда. 3 час<а>.

Милая Маруся, благополучно провел ночь.[1] До 2-х часов ходил по комнатам, думал, вспоминал самого себя, читал дневники (собствен<ные>). Парижских лет. Сегодня с утра накормил собак (не ели, кроме Кандибобера). Потом пришли письма (от тебя, Златог<оровых> – тебе, Аси,[2] Оболенской). Тат<ьяна> Руф<овна> пишет очень грустное письмо. Едет с Сем<еном> Ив<ановичем> в Кисловодск на 2 нед<ели>. Он переутомлен. Переезд в СПб неизбежен*. Боится очень за здоровье С<емена> И<вановича>.[3]

* Он единогласно выбран в Медиц<инскую> Академию и утвержден Москвою <*Примеч. Волошина*>

О собачьих делах я успокоился.[4] Даже овчарка не может загрызть овцу. А 17!! (11 в Енишарах и 6 в Двуякорной[5]) для собак – особенно для дворняг, невозможное дело. Кроме того, на них не было крови. А раз мы сами уверены в *невинности* наших псов, то не о чем и думать. Сумеем их защитить. Обвинение нелепо до очевидности. Я уже и не думаю об этом. Буду ждать с волнением завтрашнего твоего письма об диагнозе Славолюбова.

Сегодня рисую, думаю, читаю, гуляю. Вечером буду писать письма. Сейчас отнесу это на почту, в город я не приеду сейчас. Но в следующий раз поеду вместе. Довольна ли Нилушка[6] акварелью? Приедет ли на Рожд<ение> Солнца?[7]

Ты, значит, в пятн<ицу> утром наверное? Как идет дело с зубами? Сегодня была Шура Павлова. Я ее спрашивал. Оказалось верно. Она страшно обрадовалась, когда я ей все сказал. Никакого недоразуменья и не будет.

Крепко, крепко тебя целую. Дай Бог, чтобы Славолюбов не нашел у тебя ничего страшного и сериозного.

Макс.

[1] Накануне (18 декабря) М.С Волошина выехала в Феодосию для осмотра и консультаций у врача М. С. Славолюбова.

[2] Р. М. Гинцбург.

[3] Т. Р. и С. И. Златогоровы. В недатированном письме к М.С Волошиной (ИРЛИ, ф. 562, оп 5, ед. хр. 189, л. 35–36 об.) Т. Р. Златогорова сообщала: «Семен Иван<ович> теряет здоровье, оно уходит от него, делается это просто, неуклонно – вот и все. < > 5 дней назад должен был слечь в кровать, а через 3 дня мы уезжаем в Кисловодск на 2 недели. Это называется отдых – когда нужно 6 недель. Теперь дальше – в Ленингр<ад>, в Академии единогласно выбран С.И – утверждение Москвы, и нужно ехать. Без лишних слов Вы представляете себе, какая ломка жизни. При безденежьи и почти голоде».

[4] Утром 18 декабря к Волошиным приходил чабан Д. Стамов, обвинивший волошинских собак в нападении на стадо овец. В тот же день М. С. Волошина писала Волошину из Феодосии: «Собаки и вся эта новая история волнуют очень. Что ты обо всем этом думаешь?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 362, л. 6).

[5] Двуякорная бухта.

[6] Н. В. Успенская.

[7] Подразумевается день зимнего солнцестояния – 22 декабря.

372. М. С. ВОЛОШИНОЙ

19 декабря 1928 г. Коктебель[1]

19/XII 1928. 5 ч<асов> вечер<а>. № 2.

Милая Маруся,

Только что я отправил тебе письмо и вернулся домой, как ко мне пришли болгары: Ксениин муж, Демьян (псаломщик) и вчерашний пастух. Говорить о собаках.[2] Говорили разумно – по-хорошему. Что надо проверить: посадить Ю<лахлы> на цепь и посмотреть, будут ли опять пропажи овец. А пока ждать твоего возвращения. Они говорят – овцы не «зарезаны», а только покусаны около шеи и сверху, как волк не грызет, а именно как собаки «играючись». Всего 12 овец. Из них 4 поколели, а 8 испорчено. Надо сделать опыт и проверить, они сами об этом говорят. «Ну, а если Ваши – полюбовно решим – зачем суд...». Ушли и говорили мирно. Понесу опять на почту – может, успею еще.

Макс.

[1] Открытка. Почтовый штемпель отправления: Коктебель. 20.12.28.

[2] См. примеч. 4 к п. 371.

373. М. С. ВОЛОШИНОЙ

20 декабря 1928 г. Коктебель[1]

20/XII 1928. Четверг. 3 час<а> п<о> п<олудни>. № 3.

Милая Маруся,

Сегодня четверг, и почта закрыта. Я забыл совершенно и пошел с уверенностью, что сейчас узнаю все, что тебе сказал Славолюбов. Я от беспокойства места себе не нахожу, как при твоей операции.[2] Но завтра ты в 12 будешь?[3] Мне передавали, что Харлампий[4] говорил, что видел во вторник утром 2<-х> волков в Эни-Шарской долине. Если это так – то это оправдание для Юлахлы.[5] Заходил к нему, но Юрсовский дом за-

перт со всех сторон. Стучался напрасно и только сейчас разузнал, что он сейчас переехал к Дейше. Пойду к нему узнавать. Я все-таки не верю, чтобы такой теленок, как Юлахлы, мог загрызть 12 овец. (Теперь установилась почему-то эта цифра). Ну, одну – куда ни шло. Неправдоподобно, но возможно. Но 12!!! Боюсь, что если это и не шантаж, то желание покрыть свои убытки наипростейшим способом. Они уже намекали, что овечка сейчас стоит 12 руб.

Но это всё пустяки, лишь бы у тебя не оказалось ничего сериозного.

До завтрашнего утра.

MAX.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Коктебель. 20.12 28; Феодосия. 21.12 28.

[2] Подразумевается хирургическая операция, перенесенная в Харькове 25 февраля 1925 г.

[3] М. С. Волошина возвратилась из Феодосии в Коктебель 21 декабря.

[4] Харлампий Поляков (ок. 1865–1940-е гг.), коктебельский рыбак.

[5] См. примеч. 4 к п. 371, п 372.

374. Е. А. ФЕЛЬДШТЕЙН

20 декабря 1928 г. Коктебель[1]

Милая Ева,

очень хочется тебе сказать то, что никогда не удается сказать во время наших редких встреч – что я тебя очень люблю и всегда глубоко чувствую твою человеческую гармонию, мир и тишину, тебя незримо окружающие.

Макс.

Маруся крепко целует.

[1] Текст на обороте акварели, датированной 20/12 1928

375. Т.Д. ЦЕМАХ

20 декабря 1928 г. Коктебель[1]

Милая Татида,

из глубины зимней Киммерии шлю тебе привет к дням Рождения Солнца и Года.

Макс.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «M W 20 XII 1928». Имеется еще одна акварель Волошина (без датировки), подаренная Т.Д. Цемах с надписью: «Татиде — память о суровости коктебельской зимы. Макс».

376. СКЛЯРЕНКО

27 декабря 1928 г. Коктебель[1]

27 XII 1928.

Т. С<к>ляренко,

Только на днях я получил от «Крым-Сов-наркома» сообщение о том, что постановлению коктебельского Комбеда не дано хода и вместе с тем копию протокола заседания кок<тебельского> Комбеда 10 окт<ября> 28 г.[2]

Из него я вижу, что Ком-Бед'ом было постановлено национализировать «флигель» при моем доме: «Дачу и пристройки, находящуюся <*так!*> в усадьбе Волошина, в которой жили помещики Юнге, национализировать, как принадлежащую не Волошину, а Юнге». Этому постановлению не было дано хода ни Феод<осийским> Р.И.К.'ом, ни Крым-ЦИК'ом, и в этом смысле отписано в Москву.

Самое постановление нелепо, т<ак> к<ак> все постройки в моей усадьбе строились мною по моим планам, Юнге до революции жили у нас как жильцы, а после революции — бесплатно на общем основании (дом мой — бесплатный), и ремонт всегда производился за мой счет и мною. И кроме того, даже выселение вдовы Юнге Ольги Андреевны из Крыма

Крым-ЦИК'ом – не утверждено. Делу против меня просто не было дано хода.

Ма<ксимилиан Волошин>

[1] К автографу приложена адресованная «гр<аждани>ну Волошину М.» записка за подписью «надзирателя 8-го участка» Скляренко от 27 декабря 1928 г.: «Прошу напишите мне свое объяснение по вопросу нажима на Вас коктебельского с/с <сельсовета. – *Ред.*> и в чем именно заключается нажим, о котором я с Вами говорил в с/с, и передайте подателю сей записки» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 116, л. 2).

[2] См. п. 345, примеч. 2.

377. Б. И. ЯРХО

30 декабря 1928 г. Коктебель[1]

Бобочке.

Милый Бобочка,

Поздравляем тебя с Нов<ым> Годом. Не забывай Коктебель и нас.

Макс
и
Маруся.

[1] Текст на обороте акварели. Помета: «M W 30 XII 1928».

378. Н. А. ГАБРИЧЕВСКОЙ

Конец декабря 1928 г. Коктебель

Наташе Г.

Милая Наташа, крепко тебя обнимаем и приветствуем с Нов<ым> Годом и Р<ождеством> Х<ристовым>. Уходящий год был для нас бурен и сложен. Только на днях мы узнали, что дело о Доме окончательно разрешено.[1] Но сейчас же против нас началось уголовное дело: Юлахлы обвинен в том, что

он разорвал 12 овец в стаде.[2] Маруся ездила в Нар<одный> Суд в Ст<арый> Крым, и там ее и Юлахлы приговорили к 90 р. штрафа.[3] А суть дела в том, что пастухи играли всю ночь в карты у Дарьи Ю<нге>. Собак у пастухов не было. Ясно, что овец растерзали волки, которые бродят по Крыму зимой. Но у волков ведь нет хозяев! Пулемет исчез уже месяц назад. Вместе с Юлахлы обвиняются и Хна и щенок Кандыбобер. Долгополов нас утешает, что это решение будет кассировано и в следующей инстанции Юлахлы непременно оправдают.[4]

Он вырос в настоящую «Бескервильскую Собаку»,[5] и люди дрожат и бледнеют, глядя на него. Сидит на цепи. Полон мудрости и всепрощения. Чего и тебе желаю.

Макс
и Маруся.*

Найди для Маруси щенка немецкой овчарки (мужс<кого> пола) и добермана-пинчера: она хочет волкодава.

[1] См. п 376.

[2] См. примеч. 4 к п. 371, п. 372, п 373.

[3] Повестка в Старокрымский суд была получена Волошиными 22 декабря, разбирательство дела по обвинению Волошиных со стороны чабанов проходило там 29 декабря. Приговор вынес судья И Д. Станков (Труды и дни – 2 С. 409, 410). Волошин на суд не явился, но направил для рассмотрения приводимое ниже заявление (ИРЛИ, ф. 562, оп 4, ед. хр. 26, л. 1–1 об.):

В Народный Суд 4-го участка Феодосийского района
Поэта Максимилиана Волошина

Заявление

Несколько дней назад в Коктебель была доставлена повестка о вызове на 29 декабря с. г в Нар<одный> Суд IV-ого участка «Волошин М.», без точного указания, кто именно вызывается. я — Максимилиан Волошин? или жена моя — Мария Степановна? по какому делу и в качестве кого (истца, ответчика или свидетеля?). Кроме того на повестке не имеется ни подписи секретаря, ни печати, но номера дела

Предполагая, что 29/XII с. г. будут рассматриваться иски некоторых овцеводов дер. Коктебель к моей жене за якобы зарезанных в

* *Приписка рукой М С Волошиной*

ночь с 17 на 18 декабря ее собаками не то 11, не то 15 штук овец, я считаю нужным, не имея возможности по состоянию здоровья дать личные объяснения, — сделать некоторые сообщения Народному Суду в письменной форме.

1) Я полагаю, что коктебельские овцеводы, указывающие, что в течение одной ночи двумя или тремя собаками (если считать и щенка) было зарезано свыше десятка овец, обязаны были составить Комиссию на основании декрета СНК от 15 апр<еля> 1925 г. о порядке определения размеров убытков, причиненных крестьянскому хозяйству потравами (см.. Инструкция НКВД, Номер 437 и книгу «В помощь Сельскому Работнику», изд Кр.-ЦИК, стр. 116), и затем уже передавать дело в Нар<одный> суд.

2) Никем и никогда не было установлено, что овец зарезали две или три собаки и что эти собаки принадлежат Мар<ии> Ст<епановне> Волошиной.

3) Никто из овцеводов не позаботился предъявить зарезанных овец ни сведующим лицам, ни владелице собак для определения, зарезаны ли овцы собаками или волками

4) Как свидетельствуют овцеводы Воробьев и Чикалов, в районе Двуякорной несколько недель тому назад появились волки и они могли растерзать овец (Показания Воробьева и Чикалова в письменном виде прилагаются.) Наличие волков в Крыму кроме того подтверждается газетными заметками.

5) Зная, что 2–3 собаки вообще не могут растерзать столь значительное количество овец в одну ночь, я должен обратить внимание Суда, что охрана овец, как общее правило, лежит на чабанах, а не на владельцах собак. В ночное время, как известно всем местным овцеводам, даже цепные собаки спускаются с цепи, и могут нападать на брошенных где-то в поле без присмотра овец.

Этим я не пытаюсь опровергнуть все доводы истцов, которые будут опровергаться ответчицей, но считаю, что вышеизложенные соображения говорят о беспочвенности предъявленного овцеводами иска.

Коктебель 28 XII 1928.
Максимилиан Волошин

[4] Свою точку зрения М. И Долгополов развил в письме к Волошиным от 2 января 1929 г: «...как и следовало ожидать, 29 числа было вынесено и неправильное, и незаконное решение. Позиция “ответчицы” – ответы на вопросы и некоторые поправки при допросе свидетелей – дает возможность коснуться существа дела в кассационной жалобе и восполнить все недочеты процесса в письменном виде. <. > Я считаю, что Марией Степановной все было сделано правильно, что

на иной исход дела трудно было рассчитывать, что все ошибки поправит вторая инстанция. Очень жаль, что Мария Степановна так близко принимает к сердцу торжество чабанов всех видов, здоровье — дороже их тупого торжества <...> Кассационную жалобу я вышлю Вам через неделю, и Вы *11 января* отправите ее заказным письмом в Старый Крым» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 509, л. 28–28 об.).

[5] Подразумевается огромная устрашающего вида собака, играющая центральную сюжетообразующую роль в повести английского прозаика Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей» («The hound of the Baskervilles», 1901–1902), входящей в цикл его произведений о частном сыщике Шерлоке Холмсе.

СОДЕРЖАНИЕ

1926

1927

1928

В оформлении переплета
использована акварель М. Волошина
«Здесь берега...». 1929 г.

Волошин, Максимилиан Александрович

В68 **Собрание сочинений.** Т. 13, кн 1 Письма 1925—1928 Максимилиан Волошин· Сост А. В Лавров, подгот. текста А. В Лаврова, И. Н. Палаш, Г. В. Петровой, Р. П. Хрулевой; коммент. А. В. Лаврова, Г В Петровой. Под общей ред. А В. Лаврова. – М.: Азбуковник, 2015. – 656 с

ISBN 978-5-91172-105-3
ISBN 978-5-902152-05-4

В настоящем томе завершается публикация эпистолярного наследия Максимилиана Александровича Волошина (1877—1932) В том вошли письма за 1925—1932 годы, дающие развернутое представление о драматической судьбе мастера в последние годы его жизни, о его контактах с современниками — друзьями «Дома Поэта», о многих обстоятельствах литературно-общественной жизни в эпоху укрепления советского режима

Большинство писем публикуется впервые по автографам, извлеченным из различных архивных фондов

ББК 84(Рос=Рус)-4
УДК 821.161.1-95

Максимилиан Александрович Волошин

Собрание сочинений
под общей редакцией А. В. Лаврова

Том тринадцатый
Книга первая

Письма 1925–1928

Художественный редактор
В.Н. Сергутин

Корректоры
М. Танасейчук, Е Стрючкова

Издательский центр «Азбуковник»
119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 50/1, стр. 2

Подписано в печать 27 04 2015 г
Формат 84×108/32 Бумага офсетная
Печ л 20,5 Тираж 1500 экз
Заказ №269.

ISBN 978-5-91172-105-3

9 785911 721053 >

Отпечатано в ООО «Чебоксарская типографии № 1»
428019, г Чебоксары, пр И Яковлева, 15
Тел 8 (8352) 28-77-98, 57-01-87
Сайт. www volga-print.ru

